

Генрик
СЕНКЕВИЧ
КАМО
ГРЯДЕШИ



Полный русский перевод В. М. Лаврова
с комментариями С. И. Соболевского
и иллюстрациями Я. Стыки

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





«Портрет Генрика Сенкевича»

Худ. Казимир Мордасевич, 1899

Генрик Сенкевич

КАМО ГРЯДЕШИ



QUO VADIS

РОМАН В ТРЕХ ЧАСТЯХ ИЗ ЭПОХИ НЕРОНА



творческое объединение
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплётной компании
ООО «Творческое объединение «Алькор».*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

УДК 821.162.1-93
ББК 84(0)-44
С31

Текст романа и комментариев в современной орфографии
воспроизводится по изданию
Полное собрание сочинений Генрика Сенкевича. — Москва: ред. журн. «Рус. мысль», 1902

Текст критико-биографического очерка в современной орфографии
воспроизводится по изданию
*Полное иллюстрированное собрание сочинений Генрика Сенкевича. Том I. —
Санкт-Петербург: С.-Петербургская электропечатня, 1902*

Иллюстрации воспроизводятся по изданию
Henryk Sienkiewicz. Quo Vadis. — Paris: Ernest Flammarion, 1905

Первые 100 пронумерованных экземпляров от общего
тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“».

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmego
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока с трех
сторон методом механического торшонирования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

С31 **Сенкевич Г.** Камо грядеши — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 528 с., ил.

Исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича (1846–1916) публикуется в одном из лучших переводов, выполненным редактором журнала «Русская мысль» Вуколом Михайловичем Лавровым (1852–1912). Комментарии к роману написаны профессором классической филологии Сергеем Ивановичем Соболевским (1864–1963), критико-биографический очерк — поэтом и историком литературы Петром Васильевичем Быковым (1844–1930). Книга оформлена великолепными иллюстрациями польского художника Яна Стыки (1858–1925).

ISBN 978-5-9603-0609-6 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0610-2 (Кожаный переплет)

© СЗКЭО, 2021

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Переводчик считает приятным долгом принести глубокую признательность своему высокоуважаемому другу профессору С. И. Соболевскому, снабдившему русский текст «Quo Vadis» ценными примечаниями.



ГЛАВА I

Петроний проснулся лишь около полудня и, как всегда, очень утомленным. Накануне он был у Нерона на пиршестве, которое затянулось до поздней ночи. С некоторого времени его здоровье начало портиться. Он сам говорил, что утром просыпается точно одеревенелый и никак не может собрать своих мыслей. Но утренняя ванна и тщательное растирание тела при помощи нарочно приставленных к этому делу невольников постепенно ускоряли движение его ленивой крови, ободряли его, пробуждали, возвращали ему силы, так что из элетесия, то есть из последнего отделения бани, он выходил как бы возрожденным, с глазами, сверкающими остроумием и весельем, помолодевшим, полным жизни, изящным, недостижимым настолько, что сам Отон не мог сравняться с ним, — настоящим, как его называли, «*arbiter elegantiarum*»¹.

¹ *Arbiter elegantiarum* — «законодатель изящного вкуса», — титул, который Нерон придал своему любимцу Петронию.

В общественных банях он бывал редко, — разве появлялся какой-нибудь возбуждающий всеобщее удивление ритор, о котором много говорили в городе, или если в эфебеях¹ происходило необыкновенно интересное единоборство. Наконец, в собственной его инсуле² были бани, которые знаменитый товарищ Севера, Целер³, расширил, перестроил и украсил с таким необычайным вкусом, что сам Нерон признавал их превосходство над цезарскими банями, хотя те были обширнее и устроены с неизмеримо большею роскошью.

На вчерашнем пиру ему надоели дурачества Ватиния, а потом он сам, вместе с Нероном, Луканом и Сенекой, принимал участие в диатрибе⁴, есть ли у женщины душа. Сегодня он встал поздно и, по обыкновению, принимал ванну. Два гиганта бальнеатора⁵ только что положили его на кипарисовую менсу⁶, покрытую белоснежным египетским биссом⁷, и ладонями, омоченными в благовонном масле, начали натирать его статное тело, а сам Петроний с закрытыми глазами ждал, пока тепло лаконика⁸ и рук бальнеаторов не перейдет в него и не рассеет его утомления.

Через несколько минут он заговорил и, открыв глаза, начал расспрашивать о погоде, а потом осведомился о геммах⁹, которые ювелир Идомен обещал прислать сегодня на показ. Оказалось, что погода прекрасная, — с Альбанских гор дует легкий ветерок, а что геммы еще не приносили. Петроний снова сомкнул веки и отдал приказание перенести себя в тепидарий¹⁰, когда из-за занавески показался номенклатор¹¹ и объявил о приходе молодого Марка Виниция, который только что возвратился из Малой Азии.

Петроний приказал пригласить гостя в тепидарий и сам отправился туда же. Виниций был сын его старшей сестры, которая когда-то вышла за Марка Виниция, савонника времен Тиберия. Младший ныне служил под начальством Корбулона, сражался с парфянами и после окончания войны возвратился в город. Петроний питал к нему некоторую слабость, граничащую с привязанностью, потому что Марк был красивый и атлетически сложенный молодой человек и, вместе с тем, в разврате умел сохранять известную эстетическую меру, а Петроний ценил это выше всего.

¹ *Ephebeum* — обширная зала, где молодые люди занимались разными физическими упражнениями.

² *Insula* — один дом, стоящий особняком от прочих, или целая группа примыкающих один к другому домов, отделенная от других домов некоторым пространством.

³ *Север* и *Целер* — знаменитые архитекторы (*machinatores*) времен Нерона.

⁴ *Diatriba* — ученое, особое философское изыскание.

⁵ *Balneator* — прислужник при банях.

⁶ *Mensa* — стол.

⁷ *Byssus* — тонкая ткань, очень дорогая («виссон» в Новом Завете).

⁸ *Laconicum* — отделение бани для потения.

⁹ *Gemma* — драгоценный камень, а также и все сделанное из него, — например, кубок.

¹⁰ *Tepidarium* — отделение бани с умеренной температурой (вроде нашего предбанника), из которого один ход вел в горячую баню (*caldarium*), другой — в раздевальню (*apodyterium*).

¹¹ *Nomenclator* — особый раб-подсказчик, обладавший хорошою памятью. Обязанностью его было докладывать господину о клиентах, приходивших с утренним поздравлением (*salutatio*); иногда клиентов было так много, что патрон и половины из них не знал, но номенклатор давал ему возможность вести себя относительно клиентов как вполне известных ему лиц. Номенклатор сопровождал господина также и на улице, когда он, добываясь должности, должен был просить голоса за себя часто у незнакомых ему граждан, имен которых он не знал.

— Привет Петронию, — сказал молодой человек, быстрыми шагами входя в тепидарий, — да ниспошают тебе все боги удачу в твоих делах, в особенности Асклепий и Киприда¹, — под их покровительством ничто дурное не может встретить тебя.

— Радуюсь твоему приезду в Рим, и да будет сладок твой отдых после войны, — ответил Петроний, освобождая свою руку из складок мягкой карбасовой ткани², в которую он был закутан. — Что слышно в Армении? Проживая в Азии, не наткнулся ли ты на Вифинию³?

Петроний когда-то был проконсулом в Вифинии и, мало того, управлял ею энергично и справедливо. Это составляло странное противоречие с характером человека, прославившегося своею изнеженностью и пристрастием к роскоши. Петроний любил вспоминать это время, — оно служило доказательством, чем бы он сумел и мог быть, если б ему это нравилось.

— Мне случилось быть в Гераклее, — ответил Виниций. — Корбулон послал меня туда с приказом собрать подкрепление.

— Ах, Гераклея!.. Я знал там одну девочку из Колхиды, за которую отдал бы всех здешних разводов, не исключая и Поппеи. Но это старая история. Рассказывай лучше, какие слухи идут от парфянской границы. Правда, надоели мне все эти Вологесы, Тиридаты, Тиграны и все эти варвары, которые, как утверждает молодой Арулан, у себя дома ходят еще на четвереньках и только лишь в нашем присутствии притворяются людьми. Но теперь о них много говорят в Риме, хотя бы потому, что о чем-нибудь другом говорить небезопасно.

— Война идет плохо, и если б не Корбулон, то она могла бы превратиться в поражение.

— Корбулон, — клянусь Бахусом, — это настоящий божок войны, истинный Марс: великий вождь, вместе с тем человек горячий, справедливый и глупый. Я люблю его, хотя бы потому, что его боится Нерон.

— Корбулон не глупый человек.

— Может быть, ты прав, а, впрочем, это все равно. Глупость, как говорит Пиррон⁴, ничем не хуже мудрости и ни в чем от нее не отличается.

Виниций начал рассказывать о войне, но когда Петроний снова закрыл глаза, молодой человек, видя его утомленное и отчасти похудевшее лицо, переменял предмет разговора и заботливо начал расспрашивать об его здоровье.

Петроний открыл глаза.

Здоровье?.. Ничего. Он не чувствует себя здоровым. Правда, он не дошел еще до того, до чего дошел молодой Сисенна, который до такой степени утратил сознание, что спрашивает, когда его приносят утром в баню: «Сижу я или нет?». Но вообще он не был здоров. Виниций отдал его под покровительство Асклепия и Киприды. Но он, Петроний, не верит в Асклепия. Неизвестно даже, чей сын был этот Асклепий, — Арсиной или Корониды, а коли мать неизвестна, так что же тут толковать об отце? Кто теперь может ругаться даже за собственного отца?

¹ *Асклепий* — греческое название Эскулапа. *Киприда* — то же, что Венера.

² *Carbasus* — тонкая ткань, приготовляемая из одного индийского продукта, известного у древних под именем «древесной шерсти».

³ *Вифиния* — северо-западная область Малой Азии.

⁴ *Пиррон* — греческий философ, основатель так называемой скептической школы, современник Александра Македонского.

Петроний рассмеялся и продолжал:

— Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр¹ три дюжины живых петухов и кубок золота, но знаешь почему? Я сказал себе: поможет это или не поможет, но ни в каком случае не повредит. Люди еще решаются приносить жертвы богам, но, по моему мнению, все думают так же, как я, — все, за исключением разве погонщиков мулов, которых путники нанимают у *Porta Capena*²! Кроме Асклепия, я имел дело и с асклепиадами³, потому что в прошлом году захворал немного. Они совершали для меня инкубации⁴. Я знал, что они обманщики, но также говорил себе: чем мне это может повредить? Свет стоит на обмане, а жизнь — заблуждение. Душа — это тоже заблуждение. Но все-таки нужно иметь достаточно разума, чтоб уметь отличить приятные впечатления от неприятных. Свой гипокавст⁵ я приказываю топить кедровым деревом, посыпанным амброю, потому что благовоние предпочитаю смраду. Что касается Киприды, которой ты отдал меня под покровительство, то я ей уже обязан настолько, что чувствую колотье в правой ноге. Но вообще это добрая богиня. Думаю, что и ты раньше или позже понесешь белых голубей к ее алтарю.

— Да, — сказал Виниций. — Я был неуязвим для стрел парфян, но стрела Амура настигла меня... Самым неожиданным образом, в нескольких стадиях от городских ворот.

— Клянусь белыми коленами Граций! Расскажи мне это когда-нибудь в свободные минуты, — сказал Петроний.

— Я пришел, собственно, просить твоего совета, — ответил Марк. Он сбросил тунику и вступил в ванну с теплою водой, потому что Петроний еще раньше предложил ему выкупаться.

— Ах, я даже не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, — сказал Петроний, смотря на молодое, словно изваянное из мрамора тело Виниция. — Если бы Лизипп⁶ видел тебя, ты давно бы, под видом Геркулеса в его юные годы, украшал ворота, ведущие к Палатину⁷.

Молодой человек самодовольно улынулся и начал погружаться в ванну, выплескивая теплую воду на мозаику, представлявшую Юнону в тот момент, когда та просит Сон усыпить Зевса. Петроний смотрел на Марка глазами вполне удовлетворенного знатока.

В это время вошел лектор (чтец) с бронзовым ящичком, наполненным бумажными свитками.

— Хочешь послушать? — спросил Петроний.

¹ *Epidaurus* — город в Арголиде, у Саронического залива, когда-то знаменитый своим храмом Эскулапа.

² *Porta Capena* — южные ворота Рима.

³ *Asclepiade* — прозвище, данное в Греции разным семействам, посвятившим себя изучению медицины.

⁴ *Incubatio*. Желавший получить откровение от бога, главным образом относительно исцеления от болезни, ложился спать в его храме на шкуре жертвенного животного и молил бога послать ему вещее сновидение. Такой способ получить прорицание и назывался *incubatio*.

⁵ *Hypocaustum* — особое помещение в римских банях с печью, из которой горячий воздух распространялся под полы банных комнат.

⁶ *Lisippos* — знаменитый греческий ваятель эпохи Александра Македонского.

⁷ См. комментарий на с. 329 (*примеч. ред.*).

— Если твое произведение, то с удовольствием, — ответил Виниций, — но если нет, то лучше поговорим. Поэты теперь хватают людей на всех углах улиц.

— Еще бы! Теперь не пройдешь мимо какой-нибудь базилики, бань, библиотеки или книжной лавки, чтоб не увидеть поэта, жестикулирующего, словно обезьяна. Агриппа, когда приехал сюда с Востока, принял их за сумасшедших. Но теперь такие времена. Цезарь сам пишет стихи, и все идут по его следам. Не дозволяется только писать стихи лучше императорских, и поэтому я немного опасаясь за Лукана¹... Но я пишу прозой, которой, однако, не угощаю ни самого себя, ни других. То, что лектор должен был читать, это — *codicilli*² бедного Фабриция Вейентона³.

— Почему «бедного»?

— Потому что ему приказали разыграть роль Одиссея и не возвращаться к домашним пенатам⁴ впредь до нового распоряжения. Эта «одиссея» постольку будет для него легче, поскольку его жена не похожа на Пенелопу. Наконец, мне нечего говорить тебе, что с ним поступили глупо. Но здесь иначе и не относятся к делам, как только поверхностно. Пустая и скучная книжка, которую начали читать нарасхват, лишь только когда автор подвергся изгнанию. Теперь со всех сторон слышно: «*Scandala! scandala!*»⁵... Может быть, Вейентон кое-что и выдумал, но я знаю город, знаю наших *patres*⁶ и наших женщин, и уверяю тебя, что это бледнее, чем в действительности. С другой стороны, всякий теперь ищет там своего изображения со страхом, а изображения знакомых — с удовольствием. В книжной лавке Авирна сотня писцов переписывают книжку за диктующим; успех ей обеспечен.

— Твоих делишек там нет?

— Есть; но автор промахнулся, потому что я в одно и то же время и более дурен, и менее пошл, чем он представил меня. Видишь ли, мы здесь давно утратили сознание того, что достойно и что недостойно, и мне самому кажется, что так и есть на самом деле, что разницы никакой не существует, хотя Сенека, Музоний и Тразея⁷ притворяются, что видят ее. Мне это все равно. Клянусь Геркулесом, я говорю как думаю, но я сохранил то преимущество, что знаю, что омерзительно и что прекрасно, а вот, например, наш меднобродый поэт, возница, певец, танцовщик и гистрион⁸ этого не понимает.

— Жаль мне Фабриция. Он хороший товарищ.

— Его погубило самолюбие. Хотя всякий подозревал его, но никто хорошо не знал, в чем дело, а Фабриций сам не мог воздержаться и повсюду болтал под секретом. Слышал ты историю Руфина?

¹ См. комментарий на с. 64 (*примеч. ред.*).

² *Codicilli* — записная книжка. Смотри об этом «Летопись» Тацита, кн. 14, гл. 50.

³ *Авл Дидий Галл Фабриций Вейентон* — римский политический деятель; книга под названием «Завещание» была написана им в 62 году (*примеч. ред.*).

⁴ *Пенаты* — боги-покровители домашнего очага, общества и государства (*примеч. ред.*).

⁵ *Scandalum* — в церковной латыни значит «соблазн». В таком ли смысле автор употребляет здесь это слово, сказать трудно.

⁶ *Patres* — сенаторы.

⁷ См. комментарий на с. 123 и 361 (*примеч. ред.*).

⁸ *Histrion* — актер. Нерон, сын Агриппины младшей и Домиция Агенобарба (*Ahenobarbus* по-латыни — «меднобородый») и сам носил такое же имя. После выхода Агриппины замуж за императора Клавдия молодой Домиций Агенобарб был усыновлен императором и получил имя Тиберий Клавдий Нерон Друз Германик Цезарь.

— Нет.

— Перейдем в фригидарий¹, там остынем, там я и расскажу тебе эту историю.

Они пришли в фригидарий, посредине которого бил фонтан струей, окрашенной в светло-розовый цвет и распространявшей благоухание фиалок. Оба патриция поместились в нишах, уставленных шелковой материей, и провели несколько минут в молчании. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, перекинув через свою руку нимфу, жадно искал своими устами ее уста, и наконец сказал:

— Он прав. Это самое лучшее в жизни.

— Более или менее. Но ты, кроме того, любишь войну. Я не люблю ее, потому что под навесом палатки ногти ломаются и перестают быть розовыми. Наконец, у всякого есть свое пристрастие. Меднобрадый любит пение, в особенности собственное, а старый Скавр — свою коринфскую вазу, которая стоит возле его ложа и которую он целует, если не может спать. Он уже потерял своими поцелуями ее края. Скажи мне, ты не пишешь стихов?

— Нет. Я никогда не сложил ни одного гекзаметра.

— Не играешь на кифаре? не поешь?

— Нет.

— Лошадьми не управляешь?

— Когда-то участвовал на ристалище в Антиохии, но без успеха.

— Тогда я спокоен за тебя. А к какой партии гипподрома² ты принадлежишь?

— К зеленым.

— Тогда я совсем спокоен. Правда, у тебя хорошее состояние, но ты не так богат, как Паллас или Сенека. Понимаешь, у нас теперь хорошо писать стихи, петь под кифару, декламировать и править лошадьми в цирке, но еще лучше, а главное безопаснее — не писать стихов, не петь, не играть и не выступать в цирке. А самое лучшее — уметь удивляться, когда это делает меднобрадый. Ты мальчик красивый, тебе может угрожать то, что в тебя влюбится Поппея. Впрочем, она чересчур опытна для этого. Любовью она насытилась при первых двух мужьях, а при третьем ее занимает нечто иное. Ты знаешь, что этот глупый Отон до сих пор до безумия любит ее... Блуждает себе по скалам Испании и вздыхает; так отвык от своих старых привычек и так перестал заботиться о себе, что для прически ему теперь достаточно трех часов в день. Кто бы мог ожидать этого, в особенности от Отона³.

— Я понимаю его, — ответил Виниций. — Но на его месте я делал бы что-нибудь другое.

— Что именно?

— Составлял бы себе верные легионы из тамошних горцев. Иберийцы — хорошие солдаты.

— Виниций, Виниций! Мне почти хочется сказать, что ты не был бы способен на это. А знаешь почему? Такие вещи делаются, но о них не говорят, даже условно.

¹ *Frigidarium* — холодное отделение римской бани.

² *Hippodromos* — у древних греков и римлян место, специально предназначенное для гонок колесниц, прототип современного ипподрома (*примеч. ред.*).

³ Поппея Сабина была замужем сначала за Руфрием Криспином, префектом преторианских когорт, потом за Отоном и, наконец, за императором Нероном. Отон, бывший товарищ Нерона, должен был уступить свою жену императору и получил назначение квестором в Испанию. [*Квестор* — здесь: помощник консула в финансовых и судебных делах (*примеч. ред.*).]

Что касается меня, то на его месте я смеялся бы над Попшеей, смеялся бы над меднобрадым и формировал бы себе легион, но не из иберийцев, а из ибериек. Кроме того, я писал бы эпиграммы, которых, впрочем, не читал бы никому, как бедный Руфин.

— Ты хотел рассказать мне его историю.

— Я расскажу ее тебе в унктуарии¹.

Но в унктуарии внимание Виниция было привлечено совсем другим, именно — необыкновенной красоты невольницами, которые ожидали купающихся. Две негрятки, подобные великолепным статуям из черного дерева, начали натирать тела патрициев тонкими благовониями Аравии; другие, искусные чесальщицы, фригийки, держали в своих мягких и гибких как змеи руках полированные стальные зеркала, а две, уже прямо напоминавшие богинь, греческие девушки с острова Коса ждали, как *vestiplicae*², когда придет время укладывать живописными складками тоги господ.

— Зевс Тучегонитель! — сказал Марк Виниций, — какой выбор у тебя!

— Я предпочитаю качество количеству, — ответил Петроний. — Вся моя фамилия³ в Риме не превышает четырехсот голов. Впрочем, я думаю, что для личных услуг разве только одним выскочкам нужно большее количество людей.

— Лучших *тел* даже у меднобрадного нет, — продолжал, раздувая ноздри, Виниций.

Петроний ответил на это с дружескою небрежностью:

— Ты — мой родственник, а я не такой неподатливый человек, как Басс, не такой педант, как Авл Плавтий.

Виниций, услышав это последнее имя, на минуту забыл о гречанках с острова Коса, поднял голову и спросил:

— Почему тебе в голову пришел Авл Плавтий? Разве ты знаешь, что я разбил руку, не доезжая до города, и несколько дней провел в его доме? Случилось так, что в это время проезжал Плавтий и, видя мои страдания, привез меня к себе. Его невольник, лекарь Меринон, и вылечил меня. Об этом, собственно, я и хотел поговорить с тобою.

— Зачем? Не влюбился ли ты случайно в Помпонию? В таком случае жаль мне тебя: она так немолода и так добродетельна! Я не могу себе представить ничего, что было бы хуже этого сочетания. Брр!

— Не в Помпонию, — сказал Виниций.

— Тогда в кого же?

— Если б я сам знал, в кого! Но я даже хорошо не знаю, как ее имя — Лигия или Каллина: в доме ее называют Лигией, потому что она происходит из лигийского народа, и, кроме того, у нее есть свое варварское имя — Каллина. Станный дом у этих Плавтиев, чистый муравейник, и тихо, как в Субиакских лесах. В течение нескольких дней я и не знал, что в нем обитает божество, но один раз на рассвете увидел, как она купается в садовом фонтане. И клянусь тебе пеной, из которой родилась Афродита, что лучи зари насквозь проходили через ее тело. Я думал, что когда солнце взойдет, она растает в его свете, как тает Аврора. С той поры я видел ее два раза и забыл,

¹ Отделение, где натирались мазями.

² *Vestiplica* — служанка, которая смотрела за платьем и собирала его в красивые складки.

³ *Familia* (вроде нашего «челядь», «дворня») есть имя собирательное для обозначения совокупности рабов в доме.

что такое спокойствие. У меня нет никаких других желаний, я не хочу знать, что может мне дать город, не хочу женщин, не хочу золота, ни коринфской меди, ни янтаря, ни перламутра, ни вина, ни пиров, — я хочу только одну Лигию. Я откровенно говорю тебе, Петроний, что тоскую о ней так, как тосковал о Пазифее Сон¹, изображенный на мозаике твоего тепидария, — тоскую по целым дням и ночам.

— Если это невольница, то купи ее.

— Она не невольница.

— Что же она такое? отпущенница Плавтия?

— Она никогда не была невольницей, поэтому не может быть и отпущенницей.

— Значит?..

— Не знаю: царская дочь или что-то подобное.

— Ты заинтересовал меня, Виниций.

— Если ты хочешь послушать меня, я сейчас же успокою твое любопытство.

История не особенно длинная. Ты, может быть, лично знал Ванния, царя свевов, которого изгнали из его страны и который долго прожил в Риме и даже прославился счастливою игрой в кости и умением управлять колесницей. Император Друз снова возвел его на трон. Ванний, — он в самом деле был твердый человек, — сначала царствовал хорошо и счастливо вел войны, а потом начал уж чересчур грабить не только соседей, но и своих свевов. Тогда Вангион и Сидон, два его племянника, сыновья Вибидия, царя германдуров, решили принудить его снова поехать в Рим... испытывать счастье в кости.

— Помню, — это клавдиевы недавние времена.

— Да. Вспыхнула война. Ванний призвал на помощь язигов, а его милые племянники — лигийцев, которые, услышав о богатстве Ванния и привлеченные надеждою на добычу, явились в таком количестве, что сам император Клавдий начал опасаться за спокойствие границы. Клавдию не хотелось вмешиваться в войну с варварами, но он все-таки приказал Палпелию Гистеру, который предводительствовал дунайским легионом, внимательно следить за течением войны и не позволял нарушать нашего спокойствия. Гистер потребовал от лигийцев обещания, что они не перейдут нашу границу. Лигийцы не только обещались, но дали заложников, среди которых находились жена и дочь их вождя... Тебе известно, что варвары выступают на войну с женами и детьми... Так вот, моя Лигия и есть дочь этого вождя.

— Откуда ты знаешь все это?

— Мне рассказывал сам Авл Плавтий. Лигийцы действительно не перешли границы, но варвары сваливаются, как буря, и уходят, как буря. Так исчезали и лигийцы со своими турьими рогами на голове. Они побили свевов и язигов Ванния, но их царь тоже погиб, — лигийцы ушли с добычей, а заложницы остались в руках Гистера. Мать вскоре умерла, Гистер не знал, что делать с дочерью, и отдал ее правителю всей Германии, Помпонию. Тот, после войны с каттами, возвратился в Рим, где Клавдий, как ты знаешь, разрешил ему триумф. Девушка шла за колесницей победителя, но торжество кончилось, заложницу нельзя было считать за пленницу, — Помпоний и сам не знал, что с нею делать, и поэтому передал ее своей сестре,

¹ *Pasithea* — одна из Харит (Граций). У Гомера, Илиада — XIV, 276, — Сон говорит Гере (Юноне): «...Клянись, что мне ты супругой Хариту младую дашь Пазифею, по коей давно я все дни въздыхаю».

Помпонию Грецине, жене Плавтия. В доме, где всё, начиная с господ и кончая курами на птичьем дворе, добродетельно, Лигия выросла такою же, увы, добродетельною, как сама Грецина, и такою прекрасною, что в сравнении с ней сама Поппея казалась бы осеннею фигой в сравнении с гиперборейским яблоком.

— Ну и что же?

— И, повторяю тебе, с минуты, когда я увидал, как солнечные лучи пронизывали ее тело насквозь, я без памяти влюбился в нее.

— Разве она так же прозрачна, как молодая сардинка?

— Не шути, Петроний, а если тебя вводит в заблуждение свобода, с которой я говорю о своей страсти, то знай, что часто под ярким платьем скрываются глубокие раны. Могу тебе сказать еще, что, возвращаясь из Азии, я провел одну ночь в храме Мопса¹, чтобы видеть пророческий сон. И вот, во сне мне явился сам Мопс и поведал, что в жизни моей благодаря любви произойдет большая перемена.

— Я слышал, как Плиний говорил, что не верит в богов, но верит в сны, и, может быть, он был прав. Мои шутки не мешают мне думать иногда, что действительно существует только одно божество, — вечное, всемогущее, творческое, — *Venus Genitrix*². Она сливает в одно души, тела и вещи. Эрот вызвал свет из хаоса. Хорошо ли он сделал, вопрос не в том; но раз это так, мы должны признать его могущество, хотя нам дозволяется и не благословлять его.

— Ах, Петроний! На свете легче получить урок философии, чем добрый совет.

— Скажи мне, чего же именно ты хочешь?

— Я хочу обладать Лигией. Я хочу, чтобы мои руки, которые теперь обнимают только воздух, могли обнять ее и прижать к груди. Я хочу впивать ее дыхание. Если бы она была невольница, я отдал бы за нее Авлу сто девушек, с ногами, вымазанными мелом в знак того, что их в первый раз выставляют на продажу. Я хочу видеть ее в своем доме до тех пор, пока голова моя не побелеет, как Соракта³ зимою.

— Она не невольница, но, в конце концов, принадлежит к фамилии Плавтия, и как заброшенный ребенок может считаться как *alumna*⁴. Плавтий мог бы уступить ее тебе, если бы хотел.

— Значит, ты не знаешь Помпонию Грецины. Наконец, они оба привязаны к ней, как к родной дочери.

— Помпонию я знаю. Настоящий кипарис. Если б она не была женою Авла, ее можно было бы нанимать в качестве плакальщицы. Со смерти Юлии она не снимала темной столь⁵ и вообще кажется такою, как будто бы при жизни ходит по лугу, поросшему асфоделями⁶. Притом, она *univira*⁷, — какой-то феникс среди наших четырех- и пятикратных разводов... Постой... Ты слышал, будто бы феникс действительно вывелся в верхнем Египте, что ему удается не чаще, как один раз в пятьсот лет?

¹ *Mopsus* — мифический предсказатель, получивший по смерти культ полубога. Об оракуле его в Киликии (область Малой Азии) упоминает Тертуллиан.

² Один из эпитетов Венеры — «родительница, мать».

³ *Soracte* — гора в Этрурии, недалеко от Рима, ныне *Monte di San Silvestro*.

⁴ *Alumna* — воспитанница.

⁵ *Stola* — длинное широкое платье, покрывавшее все тело от шеи до ног.

⁶ *Asphodelus* — растение с белыми, очень приятно пахнущими цветами (*Asphodelus ramosus* в ботанике). По верованию древних, этим растением покрыты луга в подземном царстве.

⁷ *Univira* — женщина, бывшая только один раз замужем.

— Петроний, Петроний! О фениксе мы поговорим когда-нибудь в другой раз.

— Что же я тебе скажу, милый Марк? Авла Плавтия я знаю, и хотя он осуждает мой образ жизни, но все-таки питает ко мне некоторую слабость, а может быть и уважает более, чем других, — он знает, что я никогда не был доносчиком, как, например, Домиций Афер, Тигеллин¹ и вся шайка друзей Агенобарба. Притом, не корча из себя стоика, я иногда морщился при виде таких поступков Нерона, на которые Сенека и Бурр² смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу выхлопотать ее для тебя у Авла, — я к твоим услугам.

— Я думаю, что ты можешь. Ты имеешь влияние на него, а твой неистощимый ум найдет какое-нибудь средство. Если бы ты всмотрелся в положение вещей и поговорил с Плавтием...

— Ты чересчур преувеличенного мнения о моем влиянии и моем остроумии; но если дело требует только этого, то я переговорю с Плавтием, как только он с семьей переседет в город.

— Они уже возвратились два дня тому назад.

— В таком случае, пойдем в триклиний³, — нас ждет завтрак, а потом, подкрепив силы, прикажем нести нас к Плавтию.

— Ты всегда был дорог мне, — живо проговорил Виниций, — но теперь, кажется, я прикажу среди своих ларов⁴ поставить твою статую, — вот такую чудесную, как эта, — и буду приносить ей жертвы.

Он повернулся к статуям, которые сплошь украшали всю стену комнаты, пропитанной благоуханиями, и указал рукою на статую Петрония в виде Гермеса с посохом в руке.

Потом он прибавил:

— Клянусь светом Гелиоса⁵! Если божественный Парис был похож на тебя, я не удивляюсь Елене.

В этом восклицании было столько лести, сколько и искренности; Петроний, хотя более старший годами и менее атлетически сложенный, был красивее Виниция. Римские женщины удивлялись не только гибкости его ума и вкусу, которому он был обязан прозвищем *arbiter elegantiarum*, но и телу. Удивление это было видно и на лице двух гречанок, которые теперь укладывали складки его тоги. Одна из гречанок, Эвника, втайне влюбленная в Петрония, с покорностью и восторгом заглядывала ему в глаза.

Но Петроний не обращал на это внимания и, только улыбнувшись Виницию, начал цитировать изречение Сенеки о женщинах:

— *Animal impudens*⁶... etc.

Затем он обнял его рукою и повел в триклиний.

В унктуарии две гречанки, фригийки и негритянки начали убирать мази. В это время из-за откинутой занавески фригидария показали головы двух бальнеаторов и послышалось тихое «ш-ш!» На этот призыв одна из гречанок, фригийки

¹ См. комментарий на с. 119 (*примеч. ред.*).

² Афраний Бурр и Сенека были воспитателями Нерона.

³ *Triclinium* — столовая.

⁴ *Lares* — домашние боги у римлян.

⁵ *Гелиос* — Солнце (*примеч. ред.*).

⁶ *Animal impudens* — бесстыдное животное.



Эника, вскарабкавшись на табурет, очутилась наравне со статуей, откинула назад золотые волосы и, прижавшись своим розовым телом к белому мрамору, в самозабвении начала прижимать свои губы к холодным устам Петрония.

и эфиопки повернулись и в мгновение ока исчезли за занавеской. В банях начиналась пора разгула и разврата, а домоправитель не мешал этому, потому что и сам нередко принимал участие в подобных пиршествах. Догадывался об этом и Петроний, но, как человек рассудительный и не любящий наказывать, смотрел на это сквозь пальцы.

В унктуарии осталась только Эвника. С минуту она прислушивалась к удаляющимся голосам и смеху, наконец взяла украшенный янтарем и слоновую костью табурет, на котором сидел Петроний, и осторожно придвинула к его статуе.

Унктуарий был залит солнечными лучами и красками, которые отражались от его стен, выложенных цветным мрамором.

Эвника, вскарабкавшись на табурет, очутилась наравне со статуей, откинула назад золотые волосы и, прижавшись своим розовым телом к белому мрамору, в самозабвении начала прижимать свои губы к холодным устам Петрония.





ГЛАВА II

После закуски, которая называлась завтраком, и за которую два друга сели тогда, когда простые смертные давно уже вышли из-за своего *prandium*¹, Петроний предложил немного подремать. По его мнению, для посещения гостей пора была еще ранняя. Правда, есть люди, которые начинают навещать своих знакомых при восходе солнца, да еще вдобавок считают этот обычай за древнеримский, но он, Петроний, находит это варварством. Самое лучшее время — это послеполуденные часы, но не раньше, однако, чем солнце перейдет в сторону Юпитера Капитолийского и не начнет бросать своих косвенных лучей на Форум². Осенью днем еще жарко, и люди с удовольствием спят после еды. В это время приятно прислушиваться к шуму фонтана и после обязательных тысячи шагов вздремнуть под красными лучами солнца, проходящими сквозь пурпурную занавеску.

¹ *Prandium* — полдник. Пища принималась римлянами обыкновенно три раза в день: завтрак около 9 часов утра (*ientaculum*), полдник около 12 часов (*prandium*) и обед после 3 часов пополудни (*cena*).

² *Форум* — в древнеримском градостроительстве центральная городская площадь, средоточие общественной жизни города (*примеч. ред.*).

Виниций согласился, и патриции начали прохаживаться взад и вперед, перекидываясь небрежными словами о том, что слышно в городе, а отчасти и философствуя над жизнью. Потом Петроний ушел в кубикул¹, но спал недолго. Через полчаса он вышел, приказал принести себе вербены, понюхал и начал натирать ею свои руки и виски.

— Ты не поверишь, как это оживляет и отрезвляет, — сказал он. — Теперь я готов.

Носилки ждали давно. Патриции сели и приказали нести себя на *Vicus Patricius*², в дом Авла. Инсула³ Петрония лежала на нижнем склоне Палатина, около так называемых Карин; кратчайшая дорога вела ниже Форума, но так как Петроний хотел зайти к ювелиру Идомену, то приказал следовать через *Vicus Apollinis* и Форум, в сторону *Vicus Sceleratus*⁴, на углу которой было множество таверн всякого рода.

Гиганты-негры подняли носилки и двинулись, послушные понуканиям проводников, педисеквиев. Петроний время от времени молча подносил к носу свои ладони, пахнущие вербеной, и, казалось, думал о чем-то, но наконец сказал:

— Мне приходит в голову, что если твоя лесная богиня не невольница, то легко могла бы покинуть дом Плавтия и перейти в твой дом. Ты окружил бы ее любовью и осыпал богатством, как и я мою боготворимую Хризотемиду, которую, говоря между нами, я настолько же пресытился, насколько и она мною.

Марк покачал головою.

— Нет? — спросил Петроний. — В худшем случае дело дошло бы до цезаря, а ты можешь быть уверен, что хотя благодаря бы моим влияниям наш меднобрадый будет на твоей стороне.

— Ты не знаешь Лигии! — ответил Виниций.

— Тогда позволь спросить тебя, ты-то знаешь ли ее? Ты говорил с нею? Признавался ей в любви?

— Я видел ее сначала у фонтана, а потом два раза встречался с нею. Помню, во время пребывания в доме Авла я жил в боковой пристройке, предназначенной для гостей, а моя разбитая рука не позволяла мне садиться за общий стол. Только накануне дня моего отъезда я встретил Лигию за ужином и не мог обменяться с нею ни одним словом. Я должен был слушать повествования Авла о его победах, одержанных в Британии, а потом об упадке мелких земельных хозяйств в Италии, который старался предотвратить еще Лициний Столон⁵. Вообще, я не знаю, сумеет ли Авл говорить о чем-нибудь другом, и не думай, что мы сумеем отделаться от этого, разве если ты захочешь слушать его рассуждения об изнеженности теперешних времен. У Плавтия на птичнике много фазанов, но их не режут, потому что всякий съеденный фазан приближает конец римского могущества. В другой раз я встретил Лигию возле садовой цистерны. У нее в руках был только что сорванный тростник, она погружала его кисть в воду и окропляла ирисы, растущие вокруг цистерны. Посмотри на мои колени.

¹ *Cubiculum* — спальная комната.

² *Vicus* — улица. *Vicus Patricius* — улица Патрициев.

³ *Инсула* — в древнеримской архитектуре многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаем (*примеч. ред.*).

⁴ *Vicus Apollinis* — улица Аполлона. *Vicus Sceleratus* — улица Злодеяния в Риме; называлась так потому, что Туллия переехала здесь через тело своего отца, Сервия Туллия.

⁵ *Licinius Stolo* — знаменитый трибун плебеев, живший в IV веке до Р. Х.

Клянусь щитом Геракла, они не дрожали, когда на наши полки с воем шли тучи парфян, но и мои колени дрогнули при этой цистерне. Смешавшийся, как мальчик, который еще носит буллу¹ на шее, я только глазами молил ее о любви и долго не мог вымолвить ни слова.

Петроний с завистью посмотрел на него.

— Счастливец! — сказал он. — Хотя бы мир и жизнь были совсем дурны, в них останется одно хорошее — молодость.

И через минуту он спросил:

— Ты так ничего и не сказал ей?

— О, нет! Немного придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что разбил себе руку, не доезжая до города, и сильно страдал, но когда мне приходится покидать этот гостеприимный дом, я вижу, что в нем страдание гораздо лучше наслаждения в каком-нибудь другом месте, болезнь лучше, чем здоровье в другом доме. Она слушала меня в смущении, с поникшей головой, чертя что-то тростником по шафранному песку. Наконец она подняла глаза, посмотрела на начерченные ею знаки, потом на меня, точно хотела спросить о чем-то, и вдруг исчезла, как гамадриада² от гуповатого фавна.

— Должно быть, у нее красивые глаза.

— Как море, и я утонул в них, как в море. Верь мне, Архипелаг³ не так лазурен. Через минуту прибежал маленький Плавтий и начал о чем-то спрашивать, но я не понял, что ему нужно.

— О, Афина! — воскликнул Петроний, — сними с глаз этого мальчика повязку, которую надел ему Эрот, иначе он разобьет себе голову о колонны храма Венеры!

Потом он обратился к Виницию:

— О, ты весенняя почка на древе жизни, ты первая зеленая ветвь винограда!.. Я должен был бы вместо дома Плавтия приказать нести тебя в дом Гелоция, где находится школа для незнакомых с жизнью мальчиков.

— Что ты хочешь сказать этим?

— А что она начертила на песке? Не имя Амура, не сердце, пронзенное стрелой, или что-нибудь такое, из чего бы ты мог узнать, что сатиры шептали этой нимфе о разных тайнах жизни? Что обозначали эти знаки?

— Я раньше надел тогу, чем ты думаешь это, — сказал Виниций, — и, прежде чем прибежал маленький Авл, я уже внимательно смотрел на эти знаки. Знаю ведь я, что и в Греции, и в Риме девушки чертят на песке признания, которые не хотят произнести их уста... Но угадай, что начертила она?

— Если что-нибудь другое, чем я предполагал, то не могу догадаться.

— Рыбу.

— Как ты сказал?

— Я говорю — рыбу. Должно ли это было обозначать, что в ее жилах до сих пор течет холодная кровь, не знаю. Но ты, который назвал меня весенней почкой на древе жизни, наверное, сумеешь лучше меня понять этот знак.

¹ *Bulla* — золотой ящичек, имевший форму сердца или шарика, с амулетом внутри. Его носили на шее дети римлян.

² *Hamadrias* — нимфа, обитающая в дереве, живущая с ним и умирающая.

³ *Архипелаг* — здесь: Эгейское море (*примеч. ред.*).

— *Carissime*¹! об этих вещах спроси у Плиния. Он знает толк в рыбах. Если бы старик Апиций² был жив, то он также сумел бы ответить на это, потому что в течение своей жизни съел больше рыбы, чем ее может поместиться в Неаполитанском заливе.

Дальнейшую беседу прервал шум толпы. Носилки с *Vicus Apollinis* свернули на *Boarium*³, а потом на Форум, где в погожие дни перед заходом солнца собирались толпы праздного народонаселения, чтобы прохаживаться между колонн, рассказывать и выслушивать новости, глазеть на носилки со знаменитыми людьми, а в особенности заглядывать в ювелирные, книжные и меняльные лавки, к торговцам шелковыми и бронзовыми изделиями. Этими лавками были переполнены дома, обнимающие часть рынка напротив Капитолия. Часть Форума, лежащая под навесом скал замка, была уже погружена в сумрак, зато колонны стоящих выше храмов ярко золотились на синем небе и бросали длинные тени на мраморные плиты. Колонн повсюду было такое множество, что глаз терялся в них, как в лесу. Казалось, что этим зданиям и колоннам становится тесно друг около друга. Они громоздились одна на другую, бежали вправо и влево, взбирались на холмы, прижимались к стене замка или одна к другой наподобие больших и меньших, толстых и тонких, золотистых и белых древесных стволов, то расцветающих под архитравом⁴ роскошным цветком аканфа⁵, то завитых ионическими рогами, то заканчивающихся простым дорическим квадратом. Над этим лесом блестяли цветные триглыфы⁶, из арок выделялись изваяния богов; крылатые, золоченые квадриги⁷ точно хотели сорваться с крыш и улететь в воздух, в лазурь, которая так спокойно свешивалась над этим городом храмов. По середине и по краям рынка текла волна людей; толпы прохаживались под арками базилики Юлия Цезаря, толпы сидели на ступенях Кастора и Поллукса и кружились около маленького храма Весты, отражаясь на этом мраморном фоне, точно разноцветные рои мотыльков или жуков. Сверху, со стороны святилища, посвященного «*Jovi optimo maximo*»⁸, струились новые волны; около Ростр⁹ народ слушал каких-то ораторов; здесь и там раздавались крики продавцов овощей, вина или воды с фиговым соком, зазывания

¹ См. комментарий на с. 126 (*примеч. ред.*).

² *Gavius Apicius* — современник императоров Августа и Тиберия, известный своею обжорливостью. На еду он тратил громадные суммы и вошел в большие долги; рассчитавши, что по уплате этих долгов от его состояния останется только десять миллионов сестерций (более 500 000 рублей), он принял яд, не желая жить в голоде. «Какова же была его роскошь, — замечает Сенека, — когда ему состояние в 10 миллионов сестерций казалось бедностью?».

[Здесь и далее имеется в виду золотой царский рубль 1900-х годов (*примеч. ред.*).]

³ *Forum Boarium* — Бычий форум, древнейший форум Рима. Находился на левом берегу Тибра в ложбине, окруженной Капитолийским, Палатинским и Авентинским холмами. Здесь находился древнейший порт Рима и велась торговля скотом.

⁴ *Архитрав* — здесь: нижняя горизонтальная балка, лежащая на капителях колонн (*примеч. ред.*).

⁵ *Аканф* — архитектурное украшение в виде стилизованных листьев (*примеч. ред.*).

⁶ *Триглыф* — здесь: орнамент с тремя вертикально расположенными желобками на перекрытии колонны (*примеч. ред.*).

⁷ *Quadriga* — колесница, запряженная четверкой лошадей.

⁸ «Юпитеру всеблагому, величайшему».

⁹ *Rostra* — трибуна посреди римского Форума, с высоты которой ораторы обращались к народу.

шарлатанов, предлагающих чудодейственные лекарства, отыскателей кладов, толкователей снов. Кое-где к шуму и крику примешивались звуки систры¹, египетской самбуки² или греческой флейты, кое-где люди больные или удрученные горем пробирались к храмам со своими жертвами. Стаи голубей, жадно набрасывающихся на жертвенное зерно, точно пестрые и темные пятна, то с шумом взлетали наверх, то опускались вниз на опустевшее место. От времени до времени народ расступался перед носилками, в которых было видно красивое женское лицо или лицо сенатора с окаменевшими и изможденными чертами. Разноязычная толпа вслух произносила их имена с добавлением издевательств или похвал. Между беспорядочными группами по временам мерным шагом протискивались отряды солдат или стражников, охраняющих уличный порядок. Греческий язык слышался так же часто, как латинский.

Виниций, который давно не был в городе, с любопытством смотрел на этот человеческий муравейник, на этот *Forum romanum*³, в одно и то же время и господствующий над волной света, и залитый этою волной. Петроний угадал мысль своего спутника и сказал, что Форум — это «гнездо квиритов⁴ без квиритов». Тут были эфиопы, светловолосые гиганты с далекого севера, британцы, галлы и германцы, косоглазые жители Серикума⁵, люди с Евфрата и люди с Инда, с бородами, выкрашенными в кирпичный цвет, сирийцы с берегов Оронта, со сладкими черными глазами, высохшие, как кость, обитатели аравийских пустынь, евреи с впавшею грудью, египтяне со своею неизменно равнодушною улыбкой, и нумидийцы, и африканцы, греки из Элады, которые наравне с римлянами владели городом, но владели при помощи искусства, ума и плутовства, греки с островов, из Малой Азии, из Египта, из Италии и из Нарбоннской Галлии. В толпе невольников с проколотыми ушами не было недостатка и в свободной, праздной черни, которую цезарь забавляя, кормил и даже одевал, и вольных пришельцев, которых в гигантский город привлекала легкая жизнь и расчет на Фортуну. Не было недостатка в перекупщиках и жрецах Сераписа⁶ с пальмовыми ветвями в руках, в жрецах Изиды, на алтарь которой теперь возлагалось более жертв, чем на алтарь Юпитера Капитолийского, в жрецах Кибелы⁷, которые носили золотые плоды кукурузы, и в жрецах бродячих божеств. На всяком шагу попадались восточные танцовщицы с яркими митрами на головах, продавцы амулетов, укротители змей и халдейские маги, наконец, люди без всяких занятий, которые каждую неделю являлись в притибрские кладовые за хлебом, добывали себе лотерейные билеты в цирках, проводили ночи в постоянно обваливающихся домах заречной части города,

¹ *Sistrum* — музыкальный инструмент, употреблявшийся египтянами при служении богине Изиде. Он состоял из нескольких металлических палочек, вделанных в металлическую рамку овальной формы с ручкой; за ручку брали этот инструмент и сильно им махали, отчего и получался звук.

² *Sambuca* — струнный инструмент вроде арфы.

³ Римский Форум.

⁴ *Quirites* — римские граждане (по одним данным, от слова *quiris* — копье, по другим — от сабинского города *Cures*).

⁵ *Seres* — народ в Средней Азии (приблизительно в Западном Китае). «Серикум» автор, очевидно, считает названием их страны, хотя у древних она так не называлась.

⁶ Египетский бог, культ которого проник и в Рим.

⁷ Фригийская богиня.



Храм Кастора и Поллукса

Базлика Юмия Цезаря

Триумфальная арка Тиберия

Капитолий

Храм Юпитера

Римский Форум



Храм Юпитера Громовержца Трибуны

Мамертинская тюрьма

Храм Сатурна

Храм Конкордии

Золотой мильный камень

Табуларий

а теплые солнечные дни в криптопортиках¹, в грязных харчевнях Субурры, на мосту Мильвия или перед инсулами богатых, откуда им от времени до времени выбрасывали остатки от трапезы невольников.

Петроний хорошо был знаком этим толпам. До ушей Виниция постоянно доходили слова: «*Hic est!*» («Это он!»). Его любили за щедрость, а популярность его еще более возросла с тех пор, когда он ходатайствовал перед цезарем за всю фамилию, то есть всех без различия пола и возраста невольников префекта Педания Секунда, приговоренных к смерти за то, что один из рабов в минуту отчаяния убил этого тирана. Правда, Петроний громко говорил, что ему, в сущности, это все равно, и он ходатайствовал перед цезарем только как *arbiter elegantiarum*, эстетическое чувство которого возмущала эта варварская резня, достойная каких-нибудь скифов, а не римлян. Тем не менее, народ, который волновался по поводу этой резни, с тех пор полюбил Петрония.

Но Петроний не заботился об этом. Он помнил, что тот же народ любил и Бригантика, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую он приказал убить, и Октавию, у которой вскрыли жилы, а потом задушили в горячем пару на Пандатарии², и Рубелия Плавта, который подвергся изгнанию, и Тразею, которому каждое утро могли принести смертный приговор. Теперь любовь народа скорее можно было считать за дурной признак, а скептицизм Петрония не мешал ему в то же время быть суеверным. Толпу он презирал по двум соображениям: и как художник, и как эстетик. Люди, от которых разило жареными бобами, которые они носили за пазухой, и к тому же вечно охрипшие от игры в мору³ на перекрестках или в перистилях⁴, не заслуживали в глазах Петрония названия людей.

Не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи толпы, Петроний рассказывал Марку о деле Педания, удивляясь изменчивости уличной черни, которая на другой день после грозного волнения рукоплескала Нерону, когда он сехал к храму Юпитера Статора⁵. У книжной лавки Авирна носилки остановились, Петроний вышел, купил украшенную рукопись и отдал ее Виницию.

— Это подарок тебе, — сказал он.

— Благодарю, — ответил Виниций, потом посмотрел на титул и спросил: — «*Satiricon*»? ⁶ Это что-то новое. Чье это?

— Мое. Но я не хочу идти по следам Руфина, историю которого я должен был рассказать тебе, или Фабриция Вейентона, поэтому о моем авторстве никто не знает, а ты никому не говори.

¹ *Cryptoporticus* — крытая прохладная галерея, в которой проводили время в жар или в дурную погоду.

² *Pandataria* — остров на Тирренском море, служивший в императорское время местом ссылки. Там была убита Октавия, дочь императора Клавдия и Мессалины и жена Нерона.

³ *Mora* — игра, состоявшая в том, что один из играющих должен был как можно скорее угадать число пальцев, которые другой быстро сжимал и разжимал.

⁴ См. комментарий на с. 29 (*примеч. ред.*).

⁵ *Stator* — охранитель, прозвание Юпитера у римлян.

⁶ Петронию приписывают сочинение вроде нравоописательного романа, озаглавленного «*Petronii Arbitri Satiricon*», первоначально довольно большого, но до нас дошедшего в неполном виде. Сочинение это рисует нравственное положение своего времени и то в прозе, то в стихах дает живые характеристики различного рода людей. Особенно замечательны в нем два отрывка: описания *пирра Трималхиона* (в прозе) и эпизод из *Гражданской войны* (в стихах).

— Ты говорил, что не пишешь стихов, — сказал Виниций, заглядывая в рукопись, — а тут я вижу, что проза густо пересыпана стихами.

— Когда будешь читать, обрати внимание на пир Трималхиона. Что касается стихов, то они опротивели мне с того времени, как Нерон начал писать эпос. Вителлий, когда хочет облегчить себе желудок, засовывает себе в горло палочку из слоновой кости, другие употребляют перья фламинго, омоченные в оливковое масло, а я читаю поэзию Нерона, и результат является немедленно. Потом я могу ее хвалить если не с чистым сердцем, то с чистым желудком.

Он снова задержал носилки перед ювелиром Идоменом и, устроив дело с геммами, приказал нести себя прямо в дом Авла.

— Чтобы доказать тебе, что значит авторское самолюбие, я расскажу тебе по дороге историю Руфина, — сказал Петроний.

Но не успел он начать своей истории, как носилки повернули на *Vicus Patricius* и вскоре остановились перед жилищем Авла. Молодой и крепкий *janitor* (придверник) отворил двери, ведущие в остий¹, а сорока, сидящая в клетке над дверями, приветствовала гостей криком: «*Salve!*» («Здравствуй!»).

По дороге в атрий Виниций сказал:

— Заметил ты, что придверник здесь без цепи?

— Станный это дом, — вполголоса сказал Петроний. — Вероятно, тебе известно, что Помпонию Грецину подозревали в принадлежности к суеверной восточной секте, основанной на поклонении какому-то Христу. Мне кажется, что этим она обязана Криспинилле, которая не может простить Помпонию, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. *Univira!*.. Теперь в Риме легче найти миску норийских² рыжиков. Ее судили домашним судом.

— Действительно, это странный дом. Потом я расскажу тебе, что видел и слышал здесь.

Они очутились в атрии. Заведующий им невольник, называющийся *atriensis*, послал номенклатора доложить о приходе гостей, а слуги в это время подставили им кресла и скамеечки под ноги. Петроний, казалось, воображал, что в этом доме царствует вечное уныние; он раньше никогда не бывал здесь, но теперь оглядывался вокруг с некоторым удивлением и с чувством удовольствия, потому что атрий производил скорее веселое впечатление. Сверху, сквозь большое отверстие, проникал сноп яркого света, который тысячами искр преломлялся в фонтане. Квадратная выемка — имплювий — с фонтаном посредине, предназначенная для приема дождя во время ненастной погоды, была обсажена анемонами и лилиями. Видимо, лилии любили все в доме, потому что они росли везде целыми группами, и белые, и красные, а также и голубые ирисы, тонкие лепестки которых были точно посеребрены водяною пылью. Посреди мокрого мха, скрывавшего горшки с лилиями, и посреди листьев виднелись бронзовые фигурки, изображающие детей и водяных птиц. В одном углу бронзовая лань наклоняла к воде свою заплесневелую от влаги, зеленоватую голову, точно ее томила жажда. Пол атрия был мозаичный, стены отчасти выложены красным мрамором, отчасти покрыты рисунками, изображающими деревья, рыб, птиц и грифов. Наличники дверей соседних комнат были украшены черепахой и даже

¹ *Ostium* — коридор, который вел от наружной двери в *atrium*, переднюю комнату дома.

² *Noricum* — провинция Римской империи, лежавшая около Дуная.

слоновою костью; у стен, меж деревьев, стояли статуи предков Авла. Повсюду был виден спокойный достаток, далекий от роскоши, но благородный и прочный.

Хотя обстановка Петрония была несравненно более богата и изящна, он не мог найти здесь ни одного предмета, который бы возмущал чувство его вкуса, и уже обратился было с этим замечанием к Виницию, как веларий¹ отдернул занавесь, отделяющую атрий от таблина², и в глубине дома показался Авл Плавтий, идущий поспешною походкой.

То был человек, уже приближающийся к вечерней поре жизни, с головой, убеленной сединою, но крепкий, с лицом энергическим, немного коротким, но зато напоминающим голову орла. Теперь на его лице выражалось некоторое недоумение, даже беспокойство по поводу неожиданного прибытия друга, товарища и наперсника Нерона.

Петроний был настолько светским и опытным человеком, чтобы не заметить этого, и потому после первых приветствий, со всем красноречием и изяществом, насколько его хватило, заявил, что приходит поблагодарить за гостеприимство, которое нашел в этом доме сын его сестры, и что благодарность — это единственная причина его посещения, на которое, впрочем, он осмелился еще и благодаря своему старому знакомству с Авлом.

Авл, со своей стороны, заверил Петрония, что видит в нем дорогого гостя, а что касается благодарности, то он сам чувствует ее, хотя, вероятно, Петроний не может доискаться причины.

Действительно, Петроний никак не мог догадаться, в чем дело. Тщетно, поднявши кверху свои ореховые глаза, он старался припомнить, какую услугу он мог оказать не только Авлу, но и кому бы то ни было. Он не припомнил ничего, за исключением разве того, что собирался сделать теперь для Виниция. Помимо его воли, правда, что-нибудь подобное могло случиться, но только помимо его воли.

— Я люблю и очень ценю Веспасиана, — сказал наконец Авл, — которому ты спас жизнь, когда, по несчастию, он однажды заснул во время чтения цезаря.

— Да, он был счастлив, не слышал этих стихов, — ответил Петроний, — но не спорю, что дело могло бы окончиться несчастием. Меднобрадый непременно хотел было отправить к нему центуриона с дружеским советом открыть себе жилы.

— А ты, Петроний, поднял его на смех.

— Точно, или, вернее, как раз наоборот. Я сказал ему, что если Орфей своею песней умел усыплять диких зверей, то триумф Нерона равносителен триумфу Орфея, коль скоро он сумел усыпить Веспасиана. Агенобарба можно порицать, но под условием, чтобы в маленьком порицании заключалась большая лесть. Наша милостивая августа³, Поппея, отлично понимает это.

— Увы, теперь такие времена, — ответил Авл. — У меня наперед недостает двух зубов, их выбил камнем британский воин, и от этого слово иногда со свистом выходит из моих уст, но самую счастливую пору своей жизни я провел в Британии.

— Самую доблестную, — добавил Виниций.

Петроний испугался, чтобы старый вождь не начал рассказывать о своих войнах, и переменял предмет разговора. Говорят, в окрестностях Пренесты крестьяне нашли

¹ *Velarius* — невольник, обязанный открывать занавеси — *velarium*.

² *Tablinum* — одна из главных комнат римского дома, находившаяся рядом с атрием.

³ См. комментарий на с. 144 (*примеч. ред.*).

мертвого волчонка о двух головах, а во время последней грозы молния сорвала фронтон с храма Луны, что для теперешнего позднего осеннего времени являлось чем-то неслыханным. Рассказывал ему это некто Котта, который прибавлял, что жрецы этого храма предвещают падение города или, по самой меньшей мере, падение какого-нибудь большого дома, и что это падение можно предотвратить только самыми необыкновенными жертвами.

Ава высказал мнение, что такими признаками пренебрегать нельзя. Что боги могут быть разгневаны распушенностью, перешедшею всякую меру, в этом нет ничего удивительного, а в таком случае умилостивительные жертвы как раз уместны.

На это Петроний сказал:

— Твой дом, Плавтий, не особенно велик, хотя в нем живет великий человек; мой, правда, чересчур велик для такого ничтожного владельца, но тоже мал. А если дело идет о разрушении чего-нибудь такого огромного, как, например *Domus transitoria*¹, то стоит ли нам возлагать жертвы, чтобы предотвратить это разрушение?

Плавтий не отвечал на этот вопрос. Эта осторожность немного кольнула даже Петрония. При всем отсутствии чувства разницы между добром и злом он не был доносчиком, и с ним можно было разговаривать с полной безопасностью. Он опять переменял разговор и начал восхвалять жилище Плавтия и хороший вкус, царящий во всем доме.

— Это старое гнездо, — сказал Плавтий, — и я не изменил здесь ничего со времени, когда оно перешло ко мне в наследство.

Теперь, при отдернутой занавеси, отделяющей атрий от таблина, дом был открыт весь напролет, так что через следующий перестиль² и большую торжественную залу — эк — взор проникал до сада, который виднелся издали, как светлая картина, заключенная в темную раму. Из сада в атрий доходили звуки детского смеха.

— Ах, вождь, — сказал Петроний, — дозвожь нам вблизи прислушаться к этому искреннему смеху, который теперь сделался такою редкостью!

— Охотно, — сказал Плавтий и встал с места. — Это мой маленький Ава и Лигия играют в мяч. Но что касается смеха, то я думаю, Петроний, что у нас вся жизнь проходит в нем.

— Жизнь достойна смеха, вот все и смеются, — ответил Петроний, — однако здесь смех звучит иначе.

— Но ты, Петроний — добавил Виниций, — смеешься не в течение всего дня, а скорее в течение всей ночи.

Они прошли всю длину дома и очутились в саду, где Лигия и маленький Ава играли в мячи, которые поднимали с земли и вновь подавали им особо предназначенные для этого невольники — сферисты. Петроний бросил быстрый взгляд на Лигию,

¹ Слова «*domus transitoria*» взяты из сочинения Светония «*De vita Caesarum*» («Биографии цезарей»). В биографии Нерона, глава 31, Светоний говорит: «*Domum a Palatio Esquilias usque fecit, quam primo transitoriam mox incendio absumptam restitutamque auream nominavit*» («Нерон построил дом от Палатинского холма до Эсквилинского, который назвал сперва *проходным*, а потом, когда он сгорел и был отстроен вновь, — *золотым*»). Проходным он назывался потому именно, что простирался от Палатинского холма до Эсквилинского, — таким образом, через него был проход от одного холма до другого.

² *Peristylum* — открытое пространство внутри римского дома (нечто вроде внутреннего дворика), окруженное колоннадой.

маленький Авл подбежал к Виницию, а тот склонил голову перед девушкой, которая стояла со слегка растрепанными волосами, задыхающаяся и раздурманенная.

В садовом триклинии, осененном плющом, виноградом и жимолостью, сидела Помпония Грецина, и гости пошли повидаться с нею. Петронию, хотя он и не бывал в доме Плавтия, Помпония была знакома, — он видал ее у Антистии, дочери Рубелия Плавта, у Сенеки и у Полиона. Он не мог освободиться от некоторого изумления, которое овладевало им при виде ее грустного, хотя и ясного лица, ее благородной фигуры. Помпония до такой степени шла вразрез с его понятиями о женщине, что этот человек, испорченный до мозга костей и самоуверенный, как никто во всем Риме, не только чувствовал известного рода уважение к Помпонии, но даже до некоторой степени утрачивал свою самоуверенность. И теперь, благодаря ее за попечения, оказанные Виницию, он как бы невольно вставил слово *Domina* — «госпожа», а это слово никогда не приходило ему в голову, когда он разговаривал с Кальвией, Криспиниллой, со Скрибонией, с Валерией, Полиной и другими женщинами большого света. После первых приветствий он выразил сожаление, что видит Помпонию так редко, что ее нельзя встретить ни в цирке, ни в амфитеатре. Помпония положила свою руку на руку мужа и спокойно ответила:

— Мы стареем и оба начинаем все больше любить уединение нашего дома.

Петроний хотел сказать что-то, но Авл Плавтий добавил своим свистящим голосом:

— И мы чувствуем себя как-то все более и более чуждыми среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами.

— С некоторого времени боги стали только риторическими фигурами, — небрежно заметил Петроний, — а так как риторике нас учили греки, то, например, мне самому легче сказать Гера, чем Юнона.

Он обратил глаза на Помпонию, как бы желая пояснить, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти ему в голову, а потом начал возражать против того, что она говорила о старости: «Действительно, люди стареют быстро, но такие, которые ведут совсем другой образ жизни, а кроме того, есть лица, о которых, казалось, забыл сам Сатурн».

Петроний говорил искренно; хотя жизнь Помпонии Грецины клонилась к закату, но лицо ее сохранило необыкновенную свежесть, и, несмотря на темное платье, несмотря на важность и грусть, придавало ей вид совершенно молодой женщины.

Тем временем маленький Авл, который подружился с Виницием еще раньше, начал приглашать его играть в мяч. За мальчиком вошла в триклиний и Лигия. Под сенью плюща, с солнечными пятнами, перебегающими по ее лицу, она теперь казалась Петронию более красивой, чем на первый взгляд, и действительно похожей на какую-то нимфу. До сих пор он не промолвил с нею ни слова, но теперь встал, склонил свою голову, и вместо обычных приветствий начал цитировать слова, которыми Одиссей приветствовал Навзикаю:

*Если одна из богинь ты, владычиц пространного неба,
То с Артемидою только, великою дочерью Зевса,
Можешь сходна быть лица красотой и станом высоким;
Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих,
То несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны
Братья твои...*



*«...Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих,
То несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны
Братья твои...»*

Даже Помпонию понравилась изящная любезность этого светского человека. Что касается Лигии, то она слушала смущенная, раскрасневшаяся, не смеющая поднять глаз. Но мало-помалу в кончиках ее губ заиграла задорная улыбка, — ей было и стыдно, и хотелось ответить. Последнее желание превозмогло, она вдруг подняла глаза на Петронию и ответила ему слова Навзикаи, залпом, как будто отвечала урок:

Странник, конечно, твой род знаменит, ты, я вижу, разумен...

Тут она повернулась и убежала, как испуганная птица.

Теперь очередь удивляться выпала и на долю Петронию, — он не ожидал услышать гомеровский стих из уст девушки, о варварском происхождении которой раньше слышал от Виниция. Он посмотрел на Помпонию, но та не могла дать ему ответа, потому что в это время с улыбкой наблюдала, какая гордость разлилась по лицу старого Авла.

Этой гордости Авла никак не мог скрыть. Прежде всего, он был привязан к Лигии, как к родной дочери, а потом, несмотря на староримские предубеждения, которые заставляли его громить греческий язык и его распространение, он считал его верхом образованности. Сам он никогда не мог хорошо научиться по-гречески и в глубине души скорбел об этом, и теперь был рад, что этому изящному человеку, да еще и писателю, который готов был считать его дом чуть ли не варварским, в этом же самом доме ответили стихом и языком Гомера.

— У нас в доме есть педагог, грек, — сказал он, обращаясь к Петронию. — Он учит нашего сына, а девочка прислушивается к урокам. Это — скромная птичка, но милая, и мы оба привыкли к ней.

Петроний сквозь ветви плюща и жимолости смотрел, как трое молодых людей играют в мяч. Виниций сбросил тогу и только в одной тунике подбрасывал сверху мяч, который старалась поймать Лигия, стоящая против него с поднятыми руками. Девушка на первый взгляд не произвела на Петронию особого впечатления; она казалась ему чересчур худощавою, но в триклинии он рассмотрел ее ближе и подумал, что такую может представлять только утренняя заря, и, как знаток, понял, что в ней кроется что-то необыкновенное. Он все заметил и все оценил: и розовое прозрачное лицо, и свежие уста, как будто созданные для поцелуев, и синие, как лазурь моря, глаза, и алебастровую белизну лба, и обилие темных волос, отливающих на сгибах отблеском янтаря или коринфской меди, и стройную шею, и «божественные» очертания плеч, и всю гибкую тонкую фигуру, молодую молодостью мая и только что распустившихся цветов. В нем проснулся художник и поклонник красоты, он почувствовал, что под статуей этой девушки можно было бы подписать «весна». Вдруг он вспомнил свою Хризотеиду, и ему захотелось расхохотаться. Со своею золотою пудрой и начерченными бровями она показалась ему баснословно увядшею, чем-то вроде пожелтевшей розы, начинавшей ронять лепестки. А, однако, ему завидовал весь Рим. Потом ему пришла на мысль Поппея, и эта прославленная Поппея показалась ему бездушною восковою маской. А вот в той девушке, с танагрскими¹ чертами лица, была не только весна, но и сверкающая Психея, которая просвечивала сквозь ее розовое тело, как огонь просвечивает сквозь лампаду.

¹ *Танагра* — греческий город, в котором производили терракотовые статуэтки, большей частью — изящные женские фигурки (*примеч. ред.*).

«Виниций прав, — подумал он, — а моя Хризотемида стара... стара, как Троя!»

Он обратился к Помпонию Грецине и, указывая на сад, сказал:

— Я теперь понимаю, домина, что при таких детях вы предпочитаете свой дом пирам на Палатине и цирку.

— Да, — ответила она и посмотрела в сторону маленького Авла и Лигии.

Старый вождь начал рассказывать историю девушки и то, что слышал когда-то от Палпелия Гистера о живущем во мраке севера лигийском народе.

Игра в мяч кончилась, и молодые люди прохаживались по саду, отражаясь на темном фоне миртов и кипарисов, как три белые статуи. Лигия держала маленького Авла за руку. Наконец они сели на скамье у piscine — рыбного садка, занимавшего середину сада. Авл вскоре вскочил и побежал пугать рыбу, а Виниций продолжал свою речь, начатую во время прогулки:

— Да, — говорил он низким дрожащим голосом. — Едва я сбросил претексту¹, как меня послали в азиатские легионы. С городом я не познакомился, не познакомился ни с жизнью, ни с любовью. Правда, я знаю на память кое-что из Анакреона и Горация, но не сумел бы так, как Петроний, говорить стихами тогда, когда ум немеет от удивления, когда не находишь и своих слов. Мальчиком я ходил в школу Музония, который говорил нам, что счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, и, значит, зависит от нашей воли. А я думаю, что есть другое, большее, лучшее счастье, которое от воли не зависит, и это счастье может дать только одна любовь. Счастья этого ищут сами боги, вот и я, Лигия, который до сих пор не узнал любви, также ищу ту, которая захотела бы одарить меня счастьем.

Он замолчал, и с минуту слышен был только плеск воды, в которую маленький Авл бросал камешки. Но вскоре Виниций начал говорить опять, голосом еще более мягким и тихим:

— Ты ведь знаешь сына Веспасиана, Тита? Говорят, едва выйдя из младенческого возраста, он так полюбил Баренику, что тоска чуть не высосала всю его жизнь... Лигия, и я бы умел полюбить так же!.. Богатство, слава, власть, — все это дым, тщета! Богатый найдет человека более богатого, чем он сам, прославленного мужа затмит бóльшая слава другого, сильного победит более сильный... Но неужели сам цезарь, неужели даже боги могут испытывать большее наслаждение, быть более счастливыми, чем простой смертный, когда к его груди прижимается дорогая грудь, когда его уста касаются любимых уст?.. Любовь равняет нас с богами.

Она слушала с тревогой, с удивлением и с таким чувством, как будто бы слушала звуки греческой кифары или цитры. По временам ей казалось, что Виниций поет какую-то странную песнь, которая вливается в ее уши, волнует в ней кровь, охватывает ее сердце и страхом, и вместе с тем какою-то непонятною радостью... Ей казалось, что он говорит что-то такое, что в ней самой было и раньше, но в чем она не умела отдать себе отчета. Она чувствовала, что в ней пробуждается то, что дремало до сих пор, и что в эту минуту смутный сон выливается все в более и более определенные и прекрасные формы.

Солнце давно уже закатилось за Тибр и стояло низко над Яникульским холмом. На неподвижные кипарисы падали снопы багрового света, весь воздух был насыщен

¹ *Toga praetexta* — тога с пурпуровой каймой, которую носили дети (взрослые носили тогу без этой каймы).

багрянцем. Лигия подняла на Виниция свои голубые глаза, точно стряхнувшие с себя дремоту, и вдруг, залитый блеском зари, наклонившийся над нею с умоляющими глазами, он показался ей более прекрасным, чем все люди, чем все греческие и римские боги, статуи которых она видела на фронтонах храмов. А он, слегка обхватив своими пальцами ее руку повыше локтя, спросил:

— Неужели ты не догадываешься, Лигия, зачем я говорю тебе это?

— Нет, — отвечала она так тихо, что Виниций едва мог расслышать.

Но он не поверил ей и, все сильнее сжимая ее руку, прижал бы к своему волнующемуся сердцу и обратился бы к ней с горячею речью, если бы на тропинке, обрамленной миртами, не показался старый Авл и не сказал:

— Солнце заходит, остерегайтесь вечернего холода и не шутите с Либитиной¹.

— Нет, — ответил Виниций, — я до сих пор не надел еще тоги и не почувствовал холода.

— А из-за гор выглядывает едва половина солнечного диска, — сказал старый воин. — Ведь здесь не мягкий климат Сицилии, где по вечерам люди собираются на рынках, чтобы прощальным хором приветствовать заходящего Феба.

И, забыв, что минуту тому назад он сам предостерегал от Либитины, Плавтий начал рассказывать о Сицилии, где у него были свои поместья и большое сельское хозяйство, которое он любил всею душой. Он упомянул, что ему не раз приходило в голову переехать в Сицилию и там спокойно доживать остаток своих дней. Для того, кому протекшие годы убедили голову, достаточно уже зимнего инея. С деревьев еще не опал лист, над городом еще ласково улыбается небо, но когда виноград пожелтеет, когда в Альбанских горах выпадает снег, а боги нашьют на Кампанию пронзительные вихри, тогда — кто знает, не переселится ли он со всем домом в сельское затишье?

— Ты хочешь покинуть Рим, Плавтий? — спросил Виниций с внезапным беспокойством.

— Мне давно хочется туда, — ответил Авл, — там спокойнее и безопаснее, — и он снова начал восхвалять свои сады, стада, дом, укрытый в зелени, и пригорки, между которыми жужжат рои пчел. Но Виниций не обращал внимания на эту буклическую ноту, и, думая только о том, что может утратить Лигию, смотрел в сторону Петрония, точно ожидал помощи только от него одного.

Тем временем Петроний, сидя рядом с Помпонией, любовался видом заходящего солнца, сада и людей, стоящих около писцины. На небе заря начала окрашиваться пурпурным и фиолетовым цветами и изменяться наподобие опала. Черные силуэты кипарисов сделались более явственными, чем днем, — и на людей, и на деревья, и на весь сад спускался вечерний покой.

Петрония поразил этот покой, в особенности, как он отражался на людях. В лицах Помпонии, старого Авла, их мальчика и Лигии было что-то такое, чего он не видал в лицах людей, окружавших его весь день, или, вернее, всю ночь, — какое-то умиротворение, какая-то ясность, истекающая прямо из жизни, которую они вели. И Петроний с удивлением подумал, что, однако, могли существовать красота и радость, которых он, вечно гоняющийся за красотой и радостью, не знал. Этой мысли он не сумел скрыть в себе и сказал, обращаясь к Помпонии:

¹ *Libitina* — богиня похорон.

— Я взвешиваю в душе, насколько ваш мир отличен от того мира, которым правит наш Нерон.

Помпония подняла свое лицо к вечерней заре и ответила просто:

— Миром правит не Нерон, а Бог.

Наступила минута молчания. В аллее послышались шаги старого вождя, Виниция, Лигии и маленького Авла; но прежде чем они приблизились, Петроний задал еще вопрос:

— Так, значит, ты веришь в богов, Помпония?

— Я верю в Бога единого, справедливого и всемогущего, — ответила жена Авла Плавтия.





ГЛАВА III

— Верит в Бога единого, справедливого и всемогущего, — повторял Петроний, когда очутился вновь в носилках наедине с Виницием. — Если Бог всемогущ, тогда он управляет жизнью и смертью, а если он справедлив, тогда посылает смерть вовремя. Зачем же Помпония носит траур по Юлии? Жалея Юлию, она оскорбляет своего Бога. Это умозаключение я должен повторить нашей меднобровой обезьяне, потому что в диалектике считаю себя равным Сократу. Что касается женщин, то я соглашусь, что у каждой три или четыре души, но нет ни одной души разумной. Пусть бы Помпония поговорила с Сенекой или Корнутом¹ о том, что такое великий Логос²... Пусть бы они вместе вызывали тени Ксенофана, Парменида, Зенона и Платона, которые томятся где-то там, в киммерийских краях³, как чижы в клетке. Я хотел поговорить с нею и с Плавтием совсем о другом. Клянусь священным чревом египетской Изиды! Если б я сказал им просто, зачем пришел, то их добродетель зазвенела бы, как медный щит, в который кто-нибудь ударил бы палкой. Я и не посмел. Поверь мне, Виниций, не посмел! Павлины — красивые птицы, но кричат они уж чересчур пронзительно. Я испугался крика. Однако я должен одобрить твой выбор. Настоящая «розоперстая заря»... И знаешь, что такое она напоминает мне? Весну, да не нашу,

¹ См. комментарий на с. 123 (*примеч. ред.*).

² См. комментарий на с. 102 (*примеч. ред.*).

³ См. комментарии на с. 71 и 396 (*примеч. ред.*).

в Италии, где яблони едва покроются цветом, как оливки сделаются такими же серыми, какими были и прежде, но ту весну, которую я видел когда-то в Гельвеции¹, — молодую, свежую, светло-зеленую... Клянусь этою бледною Селеной², я не удивляюсь тебе, Марк, но знай, что ты любишь Диану, и что Авла и Помпония готовы растерзать тебя, как некогда собаки растерзали Актеона.

Виниций молчал, поникнув головой, потом заговорил голосом, прерывающимся от страсти:

— Я жаждал ее и раньше, а теперь жажду еще больше. Когда я взял ее руку, меня точно огнем охватило... Я должен обладать ею. Если б я был Зевсом, то окутал бы ее тучей, как он окутал *Io*³, или спустился бы на нее дождем, как он спустился на Данаю. Я хотел бы лобзать ее уста до боли, я хотел бы слышать ее крик в моих объятиях. Я хотел бы убить Авла и Помпонию, а ее схватить и унести на руках в свой дом. Сегодня спать я не буду. Прикажу бичевать кого-нибудь из своих невольников и буду прислушиваться к его крикам...

— Успокойся, — сказал Петроний, — у тебя вкусы столяра из Субурры.

— Мне все равно. Я должен обладать ею. Я пришел к тебе за помощью, но если ты мне не окажешь ее, я найду и сам... Авла считает Лигию дочерью, — почему мне смотреть на нее, как на невольницу? Коль скоро мне нет другого пути, пускай она намажет мои двери волчьим жиром⁴, пусть, как жена, сядет у моего очага.

— Успокойся же, безумный потомок консулов! Не для того мы влачим на веревках варваров за своими колесницами, чтобы жениться на их дочерях. Берегись крайности. Исчерпай все приличные средства и оставь себе и мне время для размышления. Мне Хризотемида так же казалась дочерью Зевса, однако я не женился на ней, как и Нерон не женился на Актее, хотя ее хотели представить в виде дочери царя Аттала... Успокойся! Подумай, что если она захочет оставить Авла для тебя, ее никто удерживать не имеет права; знай, кроме того, что не только ты один пылаешь, потому что и в ней Эрот раздул пламя... Я видел это, а мне верить можно... Имей терпение. На все есть свои средства, но сегодня я и так много думал, а это мне надоедает. Зато я обещаю тебе, что завтра я опять подумаю о твоей любви, и Петроний не был бы Петронием, если б не придумал какого-нибудь исхода.

Они смолкли оба; наконец немного погодя Виниций сказал, но уже спокойнее:

— Благодарю тебя, и да будет Фортуна благосклонна к тебе.

— Будь терпелив.

— Куда ты приказал нести себя?

— К Хризотемиде.

— Счастливец, ты обладаешь тою, кого любишь!

— Я? Знаешь, что меня еще интересует в Хризотемиде? Это то, что она изменяет мне с моим собственным отпущенником, кифаристом Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил ее, но теперь меня забавляет ее ложь и ее глупость. Пойдем вместе к ней. Если она начнет кружить тебе голову и чертить на столе буквы пальцем, омоченным в вине, то знай, что я не ревнив.

¹ Гельвеция — прежнее название Швейцарии (*примеч. ред.*).

² Селена — луна.

³ См. комментарий на с. 66 (*примеч. ред.*).

⁴ Один из брачных обрядов у римлян.

И они приказали нести себя к Хризотемиде.

В сенях Петроний положил руку на плечо Виниция и сказал:

— Подожди, мне кажется, что я придумал средство.

— Да наградят тебя все боги!

— Да, да! Мне кажется, средство безошибочное... Знаешь что, Марк?

— Я слушаю тебя, моя Афина.

— Через несколько дней божественная Лигия будет вкушать в твоём доме зерно

Дементры.

— Ты выше цезаря! — с восторгом воскликнул Виниций.





ГЛАВА IV

Петроний действительно сдержал свое обещание. Правда, после посещения Хризотемиды он проспал целый день, зато вечером приказал нести себя на Палатин и вел с Нероном разговор с глазу на глаз, вследствие чего на третий день перед домом Плавтия появился центурион во главе нескольких преторианских¹ солдат.

Время было тревожное и страшное. Посланцы такого рода чаще всего были вестниками смерти. Лишь только центурион ударил молотком в двери Авла, и лишь только надзиратель атрия дал знать, что в сенях стоят солдаты, во всем доме воцарилась паника. Старого вождя окружила вся семья, — никто не сомневался, что опасность прежде всего грозила ему. Помпония, обняв его, крепко прижалась к нему, а ее посиневшие губы тихо шептали какие-то слова; Лигия с лицом бледным, как полотно, осыпала поцелуями его руки; маленький Авл цеплялся за его тогу; из коридоров, из верхних комнат, предназначенных для прислужниц, из бани, из подвальных помещений начали появляться толпы невольников и невольниц. Послышались крики: «*Heu! heu! me miserum!*»². Женщины ударились в плач, одни начали царапать себе щеки, другие покрывали голову платками.

Но один старый вождь, давно привыкший прямо смотреть смерти в глаза, оставался спокойным, и только его орлиное лицо как будто сразу окаменело. Он прекратил шум, приказал разойтись прислуге и сказал:

— Пустите меня, Помпония. Если наступил мой час, то у нас будет время проститься.

¹ *Претор* — представитель высшей судебной власти (*примеч. ред.*).

² Увы! увы! я несчастный!

Он слегка отстранил ее, а она сказала:

— О, Ава! если бы твоя участь была и моею участью!

Она упала на колени и начала молиться с такою горячностью, какую может придать только опасение за дорогое существо.

Ава вошел в атрий, где его ждал центурион. То был старик Кай Гаста, бывший его подчиненный и товарищ по британским войнам.

— Привет тебе, вождь, — сказал Кай. — Я приношу тебе приказ и благоволение цезаря. Вот таблицы и знак, что я прихожу от его имени.

— Благодарю цезаря за его благоволение и готов исполнить его приказ, — ответил Ава. — Приветствую тебя, Гаста, говори, зачем ты пришел ко мне.

— Ава Плавтий, — начал Гаста, — цезарь узнал, что в доме твоём проживает дочь лигийского царя, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал в руки римлян как ручательство, что лигийцы никогда не перейдут границы империи. Вождь, божественный Нерон, признателен тебе за то, что ты в течение стольких лет оказывал ей гостеприимство; но, не желая больше обременять твоего дома и признавая, что заложница должна оставаться под покровительством самого цезаря и сената, приказывает тебе выдать ее мне на руки.

Ава был в достаточной степени солдатом и достаточно закаленным мужем, чтобы ввиду императорского приказа позволить себе проявить горе или высказать жалобу. Но, несмотря на то, на его лбу появилась складка гнева и скрытой боли. Перед такими складками когда-то дрожали британские легионы; даже и в эту минуту на лице Гасты отразился страх. Но теперь перед лицом приказа Ава Плавтий чувствовал себя безоружным. Долго он смотрел на таблицы, потом поднял глаза на старого центуриона и сказал спокойно:

— Обожди, Гаста, в атрии, прежде чем я выдам тебе заложницу.

После этих слов он прошел на другой конец дома, в зал, называемый эк, где Помпония Грецина, Лигия и маленький Ава ждали его с беспокойством и тревогой.

— Никому не грозит ни смерть, ни изгнание на далекие острова, — сказал он, — но посол цезаря все-таки вестник несчастья. Дело о тебе идет, Лигия.

— О ней! — воскликнула Помпония.

— Да, — сказал Ава и, обратившись к девушке, заговорил: — Лигия, ты воспитывалась в нашем доме, как родная, и мы оба с Помпанией любим тебя, как дочь. Но тебе известно, что ты не наша дочь. Ты — заложница, которую твой народ отдал Риму, и должна состоять под покровительством цезаря. Теперь цезарь хочет тебя взять из нашего дома.

Вождь говорил спокойно, но каким-то странным, необычайным голосом. Лигия слушала его, как бы не понимая, о чем идет речь, щеки Помпоники побледнели, в дверях залы снова начали показываться испуганные лица невольниц.

— Воля цезаря должна быть исполнена, — сказал Ава.

— Ава! — крикнула Помпония, обнимая девушку, как будто бы хотела защитить ее, — лучше бы ей было умереть!

Лигия прижималась к ее груди и только повторяла: «Мама, мама!» Среди рыданий она не могла отыскать других слов.

На лице Авла отразились гнев и боль.

— Если б я был один на свете, — угрюмо сказал он, — то я не отдал бы ее живою, и родственники мои еще сегодня могли бы принести за нас жертвы Юпитеру

Освободителю... Но я не имею право губить тебя и нашего сына, который может дожить до более счастливых времен... Я сегодня же отправляюсь к цезарю и буду умолять его, чтоб он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня — не знаю. Пока будь здорова, Лигия, и знай о том, что и я, и Помпония всегда благословляли день, когда ты приблизилась к нашему очагу.

Он положил руку на ее голову, и хотя старался сохранить спокойствие, однако в ту минуту, когда Лигия подняла на него глаза, полные слез, и прижала к губам его руку, в голосе его задрожало глубокое отцовское горе.

— Прощай, радость наша и свет очей наших! — сказал он и быстро пошел по направлению к атрию, чтобы не позволить овладеть собою волнению, недостойному римлянина и вождя.

Тем временем Помпония, проводив Лигию в спальную комнату, начала успокаивать, утешать и говорить ей поощряющие слова, странно звучащие в этом доме, где в соседней комнате находился ларарий¹ и алтарь, на котором Авл Плавтий, верный древнему обычаю, приносил жертвы домашним богам. Час испытания наступил. Когда-то Виргиний пронзил грудь собственной дочери, чтоб освободить ее из рук Аппия; еще раньше Лукреция² добровольно заплатила жизнью за свой позор. Дом цезаря — вертеп позора, зла, преступления. «Но мы, Лигия, — известно почему, — не имеем права поднять на себя руку...» Да, закон, которому они подчиняются, выше, святее, но и он позволяет обороняться от зла и позора, хотя бы эту защиту пришлось оплатить жизнью и муками. Кто выходит чистым из притона разврата, тем больше его заслуга. Земля и есть именно такой притон, но, к счастью, жизнь, — это только одно мгновение ока, а воскресают только из гроба, за которым кончается власть Нерона и начинается царство Милосердия, вместо мучений — радость, вместо слез — веселье.

Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее сердце нет недостатка в болезненных ранах. Очи Авла еще ослеплены, на них еще не упал луч света. И сына ей невозможно воспитывать в свете правды. Когда она подумает, что так может продолжаться до конца жизни, что может подойти минута разлуки с ними, во сто крат более страшная, чем та временная, о которой они теперь сокрушаются, она не может даже понять, каким образом сумеет обойтись без них, быть счастливою без них даже в небе. Много ночей она провела в слезах, много ночей молилась, прося о помиловании и милосердии. Свою скорбь она приносит в жертву Богу, ждет и надеется. А когда теперь на нее свалился новый удар, когда приказ насильника отнимает дорогое существо, которое Авл называл светом своих очей, она верит все-таки, что есть сила выше силы Нерона, и Милосердие превозможет его.

Она еще крепче прижала к своей груди голову девушки, а та склонилась к ее коленям и, скрывая лицо в складках ее пеплума³, долго молчала, но когда поднялась, лицо ее было уже более спокойно.

— Мне жаль тебя, и отца, и брата, но я знаю, что сопротивление не привело бы ни к чему и только погубило бы всех вас. Зато я клянусь тебе, что в доме цезаря никогда не забуду твои слова.

¹ См. комментарий на с. 255 (*примеч. ред.*).

² *Лукреция* — жена римского патриция, которая предпочла смерть бесчестию (*примеч. ред.*).

³ *Perlitum* — греческое название одежды, называвшейся у римлян *palla*. Носили ее не одни только матроны (как стóлу), но и иностранки, и отпущенницы, и женщины легкого поведения.

Она еще раз обняла Помпонию, выбежала в эк и начала прощаться с маленьким Авлом, со старичком греком, который был их учителем, со своею служанкой, которая когда-то нянчила ее, и со всеми невольниками.

Один из них, высокий и плечистый лигиец, которого в доме Плавтия звали Урс (Медведь) и который прибыл в римский лагерь вместе с Лигией, пал к ее ногам, потом склонился к коленям Помпонию и сказал:

— О, домина! позволь мне идти с моею госпожой, служить ей и оберегать ее в доме цезаря!

— Ты не наш слуга, а Лигии, — ответила Помпония Грецина, — допустят ли тебя до дверей цезаря? Да и как ты можешь оберегать ее?

— Не знаю, домина, я знаю только одно, что железо ломается в моих руках, как дерево.

Ава Плавтий, — он только что вошел в это время и узнал, в чем дело, — не только не воспротивился желанию Урса, но заявил, что не имеет права его задерживать. Они отправляют Лигию как заложницу, о которой упоминает цезарь, значит, обязаны отпустить и ее свиту, — вместе с нею и свита поступает под покровительство цезаря. Он шепнул Помпонию на ухо, что под видом свиты он может дать ей столько невольниц, сколько найдет нужным, — центурион не смеет отказать в их приеме.

Для Лигии в этом крылось некоторое утешение. Помпония также была рада, что может окружить ее слугами по своему выбору. Кроме Урса, изъявили желание идти старая служанка Лигии, две кипрянки, искусные чесальщицы волос, и две банщицы-германки. Выбор Помпонию пал исключительно на последователей новой веры. Урс исповедовал ее несколько лет, и Помпония могла рассчитывать на верность его службы и вместе с тем утешаться мыслью, что семена правды будут посеяны и в доме цезаря.

Она написала несколько слов, поручая опеку над Лигией отпущеннице Нерона Актее. Правда, Помпония не ведала ее на собраниях адептов нового вероучения, но слышала, что Актея никогда не отказывает им в своих услугах и жадно читает послания Павла Тарсянина¹. Помпонию было известно, что молодая отпущенница живет в постоянной грусти, не похожа на всех женщин дома Нерона и вообще является добрым духом его дворца.

Гаста взялся сам вручить письмо Актее. Считая вещь совершенно естественною, что у царской дочери должна быть своя свита, он не ставил никаких препятствий к тому, чтобы ввести ее во дворец, и только удивлялся ее малочисленности. Наконец час разлуки наступил. Глаза Помпонию и Лигии снова наполнились слезами, Ава еще раз возложил руку на ее голову, и через минуту солдаты, сопровождаемые криками маленького Авла, который грозил центуриону, повели Лигию в дом цезаря.

Старый вождь приказал готовить себе носилки, а пока, запершись с Помпониюй в соседней с эком пинакотеке (картинной галерее), сказал:

— Слушай меня, Помпония. Я отправляюсь к цезарю, хотя, как мне кажется, напрасно. Если слово Аннея Сенеки имеет какое-нибудь значение в его глазах, я побываю и у Сенеки. Теперь больше имеют веса Софоний Тигеллин, Петроний или Ватиний. Сам цезарь, может быть, во всю жизнь никогда и не слышал о лигийском народе, и если потребовал выдачи Лигии как заложницы, то только потому, что его кто-нибудь просил об этом, и легко угадать, кто мог бы сделать это.

¹ Апостол Павел (*примеч. ред.*).



— Прощай, радость наша и свет очей наших!

Помпония быстро подняла на него глаза:

— Петроний?

— Да.

— Вот что значит дозволить переступить через порог кому-нибудь из этих людей без чести и совести. Да будет проклята минута, когда Виниций вошел в наш дом! Это он привел к нам Петрония. Горе Лигии! Не о заложнице, а о наложнице идет тут дело!

Благодаря гневу, бессильному бешенству и жалости о приемной дочери голос его сделался более свистящим, чем обыкновенно. Он боролся с самим собой, и только его стиснутые руки показывали, как тяжело достается ему эта внутренняя борьба.

— Я до сих пор чтил богов, — сказал он, — но в эту минуту думаю, что нет их над миром, что существует только один — злой, бешеный и отвратительный, имя коему Нерон.

— Авл! — сказала Помпония, — Нерон только горсть гнилого праха перед лицом Бога!

Плавтий большими шагами прохаживался по мозаике пинакотечи. Жизнь его была деятельна, но в ней не было больших несчастий, поэтому он и не был подготовлен к ним. Старый солдат привязался к Лигии больше, чем сам думал об этом, и теперь не мог свыкнуться с мыслью, что утратил ее. Кроме того, он чувствовал себя униженным. Над ним тяготела рука, которую он презирал, и в одно и то же время чувствовал, что в сравнении с ее силой его сила — ничто.

Наконец он подавил в себе гнев, который спутывал его мысли, и сказал:

— Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для цезаря, он не захотел бы подвергнуться гневу Поппеи. Значит, или для себя, или для Виниция. Я сегодня же осведомлюсь об этом.

Через несколько минут носилки влекли его по направлению к Палатину, а Помпония пошла к маленькому Авлу, который не переставал плакать о сестре и угрожать цезарю.



ГЛАВА V

Авл верно предположил, что не будет допущен пред лицом Нерона. Ему объявили, что цезарь занимается пением с кифаристом Терпном и что вообще не принимает тех, кого не приглашал. Другими словами, это обозначало то, чтобы Авл и на будущее время не пытался видаться с императором.

Зато Сенека, хотя и больной лихорадкой, принял старого вождя с подобающею честью, но когда выслушал его жалобы, горько усмехнулся и сказал:

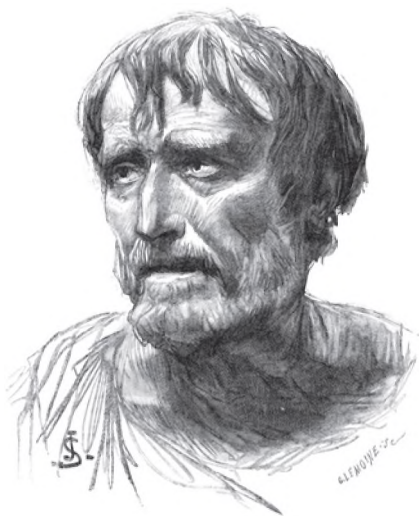
— Я могу оказать тебе только одну услугу, благородный Плавтий: никогда не показывать цезарю, что мое сердце чувствует твою боль, и что я хотел бы помочь тебе. Если б цезарь возымел хоть малейшее подозрение, знай, что он не отдал бы тебе Лигии, хотя бы у него не было никаких других соображений, кроме желания поступить мне назло.

Сенека не советовал ему идти ни к Тигеллину, ни к Ватинию, ни к Вителлию. При помощи денег с ними, может быть, удалось бы что-нибудь сделать, может быть, они постарались бы сделать неприятность Петронию, под которого они стараются подкопаться, но непременно выдали бы цезарю, насколько Лигия дорога Плавтию, и в таком случае цезарь тем более не отдал бы ее. И старый мудрец заговорил с грязущею иронией, которая направлялась против него самого:

— Ты молчал, Плавтий, молчал в течение нескольких лет, а цезарь не любит тех, которые молчат. Как же это ты не восторгался его красотою, добродетелью, пением, его декламацией, стихами и умением управлять колесницей? Как же ты не радовался смерти Британика, не сказал похвальной речи в честь матерубийцы и не принес поздравлений по поводу удушения Октавии? Тебе, Авл, недостает пронизательности, которою мы, живущие при дворе, обладаем в достаточной степени.

Он взял кубок, который носил за поясом, зачерпнул воды из имплювия¹, освежил горячие уста и продолжал:

— Ах, Нерон обладает благородным сердцем. Он любит тебя, потому что ты служил Риму и прославил его имя на краю света, и меня любит, потому что я был его



¹ *Impluvium* — водоем, устроенный в атрии; в него стекала дождевая вода через отверстие в крыше, называвшееся *compluvium*.

воспитателем в молодости. Поэтому, видишь ли, я знаю, что эта вода не отравлена, и пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но если тебя мучит жажда, то смело выпей этой воды. Водопроводы несут ее с Альбанских гор, и чтоб отравить ее, нужно было бы отравить все фонтаны в Риме. Как видишь, в сем мире можно еще чувствовать себя неуязвимым и пользоваться спокойно старостью. Правда, я болен, но у меня скорее скорбит душа, чем тело.

Это было верно. Аннею Сенеке не хватало той силы души, которою обладали, например, Корнут или Тразея, и вся жизнь его представляла ряд уступок преступлению. Он сам чувствовал это, сам понимал, что последователь Зенона Китийского¹ должен идти другим путем, и по этому поводу страдал более, чем от боязни перед смертью.

Но вождь прервал его горькие рассуждения.

— Благородный Анней, — сказал он, — я знаю, как цезарь заплатил тебе за печения, которыми ты окружил его отроческие лета. Но виновник похищения моей приемной дочери — Петроний. Укажи мне способ, укажи мне влияния, каким он подчиняется, наконец, и сам употреби против него все свое красноречие, каким тебя может вдохновить твоя старая приятельница ко мне.

— Петроний и я, — ответил Сенека, — люди двух противоположных лагерей. С ним я сделать ничего не могу: он не поддается никаким влияниям. Может быть, при всей своей развращенности он больше стоит, чем все негодяи, которыми теперь окружил себя Нерон, но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, это только понапрасну тратить время: Петроний давно утратил смысл, который помогает различать добро от зла. Докажи ему, что его поступок лишен изящества, тогда он устыдится. Когда я увижу его, то скажу: твои деяния достойны отпущенника. Если это не поможет, — ничто не поможет.

— Благодарю и за то, — сказал вождь.

Он приказал нести себя к Виницию, которого застал за фехтованием с домашним ланистом². Авл при виде молодого человека, спокойно предающегося физическим упражнениям в то время, когда покушение на Лигию уже было совершено, страшно разгневался, и этот гнев, едва лишь ланист удалился, вылился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Виниций, узнав о похищении Лигии, так страшно побледнел, что даже Авл не мог ни на минуту усомниться в его невинности. Лоб молодого человека покрылся каплями пота, кровь, которая прилила было к сердцу, горячим потоком вновь хлынула к лицу, глаза разгорелись, из уст посыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешенство попеременно охватывали его. Ему казалось, что раз Лигия переступила порог дома цезаря, то она навсегда потеряна для него. Когда Авл упомянул имя Петрония, подозрение, как молния, пронзило мысль молодого воина: Петроний насмеялся над ним, или подарком Лигии хочет добиться новых милостей от цезаря, или думает оставить ее для себя. У него не помещалось в голове, что кто-нибудь может увидеть Лигию и не прельститься ею.

Раздражительность, наследственная в его роде, влекла его как бешеный конь и лишала его рассудительности.

¹ *Зенон из Кития* (города на острове Кипре), — знаменитый греческий философ, живший около 300 года до Р. Х., основатель стоической школы.

² См. комментарий на с. 113 (*примеч. ред.*).

— Вождь, — сказал он прерывающимся голосом, — возвращайся домой и ожидай меня... Знай, если б Петроний был моим отцом, то и тогда я отомстил бы ему за обиду Лигии. Возвращайся домой и жди меня. Ни Петроний, ни цезарь не будут владеть ею.

Он вскочил и, бросив Авлу еще раз слова: «Жди меня», выбежал, как сумасшедший, из атрия и полетел к Петронию, расталкивая по дороге проходящих.

Ава возвратился домой с некоторою надеждой. Он думал, что если Петроний уговорил цезаря похитить Лигию для того, чтоб отдать ее Виницию, то Виниций доставит ее обратно в дом Авла. Наконец, его немало утешала мысль, что Лигия, если и не будет спасена, то будет отомщена и прикрыта смертью от позора. Он верил, что Виниций исполнит все, что обещал. Он видел его бешенство и знал запальчивость, отличающую весь этот род. Сам Авл, хотя и любил Лигию, как родной отец, предпочел бы убить ее, чем отдать цезарю, и если б не опасение за сына, последнего потомка рода, непременно сделал бы это. Он был солдат, о стойках знал только понаслышке, но характером не был далек от них, и к его понятиям, к его гордости смерть подходила ближе, чем позор.

Возвратившись домой, он успокоил Помпонию и вместе с нею стал ожидать вестей от Виниция. Когда в атрии отзывались шаги какого-нибудь невольника, Ава думал, что, может быть, это Виниций ведет его дорогого ребенка, и в глубине души готов был благословить обоих. Но время шло, и никакой вести не приходило. Лишь только вечером раздался стук молотка у двери.

Вошел невольник и подал Авлу письмо. Старый вождь, несмотря на все свое самообладание, взял письмо и начал его читать так торопливо, как будто бы дело шло о всей его семье.

Вдруг лицо его омрачилось, как будто бы на него пала тень от проходящей по небу тучи.

— Читай, — сказал он, обращаясь к Помпонии.

Помпония взяла письмо и прочла:

«Марк Виниций — привет Авлу Плавтию. То, что произошло, произошло по воле цезаря, перед которою вы должны преклонить голову, как преклоняем я и Петроний».

Наступило долгое молчание.





ГЛАВА VI

Петроний был дома. Придверник не смел задержать Виниция, который ворвался в атрий, как буря, и, узнав, что хозяина нужно искать в библиотеке, помчался туда. Петрония он застал за письмом, вырвал у него из руки тростник, сломал его, бросил наземь, потом впился пальцами в его плечо, и, приблизив свое лицо к его лицу, спросил хриплым голосом:

— Что ты сделал с нею? где она?

Но вдруг случилось что-то такое необычайное. Стройный и по виду изнеженный Петроний схватил впившуюся в его плечо руку молодого атлета, потом схватил другую руку и, сжимая их в одной своей руке, точно железными клещами, сказал:

— Я только утром слаб, а вечером ко мне опять возвращается прежняя сила. Попробуй вырваться. Тебя гимнастике, вероятно, учил ткач, а приличию — кузнец.

На лице его не было гнева, только в глазах мелькнул бледный отблеск отваги и энергии. Немного погодя он пустил руки Виниция, который стоял перед ним униженный, пристыженный и бешеный.

— Стальная у тебя рука, — сказал он, — но, клянусь тебе всеми адскими богами, если ты изменил мне, я всажу тебе нож в горло, хотя бы в палатах цезаря.

— Поговорим спокойно, — ответил Петроний, — сталь, как ты видишь, крепче железа, и хотя бы из одной твоей руки можно было бы сделать две моих, — мне нет

необходимости бояться тебя. Зато я скорблю о твоей невежливости, и если б человеческая неблагодарность могла бы еще удивлять меня, я дивился бы твоей неблагодарности.

— Где Лигия?

— В лупанарии¹, то есть в доме цезаря.

— Петроний!

— Успокойся и сядь. Я просил цезаря о двух вещах: прежде всего, взять Лигию из дома Авла, и, во-вторых, отдать ее тебе. Нет ли у тебя ножа где-нибудь в складах твоей тоги? Может быть, ты пырнешь меня им. Но я советую тебе подождать дня два, потому что тебя посадили бы в темницу, а в это время Лигия скучала бы в твоём доме.

Наступило молчание. Виниций посмотрел на Петронию изумленными глазами, потом сказал:

— Прости мне. Я люблю ее, — любовь сбила с толку все мои мысли.

— Ты должен удивляться мне, Марк. Третьего дня я сказал цезарю так: мой племянник Виниций так полюбил одну сухощавую девочку, которая воспитывается у Авла, что дом его обратился в паровую баню от его воздыханий. Ни ты, ни я, которые знаем, что такое значит истинная красота, — сказал я цезарю, — не дали бы за нее и тысячи сестерций², но мальчик и всегда был глуп, как теленок, а теперь огулел вконец.

— Петроний!

— Если ты не понимаешь, что я сказал это с целью обезопасить Лигию, то я готов верить, что сказал правду. Я внушил цезарю, что такой эстетик, как он, не может найти эту девочку красивой, и Нерон, который до сих пор не смеет смотреть иначе, как моими глазами, красоты в ней не найдет, а не найдет, так и не пожелает твоей Лигии. Нужно было обезопаситься от этой обезьяны и посадить ее на цепь. На Лигию теперь обратит внимание не он, а Пoppея и, очевидно, постарается как можно скорее выпроводить ее из дворца. А я небрежно продолжал говорить меднобрадому: «Возьми Лигию и отдай ее Виницию. Ты имеешь право сделать это потому, что она заложница, а если сделаешь так, то доставишь неприятность Авлу». И он согласился. Он не имел ни малейшего повода не соглашаться, тем более что я предоставил ему возможность насолить порядочным людям. Тебя сделают правительственным хранителем заложницы, выдадут тебе на руки это лигийское сокровище, а ты, как союзник храбрых лигийцев, а вместе с тем и верный слуга цезаря, не только ничего не утратишь из этого сокровища, но еще и постарайся о его приумножении. Цезарь, для сохранения приличий, задержит ее на несколько дней в своем дворце, а потом препроводит в твою инсугу... Счастливец!

— Правда ли это? Ей действительно ничто не угрожает в доме цезаря?

— Если б она должна была поселиться там надолго, то Пoppея потолковала бы о ней с Локустой (известная составительница ядов), но в течение нескольких дней ей ничего не грозит. Во дворце цезаря десять тысяч человек народу. Быть может, Нерон совсем не увидит ее, тем более что все дело он доверил мне до такой степени,

¹ *Лупанарий* — публичный дом в Древнем Риме (от латинского *lupa* — «волчица», прозвище публичных женщин) (*примеч. ред.*).

² См. комментарий на с. 123 (*примеч. ред.*).

что несколько часов тому назад у меня был центурион с известием, что препроводил девушку во дворец и сдал ее на руки Актее. Актея — добрая душа, поэтому я и приказал Лигию отдать ей. Помпония Грецина, очевидно, того же мнения, потому что сама писала к ней. Завтра у Нерона пир. Я выговорил тебе место около Лигии.

— Прости мне, Кай, мою раздражительность, — сказал Виниций. — Я думал, что ты приказал увести ее для себя или для цезаря.

— Я могу извинить тебе твою раздражительность, но мне труднее простить тебе грубые телодвижения, пронзительный крик, напоминающий об игроках в мору. Я не люблю этого, Марк, и вперед ты будь осторожнее. Знай, что при цезаре поставщиком женщин состоит Тигеллин, знай и то, что если б я хотел добыть Лигию для себя, то смотрел бы тебе прямо в глаза и сказал бы: «Виниций, я отнимаю у тебя Лигию и буду держать ее у себя до тех пор, пока она мне не надоест».

И он посмотрел на Виниция своими ореховыми глазами с выражением холодной самоуверенности. Молодой человек смутился окончательно.

— Вся вина на моей стороне, — сказал он. — Ты добр, благороден, и я благодарю тебя от всей души. Позволь мне только задать тебе еще один вопрос: отчего ты не приказал отвести Лигию прямо в мой дом?

— Потому что цезарь хочет соблюсти приличия. Во всем Риме будут говорить, что мы берем Лигию как заложницу, и пока будут говорить, она останется во дворце цезаря. Потом ее потихоньку он отошлет к тебе в дом, и делу конец. Меднобрадый — трусливая собака. Он знает, что власти его нет границ, а, однако, старается обставить благовидно каждое свое деяние. Остыл ты до такой степени, чтобы немного пофилософствовать? Мне самому не один раз приходило в голову, почему всякое преступление, хотя бы оно было велико, как цезарь, и также как он уверено в своей ненаказуемости, всегда стремится прикрыть себя законом, справедливостью и добродетелью? Для чего ей это беспокойство? Я убежден, что убить брата, мать и жену — это приличествует скорее какому-нибудь азиатскому царьку, чем римскому цезарю; но если бы со мной случилось что-нибудь подобное, я не писал бы оправдательных писем к сенату... А Нерон пишет, Нерон ищет оправданий, потому что Нерон — трус. Но, скажем, Тиберий, — он не был трусом, а все-таки оправдывался в каждом своем проступке. Почему же это так? Что это за странная невольная дань, которую зло слагает у подножия добродетели? И знаешь, что мне кажется? Делается это потому, что порок отвратителен, а добродетель прекрасна. *Ergo*¹, истинный эстетик в силу этого и добродетельный человек. *Ergo*, я человек добродетельный. Я должен буду сегодня возлить на жертвенник вина в память теней Протагора, Продика и Горгия. Оказывается, что и софисты могут на что-нибудь пригодиться. Слушай, потому что я реку дальше. Я отнял Лигию у Авла для того, чтоб отдать ее тебе. Хорошо. Но Лизипп создал бы из вас чудеснейшую группу. Вы оба прекрасны, значит, и мой поступок прекрасен, а коли он прекрасен, он не может быть дурным. Взирай, Марк, перед тобой сидит добродетель, воплощенная в Кае Петронии! Если б Аристид был жив, он должен был бы прийти ко мне и подарить мне сто мин² за краткое изложение добродетели.

¹ *Ergo* (лат. *ergo*) — итак, следовательно (*примеч. ред.*).

² *Мина* — мера веса, распространенная в древности на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, которая также использовалась как денежно-расчетная — не монетная — единица в Древней Греции и Древнем Риме.

Но Виниций, как человек, которого действительность занимала больше, чем изложение добродетели, сказал:

— Завтра я увижу Лигию, а потом буду видеть ее в своем доме каждый день, и так до самой смерти.

— Ты будешь обладать Лигией, а мне на голову сядет Авл. Призовет он на меня мечь всех подземных богов... Да хоть бы, по крайней мере, животное, взял бы урок хорошей декламации!.. Нет, он будет бранить меня так, как мой прежний придверник бранил меня перед моими клиентами, за что я сослал его в деревню.

— Авл был у меня. Я обещал ему прислать известие о Лигии.

— Напиши ему, что воля «божественного» цезаря — высший закон, и что твой первый сын будет носить имя Авла. Нужно и старику предоставить какое-нибудь утешение. Я готов просить меднобрадного, чтоб он пригласил Авла на завтрашнее пиршество. Пусть бы он увидел тебя в триклинии рядом с Лигией.

— Не делай этого, — сказал Виниций. — Мне все-таки жаль их, в особенности Помпонию.

И он сел писать письмо, которое у старого вождя отняло последнюю надежду.

ГЛАВА VII



Пред Актеей, бывшей любовницей Нерона, когда-то склонялись самые важные головы Рима. Но она и тогда не хотела вмешиваться в общественные дела, а если когда и употребляла свое влияние на молодого владыку, то для того лишь, чтоб испросить кому-нибудь помилование. Тихая и покорная, она заслуживала благодарность многих, и вместе с тем не нажила себе ни одного врага. Ее не сумела возненавидеть даже Октавия. Людям, стремившимся к власти, она казалась чресчур малоопасною. Все знали, что она еще любит Нерона грустною и скорбною любовью, которая питается уже не надеждою, а лишь воспоминанием о времени, когда Нерон был не только молодым и любящим, но и лучшим человеком. Все знали, что от этих воспоминаний она не может оторваться своею мыслью и душою, но не ждет уже ничего, а так как опасений, что цезарь снова возвратится к ней, не было, то на нее смотрели как на существо совершенно безоружное и поэтому оставили ее в покое. Поппея считала ее своею слугой, до такой степени безобидною, что даже не добивалась ее удаления из дворца.

Но так как цезарь любил ее когда-то и расстался с ней не только не с гневом, но, напротив, самым дружественным образом, с ней считали нужным соблюдать некоторые приличия. Нерон, освободив ее, дал ей жилище во дворце, особый кубикул и прислугу. А так как Паллас и Нарцисс, отпущенники Клавдия, не только возлежали за императорскими пиршествами, но в качестве всесильных министров занимали почетные места, то и Актею от времени до времени приглашали к столу цезаря. Может быть, делалось это потому, что ее прелестная фигура немало украшала своим присутствием пиршество. Наконец, цезарь в выборе своих товарищей давно уже перестал считаться с чем-нибудь. К его столу являлся сброд людей всяких классов и положений. Среди его гостей были и сенаторы, но преимущественно такие, которые вместе с тем соглашались быть шутами. Были патриции, старые и молодые, жаждущие роскоши, блеска и наслаждений. Бывали здесь и женщины, носящие великие имена, но не стесняющиеся вечером надевать русые парики и для потехи искать приключений по темным улицам. Бывали и высокие сановники, и жрецы, которые за полными чашами сами издевались над собственными богами, и рядом с ними всякий

сброд — певцы, мимы¹, музыканты, танцовщицы; декламируя стихи, поэты мечтали о сестерциях, которые могут перепасть им за похвалу стихов цезаря; голодные философы жадными глазами провожали всякое новое блюдо; были тут прославленные возницы, фокусники, барды, наконец, всякая знаменитость, возведенная в это звание модою или человеческою глупостью, — мошенники, между которыми не было недостатка и в таких, которые длинными волосами прикрывали свои уши, проколотые в знак их рабского происхождения.

Более видные прямо возлежали за столом, а те, что помельче, служили предметом развлечения и ожидали той минуты, когда прислуга позволит им наброситься на остатки яств и напитков. Гостей последнего сорта поставляли Тигеллин, Ватиний и Вителлий, они же должны были снабжать этот сброд одеждою, приличной палатам цезаря, который, впрочем, любил подобное общество и чувствовал себя среди него совершенно свободным. Роскошь двора позолочивала все, и все покрывала своим блеском. Большие и малые, потомки великих родов и чернь с городских улиц, великие артисты и ничтожные поскребки таланта теснились во дворце, чтобы насытить свои ослепленные очи пышностью, почти превосходящею человеческое понимание, и приблизиться к источнику всех богатств и почестей, один взгляд которого, правда, мог и унижить их, но вместе с тем и превознести сверх меры.

В этот день и Лигия должна была принять участие в подобном пиршестве. Страх, неуверенность и ошеломление, вполне понятные после ее перехода от одного положения в другое, боролись в ней с желанием сопротивления. Она боялась цезаря, боялась людей, боялась дворца, шум которого лишал ее способности рассуждать, боялась пиршеств, о бесстыдстве которых слышала от Авла, от Помпонии Грецины и их друзей. Она была молодою девушкой, но в то время понятия о зле и разврате доходили даже до детских ушей. Она знала, что в этом дворце ее ждет гибель, от которой, впрочем, ее в минуту разлуки предостерегала и Помпония. Но душа у Лигии была молодая, еще не подвергшаяся порче, и, признавая высокое учение, привитое ей ее приемною матерью, она поклялась защищаться от этой гибели, поклялась матери, себе и вместе с тем тому Божественному Учителю, в которого она не только верила, но которого и любила всем своим детским сердцем за кроткую ясность его учения, за горечь его смерти и за славу его воскресения.

Она была уверена, что теперь уже ни Авл, ни Помпония Грецина не будут отвечать за ее поступки, и раздумывала, не лучше ли ей воспротивиться и не идти на пиршество. С одной стороны, страх и беспокойство громко говорили в ее душе, с другой — в ней пробуждалось желание выказать свою отвагу, твердость, презрение к мучениям и смерти. Ведь и Божественный Учитель повелел поступать так... Ведь он и сам показал пример... Ведь и Помпония говорила ей, что самые ревностные последователи нового учения всю силой души жаждут такого испытания и молят о нем. И Лигией, когда она была еще в доме Авла, по временам овладевала такая же жажда. Она воображала себя мученицей, с зияющими ранами на руках и ногах, белою как снег,

¹ *Mimus* — актер, игравший роль в особом рода драматическом представлении, называвшемся также *mimus*. Это были грубые, непристойные фарсы, сюжет которых авторы заимствовали преимущественно из городской общественной жизни, воспроизводя и осмеивая смешные ее стороны (отсюда и слово *mimus*, означающее «подражатель»). Минимический персонал, в особенности женская его часть, пользовался дурною славой. Несмотря на это, мимы имели доступ в дома и общество римской знати, особенно во времена империи.

прекрасною неземною красотой... такие же белые ангелы уносили ее в эфир... и эти картины прельщали ее. Во всем этом было много и детской мечтательности, но была и частица самопоклонения, которое так осуждала Помпония. А теперь, когда сопротивление воле цезаря могло повлечь за собою какую-нибудь ужасную кару, когда вообразимые мучения могли обратиться в действительность, к дивным видениям Лигии и к ее самопоклонению присоединилось еще смешанное со страхом любопытство: как осудят ее и какой род мучений для нее придумают?

Так полудетская душа Лигии колебалась то в ту, то в другую сторону, но Актея, узнав о сомнениях Лигии, посмотрела на нее с таким изумлением, как будто бы девушка бредила в горячке. Оказать сопротивление воле цезаря? с первой же минуты подвергнуться его гневу? — для этого нужно быть ребенком, который не сознает, что говорит. Из собственных слов Лигии явствует, что она не заложница, а просто девушка, забытая своим народом. Ее не защищает никакой закон, а если бы и защищал, то цезарь достаточно могуч, чтобы в минуту гнева попать его. Цезарю угодно было взять ее, и с этой минуты он ею распоряжается. С этой минуты она во власти его воли, сильнее которой нет ничего в мире.

— Да, — продолжала она, — и я читала послания Павла, и я знаю, что над землей — Бог и Сын Божий, который воскрес, но на земле только цезарь. Помни об этом, Лигия. Я знаю также, что ваше учение не позволяет тебе быть тем, чем была я, и что вам, как и стойкам, о которых мне рассказывал Эпиктет¹, если представится выбор между посрамлением и смертью, можно избрать только смерть. Но можешь ли ты угадать, что тебя ждет смерть, а не посрамление? Разве ты не слышала о дочери Сеяна? Она еще была маленькою девочкой, и по приказу Тиберия, для сохранения закона, который воспрещает карать смертью девиц, должна была перед кончиной подвергнуться позору. Лигия, Лигия! не раздражай цезаря! Когда подойдет решительная минута, когда ты должна будешь выбирать между смертью и позором, ты поступишь так, как укажет твоя правда, но не ищи добровольно гибели, не раздражай по ничтожному поводу земного и притом грозного бога!

Актея говорила с состраданием и даже с горячностью. Она была близорука и поэтому приблизила свое доброе лицо к лицу Лигии, как бы желая удостовериться, какое впечатление произведут ее слова.

Лигия с доверчивостью ребенка обняла ее и сказала:

— Какая ты добрая, Актея!

Актея, расстроенная похвалою и доверием Лигии, прижала ее к груди, а потом ответила:

— Мое счастье прошло, и радость прошла, но я не злая.

Она быстро заходила по комнате и продолжала как бы про себя, с оттенком отчаяния:

— Нет, и он не был злой! Тогда он сам считал себя добрым и хотел быть добрым. Я это знаю лучше всех. Это все пришло позже... когда он перестал любить... Это другие сделали его таким, каков он теперь, другие... и Поппея!

На ее ресницах повисли слезы. Лигия долго следила за ней своими голубыми глазами и наконец спросила:

¹ Знаменитый философ, бывший в молодости рабом Эпафродита, любимца Нерона, который впоследствии даровал ему свободу.

— Ты его жалеешь, Актея?

— Жалею! — глухо ответила гречанка и снова заметалась по комнате с судорожно сжатыми руками и выражением отчаяния на лице.

А Лигия продолжала несмело расспрашивать:

— Так ты еще любишь его, Актея?

— Люблю...

И через минуту она добавила:

— Его никто, кроме меня, не любит.

Наступило молчание, во время которого Актея старалась вернуть себе спокойствие, взволнованное воспоминаниями о прошлом, и наконец, когда ее лицо приняло обычное выражение тихой грусти, сказала:

— Поговорим лучше о тебе, Лигия. Ты не должна даже думать о том, чтоб противиться цезарю. Это было бы безумием. Впрочем, ты можешь быть покойна. Я хорошо знаю этот дом и думаю, что со стороны цезаря тебе ничто не угрожает. Если б Нерон приказал похитить тебя для себя, то не перевел бы тебя на Палатин. Здесь царствует Поппея, а Нерон с тех пор, как она родила ему дочь, еще более подчинился ее власти... Нет. Нерон, правда, приказал, чтоб ты была на пиру, но не видал тебя до сих пор, не спросил о тебе, — значит, дело не в тебе. Может быть, он отнял тебя у Авла и Помпонии только по злобе на них... Петроний писал мне, чтоб я взяла тебя под свое покровительство, а так как ты знаешь, что и Помпония писала то же, то, вероятно, они сговорились. Может быть, он сделал это по ее просьбе. Если это так, если он по просьбе Помпонии возьмет тебя под свое покровительство, то тебе не угрожает ничто и, кто знает, Нерон под его давлением не отошлет ли тебя обратно к Авлу? Не знаю, сильно ли Нерон любит Петрония, но знаю, что он редко осмеливается быть противного с ним мнения.

— Ах, Актея! — ответила Лигия. — Петроний был у нас перед тем, как меня взяли, и моя мать была убеждена, что Нерон пожелал взять меня по наговору Петрония.

— Это было бы нехорошо, — сказала Актея, но, подумав с минуту, она прибавила: — Может быть, Петроний проболтался только Нерону за каким-нибудь ужином, что видел у Авла лигийскую заложницу, а Нерон — он очень завистлив к своей власти — потребовал тебя только потому, что заложники принадлежат только цезарю. К тому же он не любит Авла и Помпонии... Нет, я не думаю, что Петроний, даже если б он хотел отнять тебя у Авла, прибег к такой мере. Не знаю, лучше ли Петроний тех, кто окружает цезаря, но он как-то не похож на них... Может быть, наконец, кроме него ты найдешь еще кого-нибудь, кто бы мог вступить за тебя. У Авла ты не познакомилась ли с кем-нибудь из приближенных цезаря?

— Я видала Веспасиана и Тита.

— Цезарь их не любит.

— И Сенеку.

— Сенеке достаточно посоветовать что-нибудь, чтобы Нерон поступил как раз наоборот.

Ясное лицо Лигии начало покрываться румянцем.

— И Виниция...

— Я не знаю его.

— Это родственник Петрония. Он недавно возвратился из Армении.

— Ты думаешь, что Нерону будет приятно увидеть его?

— Виниция все любят.

— И он тоже вступится за тебя?

— Да.

Актея добродушно улыбнулась и сказала:

— Тогда ты, наверное, увидишь его на пиру. Сама ты должна быть прежде всего потому, что должна... Только такой ребенок, как ты, мог думать иначе. Во-вторых, если ты хочешь возвратиться в дом Авла, ты встретишь возможность просить Петронию и Виниция, чтоб они воспользовались своим влиянием и выхлопотали тебе право возвратиться. Если б они были здесь, то сказали бы тебе то же, что и я: сопротивляться в этом случае — безумие и гибель. Правда, цезарь мог бы не заметить твоего отсутствия, но если бы заметил и подумал, что ты осмелилась воспротивиться его воле, для тебя уже не было бы спасения. Иди, Лигия... Слышишь ты этот говор в доме? Солнце близко к закату, и гости скоро начнут собираться.

— Ты права, Актея, — сказала Лигия, — и я последую твоему совету.

Что в этом решении играло роль — желание ли встретиться с Петронием и Виницием, или женское любопытство хоть раз в жизни увидеть такой пир, — цезаря, весь двор, знаменитую Поппею и других красавиц, всю неслыханную роскошь, о которой в Риме рассказывали чудеса, — в этом Лигия и сама не могла бы дать себе отчета. Но Актея, в свою очередь, была права, и девушка хорошо понимала это. Идти нужно было, а раз необходимость и рассудок подкрепляли скрытое искушение, то Лигия перестала колебаться.

Актея повела ее к себе в ункуарий, чтоб умастить и одеть ее. Хотя во дворце цезаря не было недостатка в невольницах, и для личной услуги Актеи они находились в достаточном количестве, она решила сама одеть Лигию, — настолько ее трогали красота и невинность молодой девушки. И тотчас же оказалось, что в молодой гречанке, несмотря на ее грусть и внимательное изучение посланий Павла Тарсянина, осталось еще много эллинского духа, которому красота тела говорила громче, чем все остальное на свете. При виде обнаженной Лигии, при виде ее стройной, но вместе с тем сформировавшейся фигуры, созданной точно из жемчуга и роз, Актея не могла удержать крика удивления, отступила на несколько шагов и с восторгом смотрела на это олицетворение весны.

— Лигия! — сказала она наконец, — ты во сто раз прекраснее Поппеи!

Но девушка, воспитанная в суровом доме Помпонии, где скромность соблюдалась даже тогда, когда женщины находились наедине, стояла дивная, как дивный сон, как изваяние Праксителя, как гармоничная песнь, но смущенная, покрасневшая от стыда, прикрывая руками грудь и опустив ресницы. Наконец неожиданным движением она подняла руки, вынула шпильки, поддерживающие волосы, и в одну минуту, одним движением головы покрылась ими, словно плащом.

Актея приблизилась к ней и, касаясь ее темных кос, сказала:

— О, какие у тебя волосы!.. Я не буду посыпать их золотою пудрой, — они сами отсвечивают золотом на сгибах... Разве только кое-где я придам им золотистый отблеск, но едва-едва, как будто бы их пронизывал солнечный луч... Должно быть, чуден ваш лигийский край, где рождаются такие девушки.

— Я не помню его, — ответила Лигия. — Урс говорил мне, что у нас только леса, леса и леса.



— Лигия! — сказала она наконец, — ты во сто раз прекраснее Понтеи!

— А в лесах цветут цветы, — добавила Актея, омочила руку в вазе с вербеной и начала смачивать ею волосы Лигии.

Потом она слегка умастила ее тело благовонными аравийскими маслами и одела в мягкую золотистого цвета тунику без рукавов, сверх которой должен был быть белоснежный пеплум. Но так как предварительно нужно было причесать волосы, то Актея накинула на Лигию широкую накидку, называемую синтез, и отдала ее в руки невольниц, а сама издали наблюдала за прической. Другие две невольницы в то же время надевали на ноги Лигии белые башмаки, вышитые пурпуром, и прикрепляли их золотыми тесемками вплоть до ее алебастровых лодыжек. Прическа была окончена, и пеплум Лигии спадал вниз изящными складками, — тогда Актея надела ей на шею нитку жемчуга, дотронулась до ее волос золотым порошком и начала одеваться сама.

Когда у главного входа начали появляться первые носилки, Актея и Лигия вошли в боковой криптопортик, откуда открывался вид на внутреннюю галерею и двор, обнесенный колоннадой из нумидийского мрамора.

Все больше и больше людей проходило под высокой аркой главного входа, над которым великолепная колесница, запряженная четверкой, работы Лизия¹, казалось, уносила в небо Аполлона и Диану. Глаза Лигии поразила роскошь, о которой скромный дом Авла не мог дать ей ни малейшего понятия. Солнце заходило, и его последние лучи падали на нумидийский мрамор, который горел, как золото, и вместе с тем отсвечивал розовым оттенком. Между колонн, мимо белых статуй Данаид и других, представляющих богов или героев, двигалась толпа, — мужчины и женщины, так же похожие на статуи, так же одетые в тоги, пеплумы и стóлы, освещенные солнцем и спадающие вниз мягкими складками. Громадный Геркулес, с головою, еще залитою светом, но с грудью и ногами, погруженными в тень, отбрасываемую соседнею колонной, смотрел сверху вниз на эту толпу. Актея показывала Лигии сенаторов в тогах, широко обшитых пурпуром, в цветных туниках и с полумесяцем на обуви², и воинов, и знаменитых артистов, и римских дам, одетых то по римскому, то по греческому обычаю, то в фантастические восточные наряды, с прическами, подражающими то башням, то пирамидам, или низко спускающимися на лоб, как на статуях богинь, и убранных цветами. Много мужчин и много женщин называла Актея по имени, прибавляя к этому короткую, подчас и страшную историю, которая охватывала Лигию страхом и изумлением. Для нее это был странный мир, который своею красотой прельщал ее глаза, но противоречия которого не мог понять ее детский ум. В этой вечерней заре, в этом ряду неподвижных колонн, теряющихся в глубине, в этих людях, подобных статуям, было какое-то великое спокойствие; казалось, что среди этих прямолинейных мраморов должны жить люди, чуждые забот, умиротворенные и счастливые полубоги, а между тем тихий голос Актеи открывал Лигии все новые и новые страшные тайны и этого дворца, и этих людей. Вон там, вдали, виден криптопортик, где на колоннах и на полу еще заметны кровавые пятна, которыми обогрел белый мрамор Калигула, когда он пал под ножом Кассия Хереи; там убили его жену, там раздробили о камни его ребенка; под тем крылом есть подземелье, в котором младший Друз грыз руки от голода, там отравили старшего, там со страха

¹ *Лизий* — ваятель, живший около времени императора Августа.

² Полумесяц (*lunula*) из слоновой кости на башмаке был признаком патрицианского происхождения.

извивался Гемелл, там Клавдий в конвульсиях, там Германик... Эти стены слышали стоны и хрипение умирающих, а этих людей, которые теперь спешат на пир в своих тогах и разноцветных туниках, украшенные цветами и драгоценностями, может быть, завтра осудят на смерть. Может быть, не на одном лице улыбка прикрывает страх, беспокойство, неуверенность в завтрашнем дне; может быть, жажда наживы и властолюбия томит в это время сердца по наружности таких безмятежных, увенчанных полубогов. Испуганные мысли Лигии не могли поспевать за словами Актеи, и когда этот чудный мир все с большею силой притягивал к себе ее глаза, сердце ее сжималось страхом, а в душе вдруг отозвалась неизъяснимая и неизмеримая тоска по Помпонии Грецине, по дому Авла, в котором царствовала любовь, а не преступление.

Тем временем с улицы Аполлона наплывали все новые и новые волны гостей. Из-за ворот доносился говор и крики клиентов¹, сопровождающих своих патронов. Двор и колоннада запестрели цезарскими невольниками, невольницами, маленькими мальчиками и преторианскими солдатами, стоящими на страже во дворце. Кое-где между белыми и смуглыми лицами чернело лицо нумидийца, в шлеме, украшенном перьями, и золотыми кольцами в ушах. Отовсюду несли кифары, цитры, снопы искусственно выведенных, несмотря на позднюю осень, цветов, ручные светильники — серебряные, золотые и медные. Возрастающий говор смешивался с плеском фонтана, струи которого, обгаренные заходящим солнцем, падали с высоты и словно с рыданием разбивались о мрамор.

Актея перестала рассказывать, но Лигия все смотрела, точно отыскивая кого-то в толпе. Вдруг лицо ее покрылось румянцем. Из-за колонн появились Петроний и Виниций и шли к главному триклинию, прекрасные, спокойные, похожие на богов. Лигии, когда она среди чуждых людей увидела два знакомых лица, в особенности когда разглядела Виниция, показалось, что с сердца ее свалилась тяжесть. Она чувствовала себя менее одинокой. Неизмеримая тоска по Помпонии и по дому Авла, которая разыгралась в ней несколько минут тому назад, сразу утратила свой мучительный характер. Искусение видеть Виниция и говорить с ним заглушало в ее душе все другие голоса. Напрасно она вспоминала все дурное, что слышала о доме цезаря, и слова Актеи, и предостережение Помпонии, и, несмотря на эти слова и предупреждения, почувствовала вдруг, что на этом пиршестве она не только должна, но и хочет быть, а при мысли, что через минуту услышит тот милый и дорогой голос, который говорил ей о любви и счастье, достойном богов, и который до сих пор звучал в ее ушах, как песня, ею овладела радость.

Но вдруг Лигия испугалась этой радости. Ей показалось, что в эту минуту она изменяет и тому чистому учению, в котором ее воспитывали, и Помпонии, и самой себе. Идти по принуждению — это одно, а радоваться необходимости идти — другое дело. Она почувствовала себя виновной, недостойной и погибшей. Ею овладело отчаяние; ей хотелось плакать. Если б она была одна, то упала бы на колени, начала бы бить себя в грудь и повторять: моя вина, моя вина!.. Актея, взяв ее за руку, ввела ее через внутренние покои в большой триклиний, где должно было происходить пиршество, а у Лигии в глазах потемнело, и биение сердца стесняло ее дыхание.словно как сквозь сон она видела тысячи мигающих светильников и на столах, и на стенах, словно сквозь сон слышала крики, которыми гости приветствовали цезаря, как будто

¹ *Клиент* — здесь: плебей, находившийся под покровительством у патриция (*примеч. ред.*).

сквозь туман увидала его самого. Крик оглушил ее, блеск ослепил, благовония одурманили ее, и, теряя сознание, она едва могла различать Актею, которая, поместив ее за стол, заняла место рядом.

Но немного погодя с другой стороны раздался низкий знакомый голос:

— Привет тебе, прекраснейшая из всех живущих на земле и из звезд на небе! Привет божественной Каллине!

Лигия немного пришла в себя и оглянулась: рядом с нею возлежал Виниций.

Он был без тоги, потому что удобство и обычай повелевали снимать тогу во время пиршества. Тело его покрывала только красная туника, без рукавов, вышитая серебряными пальмами. Руки у него были обнаженные, украшенные по-восточному двумя широкими золотыми браслетами, смыкающимися выше локтей, ниже они были тщательно выбриты, но с выдающимися мускулами, настоящие руки солдата, созданного для меча и щита. На голове у него был венок из роз. Со своими сросшимися над носом бровями, с великолепными глазами и смуглым лицом он являлся олицетворением молодости и силы. Лигии он показался таким прекрасным, что хотя ее первое смущение уже прошло, она едва сумела ответить:

— Привет тебе, Марк.

— Счастливы мои глаза, что видят тебя; счастливы уши, которые слышат твой голос, более милый для меня, чем звуки флейт и цитр. Если бы мне предоставили выбирать, кто должен возлежать со мною на этом пиру, ты или Венера, я выбрал бы тебя, божественная Лигия!

Виниций смотрел на нее, как будто бы хотел насытиться ее зрелищем, и сжигал ее своими глазами. Его взгляд соскользнул с ее лица на шею и обнаженные руки, любовался ее пластичными формами, охватывал, поглощал ее, но, кроме страсти, в нем светилось и счастье, и любовь, и восторг безграничный.

— Я знал, что увижу тебя в доме цезаря, но когда увидел, то всю мою душу всколыхнуло такое чувство, как будто меня встретила нечаянная радость.

Лигия, придя в себя и чувствуя, что в этом доме, среди этой толпы, Виниций единственное близкое ей существо, заговорила с ним и начала расспрашивать обо всем, что было непонятным для нее и что наполняло ее страхом. Откуда он знал, что найдет ее в доме цезаря и почему они здесь? Зачем цезарь отнял ее у Помпонию? Она хочет возвратиться к ней, ей страшно здесь. Она умерла бы от горя и беспокойства, если бы не надежда, что Петроний и он, Виниций, будут ходатайствовать за нее перед цезарем.

Виниций объяснил ей, что об ее похищении он узнал от самого Авла. Почему она здесь — он не знает. Цезарь никому не отдает отчета в своих приказах и распоряжениях. Но, тем не менее, ей бояться нечего. Он возле нее и останется здесь. Он предпочел бы потерять глаза, чем не видеть ее, предпочел бы расстаться с жизнью, чем оставить ее. Она — его душа, и он будет стеречь ее, как собственную душу. Он ей соорудит у себя в доме алтарь, как своему божеству, и будет приносить ей в жертву мирру и алоэ, а весной — подснежники и цветы яблони... А если ей страшно в доме цезаря, то он обещает ей, что она не останется в этом доме.

Хотя он говорил изворотливо, а иногда и прибежал ко лжи, но в его голосе звучала правда, потому что его чувства были правдивы. Его охватывала искренняя жалость к Лигии, и слова ее вливались к нему в душу, так что когда она начала благодарить и уверять, что Помпония полюбит его за его доброту, а она сама останется всю жизнь признательна ему, Виниций не мог сдержать своего волнения, и ему казалось, что он

никогда в жизни не сумеет устоять против ее просьбы. Сердце его начинало таять. Прелесть Лигии разжигала его страсти, — он жаждал ее, но вместе с тем чувствовал, что она несказанно дорога ему и что он действительно мог бы поклоняться ей как божеству. Он испытывал непреодолимое желание говорить об ее красоте, о своем поклонении перед нею, но шум увеличивался все более, и он, поближе подвинувшись к Лигии, начал шептать ей слова добрые, сладкие, вытекающие из глубины души, звучные, как музыка, и опьяняющие, как вино.

И он опьянял ее. Среди чужих, окружавших ее, он казался ей все более и более близким, более милым, более надежным и преданным всею душой. Он успокоил ее, обещал вырвать из дома цезаря, обещал, что не оставит ее и будет служить ей. Кроме того, тогда, у Авла, он говорил с ней о любви и о счастье, которое она может дать только вообще, а теперь прямо говорил, что любит ее, что она для него милее и дороже всего на свете. Лигия в первый раз слышала такие слова из мужских уст, и по мере того, как она внимала им, ей казалось, что в ней пробуждается что-то, что ее охватывает какое-то счастье, в котором неизмеримое счастье смешивается с неизмеримой тревогой. Ее щеки начинали гореть, сердце забило, уста открылись от изумления. Ей было страшно, что она слушает такие слова, и вместе с тем ни за что на свете она не хотела бы пропустить ни одного слова. Она то опускала глаза, то снова поднимала на Виниция свой светлый, боязливый и вместе с тем вопросительный взгляд, как будто бы хотела сказать ему: «Говори дальше!» Говор, музыка, благоухание цветов и арабских курений снова начали одурять ее. В Риме был обычай возлежать за столом, но дома Лигия занимала место между Помпонией и маленьким Авлом, а теперь возле нее находился Виниций, молодой гигант, влюбленный в нее, а она, чувствуя жар, которым веяло от него, испытывала одновременно и чувство стыда, и чувство наслаждения. Ею овладевало какое-то сладостное бессилие, какое-то забвение, точно ее клонило ко сну.

Но близость Лигии начала влиять и на Виниция. Лицо его побледнело, ноздри раздулись, как у арабского коня. И под его красною туникой сердце, видимо, билось учащенным биением, — дыхание его стало коротким, слова обрывались на устах. И он в первый раз находился в таком близком соседстве с нею. Мысли его начинали мешаться, он чувствовал, как по жилам его пробегает огонь, и тщетно старался угасить его вином. И не вино, а чудное лицо Лигии, ее обнаженные руки, ее девственная грудь, волнующаяся под золотистой туникой, ее фигура, скрытая под белыми складками пеплума, опьяняли его с каждою минутой все больше и больше. Наконец он схватил ее за руку, как это было раньше в доме Авла, и, притягивая ее к себе, начал шептать дрожащими устами:

— Я люблю тебя, Каллина... божественная моя...

— Марк,пусти меня, — сказала Лигия.

Глаза его затуманились, и он продолжал:

— Божественная моя! Люби меня!..

В это время раздался голос Актеи, которая возлежала по другую сторону Лигии:

— Цезарь смотрит на вас.

Виниций мгновенно вспыхнул гневом и на цезаря, и на Актею. Ее слова разогнали чары его упоения. В эту минуту молодому человеку даже приятный голос показался бы назойливым, — ему казалось, что Актея намеренно хочет помешать его разговору с Лигией.

Он поднял голову и, взглянув на молодую отпущенницу сверх плеч Лигии, сказал со злостью:

— Прошло время, Актея, когда ты на пирах возлежала около цезаря. Говорят, что тебе угрожает слепота, так как же ты можешь рассмотреть его?

Актея грустно ответила:

— А все-таки я вижу его... Он так же близорук, и смотрит на вас сквозь изумруд.

Все, что делал Нерон, настораживало даже самых близких к нему людей. Виниций тоже обеспокоился, остыл и незаметно начал посматривать в сторону цезаря. Лигия, которая, в силу своего смущения, видела его сначала словно сквозь туман, а потом, поглощенная словами и близостью Виниция, не смотрела на него вовсе, теперь также обратила в его сторону свои любопытные и испуганные глаза.

Актея говорила правду. Цезарь наклонился над столом, прищурил один глаз и, держа у другого полированный изумруд, которым пользовался постоянно, смотрел на них. На минуту его взгляд встретился с глазами Лигии, и сердце девушки сжалось от ужаса. Когда, еще ребенком, она была в сицилийском имении Авла, старая невольница-египтянка рассказывала ей о змеях, живущих в горных ущельях, и теперь ей показалось, что на нее смотрит зеленый глаз такого змея. Своею рукой она схватилась за руку Виниция, как испугавшийся ребенок, а в голове ее теснились быстрые и беспорядочные мысли: «Так это он? Он, этот страшный и всемогущий?» До сих пор она не видела его никогда и воображала иным. Она представляла себе какое-то ужасное лицо, с окаменелою злостью в чертах, а теперь увидела большую голову, посаженную на толстой шее, правда, страшную, но чуть не смешную, — до такой степени она напоминала издали голову ребенка. Туника аметистового цвета, запрещенного простым смертным, бросала синеватый отблеск на широкое и короткое лицо цезаря. Волосы у него были темные, завитые по моде, введенной Отоном, в четыре ряда буклей. Бороды он не носил, потому что недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим принес ему благодарность, хотя потихоньку шептали, что цезарь бредет потому, что у него, как у всей его семьи, борода вырастает красного цвета. Однако в его лбе, сильно выступающем над бровями, было что-то олимпийское. В сдвинутых бровях видна была самоуверенность всемогущества, но под этим лбом полубога виднелось лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, ничтожное, полное переменчивых страстей, залитое, несмотря на молодые годы, жиром, но вместе с тем болезненное. Лигии он показался зловещим, но прежде всего отвратительным.

Через минуту цезарь положил свой изумруд и перестал смотреть на нее. Тогда она увидела его выпуклые голубые глаза, прищуренные от избытка света, стеклянные, без мысли, похожие на глаза умершего человека.

Нерон же обратился к Петронии и сказал:

— Это та заложница, которую любит Виниций?

— Она, — ответил Петроний.

— Как называется ее народ?

— Лигийцы.

— Виниций считает ее красивою?

— Одень в женский пеплум гнилой пень оливы, Виниций и его сочтет красивым.

Но на твоём лице, о несравненный знаток, я уже читаю приговор! Тебе не нужно провозглашать его. Да, да, суха, худоцава, настоящая маковая голова на тонком стебле, а ты, божественный эстетик, в женщине ценишь стебель, и ты трижды, четырежды

прав!.. Одно лицо ничего не значит. Я многим воспользовался от тебя, но такого верного взгляда у меня еще нет... И я готов побиться об заклад с Туллиям Сенеционом¹ на его любовницу, что хотя за трапезой, когда все лежат и о фигуре заложницы трудно составить какое-нибудь мнение, ты уже сказал себе: «Чересчур узка в бедрах».

— Чересчур узка в бедрах, — ответил Нерон и закрыл глаза.

На губах Петрония скользнула едва заметная улыбка, но Туллий Сенецион, который в это время разговаривал с Вестином или, вернее, издевался над снами, в которые Вестин верил, обратился к Петронию и, хотя не имел ни малейшего понятия, в чем дело, сказал:

— Ошибаешься. Я стою заодно с цезарем.

— Отлично! — ответил Петроний, — Я только что доказывал, что у тебя есть кроха разума, а цезарь утверждает, что ты осел без всякой примеси.

— *Habet!*² — рассмеялся Нерон и опустил вниз правый палец руки, как это делалось в цирках в знак того, что гладиатор получил удар и что его нужно добить.

Вестин, думая, что говорят о снах, воскликнул:

— А я верю в сны... Сенека когда-то говорил мне, что верит тоже.

— Прошлую ночь мне снилось, что я стала весталкой, — сказала, перегибаясь через стол, Кальвия Криспинилла.

На это Нерон захлопал в ладоши, другие последовали его примеру. Рукоплескания продолжались долго, потому что Криспинилла, не один раз разводившаяся с мужьями, известна была во всем Риме по своему баснословному разврату.

Но она, нисколько не стесняясь, продолжала:

— Ну, что ж? Все они старые и противные. Одна Рубрия похожа на человека, и так нас было бы две, хотя у Рубрии летом выступают веснушки.

— Позволь, однако, целомудреннейшая Кальвия, — сказал Петроний, — ведь весталкой ты могла сделаться только благодаря сну.

— А если бы цезарь повелел?

— Тогда я поверил бы, что сны сбываются, даже самые неправдоподобные.

— То-то и дело, что сбываются, — сказал Вестин. — Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить в сны?

— А предсказания? — спросил Нерон. — Мне когда-то предсказывали, что Рим перестанет существовать, а я буду царствовать над всем Востоком.

— Предсказания и сны сплетаются между собою, — проговорил Вестин. — Один проконсул, великий вольнодумец, послал в храм Мопса невольника с запечатанным письмом, которое не позволил вскрывать, для того чтоб удостовериться, действительно ли божок сумеет ответить на вопрос, заключающийся в письме. Невольник провел ночь в храме, чтобы видеть пророческий сон, затем возвратился и сказал так: мне снился юноша, светлый, как солнце, и он сказал мне только одно слово — «черного». Проконсул, услышав это, побледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же безбожникам, как он, спросил: «Знаете ли, что было в письме?»

¹ Правильно — *Клавдий Сенецион* (*примеч. ред.*).

² *Habet!* — «он получил рану» — технический термин о раненом гладиаторе. Раненый гладиатор мог молить народ о пощаде. Если зрители (а во время империи — император) поднимали вверх руку, сжав ее в кулак и подвернув большой палец, то он получал пощаду; напротив, спуская руку, его обрекали на смерть.

Тут Вестин остановился, взял чашу с вином и приставил к губам.

— А что же было в письме? — спросил Сенецион.

— В письме был вопрос: «Какого быка я должен принести в жертву: белого или черного?»

Но интерес, возбужденный этим рассказом, прервал Вителлий. Он явился на пир уже выпивши, и вдруг без всякого повода разразился бессмысленным смехом.

— Чему эта бочка сала смеется? — спросил Нерон.

— Смех отличает людей от скотов, — сказал Петроний, — а у него нет другого доказательства, что он не кабан.

Вителлий перестал смеяться и, причмокивая губами, досняющимися от разных соусов, с таким изумлением начал оглядывать присутствующих, как будто бы никогда не видал их раньше. Потом он поднял свою похожую на подушку руку и сказал хриплым голосом:

— С моего пальца свалился воинский перстень моего отца.

— Который был портным, — добавил Нерон.

Но Вителлий вновь разразился неожиданным смехом и начал искать перстень в пеплуме Кальвии Криспиниллы.

Ватиний закричал, подражая крику испуганной женщины, а Нигидия, приятельница Кальвии, молодая вдова с лицом ребенка и глазами блудницы, сказала вслух:

— Ищет, чего не терял.

— И что ему все равно не годится, даже если б он и нашел, — докончил поэт Лукан¹.

Пир становился веселее. Толпы невольников разносили все новые яства; из больших ваз, наполненных снегом и оплетенных плющом, появлялись все новые кратеры² с винами различных сортов. Все пили много. С потолка на стол и пирующих беспрестанно сыпались розы.

Петроний начал просить Нерона, чтобы, прежде чем все гости перепьются, он облагородил пир своим пением. К нему присоединился хор других голосов, но Нерон стал отказываться. Не в одной смелости тут дело, хотя ему всегда недостает ее... Одни боги знают, чего стоит ему всякое появление перед публикой. Он не отказывается от этого, — нужно что-нибудь сделать для искусства, и, наконец, если Аполлон одарил его кое-каким голосом, нельзя пренебрегать даром бога. Он даже понимает, что в этом заключается его обязанность по отношению к государству, но сегодня он охрип. Ночью он положил себе свинцовые гири на грудь, но и это не помогло... Он думает ехать в Антий³, чтобы надышаться морским воздухом.

Но Лукан стал умолять его во имя искусства и человечества. Всем известно, что божественный поэт и певец сложил гимн в честь Венеры, перед которым гимн Лукреция⁴ — только завывание годовалого волчонка. Да будет же этот пир настоящим пиром. Властелин такой милостивый не должен подвергать подобным мукам своих подданных. «Не будь жестоким, цезарь!»

¹ *Лукан* — римский поэт I века по Р. Х., впоследствии казненный Нероном. Он написал «*Pharsalia*», где описывается война Юлия Цезаря с Помпеем.

² *Crater* — сосуд вроде глубокой миски, в котором вино смешивали с водой и из которого затем наливали в бокалы (древние редко пили чистое вино, не разбавляя его водой).

³ *Антиум (Antium)* — город-порт, более древний, чем Рим (*примеч. ред.*).

⁴ *Лукреций Кар* — римский поэт I века до Р. Х. Он написал философскую поэму «*De rerum natura*» («О природе»), в которой изложил учение философа Эпикура. Она начинается прекрасным воззванием к Венере.

— Не будь жестоким! — крикнули все сидящие возле императора.

Нерон развел руками в знак того, что должен уступить. Тогда на всех лицах появилось выражение благодарности, все глаза устремились на него. Но Нерон приказал прежде предупредить Поппею, что собирается петь, а присутствующим объяснил, что она не пришла на пир вследствие нездоровья; но так как никакое лекарство не приносит ей такого облегчения, как его пение, то ему жалко было бы лишить ее возможности выздороветь.

Поппея пришла скоро. Она еще до сих пор владела Нероном, как подданным, но знала, что если дело касалось его самолюбия, как певца, возницы или поэта, то затрагивать его небезопасно. Она вошла, как прекрасное божество, облеченная так же, как и Нерон, в одежду аметистового цвета и в ожерелье из громадных жемчужин, когда-то отнятых у Массинисы, — златоволосая, кроткая, — и, несмотря на двух своих предшественников мужей, с девственным лицом и взглядом.

Ее приветствовали криками и именем «божественной августы». Лигия никогда в жизни не видела ничего равного по красоте, и ей не хотелось верить своим глазам, потому что ей было известно, что Поппея Сабина одна из самых порочных женщин в мире. Она знала от Помпонии, что Поппея довела цезаря до убийства жены и матери, знала ее по рассказам гостей и слуг Авла; слышала, что по ночам народ свергает ее статуи; слышала о надписях, за которые виновных подвергают тяжелым наказаниям и которые все-таки каждое утро появляются на городских стенах. А теперь, при виде этой прославленной Поппеи, которую поклонники Христа считали воплощением зла и преступления, Лигии показалось, что такую могут представлять только ангелы или какие-нибудь небесные духи. Она положительно не могла оторвать от нее своих глаз, а с уст ее невольно сорвался вопрос:

— Ах, Марк, может ли это быть?

Виниций, отчасти разгоряченный вином и недовольный, что столько вещей рассеивают ее внимание и отвлекают ее от него и его слов, сказал:

— Да, она прекрасна, но ты во сто раз прекраснее. Ты не знаешь себя, иначе ты влюбилась бы в себя, как Нарцисс¹... Она купается в ослином молоке, а тебя Венера точно выкупала в своем. Ты не знаешь себя, *ocelle mi!*...² Не смотри на нее. Обрати свой взор на меня, *ocelle mi!*... Дотронься устами этой чаши вина, а потом я прикоснусь к тому же месту своими губами.

Он придвигался все ближе, а Лигия начала отодвигаться к Актее. Но в эту минуту потребовали молчания, потому что цезарь встал. Певец Диодор подал ему кифару, из рода тех, которые назывались дельтой, другой, Терпи, который должен был вторить ему, приблизился с инструментом, называемым наблий³. Нерон, опершись дельтой о стол, поднял глаза кверху, и на минуту в триклинии воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом роз, падающих с потолка.

Цезарь запел или, вернее, заговорил нараспев, ритмическим складом, при аккомпанементе двух кифар, свой гимн Венере. Ни голос, хотя с несколько тусклым звуком,

¹ Мифический красавец, влюбившийся в самого себя. Он все любовался на свое изображение в воде, пока наконец от тоски не превратился в цветок, носящий его имя.

² *Ocelle mi* — «глазок мой».

³ *Nablium* — музыкальный инструмент финикийского происхождения (вероятно, тот самый, который по-еврейски называется *nebel* и часто упоминается в псалмах) о 10 или 12 струнах, четырехугольной формы; играли на нем, как на арфе, обеими руками.

ни стихи не были дурны, так что бедною Лигией снова овладело угрызение совести. Гимн, прославляющий языческую Венеру, показался ей даже превосходным, да и сам цезарь, со своим лавровым венком и поднятыми к небу глазами, великолепным, далеко менее страшным и отвратительным, чем при начале пира.

Гости императора разразились громом рукоплесканий. Вокруг раздавались восклицания: «О, небесный голос!» Некоторые женщины, в знак своего восхищения подняв руку кверху, так и оставались в этом положении, другие отирали свои влажные глаза; в зале сделалось шумно, как в улье. Поппея, склонив свою золотистую головку, поднесла к губам руку Нерона и долго держала ее молча. К ногам цезаря упал и молодой грек, Пифагор, дивной красоты, тот самый, с которым позднее уже наполовину сумасшедший Нерон приказал фламинам¹ обвенчать себя с соблюдением всех обрядов.

Но Нерон внимательно смотрел на Петрония, похвалы которого всегда и в высшей степени желательны ему, а тот сказал:

— Что касается музыки, то Орфей в эту минуту должен совсем пожелтеть от зависти, как присутствующий здесь Лукан, а стихи... я жалею, что они не хуже, — тогда я, может быть, нашел бы для них похвальное слово.

Лукан нисколько не обиделся за упоминание о зависти, — напротив, посмотрел на Петрония с благодарностью и, притворяясь недовольным, проворчал:

— Да будет проклята судьба, которая повелела мне жить в одно время с таким артистом! Обо мне, может быть, осталось бы что-нибудь в человеческой памяти и на Парнасе, а то угаснешь, как угасает ночник при солнце.

Петроний, обладавший удивительной памятью, начал повторять отрывки из гимна, цитировать отдельные стихи, восхвалять и разбирать красивые слова. Лукан, точно забывший о своей зависти перед прелестью поэзии, тоже добавил несколько восторженных слов. На лице Нерона отразилось блаженство и бездонное тщеславие, не только граничащее с глупостью, но и совершенно равное ей. Он сам подсовывал им стихи, которые считал лучшими, наконец стал утешать Лукана и уговаривать его не терять мужества, ибо кто чем родился, тот тем и есть, — однако честь, которую люди отдают Юпитеру, не исключает чести других богов.

Он встал проводить Поппею, которая действительно была нездорова и хотела уйти. Однако цезарь приказал гостям опять занять свои места и объявил, что скоро возвратится. Действительно, через минуту он вернулся, чтоб одурять себя дымом кадильниц и смотреть на зрелища, которые он сам, Петроний и Тигеллин приготовили к этому пышному пиру.

Было прочитано несколько стихотворений и произнесено несколько диалогов, в которых уродливость заменяла остроумие. Потом знаменитый мим Парис² представлял приключения Ио³, дочери царя Инаха. Гостям, а в особенности Лигии, не привыкшей к подобным зрелищам, показалось, что они видят чудеса и чары. Парис движениями рук и тела умел выражать такие вещи, которые, казалось, в танце

¹ *Flamines* назывались жрецы некоторых богов.

² См. комментарий на с. 268 (*примеч. ред.*).

³ *Ио* — дочь мифического аргосского даря Инаха. За любовь к ней Зевса ревнивая Гера обратила ее в корову; лишь после долгих странствований по земле она получила опять человеческий образ.

выразить невозможно. Руки его с необыкновенною быстротой двигались в пространстве и производили впечатление светоносной живой тучи, содрогающейся, сладострастной, охватывающей близкую к обмороку девушку, сжигаемую пароксизмом блаженства. Это был образ, а не танец, образ ясный, открывающий тайну любви, чародейный и бесстыдный. Потом вошли корибанты¹ с сирийскими девушками и под звуки цитр, флейт, цимбал и бубнов начали вакхический танец, полный дикого движения и еще более дикого разврата. Лигии показалось, что ее спалит молния, что гром должен ударить в этот дворец или потолок обрушиться на головы пирующих.

Но из золотой сети, прикрепленной у потолка, сыпались только розы, а полупьяный Виниций нашептывал ей:

— Я видел тебя в доме Авла у фонтана и полюбил тебя. Тогда был рассвет, и ты думала, что на тебя никто не смотрит, а я видел тебя... и до сих пор вижу тебя такую же, хотя тебя скрывает пеплум. Сбрось пеплум, как Криспинила. Понимаешь?.. Боги и люди ищут любви. Кроме нее, нет ничего на свете. Склони голову ко мне на грудь и смежи очи.

У Лигии на висках тяжело бились жилы. Ею овладевало впечатление, что она летит в какую-то пропасть, а Виниций, который недавно казался ей таким близким и надежным, вместо того чтобы спасти, толкает ее на погибель. И она почувствовала к нему неприязненное чувство. Она снова начала страшиться и этого пиршества, и Виниция, и самой себя. Какой-то голос, похожий на голос Помпони, еще зывал ее душе: «Лигия, спасайся!» — но что-то такое говорило ей, что спастись уже поздно, и кого охватил такой огонь, кто видел все, что происходило на этом пиру, в ком сердце билось так, как билось в ней, когда она слушала слова Виниция, кого охватывала такая дрожь, какая ее охватывала при его приближении, — тот погиб без всякой надежды на спасение. Ей делалось дурно. По временам ей казалось, что она лишится чувств. Она знала, что под страхом подвергнуться гневу цезаря встать не может никто, пока не встанет цезарь, но все равно, — у нее не хватило бы сил на это.

А до конца пира было еще далеко. Невольники приносили еще новые блюда и постоянно наполняли вином сосуды. Появились атлеты и начали бороться. Могучие, светящиеся от масла тела слились в одну глыбу, кости одного трещали в железных руках другого, из-за стиснутых зубов вырывалось злое скрежетание. По временам то слышался тяжелый топот ног о посыпанный шафраном пол, то гладиаторы снова становились неподвижными, стихали, и тогда зрителям представлялось, что перед ними группа, иссеченная из камня. Глаза римлян с наслаждением следили за этою игрой страшно напряженных рук и мускулов. Но борьба длилась долго, — Кротон, светило и начальник школы гладиаторов, недаром слыл за самого сильного человека во всем государстве. Противник его начал все быстрее переводить дыхание, потом лицо его посинело, наконец изо рта хлынула кровь, и он упал.

Гром рукоплесканий приветствовал конец единоборства, а Кротон, упершись ногою о плечи противника, скрестил на груди могучие руки и обводил залу глазами триумфатора.

Затем пришли подражатели зверям, фокусники и шуты, но на них мало обращали внимания, потому что вино уже затмевало глаза зрителей. Пир мало-помалу переходил

¹ *Corybantes* — жрецы фригийской богини Кибелы, культ которой проник и в Рим. Они совершали служение богине с шумною музыкой и дикими плясками.





Пир мало-помалу переходил в пьяную растущую оргию.

в пьяную распущенную оргию. Сирийские девушки, которые перед этим плясали вакхический танец, смешались с гостями. Музыка обратилась в беспорядочный и дикий грохот цитр, кифар, армянских цимбал, египетских систров, труб и рогов, а так как пирующим хотелось разговаривать, то музыкантам начали кричать, чтоб они уходили вон. Воздух, насыщенный запахом цветов, ароматом масел, которыми хорошенькие мальчики во все время пира окропляли ноги пирующих, становился тяжелым, светильники светились бледным огнем, венки на головах пирующих съехали в сторону, лица побледнели и покрылись каплями пота. Вителлий свалился под стол, Нигидия, обнажившись до половины, склонила свою пьяную детскую головку на грудь Лукана, а тот, в одинаковой степени пьяный, начал сдувать с ее волос золотистую пудру, с невероятным блаженством поднимая глаза вверх. Вестин упорно, в десятый раз, повторял ответ Мопса на незапечатанное письмо проконсула, а Туаллий, который издевался над богами, говорил размякшим голосом:

— Ибо если Сферос Ксенофана¹ круг, то, понимаешь, такого бога можно ногой катить перед собою, как бочку.

Но Домиций Афр, старый злодей и доносчик, возмутился этим разговором и от негодования облил себе всю тунику фалернским вином². Он всегда верил в богов. Люди говорят, что Рим погибнет, находятся и такие, которые утверждают, что он уже гибнет. И верно!.. Но если это наступит, то только потому, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть добродетели. Точно так же пренебрегли старыми суровыми обычаями, и никому не приходит в голову, что эпикурейцы не могут противостоять варварам. Да это что!.. Лично он только жалеет, что дожил до таких времен и что в наслаждениях должен искать защиты от огорчений, которые без того скоро уложили бы его в могилу.

И, проговорив это, он привлек к себе сирийскую танцовщицу и впился своим беззубым ртом в ее спину и плечи. Консул Меммий Регул увидал это и, поднимая свою лысую голову, украшенную съехавшим на бок венком, воскликнул:

— Кто говорит, что Рим гибнет?.. Вздор!.. Я, консул, знаю это лучше... *Videant consules!*.. Тридцать легионов охраняют наш *pax romana*³.

Он приложил руки к вискам и закричал во всю комнату:

— Тридцать легионов! Тридцать легионов... от Британии до Парфянской границы!

Но вдруг он остановился и, приставив палец ко лбу, добавил:

— А чуть ли не тридцать два...

¹ *Ксенофан* — древний греческий философ VI века до Р. Х., основатель элейской школы. Но учение о Сферосе приписано здесь автором ему ошибочно: оно принадлежит философу V века Эмпедоклу. По учению этого последнего, в мире действуют две силы, которые он называет «любовь» и «ненависть»: первая соединяет элементы, из которых состоит мир, вторая их разъединяет. Когда все элементы бывают соединены любовью, то в этом состоянии мир, представляя совершенное смешение всех веществ, образует шарообразный Сферос, который описывается как всеблаженный бог, так как всякая ненависть из него изгнана.

² *Фалернское вино*, очень славившееся в древности, выделялось на горе *Massicus* в Кампании, области средней Италии на берегу Тосканского залива.

³ *Videant consules (ne quid res publica detrimenti capiat)* — «пусть консулы заботятся, чтобы государство не понесло ущерба», — формула, посредством которой консулам в опасное для Рима время давались большие полномочия. *Pax romana* — «спокойствие Рима».

Домиция, однако, не успокоило количество легионов, охраняющих римское спокойствие. «Нет, нет! Рим должен погибнуть, потому что погибла вера в богов, заброшены суровые обычаи! Рим должен погибнуть... А жаль! Жизнь так хороша, цезарь так добр и вино такое хорошее! Ах, как жаль! — и, скрыв лицо на спине сирийской вакханки, он расплакался. — Какое там дело до будущей жизни?.. Ахилл был прав, что лучше быть работником в подлунном мире, чем царствовать в киммерийских странах¹. Да еще существуют ли какие-нибудь боги, хотя неверие губит молодежь».

Тем временем Лукан сдул весь золотой порошок с волос уснувшей от опьянения Нигидии, потом обвинил ее плющом, снятым со стоявшей перед ним вазы, и оглянула соседей радостным и вопросительным взглядом. Затем он и себя украсил плющом, повторяя тоном глубокого убеждения:

— Я вовсе не человек, я — фавн.

Петроний не был пьян, но Нерон, который сначала, оберегая свой «божественный» голос, пил мало, под конец осушал чашу за чашей и охмелел. Он хотел даже продолжать петь свои стихи, на этот раз греческие, но забыл их и по ошибке запел песню Анакреона. Ему аккомпанировали Пифагор, Диодор и Терпн, но дело у них как-то не ладилось, и они бросили это. Но зато Нерон как знаток и эстетик начал восхищаться красотой Пифагора, и от восторга принялся даже целовать его руки. Такие прелестные руки он видал когда-то... но у кого?

И, приложив руку ко влажному лбу, он старался вспомнить. Вдруг на лице его появилось выражение страха.

— Ах, да, у матери, у Агрипины!

И цезарем овладели мрачные видения.

— Говорят, что при луне она блуждает по морю около Бай и Баул²... И ничего другого, только все ходит, ходит, как бы отыскивает что-нибудь. Приблизится к лодке и отойдет... но рыбак, на которого она посмотрит, умирает.

— Недурная тема, — сказал Петроний.

А Вестин, вытянув шею, как журавль, прошептал таинственно:

— Я не верю в богов, но верю в духов.

Нерон не обращал внимания на их слова и продолжал:

— Наконец, я совершил лемурии³. Я не хочу видеть ее. Ведь это уже пятый год. Я должен, должен был наказать ее, потому что она подослала ко мне убийцу, и если б я не предупредил ее, сегодня вы не слышали бы моего пения.

— Благодарим, цезарь, от имени города и всего мира! — крикнул Домиций Афр.

— Вина, пусть ударят в тимпаны!

Шум начался снова. Лукан, весь обвитый плющом, желая заглушить всех, встал и начал кричать:

— Я не человек, а фавн и живу в лесу! Э-хоо!

¹ В «Одиссее» Гомера призрак Ахилла, сделавшегося по смерти царем над мертвыми, жадуется Одиссею на свое положение: «Я предпочел бы, — говорит он, — служить работником у какого-нибудь бедняка на земле, чем царствовать над всеми умершими». Под киммерийскими странами автор, очевидно, разумеет подземный мир; но по Гомеру киммерийцы — народ, живущий на земле близ входа в подземное царство.

² *Baiiae* и *Bauli* — итальянские города в Кампании на берегу Тосканского залива; первый те- перь *Baia*, второй — *Napoli*.

³ *Lemures* — души умерших; для умилостивления их 9 мая справлялся праздник *Lemuria*.

Наконец, упился цезарь, упились мужчины и женщины.

Виниций был пьян не менее других, и вдобавок кроме страсти им овладел задор поспориться с кем-нибудь, что случалось с ним всегда, если он переходил известную меру. Его смуглое лицо побледнело, язык его заплетался, когда он говорил приподнятым и повелевающим голосом:

— Дай мне поцеловать тебя! Сегодня, завтра, все равно!.. Довольно этого!.. Цезарь взял тебя от Авла для того, чтоб подарить мне, понимаешь? Завтра вечером я пришлю за тобой, понимаешь?.. Цезарь обещал мне, прежде чем взял тебя... Ты должна быть моей! Поцелуй меня, я не хочу ждать завтрашнего дня, целуй скорей!

Он обнял ее, но Актея начала защищать ее, да и сама Лигия защищалась, хотя чувствовала, что силы оставляют ее, что она гибнет. Напрасно она старалась отстранить его руки, напрасно голосом, в котором звучали страх и обида, умоляла его не быть таким и иметь к ней сожаление. Его пьяное дыхание обливало ее все ближе и ближе, лицо его очутилось совсем около ее лица. То не был уже прежний добрый, чуть ли не дорогой ее душе Виниций, а пьяный, злой сатир, который наполнял ее страхом и отвращением.

Но силы ее слабели с каждой минутой. Напрасно, откинувшись назад, она отстраняла лицо, чтоб избежать его поцелуев. Он поднял ее и, прижав ее голову к своей груди, начал разжимать своими губами ее побледневшие губы.

Но в эту минуту какая-то страшная сила сбросила его руки с ее шеи с такою легкостью, как будто то были руки ребенка, а самого Виниция отшвырнула в сторону, как сухую ветку или увядший лист. Что такое случилось? Виниций протер глаза и вдруг увидел над собою громадную фигуру лигийца по имени Урс, которого встречал раньше в доме Авла.

Лигиец был спокоен и только смотрел на Виниция своими голубыми глазами так странно, что у молодого человека кровь застыла в жилах. Потом Урс взял на руки свою царевну и ровным тихим шагом вышел из триклиния.

Актея тотчас же последовала за ними.

Виниций с минуту сидел, как окаменелый, потом сорвался с места и побежал к выходу.

— Лигия, Лигия!

Но страсть, изумление, бешенство и вино подкосили его ноги. Он пошатнулся раз, другой, схватил за обнаженную руку одну из вакханок и начал спрашивать, моргая глазами:

— Что случилось, что случилось?

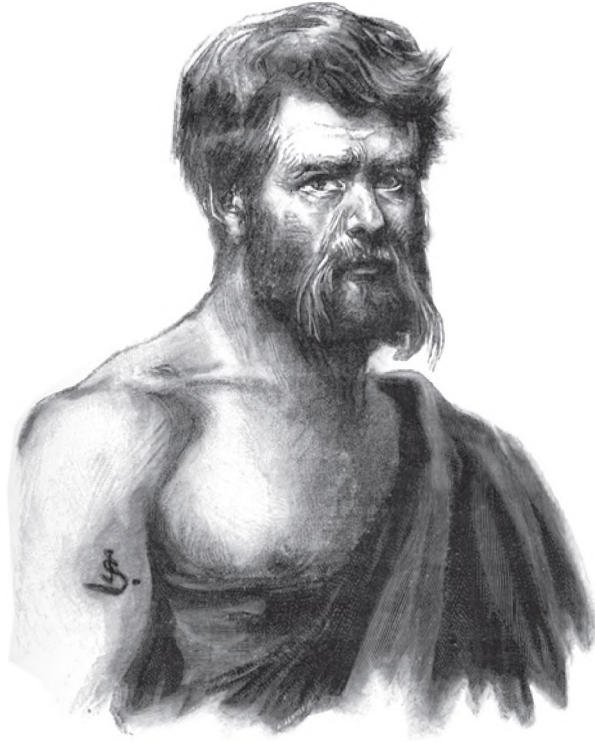
А вакханка взяла чашу с вином и подала ему с улыбкой в своих отуманенных глазах.

— Пей! — сказала она.

Виниций выпил и свалился с ног.

Большая часть гостей лежала уже под столом. Из оставшихся одни неверными шагами ходили по триклинию, другие спали на своих ложах, а на пьяных консулов и сенаторов, на пьяных всадников¹, поэтов и философов, на пьяных танцовщиц и патрицианок, на весь этот мир, еще всемогущий, но уже бездушный, увенчанный и распущенный, но уже угасающий, — из золотой сети, прикрепленной к потолку, все сыпались и сыпались розы.

¹ *Всадники* — здесь: привилегированное сословие, следующее за сенаторским (*примеч. ред.*).



ГЛАВА VIII

Урса никто не задержал, никто даже не спросил, что он делает. Прислуга цезаря, видя гиганта с женщиной на руках, думала, что это какой-нибудь невольник уносит свою упившуюся госпожу. Наконец, с ними шла Актея, а ее присутствие устранило всякие подозрения.

Таким образом, Урс вышел из триклиния в соседнюю комнату, а оттуда в галерею, ведущую в помещение Актеи.

Лигия обессилела так, что как мраморная висела на руке Урса, но когда ее обвеял прохладный и чистый утренний воздух, она открыла глаза. Становилось все светлее. Из колоннады Урс свернул в боковой портик, выходящий не во двор, а в дворцовый сад, в котором верхушки пиний и кипарисов уже румянились от утренней зари. Здесь было пусто, отголоски музыки и крики пирующих едва-едва достигали сюда. Лигии показалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет Божий. Было что-то такое и за этим омерзительным триклинием, — было небо, заря, свет и тишина. Девушка вдруг разрыдалась и припадая к плечу гиганта, начала повторять:

— Домой, Урс, домой, к Авлу!..

— Пойдем! — ответил Урс.

Они были уже в маленьком атриум, принадлежащем к помещению Актеи. Урс посадил Лигию на мраморную скамью подалеже от фонтана, Актея начала ее успокаивать и предлагать отдохнуть, уверяя, что пока ей ничего не угрожает, потому что пьяные гости цезаря после пира будут спать до вечера. Но Лигия долго не хотела успокоиться и, сжимая руками виски, повторяла, как ребенок:

— Домой, к Авлу!

Урс был готов на все. Правда, у ворот стоят преторианцы, но он и так пройдет. Солдаты не задерживают выходящих. У арки так и кишат носилки. Люди начнут выходить толпами. Их никто не задержит. Они выйдут вместе с прочими и прямо отправятся домой. Наконец, какое ему дело? Как царица скажет, так и должно быть. Затем он и приставлен сюда.

А Лигия повторяла:

— Да, Урс, выйдем!

Но у Актеи ума было больше, чем у них у двоих. Выйдут! Да! Никто их не удержит. Но из дома цезаря бежать не позволено, и кто делает это, тот оскорбляет его величие. Они уйдут, но вечером центурион во главе отряда солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонию Грецине, а Лигию возьмет обратно во дворец, и тогда ей уж не будет спасения. Если Авл примет ее под свой кров, смерть ждет его неминуемо.

У Лигии опустились руки. Исхода никакого не было. Она должна решить, Авлу ли погибнуть или ей самой. Идя на пир, она имела надежду, что Виниций и Петроний освободят ее из дома цезаря и передадут Помпонию, а теперь она знала, что они-то, собственно, и уговорили цезаря взять ее от Авла. Исхода не было. Разве только одно чудо могло извлечь ее из этой пропасти, чудо и всемогущество Божие.

— Актея, — сказала она с отчаянием, — ты слышала, Виниций говорил, что цезарь подарил меня ему и что сегодня вечером он пришлет за мной невольников и возьмет меня к себе в дом?

— Слышала, — сказала Актея и, разведя руками, умолкла. Отчаяние, с которым говорила Лигия, не находило в ней отголоска. Ведь она сама была любовницей Нерона. Сердце ее, хотя и доброе, не умело достаточно понимать позора таких отношений. Как бывшая невольница, она слишком сжилась с правом рабства и, кроме того, до сих пор любила Нерона. Если б он захотел возвратиться к ней, она протянула бы к нему руки, как к счастью. Понимая ясно, что Лигия или должна стать любовницей молодого красавца Виниция, или подвергнуть гибели себя и Авла, она просто не могла уразуметь, как девушка может колебаться.

— В доме цезаря, — сказала она немного погодя, — тебе не было бы опаснее, чем в доме Виниция.

И ей не пришло в голову, что — хотя она и говорила правду, — слова ее обозначали: «Примиришься с судьбой и сделайся наложницей Виниция». Но Лигия еще чувствовала на своих устах его пальцы, как уголь, поцелуи, полные зверской страсти, и кровь прихлынула к ее лицу при воспоминании об этом.

— Никогда! — вспыхнула она. — Я не останусь ни здесь, ни у Виниция!

Актею удивила эта вспышка.

— Неужели, — спросила она, — Виниций так ненавистен тебе?

Но Лигия не могла отвечать, потому что опять разрыдалась. Актея прижала ее к груди и начала успокаивать. Урс тяжело вздыхал и сжимал свои громадные кулаки, потому что любил свою царицу с верностью собаки и не мог выносить ее слез.

В его лигийском сердце родилось желание возвратиться в залу, придушить Виниция, а в случае надобности — и цезаря, но он боялся признаться в этом своей госпоже из опасения, что поступок, который сразу показался ему столь простым, не будет приличествовать исповедующему религию распятого Агнца.

Актея, успокоив Лигию, снова начала расспрашивать ее:

— Неужели он так ненавистен тебе?

— Нет, — ответила Лигия, — мне нельзя его ненавидеть, потому что я — христианка.

— Я знаю это, Лигия. Я знаю также из посланий Павла Тарсянина, что вам не дозволяется ни подвергать себя позору, ни бояться смерти более, чем греха, но скажи мне: твое учение позволяет ли причинять кому-нибудь смерть?

— Нет.

— Тогда как же ты можешь привлечь мщение цезаря на дом Авла?

Наступила минута молчания. Бездонная пропасть снова открылась перед Лигией.

Молодая отпущенница продолжала:

— Я спрашиваю потому, что мне жалко тебя, жалко добрую Помпонию и ее ребенка. Я давно живу в этом доме и знаю, чем грозит гнев цезаря. Нет, вы не можете бежать отсюда. Тебе остается один путь — молить Виниция, чтоб он возвратил тебя к Помпонию.

Но Лигия опустилась на колени, чтоб молиться кому-то другому. Урс немного погодя последовал ее примеру, и оба начали молиться, при свете утренней зари, во дворце цезаря.

Актея в первый раз видела такую молитву и не могла оторвать глаз от Лигии, которая, повернувшись к ней профилем, с поднятою головой и руками смотрела в небо, как будто ожидая оттуда помощи. Заря расцветила ее темные волосы и белый пеплум, отразилась в ее глазах, и Лигия, вся залитая блеском, сама казалась олицетворением света. В ее побледневшем лице, в открытых устах, в глазах и руках, поднятых к небу, чувствовался какой-то неземной восторг. И Актея поняла теперь, почему Лигия не может быть ничьей наложницей. Перед любовницей Нерона точно открылся край занавеси, скрывавшей мир совсем другой, чем тот, к которому она привыкла. Изумляла ее молитва Лигии в этом доме преступления и позора. За минуту до того ей казалось, что Лигии нет спасения, а теперь она начинала верить, что может произойти что-нибудь необычайное, что явится какая-нибудь помощь, и такая могучая, что сам цезарь не будет в состоянии противостоять ей, что с неба на защиту девушки спустятся крылатые войска или солнце обовьет ее своим лучом и притянет к себе. Она уже слышала о многих чудесах в христианской общине и думала теперь, что, очевидно, все это правда, коль скоро Лигия так молится.

Наконец Лигия поднялась с лицом, просиявшим надеждой. Урс встал также и, присев на корточки около лавки, смотрел на свою госпожу и ожидал ее слов.

А глаза Лигии затуманились, и две крупных слезы скатились по ее щекам.

— Да благословит Бог Помпонию и Авла, — сказала она. — Мне нельзя навлекать на них опасность, и я никогда не увижу их больше.

Потом, обратившись к Урсу, она сказала ему, что у нее на всем свете остался только он один, что теперь он должен быть ее отцом и защитником. Но она не может остаться ни в доме цезаря, ни в доме Виниция. Пускай Урс возьмет ее, пусть выведет

из города, пусть скроет где-нибудь, где ее не найдут ни Виниций, ни его слуги. Она пойдет за ним всюду, хотя бы за моря, хотя бы за горы, к варварам, где не слышали римского имени и куда власть цезаря не простирается. Пусть он возьмет ее и спасет, — у нее он один остался.

Лигиец был готов, и в знак повинования наклонился и обнял ее ноги. Но на лице Актеи, которая ожидала чуда, отразилось разочарование. Только и принесла эта молитва? Убежать из дома цезаря — оскорбление величества, — это преступление должно быть наказано, и если бы Лигии удалось куда-нибудь скрыться, цезарь выместит свой гнев на Авле. Если хочет она бежать, то пусть бежит из дома Виниция. Тогда цезарь, который не любит заниматься чужими делами, вероятно, уже и не захочет помогать Виницию преследовать ее, и, во всяком случае, здесь не будет оскорбления величества.

Но Лигия так именно и думала. Авл даже не будет знать, где она, даже и Помпония... Убежит она, только не из дома Виниция, а с дороги. Он спяну проговорился ей, что сегодня вечером он придет за нею своих невольников. Должно быть, он говорил правду и не высказал бы ее, если б был трезвым. Очевидно, он один, а может быть и вместе с Петронием, видели цезаря перед пиршеством и вынудили от него обещание, что он выдаст ее вечером. А если они сегодня забудут, то придет за нею завтра. Но Урс спасет ее. Он вынесет ее из носилок, как вынес из триклиния, и они пойдут, куда глаза глядят. С Урсом никто не справится. Против него не устоит даже тот страшный гладиатор, который вчера боролся в триклинии. Но Виниций может прислать за нею очень много невольников, — так Урсу нужно сейчас идти к епископу Линну за советом и помощью. Епископ сжалится над ней, не оставит ее в руках Виниция и прикажет христианам вместе с Урсом идти спасать ее. Ее отобьют, а потом Урс сумеет вывести ее из города и скрыть где-нибудь от римского могущества.

И лицо Лигии расцвело улыбкой и покрылось румянцем. Надежда снова вселилась в нее, как будто расчеты на спасение превратились уже в действительность. Она бросилась на шею к Актее, прильнула своими губами к ее щеке и шепнула:

— Ты не выдашь нас, Актея, да?

— Клянусь тенью моей матери, я не выдам вас, — ответила отпущенница. — Проси только своего Бога, чтоб Урс сумел отбить тебя.

Голубые детские глаза гиганта светились счастьем. Он не сумеет ничего придумать, хотя долго ломал свою бедную голову, но такую простую вещь он сделает. И днем ли, ночью ли, — ему все равно, — он пойдет к епископу, потому что епископ читает в небе, что надо и чего не надо. Но христиан он и так бы успел собрать. Мало ли у него знакомых и невольников, и гладиаторов, и свободных людей и в Субурре, и за мостами! Он набрал бы их тысячу, — пожалуй, и две. И он отобьет свою госпожу и вывести за город также сумеет, и идти с ней сумеет. Они пойдут с ней хоть на край света, хотя бы туда, откуда они родом, где никто и не слышал о Риме.

Тут он стал пристально глядеть вперед, как бы желая рассмотреть отдаленное будущее, потом проговорил:

— В лес! Ох, какой бор, какой бор!..

Но через минуту он уже стряхнул с себя свои видения.

Да, он сейчас пойдет к епископу, а вечером с сотнею человек будет поджидать носилки. Пусть их провожают не только невольники, а хотя бы и преторианцы. Никто и думать не смей подвергаться под его кулаки, даже если б он был закован



Но Лигия опустила на колени, чтоб молиться кому-то другому. Урс немного погодя последовал ее примеру, и оба начали молиться, при свете утренней зари, во дворце цезаря.

в железную броню... Точно железо уж так крепко! Если хорошенько стукнуть по железу, так и голова под ним не выдержит.

Но Лигия с великою, а вместе с тем детскою важностью подняла палец вверх.
— Урс, «не убий», — сказала она.

Лигиец поднес свою похожую на булаву руку к затылку и в смущении забормотал. Да ведь он должен отбить ее... «свой свет»... Ведь она сама же сказала, что теперь его очередь... Он будет стараться, насколько возможно. А как что случится нечаянно?... Ведь он должен отбивать ее! Ну, если и случится, то он будет каяться так, так просить безвинного Агница, что распятый Агнец смилуется над ним, бедняком... Ведь он не хочет прогневить Агница, — что же делать, если у него рука такая тяжелая?..

И лицо его смягчилось. Желая скрыть это, он поклонился и сказал:

— Пойду к святому епископу.

Актея обняла Лигию и заплакала. Она еще лишний раз удостоверилась, что есть какой-то мир, где даже в страдании гораздо больше счастья, чем во всех наслаждениях и избытках дома цезаря, — еще раз перед нею распахнулись какие-то двери на свет, но вместе с тем она поняла, что недостойна переступить эти двери.





ГЛАВА IX

Лигии было жаль Помпонию Грецину, которую она любила всею душой, жаль весь дом Авла, но тем не менее все ее отчаяние прошло. Она чувствовала даже некоторое утешение, что для своей правды отрешается от удобств и обрекает себя на бродячую жизнь, полную неизвестности. В этом, может быть, крылась и частица детского любопытства, какою именно будет эта жизнь где-то в отдаленных странах, среди варваров и диких зверей, но еще больше было глубокой и искренней веры, что, поступая таким образом, она делает так, как повелел Божественный Учитель, и что с этой поры Он сам будет оберегать ее, как послушное и верное детище. А в таком случае какое зло могло встретить ее? Явятся какие-нибудь страдания, — она и их перенесет во имя Его. Настигнет неожиданная смерть, — Он возьмет ее к себе, а когда умрет Помпония, они будут вместе всю вечность. Не раз, еще в доме Авла, она ломала свою детскую головку и горевала над тем, что она, христианка, ничего не может сделать для Распятого, о котором с таким чувством говорил даже Урс. Но теперь минута подошла. Лигия чувствовала себя почти счастливой, и начала говорить о своем счастье Актее, которая, впрочем, не могла понять ее. Оставить все, оставить дом, удобства, город, сады, храмы, портики, все, что так красиво, страну теплого солнца, близких людей, — и ради чего же — для того, чтобы скрыться от любви молодого и красивого воина... В голове Актеи эти понятия не умещались. По временам она чувствовала, что в этом есть правда, даже, может быть, какое-нибудь великое, таинственное счастье, но ясного отчета в этом дать себе не умела, тем более что Лигию ждало еще одно испытание, которое могло окончиться плохо и которое прямо угрожало ее жизни. Актея по природе была боязлива и со страхом думала о том, что может принести этот вечер, но о своих опасениях не хотела говорить Лигии.

Наступил день, и солнце заглянуло в атрий. Актея начала уговаривать свою гостью отдохнуть, — это так необходимо после ночи, проведенной без сна. Лигия не противилась и вместе с хозяйкой вошла в кубикул, обширную и великолепно обставленную комнату, благодаря прежним отношениям Актеи к императору. Они легли рядом, но Актея, несмотря на утомление, не могла заснуть. Давно уже она была грустна и несчастна, но теперь ею начинало овладевать какое-то беспокойство, которого она не испытывала раньше. До сих пор жизнь казалась ей только бездельной и лишенной всякой будущности, а теперь вдруг она показалась ей и позорной.

В голове ее образовывалась все большая путаница. Двери, ведущие к свету, опять начинали то открываться, то закрываться, но в ту минуту, когда они открывались, свет ослеплял Актею так, что она ничего не могла видеть ясно. Она скорее догадывалась, что в этом блеске кроется какое-то положительно безмерное счастье, в сравнении с которым все остальное — ничто. Например, если б цезарь удалил Пoppею и вновь полюбил ее, Актею, то и это было бы ничто в сравнении с тем счастьем. И вдруг ей пришла мысль, что и цезарь, которого она так любила и которого невольно считает за какого-то полубога, — что-то такое же ничтожное, как и любой невольник, и этот дворец из нумидийского мрамора ничем не лучше груды камней. И в конце эти чувства, в которых она не умела отдавать себе отчета, начали мучить ее. Она хотела заснуть, но не могла, — настолько волновало ее беспокойство.

Она думала, что Лигия, над которой висела такая гроза, также не спит, и обратилась к ней, чтобы поговорить о вчерашнем празднестве, но Лигия спала спокойно. В темный кубикул сквозь неплотно прикрытую занавесь врвался солнечный луч, и в нем клубилась золотистая пыль. Актея видела тонкое лицо Лигии, покоящееся на обнаженной руке, закрытые глаза и слегка открытый рот. Дыхание ее было ровное.

«Спит... может спать! — подумала Актея. — Ребенок!»

Но через минуту ей пришло в голову, что, однако, этот ребенок предпочитает бежать, чем сделаться любовницей Виниция, предпочитает нужду позору, скитальчество — великолепному дому возле Карин, роскошным одеждам, драгоценностям, пирам, звукам кифар и цитр.

«Но почему?»

И она начала смотреть на Лигию, как бы желая найти ответ на ее спящем лице. Долго она смотрела на ее ясный лоб, на мягкие очертания бровей, на темные ресницы, на девственную грудь, колышущуюся ровным дыханием, и подумала опять:

«Как она не похожа на меня!»

И Лигия показалась ей каким-то чудом, каким-то божественным видением, какою-то любимицей богов, во сто раз прекрасней всех цветов сада цезаря и всех изваяний его дворца. Но в сердце гречанки не было зависти, — напротив, при мысли об опасностях, которые угрожали молодой девушке, ее охватывала великая жалость. В ней словно проснулись материнские чувства. Лигия показалась ей не только прекрасной, как прекрасный сон, но вместе с тем и любимым ребенком, и она прикоснулась своими губами к ее волосам.

А Лигия спала спокойно, как будто дома, под эгидой Помпони Гречицы, и спала долго. Уже миновал полдень, когда она открыла свои голубые глаза и осмотрелась вокруг с великим изумлением. Очевидно, ее изумляло, что она не в доме Авла.

— Это ты, Актея? — спросила она, разглядев в полумраке лицо гречанки.

— Я, Лигия.

— Сейчас уже вечер?

— Нет, дитя, но полдень уже прошел.

— А Урс не возвратился?

— Урс не говорил, что возвратится. Он вечером будет ожидать с христианами твои носилки.

— Да, правда.

Они оставили кубикул и отправились в баню. Актея выкупала Лигию и повела ее сначала завтракать, а потом гулять в дворцовые сады, где нельзя было рассчитывать ни на какую опасность, потому что цезарь и его приближенные еще спали. Лигия в первый раз видела эти удивительные сады, полные кипарисов, пиний, дубов, олив и мирт, посреди которых белелось целое полчище статуй, сверкали спокойные зеркала прудов, цвели рощицы роз, орошаемых брызгами фонтанов, — где входы в очаровательные гроты поросли плющом или виноградом, где по водной поверхности плавали серебристые лебеди, а между статуями и деревьями блуждали прирученные газели из африканских пустынь и красивые пестрые птицы, доставляемые из всех известных стран мира.

Сады были пусты; только там и сям с лопатами в руках работали невольники и пели вполголоса свои песни; другие, которым дали отдых, сидели у прудов или в тени деревьев, остальные поливали розы и бледно-лиловые цветы шафрана. Актея и Лигия ходили долго и осматривали все чудеса садов, и хотя мысли Лигии были заняты совсем другим, она все-таки еще была настолько юна, что не могла не поддаться любопытству и изумлению. Ей даже приходило в голову, что если б цезарь был добр, то в таком дворце и таких садах он мог бы быть очень счастливым.

Наконец они немного устали, сели на скамью, почти совершенно скрытую в тени кипарисов, и начали беседовать о том, что всего более тяготило их, то есть о предполагаемом бегстве Лигии. Актея была гораздо менее спокойна, чем Лигия, и по временам ей казалось, что это сумасбродное намерение не может удасться. Ей все больше и больше становилось жаль Лигию, а в голову приходила мысль, что во сто раз безопаснее было бы попробовать подействовать на добрые чувства Виниция. Она начала спрашивать молодую девушку, как давно знает она Виниция и не думает ли, что его можно упросить возвратить ее Помпонию.

Лигия грустно покачала своею темною головкой. Нет. В доме Авла Виниций был совсем другой, добрый, но со вчерашнего вечера она боится его и предпочитает убежать к своим лигийцам.

Актея допрашивала дальше:

— Однако в доме Авла он был мил тебе?

— Да, — ответила Лигия и поникла головой.

— Ведь ты не невольница, какую я была когда-то, — сказала Актея после минутного раздумья. — На тебе Виниций мог бы жениться. Ты заложница и дочь лигийского царя. Авл любит тебя, как родную, и я уверена, что они готовы признать тебя дочерью. Виниций мог бы жениться на тебе.

Но Лигия ответила тихо и еще грустнее:

— Мне лучше бежать к лигийцам.

— Лигия, хочешь, я сейчас пойду к Виницию, разбужу его, если он спит, и скажу ему то, что говорила тебе сейчас? Да, дорогая моя, я сейчас пойду к нему и скажу:

«Виниций, это царская дочь и любимое детище славного Авла; если ты любишь ее, возврати ее Авлу, а потом возьми ее из их дома, как свою жену».

Девушка ответила таким тихим голосом, что Актея едва могла расслышать:

— Мне лучше бежать к лигийцам.

И слезы нависли на ее длинных ресницах.

Вблизи послышались шаги, и прежде чем Актея успела увидеть, кто приближается, перед скамейкой появилась Поппея Сабина со свитой своих невольниц. Две из них держали над нею пучки страусовых перьев, прикрепленных к золотым прутьям, и слегка обвевали ее, а вместе с тем и защищали от жгучего, хотя и осеннего, солнца. Черная эфиопка с выдающимися грудями, точно переполненными молоком, несла на руках ребенка, закутанного в пурпур, обшитый золотой бахромой. Актея и Лигия встали, предполагая, что Поппея пройдет мимо скамейки, не обращая на них внимания, но она остановилась и сказала:

— Актея, ты нехорошо пришила бубенчики к икункуле (кукле); ребенок оторвал один и поднес было ко рту; к счастью, Лилит заметила это вовремя.

— Прости, божественная, — ответила Актея, скрещивая на груди руки и склоняя голову.

Поппея посмотрела на Лигию.

— Что это за невольница? — спросила она.

— Это не невольница, божественная августа, а воспитанница Помпони Грецины и дочь лигийского царя, которую он, как заложницу, отдал римлянам.

— Она пришла навестить тебя?

— Нет, августа. Она с третьего дня живет во дворце.

— Она была вчера на пире?

— Была, августа.

— По чьему приказанию?

— По приказанию цезаря.

Поппея еще внимательнее начала смотреть на Лигию, которая стояла перед нею с поникшею головой, то с любопытством поднимая на нее свои сверкающие глаза, то снова скрывая их под ресницами. Вдруг между бровями августа появилась морщина. Ревнивая к своей красоте и власти, она жила в постоянной тревоге, чтобы когда-нибудь какая-нибудь счастливая соперница не погубила ее так, как она сама погубила Октавию. Каждое красивое женское лицо во дворце возбуждало ее подозрения. Глазом знатока она сразу окинула всю фигуру Лигии и испугалась. «Да это прямо нимфа, — подумала она, — ее породила Венера». И вдруг ей в голову пришло то, чего не приходило никогда, с какою бы красотой ей ни приходилось встречаться, — что она значительно старше Лигии! Узвлненное самолюбие дрогнуло в ней, и разные опасения быстро начали тесниться в ее голове. «Может быть, Нерон не видал или, смотря сквозь изумруд, не оценил ее. Но что может случиться, если он увидит ее, такую чудную, днем, при солнце? Вдобавок, она не невольница! Она царская дочь, — правда, варварского, но все-таки царя!.. Бессмертные боги! Она так же прекрасна, как я, но моложе меня!»

И морщина между бровями августа стала еще больше, а глаза ее из-под золотистых ресниц засветились холодным светом.

Но она с наружным спокойствием обратилась к Лигии и спросила:

— Ты говорила с цезарем?

— Нет, августа.

— Почему ты предпочитаешь быть здесь, а не у Авла?

— Я не предпочитаю, госпожа. Петроний уговорил цезаря взять меня от Помпони, но я здесь поневоле, о госпожа!..

— И ты хотела бы возвратиться к Помпони?

Последний вопрос Поппея предложила голосом более мягким и ласковым, и в сердце Лигии вдруг вступила надежда.

— Госпожа, — сказала она, протягивая руки к Поппее, — цезарь обещал отдать меня, как невольницу, Виницию, но ты вступишь за меня и возврати меня Помпони.

— Так Петроний убедил цезаря взять тебя у Авла и отдать Виницию?

— Да, госпожа. Виниций сегодня пришлет за мной, но ты, милостивая, сжалась надо мной.

Она склонилась, взяла в руки край одежды Поппеи и с бьющимся сердцем ожидала ее слова. Поппея с лицом, осветившимся злобною улыбкой, посмотрела на нее и сказала:

— Я обещаю тебе, что еще сегодня ты будешь невольницей Виниция.

И она удалилась, как видение, — прекрасное, но злое. До ушей Лигии и Актеи долетел только крик ребенка, который неизвестно почему начал плакать.

У Лигии глаза тоже наполнились слезами, но она взяла руку Актеи и сказала:

— Возвратимся домой. Помощи ждать нужно только оттуда, откуда она может явиться.



Они возвратились в атрий и не покидали его до вечера. Когда смерклось и невольницы внесли светильники, и Лигия, и Актея были очень бледны. Разговор их обрывался каждую минуту. Обе они настораживали слух, не приближается ли кто-нибудь. Лигия постоянно повторяла, что хотя ей жаль покидать Актею, но так как Урс должен уже ожидать ее в темноте, то она желала бы, чтобы все это произошло сегодня. Но, несмотря на это, дыхание ее становилось все короче и отрывистее. Актея лихорадочно собирала драгоценности, которые могла найти, увязывала их в узел пеплума Лигии и заклинала ее не отвергать этого дара, — единственного средства бегства. По временам наступала глухая тишина с ее обманчивыми явлениями. Молодым женщинам казалось, что они слышат то какой-то шепот за занавеской, то далекий плач ребенка, то лай псов.

Вдруг занавеска, отделяющая атрий от сеней, бесшумно раздвинулась, и высокий смуглый человек с лицом, изъеденным оспой, как дух, появился в атрии. Лигия сразу узнала Атачина, отпущенника Виниция, который иногда приходил в дом Авла.

Актея испуганно вскрикнула, но Атачин низко поклонился и сказал:

— Привет божественной Лигии от Кая Виниция, который ждет ее на ужин в своем доме, украшенном зеленью.

Губы девушки совершенно побледнели.

— Я иду, — сказала она и на прощанье обвила руками вокруг шеи Актеи.



— Я обещаю тебе, что еще сегодня ты будешь невольницей Виниция.



ГЛАВА X

Дом Виниция действительно был украшен миртовой зеленью и плющом, который гирляндами сплетался на стенах и над дверями. Колонны все были обвиты виноградом. В атриум, просвет которого для защиты от ночного холода был затянут пурпурною шерстяною занавеской, было светло, как днем. Горели восьми- и двенадцатисвечные светильники, сделанные в форме деревьев, зверей, птиц или статуй, держащих лампы, наполненные благовонным маслом. Светильники эти были и из албаstra, и из мрамора, и из золоченой коринфской меди, — не такие дивные, как славный светильник из храма Аполлона, которым теперь пользовался Нерон, но тоже прекрасные и вышедшие из рук великих художников. Некоторые из них были заслонены александрийским стеклом или прозрачными индейскими тканями, красными, голубыми, желтыми, так что весь атриум горел разноцветными огнями. Разносилось благоухание нарда, к которому Виниций привык на Востоке. Глубина дома, в котором сновали невольники и невольницы, также горела светом. В триклинии стол был приготовлен на четверых, потому что за ужин, кроме Виниция и Лигии, должны были возлечь Петроний и Хризотемида.

Виниций во всем следовал указаниям Петрония, который советовал ему не самому идти за Лигией, а послать Атацина с приказом цезаря, а Лигию принять в доме и принять не только ласково, но даже с оказанием чести.

— Вчера ты был пьян, — говорил Петроний. — Я видел, ты поступал с нею, как каменщик с Альбанских гор. Не будь чересчур назойлив и помни, что хорошее вино нужно пить медленно. Знай также, что сладко желать, но еще слаще быть желанным.

Хризотемида придерживалась собственного, немного отличного мнения, но Петроний, называя ее своею весталкой и голубкой, начал объяснять ей разницу, какая должна быть между опытным цирковым возницей и мальчишкой, который в первый раз садится на колесницу. Потом он обратился к Виницию и продолжал:

— Заслужи ее доверие, развесели ее, будь к ней великодушен. Я не хотел бы присутствовать на скучном ужине. Даже поклянись ей Аидом, что возвратишь ее Помпонию, а это уж твое будет дело, чтобы завтра она сама предпочла остаться.

И, указывая на Хризотемиду, он прибавил:

— Я вот уже пять лет каждый день в большей или меньшей степени применяю такой способ к этой пугливой птичке, и не могу пожаловаться на ее жестокость.

Хризотемида ударила его веером из павлиньих перьев и сказала:

— Разве я не сопротивлялась, сатир?

— Имея в виду моего предшественника.

— Разве ты не был у моих ног?

— Для того только, чтобы надеть перстни на их пальцы.

Хризотемида невольно взглянула на свои ноги, на пальцах которых действительно искрились драгоценные камни, и рассмеялась вместе с Петронием. Но Виниций не слышал их размовки. Сердце его бесконечно билось под великолепную одежду сирийского жреца, в которую он нарочно нарядился для приема Лигии.

— Они должны были уже выйти из дворца, — сказал он, как будто разговаривая с самим собою.

— Должны, — ответил Петроний. — Тем временем я могу тебе рассказать о пророчествах Аполлония Тианского¹ или ту историю о Руфине, которую, не помню почему, не докончил.

Но Виниция также мало занимал Аполлоний Тианский, как и история Руфина. Мысли его были около Лигии, и хотя он чувствовал, что лучше было принять Лигию в собственном доме, чем идти во дворец, но по временам жалел, что не сделал этого. Тогда он раньше мог бы видеть Лигию и сидеть с ней в темноте рядом в двухместных носилках.

В это время невольники внесли треножные бронзовые жаровни, украшенные бараньими головами, и начали бросать на раскаленные уголья нард и мирру.

— Повертывают к Каринам! — снова сказал Виниций.

— Он не выдержит, выбежит навстречу и, пожалуй, разойдется с ними, — воскликнула Хризотемида.

Виниций бессмысленно улынулся и сказал:

— Нет, я выдержу.

Но ноздри его все раздувались, и Петроний, видя это, заметил, пожимая плечами:

— В нем нет философа ни на одну сестерцию, и никогда я из этого сына Марса не сделаю человека.

Виниций даже не слышал этого.

— Они уже на Каринах!

Они действительно повертывали к Каринам. Невольники, называемые лампадарии², шли впереди, другие, педисеквии, по обеим сторонам носилок, а Атацин тут же, за ними, и наблюдал за шествием.

¹ См. комментарий на с. 224 (примеч. ред.).

² См. комментарий на с. 378 (примеч. ред.).

Но шествие подвигалось медленно. Фонари плохо освещали дорогу. Притом улицы, ближайšie к дворцу, были совершенно пусты, разве кое-где покажется человек с фонарем в руках, но зато дальше царствовало необыкновенное оживление. Почти из каждого переулка выходили люди, по трое, по четверо, все без фонарей, все в темных одеждах. Одни шли вместе с процессией, мешались с невольниками, другие скапливались в большие кучки и становились на дороге, а иные шатались, как пьяные. По временам идти становилось так трудно, что лампадарии начинали кричать:

— Место для благородного трибуна¹ Кая Виниция!

Лигия сквозь раздвинутые занавески видела эти темные кучки и начинала дрожать от волнения. Ее попеременно охватывали то надежда, то тревога. «То он, то Урс и христиане!.. Вот, вот, сейчас! — шептали ее дрожащие губы. — О, Христос, помоги! О, Христос, спаси!»

Но и Атацин, который сначала не обращал внимания на это необыкновенное оживление улицы, наконец начал беспокоиться. Здесь крылось что-то странное. Лампадарии все чаще принуждены были кричать: «Место для носилок благородного трибуна!» С обоих боков неизвестные люди так теснились к носилкам, что Атацин приказал отгонять их палками.

Вдруг впереди процессии послышался крик, все факелы мгновенно погасли. Вокруг носилок начались замешательство и драка.

Атацин понял: это было просто нападение.

И, поняв это, он струсил. Всем было известно, что цезарь с компанией августиан² часто разбойничает и в Субурре, и в других частях города. Известно было, что иногда он приносит с собою из этих ночных походов и синяки, но кто сопротивляется, тот идет на смерть, будь это даже сенатор. Дом вигилов³, которые обязаны были охранять спокойствие города, находился недалеко, но стража в подобных случаях притворялась глухою и слепою. А теперь вокруг носилок кипело, как в котле; люди начинали сталкиваться, бить и топтать друг друга. В голове Атацина блеснула мысль, что прежде всего нужно сохранить Лигию и себя, а остальное предоставить судьбе. И, высадив ее из носилок, он подхватил ее на руки и попытался скрыться во мраке.

Но Лигия начала кричать:

— Урс! Урс!

Она была в белом, поэтому ее узнать было нетрудно. Атацин свободною рукой начал окутывать ее собственным плащом, как вдруг какие-то страшные клещи сжали его шею, а на голову его, как камень, свалилась гигантская масса.

Атацин моментально упал, как бык, пораженный обухом перед жертвенником Зевса.

Невольники по большей части лежали на земле или спасались бегством, наткнувшись среди глубокого мрака на углы каменных стен. На месте оставались только разбитые в суматохе носилки. Урс уносил Лигию по направлению к Субурре; товарищи его следовали за ним, рассыпаясь в разные стороны по дороге.

Невольники начали собираться перед домом Виниция и держать совет, как им быть. Войти они не смели. После краткого совещания они решили возвратиться

¹ См. комментарий на с. 121 (*примеч. ред.*).

² См. комментарий на с. 92 (*примеч. ред.*).

³ См. комментарий на с. 114 (*примеч. ред.*).



Урс уносил Лигию по направлению к Субурре; товарищи его следовали за ним, рассыпая в разные стороны по дороге.

на место кровавой стычки, где нашли несколько трупов, между прочим и тело Атаци-на. Он еще вздрагивал, но после короткой сильной конвульсии выпрямился и остался недвижим.

Невольники взяли его и принесли к воротам дома Виниция. Нужно было, однако, известить господина, что произошло.

— Пускай Гуло скажет, — слышалось несколько тихих голосов, — лицо у него окровавлено, как и у нас, а господин любит его. Ему безопаснее сказать, чем нам.

Германец Гуло, старый невольник, который когда-то нянчил Виниция и перешел к нему от матери, сестры Петрония, сказал:

— Я доложу, но пойдем мы все вместе. Пусть не на меня одного падет его гнев.

Виниций не на шутку начинал горячиться. Петроний и Хризотемида подсмеивались над ним, но он широкими шагами ходил по атрию и повторял:

— Они должны уже быть здесь!.. Должны быть здесь!..

Он хотел уже бежать навстречу, но Петроний задерживал его.

Вдруг в сенях послышались шаги, и в атрий ввалилась толпа невольников и, остановившись у стены, подняла руки кверху.

Виниций подскочил к ним.

— Где Лигия? — крикнул он страшным, изменившимся голосом.

— А-а-а-а! — только и могли простонать невольники.

В это время Гуло выступил вперед со своим окровавленным лицом и поспешно и жалобно заговорил:

— Видишь кровь, господин? Мы защищались! Кровь, господин, вот кровь!

Но не успел он закончить, как Виниций схватил бронзовый светильник и одним ударом разможил череп невольника, потом, обхватив голову руками, впился пальцами в волосы и начал повторять хриплым голосом:

— *Me miserum! me miserum!*..

Лицо его посинело, глаза закатились под лоб, на губах появилась пена.

— Розог! — крикнул он наконец нечеловеческим голосом.

Петроний поднялся с места с выражением неудовольствия на лице.

— Пойдем, Хризотемида, — сказал он, — если ты хочешь смотреть на мясо, я прикажу разбить лавку мясника в Каринах.

И он вышел из атрия, а в доме, убранном зеленью плюща и приготовленном для пира, через минуту раздались свист розог и вопли, и продолжались чуть не до утра.



ГЛАВА XI

В эту ночь Виниций совсем не ложился спать. Когда Петроний ушел, и когда стоны истязаемых невольников оказались бессильными смягчить боль Виниция или укротить его свирепость, он собрал толпу других слуг и во главе их позднею ночью отправился отыскивать Лигию. Он осмотрел Эсквилинскую часть, потом Субурру, *Vicus Sceleratus* и все прилегающие к ним переулки. Потом, обойдя Капитолий¹, он через мост Фабриция перешел на остров и обегал всю затибрскую часть города. Но то была погоня без цели; он сам не надеялся найти Лигию, и если искал ее, то главным образом для того, чтобы чем-нибудь наполнить эту страшную ночь. Домой он возвратился на рассвете, когда в городе начали уже появляться телеги и мулы перекупщиков овощей и когда пекаря открывали свои лавки. Он приказал убрать тело Гула, до которого до сих пор никто не смел дотронуться, затем невольников, у которых отбили Лигию, велел отправить в деревенский эргастул², что являлось наказанием чуть ли не более страшным, чем смерть, наконец бросился на скамью в атрии и начал беспорядочно думать, каким образом он найдет и отнимет Лигию.

¹ См. комментарий на с. 329 (*примеч. ред.*).

² *Ergastulum* — рабочий дом в римском поместье, куда отправляли провинившихся рабов.

Отречься от нее, утратить ее, никогда не видеть ее больше казалось ему чем-то неправдоподобным, и при одной мысли об этом его охватывало бешенство. Необузданная натура молодого воина первый раз в жизни наткнулась на сопротивление, на другую непреклонную волю и положительно не могла понять, как это может быть, чтобы кто-нибудь смел ставить преграды его желаниям. Виниций скорее бы предпочел, чтобы весь мир и Рим обратились в кучу развалин, чем примириться с мыслью, что он не достигнет того, к чему стремился. Чашу наслаждений отняли чуть ли не от его уст, и ему казалось, что случилось что-то неслыханное, взывающее о мести и нарушающее все права, божеские и человеческие.

Но прежде всего он не хотел и не мог примириться с судьбой, потому что никогда и ничего так не жаждал, как Лигии. Ему казалось, что он не сумеет существовать без нее. Он не мог себе ответить, что делал бы без нее завтра, как мог бы прожить следующие дни. По временам его охватывал гнев на нее, — гнев, близкий к безумию. То он хотел обладать ею затем, чтобы бить ее, тащить ее за волосы в кубикул и издеваться над нею, то им овладевала страшная тоска по ее голосу, фигуре, глазам, и он чувствовал, что был бы готов лежать у ее ног. Он призывал ее, грыз пальцы, сжимал виски руками. Всеми силами он принуждал себя думать спокойнее о том, как бы найти ее, и не мог. В голове у него мелькали тысячи средств и способов, но один другого безумнее. Наконец ему блеснула мысль, что Лигию отбил не кто другой, как Авла, что в самом крайнем случае он должен знать, где она скрывается.

И он вскочил, чтобы бежать в дом Авла. Если ему не отдадут ее, если не испугаются его угроз, он пойдет к цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении и добьется его смертного приговора, но перед этим он вырвет у него признание, где находится Лигия. Если ему отдадут ее даже добровольно, он и в таком случае отмстит. Правда, Авла принял его в свой дом и ухаживал за ним, но это все равно. Одним этим оскорблением его освободили от всякой признательности. Его мстительная и пылкая душа испытывала наслаждение при мысли об отчаянии Помпонии Грецины, когда центурион принесет старому Авлу смертный приговор, а Виниций был почти уверен, что добьется этого приговора. Ему поможет в этом Петроний. Наконец, и сам цезарь ни в чем не отказывает своим товарищам-августянам¹, если к отказу его не побуждает личное нерасположение или страсть.

Вдруг сердце Виниция замерло под влиянием страшного предположения.

А вдруг как сам цезарь похитил Лигию?

Все знали, что цезарь часто ищет развлечения в ночных разбоях от своей скуки. Даже Петроний принимал участие в этих забавах. Главная цель их, правда, заключалась в том, чтобы хватать женщин и до обморока подбрасывать их на солдатском плаще. Но, однако, сам Нерон по временам называл эти прогулки «ловлею жемчуга»; случалось порой, что из глубины частей города, населенных убогим людом, удавалось выловить настоящую жемчужину красоты и молодости. Тогда *sagatio*, как называлось подбрасывание на солдатской сермяге, обращалось в настоящее похищение, и «жемчужину» отправляли или на Палатин, или в одну из бесчисленных вилл цезаря, или, наконец, Нерон уступал ее кому-нибудь из своих товарищей. Так могло случиться и с Лигией. Цезарь смотрел на нее во время пира, и Виниций ни на минуту не сомневался, что она должна была показаться ему прекраснейшей из женщин, каких он видел

¹ *Augustiani* — конная гвардия Нерона (*Tacitus*, «*Annales*», XIV, 15).

до сих пор. Да могло ли быть иначе? Правда, Нерон держал ее у себя на Палатине и мог задержать открыто, но, как справедливо говорил Петроний, у цезаря не было отваги на преступление и, имея возможность действовать открыто, он предпочитал действовать втайне. А теперь к этому его могла склонить и боязнь перед Поппеей. Виницию пришло в голову, что Авла, может быть, и не осмелился бы силою похитить девушку, подаренную ему, Виницию, цезарем. Но тогда кто же осмелился? Может быть, тот гигант-лигиец с голубыми глазами, который отважился войти в триклиний и вынести ее с пиршества на руках? Но куда же он скрылся с нею, куда мог завести ее? Нет, невольника не хватило бы на это. Значит, это сделал не кто другой, как цезарь.

При этой мысли в глазах Виниция потемнело, а на лбу проступили капли пота. В таком случае Лигия была потеряна для него навсегда. Ее можно было вырвать из всяких других рук, только не из таких. Теперь с большею справедливостью, чем прежде, он мог воскликнуть: «*Vae misero mihi!*»¹. Воображение представляло ему Лигию в объятиях Нерона, и первый раз в жизни он понял, что есть мысли, которых человек положительно не может вынести. Только теперь он увидал, как полюбил ее. Он и сейчас видел ее, слышал каждое ее слово. Он видел ее у фонтана, видел в доме Авла, видел на пиршестве. Он снова чувствовал ее близость, благоухание ее волос, сладость поцелуев, которыми он во время пира осыпал ее невинные уста. Она теперь во сто раз более, чем когда-либо, казалась ему прекрасною, желанною, единственною избранницей из всех смертных и богов. И когда он подумал, что все, что раз вселилось в его сердце, что стало его кровью и жизнью, могло попасть в обладание Нерона, — им овладела боль, почти физическая и такая страшная, что ему хотелось биться головой о стены агрия, пока он не разобьет ее. Он чувствовал, что может сойти с ума, и сошел бы наверное, если б ему еще не оставалось мести. Но, как прежде ему казалось, что он не может жить, если не отыщет Лигию, так теперь он видел, что не может умереть, пока не отомстит за нее. Эта мысль приносила ему некоторое облегчение. «Я буду твоим Кассием Хереей!»² — повторял он, думая о Нероне. И, захватив в руки земли из цветочных ваз, окружающих имплювий, он принес страшную клятву Эребу, Гекате³ и своим домашним ларам, что доведет свою месть до конца.

И действительно, ему полегчало. Теперь, по крайней мере, ему было для чего жить, чем наполнять свои дни и ночи. Он оставил свой план посещения Авла и приказал нести себя на Палатин. По дороге он думал, что если его не допустят до цезаря или захотят удостовериться, нет ли при нем оружия, то это будет служить доказательством, что Лигию похитил цезарь. Однако оружия с собой он не взял. Он потерял сознание вообще, но, как обыкновенно все люди, поглощенные одною мыслью, сохранил его настолько, насколько это касалось его мести. Он не хотел, чтоб она разразилась раньше, чем нужно. Кроме того, он жаждал прежде всего увидеть Актею и думал, что от нее может узнать всю правду. По временам его осеняла надежда, что он, может быть, увидит и Лигию, и при этой мысли он начинал дрожать. Может быть, цезарь похитил ее, не зная, кого похищает, и сегодня же возвратит ее ему? Но через минуту он отверг это предположение. Если б ему хотели прислать ее, то прислали бы вчера. Одна Актея могла объяснить все, и ее нужно было увидеть раньше всех.

¹ «Горе мне, несчастному!»

² *Cassius Chaerea* — убийца императора Калигулы.

³ *Эреб* и *Геката* — подземные божества.

Утвердившись в этом предположении, он приказал невольникам прибавить шаг, а по дороге беспорядочно думал то о Лигии, то о мести.

Он слышал, что жрецы египетской богини Пахт умеют наводить болезнь на кого захотят, и решил допытаться у них об их способах. На Востоке ему говорили, что у евреев есть какие-то заклинания, — произнеси их, и тело твоего врага покроется болячками. В его доме между невольниками было несколько евреев, и Виниций обещал себе по возвращении бичевать их до тех пор, покуда они не выдадут ему этой тайны. Но с большим наслаждением он думал о коротком римском мече, который извлекает струи крови такие, какие когда-то брызнули из Кая Калигулы и образовали неизгладимые пятна на колонне портика. Виниций готов был теперь вырезать весь Рим, а если бы какие-нибудь мстительные боги обещали ему, что все люди, за исключением его и Лигии, вымрут, то он согласился бы и на это.

Перед аркой он собрал все свое сознание и при виде преторианской стражи подумал, что если ему будут делать хоть малейшие затруднения, то это будет служить доказательством, что Лигия по воле императора находится во дворце. Но примипилярный центурион¹ приязненно улыбнулся и, сделав несколько шагов ему навстречу, сказал:

— Привет тебе, благородный трибун! Если ты жаждешь склониться перед цезарем, то ты выбрал дурную минуту, и я не знаю, будешь ли ты иметь возможность увидеть его.

— Что случилось? — спросил Виниций.

— Божественная юная августа неожиданно захворала вчера. Цезарь и августа Поппея находятся при ней вместе с врачами, которых созвали со всего города.

Случай был важный. Цезарь, когда у него родилась дочь, просто с ума сходил от счастья и принял ее «*extra humanum gaudium*»². Еще перед этим сенат поручил особому покровительству богов чрево Поппеи. Произносились обеты, а в Антии, где наступило разрешение от бремени, были устроены великолепные игры и, кроме того, воздвигнуты храмы двум Фортунам³. Нерон, который ни в чем не умел сохранять меры, безмерно любил этого ребенка. Поппее он был так же дорог, хотя бы потому, что укреплял ее положение и делал ее влияние непреодолимым.

От здоровья и жизни маленькой августа могли зависеть судьбы всей империи, но Виниций так был занят собою, своим делом и своею любовью, что почти не обратил внимания на известие центуриона и ответил:

— Я хочу видаться только с Актеей.

Но Актея также находилась при больной, и он должен был долго ждать ее. Она пришла лишь около полудня с измученным бледным лицом, которое при виде Виниция побледнело еще больше.

— Актея, — закричал Виниций, схватывая ее за руку и притягивая на середину атрия, — где Лигия?

¹ *Primpilaris* — высший из центурионов в легионе. *Центурион* — начальник центурии, за ключавшей в себе 60 человек.

² Буквально — «вне человеческой радости», т. е. «с большею радостью, чем бывает обыкновенно у людей». Выражение это, по-видимому, взято из Тацита («Летопись», кн. 15, гл. 23), у которого, впрочем, сказано «*ultra mortale gaudium*». Дочь Нерона была Клавдия Августа, родившаяся в 68 году и умершая 4 месяцев от роду.

³ У Тацита говорится не о храмах, а о статуях (*effigies*) Фортун.

— Я хотела тебя спросить об этом, — ответила Актея и с упрёком посмотрела ему в глаза.

А он, хотя обещал себе, что будет спокойно расспрашивать ее, стиснул руками голову и начал повторять с лицом, искаженным болью и гневом:

— Нет ее! Ее похитили по пути ко мне!

Но немного погодя он опомнился и, приблизив свое лицо к лицу Актеи, заговорил сквозь стиснутые зубы:

— Актея, если тебе мила жизнь, если ты не хочешь стать причиною несчастий, которых даже и вообразить себе не можешь, ответь мне правду: не цезарь похитил ее?

— Цезарь вчера не выходил из дворца.

— Покаянись тенью твоей матери, всеми богами, что ее нет во дворце.

— Клянусь тенью моей матери, Марк, — ее нет во дворце и не цезарь похитил ее. Вчера захворала маленькая августа, и Нерон не отходит от ее колыбели.

Виниций вздохнул свободнее. То, что казалось ему самым страшным, перестало угрожать ему.

— Коли так, — сказал он, садясь на скамью и судорожно сжимая руки, — ее похитил Авл с женою, и в таком случае горе им!

— Авл Плавтий был здесь утром. Он не мог видетсья со мной, потому что я была около ребенка, но расспрашивал о Лигии Эпафродита и других слуг цезаря, а потом сказал им, что придет еще раз, чтобы видетсья со мной.

— Он хотел отвратить от себя подозрение. Если б он не знал, что сделалось с Лигией, то пришел бы искать ее в моем доме.

— Он написал на табличке несколько слов, и ты увидишь, что он знал, что цезарь взял Лигию из его дома по просьбе твоей и Петрония, рассчитывал, что ее отошлют к тебе и сегодня утром был у тебя в доме, где узнал все, что произошло.

Она пошла в кубикул и возвратилась с табличкой, которую ей оставил Авл.

Виниций прочел и замолчал. Актея тоже словно прочла его мысли по его унылому лицу, потому что сказала через минуту:

— Нет, Марк, произошло то, чего хотела сама Лигия.

— Ты знала, что она хочет бежать? — вспыхнул Виниций.

Актея посмотрела на него своими мглистыми глазами и почти сурово ответила:

— Я знала, что она не хочет сделаться твоею наложницей.

— А ты чем была всю свою жизнь?

— Я... я перед этим была невольницей.

Но Виниций не переставал волноваться, — цезарь подарил ему Лигию, и ему нет надобности допытываться, чем она была перед этим. Он отыщет ее хоть под землей и сделает с ней все, что ему захочется. Именно так. Она будет его наложницей. Он прикажет ее бичевать, сколько ему будет угодно. Когда она ему надоест, он отдаст ее самому последнему из своих невольников или заставит ворочать жернов в своих африканских имениях. Он будет ее искать и найдет только затем, чтобы, сыскав ее, истоптать и унижить.

И, раздражаясь все более и более, он утрачивал чувство меры до такой степени, что Актея поняла, что он обещает больше, чем может исполнить, и что в нем говорят гнев и страдание. К страданию она почувствовала бы сожаление, но несдержанность Виниция до такой степени исчерпала ее терпение, что она спросила, для чего он пришел к ней. Виниций сразу не нашел ответа. Пришел потому, что так хотел, думал,

что она даст ему какие-нибудь сведения, но, собственно, ему хотелось видиться с цезарем, и так как этого сделать было нельзя, то он явился к ней. Лигия своим бегством оказала неповиновение воле цезаря, и он уприсит его искать ее во всем городе, во всем государстве, хотя бы для этого пришлось пустить в ход все легионы и по очереди обшарить каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу, и поиски начнутся с сегодняшнего же дня.

На это Актея сказала:

— Берегись, чтоб не потерять ее навеки, в особенности тогда, когда ее найдут по приказу цезаря.

Виниций нахмурил брови.

— Что это значит? — спросил он.

— Слушай меня, Марк! Вчера мы с Лигией были в здешних садах и встретились с Поппеей и с маленькою августой, которую несла на руках негритянка Лилит. Вечером ребенок захворал, и Лилит утверждает, что его околдовали, — и околдовала та чужеземка, которую они встретили в садах. Если ребенок выздоровеет, об этом забудут, но в противном случае Поппея первая обвинит Лигию в колдовстве, а тогда, как только ее отыщут, спасения для нее не будет.

Наступила минута молчания, потом Виниций отозвался:

— А может и околдовала... и меня околдовала.

— Лилит повторяет, что ребенок заплакал, когда его пронесли мимо нас. И правда, заплакал. Вероятно, его в сад вынесли уже больным. Марк, ищи ее сам, где хочешь, но пока маленькая августа не выздоровеет, не говори о ней с цезарем, потому что ты навлечешь на нее мщенье Поппеи. Довольно слез уже пролили ее глаза благодаря тебе, и да хранят теперь все боги ее бедную голову.

— Ты любишь ее, Актея? — угрюмо спросил Виниций.

В глазах отпущенницы блеснули слезы.

— Да, я полюбила ее.

— Как бы она и тебе не отплатила ненавистью, как мне.

Актея с минуту смотрела на него, как бы колеблясь или желая узнать, искренно ли он говорит, потом ответила.

— Бешеный и слепой человек, она любит тебя!

Виниций при этих словах вскочил, как сумасшедший.

Неправда, она ненавидела его. Откуда Актея может знать это? Неужели после одного дня знакомства Лигия во всем доверилась ей? Что это за любовь, которая предпочитает скитальчество, позор нищеты, неуверенность в завтрашнем дне, а даже, может быть, и бесславную смерть разукрашенному дому, в котором любимый человек ждет ее на пиршество? Лучше ему не слышать таких слов, потому что он готов сойти с ума. Он не отдал бы этой девушки за все сокровища своего дворца, а она убежала. Что это за любовь, которая боится наслаждения и плодит горе? Кто поймет это? Кто может это объяснить? Если б не надежда, что он найдет ее, он пронзил бы себя мечом. Любовь дают, а не отнимают. Были минуты, когда в доме Авла он сам верил в близкое счастье, но теперь знает, что она ненавидела его, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце.

Но Актея, обыкновенно мягкая и боязливая, в свою очередь перешла в негодование. Каким образом он старался снискать ее расположение? Вместо того, чтобы просить ее у Авла и Помпонии, он предательски отнял ее у родителей. Он хотел ее сделать не женою, а наложницею, — ее, царскую дочь. Он ввел ее в этот

дом преступления и срама, осквернил ее невинные очи зрелищем омерзительного пиршества, поступил с нею, как с блудницею. Разве он забыл, что такое дом Авла, что такое Помпония Грецина, которая воспитывала Лигию? Хватило ли у него ума угадать, что эти женщины не такие, как Нигидия, как Кальвия Криспинилла, как Поппея, как все другие, на которых наталкиваешься в доме цезаря? Разве, увидав Лигию, он не понял сразу, что это чистое существо, которое смерть предпочитает позору? Почем он знает, каких богов признает она, не более ли чистых и лучших, чем развратная Венера или Изида, которых чтут распутные римлянки? Нет, Лигия признаний не делала, но говорила ей, что спасения ожидает от него, от Виниция; она надеялась, что он испросит для нее у цезаря право возвратиться назад и приведет ее к Помпонии. А говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам устрасил ее, поразил, возмутил. Пускай он теперь ищет ее при помощи солдат цезаря, но пусть знает, что если ребенок Поппеи умрет, то на Лигию падет подозрение, и гибель ее будет неизбежна.

Сквозь гнев и боль у Виниция начало пробиваться волнение. Известие, что Лигия любила его, потрясло до глубины его души. Он припомнил себе, как в саду Авла она слушала его с румянцем на щеках и с искрящимися глазами. Ему в то время показалось, что она действительно начинала любить его, и вдруг при этой мысли его охватило ощущение какого-то счастья, во сто раз большего, чем то, которого он ожидал. Он подумал, что действительно мог бы взять ее с ее согласия, и, кроме того, взять любящею. Она окутала бы пряжей его двери и обмазала бы их волчьим жиром, а потом, как его жена, села бы на овечьей шкуре у его очага¹. Он услышал бы из ее уст священные слова: «Где ты, Кай, там и я, Кая»², и она навсегда была бы его. Ничего он так не сделал. Он был готов сделать так, а теперь ее нет, он может никогда не найти ее, а если и нашел бы, то может погубить ее. Пусть даже этого не случится, — теперь его уже не захочет ни Авл, ни Помпония, ни сама Лигия. Тут гнев снова начал поднимать волосы на его голове, но теперь обратился уже не против Авла и Лигии, а против Петрония. Это он был виною всему. Если б не он, Лигии не нужно было бы скитаться, она была бы его нареченною, и никакая опасность не висела бы над ее дорогою головкой. А теперь свершилось: поздно исправлять зло, которое исправить невозможно!

— Поздно!

И ему показалось, что под его ногами разверзлась бездна. Он не знал, что предпринять, как поступить, куда пойти. Актея, как эхо, повторила «поздно», и это слово в чужих устах прозвучало Виницию как смертный приговор. Он понимал только одно, что ему во что бы то ни стало нужно отыскать Лигию, иначе с ним делается что-нибудь нехорошее.

И, машинально закутавшись в тогу, он хотел уйти, даже не простившись с Актеей, как занавесь, отделяющая сени от атрия, раздвинулась, и Виниций вдруг увидал перед собою фигуру Помпонии Грецины в ее вечном трауре.

Очевидно, и она узнала уже об исчезновении Лигии и, думая, что ей легче, чем Авлу, будет видаться с Актеей, пришла расспросить ее, но, увидев Виниция, обратила к нему свое бледное лицо и, погодя немного, сказала:

— Марк, да простит тебе Бог зло, которое ты причинил нам и Лигии!

¹ Брачные обычаи у римлян, равно как и следующие сейчас слова.

² См. комментарий на с. 266 (*примеч. ред.*).

А он стоял с поникшим челом, с сознанием несчастья и вины, не понимая, какой бог должен был и мог простить ему и почему Помпония говорила о прощении, когда ей нужно было говорить о мести.

И, наконец, он вышел, не зная, куда ему идти, с головою, полную тяжелых мыслей, тягостной заботы и изумления.

На дворе и в галерее стояли беспокойные толпы людей. Среди дворцовых невольников виднелись воины и сенаторы, которые явились осведомиться о здоровье маленькой августы, а вместе с тем показаться во дворце и заявить о своей заботливости хотя бы перед лицом невольников цезаря. Весть о болезни «богини», видно, быстро разнеслась по всему городу, потому что в воротах показывались все новые лица, а за аркой скапливались другие толпы людей. Некоторые из вновь прибывших, видя, что Виниций выходит из дворца, расспрашивали его о новостях, но он, не отвечая на вопросы, шел прямо. Петроний, который также явился сюда, чуть не столкнулся с ним грудь с грудью и остановил его.

Виниций непременно раскипятился бы при виде его и допустил бы какое-нибудь бесчинство во дворце цезаря, если бы вышел от Актеи не таким изломанным, не таким бессильным и угнетенным, что даже и его обычная запальчивость на время покинула его. Он, однако, отстранил Петрония и хотел было пройти мимо, но Петроний чуть не насильно задержал его.

— Как чувствует себя божественная? — спросил он.

Но это насилие раздражило Виниция и возбудило его в одну минуту.

— Пусть ад поглотит и ее, и весь этот дом, — ответил он, стискивая зубы.

— Молчи, несчастный! — сказал Петроний и, оглядевшись вокруг, добавил поспешно: — Если хочешь что-нибудь узнать о Лигии, иди за мной. Нет... Здесь я ничего не скажу тебе. Иди за мной, я в носилках передам тебе мои догадки.

И, обняв рукою молодого человека, он торопливо вывел его из дворца. Ему это и было нужно, хотя ни о каких новостях он не мог сказать ничего. Петроний, как человек предусмотрительный и, несмотря на свое вчерашнее недовольство, весьма сочувственно относившийся к Виницию и до некоторой степени считавший себя ответственным за то, что произошло, кое-что уже предпринял и сказал, усевшись в носилки:

— Я приказал своим невольникам сторожить у всех ворот и дал им точное описание девушки и того гиганта, который унес ее с императорского пира, — нет сомнения, что это он отбил ее у твоих слуг. Слушай меня! Быть может, Авл захочет скрыть ее в каком-нибудь своем загородном имении, в таком случае мы будем знать, в какую сторону ее увезли. Если же ее не увидят близ городских ворот, то это будет служить доказательством, что она осталась в городе, а там мы еще сегодня начнем свои розыски.

— Авл не знает, где она, — ответил Виниций.

— Уверен ли ты, что это так?

— Я видел Помпонию. Она также разыскивает ее.

— Вчера она не могла выйти из города, потому что ночью ворота заперты. Двое моих невольников ходят около каждых ворот. Один должен идти за Лигией и за гигантом, другой возвратится тотчас же, чтобы дать знать. Если они в городе, мы найдем ее, потому что этого лигийца, хотя бы по его росту и его плечам, легко распознать. Счастлив ты, что не цезарь похитил ее, — я могу тебя уверить, что не он, потому что на Палатине для меня нет тайн.

Но Виниций разразился больше горем, чем гневом, и голосом, прерывающимся от волнения, начал рассказывать Петронию, что слышал от Актеи и какая новая опасность нависла над головой Лигии, — опасность такая страшная, что если они и найдут беглецов, то должны будут тщательно скрывать их от Поппеи. Потом он горько упрекнул Петронию за его совет. Если бы не он, все бы случилось иначе. Лигия была бы в доме Авла, а он, Виниций, мог бы видеть ее ежедневно и был бы счастливее цезаря. И, разгораясь по мере рассказа, он все более и более поддавался волнению до тех пор, пока слезы горя и бешенства не закапали из его глаз.

Петроний положительно не ожидал, чтобы молодой человек мог любить и жаждать любви до такой степени, и, видя эти слезы отчаяния, сказал про себя с изумлением:

— О, могучая повелительница Кипра¹, ты одна царишь над богами и людьми!



¹ Венера.



ГЛАВА XII

Когда они вышли из носилок перед домом Петрония, заведующий атрием доложил им, что ни один из невольников, посланных к городским воротам, еще не возвратился. *Atriensis*¹ приказал им отнести пищи и дал новое приказание, чтобы под угрозой наказания они тщательно следили за всеми, выходящими из города.

— Видишь, — сказал Петроний, — несомненно, они в городе, а в таком случае мы найдем их. Прикажи, однако, и своим людям смотреть у ворот, в особенности тем, которые были посланы за Лигией, — те легко узнают ее.

— Я приказал их сослать в эргастулы, — сказал Виниций, — но тотчас же отменю свой приказ, — пусть идут к воротам.

И, написав несколько слов на покрытой воском дощечке, он отдал ее Петронию, а тот приказал немедленно отнести ее в дом Виниция.

Они оба перешли во внутренний портик, сели на мраморную скамью и начали разговаривать. Златовласая Эвника и Ирада пододвинули им под ноги бронзовые скамеечки и начали наливать в чаши вино из дивных узкогорлых кувшинов, которые доставлялись из Волатерры и Цецины.

— Нет ли между твоими людьми кого-нибудь, кто знал бы гиганта-лигийца? — спросил Петроний.

— Его знали Атацин и Гуло. Но Атацин сложил вчера голову у носилок, а Гуло убил я.

¹ *Atriensis* — раб, смотревший за атрием и имевший надзор над остальными рабами в доме.

— Жаль мне его, — сказал Петроний. — Он носил на руках не только тебя, но и меня.

— Я даже хотел было отпустить его, — ответил Виниций, — но это все равно. Поговорим о Лигии. Рим — это море...

— Жемчужины только в море и появляются... Наверное, мы не найдем ее ни сегодня, ни завтра, но когда-нибудь найдем непременно. Ты сейчас обвиняешь меня, что я посоветовал тебе это средство, но средство само по себе было хорошо и стало дурным только тогда, когда дело приняло дурной оборот. Наконец, ты слышал от самого Авла, что он со всею семьей собирается переселиться в Сицилию. Таким образом, девушка и так была бы далеко от тебя.

— Я поехал бы за ними, — ответил Виниций, — и, во всяком случае, она была бы в безопасности, а теперь, если этот ребенок умрет, Пoppея и сама поверит, и заставит поверить цезаря, что это — вина Лигии.

— Да. Это и меня также беспокоило. Но маленькая кукла еще может выздороветь. А если она умрет, мы и тогда найдем какой-нибудь способ.

Он задумался на минуту и потом сказал:

— Пoppея как будто придерживается еврейской религии. Цезарь суверен. Если распустить слух, что ее похитили злые духи, этому поверят, тем более что ни цезарь, ни Авл Плавтий не принимали никакого участия в этом деле, и она исчезла, действительно, весьма таинственно. Лигиец один не мог бы этого сделать. У него должна была быть какая-нибудь помощь, а откуда невольник в один день мог набрать столько людей?

— Невольники оказывают помощь друг другу во всем Риме.

— И жестоко платятся за это иногда. Да, оказывают, но не одни против других, а тут было известно, что на твоих невольников падет ответственность и кара. Если ты внушишь своим невольникам мысль о злых духах, то они сейчас же подтвердят, что видели их собственными глазами, потому что это сразу оправдает их в твоих глазах... Спроси кого-нибудь на пробу, не видал ли он, как духи уносили Лигию по воздуху, и они тотчас же поклянутся эгидою¹ Зевса, что это так и было.

Виниций — он и сам был так же суверен — посмотрел на Петрония с внезапным и сильным беспокойством.

— Если у Урса не было помощников и один он не мог похитить ее, то кто же ее похитил?

Петроний рассмеялся.

— Вот видишь, — сказал он, — поверят, коль скоро и ты уже наполовину веришь. Таков наш свет, который издевается над богами. Поверят и не будут ее искать, а мы тем временем поместим ее где-нибудь подальше от города, в какой-нибудь твоей или моей вилле.

— Однако кто же мог помочь ей?

— Ее единоверцы, — ответил Петроний.

— Какие? Какое божество чтит она? Я должен был бы знать это лучше тебя.

— Почти каждая женщина в Риме кому-нибудь да поклоняется. Несомненное дело, что Помпония воспитала ее в вере в то божество, которое сама почитает, а в какое именно — я не знаю. Одно верно: никто не видал, чтоб она приносила жертву богам

¹ Эгида — страшный щит Зевса, скованный ему Гефестом.

в каком-нибудь из наших храмов. Ее далее обвиняли, что она христианка, но это невозможно. Домашний суд оправдал ее от этого упрека. О христианах говорят, что они не только поклоняются ослиной голове, но и вообще являются врагами рода человеческого и допускают гнуснейшие преступления. Помпония не может быть христианкой, потому что добродетель ее всем известна, а враг человеческого рода не обходился бы с невольниками так, как обходится она.

— Ни в каком доме с ними не обходятся так, как у Авла, — перебил Виниций.

— Вот видишь. Помпония говорила мне о каком-то едином, всемогущем и милосердом боге. Куда она спрятала других — это ее дело, довольно того, что ее Логос¹ не был бы особенно всемогущим, вернее, должен был быть очень незначительным Логосом, если б у него насчитывалось только две поклонницы, то есть Помпония и Лигия, с прибавкой к ним Урса. Их должно быть больше, этих поклонников; они-то и оказали помощь Лигии.

— Эта вера приказывает прощать, — сказал Виниций. — У Актеи я встретил Помпонию, и она сказала мне: «Да простит тебе Бог зло, которое ты причинил нам и Лигии».

— Очевидно, их Бог, — это какой-то куратор², очень снисходительный. Гм!.. пускай он простит тебе, а в знак прощения пусть возвратит тебе девушку.

— Я завтра принес бы ему гекатомбу³. Мне противны и еда, и баня, и сон. Я надену темную лацерну⁴ и пойду блуждать по городу. Может быть, переодетый, я найду ее. Я болен!

Петроний посмотрел на него с некоторым сожалением. Действительно, под глазами Виниция образовались синие круги, а зрачки светились горячечным светом; утром он не брился, и заросль синеватую полосу обрамляла его сильно обрисованные челюсти, волосы его были в беспорядке, и он действительно казался больным. Ирада и златовласая Эвника тоже с сочувствием смотрели на него, но он, казалось, не видал их. Вообще, они оба с Петронием так мало обращали внимание на невольниц, как будто бы около них увивались не люди, а собаки.

— Тебя сжигает горячка, — сказал Петроний.

— Да.

— В таком случае послушай меня... Я не знаю, что бы тебе посоветовал врач, но знаю, как бы я сам поступил на твоём месте. Итак, прежде чем ты найдут, я поискал бы в другой того, что я потерял. Я в твоей вилле видел великолепные тела. Не противоречь мне... Я знаю, что такое любовь, и если жаждешь одной, другая никогда не может заменить ее. Но в хорошенькой невольнице всегда можно найти хоть временное развлечение...

— Не хочу! — ответил Виниций.

Но Петроний, который действительно питал к нему слабость и желал смягчить его страдания, начал думать, как бы это сделать.

¹ *Логос* — «Слово».

² *Суратор* — вообще всякий, кто имеет попечение о чем-нибудь.

³ *Гекатомба* — буквально: «жертва в 100 быков»; но обыкновенно этим словом называлась всякая большая жертва.

⁴ *Ласерна* — накидка, надсавшавшая поверх тоги, вероятно, галльского происхождения, снабженная капюшоном (вроде башлыка), которым можно было закрыть голову; она вошла в употребление в императорский период.

— Может быть, твои не имеют для тебя обаяния новизны, — сказал он через минуту, — теперь (он поочередно осмотрел Ираду и Эвнику и наконец положил руку на бедро гречанки) обрати внимание на эту грацию. Несколько дней назад молодой Фонтений Капитон давал мне за нее троих прелестнейших мальчиков из Клазомен, потому что более прекрасного тела и сам Скопас¹ не мог бы изваять. Не понимаю, каким образом я до сих пор оставался равнодушен к ней, не мысль же о Хризотемиде удерживала меня? Я ее дарю тебе, возьми ее!

Эвника, услышав это, побледнела как полотно и, смотря испуганными глазами на Виниция, затаив дыхание, ждала его ответа.

Но Виниций быстро вскочил с места и, стиснув руками виски, торопливо заговорил, как человек, томимый болезнью, который не хочет ни о чем слышать:

— Нет, нет!.. Мне не до нее!.. Мне не до других!.. Благодарю тебя, но не хочу!.. Я иду отыскивать ее по всему городу. Прикажи мне дать галльскую лацерну с капюшоном. Пойду за Тибр... Хоть бы Урса мне увидеть!

И он поспешно вышел. Петроний, видя, что он действительно не может усидеть на месте, не пытался его задерживать. Но, принимая отказ Виниция за временное отвлечение ко всякой другой женщине, раз она не Лигия, и не желая, чтобы великодушные его сошло на ничто, он обратился к невольнице и сказал:

— Эвника, ты выкупаешься, умастишься маслами, нарядишься, а затем пойдешь в дом Виниция.

Но гречанка упала перед ним на колени и со сложенными руками начала умолять не отдавать ее. Она не пойдет к Виницию, она предпочитает здесь носить дрова в гипокавст, чем там быть первою из слуг. Она не хочет... не может... и умоляет его сжалиться над нею. Пусть он прикажет бичевать ее ежедневно, только бы ее не выслали из дома.

И, дрожа как лист, и от боязни, и от волнения, она протягивала к нему руки. Петроний с удивлением слушал ее. Невольница, которая осмеливается просить не исполнять приказания, которая говорит: «Не хочу и не могу», была чем-то до такой степени невозможным в Риме, что Петроний сначала не хотел верить своим ушам. Он был чересчур изящным для того, чтобы быть жестоким. Невольникам его, в особенности в области разврата, дозволялось больше, чем другим, под условием, чтоб они образцово исполняли свою службу и волю господина чтили наравне с волею богов. В случае нарушения этих двух обязательств Петроний, однако, не жалел наказаний, каким, по тогдашним обычаям, подвергались невольники. А Петроний, кроме того, не терпел противоречий и всего, что нарушало его покой, и потому, посмотрев с минуту на коленапреклоненную девушку, он сказал:

— Позовешь ко мне Тирезия и возвратишься вместе с ним.

Эвника, дрожащая, со слезами на глазах, вышла и вскоре возвратилась с начальником атрия, критянином Тирезием.

— Возьмешь Эвнику, — сказал Петроний, — и дашь ей двадцать пять ударов, но, однако, так, чтобы не попортить ее кожи.

Сказав это, он перешел в библиотеку и, присев к столу из розового мрамора, начал работать над своим «Пиром Трималхиона».

Но бегство Лигии и болезнь маленькой августы настолько развлекали его мысли, что он не мог долго заниматься. Да, наконец, эта болезнь была очень важным

¹ См. комментарий на с. 506 (примеч. ред.).

обстоятельством. Петронию пришло в голову, что если цезарь поверит, что Лигия околдовала маленькую августу, то ответственность может пасть и на него, потому что молодая девушка появилась во дворце только по его просьбе. До некоторой степени он рассчитывал, что при первом свидании с цезарем он сумеет каким-нибудь образом объяснить ему всю бессмысленность подобного предположения, а потом имел в виду некоторую слабость, какую питала к нему Поппея. Правда, она тщательно скрывала это, но не так тщательно, чтобы Петроний не мог заметить. Наконец он пожал плечами, отправился в триклиний завтракать и приказал готовить носилки, чтоб отправиться во дворец, на Марсово поле, а потом к Хризотемиде.

В коридоре, предназначенном для прислуги и ведущем в триклиний, у стены, среди других невольников виднелась стройная фигура Эвники. Петроний забыл, что не отдавал Тирезию другого приказания, как только высечь Эвнику, нахмурил брови и начал искать глазами начальника атрия.

Но его не было здесь, и Петроний обратился к Эвнике:

— Тебя наказали?

Она опять бросилась к его ногам, прижала к губам край его одежды и ответила:

— О да, господин, наказали! О да, господин!

В голосе ее, казалось, звучали радость и благодарность. Очевидно, она думала, что отделалась только одним наказанием и теперь может остаться здесь. Петрония, который понял это, удивило страстное сопротивление невольницы, но он слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы не отгадать, что только одна любовь могла быть причиной такого сопротивления.

— У тебя есть возлюбленный в этом доме? — спросил он.

Эвника подняла на него свои голубые, полные слез глаза и ответила так тихо, что слова ее едва было можно расслышать:

— Да, господин...

И со своими глазами, с золотистыми волосами, откинутыми назад, с опасением и надеждой на лице она была так прелестна, так умоляюще смотрела на него, что Петроний, который в качестве философа сам провозглашал могущество любви, а в качестве эстетика поклонялся всякой красоте, почувствовал к невольнице что-то вроде сожаления.

— Кто же из них? — спросил он, показывая головой на прислугу.

Вопрос его остался без ответа, — Эвника только склонила голову к его ногам и осталась неподвижной.

Петроний посмотрел на невольников, между которыми были красивые и статные люди, но ни на одном лице не мог прочесть ничего. Мало того, все невольники как-то особенно странно улыбались. Петроний еще с минуту посмотрел на лежащую у его ног Эвнику и молча пошел в триклиний.

После посещения дворца он отправился к Хризотемиде и остался у нее до поздней ночи, но, возвратившись домой, приказал позвать к себе Тирезию.

— Эвнику наказали? — спросил он.

— Да, господин. Только ты приказал не портить ее кожи.

— А другого приказания я тебе не отдавал?

— Нет, господин, — с беспокойством ответил *atriensis*.

— Это хорошо. Кто ее любовник?

— Никто, господин.



Петроний с удивлением слушал ее.

— Что ты знаешь о ней?

Тирезий ответил несколько колеблющимся голосом:

— Эвника никогда ночью не покидает кубикла, где спит со старухой Аккризионой и Ифидой; после твоей ванны, господин, она никогда не остается в бане... Прочие невольницы смеются над ней и называют ее Дианой.

— Довольно, — сказал Петроний. — Мой родственник, Виниций, которому сегодня утром я подарил Эвнику, не принял ее, — пусть она останется здесь. Можешь уходить.

— Мне можно сказать еще кое-что об Эвнике, господин?

— Я приказал тебе говорить все, что ты знаешь.

— Вся фамилия говорит, господин, о бегстве той, которая должна была поселиться в доме благородного Виниция. После твоего ухода Эвника явилась ко мне и сказала, что знает человека, который может отыскать ее.

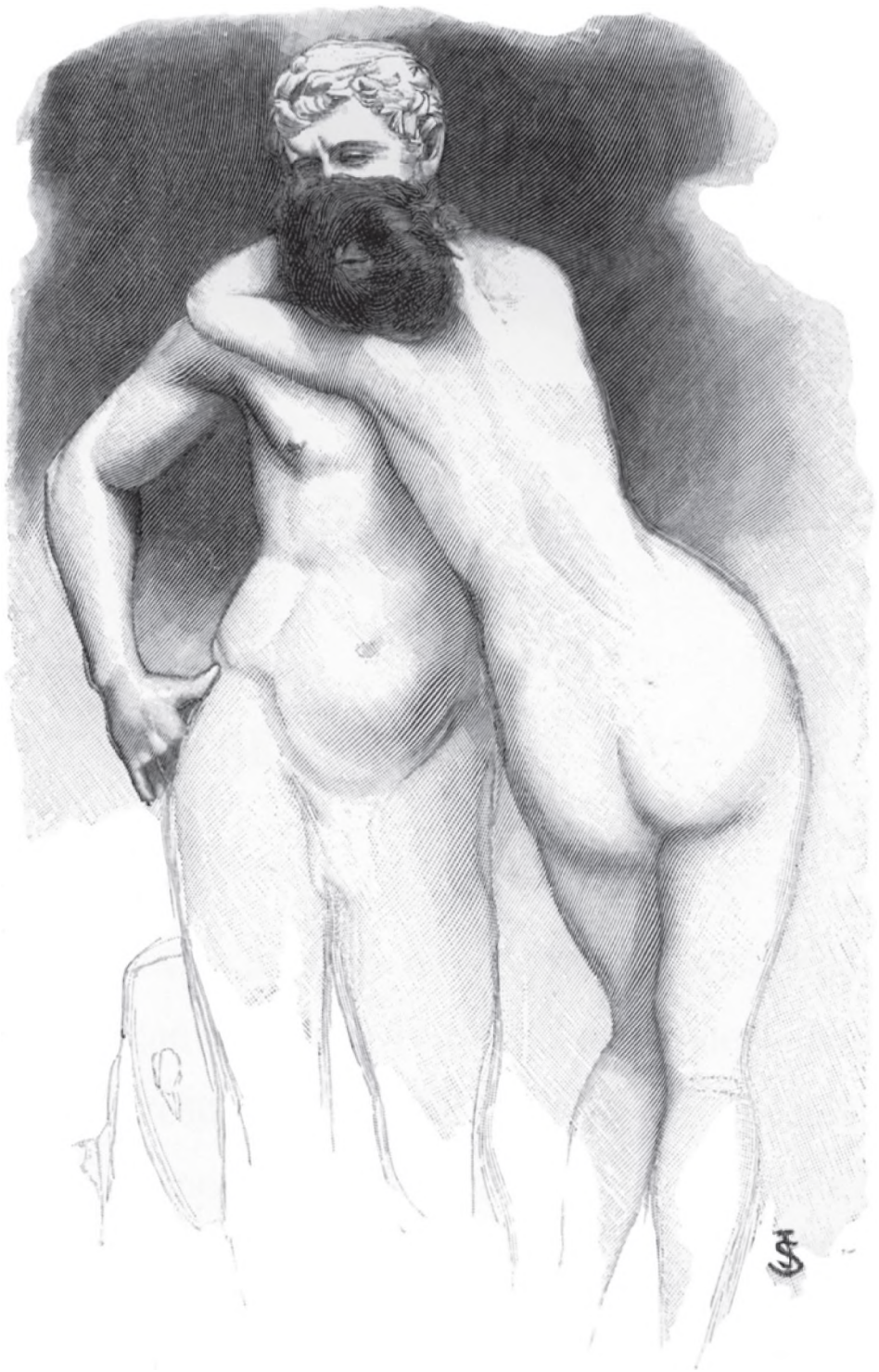
— А! — сказал Петроний. — Что это за человек?

— Я не знаю его, господин, но думал, что должен сообщить тебе это.

— Хорошо. Пускай этот человек ждет в моем доме трибуна, которого ты завтра утром попросишь от моего имени навестить меня.

Atriensis поклонился и ушел.

Петроний невольно начал думать об Эвнике. Сначала ему казалось ясным, что молодая невольница желает, чтобы Виниций нашел Лигию только потому, чтобы самой не переходить в его дом, но теперь ему пришло в голову, что человек, которого навязывает Эвника, может быть ее любовником, и эта мысль вдруг показалась ему противной. Правда, был простой способ узнать всю правду, — достаточно было позвать Эвнику; но час был уже поздний, Петроний после долгого пребывания у Хризотемиды чувствовал себя утомленным, ему хотелось спать. Однако, идя в кубикла, он неизвестно почему вспомнил, что подметил сегодня морщинки в углах глаз Хризотемиды и подумал, что ее красота пользовалась большею славой в Риме, чем она заслуживала в действительности, и что Фонтений Капитон, который предлагал ему трех мальчиков из Клазомены за одну Эвнику, хотел купить ее уж чересчур дешево.



Прочие невольницы смеются над ней и называют ее Дианой.



ГЛАВА XIII

На другой день, едва Петроний кончил одеваться в своем унктуарии, как пришел вызванный Тирезием Виниций. Он знал уже, что никаких известий от городских ворот не приходило, и это еще более огорчило его. Можно было предполагать, что Урс вывел Лигию из города тотчас же после похищения, значит раньше, чем невольники Петрония заняли свое место у ворот. Правда, осенью, когда дни становились короче, ворота запирали довольно рано, но зато и отпирали для выезжающих, а их было немало. Очутиться за городскими стенами можно было и при помощи других способов, о которых хорошо знали невольники, когда они хотели убежать из города. Положим, Виниций послал своих людей и на все дороги, ведущие в провинции, с заявлением к властям маленьких городов о бежавшей паре невольников, с подробным описанием Урса и Лигии и назначением награды за их поимку, но было весьма сомнительно, достигнет ли их погоня, а если б и достигла, то местные власти будут ли

считать себя вправе задержать беглецов по частному требованию Виниция, не подкрепленному подписью претора? А для такого удостоверения не хватало времени. Со своей стороны, Виниций в платье невольника вчера весь день искал Лигию по всем закоулкам города, но не мог найти ни малейшего следа, ни малейшего указания. Он видел людей Авла, но те, казалось, тоже что-то ищут, и это утвердило Виниция в предположении, что не Авла похитил Лигию и что он сам не знает, куда она девалась.

И вот, когда Тирезий сообщил ему о существовании человека, который берется отыскать ее, молодой патриций тотчас же помчался к Петронию и, наскоро повидавшись с ним, начал расспрашивать об этом человеке.

— Мы скоро увидим его, — сказал Петроний. — Это знакомый Эвники, которая сейчас придет оправлять складки моей тоги и даст нам более полные сведения.

— Ты ее вчера хотел подарить мне?

— Ее, но ты ее отверг, за что, впрочем, я тебя благодарю, потому что она самая лучшая *vestiplica* во всем городе.

Петроний едва кончил говорить, как *vestiplica* пришла, взяла тогу с кресла, выложенного слоновою костью, и развернула ее, чтоб накинуть на плечи Петрония. Лицо ее было ясно и тихо, в глазах светилась радость.

Петроний посмотрел на нее, и она показалась ему очень красивой. Через минуту, когда, окутав его тогой, она начала оправлять ее, наклоняясь по временам, чтобы расправить какую-нибудь складку, Петроний заметил, что рука ее обладает чудесным цветом бледной розы, а грудь и спина — прозрачным отблеском перламутра или алабастра.

— Эвника, — спросил он, — человек, о котором ты вчера говорила Тирезию, пришел?

— Пришел, господин.

— Как его зовут?

— Хилон Хилонид, господин.

— Кто он такой?

— Врач, мудрец и прорицатель, который умеет читать в человеческих судьбах и предсказывать будущее.

— А разве он и тебе предсказал будущее?

Эвника вспыхнула румянцем, который покрыл даже ее уши и шею.

— Да, господин.

— Что же он тебе напроорочил?

— Что меня встретит боль и счастье.

— С болью ты повстречалась вчера, благодаря руке Тирезия, значит, и счастье должно прийти.

— Оно уже пришло, господин.

— Какое же?

Эвника тихо шепнула:

— Я осталась здесь.

Петроний опустил руку на ее золотую головку.

— Сегодня ты хорошо оправила складки, и я доволен тобою, Эвника.

При его прикосновении глаза Эвники отуманились счастьем, а грудь начала сильно волноваться.

Петроний и Виниций перешли в атриум, где их ждал Хилон Хилонид, который при виде их сделал глубокий поклон. Петроний вспомнил о своем вчерашнем предположении, что это может быть любовник Эвники, и на губах его появилась улыбка. Человек, который стоял перед ним, не мог быть ничьим любовником. В этой странной фигуре было что-то и скверное, и смешное. Он не был стар, — в его неряшливой бороде и курчавых волосах лишь изредка проглядывал седой волос. Живот у него был впалый, плечи высоко поднятые, так что он казался горбатым, а над этим горбом возвышалась голова, с лицом, напоминающим в одно и то же время и обезьяну, и лисицу, и с пронизательным взором. Желтая кожа его лица была испещрена прыщами, которые в особенности густо усеивали его нос и говорили об излишнем пристрастии к бутылке. Его небрежная одежда, состоящая из темной туники и такого же дырявого плаща, доказывала настоящую или притворную нужду. Петронию при виде его пришел в голову гомеровский Терсит¹ и, ответив мановением руки на его поклон, он сказал:

— Здравствуй, божественный Терсит! Как твои шишки, которые Улисс² набил тебе под Тройей, и что подельвает он сам в Елисейских полях³?

— Благородный господин, — ответил Хилон Хилонид, — мудрейший из умерших, Улисс, посылает со мною мудрейшему из живущих, Петронию, свой привет и просьбу, чтобы ты прикрыл новым плащом мои шишки.

— Клянусь Тройственною Гекатой!⁴ — воскликнул Петроний, — ответ достоин плаща!

Но нетерпеливый Виниций перебил этот разговор и спросил прямо:

— Ты хорошо знаешь, за что берешься?

— Когда две фамилии в двух знатных домах не говорят ни о чем другом, а за ними это же повторяет половина Рима, тогда нетрудно знать, — ответил Хилон. — Вчера ночью похитили воспитанницу Авла Плавтия по имени Лигию или, вернее, Каллину, которую твои невольники, господин, препровождали из дворца цезаря в твою инсулу, а я берусь отыскать ее в городе, или, что маловероятно, — если она оставила город, — указать тебе, благородный трибун, куда она бежала и где скрывается.

— Хорошо, — сказал Виниций, которому понравилась точность ответа, — какими же средствами ты располагаешь?

Хилон хитро улыбнулся:

— Средства у тебя, господин; у меня — ум.

Петроний также улыбнулся. Он был доволен своим гостем.

«Этот человек может отыскать девушку», — подумал он.

Виниций нахмурил свои сросшиеся брови и проговорил:

— Несчастный, если ты обманываешь меня ради выгоды, то я прикажу заколотить тебя палками!

— Я философ, господин, а философ не может быть жаден на выгоды, в особенности на такие, какие ты столь великодушно сулишь мне.

¹ *Терсит* — один грек, упоминаемый в «Илиаде», крайне безобразной наружности.

² *Улисс* — латинская форма имени Одиссей (*примеч. ред.*).

³ *Елисейские поля* — здесь: синоним христианского рая в античной мифологии (*примеч. ред.*).

⁴ Богиня Геката изображалась с тройным телом (*triformis*) или с тремя головами (*triceps*), потому что первоначально она олицетворяла собою луну, и тройственность ее указывала на три фазы луны — прибыль, полнолуние и убыль.



— Я философ, господин, а философ не может быть жаден на выгоды, в особенности на такие, какие ты столь великодушно сулишь мне.

— Ах, так ты философ? — спросил Петроний. — Эвника говорила мне, что ты врач и прорицатель. Откуда ты знаешь Эвнику?

— Она приходила ко мне за одним средством, так как моя слава достигла до ее ушей.

— Какого же средства требовала она?

— От любви, господин. Хотела излечиться от неразделяемой любви.

— И излечилась?

— Я сделал больше, господин: я дал ей амулет, который обеспечивает взаимность. В Пафосе¹, на Кипре, есть храм, в котором хранится пояс Венеры. Из этого пояса я дал ей две нитки, заключенные в скорлупу миндаля.

— И дорого заставил ее заплатить за это?

— За взаимность никогда нельзя заплатить достаточно, а так как у меня нет двух пальцев на правой руке, то я собираю деньги на покупку невольника-писца, который бы записывал мои мысли и сохранил бы мое учение для света.

— К какой же школе принадлежишь ты, божественный мудрец?

— Я — циник, господин, потому что у меня дырявый плащ; я — стоик, потому что безропотно сношу нужду; я и перипатетик², потому что, не обладая носилками, хожу пешком от виноторговли до виноторговли, а по дороге поучаю тех, которые обещаются заплатить за вино.

— А за вином ты становишься ритором?

— Гераклит сказал: «все течет»³, а разве ты можешь противоречить тому, что вино — жидкость?

— Кроме того, он проповедовал, что огонь — божество, и вот это-то божество горит на твоём носу.

— А божественный Диоген Аполлонийский⁴ учил, что сущность вещей — воздух, и чем воздух теплей, тем более совершенные существа образует он, а из самого теплого воздуха образуются души мудрецов. Осенью же наступают холода, — *ergo*, истинный мудрец должен согреть душу вином... ибо ты не можешь спорить, господин, что кувшин хотя бы жидкой капуанской или телезийской⁵ дряни распространяет тепло по всем костям брэнного человеческого тела.

— Хилон Хилонид, где находится твое отечество?

— У Эвксинского понта⁶. Я родом из Мезембрии⁷.

— Хилон, ты велик!

¹ См. комментарий на с. 375 (*примеч. ред.*).

² *Перипатетики* — греческая философская школа, основанная Аристотелем в IV века до Р. Х. Слово это обозначает «прогуливающийся». Хилон остроумно называет себя этим именем, потому что и он «прогуливается»... от одной виноторговли до другой.

³ *Гераклит* — греческий философ VI—V века до Р. Х. Он учил, что весь мир произошел из одной субстанции — огня, и что все в природе находится в непрерывном движении («все течет», как он выражался), так что, например, в одну и ту же реку человек дважды войти не может, потому что при втором его входе река будет уже не та, какою она была при первом.

⁴ *Диоген из города Аполлонии* — философ V века до Р. Х. (не должно смешивать его с известным циником Диогеном, жившим в IV веке).

⁵ *Капуанской* — из города Капуи в Кампании; *телезийской* — из города Телезии в Самнии.

⁶ *Эвксинский понт* — Черное море (*примеч. ред.*).

⁷ *Мезембрия* — город на берегу Черного моря, во Фракии; ныне Мисиври.

— И забыт всеми! — меланхолически добавил мудрец.

Но Виниций снова пришел в нетерпение. Ему блеснула надежда, он хотел тотчас же направить Хилона на розыски, и весь разговор казался ему только напрасною тратой времени, за что он злился на Петрония.

— Когда ты начнешь поиски? — спросил он, обращаясь к греку.

— Я уже начал их, — ответил Хилон. — И когда я нахожусь здесь, когда отвечаю на твои любезные вопросы, я тоже ишу. Имей только веру, доблестный трибун, и знай, что если бы пропала завязка от твоей обуви, то я был бы в состоянии разыскать эту завязку или, по крайней мере, того, кто поднял ее на улице.

— Тебя уже употребляли на подобные услуги? — спросил Петроний.

Грек поднял очи горе.

— Теперь настолько мало ценят добродетель и мудрость, что даже и философ должен искать иных средств к существованию.

— Какие же твои средства?

— Знать все и сообщать новости тем, которые их жаждут.

— И которые платят за них?

— Ах, господин, мне нужно купить писца! Иначе мудрость умрет вместе со мной.

— Если ты до сих пор не набрал на целый плащ, то заслуги твои не должны быть значительны.

— Скромность препятствует мне превозносить их. Но подумай, господин, что теперь уже нет таких великодушных людей, каких было много встарь и которым осыпать золотом за услугу было так же приятно, как проглотить устрицу из ПUTEОЛИ¹. Не заслуги мои малы, — признательность человеческая мала. Иногда убежит ценный невольник, кто найдет его, как не единственный сын моего отца? Когда на городских стенах появляются надписи против божественной Поппеи, кто укажет преступников? Кто пронюхает у книгопродавцев стихи против цезаря? Кто донесет, что говорят в домах сенаторов и всадников? Кто доставляет письма, которые не хотят доверить невольникам? Кто подслушивает у дверей цирюльников, для кого открыты все тайны виноторговцев и пекарей, кому доверяют невольники, кто сумеет проникнуть взглядом каждый дом насквозь, от атрия до сада? Кому известны все улицы, закоулки, тайники? Кто знает, что говорят в термах², в цирке, на рынках, в школах ланистов³, в складах у торговцев невольниками и даже в аренариях?..⁴

— Клянусь богами! довольно, благородный мудрец! — воскликнул Петроний, — мы утонем в твоих заслугах, добродетели, мудрости и красноречии. Довольно! Мы хотели знать, кто ты таков, — и теперь знаем.

Но Виниций был рад. Он думал, что этот человек, подобно гончей собаке, раз направленной на след, не отстанет, пока не отыщет логовища зверя.

— Хорошо, — сказал он, — тебе нужны указания?

— Мне нужно оружие.

— Какое? — с удивлением спросил Виниций.

¹ *Путеолы*, ныне *Поццуоли* — город-порт на берегу одноименной бухты Неаполитанского залива (*примеч. ред.*).

² *Thermae* — бани.

³ *Lanista* — фехтмейстер, обучавший гладиаторов их искусству. Иногда ланист содержал труппу гладиаторов и отдавал их внаймы лицам, желавшим устроить гладиаторские игры.

⁴ *Arenaria* — место, где роют песок.

Грек подставил одну руку, а другою сделал движение, как будто считает деньги.

— Такой уж век теперь, — со вздохом сказал он.

— Тогда ты будешь ослом, который берет крепость при помощи мешков с золотом¹, — заметил Петроний.

— Я — только бедный философ, — покорно сказал Хилон, — золотом обременены вы.

Виниций бросил ему кошелек, который грек поймал в воздухе, хотя на его правой руке действительно не хватало двух пальцев.

Потом он поднял голову и сказал:

— Господин, я уже знаю больше, чем ты предполагаешь. Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитил не Ава, потому что уже говорил с его слугами. Я знаю, что ее нет на Палатине, где все заняты больною маленькою августой, и, может быть, даже догадываюсь, почему вы предпочитаете искать девушку при моей помощи, чем при помощи вигилов² и солдат цезаря. Я знаю, что бегство ей устроил слуга, происходящий из той же самой страны, как и она. Помощи у невольников он не мог найти; невольники, которые все держатся вместе, не стали бы действовать против твоих слуг. Ему могли помочь только его единоверцы...

— Слушай, Виниций, — перебил Петроний, — не говорил ли я тебе того же слово в слово?

— Это для меня величайшая честь, — сказал Хилон. — Девушка, — продолжал он, вновь обращаясь к Виницию, — несомненно, чтит то же божество, какому поклоняется надостойнейшая из римлянок, истинная *matrona stolata*³, Помпония. Слышал я и то, что Помпонию судили домашним судом за поклонение каким-то чужеземным богам, но, однако, не мог разузнать от ее слуг, какое это именно божество и как называются его поклонники. Если б я мог знать об этом, я отправился бы к ним, сделался бы самым усердным из них и приобрел бы их доверие. Но, господин, я знаю, ты провел несколько дней в доме благородного Авла, не можешь ли ты дать мне какие-нибудь указания на этот счет?

— Не могу, — ответил Виниций.

— Вы долго расспрашивали меня обо всем, я отвечал на ваши вопросы, позвольте, чтоб и я теперь предлагал их вам. Не видал ли ты, достойный трибун, каких-нибудь статуй, каких-нибудь жертв, каких-нибудь амулетов на Помпонии или на твоей божественной Лигии? Не видал ли ты, чтоб они чертили или обменивались какими-нибудь знаками, известными лишь им одним?

— Знаки?.. Постой!.. Да. Я видел один раз, как Лигия начертила на песке рыбу.

— Рыбу? А-а!.. Один раз она сделала это или несколько?

— Один раз.

— И ты, господин, уверен, что она начертила... рыбу? О-о!

¹ Намек на изречение Филиппа, отца Александра Македонского: он говорил, что нет такой сильной крепости, которую бы не взял осел, навьюченный золотом.

² *Vigiles* — городская стража в Риме, совершавшая ночью обходы.

³ *Matrona stolata* — «матрона, одетая в столу». Так как *столла* (длинное широкое платье) было принадлежностью исключительно матрон (т. е. замужних римских гражданок честного поведения), то этим названием Помпония обозначается как женщина почтенная, высокой нравственности.

— Да! — ответил заинтересованный Виниций. — Ты разве догадываешься, что это значит?

— Догадываюсь ли! — воскликнул Хилон и, поклонившись, в знак прощания, прибавил: — Да рассыплет на вас поровну Фортуна свои дары!

— Прикажи дать себе плащ! — крикнул ему вдогонку Петроний.

— Улисс благодарит тебя за Терсита, — ответил грек, поклонился во второй раз и ушел.

— Что ты скажешь об этом благородном мудреце? — спросил Петроний.

— Скажу, что он найдет Лигию, — с радостью воскликнул Виниций, — но скажу также, что если бы существовало царство мерзавцев, то он был бы там царем!

— Несомненно. Я должен поближе познакомиться с этим стойком, а пока прикажу после него покурить в атрии.

А Хилон Хилонид, закутавшись в свой новый плащ, подбрасывал под его складками кошелек, полученный от Виниция, и наслаждался как его тяжестью, так и звуком. Идя медленно и оглядываясь, не следят ли за ним из дома Петрония, он миновал портик Ливии и, дойдя до угла *Clivus Virbii*¹, свернул на Субурру.

«Нужно пойти к Спору, — говорил он себе, — и возлить немного вина Фортуне. Наконец я нашел то, чего давно искал... Молод, вспльчив, щедр, как рудники Кипра, и за эту лигийскую коноплянку готов был бы отдать половину своего достояния. Да, такого именно я искал издавна. Однако с ним нужно быть осторожным, потому что его манера хмурить брови не предвещает ничего хорошего. Ах, теперь волчата властвуют над миром!.. Петрония я бы меньше боялся. О, боги! Неужели ныне сводничество лучше оплачивается, чем добродетель? Гм... Она начертила тебе рыбу на песке? Если я знаю, что это значит, то подавиться мне куском козьего сыра. Но я буду знать! Но так как рыбы живут под водою, а искать под водою труднее, чем на земле, — *ergo*, он заплатит мне за рыбу отдельно. Еще один такой кошелек, и я мог бы бросить нищенскую суму и купить себе невольника... Но что бы ты сказала, Хилон, если б я посоветовал купить тебе не невольника, а невольницу?.. Знаю я тебя! Знаю, что ты согласишься!.. Если б она была так красива, как, например, Эвника, ты сам бы помолодел возле нее, а вместе с тем имел бы от нее честный и верный доход. Продала я бедной Эвнике две нитки из собственного плаща... Дура она, но если бы Петроний подарил ее мне, я взял бы ее... Да, да, Хилон, сын Хилона!.. Ты потерял отца и мать, ты сирота, купи себе в утешение хоть невольницу. Так как она должна где-нибудь жить, то Виниций наймет ей жилище, где и ты приютиться; она должна одеваться, Виниций заплатит за ее одежду; должна есть, — пусть ее кормит. Ох, тяжка стала жизнь! Где те времена, когда за обол² можно было купить столько бобов с соленым мясом, что еле обхватишь обеими ладонями, или кусок козьей кишки, наполненной кровью, такой же длинный, как рука двенадцатилетнего мальчика?.. Но вот и этот разбойник Спор! В винной лавочке легче разузнать о чем-нибудь».

Он вошел и приказал подать себе кувшин «черного», но, заметив недоверчивый взгляд хозяина, вынул золотую монету из кошелька и, положив ее на стол, сказал:

— Спор, сегодня я занимался с Сенекой с рассвета до полудня, и вот чем мой друг одарил меня на дороге.

¹ *Clivus Virbii* — «косо́гор Вирбия», улица в Риме, как и Субурра.

² *Обол* — мелкая греческая монета около 5 копеек.

При виде золотой монеты круглые глаза Спора сделались еще круглее, и вино тотчас же очутилось перед Хилоном. Тот обмочил в нем палец, начертил на столе рыбу и сказал:

— Знаешь, что это значит?

— Рыба? Ну, рыба так рыба.

— Глупец, хотя ты подливаешь столько воды в вино, что мог бы в нем найти и рыбу. Это — символ, который на языке философии означает — улыбка Фортуны. Если бы ты это понял, то, может быть, и тебе Фортуна бы улыбнулась. Уважай философию, говорю я тебе, а иначе я найду другую винную лавку, к чему мой личный друг Петроний давно уже меня побуждает.





ГЛАВА XIV

В течение нескольких следующих дней Хилон не показывался нигде. Виниций, который узнав от Актеи, что Лигия любила его, во сто раз больше хотел отыскать ее, начал поиски самостоятельно, не желая, а вместе с тем и не имея возможности просить о помощи цезаря, погруженного в тревогу по поводу болезни маленькой августы.

И действительно, не помогли жертвы, приносимые в храмах, молитвы и обеты, не помогло врачебное искусство и все чародейские средства, за которые хватились в последнее время. Через неделю ребенок умер. Весь двор и Рим облекся в траур. Цезарь, который при рождении дочери сходил с ума от радости, теперь сходил с ума от отчаяния, два дня не принимал пищи и не хотел никого видеть, хотя дворец кишел сенаторами и августианами. Сенат собрался на чрезвычайное заседание, на котором умерший ребенок был объявлен богиней; постановлено было воздвигнуть ей храм и учредить при нем должность особого жреца. В других храмах в честь умершей приносили жертвы, отливали ее статуи из драгоценных металлов, а погребение было одним великим торжеством. Народ дивился выражению горя, которое проявлял цезарь, плакал вместе с ним, протягивал руки за подачками и, прежде всего, тешился необыкновенным зрелищем.

Петрония эта смерть обеспокоила. Во всем Риме уже было известно, что Поппея приписывает ее колдовству. Ей вторили и врачи, которые таким образом могли оправдать безуспешность своих усилий, и жрецы, жертвы которых оказались бесильными, и заклинатели, которые дрожали за свою жизнь, и народ. Петроний был рад, что Лигия убежала. Авлу он не желал никакого зла, но так как вместе с тем желал добра себе и Виницию, то, лишь только сняли кипарис, поставленный в знак траура перед Палатином¹, отправился на прием, приготовленный для сенаторов и августиан, чтоб удостовериться, насколько Нерон поверил слухам о колдовстве и предупредить последствия, которые могли произойти от этого.

Петроний знал Нерона и допускал, что он, хотя бы и не поверил в колдовство, будет притворяться, что верит, и для того, чтоб обмануть свою скорбь, и для того, чтобы выместить ее на ком-нибудь, и, наконец, чтобы не дать хода предположению, что боги начинают карать его за преступления. Петроний не думал, чтобы цезарь мог даже собственного ребенка любить истинно и глубоко; хотя в проявлениях его любви было много горячности, но он был уверен, что Нерон станет преувеличивать свое горе. И действительно, он не ошибся. Нерон слушал утешения сенаторов и всадников с окаменелым лицом, с глазами, устремленными в одну точку, и было видно, что если он и действительно страдает, то вместе с тем думает о том, какое впечатление произведет его горе на окружающих, копирует Ниобею² и дает представление родительской скорби, как это делал бы любой комедиант на сцене. Он не умел при этом даже выдержать молчаливой и как бы окаменелой боли и от времени до времени то делал движения, как будто посыпает голову прахом, то глухо стонал, а увидев Петрония, вскочил и закричал трагическим голосом так, чтоб все могли слышать:

— *Eheu!*..³ Это ты виновен в ее смерти! По твоему совету вошел в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди!.. Горе мне!.. Лучше бы очи мои не выдали света Гелиоса... Горе мне! *eheu! eheu!*..

И, всё возвышая голос, он перешел в отчаянный крик, но Петроний в эту минуту решил поставить все на одну ставку, протянул руку, быстро сорвал шелковый платок, который Нерон постоянно носил на шее, и приложил к его губам.

— Повелитель! — важно сказал он, — сожги Рим и весь мир от горя, но сохрани нам свой голос!

Все присутствующие изумились, на минуту изумился сам Нерон, только один Петроний оставался невозмутимым. Он очень хорошо понимал, что делает. Он знал, что Терпн и Диодор имели определенный приказ прямо-таки затыкать рот цезарю в случае, если, возвышая голос, он рискует чем-нибудь испортить его.

— Цезарь, — продолжал он с тою же самою важностью и грустью, — мы претерпели незаменимую утрату, пусть же нам останется хоть это драгоценное утешение.

Лицо Нерона дрогнуло, и из глаз его полились слезы. Он вдруг оперся руками о плечи Петрония, упал головою к нему на грудь и повторял голосом, прерывающимся от рыданий:

¹ По римскому обычаю, в то время, когда покойник стоял в доме (а это продолжалось от 3 до 7 дней), у дверей дома в знак траура ставилась кипарисовая ветка. Так как дворец Нерона (*Domus transitoria*) находился у Палатинского холма, то кипарис и был поставлен здесь.

² *Ниобея* — мифическая личность; она лишилась всех своих детей и от горя превратилась в камень.

³ *Eheu* — «увы».

— Ты один из всех подумал об этом, Петроний! Ты один!

Тигеллин¹ пожелтел от зависти, а Петроний продолжал:

— Поезжай в Антий; там она произошла на свет, там тебя озарила радость, там на тебя снизойдет успокоение. Да освежит морской воздух твою божественную гортань, да насытит твоя грудь соленой влажностью. Мы, верные тебе, пойдем за тобой, и когда будем утешать твою горе своею преданностью, ты утолишь наше своею песней.

— Да, — жалобно ответил Нерон, — я в ее честь напишу гимн и сложу для него музыку.

— А потом будешь искать теплого солнца в Байях.

— А потом забвения в Греции.

— В отчизне поэзии и песни.

Каменное, унылое настроение цезаря мало-помалу исчезало, как исчезают тучи, закрывающие солнце. Завязался разговор, хотя и полный грусти, но не лишенный и видов на будущее, — о путешествии, об артистических выходах, даже о приемах, которых требовало ожидаемое прибытие Тиридата, царя Армении. Правда, Тигеллин попробовал было еще раз упомянуть о колдовстве, но Петроний, уверенный в своей победе, открыто принял вызов.

— Тигеллин, — сказал он, — ты думаешь, что колдовство может вредить богам?

— Сам цезарь говорил об этом, — ответил придворный.

— Горе говорило, а не цезарь; но ты что думаешь об этом?

— Боги слишком могущественны, чтобы подвергаться чарам.

— Тогда, значит, ты не признаешь божественности цезаря и его семьи?

— *Peractum est!*² — пробормотал стоящий рядом Эприй Марцелл, подражая крику, который издавала толпа, когда на арене гладиатор сразу получал такой удар, что его не требовалось добивать.

Тигеллин подавил в себе гнев. Между ним и Петронием существовало соперничество, и Тигеллин имел то преимущество, что Нерон в его присутствии стеснялся меньше или даже вовсе не стеснялся, но, однако, до сих пор, когда им приходилось сталкиваться, Петроний всегда побеждал Тигеллина своим умом и остроумием.

Так случилось и теперь. Тигеллин умолк и только записывал себе в памяти тех сенаторов и всадников, которые, когда Петроний отступил в глубину залы, окружили его, рассчитывая, что после всего случившегося он несомненно сделается первым любимцем цезаря.

Петроний же, выйдя из дворца, отправился к Виницию и, рассказав ему о столкновении с цезарем и Тигеллином, прибавил:

— Я не только отклонил опасность, грозящую Авлу Плавтию, Помпонию и обоим нам, но даже и Лигии, которую не будут отыскивать хотя бы потому, что я угорворил меднобородую обезьяну ехать в Антий, а оттуда в Неаполь или Байи. И он поедет, потому что в Риме до сих пор не смел публично выступать в театре, а я знаю, что он давно имеет намерение выступить в Неаполе. Потом он мечтает о Греции, где ему хочется петь во всех значительных городах, и, наконец, устроить триумфальный

¹ *Sophonius Tigellinus* — один из любимцев Нерона.

² «Кончено».

въезд в Рим со всеми венками, которые поднесут ему *Graeculi*¹. Все это время мы будем иметь возможность спокойно искать Лигию и спрятать ее в безопасном месте. А что, наш благородный философ не был до сих пор?

— Твой благородный философ — мошенник. Нет, он не был, не показывался и не покажется более.

— А я лучшего мнения если не о его честности, то о его уме. Он уже сделал однажды кровопускание твоему кошельку и придет хотя бы для того, чтобы сделать другое.

— Пусть он остерегается, как бы я ему не пустил крови палкой.

— Не делай этого, будь с ним терпелив, пока ясно не убедишься в его мошенничестве. Не давай ему больше денег, а зато обещай щедрую награду, если он принесет тебе верное известие. А лично ты предпринял что-нибудь?

— Два моих отпущенника, Нимфидий и Демас, ищут Лигию во главе сорока человек. Тот из невольников, который найдет ее, получит свободу. Кроме того, я послал ловких людей на все дороги, ведущие из Рима, чтобы расспрашивать в харчевнях про лигийца и про девушку. Сам я днем и ночью брожу по городу, рассчитывая на счастливую случайность.

— Если узнаешь что-нибудь, дай мне знать, потому что я должен ехать в Антий.

— Хорошо.

— А если когда-нибудь утром, проснувшись, ты скажешь себе, что из-за одной девушки не стоит так огорчаться и беспокоиться, то приезжай в Антий. Там у тебя не будет недостатка ни в женщинах, ни в развлечениях.

Виниций начал расхаживать быстрыми шагами. Петроний посмотрел на него и сказал:

— Скажи мне искренно, не как энтузиаст, который сам себе вбивает что-то в голову и раздражает себя, но как человек рассудительный, который отвечает другу: тебя всегда так занимает Лигия?

Виниций остановился на минуту и посмотрел на Петрония так, как будто перед этим не видал его, а потом снова начал ходить. Было видно, что он подавляет в себе вспышку, готовую разразиться. Наконец от сознания собственного бессилия, от горя, гнева и непобедимой тоски в глазах его навернулись две крупные слезы, которые отвертели Петронию сильнее, чем самые красноречивые слова.

И, подумав с минуту, он сказал:

— Мир держит на плечах не Атлант², а женщина, и подчас подбрасывает его, как мяч.

— Да! — согласился Виниций.

И они начали было прощаться, как в эту же минуту явился невольник и сказал, что Хилон Хилонид ждет в сенях и просит позволения предстать пред лицо господина.

Виниций тотчас же приказал пустить его, а Петроний сказал:

— А! не говорил я тебе? Клянусь Геркулесом! Сохраняй только спокойствие, иначе он овладеет тобою, а не ты им.

¹ *Graeculi*, «гречата» — уменьшительное от *Graeci*, употребляемое с презрительным оттенком (вроде нашего «немчурки»).

² *Атлант* — мифическое лицо, один из титанов, держащий на себе небесный свод.

— Привет и почтение благородному военному трибуну¹ и тебе, господин! — говорил Хилон, входя в комнату. — Да будет счастье ваше равно вашей славе, а слава ваша да обезжит весь свет, от Геркулесовых столбов до границ царства Арсакидов².

— Здравствуй, законодатель добродетели и мудрости, — ответил Петроний.

Виниций спросил с поддельным спокойствием:

— Что приносишь ты?

— В первый раз я принес тебе надежду, а теперь приношу уверенность, что девушка будет отыскана.

— Это значит, что ты не отыскал ее до сих пор?

— Да, господин, но я отыскал, что значит знак, который она начертила тебе; я знаю, кто эти люди, которые отбили ее, и знаю, между поклонниками какого бога нужно искать ее.

Виниций хотел вскочить с кресла, на котором сидел, но Петроний положил ему на плечо руку и, обращаясь к Хилону, сказал:

— Говори дальше!

— Ты совершенно уверен, господин, что девица начертила на песке рыбу?

— Да, да! — вспыхнул Виниций.

— Значит, она христианка, и отбили ее христиане.

Наступила минута молчания.

— Слушай, Хилон, — наконец сказал Петроний. — Мой родственник предназначил тебе за нахождение девушки значительное количество денег, но еще более значительное количество розог, если ты захочешь обманывать его. В первом случае ты купишь себе не одного, а трех писцов, а во втором — философия всех семи мудрецов, с добавлением твоей собственной, не даст тебе целительной мази.

— Девушка — христианка, господин! — воскликнул Хилон.

— Воздержись, Хилон. Ты человек неглупый. Мы знаем, что Юния Силана вместе с Кальвией Криспиниллой обвиняли Помпонию Грецину в принадлежности к христианскому суеверию, но мы знаем также, что домашний суд освободил ее от этого обвинения. Не хочешь ли ты опять возобновить его? Не хочешь ли ты и нам внушить, что Помпония, а вместе с ней и Лигия могут принадлежать к врагам рода человеческого, к отравителям фонтанов и колодцев, к почитателям ослиной головы, к людям, которые убивают детей и предаются самому омерзительному разврату? Подумай, Хилон, как бы теза, которую ты приводишь нам теперь, не отразилась в качестве антitezы³ на твоей спине.

Хилон развел руками в знак того, что это не его вина, а потом сказал:

— Господин, произнеси по-гречески следующее: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.

— Хорошо... Ну, вот... И что ж из того?

¹ *Tribunus militum* — высокий военный чин у римлян (вроде нашего начальника дивизии). Военные трибуны были начальниками легиона, заключавшего в себе более 6000 человек; в каждом легионе их было 6, и они командовали по известной очереди.

² *Геркулесовы столбы* — Гибралтарский пролив; *царство Арсакидов* — парфянское царство (в Азии, на юг от Каспийского моря).

³ *Теза* — «положение», *антитеза* — «противуположение», «возражение». Хилон высказал положение, что Помпония и Лигия — христианки; Петроний говорит, что ему может быть сделано возражение на его спине.

— А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи их так, чтобы составилось одно слово.

— Рыба¹, — с удивлением сказал Петроний.

— Вот почему рыба стала эмблемою христианства! — ответил с гордостью Хилон.

Наступила минута молчания. В выводах грека было что-то такое настолько поражающее, что оба друга не могли противиться изумлению.

— Виниций, — спросил Петроний, — ты не ошибаешься, и Лигия действительно начертила тебе рыбу?

— Клянусь всеми подземными богами, можно с ума сойти! — разгорячился молодой человек. — Если б она начертила мне птицу, тогда я сказал бы, что птицу.

— И, значит, она христианка! — повторил Хилон.

— Значит, Помпония и Лигия отравляют колодцы, убивают детей, схваченных на улице, и предаются распутству? — сказал Петроний. — Глупость! Ты, Виниций, дольше был в их доме, я был мало, но достаточно знаю и Авла, и Помпонию, достаточно знаю даже Лигию, чтобы сказать: это мерзко и глупо! Если рыба — символ христианства, против чего спорить действительно трудно, то, клянусь Прозерпиной, очевидно, христиане не таковы, за каких мы их знаем.

— Ты говоришь, как Сократ, господин — ответил Хилон. — Кто когда-нибудь исследовал христиан? Кто познакомился с их учением? Когда я три года тому назад шел в Рим из Неаполя (о, отчего я не остался там?), ко мне присоединился один человек, по имени Главк, о котором говорили, что он был христианином, и, несмотря на это, я убедился, что он был хорошим и добродетельным человеком.

— Не от этого ли добродетельного человека ты узнал теперь, что значит рыба?

— Увы, господин! По дороге, в одной харчевне кто-то пырнул почтенного старца ножом, жену его и детей увели торговцы невольниками, а я, защищая их, потерял вот эти два пальца. Но так как говорят, что для христиан нет недостатка в чудесах, то и я питаю надежду, что мои пальцы вновь вырастут.

— Как? Разве и ты сделался христианином?

— Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня. В христианство меня обратила эта рыба. Посмотри, какая, однако, в ней сила! А через несколько дней я буду самым ревностным из ревностнейших, чтобы они допустили меня до всех своих таинств, а когда меня допустят до всех таинств, я буду знать, где скрывается девушка. Тогда, может быть, мое христианство заплатит мне лучше, чем моя философия. Я дал обет Меркурию², что если он мне поможет отыскать девушку, я принесу ему в жертву двух телиц одинаковых лет и меры и прикажу позолотить им рога.

— Значит, твое вчерашнее христианство и твоя прежняя философия позволяют тебе верить в Меркурия?

— Я всегда верю в то, во что мне нужно верить, — вот моя философия, которая должна прийтись по вкусу Меркурию. К несчастью, вы, достойные господа, знаете, насколько этот бог подозрителен. Он не доверяет обещаниям даже целомудренных

¹ *Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель* — по-гречески *Iesous Christos Theou yios Soter*; начальные буквы этих слов образуют слово *ichthys*, что значит «рыба».

² Меркурию Хилон хочет принести жертву потому, что Меркурий был покровителем всяких хитростей.

философов и, может быть, предпочитал бы получить телиц раньше, а для меня теперь это — огромный расход. Не всякий из нас Сенека, и моих средств на это не хватит, но если бы, однако, благородный Виниций в счет обещанной мне суммы... что-нибудь...

— Ни обола, Хилон, — сказал Петроний, — ни обола! Щедрость Виниция превзойдет твои ожидания, но лишь тогда, когда Лигия будет отыскана, то есть когда ты укажешь нам ее убежище. Меркурий может отпустить тебе в кредит две телицы, хотя я не удивляюсь, что у него для этого нет охоты, и признаю в том его ум.

— Послушайте меня, достойные господа. Открытие, которое я сделал, необыкновенно велико, ибо хотя я до сих пор не отыскал девушку, но нашел путь, по которому нужно искать ее. Вот вы... вы разослали отпущенников и наемников по всему городу, во все провинции, а дал вам кто-нибудь указание? Нет! Дал один я. И я скажу вам больше. В числе ваших невольников могут быть и христиане, о которых вы ничего не знаете, ибо это суеверие распространилось уже повсюду, и эти невольники, вместо того, чтобы помогать, будут изменять вам. Дурно уже то, что меня видят здесь, и поэтому ты, благородный Петроний, накажи Эвнике молчать, ты же, одинаково благородный Виниций, разгласи, что я продаю тебе мазь, которою если намажешь коней, то обеспечишь им победу в цирке... Я один буду искать и я один отыщу беглецов, а вы верьте мне и знайте, что сколько бы я ни получил вперед, для меня это будет только поощрением, потому что я всегда буду надеяться на большее и тем больше буду иметь уверенности, что обещанная награда не минет меня. Ах, да! Как философ, я презираю деньги, хотя их не презирают ни Сенека, ни даже Музоний или Корнут¹, которые, однако, не потеряли пальцев, защищая кого-нибудь, и которые могут писать сами и завещать свои имена потомству. Но, кроме невольника, которого я намереваюсь купить, и кроме Меркурия, которому я обещал телиц (а вы знаете, как подорожал скот), одни поиски требуют значительных издержек. Только выслушайте меня терпеливо. Несколько дней тому назад у меня на ногах образовались раны от долгого хождения. Я завертывал в винные лавки, чтобы болтать с народом, к пекарям, мясникам, к масленикам и к рыбникам. Я обегал все улицы и переулки; был в убежищах беглых невольников, проиграл почти сотню ассов² в мору; был в прачечных, сушильных и харчевнях, видел погонщиков мулов и каменщиков; видел людей, которые лечат почки и вырывают зубы, говорил со скупщиками сушеных фиг, был на кладбищах, а знаете для чего? Для того именно, чтобы везде чертить рыбу, смотреть людям в глаза и слушать, что они скажут при виде этого знака. Долгое время я не мог заметить ничего, но один раз у фонтана обратил внимание на старика-невольника, который черпал ведрами воду и плакал. Приблизившись к нему, я спросил у него о причине его слез. На это, когда мы сели на ступенях фонтана, он ответил мне, что всю жизнь собирал сестерций к сестерцию³, чтобы выкупить своего любимого сына, но господин его, некто Панса, когда увидел деньги, то отнял их, а сына оставил в неволе. «Вот я и плачу, — говорил старик, — и хотя повторяю: да будет воля Божия, но не могу, бедный грешник, удержать слез». Тогда я, как будто движимый предчувствием, омочил палец в ведре и начертил рыбу, а старик сказал: «И моя надежда во Христе». Я спросил, узнал ли он меня по начертанному знаку?

¹ *Сенека, Музоний и Корнут* — знаменитые стоические философы неронова времени.

² *Асс* — медная монета весом 1 римский весовой фунт (327 г.) (*примеч. ред.*).

³ *Сестерций* — мелкая монета, стоившая около 5 копеек на наши деньги.

Он говорит: «Узнал, и да будет с тобою мир». Тогда я начал выпытывать его, и добряк выболтал все. Его господин, этот Панса, сам отпущенник великого Панса, привозит по Тибру камень в Рим, а его люди выгружают из барок этот камень и таскают его на постройки ночью, чтобы не задерживать дневного движения на улицах. Здесь же работает много христиан и сын старика, но работа эта непосильная, и старик хотел бы выкупить сына. Но Панса предпочел удержать и деньги, и невольника. Тут старик снова заплакал, я же примешал свои слезы к его слезам, что мне было нетрудно по причине доброты моего сердца и колотья в ногах. При этом я начал жаловаться, что не знаю никого из братии, не знаю, где они собираются для совместной молитвы, ибо только несколько дней, как пришел из Неаполя. Старик удивился, что неаполитанские христиане не дали мне писем, но я сказал, что письма у меня украли в дороге. Тогда он сказал мне, чтоб я ночью приходил к реке; он меня познакомит с братией, а та проводит меня в молитвенные дома и к старшим, которые управляют христианским обществом. Услышав это, я обрадовался так, что дал ему сумму, потребную на выкуп сына, в надежде, что великодушный Вениций вдвойне возвратит мне ее.

— Хилон, — перебил Петроний, — в твоём рассказе ложь плавает на поверхности правды, как масло на воде. Ты принес важные известия, — этого я не отрицаю, я утверждаю даже, что на пути к поискам Лигии сделан важный шаг, — но не смазывай ложью свои новости. Как прозывается старик, который сказал тебе, что христиане узнают друг друга при помощи знака рыбы?

— Эвриций, господин. Бедный, несчастный старец! Он напомнил мне Главка, которого я защищал от разбойников, и этим сильно взволновал меня.

— Я верю, что ты его изучил и что сумеешь извлечь пользу из этого, но денег ты ему не давал. Ты не дал ему ни асса. Понимаешь? Ничего не дал!



— Но я ему помог таскать ведра и с величайшим сочувствием говорил о его сыне. Да, господин, что может укрыться от пронизательности Петрония? Ну да, я не дал ему денег, или, лучше сказать, дал, но только в душе, в уме, а это, если б он был истинным философом, должно было быть достаточным для него. А дал я деньги потому, что считал такой поступок необходимым и полезным, ибо подумай, господин, как бы он привлек ко мне всех христиан, какой бы открыл доступ до них и какое возбудил доверие ко мне.

— Правда, — сказал Петроний, — и ты должен был сделать так.

— Для этого-то я и пришел, чтобы иметь возможность сделать это.

Петроний обратился к Виницию:

— Прикажи выплатить ему пять тысяч сестерций, только в душе, в уме.

Но Виниций сказал:

— Я дам тебе мальчика, который понесет потребную сумму, и ты скажешь Эврицию, что мальчик — твой невольник, и при нем отсчитаешь старику деньги. Но так как ты принес важное известие, то другие пять тысяч ты получишь для себя. За мальчиком и за деньгами придешь вечером.

— Вот истинный цезарь! — сказал Хилон. — Позволь, господин, посвятить тебе мое произведение, но также позволь сегодня вечером прийти только за моими деньгами. Эвриций сказал мне, что все барки уже выгружены, а новые придут из Остии¹ только через несколько дней. Да будет мир с вами! Так прощаются христиане... Куплю себе невольницу... то есть, я хотел сказать — невольника. Рыбу ловят на удочку, а христиан на рыбу. *Pax vobiscum! pax! pax!*²

¹ *Остия* — военный порт и торговая гавань Древнего Рима в устье реки Тибр (*примеч. ред.*).

² «Мир с вами! мир! мир!»



ГЛАВА XV

Петроний Виницию:

«С верным невольником я посылаю тебе из Антия это письмо, на которое, — хотя твоя рука более привыкла к мечу и луку, чем к перу, — ты ответь мне с тем же самым невольником без излишнего замедления. Я оставил тебя на хорошем следу и полного надежды и думаю, что ты или уже утолил свою сладкую страсть в объятиях Лигии, или утолишь ее, прежде чем настоящий зимний ветер повеет на Кампанию с вершин Соракта. О, мой Виниций! Да будет твоею учительницей золотая богиня Кипра¹, а ты будь учителем той лигийской утренней зари, которая бежит от солнца любви! Но помни всегда, что самый, хотя бы самый драгоценный, мрамор ничего не стоит и настоящую ценность приобретает лишь тогда, когда рука ваятеля обратит его в произведение искусства. Будь ты таким ваятелем, *carissime!*² Любить еще недостаточно, надо уметь любить и надо суметь научить любви. Ведь наслаждение чувствуют и плебеи, и даже звери, но истинный человек тем, собственно, от них и отличается, что наслаждение обращает в изящное искусство и, любясь им, всю его божественную ценность сознает своею мыслью, а потому насыщает не только тело, но и душу. Не раз, когда я подумаю о праздности, неуверенности и скуке нашей здешней

¹ *Богиня Кипра* — Венера.

² *Carissime* — «милейший».

жизни, мне приходит в голову, что, может быть, ты избрал лучшее, и что не двор цезаря, а война и любовь единственные две вещи, для которых стоит родиться и жить.

На войне ты был счастлив, будь же счастлив и в любви, а если тебе любопытно знать, что делается при дворе цезаря, я от времени до времени буду сообщать тебе об этом. Мы теперь сидим в Антии и нянчимся со своим божественным голосом, чувствуем одинаково постоянную ненависть к Риму, а на зиму собираемся отправиться в Байи, дабы выступить публично в Неаполе, жители которого, как греки, лучше сумеют оценить нас, чем волчье племя¹, обитающее на берегах Тибра. Туда сбегутся люди из Байи, Помпеи, из Путеолов, из Кум, из Стабии², в рукоплесканиях и венках недостатка у нас не будет, — и это будет поощрением к предполагаемому путешествию в Ахайю³.

А память о маленькой августи? Да! Мы еще оплакиваем ее. Гимны собственного сочинения поем так чудно, что сирены от зависти спрятались в самых глубоких дебрях Амфитриты⁴. Зато нас слушали бы дельфины, если б им не мешал шум моря. Горе наше не утихло до сих пор, и мы показываем его людям во всех видах, которые допускает ваяние, внимательно следя при этом, идет ли нам к лицу наше горе и умеют ли люди понять его красоту. Ах, мой дорогой! И умрем мы как шуты и комедианты!

Тут все августиане и августианки⁵, не считая пятисот ослиц, в молоке которых купается Поппея, и десяти тысяч слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет; говорят, упросила Поппею, чтоб ей позволили брать ванну тотчас же после нее. Нигидии Лукан дал пощечину, подозревая о ее связи с гладиатором. Спор проиграл жену в кости Сенециону. Торкват Силан давал мне за Эвнику четверку лошадей, которая непременно выиграет на состязании в нынешнем году. Я не захотел, а тебе очень признателен, что ты не принял ее. Что касается Торквата Силана, то бедняк не догадывается, что он более тень, чем человек. Смерть его уже решена, а ты знаешь, какова его вина? Та, что он внук божественного Августа⁶. Для него нет спасения. Таков наш мир!

Как тебе известно, мы ожидали Тиридата, а тем временем Вологез⁷ написал нам оскорбительное письмо. Так как он покорил Армению, то просит, чтоб ее оставили для Тиридата, а если нет, то он и так не отдаст ее. Чистое издевательство! Мы решились на войну. Корбулон будет облечен такою властью, какою был облечен во время войны с морскими разбойниками великий Помпей. Была, однако, минута, когда Нерон колебался; очевидно, он боится славы, которая в случае победы может достаться Корбулону. Думали даже, не предоставить ли главное начальство нашему Авлу. Поппея противилась, — добродетель Помпонию, очевидно, не по вкусу ей.

¹ «Волчье племя» — римляне, названные так потому, что основатели Рима, Ромул и Рем, были вскормлены волчицей.

² Кумы — первая древнегреческая колония в Италии, на побережье Тирренского моря; Стабии — древнеиталийский город на берегу Неаполитанского залива, разрушенный в VI веке (примеч. ред.).

³ Ахайя — древнее название приморской области на севере Пелопоннеса, в римскую эпоху — название всей Греции как римской провинции (примеч. ред.).

⁴ Амфитрита — богиня моря, супруга Нептуна; дебри Амфитриты — морские глубины.

⁵ Под августианками автор, вероятно, разумеет разных придворных дам.

⁶ Имеется в виду император Октавиан Август, основатель Римской империи (примеч. ред.).

⁷ Вологез I — царь Парфянской империи (примеч. ред.).

Ватиний обещал нам какие-то необыкновенные состязания гладиаторов, которые он устраивает в Беневенте¹. Смотри, до чего вопреки пословице „*ne sutor supra crepidam*“² доходят в наши времена сапожники! Вителлий — потомок, а Ватиний — родной сын сапожника! Может быть, он еще сам тянул дратву! Актер Алитур вчера дивно представлял Эдипа. Я спрашивал у него, как у еврея, что, христиане и евреи — это одно и то же? Он отвечал, что еврейская религия древняя, а христианство — новая секта, которая недавно появилась в Иудее. При Тиберии там распяли одного человека, почитатели которого множатся с каждым днем, потому что признают его за бога. Кажется, что никаких других богов, а в особенности наших, они и знать не хотят. Не понимаю, чем бы это могло помешать им. Тигеллин проявляет ко мне уже явную недоброжелательность. До сих пор он еще не может справиться со мной, но у него есть одно важное преимущество. Он больше заботится о жизни и вместе с тем больший негодай, чем я, что приближает его к Агенобарбу. Они раньше или позже поймут друг друга, тогда придет и моя очередь. Когда это наступит — не знаю, но так как наступить должно, то о сроке и говорить нечего. А пока нужно веселиться. Сама по себе жизнь не была бы дурна, если бы не меднобородый. Благодаря ему человек иногда бывает противен самому себе. Иногда мне кажется, что я такой же Хилон, ничуть не лучше его. Когда он не будет тебе нужен, пришли его ко мне. Я полюбил его назидательную беседу. Приветствуй от меня свою божественную христианку, или, вернее, проси ее от моего имени, чтоб она не была рыбой по отношению к тебе. Извести меня о своем здоровье, извести о любви, умей любить, научи любить — и прощай».

М. К. Виниций Петронию:

«Лигии нет до сих пор! Если бы не надежда, что я скоро найду ее, ты не получил бы ответа, потому что когда жизнь делается противной, то и писать не хочется. Я захотел удостовериться, не обманывает ли меня Хилон, и в ночь, когда он пришел ко мне за деньгами для Эвриция, я закутался в воинский плащ и незаметно пошел за ним и за мальчиком, которого отпустил при нем. Когда мы пришли на место, я следил за ним, скрытый портовым столбом, и убедился, что Эвриций не был вымышленной личностью. Внизу, у реки, несколько человек при свете факелов выгружали из большой барки камень и складывали его на берегу. Я видел, как Хилон приблизился к ним и начал разговаривать с каким-то стариком, который через некоторое время пал к его ногам. Другие с криками удивления окружили их. На моих глазах мальчик отдал кошелек Эврицию, который начал молиться, подняв руки кверху, а рядом с ним опустился на колени кто-то другой, очевидно его сын. Хилон говорил еще что-то, чего я не мог дослышать, благословляя и стоящих на коленях, и других, описывая в воздухе знаки наподобие креста. Они, вероятно, чтут этот знак, потому что все преклоняли колени. Мне хотелось подойти к ним и обещать три таких мешка тому,

¹ *Беневент* (ныне Беневенто) — город и одноименная провинция северо-восточнее Неаполя (*примеч. ред.*).

² *Sutor ne supra crepidam* — «сапожник, суди не выше башмака». О происхождении этой поговорки римские писатели рассказывают следующий анекдот. Знаменитый греческий художник Апеллес выставил свою картину, чтобы прохожие указывали ему на недостатки, какие заметят в ней. Сапожник ему указал на ошибку в башмаке; Апеллес ее исправил. На другой день сапожник стал уже рассуждать о голени; тогда художник и сказал ему эти слова.



Горе наше не утихло до сих пор, и мы показываем его людям во всех видах, которые допускает ваяние, внимательно следя при этом, идет ли нам к лицу наше горе и умеют ли люди понять его красоту.

который выдал бы мне Лигию, но я опасался повредить работе Хилона, и после некоторого раздумья ушел. Происходило это, по крайней мере, через двенадцать дней после твоего отъезда. С той поры Хилон был у меня несколько раз. Он говорил, что если до сих пор не нашел Лигию, то только потому, что в одном Риме христиан неисчислимо множество и не все знают, что делается между ними. Кроме того, они осторожны и вообще малоразговорчивы, но Хилон ручается, что раз он доберется до старейшин, которых называют пресвитерами, то сумеет узнать от них все тайны. С некоторыми он уже познакомился и пробовал их расспрашивать, но осторожно, чтобы поспешностью не возбудить подозрений и не затруднить дела. И хотя ждать тяжело, хотя мне не хватает терпения, я чувствую, что он прав, и жду.

Он узнал, что для молитвы у них есть общие места, часто за городскими воротами, в пустых домах и даже в аренариях. Там они поклоняются Хрестосу, поют и пируют. Мест таких много. Хилон предполагает, что Лигия нарочно ходит не в те, куда ходит Помпония, чтобы та в случае суда и розысков смело могла поклясться, что ничего не знает о ее убежище. Быть может, пресвитеры внушили ей эту осторожность. Когда Хилону будут известны эти места, он станет ходить вместе с другими и, если боги позволят ему увидеть Лигию, я клянусь тебе Юпитером, что на этот раз она не уйдет из моих рук.

Я все думаю об этих молитвенных домах. Хилон не хочет, чтоб я ходил с ним, — он боится; но я не могу сидеть дома. Я узнаю ее сразу, хотя бы она была переодета или с закрытым лицом. Они собираются там ночью, но я узнал бы ее и ночью, я всюду узнаю бы ее по голосу и движениям. Я пойду один, переодетый, буду обращать внимание на каждого, кто входит и выходит. Я все больше думаю о ней, все больше узнаю ее. Хилон должен явиться завтра, и мы пойдем. Я возьму с собой оружие. Несколько моих невольников, которых я послал в провинции, возвратились ни с чем. Но теперь я уверен, что она здесь, в городе, может быть, даже недалеко. Я и сам навестил несколько домов под предлогом найма. У меня ей будет во сто раз лучше, потому что там кишит целый муравейник нищеты. Ведь я ничего не пожалел для нее. Ты пишешь, что я хорошо избрал, а я избрал себе заботы и горе. Мы сначала пойдем в те дома, что в городе, потом за городские ворота. С каждым утром я надеюсь на что-то, — иначе жить было бы невозможно. Ты пишешь, что нужно уметь любить, и я умел говорить с Лигией о любви, а теперь умею только тосковать, только поджидаю Хилона, а дома мне невыносимо. Прощай».



ГЛАВА XVI

Хилон не показывался так долго, что Виниций в конце не знал, что думать об этом. Напрасно он повторял себе, что поиски, если они должны довести дело до желанного конца, не могут производиться особенно быстро. И его кровь, и его порывистая натура возмущались против голоса рассудка. Но делать нечего, ждать, сидеть, сложа руки, — все это было так несогласно с его привычками, что он никоим образом не мог примириться с этим времяпровождением; беготня по отдельным переулкам города, — именно потому, что не приводила ни к каким последствиям, — показалась ему только самообманом и не могла удовлетворить его. Отпущенники его, люди ловкие, которым он приказал производить поиски отдельно от Хилона, оказывались во сто раз менее опытными, чем грек. А тем временем наряду с любовью, которую он питал к Лигии, в нем еще зарождалась страсть игрока, который хочет выиграть. Виниций всегда был таким. С ранних лет он осуществлял все, что хотел, с горячностью человека, который не понимает, как это ему может что-нибудь не удалиться, что нужно иногда отказываться от чего-нибудь. Правда, военная дисциплина на время заключила в известные пределы его своеволие, но вместе с тем вселила в него убеждение, что всякий приказ, который он даст своим подчиненным, должен быть исполнен непременно, а долгое пребывание на Востоке среди людей гибких и привыкших к рабскому повиновению только утвердило его в уверенности, что его «хочу» нет границ.

Теперь его самолюбие получило жестокий удар. В этих противоречиях, в этом сопротивлении, в самом бегстве Лигии для него крылось что-то непонятное, какая-то загадка, над разрешением которой он мучительно ломал голову. Он чувствовал, что Актея говорила правду и что Лигия не была к нему равнодушна. Но если это так, то почему же она предпочла скитальчество и нищету его любви, его ласкам, пребыванию в его роскошном доме? На этот вопрос он не умел найти ответа и доходил только до неясного сознания, что между ним и Лигией, между их понятиями, между миром его и Петрония, между миром Лигии и Помнонии Грецины существует какое-то различие, какое-то недоразумение, глубокое, как пропасть, которую ничто не в состоянии наполнить. Тогда ему представлялось, что он должен утратить Лигию, и при этой мысли он терял остатки равновесия, которое желал водворить в нем Петроний. Были минуты, когда он не знал, любит ли Лигию или ненавидит, и понимал только то, что должен найти ее, и предпочел бы провалиться сквозь землю, чем отказаться от надежды видеть ее и обладать ею. Сила воображения иногда так ясно рисовала ее его глазам, что как будто она стояла перед ним; он припоминал каждое слово, сказанное им, и каждое слово, услышанное им от Лигии. Он чувствовал ее близость, чувствовал ее у себя на груди, в своих объятиях, и тогда страсть охватывала его, как пламя. А когда он вспоминал, что и она любила его и могла добровольно исполнить все, что он требовал от нее, то им овладевало тяжелое, непреодолимое горе, и какая-то великая жалость, словно гигантская волна, заливала его сердце. Но бывали минуты, когда он бледнел от бешенства и наслаждался мыслью об унижении и муках, каким он подвергнет Лигию, когда найдет ее. Он хотел не только обладать ею, но и обладать ею, как униженную невольницей, и вместе с тем чувствовал, что если б ему предоставили выбор — или быть ее рабом, или не видеть ее ни разу в жизни, он предпочел бы быть ее рабом. Бывали дни, когда он думал о знаках, какие оставила бы плеть на ее розовом теле, и вместе с тем хотел бы целовать эти следы. Ему приходило в голову, что он был бы счастлив, если б мог убить ее.

В этом внутреннем разладе, в этих страданиях, неуверенности он терял здоровье и даже свою красоту. Теперь он сделался недоступным и жестоким господином. Невольники, даже и отпущенники с трепетом приближались к нему, а когда наказания сваливались на них без всякой вины, наказания столь же жестокие, как и незаслуженные, начинали в глубине души ненавидеть его. Виниций понимал это и, чувствуя свое одиночество, мстил еще страшнее. Теперь он сдерживался только с одним Хилоном, из опасения, чтобы тот не прекратил своих поисков, и Хилон, сообразив это, начал овладевать им и становился все более и более требовательным.

Сначала каждый раз он уверял Виниция, что дело пойдет легко и быстро, а теперь сам изобретал затруднения и, не переставая ручаться за несомненный исход поисков, не скрывал, однако, что они не могут окончиться скоро.

Наконец, он пришел с таким унылым лицом, что молодой человек побледнел при виде его и, подскочив к нему, едва нашел силы спросить:

— Ее нет среди христиан?

— Напротив, господин, — ответил Хилон, — но между ними я нашел и Главка.

— О чем ты говоришь, и кто он такой?

— Ты забыл, господин, о старце, с которым я путешествовал от Неаполя в Рим и, защищая которого, потерял два пальца, вследствие чего не могу писать. Разбойники, которые похитили его жену и детей, ранили его ножом. Я оставил его умирающим

в харчевне под Минтурнами и долго оплакивал его. Увы, я убедился, что он жив до сих пор и принадлежит к христианской общине Рима.

Виниций, который не мог догадаться, в чем дело, понял только то, что этот Главк представлял какое-то препятствие в его поисках, и, подавив свой гнев, сказал:

— Если ты защищал его, то он должен быть признательным и помогать тебе.

— Ах, достойный трибун, даже боги не всегда бывают признательны, — что уж говорить о людях! Да, он должен быть признателен мне. К несчастью, это старик с умом слабым, омраченным от лет и огорчений, и вот поэтому-то он не только не благодарит меня, но, как я узнал от его единоверцев, обвиняет меня в том, что я стоворился с разбойниками и что я и есть главная причина его злоключений. Вот мне награда за мои два пальца!

— Я уверен, негодяй, что так и было, как он говорит.

— Тогда ты знаешь больше него, господин, — с достоинством ответил Хилон, — он только допускает, что так было; это, впрочем, не помешало бы ему призвать христиан и жестоко отомстить мне. Он несомненно сделал бы так, а другие так же несомненно помогли бы ему, — к счастью, он не знает моего имени, а в молитвенном доме, где мы встретились, он не узнал меня. Я-то узнал его сразу и в первую минуту хотел броситься ему на шею, но меня удержала рассудительность и привычка обдумывать каждый шаг, который я намереваюсь сделать. И вот, после выхода из молитвенного дома я начал расспрашивать о нем, и те, которые его знают, сказали мне, что это человек, которому изменил его товарищ по путешествию из Неаполя в Рим. Иначе я даже не знал бы, что он так рассказывает.

— Какое мне дело до этого? Говори, что ты видел в молитвенном доме?

— Тебе, господин, дела нет, но мне это дело настолько важно, насколько важна собственная шкура. А так как я хочу, чтобы мое учение пережило меня, то предпочитаю скорее отказаться от награды, которую ты обещал мне, чем жертвовать жизнью для мамоны¹, без которой я, как истинный философ, сумею жить и отыскивать божественную правду.

Виниций с зловещим лицом приблизился к греку и заговорил сдавленным голосом:

— А кто сказал тебе, что от руки Главка тебя скорее встретит смерть, чем от моей? Почему ты знаешь, собака, не сейчас ли тебя закопают в моем саду?

Хилон был трус, и теперь при одном взгляде на Виниция сразу понял, что еще одно неосторожное слово — и он пропал бесповоротно.

— Я буду искать, господин, и найду ее! — поспешно воскликнул он.

Наступило молчание, во время которого слышно было только ускоренное дыхание Виниция да отдаленная песня невольников, которые работали в саду.

И лишь спустя немного грек, заметив, что молодой патриций несколько успокоился, заговорил:

— Смерть прошла около меня, а я смотрел на нее с таким же спокойствием, как и Сократ. Нет, господин, я не сказал, что отказываюсь от поисков девушки, я хотел только сказать тебе, что эти поиски теперь сопряжены с великою опасностью для меня. Одно время ты сомневался, существует ли на свете Эвриций, и хотя собственными глазами удостоверился, что сын моего отца говорил тебе правду,

¹ Мамона — у некоторых древних народов бог денег, богатства (примеч. ред.).

ты теперь подозреваешь меня, что я выдумал Главка. Увы, если б он был только вымыслом, если б я мог с полной безопасностью ходить среди христиан, как ходил раньше, то я отдал бы ту жалкую, старую невольницу, которую купил три дня тому назад, для того, чтоб она пеклась о моих преклонных годах и моем недужестве. Но Главк жив, господин, и если б раз он увидел меня, ты больше никогда уже не видел бы меня, а в таком случае кто отыскал бы девушку?

Он снова замолк, отер слезы и, немного погодя, заговорил вновь:

— Но пока Главк жив, как же мне искать ее, когда я могу каждую минуту встретить врага, а если встречу его, то погибну, и вместе с тем пропадут мои поиски?

— На что ты намекаешь, какой исход из этого и что ты намереваешься предпринять? — спросил Виниций.

— Господин, Аристотель учит нас, что меньшим должно жертвовать для большего, а царь Приам говорил часто, что старость — тяжелое бремя. И вот бремя старости и несчастий угнетает Главка так давно, что смерть была бы для него благодеянием. А что такое, по мнению Сенеки, смерть, как не освобождение?..

— Дурачься с Петронием, а не со мной и говори прямо, чего ты хочешь?

— Если добродетель — дурачество, то да даруют мне боги на весь век остаться дураком. Я, господин, хочу отстранить Главка, потому что пока он жив, — и моя жизнь, и мои поиски подвергаются постоянной опасности.

— Коли так, то найми людей, которые заколотят его палками, — я заплачу.

— Они сдерут дорого, господин, а потом будут угрожать открытием тайны. Мерзавцев в Риме столько, сколько песчинок на арене, но ты не поверишь, как они дорожатся, когда почтенному человеку понадобятся их услуги. Нет, достойный трибун! А ну как вигилы схватят убийц при убийстве? Те непременно признаются, кто их нанял, и ты не оберешься неприятностей. На меня они не укажут, потому что им я имени своего не открыл. Плохо ты делаешь, что не веришь мне, ибо, не говоря даже о моей добросовестности, помни, что здесь дело идет о двух вещах — о моей собственной шкуре и о награде, которую ты мне обещал.

— Сколько тебе нужно?

— Мне нужно тысячу сестерций¹. Обрати внимание, что я должен найти добросовестных мерзавцев, таких, которые, взяв задаток, не исчезли бы вместе с ним без вести. За хорошую работу — хорошая плата! И мне осталось бы что-нибудь для уголения моих слез, которые я пролью от горя по Главке. Беру в свидетели богов, как я его любил. Если я сегодня получу тысячу сестерций, через два дня душа его будет в Гадесе², и только там, — если души сохраняют память и дар мысли, — он узнает, как я его любил. Людей я найду сегодня и объявлю им, что с завтрашнего вечера за каждый день жизни Главка я буду уменьшать их вознаграждение на сто сестерций. У меня теперь зарождается план, который мне кажется безошибочным.

Виниций еще раз обещал ему потребную сумму, но запретил больше говорить о Главке, зато стал расспрашивать, какие другие новости приносит он, где был в это время, что видел и что открыл. Но Хилон не много нового мог сказать. Он был еще в двух молитвенных домах, внимательно рассматривал всех, а в особенности женщин, но не встретил ни одной, которая была бы похожа на Литию. Христиане, однако,

¹ Около 50 рублей.

² Гадес — подземное царство (*примеч. ред.*).

считают его своим, а с тех пор, как он дал денег на выкуп сына Эвриция, его считают человеком, который идет по следам «Хрестоса». Хилон узнал от христиан, что один из их великих законодателей, некто Павел Тарсянин, находится в Риме, заключен в темнице вследствие жалобы, поданной евреями, и решил познакомиться с ним. Но еще больше его обрадовало другое известие, что верховный жрец всей секты, который был учеником Христа и которому Он поручил управлять христианами всего света, также с часу на час должен прибыть в Рим. Очевидно, все христиане захотят его видеть и слушать его поучение. Предполагаются какие-то великие собрания, на которых и он, Хилон, будет присутствовать, а так как в толпе скрыться легко, то он поведет с собою Виниция. Тогда-то они уж непременно найдут Лигию. Раз Главк устранился, то это не будет даже сопряжено с большою опасностью. Конечно, отомстить отомстили бы и христиане, но вообще это люди спокойные.

Тут Хилон с некоторым удивлением начал рассказывать, что не замечал никогда, чтобы христиане предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, чтоб они были врагами рода человеческого, поклонялись ослу или питались мясом детей. Нет, он не видал этого. Наверное, между ними он найдет и таких, которые за деньги упрячут Главка, но учение их, насколько ему известно, ни к каким преступлениям не поощряет, — напротив, повелевает прощать обиды.

Виниций вспомнил, что ему у Актеи сказала Помпония Грецина, и вообще с радостью слушал Хилона и, хотя его чувство к Лигии по временам принимало вид ненависти, он испытывал облегчение, слыша, что учение, которому она и Помпония следуют, не заключало в себе ни злодейства, ни разврата. В нем зарождалось какое-то неясное представление, что именно оно, это неизвестное ему и таинственное преклонение перед Христом, и вырыло пропасть между ним и Лигией, и начинал в одно и то же время и бояться этого учения, и ненавидеть его.



ГЛАВА XVII

Хилону действительно нужно было устранить Главка, человека хотя и пожилого, но вовсе не немощного старца. В том, что Хилон рассказывал Виницию, была значительная доля правды. Когда-то он знал Главка, изменил ему, продал его разбойникам, лишил семьи, имущества и предал на смерть. Воспоминания об этих обстоятельствах он выносил легко, потому что покинул его, умирающего, не в заезжем доме, а в поле под Минтурнами, и не предвидел только одной вещи, что Главк излечится от ран и прибудет в Рим. И вот, когда он увидел его в молитвенном доме, то действительно ужаснулся и в первую минуту хотел не на шутку отказаться от искушения отыскивать Лигию. Но, с другой стороны, Виниций устранил его еще больше. Хилон понял, что должен выбирать между боязнью перед Главком и преследованием и мстостью могущественного патриция, на помощь которому непременно явится другой, еще более сильный, Петроний. Сообразив все это, Хилон перестал колебаться. Он подумал, что врагами лучше иметь малых, чем больших, и хотя его трусливая натура содрогалась при мысли о кровавых мерах, он признал неизбежным убить Главка при помощи чужих рук. Теперь его занимал только выбор людей, и к этому-то, собственно, относился тот план, о котором он упоминал Виницию. Проводя ночи по большей части

в винных лавках, среди людей без пристанища, без чести и без религии, он легко мог бы найти таких, которые взялись бы за всякую работу, но еще легче наткнулся бы на таких, которые, пронюхав деньги, работу начали бы с него, Хилона, или, взяв задаток, вынудили бы у него все деньги под угрозой отдать его в руки вигилов.

Наконец, в последнее время Хилон чувствовал отвращение к голытьбе, к омерзительным и вместе с тем страшным фигурам, которые гнездились в подозрительных домах Субурры или Затибрской части города. Меряя все собственной меркой, не познакомившись достаточно ни с христианами, ни с их учением, он думал, что между ними он найдет послушное орудие, а так как они казались ему добросовестнее других, то и решил отправиться к ним и в таком виде представить дело, чтоб они взялись за него не только из-за денег, но и из усердия.

С этою целью вечером он отправился к Эврицию, о котором знал, что старик предан ему всею душой и сделает все, чтобы помочь ему. Но, осторожный по натуре, Хилон и не думал открывать ему своих истинных намерений, которые, наконец, стояли бы в явном противоречии с уверенностью старика в его добродетели и богобоязненности. Он хотел иметь готовых на все людей и только с ними уговориться о деле так, чтоб они ради самих себя сохранили его в вечной тайне.

Эвриций, выкупив сына, нанял одну из тех маленьких лавочек, которые во множестве теснились около *Circus Maximus*¹, чтобы продавать оливки, бобы и подслащенную медом воду зрителям, являющимся на ристалище. Хилон застал его за устройством лавочки и, приветствовав его во имя Христа, начал говорить о деле, которое его привело сюда. Оказав услугу, он рассчитывал, что и ему отплатят благодарностью. Ему нужно двух или трех человек, сильных и смелых, для предотвращения опасности, угрожающей не только ему, но и всем христианам. Правда, он беден, потому что почти все, что у него было, он отдал Эврицию, но и этим людям заплатил бы за их услуги, под условием, чтоб они верили ему и точно исполняли то, что он прикажет им.

Эвриций и сын его Кварт чуть не на коленях слушали своего благодетеля. Они оба заявили, что сами готовы исполнить все, чего он от них потребует, веря, что такой святой муж не может требовать деяний, которые не были бы согласны с учением Христа.

Хилон уверил их, что это так и есть, и, подняв очи горе, казалось, начал молиться, а в действительности раздумывал, не принять ли ему их жертву, которая могла бы сохранить ему тысячу сестерций, но после минутного размышления отверг это. Эвриций был старик, может быть, не столько угнетенный годами, сколько истощенный горестями и болезнями. Кварт насчитывал всего 16 лет, а Хилону нужно было людей ловких и прежде всего сильных. Что касается тысячи сестерций, то он рассчитывал, что, благодаря своему плану, он во всяком случае сумеет сохранить значительную часть этих денег. Некоторое время они настаивали, но когда Хилон отказал решительно, перестали просить. Кварт сказал тогда:

— Я знаю пекаря Демаса, у которого за жерновами работают невольники и наемные люди. Один из этих наемников так силен, что его хватило бы не за двоих, а за четверых. Я сам видел, как он поднимал камни, которые четверо человек не могли сдвинуть с места.

¹ *Circus Maximus* — Большой цирк, самый обширный ипподром в древнем Риме (*примеч. ред.*).

— Если этот человек богобоязненный и способный пожертвовать собою за братьев, познакомь меня с ним, — сказал Хилон.

— Он христианин, — ответил Кварт, — потому что у Демаса работают по большей части христиане. Там есть работники ночные и дневные; тот, о котором я говорю тебе, принадлежит к ночным. Ты мог бы свободно переговорить с ним, если бы мы пошли сейчас, — мы как раз попали бы к ужину. Демас живет около Эмпория¹.

Хилон охотно согласился. Эмпорий лежал у подножия Авентинского холма², — значит, не особенно далеко от Большого цирка. Можно было, не обходя холма, отправиться вдоль реки, через *Porticus Aemilia*³, что еще более сокращало дорогу.

— Я стар, — сказал Хилон, когда они вошли в колоннаду, — по временам на меня находит затмение памяти. Да! Нашего Христа предал один из его учеников, но имени предателя я никак не могу припомнить в настоящую минуту...

— Иуда, он потом удавился, — ответил Кварт, немного удивляясь в душе, как можно не помнить этого имени.

— Ах, да! Иуда! Благодарю тебя, — ответил Хилон.

Дойдя до Эмпория, который был уже заперт, они миновали его и, обойдя амбары, из которых выдавали народу хлеб, свернули налево, к домам, которые тянулись вдоль *Via Ostiensis*⁴ вплоть до холма Тестацейского и *Forum Pistorium*⁵. Остановились они перед деревянною постройкой, изнутри которой доходил стук жерновов. Кварт вошел в дверь, а Хилон, который не любил показываться большому количеству людей и который находился постоянно в опасении, что судьба может столкнуть его с Главком, остался на улице.

«Занимает меня этот Геркулес, который служит за мельника, — говорил он себе, поглядывая на яркий месяц. — Если это негодяй и человек умный, он будет стоить мне чего-нибудь, а если добродетельный христианин и дурак, он сделает мне задаром все, чего я от него ни пожелаю».

Дальнейшие его размышления прервало появление Кварта, который вышел из постройки с другим человеком, одетым только в тунику, называемую эксомис и скроенную так, что правая рука и правая сторона груди оставалась обнаженной. Такую одежду, ничем не стесняющую свободу движений, преимущественно носили рабочие. Хилон вздохнул из глубины груди, — во всю жизнь он не видал такой руки и такого плеча.

— Вот брат, которого ты хотел видеть, — сказал Кварт.

— Да будет с тобою мир Христов, — отозвался Хилон. — Кварт, скажи этому брату, заслуживаю ли я доверия, а потом с богом отправляйся домой, ибо не годится оставлять почтенного отца так долго в одиночестве.

— Это святой человек, который отдал все достояние, чтобы выкупить из неволи меня, незнакомого ему человека, — сказал Кварт. — Да уготовает ему Господь наш Избавитель за это награду на небесах.

Гигант-работник, услышав это, поклонился и поцеловал руку Хилона.

¹ Эмпорий — оптовый склад (примеч. ред.).

² См. комментарий на с. 329 (примеч. ред.).

³ Портик Эмилия — крупный торговый центр, выходивший на причал римского порта (примеч. ред.).

⁴ *Via Ostiensis* — Остийская дорога (примеч. ред.).

⁵ Булочный рынок.

- Как твое имя, брат? — спросил грек.
- При святом крещении, отец, мне дали имя Урбана.
- Урбан, брат мой, есть ли у тебя время, чтобы свободно говорить со мною?
- Работа наша начинается в полночь, а теперь нам только готовят ужин.
- Значит, времени достаточно, пойдем к реке, там ты выслушаешь мои слова.

На каменной набережной было тихо, только издали доходил шум жерновов да внизу плескались волны реки. Хилон долго всматривался в лицо работника, которое, несмотря на грозное и печальное выражение, каким обыкновенно отличались лица варваров, живущих в Риме, показалось ему добрым и искренним.

«Так и есть, — сказал он про себя, — это человек добрый и глупый и задаром убьет Главка».

Потом он спросил:

- Урбан, любишь ли ты Христа?
- Люблю всей душой и сердцем, — отвечал работник.
- А братьев своих, а сестер, а тех, которые научили тебя правде и вере Христовой?
- И их также люблю, отец.
- Тогда да будет мир с тобой.
- И с тобой, отец.

Снова наступило молчание, только в отдалении гремели жернова, а внизу журчала река.

Хилон вперил глаза в месяц и медленным тихим голосом начал говорить о смерти Христа.

Говорил он не Урбану, а как будто сам для себя вспоминал эту смерть или как будто ее тайну поверял уснувшему городу. В этом было что-то трогательное и вместе с тем торжественное. Работник плакал, а когда Хилон начал стонать и скорбеть о том, что в минуту смерти Избавителя не было никого, кто защищал бы его если не от распятия, то по крайней мере от издевательств солдат и евреев, гигантская грудь варвара начала сжиматься от горя и подавленного бешенства. Смерть Христа только растрогала его, но при мысли о толпе, издевающейся над пригвожденным к кресту Агнцем, вся его простая душа волновалась, и им овладела дикая жажда мести.

Вдруг Хилон спросил:

- Урбан, ты знаешь, кто был Иуда?
- Знаю, знаю, но он удавился! — воскликнул работник.

И в голосе его слышалось сожаление, что предатель сам придумал себе кару и не может попасть в его руки. А Хилон продолжал:

— Однако, если б он не удавился и если бы кто-нибудь из христиан встретил его на суше или на море, не должен ли бы он был отомстить за муку, кровь и смерть Избавителя?

— Кто бы не отомстил, отец!

— Мир с тобою, верный слуга Агнца. Можно прощать собственные обиды, но кто имеет право прощать оскорбления, нанесенные Богу? Но как змей плодит змея, как злоба плодит злобу и измена — измену, так из яда Иуды возродился другой предатель, и как тот предал евреям и римским воинам Избавителя, так этот, который живет между нами, хочет предать волкам его паству, и если никто не предупредит измены, если никто заблаговременно не сотрет главы змия, всех нас ждет гибель, а с нами вместе погибнет и слава Агнца.

Работник смотрел на него с сильнейшею тревогой, как будто бы не отдавая себе отчета в том, что слышал. Грек покрыл голову углом плаща и начал повторять голосом, как будто бы выходящим из-под земли:

— Горе вам, слуги истинного Бога, горе вам, христиане и христианки!

И снова наступило молчание. Снова был слышен только стук жерновов, глухое пение работников на мельнице и шум реки.

— Отец, — спросил наконец работник, — что это за изменник?

Хилон поник головой.

— Что это за изменник? Сын Иуды, сын его яда, который притворяется христианином и ходит в молитвенные дома только для того, чтоб обвинять братьев перед цезарем, будто они не хотят признавать его богом, будто они отравляют фонтаны, убивают детей и хотят разрушить этот город так, чтобы не оставалось камня на камне. И вот через несколько дней преторианцам будет выдан приказ, чтоб они сковали старцев, женщин и детей и повели их на казнь так, как были посланы на смерть невольники Педания Секунда. И все это сделал тот, второй Иуда. Но если первого никто не наказал, если никто не отомстил ему, если никто не защитил Христа в час его мучений, — кто ж захочет покарать этого, кто сотрет змия, прежде чем цезарь выслушает его, кто его уничтожит, кто отвратит гибель братьев и веры Христовой?

Урбан, который до сих пор сидел, вдруг вскочил с места и сказал:

— Я сделаю это, отец.

Хилон встал также, с минуту смотрел на лицо работника, освещенное блеском луны, потом протянул руку и медленно опустил ладонь на его голову.

— Иди к христианам, — торжественно сказал он, — иди в молитвенные дома и осведомись у братьев о Главке, а когда они тебе покажут его, тогда, во имя Христа, убей!..

— Главк? — повторил работник, как бы желая запечатлеть в памяти это имя.

— Ты знаешь его?

— Нет, не знаю. Христиан целые тысячи в Риме, и не все знают друг друга. Но завтра в Остриане ночью соберутся братья и сестры до одного человека, потому что прибыл великий апостол Христов, который будет поучать там, и там братья укажут мне Главка.

— В Остриане? — спросил Хилон, — значит, за городскими воротами? Братья и все сестры? ночью? за воротами, в Остриане?

— Да, отец. Это наше кладбище между *Via Salaria* и *Nomentana*¹. Разве тебе не известно, что там будет поучать великий апостол?

— Я не был два дня дома, поэтому не получил его письма и, кроме того, не знал, где находится Остриан, потому что недавно прибыл сюда из Коринфа, где я учреждаю христианскую общину... Итак, если Христос вдохновил тебя, ты, мой сын, пойдемь ночью в Остриан, там между братьями отыщешь Главка и убьешь его на обратном пути к городу, за что тебе будут отпущены все грехи. А теперь да будет мир с тобою.

— Я слушаю тебя, слуга Агнца.

¹ Обе эти дороги [Соляная и Номентанская] начинаются у Коллинских ворот в северо-восточной части Рима: первая дорога идет почти прямо на север, вторая — на северо-восток.



— Горе вам, слуги истинного Бога, горе вам, христиане и христианки!

На лице работника отразилось смущение. Он недавно убил человека, может быть, и двух, а учение Христа запрещает убивать. Убил он их не при своей защите, но и этого нельзя. Епископ дал ему братьев для помощи, но убивать не приказал, а он убил нечаянно, потому что Бог покарал его чересчур большою силой, и теперь он тяжело кается. Другие поют за своими жерновами, а он, несчастный, думает о своем грехе и об обиде Агнца. Как он молился, как плакал, как просил Агнца! И все-таки чувствует до сих пор, что покаяние его недостаточно. А теперь он снова обещал убить предателя — и хорошо! Только собственные обиды можно прощать; он убьет его, хотя бы на глазах всех братьев и сестер, которые завтра будут в Остриане. Но пусть сначала Главк будет осужден старшими братьями, епископом или апостолом. Убить не велика вещь, а убить предателя даже и приятно, как волка или медведя, а ну как Главк пострадает невинно? Как брат на совесть новое убийство, новый грех и новую обиду Агнца?

— Для суда нет времени, мой сын, — ответил Хилон, — потому что изменник прямо из Остриана отправится к цезарю в Антий или скроется в доме некоего патриция, у которого находится в услужении. Но я тебе дам удостоверение; когда после убийства Главка ты покажешь его, и епископ, и великий апостол благословят твой поступок.

Он достал из-за пояса нож, вынул сестерций, начертил на нем знак креста и подал работнику.

— Вот приговор Главка и твое удостоверение. Когда после убийства ты покажешь его епископу, он отпустит тебе и прежнее убийство, которое ты совершил нечаянно.

Работник невольно протянул руку за монетой, но в нем еще чересчур была жива память о первом убийстве, и он почувствовал что-то вроде страха.

— Отец, — сказал он почти умоляющим голосом, — ты берешь на свою совесть это дело, ты сам слышал, как Главк продает братьев?

Хилон нашел, что нужно представить какие-нибудь доказательства, назвать какие-нибудь имена, ибо иначе в сердце гиганта может вкрасться подозрение.

— Слушай, Урбан, — сказал он, — я живу в Коринфе, но происхожу из Коса и здесь, в Риме, просвещаю учением Христовым одну девушку из моей страны, по имени Эвнику. Она служит как *vestiplica* в доме друга цезаря, некоего Петрония. И вот в этом доме я слышал, как Главк брался выдать всех христиан, а кроме того обещал другому наперснику цезаря, Виницию, что найдет среди христиан девушку...

Он оборвался и с изумлением посмотрел на работника, у которого глаза засветились вдруг, как глаза зверя, а лицо приняло выражение дикого гнева и угрозы.

— Что с тобой? — спросил он почти со страхом.

— Ничего, отец, — завтра я убью Главка.

Грек умолк, но через минуту, взяв работника за плечи, повернул его так, чтобы лунный свет падал прямо на его лицо, и начал внимательно всматриваться в него. Было видно, что он колебался в душе, расспрашивать ли его дальше и вывести все наружу, или не ограничиться ли пока тем, что он узнал.

В конце врожденная осторожность Хилона взяла верх. Он глубоко вздохнул, потом, положив руку на голову работника, спросил торжественным, медленным голосом:

— Так при святом крещении тебе дали имя Урбана?

— Да, отец.

— Тогда да будет с тобою мир, Урбан.



ГЛАВА XVIII

Петроний Виницию:

«Плохо тебе, *carissime!* Очевидно, Венера помутила твой ум, отняла рассудок, память и способность мыслить о чем-нибудь, кроме любви. Перечитай когда-нибудь то, что ты ответил мне, и ты увидишь, как твой ум стал равнодушен ко всему, за исключением Лигии, как ты занимаешься только ею, к ней возвращаешься постоянно и кружишь над нею, как ястреб над высмотренною добычей. Клянусь Поллуксом! найди же ты ее поскорей, иначе, если пламя твоей страсти не сожжет тебя в пепел, ты обратишься в египетского сфинкса, который, как говорят, влюбившись в бледную Изиду, стал ко всему глух, равнодушен и ждет только ночи, чтобы смотреть на влюбленную своими каменными глазами.

Обегай по вечерам город в чужой одежде, посещай даже со своим философом молитвенные дома христиан (все, что убивает время и возбуждает надежду — желательное), но, ради дружбы ко мне, сделай одно: Урс, невольник Лигии, кажется, обладает необыкновенною силой, так ты найми себе Кротона и предпринимай экспедиции втроем. Так будет безопаснее и разумнее. Христиане, коль скоро к числу их принадлежат Помпония Грецина и Лигия, вероятно, не такие негодяи, какими их считают повсюду, но, однако, при похищении Лигии они доказали, что с ними шутики плохи, если дело касается какой-нибудь овцы из их стада. Когда ты увидишь Лигию, то, я знаю, не сумеешь сдержаться и захочешь увести ее с собой тотчас же, —

как же ты это сделаешь с одним Хилонидом? А Кротон постоит за себя, хотя бы ее защищали десяток таких лигийцев, как Урс. Хилону не позволяй выманить много, но на Кротона денег не жалея. Изю всех советов, которые я могу послать тебе, этот самый лучший.

Здесь уже перестали говорить о маленькой августе и о том, что она умерла от колдовства. Воспоминает об этом иногда Пoppея, но ум цезаря занят совсем другим, тем более, — не знаю, правда ли это, — что *diva augusta*¹ снова находится в известном положении. Мы вот уже несколько дней в Неаполе, или, вернее, в Байях. Если б ты был способен думать о чем-нибудь, то отголосок нашего пребывания здесь должен был бы дойти до твоих ушей, потому что целый Рим, по всей вероятности, ни о чем другом и не говорит. Мы приехали прямо в Байи, где, прежде всего, нами овладели воспоминания о матери и упреки совести. Но знаешь ли ты, до чего дошел Агенобарб? До того, что даже матеревбийство служит ему только темой для стихов и поводом для разыгрывания шутовски-трагических сцен. Неподдельные угрызения совести прежде он испытывал постольку, поскольку он трус, а теперь, когда убедился, что весь мир, — как это было и раньше, — лежит у его ног и никакое божество не отомстило ему, то он притворяется, для того только, чтобы расстраивать людей своей судьбой. Иногда ночью он вскакивает и утверждает, что его преследуют фурии, будит нас тщательно наблюдать за собою, принимает вид комедианта, играющего роль Ореста², — да еще плохого комедианта, — декламирует греческие стихи и смотрит, удивляемся ли мы. Мы, конечно, удивляемся, и вместо того чтобы сказать ему: „Иди спать, шут!“ — также настраиваемся на трагический тон и защищаем великого артиста от фурий. Клянусь Кастором! дошло до тебя, по крайней мере, что мы уже выступали публично в Неаполе? Согнали всех греческих бездельников из Неаполя и окрестных городов, и эти бездельники так провоняли всю арену испарениями чеснока, что я благодарил богов, что вместо того, чтобы сидеть в первых рядах с августянами, я был с Агенобарбом за сценой. Поверишь ли ты мне, он боялся. Уверю тебя, боялся! Он брал мою руку и прикладывал к своему сердцу, которое билось действительно ускоренным биснием. Дыхание его стало прерывистым, а в ту минуту, когда нужно было выходить, он побледнел, как пергамент, и лоб его покрылся каплями пота. А ведь он знал, что во всех рядах сидят преторианцы, вооруженные палками, которыми обязаны в случае надобности возбуждать энтузиазм в слушателях. Но надобности не представилось. Никакое стадо обезьян из окрестностей Карфагена не сумеет так выть, как эта гольтьба. Я говорю тебе, что запах чеснока долетал даже до сцены! А Нерон раскланивался, прижимал руки к сердцу, посылал воздушные поцелуи и плакал. Потом он, как пьяный, ворвался к нам за сцену с криком: „Что значит триумфы цезаря в сравнении с моим триумфом!“ А там гольтьба все еще выла и хлопала в ладоши, зная, что выхлопает себе милости, подарки, пиры, лотерейные билеты и новое зрелище с шутом-цезарем. Я даже не удивляюсь, что они рукоплескали, — до сих пор этого никто не видал. А Нерон повторял каждую минуту: „Вот что значит греки! вот что значит греки!“ И кажется мне, что с этой минуты его ненависть к Риму еще более возросла. Несмотря на это, в Рим были посланы нарочные гонцы

¹ «Божественная августя». *Augusta*, — титул супруги, а также дочери, матери и сестры императора.

² *Орест* — мифическое лицо, сын Агамемнона и Клитемнестры, убивший свою мать.

с известием о триумфе, и на днях мы ожидаем благодарности от сената. Тотчас же после первого выхода Нерона здесь случилось странное обстоятельство: театр обвалился сразу, но тогда, когда люди уже все вышли. Я был на месте происшествия, но не видал, чтоб из-под развалин извлекли хоть один труп. Многие, даже из числа греков, смотрят на это, как на гнев богов за унижение императорской власти, но он, наоборот, утверждает, что здесь проявляется милость богов, которые, очевидно, покровительствуют и его пению, и тем, кто слушает его. Поэтому — жертвы во все храмы и великое благодарение, а для него — новое поощрение ехать в Ахайю. Однако несколько дней тому назад он говорил мне, что боится, что скажет на это римский народ, не взбунтуется ли он, как из-за любви к нему, так и из-за опасения, как бы его не обделили хлебом и не лишили зрелищ во время отсутствия цезаря?

Все-таки отсюда мы идем в Беневент, смотреть на башмачническую роскошь, которую щегольнет перед нами Ватиний, а оттуда, под покровительством божественных братьев Елены¹, в Грецию. Что касается меня, то я заметил одну вещь: когда я нахожусь среди сумасшедших, то сам становлюсь сумасшедшим, и далее более — нахожу некоторую прелесть в безумии. Греция и путешествие с целыми тысячами народу — какое-то триумфальное шествие Вакха среди нимф и вакханок, увенчанных миртами и виноградными листьями, колесницы, запряженные тиграми, цветы, тирсы², венки, крики „*euoe!*“³, музыка, поэзия и рукоплещущая Эллада, — все это хорошо, но мы питаем еще более смелый замысел. Нам хочется создать какую-то восточную сказочную империю, — царство пальм, солнца, поэзии, действительности, обращенной в сон и в непрерывное наслаждение, нам хочется забыть о Риме, а мировое тяготение переместить куда-нибудь между Грецией, Азией и Египтом, жить жизнью не людей, а богов, не знать ничего обыденного, скользнуть в золотых галерах под сенью пурпуровых парусов по Архипелагу, быть Аполлоном, Озирисом и Ваалом в одном лице, краснеть вместе с зарею, золотиться с солнцем, серебриться с луною, царствовать, петь, дремать... И поверишь ли, что я, у которого еще сохранилось на сестерций ума, а на асс здорового размышления, еще позволяю себя увлекать этим фантазиям и потому именно, что они если и не осуществимы, то по крайней мере велики и необыкновенны... Однако, такая сказочная империя была бы чем-нибудь таким, что по прошествии длинных веков показалось бы людям золотым сном. А если Венера не примет обличия какой-нибудь Лигии или даже невольницы Эвники, если ее не украсит искусство, то жизнь ничего не стоит и часто напоминает лицо обезьяны. Но меднобрадый не осуществит своих мечтаний хотя бы потому, что в этом сказочном царстве поэзии и Востока не должно быть места для измены, подлости и смерти, а в Нероне под личиной поэта сидит скверный комедиант, глуповатый кучер и пошлый тиран. И вот мы душим людей, когда они нам помешают каким-нибудь образом. Бедный Торкват Силан теперь уже тень. Он открыл себе жилы несколько дней тому назад. Леканий и Лициний со страхом берутся за консульство, старик Тразея не избегнет смерти, потому что осмеливается быть честным. Тигеллин до сих пор не может добиться

¹ Елена была дочь Юпитера и Леды, сестра Диоскуров — Кастора и Поллукса, которые считались покровителями мореплавателей.

² *Тирс* (*thyrsos*) — жезл, обвитый плющом и виноградной лозой, который носил Бахус и его спутники (*примеч. ред.*).

³ *Euoe!* — восклицание в честь Вакха на посвященных ему празднествах (*примеч. ред.*).

приказа, чтоб я открыл себе жилы. Я еще нужен не только как „*elegantiae arbiter*“, но и как человек, без совета и вкуса которого путешествие в Ахайю могло бы не удался. Все-таки я иногда думаю, что раньше или позже дело тем и кончится, и знаешь ли, что меня больше всего занимает? — именно то, чтобы меднобрадому не достался тот мурринский сосуд¹, который ты знаешь и которым ты восхищаешься. Если в минуту моей смерти ты будешь при мне, я отдам его тебе, а если будешь далеко, то разобью. Но теперь перед нами башмачнический Беневент, олимпийская Греция и Фатум², который для всякого пролагает неизвестный и непредвиденный путь. Будь здоров и найми Кротона, иначе у тебя во второй раз похитят Лигию. Хилонида, когда он не будет нужен тебе, пришли ко мне, где бы я ни находился. Может быть, я сделаю из него другого Ватиния, может быть, консулярные мужи и сенаторы станут дрожать перед ним, как дрожат перед тем героем драгвы. Стоило бы дожидаться такого зрелища. Когда ты найдешь Лигию, дай мне знать, чтоб я принес за вас жертву из двух лебедей и двух голубей в здешнем круглом храме Венеры. Недавно я видел во сне, что Лигия сидит у тебя на коленях и ищет твоих поцелуев. Постарайся, чтоб этот сон был пророческим. Пусть на твоём небе не будет туч, а если и будут, то только цвета и запаха розы. Будь здоров и прощай!»



¹ *Murra* — минерал, какой именно, в точности неизвестно. Полагают, что это плавленый шпат, который бывает бесцветный, розовый, фиолетовый, синий, зеленый и желтый. Из него (именно из крупных кусков, которые редки) готовились драгоценные сосуды, — *murina*. По словам Плиния, Петроний купил один из таких сосудов за 300 талантов (около 400 000 рублей на наши деньги); пред смертью он разбил его, чтоб он не достался Нерону.

² *Fatum* — судьба.



ГЛАВА XIX

Едва Виниций кончил письмо Петрония, как в его библиотеку без всякого оповещения проскользнул Хилон, потому что прислуга получила приказ допускать его во всякое время дня и ночи.

— Да будет божественная мать твоего великодушного предка Энея¹ так же благосклонна к тебе, как был благосклонен ко мне божественный сын Майи!² — сказал он.

— И это значит? — спросил Виниций, вскакивая из-за стола, за которым он сидел.

Хилон поднял голову и ответил:

— Эврика!³

Молодой патриций взволновался так, что долгое время не мог проговорить ни слова.

— Ты видел ее? — наконец сказал он.

— Я видел Урса, господин, и говорил с ним.

— И ты знаешь, где она скрывается?

¹ Эней был сын Анхиза и Венеры. После разрушения Трои он переселился в Италию. Его сын Асканий (по римским сказаниям — Юлий) сделался родоначальником знатнейших римских фамилий.

² Меркурий был сын Зевса и Майи.

³ *Eureka* — греческое слово: «нашел».

— Нет, господин. На моем месте одни из самолюбия дали бы Урсу понять, что оттадали, кто он, другие старались бы выпытать, где он живет, и получили бы или удар кулаком, после которого все земные дела потеряли бы для них значение, или возбудили бы недоверие гиганта и сделали бы то, что девушку сегодня же переселили бы в другое убежище, а я поступил не так. Мне достаточно знать, что Урс работает у мельника вблизи Эмпория, что мельника зовут Демасом, так же, как твоего отпущенника, и мне этого достаточно. Теперь любой твой невольник может утром пойти по следам Урса и открыть его убежище. Я только приношу тебе уверенность, что коль скоро Урс находится здесь, то и божественная Лигия живет в Риме, и, кроме того, известие, что сегодня чуть не наверное она будет в Остриане...

— В Остриане? что это? — перебил Виниций, высказывая намерение сейчас бежать на упомянутое место.

— Это старый *hypogeum*¹ между *Via Salaria* и *Nomentana*. Тот верховный жрец христиан, о котором я говорил тебе и которого ожидали значительно позже, уже приехал и сегодня же ночью будет крестить и поучать на этом кладбище. Они скрываются со своим учением, и хотя до сих пор не было никаких эдиктов, которые запрещали бы его, должны быть осторожны, потому что народ ненавидит их. Сам Урс говорил мне, что все до одного сегодня соберутся в Остриан, потому что каждому хочется слышать и видеть того, кто был первым учеником Христа и кого они зовут Посланныком. А так как у них женщины наравне с мужчинами слушают поучения, то из женщин отсутствовать будет разве только одна Помпония, — та не могла бы объяснить Авлу, поклоннику старых богов, зачем она покидает дом ночью, — Лигия же, которая состоит под покровительством Урса и старшин общины, несомненно пойдет вместе с другими.

Виниций, который до сих пор жил словно в горячке и подкреплял себя только надеждой, теперь, когда эта надежда казалась близкою к осуществлению, вдруг почувствовал такую слабость, какую испытывает человек после непосильного пути, хотя он и приблизился к цели. Хилон видел все и решил воспользоваться этим.

— Господин, твои люди действительно наблюдают за воротами, а христиане должны знать об этом. Но для них ворота не нужны. Тибр также не требует ворот, и хотя по реке до Остриана далеко, для «великого апостола» можно и продлить свою дорогу. Наконец, у них должны быть тысячи способов обходить городские ворота, и я знаю, что они обладают этими способами. В Остриане ты, господин, найдешь Лигию, а если бы даже, чего, впрочем, я не предполагаю, ее не было бы там, — там будет Урс, потому что он обещал мне убить Главка. Он сам говорил, что будет и убьет его там, — слышишь ли ты, благородный трибун? И вот ты или пойдешь вслед за ним и узнаешь, где живет Лигия, или прикажешь своим людям схватить его, как убийцу, и, держа его в руках, извлечешь из него признание, куда он скрыл Лигию. Я свое сделал! Другой сказал бы тебе, что выпил с Урсом десять кантаров² самого дорогого вина, прежде чем добился от него толку, или что проиграл ему тысячу сестерций в *scripta duodecim*³. Я знаю, ты возвратил бы это мне вдвойне, но я хоть раз в жизни...

¹ Кладбище.

² Большая кружка.

³ *Scripta duodecim* — «двенадцать линий». Нам неизвестно, в чем состояла эта игра, по-видимому она была похожа на нашу игру в шашки: играли разноцветными камешками на доске, разделенной двенадцатью перекрещивающимися линиями на 25 клеток.



Апостол Петр

то есть я хотел сказать, что как и всегда в жизни буду честным, ибо утешаю себя мыслью, что, как утверждал великодушный Петроний, твоё великодушие превзойдет все мои издержки и ожидания.

Виниций, как солдат, привык не только справляться с собою в разных положениях, но и действовать. Он и теперь подавил свою временную слабость и сказал:

— Ты не разочаруешься в моем великодушии, но сначала пойдешь со мной в Остриан.

— Я? В Остриан? — переспросил Хилон, который не имел ни малейшего желания идти туда. — Я, благородный трибун, обещал тебе показать Лигию, но не брался похищать ее. Подумай, господин, что случилось бы со мной, если б этот лигийский медведь, растерзав Главка, тотчас же убедился бы, что он растерзал его не совсем справедливо? Не счел ли бы он меня (хотя совершенно неправильно) за виновника совершенного убийства? Памятуй, господин, что чем больше философские способности человека, тем ему труднее отвечать на глупые вопросы невежд; что же я ответил бы ему, если б он спросил у меня, почему я обвинил Главка? Если ты думаешь, что я обманываю тебя, тогда я скажу тебе: заплати мне лишь тогда, когда я укажу тебе дом, в котором живет Лигия, а сегодня излей на меня хоть частицу своей щедрости, ибо если и ты, господин (да сохранят тебя все боги от этого!), подвергнешься какой-нибудь случайности, то я совсем останусь без награды. Твое сердце никогда не вынесло бы этого.

Виниций подошел к шкатулке, стоявшей на мраморном подножии и называемой «*arca*» и, вынув из нее мешок, бросил его Хилону.

— Это «скрупулы», — сказал он, — а когда Лигия будет в моем доме, ты получишь такой же мешок с «авреями»¹.

— Юпитер! — воскликнул Хилон.

Но Виниций нахмурил брови.

— Здесь тебе дадут есть, потом ты отдохнешь. До вечера ты не двинешься отсюда, а когда настанет ночь, будешь сопровождать меня в Остриан.

На лице Хилона с минуту виднелись страх и колебание, но потом он, однако, успокоился и сказал:

— Кто может противостоять тебе, господин! Прими эти слова за доброе пророчество, как принял их наш великий герой² в храме Аммона. Что касается меня, то эти скрупулы перевесили мои предубеждения, не говоря уже о твоей компании, которая для меня составляет верх счастья и наслаждения.

Виниций нетерпеливо перебил его и начал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Из расспросов выяснилось одно, что в эту ночь будет открыто убежище Лигии или ее самое можно будет похитить на обратном пути из Остриана. И при этой мысли Виницием овладевала бешеная радость. Теперь, когда у него была почти уверенность, что он найдет Лигию, и гнев его, и озлобление, которые он питал к ней, исчезли. Именно за эту-то самую радость он и отпустил ей все вины. Он думал только о ней, как о дорогом и желанном существе, и испытывал такое впечатление, как будто она должна была возвратиться из далекого путешествия. Его брала охота призвать

¹ *Scrupulum* или *scripulum* — мелкая золотая монета, равняющаяся третьей части золотого денария — *aureus*.

² Александр Македонский.

невольников и приказать им убрать дом зелеными гирляндами. В эту минуту он не сердился даже на Урса, он готов был простить всем и все. Хилон, к которому до сих пор, несмотря на его услуги, он питал некоторое отвращение, в первый раз показался ему человеком забавным и вместе с тем недюжинным. Благодаря Хилону в его доме сделалось светло, и глаза Виниция и лицо его просветлели. Он снова почувствовал молодость и радость жизни. Прежнее мрачное страдание не давало еще ему достаточного понятия, как сильно он любит Лигию. Он понял это теперь, когда ему блеснула надежда обладать ею. Влечение к ней пробуждало его, как весною пробуждается земля, пригретая солнцем, но страсть его теперь была менее слепа и дика, более нежна и радостна. Он ощущал в себе безграничную энергию и был убежден, что лишь только увидит собственными глазами Лигию, то ее не отнимут у него не только христиане всего мира, но даже и сам цезарь.

Хилон, ободренный его радостью, заговорил снова и начал давать ему советы. По его мнению, дело еще не следовало считать выигранным и необходимо сохранить насколько возможно большую осторожность, без которой все может пропасть. Он заклинал Виниция не похищать Лигию из Остриана. Они должны будут идти туда с капюшонами на головах, с закрытыми лицами и ограничиться наблюдением из какого-нибудь темного угла за всеми присутствующими. Когда он наконец увидит Лигию, самое лучшее будет пойти за нею в некотором отдалении, заметить, в какой дом она вошла, а на другой день на рассвете окружить его невольниками и взять ее уже днем. Так как она заложница и принадлежит, собственно, цезарю, то все это можно сделать без опасения нарушения закона. В случае, если б ее не нашли в Остриане, пусть пойдут вслед за Урсом, и последствия получатся точно такие же. На кладбище с большим количеством людей отправиться нельзя, они легко могут обратить на себя внимание, а тогда христианам нужно будет только погасить все огни, как они сделали это при первом похищении, и рассыпаться или спрятаться в тайниках, известных только им одним. Но вооружиться не мешает, а еще лучше взять с собою двух верных и сильных людей, чтобы в случае необходимости воспользоваться их помощью.

Виниций признал полную справедливость слов Хилона и, вспомнив при этом совет Петрония, отдал приказание, чтоб к нему привели Кротона. Хилон, — он знал всех в Риме, — значительно успокоился, услышав имя знаменитого атлета, нечеловеческой силе которого он дивился не раз, и объявил, что пойдет в Остриан. Мешок, набитый авреями, и в особенности при помощи Кротона, показался ему более легкой добычей.

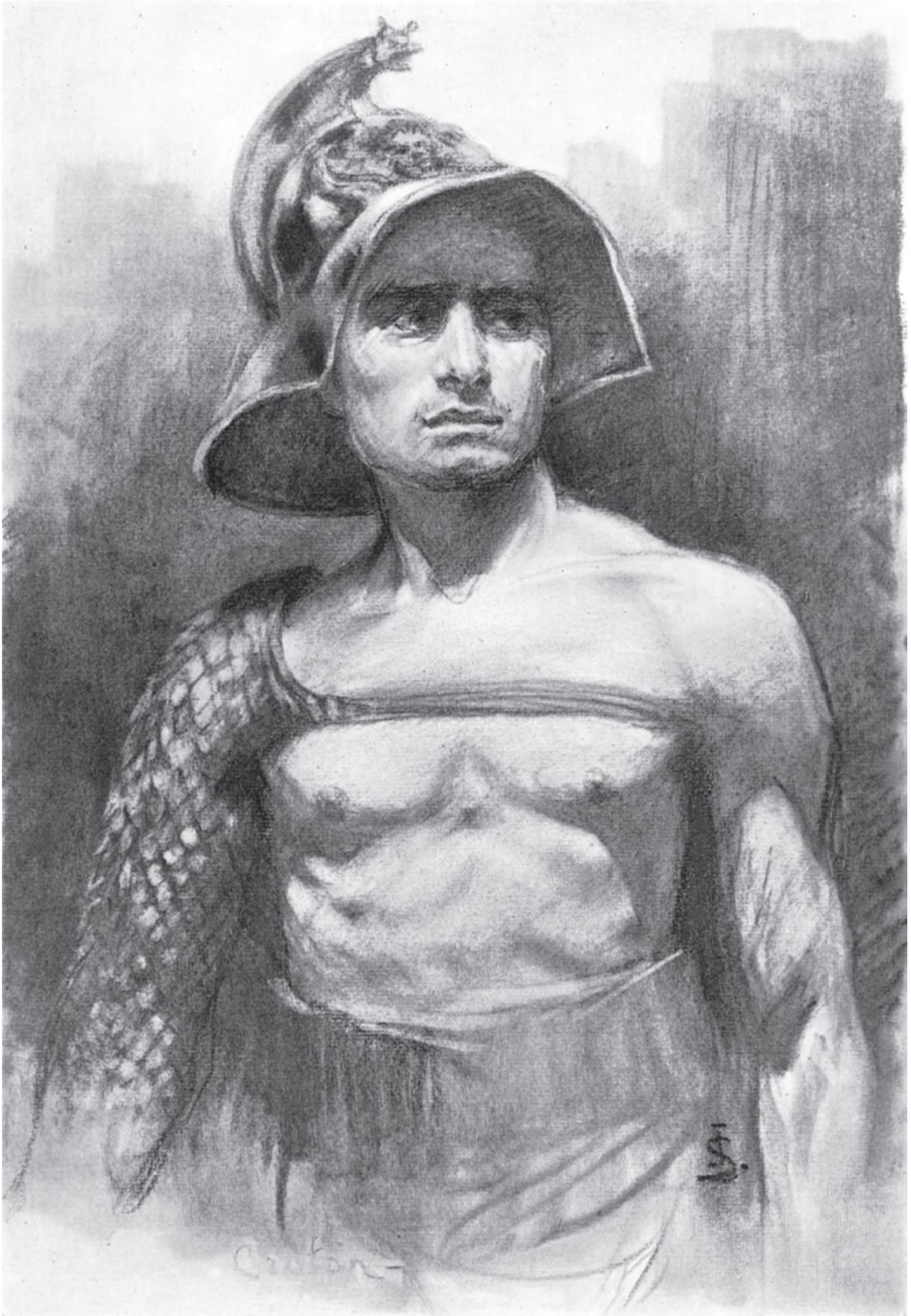
В хорошем расположении духа он уселся за стол, к которому его немного погодя призвал начальник атрия, и во время обеда рассказывал невольникам, как он доставляет господину чудодейственную мазь; достаточно намазать ею копыта самых плохих лошадей, чтоб они оставили позади себя всех других. Приготавливать эту мазь его научил один христианин, потому что христианские старейшины больше знакомы с чарами и чудесами, чем даже фессалийцы, хотя Фессалия славится своими колдуньями. Христиане питают к нему необыкновенное доверие, а почему именно — легко догадается всякий, кто знает, что такое значит рыба. Говоря так, он пристально наблюдал за лицами невольников в надежде открыть между ними христианина и донести об этом Виницию. Но когда эта надежда обманула его, он усердно принялся пить и есть, не щадя похвал повару и уверяя, что постарается купить его у Виниция. Спокойствие Хилона нарушала только одна мысль, что ночью нужно было идти в Остриан,

но он ободрял себя тем, что будет переодет, а товарищами его будут два человека, из которых один по своей силе — божество всего Рима, а другой — патриций и воин высокого звания. «Хотя бы Виниция и открыли, — говорил он самому себе, — они не осмелятся поднять на него руки, а что касается меня, то хитер будет тот, кто увидит хоть конец моего носа».

Он вспомнил свой разговор с работником, и это внушило ему еще большую бодрость. У него не было ни малейшего сомнения, что работник этот — Урс. По рассказам Виниция о тех, которые сопровождали Лигию из дворца, Хилон знал о необыкновенной силе лигийца, а так как он расспрашивал Эвриция только о людях исключительно сильных, то не было ничего мудреного, что ему указали на Урса. Дальше, замешательство и гнев работника при упоминании о Виниции и Лигии не позволяли сомневаться, что эти лица представляют для него особое значение. Работник упоминал о покаянии за убийство человека, а Урс убил Атачина; наконец, приметы работника совершенно соответствовали тому, что Виниций говорил о лигийце. Одно только измененное имя могло возбуждать сомнение, но Хилон уже знал, что христиане при крещении часто принимают новые имена.

«Если Урс убьет Главка, — говорил себе Хилон, — то будет хорошо, а не убьет, то это также добрый признак, потому что окажется, как дорого стоит христианину убийство. Я представил этого Главка как родного сына Иуды и предателя всех христиан; я был так красноречив, что даже камень растрогался бы и обещал бы свалиться на голову Главка, но при всем этом едва склонил этого лигийского медведя, чтоб он обещал мне наложить на него свою лапу... Он колебался, не хотел, рассказывал о своих угрызениях и покаянии. Очевидно, в их среде это не в обычае... Свои обиды нужно прощать, за чужие мстить не особенно дозволяется, — *ergo*, рассуди, Хилон, что может угрожать тебе? Главку нельзя отомстить тебе... Урс, если не убьет Главка за такое большое преступление, как измена всему христианству, то тем более не убьет тебя за такое малое, как предание на смерть одного христианина. Наконец, если я раз покажу этому похотливому дикому голубю гнездо его горлицы, то я умываю руки и возвращаюсь назад в Неаполь. Христиане говорят о каком-то умывании рук, очевидно, это способ, которым, если имеешь дело с ними, можно покончить все. Какие добрые люди эти христиане, а как дурно говорят о них! О, боги, такова-то справедливость на свете! Я люблю это учение за то, что оно не позволяет убийства. Но если оно не позволяет убивать, то, вероятно, не позволяет ни красть, ни обманывать, ни свидетельствовать ложно, а поэтому я не скажу, чтоб ему легко было следовать. Очевидно, оно не только учит достойно умирать, как это делают стоики, но и достойно жить. Если когда-нибудь я разбогатею, буду иметь такой дом, как этот, и столько же невольников, то, может быть, сделаюсь христианином на столько времени, пока это будет мне на руку. Богатый может позволить себе все, даже добродетель... Да, это — религия богатых, и я не понимаю, каким образом она насчитывает столько бедных последователей. Что им из этого прибудет и зачем они позволяют добродетели связывать себе руки? Я должен когда-нибудь подумать об этом. А теперь, слава тебе, Гермес, что ты помог мне отыскать этого барсука. Но если ты сделал это ради двух телиц, белых однолеток с позолоченными рогами, то я не узнаю тебя. Стыдись, аргусоубийца!..¹

¹ Меркурий убил стоглазого Аргуса, которому Юнона поручила смотреть за возлюбленную Зевса — *Io*.



Кротон

Такой мудрый бог, и заранее не предвидел, что ничего не получит! Я обещаю тебе за это свою признательность, а если ты моей признательности предпочитаешь двух скотов, тогда сам ты — третий и, в лучшем случае, должен быть пастухом, а не богом. Берегись, однако, чтоб я, как философ, не довел до сведения людей, что тебя совсем не существует, — тогда все перестали бы приносить тебе жертвы. С философом лучше жить в дружбе».

Разговаривая таким образом с собою и с Гермесом, Хилон вытянулся на скамье, положил себе под голову плащ и, когда невольники убрали посуду, заснул. Проснулся он или, вернее, разбудили его лишь тогда, когда пришел Кротон. Тогда Хилон пошел в атрий и с удовольствием начал любоваться могучею фигурой ланисты, *ex*-гладиатора¹, который, казалось, своею громадностью наполнял весь атрий. Кротон уже условился в цене и в эту минуту говорил Виницию:

— Клянусь Геркулесом! Хорошо, господин, что ты сегодня призвал меня, — завтра я отправляюсь в Беневент, куда меня пригласил благородный Ватиний, чтоб я в присутствии цезаря состязался с неким Сифаксом, самым сильным негром, какого когда-либо породила Африка. Представляешь ли ты себе, господин, как его позвоночный хребет хрустнет в моих руках, но, кроме того, я размножу его черную челядь.

— Я уверен, что ты так сделаешь, Кротон, — ответил Виниций.

— И превосходно поступишь, — добавил Хилон. — Да!.. Кроме того, размножи ему челюсть. Это хорошая мысль и подвиг, достойный тебя. Только умастись маслом, мой Геркулес, и опояшься, — знай, что ты можешь иметь дело с настоящим Какусом². Человек, оберегающий девушку, которая требуется достойному Виницию, обладает действительно исключительной силой.

Хилон говорил так для возбуждения амбиции Кротона, но Виниций присоединился к нему:

— Да, — сказал он, — я не видал его, но мне говорили, что, схватив быка за рога, он может повести его, куда хочет.

— Ой! — воскликнул Хилон, который не воображал, чтоб Урс мог быть так силен.

Но Кротон презрительно улыбнулся.

— Я берусь, достойный господин, — сказал он, — схватить вот этою рукой кого ты мне прикажешь, а другою защищаться от семерых таких лигийцев, и принести к тебе в дом девушку, хотя бы все римские христиане гнались за мной, как калабрийские³ волки. Если я не исполню этого, я позволяю побить себя палками вот на этом импавуии.

— Не позволяй ему этого, господин! — воскликнул Хилон. — Начнут нас угощать камнями, а на что тогда пригодится его сила? Не лучше ли извлечь девушку из дома и не обрезать ни ее, ни себя на гибель?

— Так и должно быть, Кротон, — сказал Виниций.

— Твои деньги, твоя воля! Только помни, господин, что завтра я еду в Беневент.

— У меня пятьсот невольников в одном Риме, — ответил Виниций.

¹ *Ex* — экс-, т. е. «отставной», «бывший» (*примеч. ред.*).

² *Cacus* — мифический великан, укравший у Геркулеса часть его стада и за то убитый им.

³ *Калабрия* — область на юго-востоке Италии (*примеч. ред.*).

Он сделал знак, чтобы все удалились, а сам отправился в библиотеку, сел за стол и написал Петронию следующее:

«Хилон нашел Лигию. Сегодня вечером я отправляюсь вместе с ним и Кротонном в Остриан и похищу ее или оттуда, или завтра из дома. Да изольют на тебя боги все блага! Будь здоров, *carissime*, — радость не позволяет мне писать больше».

И, положив тростник, он зашагал по комнате быстрыми шагами. Кроме радости, которая заливала его душу, его снедало нетерпение. Он говорил себе, что завтра Лигия будет уже в этом доме, и не знал, как поступить с нею, хотя и чувствовал, что если она захочет любить его, то он будет ее слугою. Он вспомнил уверения Актеи, что Лигия любит его, и волновался до глубины души. Значит, дело только в том, чтобы победить какой-то девичий стыд и устранить требования, которые, очевидно, предъявляет христианское учение? Но если это так, то раз Лигия будет в его доме и уступит убеждению или силе, то должна будет сказать себе: «Свершилось!» — и потом уже будет снисходительнее.



Приход Хилона прервал течение радостных мыслей Виниция.

— Господин, — сказал грек, — мне вот что еще пришло в голову: а ну как у христиан есть какой-нибудь пароль, какие-нибудь тессеры¹, без которых в Остриан никого не пропустят? Я знаю, что так бывает в молитвенных домах, и достал такую тессеру у Эвриция. Позволь мне пойти к нему, расспросить поподробнее и узнать пароль, если это окажется необходимым.

— Хорошо, благородный мудрец, — ответил весело Виниций, — ты говоришь как человек рассудительный, и тебе за это следует похвала. Ты пойдешь к Эврицию или куда тебе будет угодно, но для верности оставишь вон на том столе мешок, который ты получил сегодня.

Хилон, который всегда неохотно расставался с деньгами, поморщился, но исполнил приказание Виниция и ушел. От Карин до цирка, возле которого находилась лавочка Эвриция, было не особенно далеко, и поэтому грек возвратился еще задолго до вечера.

— Вот знаки, господин. Без них нас не пропустили бы. Я расспросил подробно о дороге и вместе с тем сказал Эврицию, что знаки нужны только для моих друзей, а сам я не пойду, — для меня, старика, этот путь чересчур далек, — да, наконец, я завтра увижу великого апостола, который повторит мне лучшие места из своей проповеди.

— Как не будешь? Ты должен идти! — сказал Виниций.

— Я знаю, что должен, но пойду переодетый, и вам советую то же, иначе мы можем спугнуть птицу.

Действительно, они вскоре начали собираться, потому что на дворе уже темнело. Взяли они галльские плащи с капюшонами, взяли фонари; Виниций вооружился сам и вооружил товарищей короткими кривыми ножами, а Хилон надел парик, который купил по дороге от Эвриция. Нужно было торопиться, чтобы дойти до отдаленных Номентанских ворот, прежде чем их закроют.

¹ *Tessera* — дощечка, на которой писали пароль, раздаваемый солдатам.



ГЛАВА XX

Дорога Виниция лежала через *Vicus Patricius*, вдоль Виминала¹, к Виминальским воротам мимо площади, на которой впоследствии Диоклетиан возвел великолепные бани. Виниций и его спутники миновали остатки стены Сервия Туллия и почти уже пустыми переулками дошли до Номентанской дороги, а затем, свернув налево к Саларии², очутились среди холмов, усеянных кладбищами и служивших для добычания песка. Тем временем уже совсем стемнело, а так как луна еще не взошла, то Виницию довольно трудно было бы отыскивать дорогу, если бы, согласно предсказанию Хилона, ее не указывали сами христиане. Действительно, и направо, и налево, и впереди виднелись темные фигуры, осторожно приближающиеся к песчаным пригоркам. Одни несли фонари, однако скрывая их по возможности под плащами, другие, знающие лучше дорогу, шли без огня. Опытный солдатский глаз Виниция отличал по движениям молодых мужчин от стариков, плетущихся при помощи палки, и от женщин, старательно закутанных в длинные стóлы. Редкие прохожие и крестьяне, выезжающие из города, очевидно, принимали этих ночных путников за рабочих,

¹ См. комментарий на с. 329 (примеч. ред.).

² См. комментарий на с. 140 (примеч. ред.).

направляющихся к аренам, или за членов погребальных братств, которые совершали свои обрядовые агапы¹ ночью. Но по мере того как молодой патриций и его товарищи подвигались вперед, вокруг них мелькало все больше огоньков, и число людей увеличивалось. Некоторые из них вполголоса пели песни, которые Виницию представлялись преисполненными скорбью. По временам его ухо улавливало отдельные слова или целую фразу, как, например: «Восстани спящий!», «Восстани из мертвых!» Имя Христа повторялось и женщинами, и мужчинами, но Виниций мало обращал внимания на слова; в голову ему пришла мысль, что, может быть, в числе этих темных фигур находится Лигия. Иные, проходя мимо, говорили «Мир с вами» или «Слава Христу», а Виниция охватывало беспокойство, и сердце его начинало биться сильнее, — ему казалось, что он слышит голос Лигии. Сколь-нибудь подходящая фигура сбивала его с толку и, только удостоверившись в своих ошибках, он перестал доверять глазам.

Дорога казалась ему длинной. Окрестности он знал хорошо, но в темноте не мог разобраться в них. Каждую минуту им попадались то какие-то узкие проходы, то части стен, то постройки, и Виниций не помнил, чтобы видел это когда-нибудь возле города. Наконец край луны показался из громады туч и осветил все место лучше слабых фонарей. Вдали что-то засветилось, словно костер или походный факел. Виниций наклонился к Хилону и спросил, не Остриан ли это?

Хилон, на которого ночь, отдаление от города и эти фигуры, похожие на видения, очевидно, производили сильное впечатление, ответил немного неверным голосом:

— Не знаю, господин, я никогда не бывал в Остриане. Но они могли бы славить Христа где-нибудь поближе к городу.

И, чувствуя потребность поговорить и подкрепить свою отвагу, он добавил:

— Они сходятся, словно разбойники, а ведь убивать им не дозволяется... Не мог же этот лигиец так бессовестно обмануть меня.

Виниция, несмотря на то, что он все время думал о Лигии, также удивила осторожность и таинственность, с которой собираются христиане для того, чтобы слушать поучения своего верховного жреца, и он ответил:

— Эта религия, как и все другие, насчитывает между нами много своих поклонников, но христиане — еврейская секта. Зачем они собираются здесь, когда в Загиб-ской части города есть еврейские храмы, где евреи среди белого дня совершают свои жертвоприношения?

— Нет, господин. Евреи-то и есть самые ожесточенные враги христиан. Мне говорили, что уже при нынешнем императоре дело чуть не дошло до войны между ними. Цезарю Клавдию так надоели эти ссоры, что он изгнал всех евреев, хотя теперь этот эдикт отменен. Но христиане все-таки скрываются от евреев и от народа, который, как тебе известно, подозревает их в преступлениях и ненавидит.

После минутного молчания Хилон, страх которого увеличивался по мере удаления от городских ворот, сказал еще:

— Возвращаясь от Эвриция, я взял у одного цирюльника парик и засунул себе в ноздри два бобовых зерна. Меня не должны узнать, но если и узнают, то не убьют. Это люди не злые. Это даже очень добрые люди, которых я люблю и ценю.

— Не привлекай их к себе преждевременными похвалами, — ответил Виниций.

¹ *Agape* — «вечера любви». Так назывались пиршества для бедных у древних христиан.

Они теперь вошли в узкий овраг, точно заключенный между двумя окопами, через которые был переброшен акведук¹. В это время луна вышла из-за туч, и Виниций в конце оврага увидел стену, обильно покрытую плющом, осеребренным светом месяца. То был Остриан.

Сердце молодого патриция забилося чаще.

У ворот два фоссора² отбирали пропускные знаки. Через минуту Виниций и его товарищи очутились на довольно обширном пространстве, со всех сторон огражденном стеною. Кое-где виднелись памятники, а в середине находился собственно *hypogeum*, или крипта³, нижнею частью своей лежащая под поверхностью почвы. В крипте, собственно, и заключались могилы. Перед входом в нее шумел фонтан. Было видно, что большое число людей не в состоянии поместиться в самом гипогее. Виниций легко догадался, что обряд будет совершаться под открытым небом, на дворе, где вскоре собралась многочисленная толпа. Куда ни кинь глазом, фонари и фонари, хотя много народу пришло сюда без огня. Людей с открытыми головами было немного, большинство из опасения измены или боясь ночного холода осталось в капюшонах, и Виниций со страхом подумал, что если так будет и до конца, то в этой толпе при слабом свете ему невозможно будет распознать Лигию.

Но вдруг возле крипты вспыхнуло несколько смоляных факелов. Стало виднее. Толпа запела какой-то странный гимн, сначала тихо, потом все громче. Виниций никогда в жизни не слышал такой песни. Та же самая скорбь, которая слышалась в пении отдельных людей, с которыми он сталкивался на дороге к кладбищу, отозвалась и теперь в этом гимне, только гораздо выразительнее и сильнее, а в конце стала такою всеобъемлющей и могучей, что как будто бы вместе с людьми этою скорбью прониклось и кладбище, и холмы, и овраги. Головы, поднятые кверху, казалось, видели кого-то там, высоко-высоко, руки призывали кого-то снизойти на землю. Когда песнь смолкла, наступила минута ожидания, такая трогательная, что Виниций и его товарищи невольно обратили глаза к звездам, как бы в ожидании, что случится нечто необычайное и что кто-нибудь действительно снизойдет на землю. Виниций в Малой Азии, в Египте и в самом Риме видел множество самых разнообразных храмов, познакомился со множеством разных религий и слышал множество песен, но теперь в первый раз увидел людей, призывающих песней божество не для исполнения какого-нибудь установленного ритуала, но от чистого сердца, с такою тоской по этому божеству, какую могут питать дети по своему отцу или матери. Нужно было быть слепым, чтоб не заметить, что эти люди не только чтили своего Бога, но и любили Его всею душой, а этого Виниций не видал до сих пор ни в какой стране, ни при каких обрядах, ни в каких храмах. В Риме и Греции те, которые еще воздавали честь своим богам, делали это из боязни или из желания заручиться их помощью, но никому и в голову не приходило любить их.

Хотя мысль Виниция была занята Лигией и внимание устремлялось на то, чтоб отыскать ее среди толпы, но он не мог, однако, не видеть странных и необычайных вещей, которые творились вокруг него. Тем временем подбросили еще несколько

¹ *Aquaeductus* — водопровод.

² *Fossor* — землекоп.

³ *Krypta* — подземная галерея в церкви; в первые века христианства крипты служили убежищем для гонимых христиан, а также для погребения мертвых (*примеч. ред.*).

факелов в костер, который облил красным светом кладбище и затмил огоньки фонарей. И в эту же минуту из гипогея вышел старец в плаще с капюшоном, но с открытою головой, и вступил на камень, лежащий возле костра.

Толпа всколыхнулась. Около Виниция послышались голоса: «Петр! Петр!»... Одни упали на колени, другие простирали к нему руки. Наступила тишина, такая глубокая, что было слышно падение всякого уголька в костре, отдаленный стук колес на Номентанской дороге и шум ветра в ветвях пиний, которые росли возле кладбища.

Хилон пододвинулся к Виницию и шепнул:

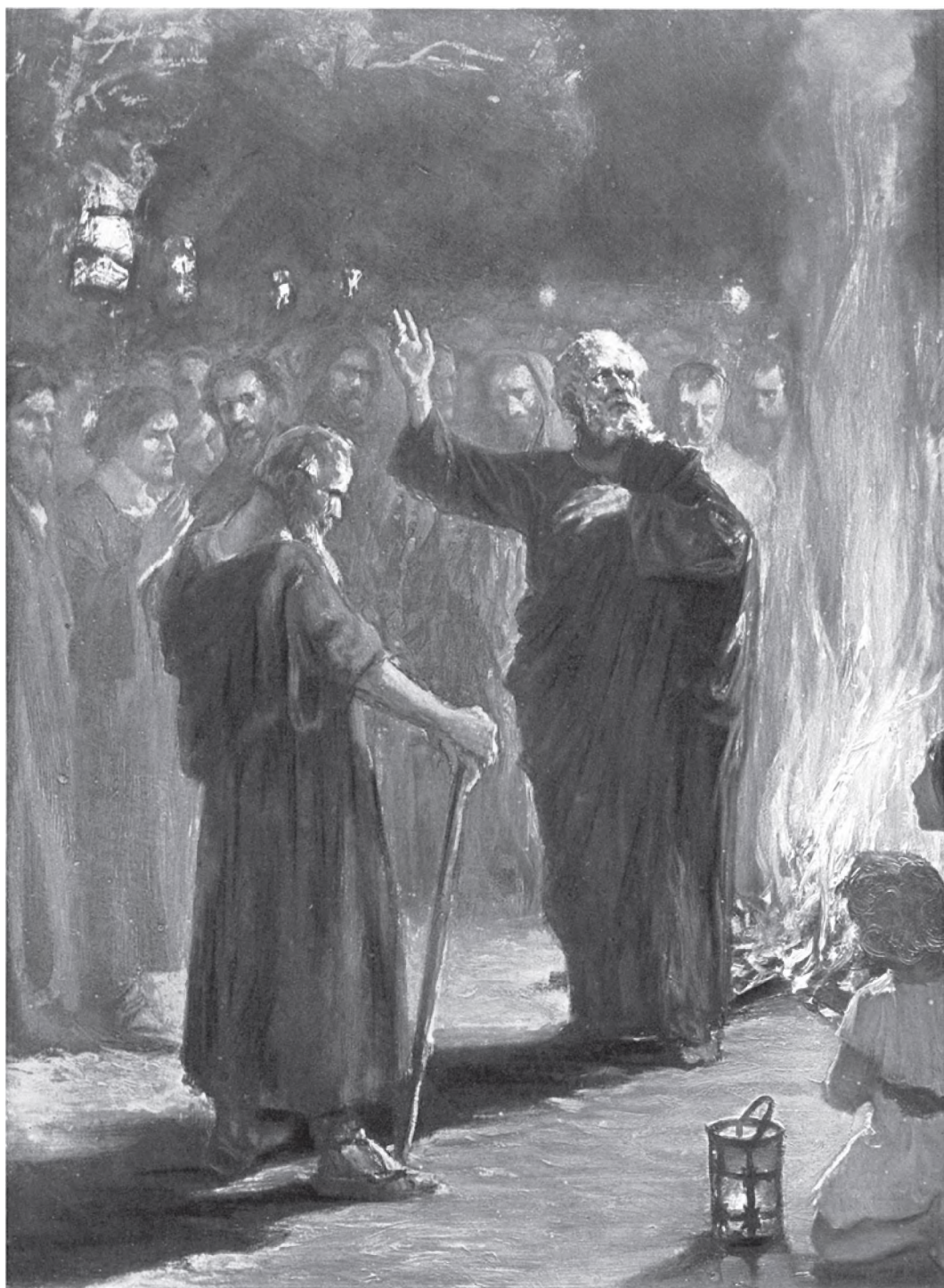
— Это он, первый ученик Христоса — рыбак!

Старец поднял руку кверху и знаменем креста осенил собравшихся, которые на этот раз все опустили на колени. Товарищи Виниция и он сам, не желая выдавать себя, последовали общему примеру. Молодой человек не мог справляться со своими впечатлениями, — ему казалось, что фигура, которую он видит перед собою, в одно и то же время и проста, и необыкновенна, и даже более, что эта исключительность и истекает именно от ее простоты. У старца не было ни митры, ни дубового венка на голове, ни пальмы в руке, ни золотой таблицы на груди, ни белой или усеянной звездами одежды, — словом, никаких признаков, которыми отличались жрецы Востока, Египта, Греции или римские фламины. И снова Виниция поразило то, что почувствовал он, услышав христианские песни, ибо и этот «рыбак» показался ему не главным жрецом, искусившимся в разных церемониях, но как бы простым, престарелым и необычайно добросовестным свидетелем, который пришел издалека, чтобы поведать какую-то великую правду, которую он видел, к которой прикасался, в которую уверовал, как верят в очевидность, и которую полюбил, собственно, потому, что уверовал в нее. И в его лице виднелась такая сила убеждения, которою обладает только правда. И Виниций, который, как скептик, не хотел поддаваться обаянию старца, подчинился, однако, какому-то лихорадочному любопытству, что выльется из уст ученика таинственного «Христоса», и что это за учение, которое признают Лигия и Помпония Грецина.

Тем временем Петр начал говорить, и сначала говорил как отец, который наставляет детей и учит их, как они должны жить. Он приказывал им, чтоб они отреклись от излишеств и роскоши, любили бы нужду, чистые обычаи, правду, терпеливо сносили бы несправедливость и преследования, слушались старших и властей, остерегались измены, обмана и осуждения и в конце концов давали бы примеры не только друг другу, но и язычникам. Виниция, для которого хорошо было только то, что могло возратить ему Лигию, а дурно все, что становилось между ними, как преграда, уязвили и разгневали эти советы. Ему показалось, что, предписывая чистоту и борьбу со страстями, старец этим самым не только осмеливается осуждать его любовь, но восстанавливает Лигию против него и утверждает ее в ее упорстве. Он понял, что если она находится среди собравшихся, внимает этим словам и принимает их к сердцу, то в эту минуту должна думать о нем, как о враге ее религии и нечестивце. При этой мысли им овладела злоба. «Что нового услышал я? — говорил он самому себе. — Так вот она, незнакомая религия! Всякий слышал, всякий знает это. Ведь убожество и ограничение потребностей предписывают и циники; ведь добродетель предписывал и Сократ, как нечто старое, но хорошее; ведь даже первый стоик, Сенека, обладающий пятьюстами столов из цитрового дерева, прославляет воздержность, предписывает правду, терпеливость при противоречиях, твердость в несчастии...

Все это — как слежавшийся хлеб, который едят мыши, а люди не хотят есть, потому что он сделался затхлым от старости». И наряду с гневом он испытывал что-то вроде разочарования; он ожидал открытия каких-то неведомых тайн, думал, что, по крайней мере, услышит какого-нибудь риторика, приводящего в восторг своим красноречием, а теперь долетали до его слуха слова удивительно простые, лишённые всяких украшений. Его удивляли только тишина и сосредоточенность толпы. А старец говорил заслушавшимся людям, что они должны быть добры, тихи, справедливы, убоги и чисты не для того, чтобы пользоваться покоем при жизни, а для того, чтобы после смерти вечно жить во Христе, — в таком веселье, в такой славе, расцвете и радости, до которых никто на земле не доходил. И тут Виниций, хотя враждебно настроенный, не мог не заметить, что, однако, есть разница между учением старца и тем, что говорили циники, стоики или другие философы: те рекомендовали добро и добродетель как вещи единственно разумные и прекрасные в жизни, а этот обещал за них бессмертие, и не какое-то жалкое бессмертие под землей, в скуке, ничтожестве и пустоте, а великолепное, чуть ли не равное бытию богов. Притом он говорил об этом бессмертии как о вещи совершенно верной, и при такой-то вере добродетель становилась безгранично ценной, а жизненные невзгоды — чем-то несказанно ничтожным, ибо пострадать временно для вечного счастья — дело совсем другое, чем страдать только потому, что таков уж порядок природы. Петр говорил дальше, что добродетель и правду нужно любить ради их самих, потому что Бог — это наивысшее, предвечное добро и предвечное благо, и кто любит их, тот любит Бога и благодаря этому становится его возлюбленным чадом. Виниций не понимал этого хорошенько, но знал из слов, которые когда-то Помпония Грецина сказала Петронии, что этот Бог, по мнению христиан, Един и Всемогущ. А теперь он услышал еще, что Он — наивысшее добро и правда, и подумал, что в сравнении с таким Демиургом¹ Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста и Венера представлялись бы ничтожною и буйною шайкой, в которой они бесчинствуют все вместе и каждый отдельно на свой счет. Но еще большее удивление овладело молодым человеком, когда старец начал поучать, что Бог — это наивысшая любовь, и кто любит людей, тот исполняет его главную заповедь. Но недостаточно любить людей своего племени, ибо Богочеловек пролил свою кровь за всех и среди язычников также нашел своих избранных, как сотник Корнелий; и недостаточно любить тех, которые делают нам добро, ибо Христос простил и евреям, которые предали его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его ко кресту, — значит, людям, которые оказывают нам несправедливость, не только нужно прощать, но и любить их и платить им добром за зло; и недостаточно любить добрых, — нужно любить и злых, потому что только любовью можно изгнать из них злобу... Хилон при этих словах подумал, что его труды пошли прахом, что Урс ни за что на свете не отважится убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-нибудь другую. Зато он тотчас же утешился другим выводом, извлеченным из учения старца, — именно, что и Главк не убьет его, хотя бы открыл и узнал его. А Виниций уже не думал, что в словах старца не заключается ничего нового, но с удивлением задавал себе вопрос: что это за Бог? что это за учение и что это за народ? Все, что он слышал, просто-напросто не вмещалось в его голову. Для него это представлялось какою-то неслыханною новизной понятий. Он чувствовал, что если б он, например, захотел следовать этому учению, то должен

¹ Бог Творец.





Тем временем Петр начал говорить, и сначала говорил как отец, который наставляет детей и учит их, как они должны жить.

был бы сложить на костер все свои мысли, привычки, характер, все выработанные до сих пор особенности, сжечь это в пепел, преисполниться какою-то совершенно отличною жизнью и вместить в себя совершенно новую душу. Учение, которое повелевало ему любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галлов и бриттов, прощать врагам, платить им добром за зло и любить их, показалось ему безумным, но одновременно с этим он испытывал чувство, что в самом этом безумии кроется что-то более могущественное, чем во всех известных до сих пор философских учениях. Он думал, что по милости своего безумия эта религия неосуществима, а по милости своей неосуществимости божественна. Он в душе отвергал ее, но чувствовал, что от нее, как от луга, поросшего нардом, разносится упоительное благоухание, и кто вдохнет его, тот должен, как это творится в стране лотофагов¹, забыть обо всем другом и изнывать только о нем. Ему казалось, что в этой религии нет ничего действительного и вместе с тем что действительность в сопоставлении с нею представляется чем-то таким ничтожным, что на ней не стоит даже останавливать мысли. Перед ним открылись какие-то горизонты, о которых он и не догадывался раньше, какие-то безграничные пространства, какие-то необъятные тучи. Это кладбище начинало производить на него впечатление сборища сумасшедших, но также и места таинственного и страшного, где, как на каком-то мистическом ложе, родится что-то такое, чего еще до сих пор не было в мире. Он уяснил себе все, что старец с первой минуты говорил о жизни, правде, любви, о Боге, и мысли его были ослеплены блеском, как бывают ослеплены глаза от непрестанной молнии. Как обыкновенные люди, жизнь которых превратилась в одну страсть, он смотрел на все сквозь свою любовь к Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно, что если Лигия на кладбище, если она признает это учение, если слушает и чувствует слова старца, то никогда не сделается любовницей Виниция.

И в первый раз с тех пор, как он познакомился с нею в доме Авла, Виниций почувствовал, что если б и нашел ее, то ничего не найдет для себя. До сих пор ничего подобного не приходило ему в голову, да и теперь он не мог дать себе в этом отчета, — здесь было не столько ясное понятие, сколько смутное предвкушение какой-то невознаградимой утраты и какого-то несчастья. В нем проснулось беспокойство, которое тотчас же сменилось бурей гнева против христиан вообще и против старца в особенности. Рыбак, которого он сначала считал таким простым человеком, теперь внушал ему чуть не боязнь и казался каким-то таинственным фатумом, неумолимо и вместе с тем трагически решающим его судьбу.

Фоссор незаметно снова подбросил несколько факелов в огонь, ветер перестал шуметь в ветвях пиний, огонь поднимался прямо, стройным столбом, к звездам, искрящимся на прояснившемся небе, и старец, упомянув о смерти Христа, начал говорить лишь о нем. Все затаили дыхание в груди, и тишина сделалась еще более глубокою, так что почти можно было слышать биение сердец. Этот человек *видел* и рассказывал, как рассказывает тот, в памяти которого так запечатлелась каждая минута, что достаточно ему закрыть глаза, чтобы видеть это. Он говорил, как, возвратившись от Креста, они с Иоанном просидели два дня без сна, без пищи, в уручении, горе и тревоге, в сомнении, обхватив голову руками и обмениваясь мыслями о том, что *он* умер! Ах, как было тяжело, как тяжело! Уже проснулся третий день и свет озарил стены, а они оба с Иоанном все сидели без помощи и надежды. Как только сон овладевал ими

¹ *Lotophagi* — народ в Африке, упоминаемый у Гомера.

(потому что и ночь перед страданиями они провели без сна), они просыпались и снова начинали горевать. Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина, задыхающаяся, с распутившимися волосами и с криком: «Господа взяли!» Они, услышав это, вскочили и побежали. Иоанн, — он моложе, — прибежал первый, увидал пустую могилу и не смел войти. Лишь только когда ко входу собрались все трое, он, говорящий это, вошел, увидал на камне пелены, но тела не нашел.

Тогда на них напал страх, ибо они думали, что тело Христа похитили первосвященники, и оба возвратились домой еще в большем удручении. Потом подошли другие ученики и принялись плакать, чтоб их легче услышал Господь сил¹, то все вместе, то по очереди. В них замер дух, они надеялись, что Учитель искупит Израиля, а был уже третий день, как он умер, и они не знали, зачем Отец оставил Сына, и желали бы не видеть дня и умереть, — так тяжело было это время.

Воспоминание об этих страшных минутах еще и теперь выжало две слезы из очей старца, и при блеске огня было хорошо видно, как они стекали по седой бороде. Старая голова, лишенная волос, затряслась, и голос замер в его груди. Вениций сказал самому себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею!» — а простосердечная толпа вся была охвачена горем. Не раз они слышали о страданиях Христа, им было известно, что потом горе сменилось радостью, но теперь рассказывал апостол, который *видел* это, и под сильным впечатлением слушатели старца ломали руки, рыдали или били себя в грудь. Но мало-помалу толпа успокоилась, желание слушать продолжение рассказа превозмогло. Старец закрыл глаза, как бы для того, чтоб яснее видеть в душе отдаленные события.

«Когда мы были в таком смятении, вбежала снова Мария из Магдалы, крича, что видела Господа. Глаза ее были так поражены блеском, что она думала, что это садовник, но он сказал: „Мария!“ — тогда она крикнула: „Раввун!“² — и упала к его ногам, а он приказал ей идти к его ученикам, а потом сделался невидимым. Но они, ученики, не верили ей, а когда она плакала от радости, одни осуждали ее, другие думали, что горе омрачило ее ум, ибо она говорила также, что в гробе видела ангелов, а они, ученики, придя во второй раз, нашли гроб пустым. Потом вечером пришел Клеопа, который вместе с другими ходил в Эммаус, и все возвратились тотчас же и сказали: „Воистину воскрес Господь!“ И они собрались в доме, двери которого были заперты из опасения от иудеев. Тогда он предстал посреди их, хотя двери не скрипнули, а когда они испугались, сказал им: „Мир вам“.

И я зрел его, как зрели все, а он был аки свет, аки блаженство сердец наших, ибо мы уверовали, что он воскрес, и что моря иссохнут, горы рассыплются в прах, а его слава не пройдет.

А через восемь дней Фома Дидим вкладывал пальцы в его раны и прикасался к его боку, а потом пал к его ногам и воскликнул: „Господь мой и Бог мой!“

¹ Т. е. Господь Воинств, Саваоф (*примеч. ред.*).

² *Раввун, равви* — буквально: «господин мой», «учитель»; почетный титул, даваемый иудеями известным учителям и законникам (*примеч. ред.*).

Иисус ответил ему: „Ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не выдавшие и уверовавшие“. И эти слова мы слышали, и очи наши смотрели на него, ибо он был между нами».

Виниций слушал, и с ним творилось что-то странное. На время он забыл, где он, начал утрачивать представление о действительности, чувство меры, способность рассуждать. Он стоял перед лицом двух противоположностей. Он не мог поверить в то, что говорил старец, и чувствовал, что нужно быть слепым и отказаться от собственного разума, чтобы допустить, что этот человек, который говорил: «Я видел», — лгал. Было что-то особенное в его волнении, в его слезах, во всей его фигуре и подробностях событий, о которых он рассказывал, и это делало невозможным всякое подозрение. По временам Виницию казалось, что он спит, но кругом себя он видел притихшую толпу; копоть фонарей достигала его обоняния; дальше горели факелы, а сбоку, на камне, стоял человек старый, близкий к гробу, с трясущеюся головой, и этот старец, подтверждая свое свидетельство, повторял: «Я видел!»

И он рассказал все, вплоть до вознесения. По временам он переводил дух, потому что говорил очень подробно, но чувствовалось, что каждая, самая мельчайшая подробность отпечатлелась в его памяти, как на камне. Тех, которые слушали его, охватывало упоение. Все сбросили со своих голов капюшоны, чтобы слышать лучше и не проронить ни одного слова, которое было для них превыше всякой цены. Им казалось, что какая-то нечеловеческая сила переносит их в Галилею, что они вместе с учениками ходят по тамошним лесам и вдоль рек, что это кладбище преобразуется в Тивериадское озеро, а на берегу, окутанный утренним туманом, стоит Христос, — так, как стоял тогда, когда Иоанн, смотря на него из ладьи, сказал: «Господь!» — а Петр бросился вплавать, чтобы скорее припасть к возлюбленным ногам. На лицах присутствующих отражался восторг без границ, и забвение жизни, и счастье, и неизмеримая любовь. Было ясно, что во время рассказа Петра многим представлялись видения, а когда он начал говорить, как в минуту вознесения облака начали спускаться под ноги Спасителя, облекать его, скрывать от очей апостолов, все головы невольно поднялись к небу, и наступила минута ожидания, как будто бы эти люди надеялись увидеть его, — надеялись, что он снова снизойдет с небесных лугов, чтобы посмотреть, как старый апостол пасет порученных ему овец, и благословить его и стадо.

И в эту минуту для этих людей не было Рима, не было безумного цезаря, не было храмов, богов, язычников, — был только Христос, который наполнял землю, море, небо, — весь мир.

В отдаленных домах, разбросанных вдоль Номентанской дороги, петухи уже прокричали полночь. В это время Хилон дернул Виниция за край плаща и шепнул:

— Господин, там, недалеко от старца, я вижу Урбана, а рядом с ним какую-то девушку.

Виниций очнулся, словно от сна, и, посмотрев по направлению, указанному греком, увидал Литию.



ГЛАВА XXI

При виде Лигии в молодом патриции задрожала каждая капля крови. Он забыл о толпе, о старце, о странных событиях, о которых он только что слышал, и видел перед собою только ее одну. Наконец-то, после всех усилий, после долгих дней беспокойства, терзаний и муки он нашел ее! В первый раз в жизни он испытал, что радость может броситься на грудь, как дикий зверь, и придавить ее до утраты дыхания. Он, который думал, что Фортуна обязана исполнять все его желания, теперь едва верил собственным глазам и собственному счастью. Если бы не это недоверие, его горячая натура могла бы толкнуть его на какой-нибудь безрассудный шаг, но он хотел сначала убедиться, не есть ли это продолжение тех чудес, которыми была переполнена его голова, не спит ли он. Но сомнения никакого не было: он видел Лигию, и их разделяло расстояние всего в несколько десятков шагов. Она стояла в полном освещении, и он мог наслаждаться ее видом сколько угодно. Капюшон сполз с ее головы и спутал волосы; губы ее были подоткрыты, глаза устремлены на апостола, лицо полно внимания и восторга. В темном суконном плаще она напоминала девушку из народа,

но Виниций никогда не видал ее более прекрасною и, несмотря на поднявшуюся в нем бурю, его поразили контраст между этою почти невольническою одеждой и благородством этой дивной патрицианской головы. Любовь охватила его, как пламя, — жгучая, непреоборимая, смешанная с каким-то странным чувством тоски, обожания, почтения и страсти. Стоя около гиганта-лигийца, она казалась ниже, чем была прежде, но вместе с тем он заметил, что она похудела. Лицо ее было почти прозрачно; она производила на него впечатление цветка и души, и тем более он жаждал обладать существом, столь отличным от женщин, которых он видел или которыми обладал на Востоке и в Риме. Он чувствовал, что отдал бы за нее всех тех женщин, а с ними весь Рим и весь мир вдобавок.

Он засмотрелся и забылся бы совершенно, если бы не Хилон, который дергал его за край плаща, опасаясь, чтобы он не сделал чего-нибудь такого, что могло бы навлечь на них опасность. Тем временем христиане начали молиться и петь. Великий апостол стал крестить водою из фонтана тех, которых пресвитеры подводили к нему, как подготовленных к принятию крещения. Виницию казалось, что эта ночь никогда не кончится. Он хотел немедленно идти за Лигией и похитить ее по дороге или из ее жилища.

Наконец молящиеся начали расходиться с кладбища. Тогда Хилон шепнул:

— Господин, выйдем в ворота, — мы не сняли капюшенов, и люди смотрят на нас.

Это было верно. Когда при первых словах апостола все сбросили капюшоны, чтобы лучше слышать, Виниций и его товарищи не последовали всеобщему примеру. Совет Хилона оказался основательным. Стоя у ворот, они могли видеть всех выходящих, а Урса нельзя было не узнать по его росту и фигуре.

— Пойдем за ними, — сказал Хилон, — увидим, в какой дом они войдут, а завтра или, вернее, сегодня ты, господин, окружишь дом невольниками и возьмешь ее.

— Нет! — сказал Виниций.

— Что же ты хочешь делать?

— Мы войдем за нею в дом и похитим ее тотчас же, — ты взялся за это, Кротон?

— Да, — сказал ланиста, — я отдаю себя в неволю к тебе, если не сломаю спины тому буйволу, который оберегает ее.

Хилон начал предостерегать и заклинать именем всех богов, чтоб этого не делали. Ведь Кротон был взят только для защиты, на случай, если б их узнали, а не для похищения девушки. Отваживаясь на это вдвоем, они сами обрекают себя на смерть и, кроме того, могут выпустить Лигию из рук, а тогда она скроется в другом месте или покинет Рим. Да и что сделают они? Отчего не действовать наверняка, зачем подвергать себя гибели, а все дело сводить на неверную почву?

Виниций, несмотря на то что с величайшим усилием воздерживался, чтобы не схватить Лигию в объятия тут же, на кладбище, чувствовал, однако, что грек прав, и, может, последовал бы его совету, если бы не Кротон, которого больше всего интересовала его награда.

— Господин, прикажи молчать этому старому козлу, — сказал он, — или позволь мне опустить кулак на его голову. Раз в Буксенте, куда меня вызвал на игры Люций Сатурнин, на меня напали в харчевне семь пьяных гладиаторов, и ни один из них не вышел с целыми ребрами. Я не говорю, чтоб девушку можно было похитить сейчас из толпы, — нам будут бросать под ноги камни, — но когда она будет дома, я похищу ее и принесу, куда ты прикажешь.

Виниций при этих словах обрадовался и ответил:

— Так и будет, клянусь Геркулесом! Завтра случайно мы могли бы не застать ее дома, а если бы возбудили тревогу среди христиан, то они, наверное, спрятали бы ее в другом месте.

— Этот лигиец кажется мне страшно сильным! — простонал Хилон.

— Не тебе прикажут держать ему руки, — ответил Кротон.

Однако ждать пришлось им долго, петухи уже начали петь перед рассветом, прежде чем они увидели выходящего из ворот Урса, а с ним и Лигию. Их сопровождало несколько человек. Хилону показалось, что он распознает между ними великого апостола, рядом с которым шел другой старик, гораздо ниже ростом, две пожилых женщины и мальчик с фонарем в руке. За ними шла толпа человек в двести. Виниций, Хилон и Кротон примешались к этой толпе.

— Да, господин, — сказал Хилон, — твоя Лигия находится под могучим покровительством. С нею он, великий апостол. Смотри, как люди падают на колени при его приближении.

Действительно, люди падали на колени, но Виниций не смотрел на них. Не теряя ни на минуту из глаз Лигию, он думал только о ее похищении и, как человек знакомый с разными военными хитростями, составляя у себя в голове со всею солдатскою точностью весь план похищения. Он чувствовал, что шаг, на который он отваживается, был рискованным, но знал хорошо, что рискованное нападение обыкновенно кончается успехом.

Но дорога была длинна, и ему оставалось время подумать также и о пропасти, которую вырыла между ним и Лигией та странная религия, которую она исповедовала. Он понимал теперь все, что случилось в прошлом, — понимал, почему это случилось. Для этого он был достаточно проницателен. До сих пор он не знал Лигии. Он видел в ней самую прелестную девушку, возбудился к ней страстью, а теперь увидел, что это учение обратило ее в существо, не похожее на других женщин, и надежда, чтоб и ей вскружили голову страсть, богатство, роскошь, — чистое заблуждение. Наконец, он понял то, чего они оба с Петронием до сих пор не понимали, — что эта новая религия вселяла в душу что-то незнакомое миру, в котором он жил, что Лигия, если бы даже и любила его, не поступится для него ни одною из своих христианских истин, что если для нее существует наслаждение, то совершенно не похожее на то, за которым гонялся и он, и Петроний, и двор цезаря, и весь Рим. Любая из женщин, которых он знал, могла стать его любовницей, — эта христианка могла быть только жертвой, и, думая об этом, он впадал в гнев, испытывал жгучую боль и чувствовал вместе с тем, что его гнев бессилен. Похитить Лигию ему казалось вещь возможною, в этом он был уверен, но вместе с тем был уверен, что перед лицом этого учения и он сам, и его мужество, и его могущество — ничто, и ни на что не может ему пригодиться. Этот военный трибун, убежденный, что сила меча и руки, завладев миром, вечно будет властвовать над ним, в первый раз в жизни увидел, что и помимо этой силы может быть что-нибудь другое, и с удивлением задавал себе вопрос: так что же это такое?

Но ясно он не мог ответить себе; в голове у него мелькали только образы кладбища, многочисленная толпа и Лигия, всею душой вслушивающаяся в слова старца, рассказывающего о мучении, смерти и воскресении Богочеловека, который искупил мир и обещал ему счастье по ту сторону Стикса.

Когда Виниций думал об этом, в голове его возникал чистый хаос.

Из этого положения вывели его жалобы Хилона, который начал плакаться на свою судьбу: он был приглашен отыскать Лигию, с опасностью жизни отыскал и указал ее. Чего же от него хотят больше? Разве он брался похищать ее, и кто бы мог требовать чего-нибудь подобного от калеки, лишённого двух пальцев, человека старого, отдавшегося размышлениям, науке и добродетелям? Что будет, если такой знатный патриций, как Виниций, понесет какой-нибудь ущерб при похищении девушки? Конечно, боги должны бдеть над избранными, но разве не бывает таких случаев, как будто боги играют в мяч вместо того, чтобы смотреть, что делается на свете? У Фортуны, как известно, глаза завязаны, — она и днем-то не видит, а ночью тем более. А ну как случится что-нибудь, — ну, как этот лигийский медведь бросит в благородного Виниция жернов, бочку вина или, что еще хуже, бочку воды, — кто поручится, что на бедного Хилона вместо награды не свалится ответственность? Он, бедный мудрец, привязался к благородному Виницию, как Аристотель к Александру Македонскому, и если бы, по крайней мере, благородный Виниций отдал ему кошелек, который за сунул за пояс, когда выходил из дому, то в случае несчастья было бы на что призвать немедленно помощь или привлечь на свою сторону самих христиан. О, зачем не хотят слушать советов старца, внушаемых разумом и опытностью!

Виниций, услышав это, вытащил из-за пояса кошелек и бросил его Хилону.

— Возьми и молчи.

Грек почувствовал, что кошелек был очень тяжел, и набрался отваги.

— Вся моя надежда в том, — сказал он, — что Геркулес или Тезей совершали еще более трудные подвиги, а что такое мой личный близкий друг Кротон, как не Геркулес? Тебя же, достойный господин, я не назову полубогом, потому что ты целый бог, и впредь не забудешь о своем бедном, но верном слуге, о котором нужно от времени до времени заботиться, ибо раз он углубится в книги, то забывает уже совершенно обо всем... Какой-нибудь садик и домик, какое-нибудь убежище от летнего зноя были бы достойны такого дарителя. Тем временем старец издали будет удивляться вашим геройским деяниям, призывать на ваши головы благословение Зевса, а в случае чего наделает такого шума, что пол-Рима проснется и придет вам на помощь... Какая ужасная, неровная дорога! Масло выгорело в моем фонаре, и если бы Кротон, который так же благороден, как и силен, захотел бы взять меня на руки и донести до городских ворот, во-первых, было бы видно, как легко он может унести девушку, во-вторых, он поступил бы, как Эней, и, наконец, привлек бы на свою сторону всех добрых богов до такой степени, что мог бы быть совершенно спокойным за исход предприятия.

— Я предпочел бы тащить овцу, издохшую от коросты месяц тому назад, — ответил ланиста, — но если ты отдашь мне кошелек, который бросил тебе достойный трибун, то я донесу тебя до ворот.

— Чтобы ты разбил себе большой палец ноги! — сказал грек. — Так-то ты воспользовался учением того великого старца, который представил нищету и милосердие как две главнейших добродетели?.. Разве он ясно не приказал тебе любить меня? Вижу, никогда я не сделаю из тебя самого плохого христианина, и легче солнцу проникнуть сквозь стены Мамертинской темницы, чем правде сквозь твой гиппопотамий череп.

Кротон, который обладал силой зверя, зато не имел никаких человеческих чувств, сказал:

— Не бойся, христианином я не буду! Я не хочу потерять последний кусок хлеба!

— Да; но если бы ты был знаком хоть с начатками философии, то знал бы, что золото — это одна тщета!

— Приходи ко мне с философией, а я только один раз ударю тебя головою в брюхо, — увидим, кто выиграет.

— То же самое мог бы сказать вол Аристотелю, — ответил Хилон.

На дворе начинало сереть. Рассвет окрасил бледною краской зубцы стен. Придорожные деревья, постройки и разбросанные там и здесь надгробные памятники начали выделяться из мрака; теперь дорога не казалась такою пустой, продавцы зелени в сопровождении ослов и мулов, нагруженных овощами, спешили попасть к открытию ворот, кое-где скрипели телеги с дичью и мясом. По обеим сторонам дороги клубился легкий туман, предвещавший хорошую погоду. Люди, окутанные этим туманом, казались какими-то духами. Виниций не спускал глаз со стройной фигуры Лигии, которая по мере того, как рассвет разгорался, становилась все более и более серебристой.

— Господин, — сказал Хилон, — я оскорбил бы тебя, если бы предвидел конец твоей щедрости, но теперь, когда ты заплатил мне, ты не можешь подозревать, чтоб я говорил только для своей выгоды. И вот я еще раз советую, чтобы ты, узнав, в каком доме живет божественная Лигия, возвратился бы к себе за невольниками и носилками и не слушал бы этого слоновьего хобота, Кротона, который для того только берет-ся похитить девушку, чтобы выжать твою кису¹, как мешок с творогом.

Виниций не отвечал ничего. Они подходили уже к городским воротам, и удивительное зрелище предстало его глазам. Когда апостол проходил мимо, двое солдат преклонили перед ним колени. Он с минуту подержал руку на их железных шишаках, а потом осенил их знаменем креста. Молодому патрицию до сих пор не приходило в голову, что и между солдатами могут быть христиане, и он с изумлением подумал, что как в горящем городе пожар охватывает все новые и новые дома, так это учение, очевидно, с каждым днем охватывает новые души и распространяется шире, чем это может быть доступно человеческому пониманию. Это его поразило и по отношению к Лигии; он теперь убедился, что если б она хотела убежать, то нашлись бы стражники, которые облегчили бы ей выход из города. И он благословил богов, что этого не случилось.

Миновав незастроенные пространства, находящиеся за стеной, кучки христиан начали рассыпаться в разные стороны. Теперь нужно было идти за Лигией осторожно, чтобы не обратить на себя внимания. Хилон начал жаловаться на раны и лому в ногах и отставал все более и более, чему Виниций не противился, думая, что трусливый и немощный грек теперь уже не будет ему потребен. Он даже позволил бы ему идти куда угодно, но почтенного и предусмотрительного старца двигало вперед любопытство. Он все шел за Виницием, иногда даже приближался к нему, повторяя свои прежние советы и делая предположения, что старик, сопровождающий Лигию, может быть Главк.

Шли они долго, в Затибрскую часть города, и солнце было уже близко к восходу, когда кучка, где была Лигия, разделилась. Апостол, старая женщина и мальчик направились вдоль по реке, против течения, а другой старик, Урс и Лигия свернули в узкую улицу и, пройдя с сотню шагов, вошли в сени дома, в котором находились две лавки, —

¹ *Киса* — кошна (примеч. ред.).

одна масляная, другая птичная. Хилон, который также шел шагах в пятидесяти от Виниция и Кротона, теперь остановился, как вкопанный, и, прижавшись к стене, тихонько окликнул их, чтоб они возвратились к нему. Виниций послушался, — нужно было составить совет.

— Иди, — сказал он Хилону, — посмотри, не выходит ли этот дом заднею стороною на другую улицу.

Хилон, несмотря на свою боль в ногах, пустился бежать так быстро, как будто у его лодыжек были крылышки Меркурия, и возвратился через минуту.

— Нет, — сказал он, — выход один.

И он умоляюще сложил руки.

— Господин, заклинаю тебя Зевсом, Аполлоном, Вестой, Кибелой, Изидой и Озирисом, Митрой и всеми богами Востока и Запада, оставь ты свое намерение... Послушай меня...

Он вдруг оборвался, потому что увидал, что лицо Виниция побледнело от волнения, а глаза светились, как глаза волка. Довольно было посмотреть на него, чтобы понять, что ничто в свете не удержит его. Кротон начал набирать воздух в свою геркулесовскую грудь и качать свою недоразвитую головой из стороны в сторону, как это делают медведи, запертые в клетку. Но вообще на лице его не было видно ни малейшего беспокойства.

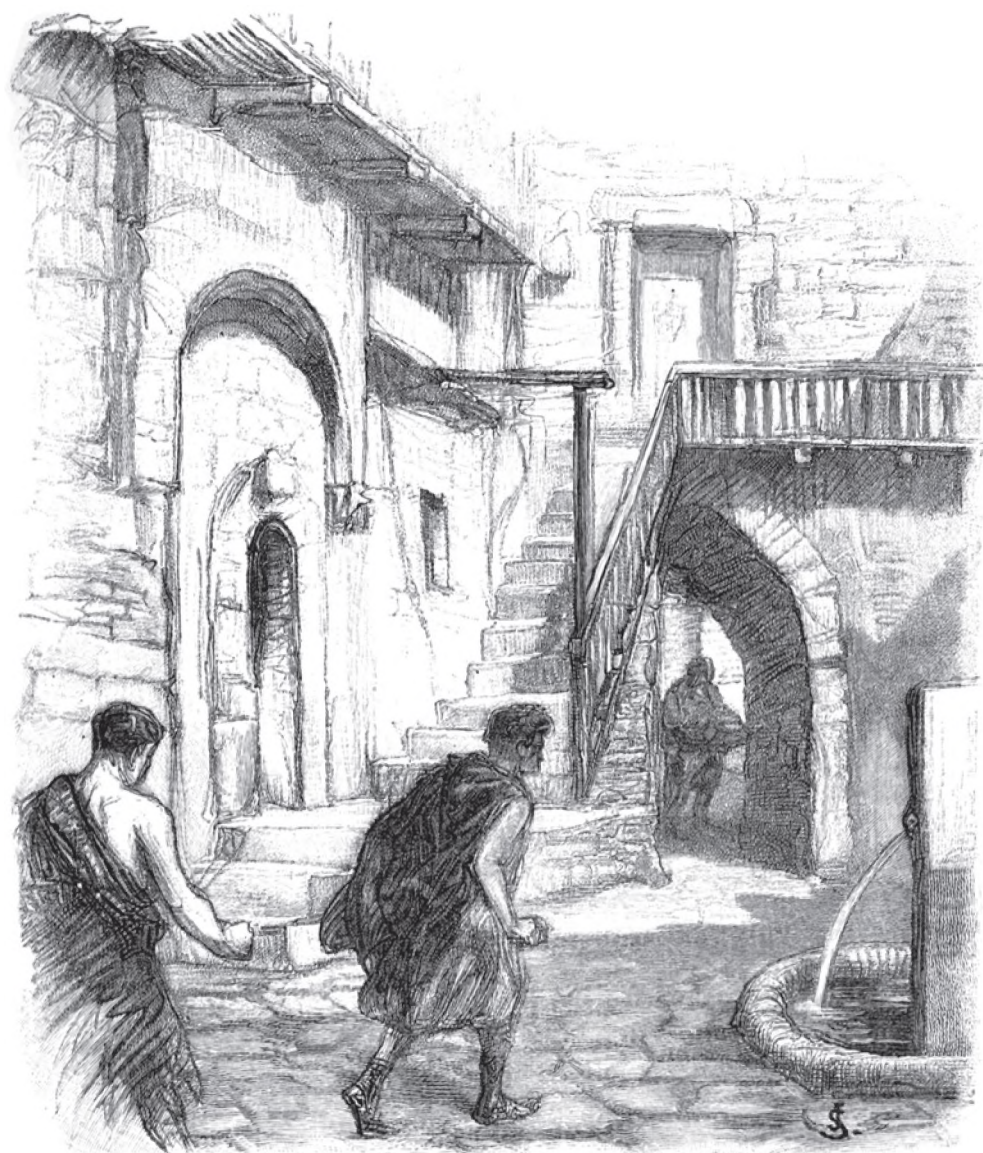
— Я войду первый! — сказал он.

— Ты пойдешь за мной! — повелительным голосом ответил Виниций.

И через минуту они оба исчезли в темных сенях.

Хилон добежал до ближайшего переулка и начал выглядывать из-за угла, ожидая, что будет дальше.





ГЛАВА XXII

Виниций только в сенях понял трудность своей задачи. Дом был большой, многоэтажный, один из тех, какие тысячами строились в Риме для сдачи внаем, и обыкновенно строились так поспешно и дурно, что не было года, чтобы какой-нибудь из них не обрушивался на голову жильцов. То были настоящие ульи, очень высокие и очень узкие, полные каморок и чуланов, в которых во множестве гнезился убогий народ.

В городе, в котором многие улицы не носили названий и дома не имели никаких номеров, владельцы поручали собирать квартирную плату невольникам, а те, не обязанные сообщать городским властям имен постояльцев, часто сами не знали их. Допытаться о ком-нибудь в таком доме иногда бывало невероятно трудно, в особенности когда у ворот не было привратника.

Виниций через длинные, похожие на коридор, сени добрался до узкого, с четырех сторон застроенного дворика, играющего роль общего для всего дома атриума, с фонтаном, который струился в каменную чашу, вделанную в землю. По всем стенам сбегали внешние лестницы, частью каменные, частью деревянные; они вели на галерею, откуда уже можно было проникнуть в квартиру. Внизу также жилища; иные из них были снабжены деревянными дверями, другие отделялись от двора только шерстяными занавесками, по большей части истрепанными и заплатанными.

Время стояло раннее, и на дворике не было ни одной живой души. Очевидно, в доме спали все, за исключением возвратившихся из Остриана.

— Что мы будем делать, господин? — спросил Кротон.

— Подождем, может быть, кто-нибудь придет, — ответил Виниций. — Не нужно, чтобы нас видели на дворе.

Он теперь увидал, что совет Хилона был практичен. Если б у него в распоряжении находилось несколько невольников, то можно было бы загородить ворота, которые казались единственным выходом из дома, и обыскать все квартиры, а теперь нужно было сразу напасть на жилище Лигии, иначе христиане, — а здесь их, вероятно, жило немало, — могли бы предостеречь ее. С этой стороны небезопасно было и расспрашивать кого-нибудь. Виниций раздумывал, не вернуться ли ему за невольниками, как из-за одной занавески вышел человек с ситом в руках и приблизился к фонтану.

Молодой человек с первого взгляда узнал Урса.

— Это лигиец! — шепнул он.

— Мне сейчас же переломать ему кости?

— Подожди.

Урс не замечал их, — они стояли в темных сенях, — и начал спокойно перемывать овощи, которыми было наполнено сито. Было видно, что он хочет готовить завтрак.

Через минуту он окончил свое дело, взял мокрое сито и вместе с ним исчез за занавеской. Кротон и Виниций двинулись за ним, рассчитывая, что прямо попадут в жилище Лигии.

Но каково же было их изумление, когда они заметили, что занавеска отделяла от двора не квартиру, а другой темный коридор, в конце которого был виден садик, состоящий из нескольких кипарисов и миртовых кустов, и маленький домик, прилепившийся к глухой задней стене другого дома. Виниций и Кротон сразу поняли, что это обстоятельство благоприятно для них. На двор могли сбегаться все жильцы дома, а это уединенное положение домика значительно облегчало похищение. Они скоро справятся с защитниками, — вернее, с одним Урсом, — потом с Лигией так же скоро выберутся на улицу, а там уже сумеют постоять за себя. Вероятнее всего, их никто не станет задерживать, а если б и задержали, они скажут, что дело идет о бежавшей заложнице цезаря, в крайнем же случае Виниций откроется вигилам и призовет их на помощь.

Урс почти уже входил в домик, когда шум шагов привлек его внимание. Он остановился и, увидав двоих людей, поставил сито на балюстраду и повернулся к ним.

— Чего вы ищете здесь? — спросил он.

— Тебя! — ответил Виниций.

Потом, обратившись к Кротону, он тихо и быстро проговорил:

— Убей!

Кротон ринулся, как тигр, и в одну минуту, прежде чем лигиец успел опомниться или распознать врага, схватил его в свои стальные объятия.

Виниций чересчур был уверен в его нечеловеческой силе, чтобы ждать конца битвы, и, обойдя их, подскочил к двери домика, толкнул ее ногою и очутился в темноватой комнате, освещенной огнем, горящим в печке. Отблеск огня падал прямо на лицо Лигии. Другой человек, сидящий у очага, был тот самый старик, который сопровождал девушку и Урса по пути из Остриана. Виниций ввалился неожиданно, и прежде чем Лигия могла узнать его, схватил ее поперек, поднял кверху и снова бросился к дверям. Старик, правда, успел загородить ему дорогу, но Виниций, прижав девушку к груди одною рукой, другую оттолкнул его. Капюшон свалился с его головы, и тогда, при виде знакомого и в настоящую минуту такого страшного лица, Лигия почувствовала, что кровь ее стынет от ужаса, а голос замирает в ее груди. Она хотела кричать о помощи и не могла, хотела было схватиться за притолку двери, но пальцы ее соскользнули с полированного камня. Она лишилась бы чувств, если б не ужасная картина, которая предстала ее глазам, когда Виниций вместе с нею выбежал в сад.



Урс держал в объятиях какого-то человека, совсем перегнувшегося назад, с запрокинутой головой и с кровавою пеной на губах. Увидав их, он еще ударил рукою по голове этого человека и, как разнужданный зверь, бросился к Виницию.

«Смерть!» — подумал молодой патриций.

Как сквозь сон он слышал крик Лигии: «Не убивай!» — потом почувствовал, как что-то, словно удар грома, расплело его руки, которыми он обхватывал девушку, наконец земля закружилась под его ногами и дневной свет угас в его глазах.

Хилон, скрытый стеною угольного дома, все ждал, что будет. Любопытство в нем боролось со страхом. Он думал, что если похищение Лигии удастся, то ему выгодно будет быть около Виниция. Урса он уже не опасался, потому что был также уверен, что Кротон убьет его. Зато он рассчитывал, что если бы на пустых до сих пор улицах начала собираться толпа, если бы христиане или какие бы то ни было люди вздумали ставить Виницию преграды, то он, Хилон, заговорит с ними как представитель власти и, в крайнем случае, призовет вигилов на помощь молодому патрицию против уличной гольтубы и тем обеспечит себе его новые милости. В глубине души он считал поступок Виниция безрассудным, но, рассчитывая на страшную силу Кротона, допускал, что дело может удаться. Если б им пришлось плохо, сам трибун будет нести девушку, а Кротон очистит ему дорогу. Но время казалось ему чересчур долгим; его беспокоила тишина сеней, на которые он посматривал издалека.

«Если они не нападут на ее нору, а только наделают шума, то лишь спугнут ее с места».

Эта мысль, однако, не была ему неприятна. Он понимал, что в таком случае снова будет нужен Виницию и снова сумеет выжать из него приличное количество сестерций.

«Что бы они ни сделали, все сделают для меня, хотя ни один и не догадывается о том... Боги, боги, дозвоьте мне только...»

Хилон вдруг оборвался. Ему показалось, что что-то показалось из сеней, и, прижавшись к стене, он начал смотреть, задерживая дыхание в груди. Он не ошибался. Из сеней наполовину высунулась какая-то голова и начала осматриваться вокруг.

Через минуту она, однако, исчезла.

«Это Виниций или Кротон, — подумал Хилон. — Но если они похитили девушку, то почему они не кричат и зачем они выглядывают на улицу? С людьми они и так встретятся: прежде чем дойдут до Карин, на улицах проснется движение. Что это? Бессмертные боги!..»

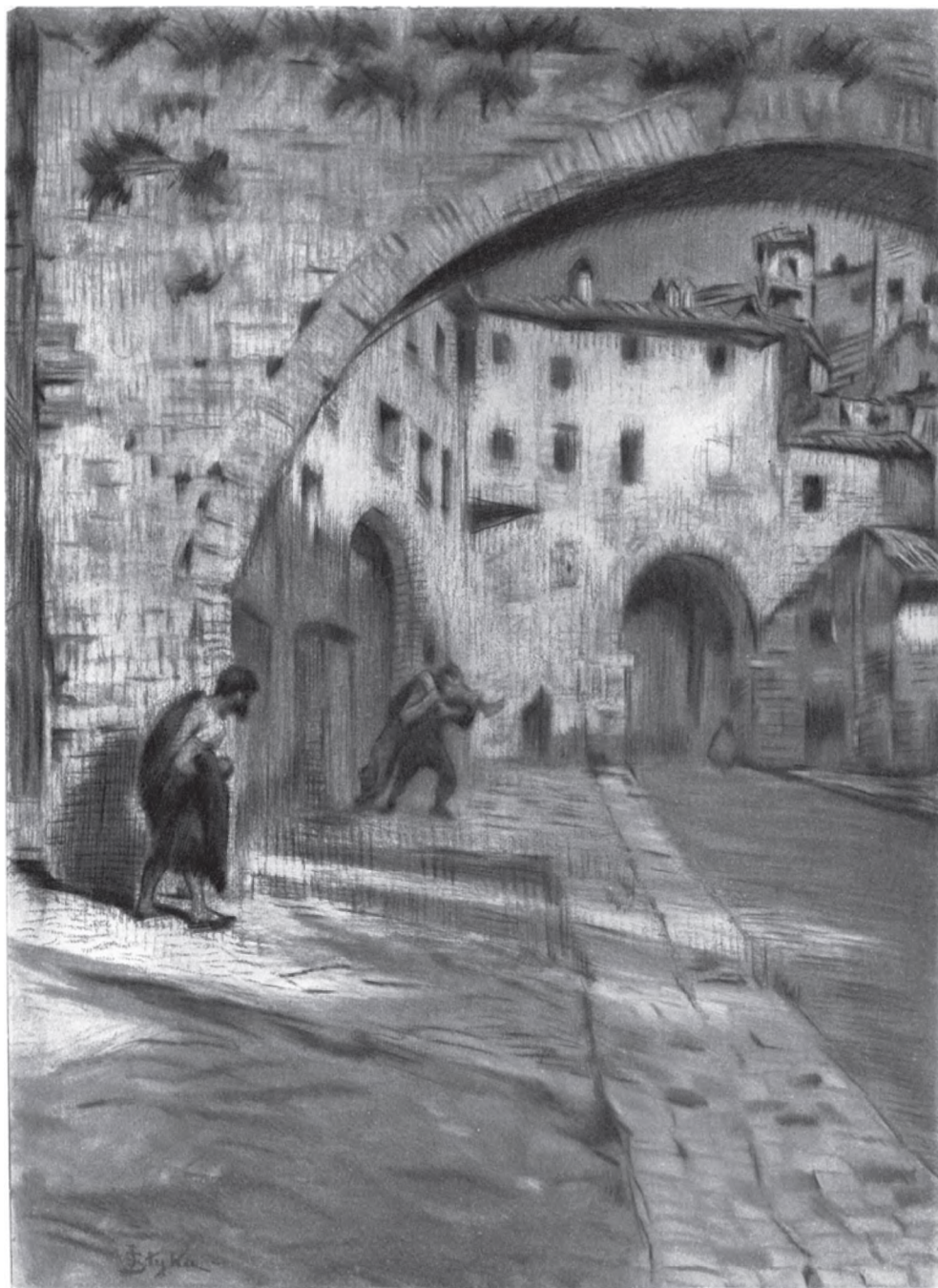
И вдруг остатки волос встали дыбом на его голове.

В дверях показался Урс с перевесившимся через его плечо телом Кротона и, оглядевшись еще раз, пустился бежать вдоль пустой улицы к реке. Хилон прильнул к стене и сделался таким же тонким, как пласт штукатурки.

«Пропа я, если он увидит меня!» — подумал он.

Но Урс шибко пробежал мимо угольного дома и исчез за следующим, а Хилон, не ожидая дальше, пустился бежать вдоль переулка, стуча зубами от страха, с быстротой, которая была бы удивительна и для молодого человека.

«Если, возвращаясь назад, он увидит меня издалека, то догонит и убьет. Спаси меня, Зевс, спаси, Аполлон, спаси, Гермес, спаси, христианский Бог! Я оставляю Рим, возвращусь в Мезембрию, только избавьте меня от рук этого демона!»



В дверях показался Урс с перевесившимся через его плечо телом Кротона и, оглядевшись еще раз, пустился бежать вдоль пустой улицы к реке.

И лигиец, который убил Кротона, в эту минуту действительно представлялся ему каким-то нечеловеческим существом. На бегу Хилон думал, что это, может быть, какой-нибудь бог, который принял образ варвара. В эту минуту он верил в богов всего мира, во все мифы, над которыми смеялся в обыкновенное время. Иногда у него в голове мелькало, что Кротона мог убить Бог христиан, и волосы снова вставали дыбом на его голове при мысли, что он вступил во вражду с таким могуществом.

Только пробежав несколько переулков и заметив каких-то рабочих, идущих ему навстречу, он немного успокоился. Ему уже не хватало дыхания, и, усевшись на пороге дома, он начал отирать плащом лоб, покрытый потом.

«Стар я, мне необходимо спокойствие», — сказал он себе.

Рабочие свернули в какой-то боковой переулок, и Хилон снова охватила пустота. Город еще спал. По утрам движение начиналось раньше, собственно, в более богатых кварталах, где невольники знатных домов должны были вставать до рассвета, там же, где жило население свободное, живущее на счет патрициев, значит, тунеядствующее, просыпалось поздно, в особенности зимою. Хилон, просидев немного на пороге, почувствовал пронзительный холод, встал и, убедившись, что не потерял кошелек, полученного от Виниция, уже более медленным шагом направился к реке.

«Может быть, я увижу где-нибудь тело Кротона, — говорил он самому себе. — Боги! Этот лигиец, если он человек, мог бы в течение одного года заработать миллионы сестерций, потому что если он удушил Кротона, как щенка, то кто же может ему сопротивляться? За каждый выход на арену ему дали бы столько золота, сколько он сам весит. Он эту девушку стережет лучше, чем цербер стережет ад. Но да поглотит его тот же самый ад! Не хочу я иметь с ним никакого дела! Чересчур уж он костист. А что же, однако, делать? Случилось нечто страшное. Если он поломал кости Кротону, то, вероятно, и душа Виниция стонет под этим проклятым домом в ожидании погребения. Клянусь Кастором! Ведь это патриций, друг цезаря, родственник Петрония, знатный человек, известный всему Риму, и военный трибун. Его смерть не пройдет им задаром... А если б я, например, отправился в преторианские казармы или к вигилам?»

Хилон замолчал, подумал с минуту и потом продолжал:

«Горе мне! Кто ввел его в этот дом, если не я?.. Его отпущенники и невольники знают, что я приходил к нему, некоторые знают даже, для какой цели. Что будет, если меня заподозрят, что я нарочно указал ему дом, в котором он нашел смерть? Хотя бы потом, в суде, оказалось, что я не желал этого, все-таки скажут, что я всему причиной. А ведь он патриций, и мне ни в каком случае это не сойдет безнаказанно. Но если б я тайно оставил Рим и переселился бы куда-нибудь далеко, то навлек бы на себя еще большее подозрение».

И так и сяк дурно. Нужно выбирать меньшее зло. Рим был гигантским городом, но Хилон почувствовал, что и в нем может быть тесно. Всякий другой мог бы прямо пойти к префекту вигилов, рассказать, что случилось, и, хотя на него пало бы какое-нибудь подозрение, спокойно ждать следствия. Но все прошлое Хилон было такого рода, что всякое более близкое знакомство с префектом ли города, с префектом ли вигилов могло бы навязать ему значительные хлопоты и вместе с тем дать основания для всех подозрений, какие могли бы прийти в голову чиновников.

С другой стороны, убежать — это только утвердить Петрония во мнении, что Виниций предан и сделался жертвой предумышленного убийства. А Петроний был

человек сильный, к услугам которого была полиция всего государства и который, несомненно, постарался бы отыскать виновных хотя бы на краю света. И вдруг Хилону пришло в голову, не отправиться ли к нему и не сообщить ли, что случилось? Да, это был самый лучший исход. Петроний был человек спокойный, и Хилон мог быть уверен хотя бы в том, что его выслушают до конца. Петроний, который знал дело с самого начала, легче поверил бы невинности Хилона, чем префекты. Однако чтоб отправиться к нему, сначала нужно было узнать наверное, что стало с Виницием, а Хилон не знал об этом. Правда, он видел, как лигиец крадется к реке с телом Кротона, но ничего больше. Виниций мог быть убит, но мог быть ранен или задержан силой. И только теперь Хилон сообразил, что христиане, наверное, не осмелились бы убить такого влиятельного человека, августианина и важного военного начальника, потому что такой поступок мог бы навлечь на них всеобщее гонение. Правдоподобнее всего было то, что его задержали насильно, чтобы дать Лигии возможность укрыться в другом месте. Эта мысль сильно ободрила Хилона.

«Если этот лигийский вампир не растерзал его в первую минуту бешенства, тогда он жив, а если жив, тогда сам даст показание, что я не изменял ему, в таком случае мне не только ничего не грозит, но (о Гермес, рассчитывай снова на своих телиц!) передо мною открываются новые попроща... Я могу дать знать одному из отпущенников Виниция, где он может найти господина, а пойдет ли он к префекту или нет, — это его дело, только бы мне самому не ходить. Я могу точно так же отправиться к Петронию и рассчитывать на награду... Искал Лигию, теперь буду искать Виниция, а потом опять Лигию... Нужно, однако, теперь знать, жив ли он или убит».

Он подумал было ночью отправиться к пекарю Демасу спросить об Урсе, но тотчас же отверг эту мысль. Он предпочитал вовсе не иметь дела с Демасом. Он справедливо предполагал, что если Урс не убил Главка, то, очевидно, ему объяснил кто-нибудь из старших христиан, что дело это дурное и что его склонял к нему какой-нибудь изменник. Наконец, при одном воспоминании об Урсе Хилона пробирала дрожь. Кроме того, он может вечером послать Эвриция разузнать, что случилось с Виницием. А теперь Хилон чувствовал потребность подкрепить силы, выкупаться и отдохнуть. Бессонная ночь, длинная дорога и путешествие в Затибрскую часть города действительно чрезвычайно утомили его.

Одно утешало его все время, — при нем было два кошелька: тот, который Виниций дал ему дома, и тот, который бросил на обратном пути с кладбища. Принимая в соображение эту счастливую случайность, а также и все испытанные им волнения, Хилон решил поесть хорошенько и выпить лучшего вина, чем он пил обыкновенно.

И когда наконец наступило время открытия харчевен, он осуществил свое намерение в такой степени, что забыл о бане. Ему прежде всего хотелось спать, и сонливость лишила его сил до такой степени, что он пришел неверным шагом в свое жилище на Субурре, где его ждала невольница, купленная на деньги Виниция.

Войдя в кубикул, темный, как лисья нора, он свалился на постель и заснул в одну минуту.

Пробудился он только вечером или, вернее, разбудила его невольница. Кто-то ищет его и хочет видаться с ним по важному делу. Бдительный Хилон очнулся в одну минуту, наскоро набросил на себя плащ с капюшоном и, приказав невольнице отодвинуться в сторону, осторожно выплянул из комнаты.

Взглянул он и обмер. В дверях кубукула виднелась гигантская фигура Урса.

Хилон почувствовал, что ноги и голова его становятся холодны, как лед, сердце перестает биться в груди, по спине ходят мурашки. С минуту он ничего не мог сказать, затем, щелкая зубами, проговорил или, вернее, простонал:

— Сира!.. Меня нет дома... я не знаю... этого... доброго человека.

— Я сказала ему, что ты дома, господин, и что ты спишь, — ответила девушка, — а он потребовал, чтоб я разбудила тебя.

— О, боги!.. Я прикажу тебя...

Но Урс, рассерженный замедлением, приблизился к двери кубукула и, наклонившись, просунул голову внутрь комнаты.

— Хилон Хилонид! — сказал он.

— *Rax tecum! rax, rax!*¹ — ответил Хилон. — О, наилучший из христиан! Да, я — Хилон, но это ошибка... Я не знаю тебя!

— Хилон Хилонид, — повторил Урс, — твой господин, Виниций, приказывает тебе, чтобы ты отправился к нему вместе со мной.

¹ «Мир с тобою! мир, мир!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ





ГЛАВА I

Виниций пришел в себя от мучительной боли. В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним делается; в голове у него был шум, глаза подернуты каким-то туманом. Но сознание мало-помалу возвращалось к нему, и сквозь туман он увидал трех человек, склонившихся над ним. Двоих он узнал, — один был Урс, другой тот старик, которого он свалил наземь, когда уносил Лигию. Третий, совершенно незнакомый ему, держал его руку и, ощупывая ее от локтя до ключицы, собственно, и причинял ему такую страшную боль, что Виниций, думая, что это составляет род какой-то пытки, проговорил сквозь стиснутые зубы:

— Убейте меня!

Но они, казалось, не обратили внимания на его слова, точно не слышали их, или считали за обычный стон страдания. Урс, со своим озабоченным и вместе с тем грозным лицом варвара, держал в руках пук белых тесемок, а старик говорил человеку, который нажимал плечо Виниция:

— Главк, ты уверен, что эта рана на голове не смертельна?

— Да, достойный Крисп, — ответил Главк. — Когда я был невольником и служил во флоте, а потом жил в Неаполе, то много излечил ран и на деньги, которые приносило мне это занятие, выкупил себя и своих. Рана на голове легкая. Когда этот человек (он кивнул в сторону Урса) отнял девушку у молодого человека и оттолкнул его к стене, тот при падении, очевидно, защитился рукой. Руку он вывихнул и сломал, но зато сохранил голову и жизнь.

— Не один брат уже пользовался твоею помощью, — ответил Крисп, — ты считаешься опытным врачом. Поэтому я и послал за тобою Урса.

— Который по дороге признался мне, что еще вчера был готов убить меня.

— Прежде, чем тебе, он открыл свое намерение мне, но я знаю твою любовь ко Христу и объяснил Урсу, что изменник не ты, а тот незнакомец, который хотел склонить его к убийству.

— То был злой дух, а я принял его за ангела, — со вздохом сказал Урс.

— Когда-нибудь ты расскажешь мне это, — сказал Главк, — теперь мы должны думать о раненом.

Он начал вправлять плечо Виницию, который, несмотря на то, что Крисп опрыскивал ему водою лицо, ежеминутно лишался чувств. Впрочем, это обстоятельство было благоприятно для него: благодаря ему он не чувствовал, как вправляли ему ногу, как забинтовывали сломанную руку, которую Главк сначала заключил в две согнутых дощечки, а потом быстро и сильно обвязал тесемками, чтоб она оставалась неподвижной.

После операции Виниций снова очнулся и увидел над собою Лигию.

Она стояла около его ложа и держала маленькое медное ведро, в которое Главк от времени до времени погружал губку и смачивал ею голову Виниция.

Виниций смотрел и глазам не верил. Ему казалось, что это сон или горячка поставили перед ним дорогое видение, и только спустя несколько минут нашел в себе силы прошептать:

— Лигия...

При звуке его голоса ведро задрожало в ее руках, и она обратила на него глаза, полные грусти.

— Мир с тобой, — тихо ответила она.

И она стояла с протянутою рукой, с лицом, полным сострадания и жалости.

Виниций смотрел на нее так, как будто хотел насытить ею свои глаза, чтоб ее образ остался перед ним даже и тогда, когда он сомкнет ресницы. Он смотрел на ее побледневшее и похудевшее лицо, на жгуты темных волос, на убогий наряд работницы, смотрел так упорно, что под влиянием его взгляда ее белоснежный лоб начал покрываться румянцем. И Виниций подумал сначала, что он ее любил всегда, а во-вторых, что ее худоба и убожество — его дело, что это он изгнал ее из дома, где ее любили, где ее окружали достаток и удобства, свергнул ее в эту нищенскую лачугу и одел в этот плащ из темного сукна.

А он хотел было нарядить ее в драгоценнейшую парчу и все сокровища мира, и его охватило изумление, тревога, сострадание и жалость, — такая, что он упал бы к ее ногам, если бы мог.

— Лигия, — сказал он, — ты не позволила убить меня.

Она кротко ответила:

— Да возвратит тебе Бог здоровье.



*При звуке его голоса ведро задрожало в ее руках,
и она обратила на него глаза, полные грусти.*

Для Виниция, который сознавал то зло, которое причинил ей раньше, и то, которое недавно собирался причинить, в словах Лигии заключался настоящий бальзам. В эту минуту он забыл, что ее устами может говорить христианское учение, и чувствовал только, что это говорит любимая женщина и что в ее ответе слышится какая-то заботливость, какая-то нечеловеческая доброта, которая потрясла его до глубины души. Как несколько минут тому назад от боли, так теперь он ослабел от волнения. На него напала какая-то слабость, непреодолимая и сладкая. Он испытывал такое впечатление, как будто падал в какую-то пропасть, но вместе с тем чувствовал, что ему хорошо и что он счастлив. В эту минуту слабости он думал, что над ним стоит божество.

Тем временем Главк кончил обмывать его голову и приложил к ней целительную мазь. Урс принял из рук Лигии медный сосуд, а она, взяв со стола заранее приготовленную чашу воды с вином, поднесла ее к устам раненого. Виниций жадно выпил ее и почувствовал огромное облегчение. После перевязки боль его почти совсем прекратилась. Раны и ушибы перестали ныть. Он совсем пришел в себя.

— Дай мне еще пить, — сказал он.

Лигия с пустою чашей ушла в соседнюю комнату, а Крисп, обменявшись несколькими словами с Главком, приблизился к ложу и сказал:

— Виниций, Бог не дозволил тебе совершить злое дело, но сохранил твою жизнь, чтобы ты опаматовался в душе. Тот, перед лицом которого человек есть прах, предал тебя, безоружного, в наши руки, но Христос, в которого мы веруем, повелел нам любить даже врагов. Мы перевязали твои раны и, как сказала Лигия, будем молить, чтобы Бог возвратил тебе здоровье, но дальше присматривать за тобою не можем. Оставайся в мире и подумай, прилично ли тебе и дальше преследовать Лигию, которую ты лишил защитников, у которой отнял родной дом, и нас, которые заплатили тебе добром за зло?

— Вы хотите покинуть меня? — спросил Виниций.

— Мы хотим покинуть этот дом, — здесь мы можем подвергнуться преследованию префекта города. Товарищ твой убит, а ты, считающийся главным между своими, лежишь раненый. Не по нашей вине произошло это, но на нас мог бы обрушиться гнев закона.

— Не бойтесь преследования, — сказал Виниций. — Я защищу вас.

Крисп не хотел ему сказать, что тут дело идет не только о префекте и полиции, что они не доверяют и ему и хотят обеспечить Лигию от его дальнейших преследований.

— Господин, — сказал он, — вот дощечки и стиль¹, — напиши своим слугам, чтоб они пришли за тобою сегодня вечером с носилками и отнесли тебя домой, где тебе будет удобнее, чем среди нашей нищеты. Мы здесь живем у бедной вдовы; она скоро придет с своим сыном, мальчик отнесет твое письмо, а мы все должны будем искать нового убежища.

Виниций побледнел. Он понял, что его хотят разлучить с Лигией, и что если он снова потеряет ее, то, может быть, не увидит ее никогда в жизни. Правда, ему было ясно, что между ним и ею произошло нечто серьезное, в силу чего он, если хочет обладать ею, должен искать новых путей, о которых ему еще не было времени подумать.

¹ Римляне писали на навощенных дощечках (*tabulae ceratae*) заостренной палочкой, — железной или костяной (*stilus, grafium*).

Он также понимал, что ни скажи он этим людям, — пообещай им, например, возвратить Лигию Помпонию Грецине, — они имеют право не поверить ему и не поверят. Ведь это он мог сделать давно: вместо того, чтобы преследовать Лигию, мог отправиться к Помпонию и обещать ей, что он отказывается от поисков, — в таком случае Помпонию сама отыскала бы и взяла девушку назад в свой дом. Нет, он чувствовал, что никакие обещания в таком роде не в силах удержать их и никакая торжественная клятва его принята не будет, тем более что он не христианин. Мог ли бы он клясться бессмертными богами, в которых и сам не очень верил и которых христиане считали злыми духами?

Он страстно желал примириться и с Лигией, и с теперешними ее защитниками, но каким образом? Для этого нужно было время. Кроме того, ему необходимо было хоть несколько дней видеть ее. Как всякий обломок доски или весло кажется утопающему спасением, так и Виницию казалось, что в течение этих дней он будет в состоянии сказать ей что-то такое, что приблизит ее к нему. И, собравшись с мыслями, он проговорил:

— Послушайте меня, христиане. Вчера я вместе с вами был в Остриане и слушал изложение вашего учения; но если бы я и не знал его, ваши действия убедили бы меня, что вы — люди хорошие и добрые. Скажите вдове, которая живет в этом доме, чтоб она осталась в нем, вы оставайтесь также и мне позвольте остаться. Пусть этот человек (он перевел взгляд на Главка) — врач ли он, или просто умеющий перевязывать раны, — скажет, можно ли меня переносить сегодня? Я болен, у меня сломана рука, в течение нескольких дней она должна оставаться неподвижной, и поэтому я заявляю вам, что не тронусь отсюда, разве вы только силою вынесете меня отсюда.

Он остановился; его разбитой груди не хватало воздуха. Крисп сказал:

— Господин, никто не употребит насилия против тебя, только мы унесем отсюда свои головы.

Не привыкший к сопротивлению молодой человек сморщил брови и ответил:

— Дайте мне вздохнуть.

Через минуту он заговорил:

— О Кротоне, которого задушил Урс, никто не спросит; он сегодня должен был уехать в Беневент, куда его пригласил Ватиний. Все будут думать, что он уехал. Когда мы с Кротонем вошли сюда, нас никто не видал, кроме одного грека, который был с нами в Остриане. Я скажу вам, где он живет, приведите его ко мне, и я прикажу ему молчать, потому что он состоит у меня на жалованье. Домой я напишу, что также уехал в Беневент. Если грек дал уже знать префекту, то я заявляю ему, что Кротона убил я и что он сломал мне руку. Сделайте так, ради теней моего отца и матери, и вы останетесь здесь в безопасности, — ни один волос не спадет с вашей головы. Приведите сюда поскорее грека; его зовут Хилон Хилонид.

— Да ведь с тобою останется Главк, господин, и вдова; они оба будут ухаживать за тобою.

Виниций еще больше нахмурился.

— Обрати внимание, старый человек, на то, что я скажу тебе. Я обязан тебе благодарностью, ты кажешься мне добрым и заслуживающим уважения, но не говоришь мне того, что таится на глубине твоей души. Ты боишься, чтоб я не вызвал своих невольников и не приказал бы им похитить Лигию? Не так ли?

— Да, — с оттенком суровости ответил Крисп.

— Прими во внимание, что с Хилоном я буду разговаривать при вас, при вас напишу домой, что я уехал и что других посланцев, кроме вас, у меня потом не будет... Взвесь это сам и больше не раздражай меня.

Он взволновался, лицо его исказилось гневом, и он продолжал в раздражении:

— Неужели ты думаешь, что я буду скрывать, что хочу оставаться для того, чтоб видеть ее?... Это понял бы всякий гаупец, хотя бы я и запирался. Но силою я теперь ее не буду уже брать более... А тебе скажу еще кое-что. Если она не останется здесь, то своею здоровою рукой я сорву повязку с больной головы, не буду принимать ни пищи, ни питья, и да падет моя смерть на тебя и на твоих братьев. Зачем ты перевязывал мои раны, отчего не приказал убить меня?

Он побледнел от гнева и слабости. Лигия, которая из другой комнаты слышала весь разговор и которая была уверена, что Виниций сделает все, что обещает, испугалась его слов. Раненый и безоружный, он возбуждал в ней сожаление, а не страх. Со времени своего бегства, живя среди людей, погруженных в непрестанное религиозное упоение, размышляющих только о самопожертвовании, самоотвержении и безграничном милосердии, она сама прониклась этим веянием до такой степени, что оно заменило ей дом, семью, утраченное счастье и обратило ее в одну из тех дев-христианок, которые впоследствии изменили старую душу мира. Виниций чересчур сильно повлиял на ее судьбу, чересчур большую роль играл в ее жизни, чтоб она могла забыть о нем. Она думала о нем по целым дням и не раз просила Бога о такой минуте, когда, следуя своему учению, она могла бы заплатить ему добром за зло, милосердием за преследование, сломить его, завоевать для Христа, спасти. А теперь ей казалось, что именно такая минута наступила и что молитвы ее услышаны.

И она приблизилась к Криспу с вдохновенным лицом и начала говорить так, как будто ее устами говорил кто-то другой:

— Крисп, пусть он останется с нами, и мы останемся с ним до тех пор, пока Христос не исцелит его.

Старый пресвитер, привыкший во всем искать божественное вдохновение, видя эту экзальтацию, подумал, что устами Лигии, может быть, говорит высшая сила, оробел и поник седою головой.

— Да будет так, как говоришь ты, — сказал он.

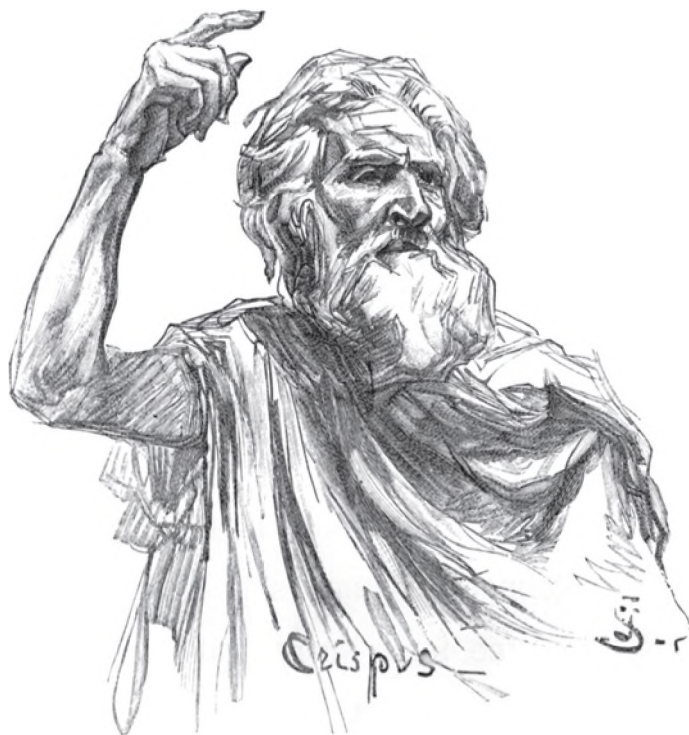
На Виниция, который все время не спускал глаз с Лигии, это повиновение Криспа произвело странное и захватывающее впечатление. Ему показалось, что Лигия среди христиан играет роль какой-то Сивиллы¹ или жрицы, которую окружает почет и поклонение. И поневоле он сам поддался тому же. К его любви теперь присоединилось какое-то опасение, при существовании которого самая любовь становилась чуть ли не дерзостью. Притом он не мог освоиться с мыслью, что отношения их изменились, что теперь не она зависит от его воли, а он от воли ее; что он лежит больной, искалеченный, перестал представлять собою наступательную силу и походит на какого-то безоружного ребенка, состоящего под ее покровительством. Для его натуры, гордой и самовольной, подобное отношение ко всякому другому казалось бы унижительным, но к Лигии он чувствовал признательность, как к своей госпоже. Чувства эти были незнакомы ему и день тому назад не могли бы уместиться в его голове; они и теперь

¹ *Sibylla* — это имя носили вещи, боговдохновенные женщины, которых относили к разным временам и народам.

поразили бы его, если б он мог отдать себе ясный отчет в них. Но теперь он не спрашивал, почему это так, как будто это было делом совершенно естественным, и только сознавал себя счастливым, что остается здесь.

Он хотел благодарить ее с признательностью и еще каким-то чувством, до такой степени незнакомым ему, что он не мог назвать его по имени, потому что это была простая покорность. Испытанный им восторг до такой степени исчерпал его силы, что он не мог говорить и благодарил Лигию только глазами, в которых светилась радость, что он остается при ней и будет иметь возможность смотреть на нее завтра, послезавтра, может быть, долго. Правда, к радости этой примешивалось опасение утратить то, что он нашел, — опасение настолько сильное, что когда Лигия опять подала ему воды и когда у него вспыхнуло желание схватить ее руку, он побоялся сделать это, — он, Виниций, который на пиршестве у цезаря насильно целовал ее в губы, а после ее бегства обещал себе, что втащит ее за волосы в кубикул или прикажет бичевать ее.





ГЛАВА II

Вместе с тем Виниций опасался, как бы какая-нибудь несвоевременная помощь извне не смутила его радости. Хилон мог сообщить об его исчезновении префекту города, в таком случае вторжение вигилов в маленький домик являлось очень правдоподобным. Правда, в голове Виниция мелькнула мысль, что тогда он мог бы приказать схватить Лигию и запереть ее у себя в доме, но он тотчас же почувствовал, что так поступить он не должен и не может. Он был человеком самовольным, самонадеянным и порядочно испорченным, в случае надобности даже неумолимым, но он не был ни Тигеллином, ни Нероном. Военная жизнь внушила ему известное чувство справедливости и совести настолько, что он понимал, что такой поступок был бы чудовищно подлым. Он, может быть, отважился бы на это в припадке злости, здоровый, но теперь он был растроган и болен, и ему нужно было только чтоб никто не становился между ним и Лигией.

С удивлением заметил он, что с минуты, когда Лигия перешла на его сторону, ни она сама, ни Крисп не потребовали от него никаких обещаний, как будто были уверены, что в случае беды их охранит какая-то сверхъестественная сила. Виниций, в голове которого с тех пор, как он слышал в Остриане поучения и рассказ апостола, возможное начало сливаться с невозможным, так же не был далек от предположения, что это могло быть на самом деле. Но, придя в себя, он напомнил присутствующим, что говорил им о греке, и снова потребовал, чтобы к нему привели Хилона.

Крисп согласился на это, и решено было послать Урса. Виниций, который в последние дни часто, хотя и без всякой пользы, посылал своих невольников к Хилону, подробно рассказал Лигии, где он живет, потом, начертав несколько слов на дощечке, обратился к Криспу:

— Я посылаю дощечку потому, что это человек подозрительный и хитрый. Часто он приказывал моим людям отвечать, что его нет дома, в особенности когда у него не было для меня добрых известий и он опасался моего гнева.

— Мне бы только найти, а то я уже приведу его, хочет ли он или не хочет, — ответил Урс, взял плащ и поспешно вышел из дома.

Найти кого-нибудь в Риме было нелегко, хотя бы при самых точных указаниях, но Урсу в таких случаях помогал инстинкт лесного человека, а также и хорошее знакомство с городом, так что вскоре он очутился в жилище Хилона.

Грека он, однако, не узнал. Перед этим он видел его только один раз в жизни, да и то ночью. Наконец, тот возвышенный и полный веры в себя старец, который приказывал ему убить Главка, так был непохож на этого грека, скрюченного чуть ли не вдвое, что никто не мог предположить их тождества. Хилон сообразил, что Урс смотрит на него, как на человека совершенно чужого, и оправился от первого страха. Вид дощечки Виниция успокоил его еще больше. По крайней мере, его не подозревали, что он нарочно ввел молодого патриция в засаду. Хилон подумал притом, что христиане, очевидно, потому не убили Виниция, что не осмелились поднять руку на такую важную особу.

«Значит, в случае надобности Виниций защитит и меня, — сказал он самому себе, — не для того же он призывает меня, чтоб убить».

И, набравшись храбрости, он спросил:

— Добрый человек, разве мой друг, благородный Виниций, не прислал за мной носилок? Ноги у меня опухли, и я не могу идти так далеко.

— Нет, — ответил Урс, — мы пойдем пешком.

— А если я откажусь?

— Не делай этого, потому что ты должен идти.

— Я и пойду, но по собственному желанию. Иначе никто бы меня не принудил, потому что я человек свободный и друг префекта города. Как мудрец, я обладаю различными средствами против насилия и умею обращать людей в зверей и в деревья. Но я пойду... пойду! Я только надену более теплый плащ и капюшон, чтоб меня не узнали невольники той части города, иначе они будут останавливать меня на каждом шагу и целовать мои руки.

Он надел другой плащ, на голову накиннул широкий галльский капюшон из опасения, чтобы Урс не узнал его, когда они выйдут на более яркий свет.

— Куда ты ведешь меня? — спросил он Урса по дороге.

— В Затибрскую часть.

— Я недавно в Риме и никогда не был там, но, вероятно, и там живут люди, которые любят добродетель.

Но Урс, который был человеком наивным и который слышал от Виниция, что грек был с ним на кладбище, а потом видел, как они вместе с Кротонем входили в дом, где жила Лигия, остановился на минуту и сказал:

— Не лги, старый человек: сегодня ты был с Виницием в Остриане и потом у наших ворот.

— Ах, так это ваш дом находится за Тибром? Я недавно в Риме и не знаю, как называются разные части. Да, друг мой! Я был у ваших ворот, и во имя добродетели заклинал Виниция не входить в них. Был я и в Остриане, но знаешь почему? С некоторого времени я тружусь над обращением Виниция и хотел, чтоб он услышал старейшего из апостолов. Да проникнет свет в его душу... и в твою! Ты ведь христианин, — желаешь ли ты, чтоб правда торжествовала над ложью?

— Да, — покорно ответил Урс.

К греку вернулась вся его храбрость.

— Виниций — человек могущественный и друг цезаря, — сказал он. — Он еще часто внимает внушению духа зла, но если хоть один волос спадет с его головы, цезарь отомстит всем христианам.

— Нас оберегает высшая сила.

— Правильно, правильно! Но что вы намереваетесь делать с Виницием? — с новым беспокойством спросил Хилон.

— Не знаю. Христос повелел быть милосердным.

— Превосходно сказано! Помни об этом всегда, иначе будешь ты жариться в аду, как кишка на сковороде.

Урс вздохнул, а Хилон подумал, что с этим человеком, страшным во время первого порыва, он всегда может сделать, что захочет.

И, желая знать, что случилось при похищении Лигии, он продолжал расспросы тоном сурового судьбы:

— Что вы сделали с Кротонем? Отвечай и не выдумывай.

Урс вздохнул во второй раз:

— Тебе это скажет Виниций.

— Это значит, что ты пырнул его ножом или убил палкой?

— Я был безоружен.

Хилон не мог не выразить своего удивления нечеловеческой силе варвара.

— О, чтоб тебя Плутон!.. То есть я хотел сказать: да простит тебя Христос!

Несколько времени прошло в молчании, потом Хилон сказал:

— Я тебя не предаю, не бойся вигилов.

— Я боюсь Христа, а не вигилов.

— Верно. Нет греха большего, чем убийство. Я буду молиться за тебя, но не знаю, поможет ли даже моя молитва, разве если ты дашь клятву, что никогда в жизни никого не тронешь пальцем.

— Я и так не убиваю преднамеренно, — ответил Урс.

Но Хилон, который желал обеспечить себя на всякий случай, не переставал осуждать поступки Урса и склонять его к произнесению обета. Расспрашивал он и о Виниции, но лигиец на его вопросы отвечал неохотно и повторял, что от самого Виниция грек услышит все, что должен слышать. Разговаривая таким образом, они прошли все длинное расстояние, отделявшее дом грека от Затибрской части города. Сердце Хилона вновь начало беспокойно биться. От страха ему показалось, что Урс начинает смотреть на него алчным взглядом. «Небольшое мне утешение, — говорил он самому себе, — что он убьет меня ненамеренно, и я, во всяком случае, предпочитал бы, чтоб его разбил паралич, а с ним вместе и всех лигийцев... О, Зевс! сотвори это, если ты сумеешь!» И он все тщательнее закутывался в свой галльский плащ, повторяя, что боится холода. Наконец, когда они прошли уже сени

и первый двор и очутились в коридоре, ведущем в садик, Хилон вдруг остановился и сказал:

— Дай мне вздохнуть, иначе я не буду в состоянии говорить с Виницием и надевать его душеспасительными советами.

Он остановился, и хотя повторял себе, что никакая опасность не угрожает ему, однако при мысли вступить в среду тех таинственных людей, которых видел в Остриане, он чувствовал, что ноги его начинают трястись. Из дома до его ушей доходило какое-то пение.

— Что это такое? — спросил он.

— Ты говоришь, что ты христианин, а не знаешь, что у нас есть обычай после пищи восхвалять нашего Избавителя, — ответил Урс. — Мириам с сыном, должно быть, возвратились, а может быть, с ними пришел и апостол, потому что он каждый день навещает вдову и Криспа.

— Проводи меня прямо к Виницию.

— Виниций в той же комнате, где и все. В доме только одна большая комната, остальные только темные кубукулы, куда мы отправляемся спать. Войди — там отдохнешь.

Они вошли. В комнате было темно, вечер стоял пасмурный, зимний, а пламя нескольких светильников не могло совсем разогнать мрак. Виниций скорее почувствовал, чем узнал в закутанном человеке Хилона, а тот, увидав в углу на постели Виниция, не обращая внимания на других, бросился прямо к нему, как бы в уверенности, что там ему будет безопаснее.

— О, господин! Отчего ты не послушал моего совета? — воскликнул он, складывая руки.

— Молчи и слушай! — сказал Виниций.

Он строго посмотрел прямо в глаза Хилона и заговорил медленно и с расстановкой, словно хотел, чтобы каждое его слово принималось как приказ и раз навсегда осталось в памяти Хилона:

— Кротон бросился на меня, чтобы убить и ограбить меня, понимаешь? Тогда я убил его, а эти люди перевязали раны, которые я получил в борьбе с ним.

Хилон сразу понял, что если Виниций говорит так, то разве в силу какого-нибудь договора с христианами, и в таком случае хочет, чтоб ему верили. Он узнал это по его лицу и в одно мгновение, не выказавши ни сомнения, ни удивления, поднял глаза кверху и ответил:

— Это был истинный негодяй, господин! Ведь я предостерегал тебя, чтоб ты не верил ему. Все мои поучения отскакивали от его головы, как горох от стены. Во всем Гадесе нет для него достойных мук. Ибо кто не может быть хорошим человеком, тот должен быть негодяем, а кому же труднее сделаться хорошим, как не негодяю? Но чтоб нападать на своего благодетеля и господина столь великодушного... О, боги!..

Тут он вспомнил, что во время дороги называл себя христианином, и замолк.

Виниций сказал:

— Если б не «сика»¹, которая была со мной, он бы убил меня.

— Я благословляю минуту, в которую посоветовал тебе взять кинжал.

Виниций обратил на грека пылливый взор и спросил:

— Что ты делал сегодня?

¹ *Sica* — кинжал.

— Как? разве ты не сказал мне, чтоб я молился за твое здоровье?

— И больше ничего?

— Я собирался навестить тебя, когда пришел вот этот добрый человек и сказал, что ты вызываешь меня.

— Вот дощечка. Ты пойдешь с нею ко мне в дом, отыщешь моего отпущенника и отдашь ему дощечку. На ней написано, что я уехал в Беневент. От себя Демасу скажи, что я уехал сегодня утром, так как получил настоящее письмо от Петрония.

И он повторил с ударением:

— Уехал в Беневент, понимаешь?

— Уехал, господин! Утром я простился с тобою у *Porta Capena*, а с минуты твоего отъезда мною овладела такая тоска, что если твое великодушие не утолит ее, я затоскую до смерти, как несчастная жена Зефа с горя по Итиле¹.

Виниций, хотя больной и привыкший к ловкости грека, не мог удержаться от улыбки. Притом он был рад, что Хилон на лету понимает его слова, и он сказал:

— Я припишу, чтоб отерли твои слезы. Дай мне светильник.

Хилон, совершенно успокоившийся, встал, сделал несколько шагов по направлению к камину и взял один из светильников.

При этом движении капюшон свалился с его головы, и свет прямо упал на его лицо. Сидевший на скамейке Главк быстро подошел и остановился возле грека.

— Ты не узнаешь меня, Кифа? — спросил он.

В голосе его было что-то до такой степени страшное, что все присутствующие вздрогнули.

Хилон поднял светильник, но почти в ту же минуту уронил его на пол и проstonал:

— Не я!.. не я!.. Сжался!

Главк обратился в сторону ужинающих и сказал:

— Вот человек, который предал и погубил меня и мою семью!

Его история была известна и всем христианам, и Виницию, который только потому не догадался, кто таков был Главк, что за постоянными обмороками и болью при перевязке не слышал его имени. Но для Урса эта короткая минута и эти слова Главка были чем-то вроде молнии, прорезавшей мрак. Он узнал Хилона, одним скачком очутился возле него, схватил его за плечи, и, перегнув назад, крикнул:

— Это он подговаривал меня убить Главка!

— Сжалтесь! — стонал Хилон, — я отдам вам... Господин! — закричал он, обращаясь к Виницию, — спаси меня! Я доверился тебе, вступишь за меня... Твое письмо... я отнесу... Господин, господин!

Но Виниций, который хладнокровнее всех смотрел на происходящее, во-первых потому, что все дела грека были более или менее известны ему, а во-вторых потому, что сердце его не знало милосердия, сказал:

— Заройте его в саду. Письмо отнесет кто-нибудь другой.

Хилону эти слова показались последним приговором. Кости его начали трещать в страшных руках Урса, на глазах от боли навертывались слезы.

¹ Лэдона, жена фивского царя Зефа, завидуя большому количеству детей Ниобей, решила убить ее старшего сына, но по ошибке убила своего сына Итила. Зевс обратил ее в соловья, непрерывно оплакивающего свою потерю.

— Ради вашего Бога! — взывал он, — я христианин!.. *Pax vobiscum!* Я христианин, а если вы не верите мне, то окрестите меня еще один раз, два раза, еще десять раз! Главк, это ошибка! Позвольте мне говорить! Отдайте меня в рабство! Не убивайте меня! Сжальтесь!..

Голос его, подавленный болью, слабел все больше и больше. Из-за стола поднялся апостол Петр; с минуту он покачивал своею белою головой, глаза его были закрыты, но потом он открыл их и сказал среди тишины:

— Вот что сказал нам Избавитель: «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается — прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет: каюсь, — прости ему!»

Потом наступило еще более глубокое молчание.

Главк долго стоял с лицом, закрытым руками, наконец опустил их и сказал:

— Кифа, да простит тебе Бог обиду, нанесенную мне, так, как я во имя Христа прощаю ее тебе.

А Урс, освободив плечи грека, добавил:

— Да будет Избавитель так же милостив ко мне, как и я прощаю тебе.

Хилон упал наземь и, опершись на руки, поворачивал голову, как зверь, попавший в силки, оглядывается вокруг и ждет, с какой стороны придет смерть. Он еще не верил ни глазам, ни ушам своим и не смел рассчитывать на прощение.

Но сознание мало-помалу возвращалось к нему, только его посиневшие губы еще дрожали от страха. Тогда апостол сказал:

— Иди с миром!

Хилон встал, но еще не мог говорить. Невольно он приблизился к постели Виниция, как будто ожидая его покровительства. У него еще не было времени сообразить, что Виниций, хотя и пользовался его услугами и был до некоторой степени его сообщником, собственно, и осудил его, тогда как те, кому он наносил зло, простили его. Мысль эта должна была после прийти ему в голову. Теперь во взгляде его было только изумление и недоверие. Хотя он уже понял, что его простили, но, тем не менее, желал как можно скорее убежать от этих непонятных людей, доброта которых ужасала его почти так же, как ужаснула бы жестокость. Ему казалось, что останься он здесь дольше, то снова произойдет что-нибудь необыкновенное и, остановившись возле Виниция, он проговорил прерывающимся голосом:

— Давай письмо, господин.

Схватив дощечку, которую подал ему Виниций, он отвесил один поклон христианам, другой больному и, сторонкой, подвигаясь вдоль стены, вышел в двери.

В саду его охватила темнота, и страх снова поднял дыбом волосы на его голове. Он был уверен, что Урс выйдет вслед за ним и убьет его. Он побежал бы, но ноги не слушались его, а через несколько минут он и совсем потерял самообладание, потому что Урс действительно предстал перед ним.

Хилон упал лицом наземь и пробормотал:

— Урбан... во имя Христа...

Урс ответил:

— Не бойся. Апостол приказал мне вывести тебя за ворота, чтобы ты не заблудился в темноте, а если тебе изменяют силы, то проводить до дома.

Хилон поднял голову.

— Что говоришь ты? Что?.. Ты не убьешь меня?

— Нет, я не убью тебя, а если я сдавил тебя чересчур сильно и повредил тебе кости, то прости меня.

— Помоги мне встать, — сказал грек, — Ты не убьешь меня? да? Проводи меня на улицу, а дальше я пойду один.

Урс поднял его с земли, как перышко, поставил на ноги и проводил через темный проход на двор. В коридоре Хилон опять повторял про себя: «Все кончено!» — и только когда они очутились на улице, немного успокоился и сказал:

— Дальше я пойду один.

— Да будет с тобою мир!

— И с тобою, и с тобою!.. Дай мне вздохнуть!

После ухода Урса он действительно вздохнул всею грудью, провел рукою по груди, по бедрам, как бы желая убедиться, действительно ли он жив, и быстро пошел вперед.

Пройдя несколько шагов, он остановился и сказал:

«Однако отчего они не убили меня?»

И, несмотря на свои беседы с Эврицием о христианском учении, несмотря на разговор с Урбаном у реки, несмотря на все, что он видел в Остриане, — Хилон не мог найти ответа на этот вопрос.





— Кифа, да протит тебе Бог обиду, нанесенную мне, так, как я во имя Христа прощаю ее тебе.



ГЛАВА III

Виниций также не мог дать себе отчета в том, что произошло сегодня, и в глубине души был удивлен не меньше Хилона. Ведь и с ним самим эти люди обошлись точно так же, и вместо того чтоб отомстить за нападение, заботливо перевязали его раны. Это Виниций отчасти приписывал их учению, в значительно большей степени влиянию Лигии, а немного и своему значению. Но их поступок с Хилоном положительно превосходил его понимание о человеческой способности прощать. И ему также невольно навязывался вопрос: почему они не убили грека? Ведь они могли бы сделать это безнаказанно. Урс закопал бы его в саду или ночью вынес бы на Тибр, который в то время ночных разбоев, производимых самим цезарем, так часто выбрасывал на берег человеческие тела, что никто даже и не доискивался, откуда они берутся. При этом, по мнению Виниция, христиане не только могли, но должны были убить Хилона. Правда, милосердие не было чуждо миру, к которому принадлежал молодой патриций. Афиняне воздвигли ему даже алтарь и долгое время сопротивлялись против введения в Афинах состязаний гладиаторов. Бывало, и в Риме побежденные получали помилование, — например, Каликрат, царь бретонов, который был взят в плен при Клавдии. Император потом щедро одарил его, и Каликрат свободно жил в Риме.

Но месть за личные обиды казалась как Виницию, так и всем остальным справедливою и законною, а пренебрежение этою местию было противно его душе. Положим, в Остриане он слышал, что нужно любить даже врагов, но считал это какою-то теорией, не имеющей значения в жизни. И сейчас еще ему в голову приходило, что Хилон, может быть, не убили только потому, что теперь был праздник или луна находилась в такой фазе, когда христианам воспрещается убивать. Он слышал, что бывает такая пора, когда народам нельзя даже и войны начинать. Но почему в таком случае грека не отдали в руки правосудия, почему апостол говорил, что если кто-нибудь семь раз провинится, то ему нужно простить семь раз, почему Главк сказал Хилону: «Да простит тебя Бог, как я прощаю тебе»? А ведь Хилон оказал ему величайшую несправедливость, какую один человек может оказать другому. Сердце Виниция при одной мысли, как бы он поступил с тем, кто, например, убил бы Лигию, все взволновалось: не было таких мук, какими он не отмстил бы за нее! А Главк простил! И Урс простил также, — он, который действительно мог бы убить кого угодно в Риме, и притом совершенно безнаказанно, потому что затем ему нужно было только убить царя Неморенского леса и занять его место¹. Разве тому, против кого не устоял Кротон, трудно было бы победить гладиатора, отправляющего должность жреца, раз до этой должности мог достигнуть всякий, кто только убьет предыдущего «царя»? На все эти вопросы был только один ответ: они не убивают по какой-то доброте, настолько великой, что равной ей до сих пор не было на свете, по безграничной любви к людям, которая повелевает забывать о себе, о своих обидах, о своем счастье и несчастье и жить для других. Какое вознаграждение должны были получить эти люди, Виниций слышал в Остриане, но это не умещалось в его голове. Зато он чувствовал, что такая земная жизнь, сопряженная с обязательством отречься от всякого наслаждения в пользу других, должна быть скучною и убогою. В его представлении о христианах наряду с величайшим изумлением было и сожаление, и словно оттенок презрения. Ему представилось, что христиане — это овцы, которых раньше или позже съедят волки, а его римская натура не была способна чувствовать почтение к тем, которые позволяют себя есть. Но в особенности его разозлила одна вещь, — это именно то, что после ухода Хилонка какая-то глубокая радость засияла на лицах всех оставшихся. Апостол приблизился к Главку, положил руку к нему на голову и сказал:

— Христос победил в тебе.

Главк поднял кверху глаза, такие доверчивые, полные такой радости, как будто на него излилось какое-то неожиданное счастье. Виниций, который мог бы понять радость осуществленной мести, смотрел на него широко раскрытыми глазами, так, как смотрят на сумасшедшего. Однако он видел, и видел не без внутреннего негодования, как потом Лигия прижала свои царственные уста к руке этого человека, который по виду походил на невольника, и Виницию показалось, что порядок всего мира изменится. Потом пришел Урс и начал рассказывать, как он вывел Хилонка на улицу и просил прощения за вред, который нанес его костям. Апостол благословил его, а Крисп заявил, что для него этот день — день великой победы. Услышав об этой победе, Виниций совершенно потерял нить мыслей.

¹ В Неморенском лесу, близ города Ариции, в 16 милях от Рима находился храм Дианы. Главным жрецом (*nemoralis rex*) был бежавший раб, отправлявший свою должность до тех пор, пока его не убьет другой раб.

Но когда Лигия снова подала ему освежающий напиток, он задержал ее руку и спросил:

— Так и ты простила мне?

— Мы — христиане. Нам нельзя хранить гнев в сердце.

— Лигия, — сказал тогда Виниций, — кем бы ни был твой Бог, я принесу ему гекатомбу только потому, что он твой Бог.

А она ответила:

— Ты принесешь ему жертву в своем сердце, когда узнаешь его.

— Только потому, что он твой, — слабым голосом повторил Виниций.

И он сомкнул веки, — им вновь овладела слабость.

Лигия ушла, но вскоре вернулась, подошла близко к Виницию и наклонилась над ним удостовериться, спит ли он. Виниций почувствовал ее близость и, открыв глаза, улыбнулся, а она слегка положила руку на его ресницы, как будто желала усыпить его. Виниция охватило великое блаженство, но вместе с тем он почувствовал себя хуже. Так и должно было быть. Была уже поздняя ночь, а вместе с нею на Виниция напала горячка. Заснуть он не мог и следил за Лигией взглядом, куда бы она ни двинулась. По временам он впадал в какой-то полусон, в котором он видел и слышал все, что делалось вокруг него, но в котором действительность мешалась с горячечными видениями. И ему казалось, что на каком-то старом, запущенном кладбище возвышался храм в форме башни, и что Лигия — жрица этого храма. Он не сводил с нее глаз, но видел ее на вершине башни, с лютнею в руках, всю озаренную светом, подобную тем жрицам, которые в ночное время поют гимны в честь луны и которых он видел на Востоке. Сам Виниций с великим усилием взбирался по винтовой лестнице, чтоб похитить Лигию, за ним шел Хилон, который стучал зубами от страха и повторял: «Не делай этого, господин, она жрица, и он отомстит за нее». Виниций не знал, кто был «он», но, однако, понимал, что совершает святотатство, и также чувствовал непреодолимый страх. Но когда он дошел до балюстрады, окружающей вершину башни, вдруг около Лигии вырос апостол с серебряною бородой и сказал: «Не поднимай на нее руки, ибо она принадлежит мне». И, сказав это, он пошел за нею по месячному лучу, как бы по дороге, к небу, а Виниций протянул к нему руки и начал умолять, чтоб они взяли его с собою.

Он проснулся, опамятовался и начал оглядываться вокруг. Огонь на высоком очаге горел уже слабее, но давал еще много света, христиане сидели и грелись, — на дворе и в комнате было довольно холодно. Виниций видел, как дыхание в виде пара выходило у них изо рта. В середине сидел апостол, у его колен на низенькой скамейке Лигия, дальше Главк, Крисп, Мириам, а по краям с одной стороны Урс, с другой Назарий, сын Мириам, молодой мальчик с красивым лицом и длинными черными волосами, которые спадали ему на плечи.

Лигия слушала, подняв глаза на апостола, и все головы были обращены к нему, а он говорил что-то вполголоса. Виниций начал смотреть на него с каким-то суеверным страхом, чуть-чуть не меньшим того, который испытывал в горячечных видениях. Ему пришло в голову, что в горячке ему чудилась правда и что этот маститый пришелец с далеких берегов действительно отнимает у него Лигию и ведет ее по какой-то незнакомой дороге. Он был уверен, что старец говорит о нем, может быть, советует, как разлучить с ним Лигию. Виницию казалось вещь совершенно неправдоподобной, чтобы кто-нибудь мог говорить о чем-нибудь другом, и, собравши все свои силы,

он начал вслушиваться в слова Петра. Но он ошибался совершенно. Апостол опять говорил о Христе.

«Они только его именем и живут!» — подумал Виниций.

А старец рассказывал, как взяли Христа. Пришли солдаты и слуги священников, чтобы взять его. Когда Избавитель спросил, кого они ищут, они ответили: «Иисуса Назаряя!» Иисус говорит им: «Это я!» Они пали на землю и не смели поднять на него руки, и только после вторичного вопроса взяли его.

Тут апостол замолк на минуту, потом протянул руку к огню и сказал:

— Ночь была холодна, как теперь, но во мне закипело сердце, я извлек меч, чтобы защищать его, и отсек ухо раба первосвященника. И я защищал бы его более своей жизни, если б он не сказал мне: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины взяли и связали его.

Он приложил руки ко лбу и замолк, желая перед дальнейшим рассказом справиться с силою воспоминаний, но Урс не мог выдержать, вскочил, поправил огонь так, что искры посыпались золотистым дождем, и воскликнул:

— Ну, будь что угодно, я бы...

Но он вдруг оборвался, когда Лигия приложила палец к губам. Было только видно, что он возмущается до глубины души, и хотя готов целовать ноги апостола, но не может одобрить одного его поступка. Вот если бы, скажем, при нем, при Урсе, кто-нибудь поднял руку на Спасителя, и если б он был с ним в ту ночь, — ой и полетели бы щепки от солдат и от слуг первосвященника и от всей его челяди! У Урса даже глаза наполнились слезами при одной мысли о том, — и от горя, и от душевного разлада. С одной стороны, он не только сам защищал бы Спасителя, но еще призвал бы на помощь лигийцев, молодцов к молодцу, а с другой — оказал бы ему неповиновение и помешал бы искуплению мира.

Поэтому-то Урс и не мог удержать слез.

Петр, отняв руку ото лба, повел свой рассказ дальше, но Виниция снова охватил горячечный полусон. То, что он слышал теперь, смешалось с тем, что апостол рассказывал прошлую ночью в Остриане, как Христос появился на берегу Тивериадского озера. Виниций видел широко разлившуюся гладь, на ней рыбацью ладью, а в ладье Петра и Лигию. Сам Виниций изо всех сил плыл за ними, но боль в сломанной руке мешала ему достигнуть до них. Потом буря начала бросать волны ему в глаза, и он начал тонуть, умоляющим криком призывая к себе на спасение. Тогда Лигия упала на колени перед апостолом, тот повернул лодку и протянул весло. Виниций схватился за него, при помощи апостола и Лигии вскарабкался в лодку и упал на ее дно.

Потом ему представилось, что, приподнявшись, он увидел множество людей, плывущих за лодкой. Волны своею пеной покрывали их головы; у других из ому-та виднелись только одни руки, но Петр то и дело спасал утопающих и забирал их в лодку, которая словно по какому-то чуду все расширялась и расширялась. Вскоре ее наполняла целая толпа, такая же, какая вчера собралась в Остриане, а потом и еще больше. Виниций удивлялся, как столько народу могло помещаться в одной лодке, и его взял страх, что она пойдет ко дну, но Лигия начала успокаивать его и указала на какой-то свет, мелькавший на далеком берегу, к которому они плыли. Здесь бред Виниция снова смешался с тем, что он слышал в Остриане из уст апостола, как Христос появился над озером. Теперь в этом надбрежном огне виднелась какая-то фигура, к которой Петр направлял свой руль. И по мере того как они приближались к ней,





Потом буря начала бросать волны ему в глаза, и он начал тонуть, умоляющим криком призывая к себе на спасение.

буря утихала, поверхность воды сглаживалась, а свет усиливался. Толпа начала петь сладкий гимн, воздух наполнился запахом нарда, вода заискрилась радугой, как будто со дна озера просвечивали лилии и розы, и наконец лодка мягко ударилась грудью о песок. Тогда Лигия взяла его за руку и сказала: «Пойдем, я поведу тебя!» И она повела его к свету.

.....

Виниций снова очнулся, но видения его исчезали медленно, и он не сразу мог окунуться в действительность. Несколько минут ему казалось, что он все еще стоит над озером, что его окружает толпа, среди которой он, сам не зная для чего, начал искать Петрония и удивлялся, что не находит его. Яркий огонь печки, — возле нее уже никого не было, — совершенно отрезвил его. Оливковые дрова лениво горели под розовым пеплом, зато поленья пинии, вероятно, недавно подброшенные на уголья, занялись веселым огоньком, и при блеске его Виниций увидал Лигию. Она сидела недалеко от его постели.

Вид Лигии взволновал его до глубины души. Он помнил, что прошлую ночь она провела в Остриане, целый день ухаживала за ним, а теперь, когда все удалились на покой, одна бодрствовала у его ложа. Легко было догадаться, что она утомлена, — она сидела неподвижно, с закрытыми глазами. Виниций не знал, спит ли она или погружена в свои думы. Он смотрел на ее профиль, на опущенные ресницы, на руки, сложенные на коленях, и в его языческой голове с трудом начало возрождаться понятие, что наряду с нагою, самоуверенною и гордою своими формами красотой римской и греческой на свете существует какая-то другая, новая, удивительно чистая, и что в этой-то красоте и живет душа.

Он не мог решиться на то, чтобы назвать ее христианской, но, думая о Лигии, не мог ее отделить от ее учения. Он понимал даже, что если все другие отправились спать, а Лигия одна, — она, которой он принес столько вреда, — сидит над ним, то, собственно, потому, что так повелевает это учение. Но подобная мысль, внушавшая ему удивление к этому учению, была вместе с тем и ненавистна для него. Он предпочитал бы, чтобы Лигия делала так из любви к нему, ради его лица, глаз, пластических форм, — одним словом, ради того, почему вокруг его шеи не раз обвивались бело-снежные руки гречанок и римлянок. Но вдруг он почувствовал, что если б она была такою, как другие женщины, то ему чего-то недоставало бы в ней. Он удивлялся и сам не знал, что с ним делается, хотя и заметил, что и в нем начинают пробуждаться какие-то новые чувства и новые стремления, чуждые миру, в котором он жил до сих пор.

Лигия раскрыла глаза и, видя, что Виниций смотрит на нее, приблизилась к нему и сказала:

— Я возле тебя.

А он ответил:

— Во сне я видел твою душу.



ГЛАВА IV

На другой день Виниций проснулся слабым, но без жара в голове и без лихорадки. Ему показалось, что его пробудил звук голосов, но когда он открыл глаза, Лигии не было при нем, — только Урс, наклонившись к камину, разгребал серую золу и искал под нею жара. Наконец он нашел неугасший уголь и начал раздувать его так, как будто делал это не губами, а кузнечными мехами. Виниций, припомнив, что этот человек вчера придавил Кротона, осматривал с интересом любителя арены его гигантскую спину, похожую на спину циклопа, на руки и ноги, напоминающие колонны.

«Слава Меркурию, что он не свернул мне шею! — подумал про себя Виниций. — Клянусь Поллуксом! если и другие лигийцы похожи на него, дунайским легионам может представиться нелегкая работа!»

А вслух он сказал:

— Эй, невольник!

Урс вытащил голову из камина и, улыбнувшись чуть не дружески, ответил:

— Дай Бог тебе, господин, добрый день и доброго здоровья, но я человек свободный, а не невольник.

Виницию, который хотел расспросить Урса об отечестве Лигии, слова эти доставили удовольствие. Разговор с человеком свободным, хотя бы и простым, меньше оскорблял его римское и патрицианское достоинство, чем разговор с невольником, которого ни закон, ни обычай не признавали за человеческое существо.

— Так ты не раб Авла? — спросил Виниций.

— Нет, господин. Я служу Каллине, как служил и ее матери, но по доброй воле.

Тут он снова всунул голову в камин, раздул угли, на которые раньше набросал дров, и освободился опять.

— У нас нет невольников, — сказал он.

Виниций спросил:

— А Лигия где?

— Только что ушла, а я должен приготовить тебе завтрак. Она сидела возле тебя всю ночь.

— Отчего же ты не сменил ее?

— Она так хотела, а мое дело слушаться ее.

Тут брови его нахмурились, и он прибавил через минуту:

— Если б я не слушал ее, ты бы, господин, не был бы жив.

— Разве ты жалелся, что не убил меня?

— Нет. Христос не велел убивать.

— А Атацин, а Кротон?

— Я не мог иначе, — пробормотал Урс.

И он с жалостью посмотрел на свои руки. Очевидно, они остались языческими, несмотря на то, что душа приняла святое крещение. Потом он поставил горшок в камин и вперед задумчивые глаза в огонь.

— Это твоя вина, господин, — наконец сказал он, — зачем ты поднимал руку на нее, на царскую дочь?

В первую минуту в Виниции вспыхнула гордость, что этот варвар осмеливается не только так фамильярно говорить с ним, но еще и упрекать его. К удивительным и неправдоподобным вещам, с которыми он сталкивался ночью третьего дня, прибавилась еще одна. Но он был слаб, невольников у него под рукою не было, и он сдержался. Кроме того, ему хотелось узнать какие-нибудь подробности из жизни Лигии.

И, успокоившись, он начал расспрашивать о войне лигийцев с Ваннием и свевами.

Урс отвечал охотно, но не мог прибавить многого к тому, что Виницию когда-то сообщил Авл Плавтий. Урс не был в битве, — он сопровождал заложниц до лагеря Палпелия Гистера. Он знал только одно, что лигийцы побили свевов и язигов, но вождь и царь их погиб от вражеской стрелы. Вслед за этим лигийцы получили известие, что семноны зажгли лес на их границе, и наскоро возвратились назад, чтоб отомстить за эту обиду, а заложницы остались у Палпелия, который в первое время

приказал воздавать им царские почести. Потом мать Лигии умерла. Римский вождь не знал, что делать с ребенком. Урс хотел возвратиться с ним домой, но дорога была трудная, — повсюду блуждали звери и дикие племена. Потом он узнал, что к Помпонию явилось какое-то лигийское посольство и обещает ему помощь против маркоманов. Гистер отослал Урса и Лигию к Помпонию. Оказалось, что послов никаких не было, — Урс и Лигия остались в лагере, откуда Помпоний привез их в Рим, а после триумфа отдал царскую дочь Помпонии Грецине.

Виницию в этом рассказе не были известны только мелкие подробности, но он слушал его с удовольствием. Его родовой гордости льстило то, что достоверный свидетель подтверждал царское происхождение Лигии. Как царская дочь, она при дворе цезаря могла занять положение, равное положению дочерей самых знатных родов, тем более что народ, предводителем которого был ее отец, до сих пор никогда не воевал с Римом и мог оказаться довольно опасным, потому что, по свидетельству самого Палпелия Гистера, обладал «неисчислимою силой» воинов.

Наконец и Урс вполне подтвердил это свидетельство, потому что на вопрос Виниция ответил:

— Мы сидим в лесах, но земли у нас столько, что никто не знает, где конец лесу, и народу в нем много. В лесу стоят и города, очень богатые: что семноны, маркоманы, вандалы и квады ни нагрябят, мы все отнимем, а они не смеют идти на нас, только поджигают наши леса, когда ветер дует с их стороны. И мы не боимся ни их, ни римского цезаря.

— Боги дали Риму владычество над землей, — сурово сказал Виниций.

— Боги — это злые духи, — просто ответил Урс, — а где нет Рима, там нет и его владычества.

Он поправил огонь и продолжал как бы про себя:

— Когда цезарь взял Каллину к себе во дворец, а я думал, что ее могут обидеть там, то хотел идти в леса и призвать лигийцев на помощь царевне. И лигийцы двинулись бы к Дунаю, потому что они народ хороший, хотя и язычники. Я принес бы им и «добрую весть»... Да, впрочем, и так когда-нибудь, когда Каллина возвратится к Помпонии, я поклонюсь ей, чтоб она позволила мне идти к лигийцам, — Христос жил далеко от них, и они даже не слышали о нем... Он знал лучше, где ему нужно было родиться, но если б он увидал свет у нас, в лесу, то, наверное, мы не замучили бы его, но ухаживали бы за Младенцем и заботились бы, чтоб у него не было недостатка ни в дичине, ни в грибах, ни в шкурах бобровых, ни в янтаре. И что бы мы ни отбили у свевов или маркоманов, — все бы отдали ему, чтоб он жил в роскоши и удобстве.

Он приставил к огню похлебку, приготовленную для Виниция, и замолчал. Было видно, что его мысль блуждала по лигийским лесам, и только когда похлебка закипела, он вылил ее в плоскую миску, остудил и сказал:

— Господин, Главк советует, чтобы ты как можно меньше двигал даже своею здоровою рукой, и потому Каллина приказала мне кормить тебя.

Лигия приказала! Против этого невозможно было спорить. Виницию даже в голову не приходило противиться ее воле, как будто она была дочерью цезаря или богиней. Он не обмолвился ни словом, а Урс, усевшись возле его ложа, начал черпать похлебку маленькою чаркой и подносить к его губам. Делал он это так заботливо, с таким добрым выражением своих голубых глаз, что Виниций не верил, чтоб это был тот

самый страшный титан, который вчера задавил Кротона, свалился на него, Виниция, как буря, и сломил бы его, если бы на помощь ему не пришло великодушие Лигии. Молодой патриций в первый раз в жизни задумался над тем, что может твориться в душе человека простого, слуги и варвара.

Урс оказался нянькой настолько же заботливой, насколько и неловкой. Чарка совершенно исчезала в его геркулесовских пальцах, так что для губ Виниция не оставалось места. После нескольких неудачных попыток гигант сильно опечалился и сказал:

— Эх! Легче зубра из осоки вытащить!

Виниция рассмешило смущение лигийца, но тем не менее заинтересовало его замечание. Он видел в цирках страшных зубров, которых приводили из северных стран и которые лишь одним слонам уступали по величине и силе. Самые опытные bestiarii¹ со страхом боролись с ними.

— Разве ты пробовал брать таких зверей за рога? — с изумлением спросил он.

— Пока мне не минуло двадцати зим, то я боялся, — ответил Урс, — а потом бывало.

И он снова принялся кормить Виниция еще более неуклюже, чем прежде.

— Я должен буду попросить Мириам или Назария, — сказал он наконец.

Из-за занавески появилось бледное личико Лигии.

— Я помогу тебе, — проговорила она и вышла из кубикала.

По всей вероятности, она собиралась ложиться спать, потому что волосы ее были распущены, а одежда состояла только из одной узкой туники, так называемой «*capitium*»². Сердце Виниция живее забилось при ее виде, он начал выговаривать ей, что она до сих пор не подумала о сне, но Лигия весело ответила:

— Я и хотела было ложиться, но пока заменю Урса.

И, взяв чарку, она села на край ложа и начала кормить Виниция, который чувствовал себя в одно и то же время и усмирленным, и счастливым. Когда она наклонялась к нему, на него веяло теплотой ее тела, ее распущенные волосы падали на его грудь, и он бледнел от волнения, но, несмотря на всю силу объявшей его страсти, чувствовал, что это самое дорогое для него существо, в сравнении с которым весь мир ничего не стоит. Прежде он желал обладать ею, теперь начинал любить всею душой. Когда-то, и в жизни, и в чувстве он, как и все современные ему люди, был слепым, бессознательным эгоистом, которого интересовала только собственная личность, а в настоящую минуту начала интересоваться и Лигия.

Через минуту он отказался есть, и хотя ее присутствие доставляло ему необычайное наслаждение, сказал:

— Довольно, пойди отдохнуть, божественная моя!

— Не называй меня так, — ответила она, — мне не годится слушать это.

Однако она улыбнулась ему и сказала, что спать ей не хочется, утомления она не чувствует и спать не пойдет раньше, чем придет Главк. Виниций прислушивался к ее словам, как к музыке, и сердце его волновалось все больше, наполнялось все большим восторгом, все большею благодарностью, а мысль напрягалась, как бы выразить эту благодарность.

¹ *Bestiarii* назывались те, которые в цирках вступали в состязание со зверями.

² *Capitium* — часть женской одежды, плотно облегавшая верхнюю половину туловища (*примеч. ред.*).

— Лигия, — сказал он после минуты молчания, — я не знал тебя раньше, но теперь понимаю, что хотел достигнуть тебя неправильным путем, и потому говорю тебе: возвратись к Помпонии Грецине и будь уверена, что отныне никто не поднимет на тебя руку.

Лицо Лигии сразу омрачилось.

— Я была бы счастлива, если бы могла хоть издали видеть ее, но возвратиться к ней уже не могу, — ответила она.

— Почему? — с удивлением спросил Виниций.

— Мы, христиане, чрез Актею знаем, что делается на Палатине. Разве ты не слышал, что цезарь после моего бегства и перед своим выездом в Неаполь призывал Авла и Помпонию и, думая, что они помогали мне, угрожал им своим гневом? К счастью, Авл мог ответить ему: «Ты знаешь, господин, что ложь никогда не оскверняла мои уста, и вот я клянусь тебе, что мы не помогали ее бегству и так же, как и ты, не знаем, что случилось с ней». Цезарь поверил, а потом забыл обо мне, а я, по совету старшин, ни разу не писала матери, где я живу, чтоб она смело могла сказать, что ничего не знает обо мне. Ты, Виниций, может быть, не поймешь этого, но нам нельзя лгать, хотя бы дело шло о нашей жизни. Наше учение таково, и к нему мы хотим приспособить наши сердца. Я не видала Помпонии с той минуты, как покинула ее дом, а до нее лишь от времени до времени долетало смутное эхо, что я жива и нахожусь в безопасности.

Горе прервало ее слова, глаза наполнились слезами, но вскоре она успокоилась и прибавила:

— Я знаю, что и Помпония тоскует по мне, но у нас есть радости, каких нет у других.

— Да, — ответил Виниций, — ваше утешение — Христос, но я не понимаю этого.

— Посмотри на нас: для нас нет разлуки, нет горя и страданий, а если они придут, то преобразуются в радость. И даже самая смерть, — для вас она конец жизни, а для нас только начало, обмен ничтожного счастья на великое, меньшего спокойствия на большее и вечное. Пойми, каково должно быть учение, которое повелевает нам быть добрыми даже к нашим врагам, запрещает ложь, очищает нашу душу от злобы и обещает после смерти несказанное счастье.

— Я слышал это в Остриане и видел, как вы поступили со мной и с Хилоном, а когда думаю об этом, то до сих пор мне кажется, что это сон и что я не должен верить ни своим глазам, ни ушам. Но ты ответь мне на другой вопрос: счастлива ли ты?

— Да, — сказала Лигия. — Я верю в Христа и не могу быть несчастна.

Виниций посмотрел на нее, как будто то, что говорила она, совершенно превосходило меру человеческого разумения.

— И ты не хотела бы возвратиться к Помпонии?

— Хотела бы всею душой, и возвращусь, если такова будет воля Божия.

— Тогда я говорю тебе: возвращайся, и я поклянусь тебе своими ларами, что не подниму на тебя руки.

Лигия задумалась на минуту, потом ответила:

— Нет. Я не могу своих ближних подвергать опасности. Цезарь не любит род Плавтиев. Если б я возвратилась, — ты знаешь, как при помощи невольников разносится всякая новость по Риму, — тогда и мое возвращение стало бы известно,

и Нерон несомненно узнал бы об этом от своих невольников. Тогда он покарал бы Авла или, самое меньшее, вновь взял бы меня к себе.

— Да, — сказал Виниций и сморщил брови, — это могло бы быть. Он сделал бы это хотя бы для того, чтоб удовлетворить своей воле. Правда, что он только забыл о тебе или не хотел думать, — ведь не ему, а мне была сделана неприятность. Но, может быть... когда он отнимет тебя у Авла, то отдаст мне, а я возвращу тебя Помпонию.

Лигия с грустью спросила его:

— Виниций, ты хотел бы еще раз видеть меня на Палатине?

Он стиснул зубы и ответил:

— Нет! Ты права. Я говорю, как глупец. Нет!

И вдруг он увидел перед собою какую-то бездонную пропасть. Он был патриций, военный трибун, человек могущественный, но над всеми силами мира, к которому он принадлежал, стоял безумец, ни воли, ни злобы которого никто предвидеть не мог. Не считаться с ним, не бояться его могли разве такие люди, как христиане, для которых весь этот мир, — разлука, мучения, даже самая смерть, — были ничем. Все другие должны были дрожать перед цезарем. Гроза времени, в котором жил Виниций, представилась перед ним во всем своем чудовищном объеме. Он не мог отдать Лигию Авлу из опасения, чтобы чудовище не вспомнило о ней и не обратило на нее своего гнева. По этому же самому соображению, если б он теперь взял ее себе в жены, то мог бы подвергнуть опасности ее, себя, Авла и Помпонию. Одной минуты дурного расположения духа цезаря было достаточно, чтобы погубить всех их. Виниций в первый раз в жизни почувствовал, что или мир должен измениться и переродиться, или жизнь сделается совершенно невозможной. Точно так же он понял то, что недавно было неясно для него, — что в такие времена только одни христиане могли быть счастливыми.

Но прежде всего его охватило горе, — он понял и то, что сам так страшно спутал жизнь и свою, и Лигии, и что из этой путаницы почти не было выхода. И под влиянием этого горя он заговорил:

— Знаешь ли ты, что ты счастливее меня? У тебя в нищете, в этой бедной комнате, среди грубых людей есть своя религия, свой Христос, а у меня ничего нет, кроме самого себя, и когда ты исчезла от меня, я стал нищим, у которого нет ни кровли над головой, ни куска хлеба. Ты мне дороже всего света. Я разыскивал тебя, потому что не мог жить без тебя. Я не хотел ни пиршества, ни сна. Если б не надежда, что я найду тебя, я бросился бы на меч, но я боюсь смерти, потому что не мог бы смотреть на тебя. Я говорю тебе истинную правду, что не сумею жить без тебя и до сих пор жил надеждой, что найду и увижу тебя. Помнишь ли ты наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, а я не понял, что это значит. Помнишь, как мы играли в мяч? Я и тогда любил тебя больше жизни, да и ты начала догадываться, что я люблю тебя... Пришел Авл, начал стращать нас Либитиной и прервал наш разговор. Помпонию на прощанье сказала Петронию, что Бог един, всемогущ и милосерд, но нам и в голову не пришло, что ваш Бог — Христос. Пусть он отдаст тебя мне, и я полюблю его, хотя он представляется мне богом невольников, чужеземцев и нищих. Ты сидишь возле меня и думаешь только о нем одном. Думай и обо мне, иначе я возненавижу его. Для меня ты — единственное божество. Благословенны твои отец и мать, благословенна земля, которая породила тебя. Я хотел бы

обнять твои ноги и молиться тебе, тебе воздавать почести, тебе приносить жертвы, тебе делать поклоны, ты, трижды божественная! Ты не знаешь, ты не можешь знать, как я люблю тебя!

Он провел рукою по побледневшему лбу и сомкнул глаза. Его натура не знала преград как в гневе, так и в любви. Он говорил восторженно, как человек, который перестал владеть собою и не хочет знать никакой меры ни своим словам, ни своей любви, но говорил из глубины души и искренно. Было видно, что боль, восторг, страсть и обожание, накопившиеся в его груди, наконец хлынули неудержимым потоком слов. Лигии его речь показалась богохульством, но, однако, и ее сердце начало биться, как будто хотело разорвать стесняющую ее грудь тунику. Она не могла противиться сожалению к нему и состраданию к его мучениям. Ее взволновала почтительность, с которой он говорил с ней. Она чувствовала, что ее любят и боготворят безгранично, чувствовала, что этот непреклонный и небезопасный человек теперь принадлежит ей душою и телом, как невольник, и это сознание его покорности и своей силы наполняло ее счастьем. Воспоминания ожили в ней в одну минуту. Для нее он вновь стал таким же прекрасным и чудным, как языческий бог. Виниций, который в доме Авла говорил ей о любви и пробуждал от сна ее тогда еще полудетское сердце, он, поцелуи которого она еще и теперь чувствовала на своих устах и из объятий которого, словно из пламени, ее вырвал Урс, — теперь, со своим восторгом, с болезненным выражением своего орлиного лица, с побледневшим лицом и умоляющим выражением глаз, раненый, изломанный страстью, любящий, боготворящий и покорный, — он показался ей таким, каким она хотела видеть его тогда и какого полюбила бы всюю душою, — более дорогим, чем когда бы то ни было.

И Лигия вдруг поняла, что может прийти минута, когда его любовь охватит и понесет ее, как вихрь, и, почувствовав это, испытала то же впечатление, какое за минуту испытывал и он, — что будто она стоит на краю бездны.

Так для этого она покинула дом Авла? Для этого спасалась бегством? Для этого столько времени пряталась в убогой части города? Кто такой Виниций? Августинин, солдат и придворный Нерона! Ведь он принимал же участие в его разврате и безумствах, как свидетельствовал пир, которого Лигия не могла забыть; ведь он вместе с прочими ходил в храмы и приносил жертвы скверным богам. Может быть, он и не верил в них, но все-таки отдавал им установленную честь. Ведь это он преследовал ее, чтоб обратить ее в свою рабу и любовницу, а вместе с тем ввергнуть в страшный мир роскоши, наслаждений, преступления и пороков, взывающих к Богу об отмщении? Правда, он казался изменившимся, но ведь он сам только что сказал ей, что если она будет думать о Христе больше, чем о нем, то он готов возненавидеть Христа. Лигии показалось, что одна мысль о какой-нибудь другой любви, кроме любви к Христу, — уже прегрешение перед ним и перед его учением, и когда заметила, что на дне ее души могут пробудиться другие чувства и стремления, ее охватила тревога за свое сердце и свою будущность.

В эту минуту душевного разлада Лигии появился Главк, который пришел навесить больного и осведомиться об его здоровье. На лице Виниция в одно мгновение выразились гнев и неудовольствие. Он сердился, что прервали его разговор с Лигией, и когда Главк начал задавать ему вопросы, отвечал чуть не с презрением. Положим, скоро он опомнился, но если Лигия имела какие-нибудь заблуждения, что вечер, проведенный в Остриане, мог произвести какое-нибудь влияние на неукротимую натуру

Виниция, то эти заблуждения должны были рассеяться. Он переменялся только по отношению к ней, но помимо этого чувства в его груди осталось прежнее суровое и себялюбивое, настоящее римское волчье сердце, неспособное не только понимать краткое христианское учение, но даже и простую благодарность.

Она ушла, полная смущения и беспокойства. Прежде в молитве она повергала перед Христом сердце спокойное и чистое, как слеза, а теперь это спокойствие было нарушено. В чашечку цветка заползло ядовитое насекомое и начало жужжать в ней. Даже сон, несмотря на две бессонные ночи, не принес ей успокоения. Снилось ей, что в Остриане Нерон во главе свиты августиниан, вакханок, корибантов и гладиаторов давит колесницей, украшенной розами, толпы христиан, а Виниций схватывает ее в объятия, втаскивает на квадригу и, прижимая к сердцу, шепчет: «Пойдем с нами!»





ГЛАВА V

С этой минуты Лигия реже показывалась в общей комнате и реже приближалась к ложу Виниция, но тем не менее спокойствие ее не возвращалось. Она видела, что Виниций следит за нею умоляющими глазами, как милости, ожидает каждого ее слова, страдает и не смеет жаловаться, чтобы не оттолкнуть ее от себя, что она одна — его здоровье и радость, и тогда сердце Лигии наполнялось жалостью к нему. Вскоре она заметила, что чем более старается избегать его, тем жалость ее увеличивается, и в силу этого ее чувство к нему становится более трогательным. Спокойствие покинуло ее. По временам она говорила себе, что, собственно говоря, она постоянно должна быть возле Виниция, во-первых, потому, что божественное учение повелевает платить добром за зло, а во-вторых, что, разговаривая с ним, она могла бы привлечь его к этому учению. Но вместе с тем совесть говорила ей, что она обманывает себя и к Виницию ее тянет что-то совсем другое, — именно его любовь и его обаяние. Таким образом, она жила в вечном разладе с собою, и разлад этот увеличивался с каждым днем. Иногда ей казалось, что ее окружает какая-то сеть, и она, желая освободиться, запутывалась все более. Теперь она должна была признаться себе, что присутствие Виниция становится необходимым для нее, голос его все более и более милым и что ей нужно напрягать все силы, чтобы противиться желанию сидеть у его ложа.

Когда она приближалась к нему и лицо его прояснялось, радость заливала и ее сердце. Однажды она заметила следы слез на его ресницах, и в первый раз в жизни ей пришла мысль, что она могла бы осушить их поцелуями. Устрашенная этою мыслью, полная презрения к себе, она проплакала всю следующую ночь.

А Виниций был терпелив, как будто дал обет терпения. Когда глаза его вспыхивали неудовольствием, своеволием и гневом, он вдруг сдерживался и потом беспокойно смотрел на Лигию, как будто прося у нее прощения, и ее это омрачало еще больше. Она никогда не предполагала, что ее так любят, и когда думала об этом, то чувствовала себя в одно и то же время и виновной, и счастливой. А Виниций действительно изменялся. В его разговорах с Главком слышалось менее гордости. Часто приходило ему в голову, что и этот бедный врач-невольник, и старуха Мириам, которая окружила его заботами, и Крисп, вечно погруженный в молитву, — что все это люди. Он дивился этим мыслям, но они, однако, навещали его. Урса он полюбил и теперь разговаривал с ним по целым дням, потому что мог говорить с ним о Лигии, а гигант был неисчерпаем в своих рассказах и, оказывая больному необходимые услуги, начал проявлять к нему что-то вроде привязанности. Лигия для Виниция всегда была существом, принадлежащим к другому виду, неизмеримо высшим, чем те, которые окружали ее, тем не менее, однако, он начал присматриваться к людям простым и убогим, — чего никогда не делал прежде, — и начал открывать в них интересные стороны, о существовании которых до сих пор не имел понятия. Только Назария он не мог выносить, — ему казалось, что молодой мальчик осмеливается любить Лигию. Правда, он долго воздерживался и не высказывал своего нерасположения, но однажды, когда мальчик принес Лигии две перепелки, купленные на рынке на заработанные им деньги, в Виниции заговорил потомок квиристов, для которого сын чужого народа значил меньше, чем самый ничтожный червяк. Слыша благодарность Лигии, он страшно побледнел, а когда Назарий вышел за водою для птиц, сказал:



— Лигия, можешь ли ты терпеть, чтоб он приносил тебе подарки? Разве ты не знаешь, что людей его народа греки называют жидовскими собаками?

— Я не знаю, как их называют греки, — ответила Лигия, — но знаю, что Назарий христианин и брат мой.

Она посмотрела на него с горем и удивлением, потому что он уже отвык от подобных вспышек. Виниций стиснул зубы, чтобы не сказать ей, что такого ее «брата» он приказал бы насмерть заколотить палками или сослал бы на свои сицилийские виноградники, чтоб он в кандалах копал землю... Но, однако, он сдержался, подавил в себе гнев и спустя немного ответил:

— Прости меня, Лигия. Для меня ты — царская дочь и приемная дочь Авла.

И он переломил себя до такой степени, что когда Назарий вновь появился в комнате, Виниций обещал ему по возвращении на свою виллу подарить пару павлинов или фламинго, которые массаами водились в его садах.

Лигия поняла, чего ему стоили подобные победы над собой, и чем больше он одерживал их, тем больше ее сердце склонялось к нему. Но его заслуга по отношению к Назарию была меньше, чем она предполагала. Виниций временно мог рассердиться на него, но не мог ревновать к нему. Сын Мириам, действительно, в глазах Виниция значил не больше собаки и, кроме того, был мальчик, который если и любил Лигию, то любил любовью бессознательною и покорною. Большую борьбу должен был вести с собою молодой трибун, чтобы примириться, хотя бы молчаливо, с тем почитанием, которым среди этих людей было окружено имя Христа, и с его учением. С этой стороны в Виниции происходили странные явления. Как бы то ни было, то было учение, которому Лигия верила и которое, по тому самому, он готов был признать. Потом, чем больше он выздоравливал, тем лучше вспоминал весь ряд событий, протекших с известной ночи в Остриане, весь ряд понятий, которые с тех пор образовались в его голове, и тем сильнее удивлялся нечеловеческой силе этого учения, которое таким коренным образом перерождало человеческие души. Он понимал, что в этом учении кроется что-то необычайное, чего еще до сих пор не было на свете, и чувствовал, что если б оно охватило весь мир, если бы вселило в него свою любовь и свое милосердие, то наступила бы эпоха, напоминающая ту, когда над вселенной царствовал не Зевс, а Сатурн¹. Он не смел сомневаться ни в чудесном зачатии Христа, ни в его воскресении, ни в других чудесах. Близкие свидетели, которые говорили об этом, чересчур заслуживали вероятия, чересчур гнушались ложью, чтоб их можно было заподозрить в сообщении небывалых вещей. Наконец, римский скептицизм позволял себе не верить в богов, но в чудеса верил. И вот Виниций стоял перед лицом какой-то странной загадки, которую не умел распутать. С другой стороны, все это учение казалось ему таким несоответственным существующему порядку вещей, настолько неудобным для проведения в жизнь и таким безумным, как никакое другое. По его мнению, люди в Риме и во всем свете могли быть дурными, но порядок вещей везде был хорош. Например, если бы цезарь был достойным человеком, если бы сенат состоял не из таких изнегодьяничавшихся развратников, а из таких людей, как Тразея, чего еще можно было желать? Ведь римский мир и римское верховенство были вещами хорошими, классификация людей умна и справедлива, а христианское учение, по разумению

¹ Согласно мифологии, Сатурн (Кронос) был отцом Юпитера (Зевса); эпоха его правления считалась «золотым веком» человечества.

Виниция, должно было бы смутить весь порядок, подорвать римское владычество и стереть всю разницу между людьми. И что же тогда случилось хотя бы с римской властью и с Римским государством? Неужели римляне могли бы перестать властвовать над миром или признать целое стадо покоренных ими народов равными себе? Это уж не умещалось в голове патриция. И притом, это учение было противно всем его вкусам, привычкам, характеру и понятиям о жизни. Он просто не мог вообразить, как он существовал бы, если бы принял его. Он боялся его, удивлялся ему, но против него возмущалась вся его натура. Наконец, он понимал, что только оно разделяет его с Лигией, и когда думал об этом, то ненавидел его всеми силами души. Однако он мог уже понимать, что это оно одарило Лигию такую необыкновенную, необъяснимую красотой, которая в его сердце, кроме любви, возбудила уважение, кроме страсти — поклонение, обратило ее в самое дорогое для него существо. А тогда ему снова хотелось любить Христа, и он понимал ясно, что должен или полюбить, или возненавидеть его, а равнодушным к нему остаться не может. На него точно напирала две противоположные волны, он колебался в мыслях, колебался в чувствах, ничего не мог избрать и лишь склонял голову и оказывал молчаливую честь этому непонятному для него Богу только потому, что он был Богом Лигии.

Лигия видела, что в нем происходит, какую ломку переживает он, как его натура отвергает учение Христа, и если с одной стороны это смертельно огорчало ее, то с другой жалость, сострадание и признательность за молчаливое почитание, какое он оказывал Христу, склоняли к нему с непреодолимой силой ее сердце. Она вспомнила Помпонию Грецину и Авла. Для Помпоники источниками неустанной скорби и никогда не высыхающих слез была мысль, что она за гробом не найдет Авла. Лигия теперь лучше начала понимать эту горечь и эту боль. И она встретила дорогое существо, с которым ей грозила вечная разлука. Иногда она почти заблуждалась, думая, что его душа еще откроется для Христовой правды, но заблуждение это не могло долго удерживаться. Она уже хорошо знала и понимала его. Виниций — христианин! Эти понятия даже в ее неопытной голове не могли поместиться рядом. Если рассудительный и серьезный Авл не мог обратиться в христианство под влиянием мудрой и совершенной Помпоники, то как же сделается христианином Виниций? На это не было ответа или, вернее, был один, что для него нет ни надежды, ни спасения.

И тут же Лигия со страхом заметила, что приговор, висящий над ним и обрекающий его на гибель вместо того, чтоб отвращать ее от него, благодаря состраданию делает его еще более дорогим для нее. По временам ей хотелось искренно поговорить с ним об его темном прошлом, но когда однажды она села возле него и сказала, что вне христианского учения нет жизни, он приподнялся на своем здоровом локте, вдруг опустил голову на ее колени и проговорил: «Ты — жизнь!» Тогда дыхание замерло в ее груди, силы покинули ее, какая-то сладостная дрожь пробежала по всему ее телу. Схватившись руками за его виски, она силилась приподнять его голову, но при этом сама наклонилась к нему так, что губами коснулась его волос.

С минуту в каком-то упоении они оба боролись с собой и с любовью, которая толкала одного к другому, наконец Лигия вскочила и убежала, чувствуя, что по жилам ее пробегает огонь, а голова идет кругом. Это была последняя капля, переполнившая и без того полный сосуд. Виниций не догадывался, как дорого ему придется оплатить счастливую минуту, но Лигия поняла, что теперь она сама нуждается в помощи. Ночь после этого вечера она провела без сна, в слезах и молитве, с сознанием,

что недостойна молиться и не может быть услышана. На другой день она вышла из кубикла рано и вызвала Криспа в садовую беседку, оплетенную плющом и увядшею павиликой¹, открыла ему всю душу и умоляла в то же время, чтоб он позволил ей покинуть дом Мириам, потому что она не доверяет себе и не может пересилить своей любви к Виницию.

Крисп, который был человеком старым, суровым и погруженным в вечный экстаз, одобрил намерение Лигии покинуть дом Мириам, зато не нашел слов прощения для грешной, по его понятиям, любви. Сердце его преисполнилось негодованием при одной мысли, что та Лигия, которой он покровительствовал с минуты ее бегства, которую он полюбил, утвердил в вере и на которую до сих пор смотрел, как на белую лилию, возросшую на почве христианского учения и неоскверненную никаким земным дуновением, могла в своей душе найти место для другой любви, кроме любви небесной. Он думал до сих пор, что нигде во всем свете более чистое сердце не бьется любовью ко Христу, и хотел принести его в жертву ему, как перл, как сокровище, как дорогое дело своих рук, и испытанное им разочарование наполнило его изумлением и горечью.

— Иди и моли Бога простить твои вины, — сурово сказал он. — Беги, пока злой дух, который опутал тебя, не доведет тебя до совершенного падения и пока ты не отречешься от Избавителя. Бог умер для тебя на кресте, чтобы собственной кровью окропить твою душу, а ты предпочла полюбить того, кто хотел сделать тебя своею наложницей. Бог чудом избавил тебя из его рук, но ты открыла сердце для нечистой страсти и полюбила сына тьмы. Кто он такой? Друг и слуга антихриста, сообщник его распутства и преступлений. Куда он поведет тебя, как не в ту бездну, в Содом, в котором живет сам и который Бог разрушит огнем своего гнева? А я говорю тебе: лучше бы ты умерла, лучше бы стены этого дома свалились на твою голову раньше, чем этот змей вполз в твою грудь и осквернил ее ядом своего беззакония.

Он увлекался все больше. Вина Лигии наполняла его не только гневом, но и отвращением и презрением к человеческой природе вообще, а в особенности к природе женщины, которую даже христианское учение не могло охранить от слабости Евы. Для него ничего не значило, что девушка осталась еще чистою, что хотела бежать от этой любви и каялась в ней с горем и сокрушением. Крисп хотел бы обратить ее в ангела и вознести на высоту, где существует только любовь ко Христу, а она полюбила августианина. Одна мысль об этом преисполняла его сердце гневом, усиливаемым чувством разочарования. Нет, он не мог ей простить этого! Слова гнева падали его уста наподобие раскаленных углей; он еще боролся с собой, чтобы не выговорить их, и только потрясал своими исхудавшими руками над испуганною девушкой. Лигия чувствовала себя виновной, но виновной не до такой степени; она думала даже, что ее удаление из дома Мириам будет победой над искушением и смягчит ее вину. Крисп стер ее в прах; он показал ей все ничтожество и несовершенство ее души, а этого она до сих пор не подозревала. Она даже думала, что старый пресвитер, который со времени ее бегства из Палатина относился к ней по-отцовски, выкажет немного сострадания, утешит ее, ободрит, укрепит.

— Я посвящаю Богу мою обманутую надежду и мою скорбь, — продолжал Крисп, — но ты обманула и Избавителя, ибо погрязла в болоте, испарения которого

¹ Павилика — то же, что *повилика*, растение семейства бьюнковых (*примеч. ред.*).

отравили тебе душу. Ты могла бы посвятить ее Христу, как многоценный сосуд, и сказать ему: «Исполни ее, Боже, твоею милостью!» — а ты предпочла отдать ее слуге злого духа. Да простит тебя Бог и да сжалится над тобой, потому что я... пока ты не отженишь от себя змия... я, который считал тебя избранницей...

И он вдруг замолчал, потому что заметил, что они были не одни.

Сквозь увядшую павилику и плющ, одинаково зеленеющий как летом, так и зимою, он увидел двоих людей, из которых один был апостол Петр. Другого он не мог узнать сразу, потому что плащ из грубой волосяной ткани, называемой «*cilicium*»¹, прикрывал часть его лица. С минуту Криспу даже казалось, что это Хилон.

Петр и его спутник, услышав возвышенный голос Криспа, вошли в беседку и сели на каменную скамью. Спутник Петра открыл свое лицо, с лысым черепом, только на боках покрытым вьющимися волосами, с красными ресницами и искривленным носом, — лицо безобразное и вместе с тем вдохновенное. И Крисп узнал в нем Павла из Тарса.

Лигия бросилась на колени, в отчаянии обхватила руками ноги Петра и, прижав свою измученную головку к складкам его плаща, застыла в молчании.

Петр сказал:

— Мир душам вашим.

И, видя девушку у своих ног, спросил, что это значит? Тогда Крисп начал рассказывать все, в чем ему покаялась Лигия, — о ее грешной любви, о ее желании бежать из дома Мириам, о своей скорби, что душа, которую он хотел отдать Христу чистой, как слеза, осквернила себя земным чувством к участнику во всех преступлениях, в которых погрязал языческий мир и которые зывали к Богу об отмщении.

Во время его рассказа Лигия все крепче обнимала ноги апостола, как бы желая вымолить хоть каплю сострадания.

Апостол выслушал все до конца, наклонился и положил свою дряхлую руку на Лигию, потом поднял глаза на старого священника и сказал:

— Крисп, разве ты не слышал, что наш возлюбленный Господь был на брачном пиршестве в Кане² и благословил любовь между мужчиной и женщиной?

Руки Криспа опустились, и он с удивлением посмотрел на апостола.

А Петр, помолчав с минуту, спросил снова:

— Крисп, думаешь ли ты, что Христос, который позволял Марии Магдалине лежать у своих ног и который простил блуднице, отвергнулся бы от этого ребенка, чистого, как полевая лилия?

Лигия с рыданием еще сильнее прижалась к ногам Петра. Она поняла, что не напрасно искала здесь защиты. Апостол поднял ее облитое слезами лицо и обратился к ней:

— Пока очи того, кого ты любишь, не откроются для света правды, избегай его, чтоб он не ввел тебя в грех, но молись за него и знай, что нет вины в любви твоей, а так как ты хочешь скрыться от искушения, то эта заслуга будет зачтена тебе. Не отчаивайся и не плачь, ибо говорю я тебе, милость Избавителя не оставила тебя и молитвы твои будут услышаны, а после скорби начнутся дни радости.

Он возложил обе руки на ее голову и, подняв глаза к небу, благословил ее. Лицо его светилось неземною кротостью.

¹ *Cilicium* — власяница (примеч. ред.).

² *Кана Галилейская* — селение в Галилее, ныне деревня Кафр Канна в Израиле (примеч. ред.).



Лигия бросилась на колени, в отчаянии обхватила руками ноги Петра и, прижав свою измученную головку к складкам его плаща, застыла в молчании.

Сокрушенный Крисп с покорностью начал оправдываться:

— Я согрешил против милосердия, — сказал он, — но я думал, что, допуская до сердца земную любовь, она отрывается от Христа.

Петр ответил:

— Три раза я отрекался от него, а, однако, он простил меня и повелел пасти овец своих.

— Потому, — закончил Крисп, — что Виниций августианин.

— Христос сокрушал еще более твердые сердца, — сказал Петр.

На это Павел Тарсянин, который молчал до тех пор, приставил палец к своей груди и указывая на себя, сказал:

— Это я, который преследовал и предавал смерти слуг Христовых. Когда убивали Стефана, я охранял платья тех, которые побивали его камнями; я хотел истребить правду во всех землях, обитаемых людьми, и, однако, Господь предназначил мне проповедовать его учение по всем этим землям. И я проповедовал его в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе, когда я, как узник, проживал в нем, а теперь, когда меня вызвал Петр, наш пастырь, я вступаю в этот дом, чтобы пригнуть эту гордую голову к стопам Христа, бросить зерно на эту каменистую почву, которую Господь умягчит, дабы она принесла обильную жатву.

И он встал. Этот невысокий, сгорбленный человек теперь показался Криспу тем, чем он был в действительности, — гигантом, который потрясет мир в его основаниях и покорит земли и народы.



ГЛАВА VI

Петроний Виницию:

«Сжался, *carissime*, не подражай в письмах ни спартанцам, ни Юлию Цезарю. Если бы ты, как он, мог написать: „*veni, vidi, vici*“¹, то я еще понимал бы такой лаконизм. Но твое письмо, в конце концов, обозначает: „*veni, vidi, fugi*“², а так как подобный конец дела прямо противен твоей натуре, потому что ты был ранен и с тобою творились вещи необычайные, то твое письмо требует объяснения. Я глазам не поверил, когда прочитал, что лигиец задушил Кротона так же легко, как каледонский пес душит волка в ущельях Гибернии³. Этот человек стоит столько золота, сколько весит сам, и от него зависит сделаться любимцем цезаря. Когда я возвращусь в город, то должен буду свести с ним близкое знакомство и прикажу с него отлить статую из бронзы. Меднобородый лопнет от любопытства, когда я скажу ему, что это с натуры.

¹ Пришел, увидел, победил.

² Пришел, увидел, бежал.

³ *Caledonia* — Шотландия, *Hibernia* — Ирландия.

Настоящие атлетические тела теперь все реже и реже и в Италии, и в Греции, — о Востоке и говорить нечего. У германцев, хотя они и рослый народ, мускулы покрыты жиром, — больше объема, чем силы. Расспроси у лигийца, составляет ли он исключение, или в его стране найдется много людей, похожих на него. Может быть, тебе или мне придется по должности когда-нибудь устраивать пиршества, — хорошо было бы знать, где искать лучшие тела.

Но слава богам восточным и западным, что ты вышел живым из подобных рук. Ты остался жив, конечно, потому, что ты патриций и сын консулярного мужа, но все, что встретило тебя, изумляет меня в высшей степени, — и это кладбище, на котором ты очутился среди христиан, и они сами, и их поведение с тобой, и второе бегство Лигии, и, наконец, та грусть и тревога, какую веет от твоего короткого письма. Объясни мне все, потому что многих вещей я не понимаю, а если хочешь знать правду, то я скажу тебе, что не понимаю ни христиан, ни тебя, ни Лигию. И не удивляйся, что я, которого за исключением собственной особы мало что интересует на свете, так тщательно расспрашиваю обо всем этом. Причиной всего, что произошло, — я, — значит, до некоторой степени это мое дело. Пиши скорее, потому что я не могу знать, когда мы увидимся. В голове меднобородого намерения меняются, как весенние ветры. Ныне, сидя в Беневенте, он имеет намерение ехать прямо в Грецию и не возвращаться в Рим. Тигеллин, однако, советует ему возвратиться хотя бы на некоторое время, иначе народ, стосковавшийся по нему (читай: по играм и хлебу), может взбунтоваться. Как пойдут дела, я не знаю. Если Ахайя перевесит, то, может быть, нам захочется Египта. Я сильно настаиваю, чтобы ты приехал сюда, и считаю, что в теперешнем положении твоей души путешествие и наши удовольствия были бы для тебя лекарством, но ты мог бы не застать нас. Подумай в таком случае, не предпочтешь ли отдохнуть в своих сицилийских имениях, чем сидеть в Риме? Пиши мне о себе подробнее и прощай. Желаний никаких, кроме желания тебе быть здоровым, на этот раз я не добавляю, потому что, клянусь Поллуксом! не знаю, чего пожелать тебе».

Виниций, получив это письмо, сначала не имел ни малейшей охоты отвечать на него. У него было какое-то чувство, что отвечать не стоит, что это ни на что не нужно, ничего не выяснит и ничего не распутает. Его охватывало равнодушие и сознание тщетности жизни. При этом ему казалось, что Петроний ни в каком случае не поймет его, — произошло что-то такое, что отдалило их друг от друга. Он не мог даже поладить сам с собою. Из-за Тибра в свою роскошную инсалу в Каринах он возвратился еще слабым, истощенным и в первые дни испытывал некоторое удовольствие от удобств и роскоши, которые окружали его. Но удовольствие это длилось недолго. Вскоре он почувствовал, что живет в пустоте, что все, что до сих пор составляло интерес его жизни, или совершенно не существует для него, или уменьшилось до едва заметных размеров. Он испытывал чувство, как будто в его душе подрезали те нити, которые до сих пор соединяли его с жизнью, а никаких других не навязали. Подумал он о том, что мог бы поехать в Беневент, а потом в Ахайю, и ему стало скучно. «Зачем? На что мне это может пригодиться?» — вот первые вопросы, которые промелькнули в его голове. Точно так же впервые в жизни он подумал, что если б он поехал, то беседа с Петронием, его остроумие, изящество, его блестящие определения мысли и подбор метких слов для каждого понятия в настоящее время могли бы надоесть ему. С другой стороны, однако, ему начало надоедать и одиночество.

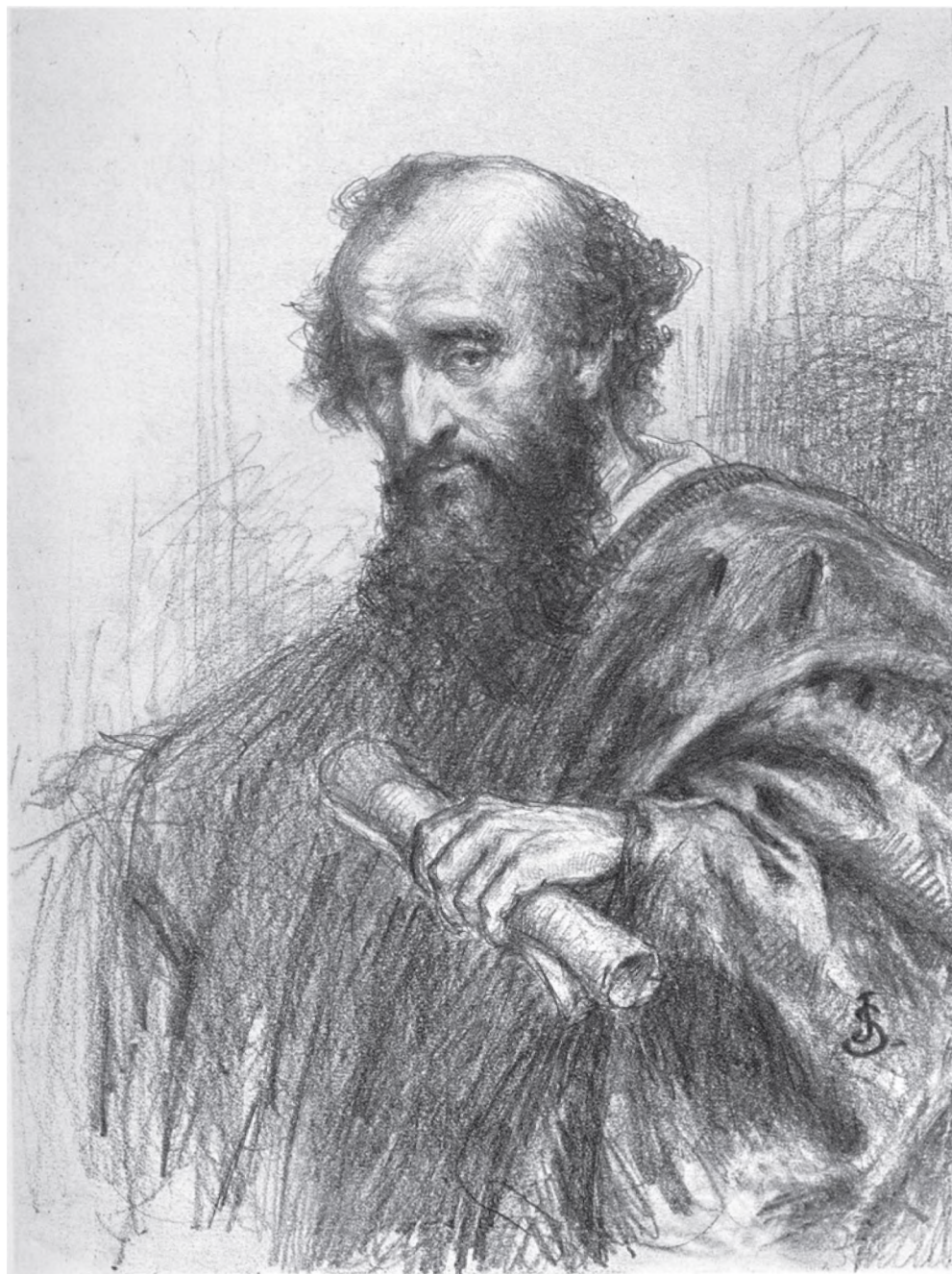
Все его знакомые жили с цезарем в Беневенте, и Виниций принужден был сидеть дома один, с головою, полною мыслей, с сердцем, полным чувств, в которых он не мог дать себе отчета. Бывали минуты, когда он думал, что если б ему можно было с кем-нибудь поговорить обо всем, что в нем происходит, то, может быть, ему удалось бы каким-нибудь образом схватить это, упорядочить, рассмотреть получше. Под влиянием этой надежды после нескольких дней колебания он решил ответить Петронию, и хотя не был уверен, что пошлет этот ответ, набросал его в следующих словах:

«Ты хочешь, чтоб я писал тебе подробно, — согласен; хочешь, чтоб я писал яснее, — не знаю, могу ли сделать это, потому что и сам не умею развязать множество узлов. Я тебе сообщал уже о своем пребывании среди христиан, об их поступках с врагами, к которым они имели право причислить меня и Хилона, о доброте, с которой они ухаживали за мной, наконец, об исчезновении Лигии. Нет, дорогой, меня пощадили не потому, что я сын консулярного мужа. Таких соображений для них не существует, потому что они простили и Хилону, хотя я сам поощрял их, чтоб они зарыли его в саду. То люди, которых до сих пор свет не видал, и учение, о котором до сих пор свет не слышал. Ничего другого я сказать не могу, и кто захочет мерять их нашею мерой, тот ошибется. Зато я скажу тебе, что если б я лежал со сломанною рукой в собственном доме и если бы за мной ухаживали мои люди или даже мои родственники, конечно, мне было бы удобнее, но я не увидал бы и половины той заботливости, какою они окружали меня. Знай также и то, что и Лигия совсем не такова, как другие. Если б она была моею женой или сестрой, то и тогда не могла бы нежнее относиться ко мне. Не раз радость заливала мое сердце, и я думал, что только любовь может внушить такую нежность. Не раз я читал эту любовь на ее лице и в ее взгляде и, поверишь ли, тогда, среди этих простых людей, в убогой комнате, которая служила им в одно и то же время и кухней, и триклинием, я чувствовал себя более счастливым, чем когда бы то ни было. Нет, она относилась ко мне не равнодушно, и я до сих пор не могу об этом думать иначе. Но, однако, та же самая Лигия потихоньку от меня покинула жилище Мириам. Я теперь по целым дням сижу, склонив голову на руки, и думаю, зачем она сделала это? Я, кажется, писал тебе, что сам обещал возвратить ее в дом Авла. Она ответила мне, что это невозможно — и потому, что Авл с семьей уехал в Сицилию, и потому, что весть о ее возвращении, переходя из дома в дом, дойдет до Палатина. Цезарь снова мог бы отобрать ее от Авла. Все это правда. Но ведь она знала, однако, что больше я не буду навязываться ей, что я покидаю путь насилия, а так как я не могу ни перестать любить ее, ни жить без нее, то введу ее в свой дом чрез увенчанные двери и посажу у очага на освященной шкуре. А она все-таки ушла! Зачем? Ей ничто не угрожало. Если она не любила, то могла бы отвергнуть меня. За день перед этим я познакомился со странным человеком, неким Павлом Тарсянином, который говорил со мной о Христе и его учении, и говорил так сильно, что мне казалось, будто каждое его слово помимо его воли обращает в пепел все основания нашего мира. Этот самый человек навестил меня после исчезновения Лигии и сказал мне: „Когда Бог откроет твои глаза на свет и снимет с них пелену, как снял с моих, тогда ты почувствуешь, что она поступила правильно, и тогда, может быть, найдешь ее“. И вот я ломаю голову над этими словами, как будто слышал их из уст Дельфийской пифии¹.

¹ Пифия — жрица-прорицательница Дельфийского оракула (*примеч. ред.*).

По временам мне кажется, что я уже понимаю что-то. Они, любя людей вообще, — враги нашей жизни, наших богов и... наших преступлений. Лигия бежала от меня, как от человека, который принадлежит к тому миру и с которым должна была бы вести жизнь, по понятиям христиан, преступную. Ты скажешь, что если б она могла отвергнуть меня, то ей незачем было удаляться. А если она и любит меня? В таком случае она бежала от своей любви. При одной мысли об этом мне хочется разослать невольников по всем переулкам Рима и приказать им, чтоб они кричали по домам: „Возвратись, Лигия!“ Но я перестаю понимать, зачем она сделала это. Наконец, ведь я не мешал бы ей верить в ее Христа и сам бы воздвиг ему алтарь в своем атриии. Чем мне мог бы помешать один новый бог и почему бы я не уверовал в него, — я, который не особенно верю в старых? Я знаю с полной достоверностью, что христиане никогда не лгут, а они говорят, что он воскрес. А ведь человек сделать этого не мог. Павел Тарсянин — римский гражданин, но, как еврей, он знает древние еврейские книги и говорил мне, что пришествие Христа было предсказано пророками несколько тысяч лет тому назад. Все это вещи необычайные, но разве необычайность не окружает нас со всех сторон? Об Аполлонии Тианском¹ еще не перестали говорить. Павел утверждает, что целой толпы богов нет, а есть только один, и это кажется мне справедливым. Кажется, и Сенека придерживается такого же мнения, да и до него многие думали так же. Христос был, отдал себя на пропятие для спасения мира и воскрес. Все это совершенно верно, и поэтому я не вижу повода, зачем мне упорствовать в противном мнении и почему бы не воздвигнуть ему алтарь, коль скоро я готов был бы сделать это, например, для Сераписа. Мне даже нетрудно было бы отречься от других богов, потому что никакой разумный человек и так в них не верит. Но мне кажется, что христианам всего этого еще недостаточно. Недостаточно поклоняться Христу, — нужно еще жить согласно его учению, — и только здесь ты как будто останавливаешься у берега моря, которое тебе приказывают перейти пешком. Если б я обещал это, христиане сами почувствовали бы, что это пустой звук, исходящий из моих уст. Но ведь не могу же я, даже по просьбе Лигии, взвалить на плечи Соракту или Везувий, или поместить на своей ладони Празименское озеро, или переменить цвет своих глаз и сделать их из черных голубыми, какими обладают лигийцы. Это вне пределов моей силы. Я не философ, но и не такой глупец, каким, может быть, не один раз казался тебе. И я скажу тебе вот что: я не знаю, как христиане устраиваются, чтобы жить, зато знаю, что где начинается их учение, там кончается римское владычество, кончается Рим, кончается жизнь, разница между победителем и побежденным, богатым и бедным, господином и невольником, кончается правительство, кончается цезарь, закон и весь порядок мира, а вместо всего этого приходит Христос и какое-то милосердие, какого до сих пор не бывало, какая-то доброта, противная человеческим и нашим римским инстинктам. Правда, Лигия меня занимает больше, чем весь Рим и его владычество, — и пускай бы весь мир разрушился, только чтоб я мог видеть ее в своем доме. Но это дело другого рода. Для них, для христиан, недостаточно согласиться

¹ *Аполлоний Тианский* родился в Каппадокии немногим позже Христа. Он придерживался системы пифагорейской философии, смешанной с неоплатоническими идеями. Его строго аскетический образ жизни и приписываемые ему чудеса доставили ему всеобщее уважение. Языческие писатели (например, Гieroкл) сопоставляли его с Христом, против чего восставали христианские епископы (например, Евсевий).



Павел Тарсянин

на словах, нужно еще чувствовать, что это хорошо, и не иметь в душе ничего другого. А я, — беру богов в свидетели, — не могу. Понимаешь ли ты, что это значит? В моей натуре есть что-то, что содрогается при мысли об этом учении, и хотя мои уста прославляли бы его, разум и душа говорили бы мне, что это я делаю ради любви, ради Лигии, и что если б не она, то ничто в свете не было бы так противно мне. И, — странная вещь! — какой-нибудь Павел Тарсянин понимает это, — понимает, несмотря на всю свою простоту, и старый теург¹, самый главный среди них, — Петр, ученик Христа. И знаешь ли ты, что они делают, — молятся за меня и испрашивают для меня то, что они называют благодатью, а в меня вселяется тревога и все бóльшая тоска по Лигии.

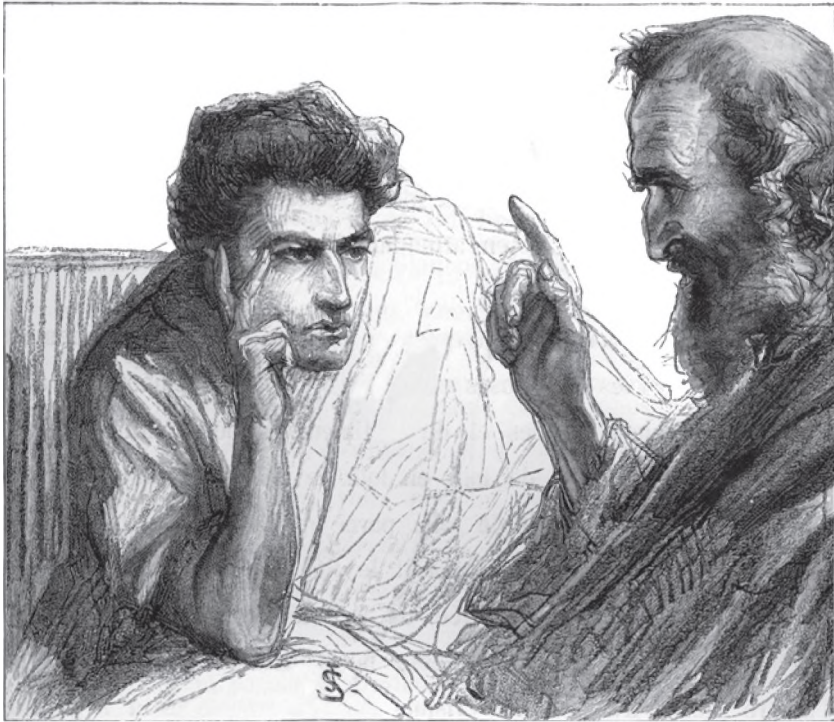
Я писал тебе, что она ушла от меня, но, уходя, оставила мне крест, который связала сама из веток самшита. Когда я проснулся, то нашел его возле постели. Теперь он у меня в ларарии, и я сам не сумею дать себе отчета, отчего приближаюсь к нему так, как будто в нем кроется что-то божественное, то есть с благоговением и страхом. Я люблю его, потому что это ее руки связали его, и ненавижу, потому что он разделяет нас. По временам мне кажется, что во всем этом какое-то колдовство и что теург Петр хотя и называет себя рыбаком, больше и Аполлония, и всех, кто был до него, и что это он опутал всех, — Лигию, Помпонию и меня самого.

Ты пишешь, что в предыдущем моем письме чувствуется беспокойство и грусть. Грусть должна быть, потому что я снова утратил Лигию, а беспокойство оттого, что во мне что-то изменилось. Искренно говорю тебе, что нет ничего более несоответственного моей натуре, чем это учение, и, однако, со времени, как я столкнулся с ним, я не могу узнать себя. Чары или любовь? Цирцея своим прикосновением изменяла тела людей, а у меня переменяли душу. Когда я от них возвратился к себе, меня никто не ожидал. Думали, что я в Беневенте и что возвращусь не скоро, поэтому в доме я застал беспорядок, пьяных невольников и пир, который они устроили в моем триклинии. Они скорее ожидали смерти, чем меня, и меньше бы испугались, если б увидели ее. Ты знаешь, как строго я держу свой дом; все бросилось передо мною на колени, а иные невольники лишились чувств от страха. А я... знаешь как поступил я? В первую минуту я хотел приказать принести розги и раскаленное железо, но тотчас же меня охватил какой-то стыд, и — поверишь ли? — какая-то жалость к этим невольникам. Между ними были и старики, которых еще мой дед, Марк Виниций, в правление Августа привез с Рейна. Я заперся один в библиотеке, и там мне в голову пришли еще более странные мысли, именно, что после того, что я слышал и видел у христиан, я не могу поступать с невольниками так, как поступал до сих пор, и что невольники — тоже люди. Они несколько дней ходили в смертельной тревоге, думали, что я медлю только потому, чтоб придумать более ужасное наказание, а я не наказывал и не наказал никого, потому что... не мог. Третьего дня я призвал их и сказал: „Я прощаю вам, а вы постарайтесь более усердною службой загладить свою вину“. Они упали на колени, обливаясь слезами, со стоном протягивая ко мне руки и называя меня господином и отцом, а я, — мне странно говорить это, — также был взволнован. Мне казалось, что в эту минуту я вижу кроткое лицо Лигии и ее глаза, полные слез и с благодарностью смотрящие на меня за этот поступок. И — *proh pudor!*² — я чувствовал, что мои ресницы сделались влажными. Знаешь, в чем я признаюсь тебе:

¹ *Theurgus* — волшебник, вызыватель духов.

² О, стыд!

я не могу обойтись без нее, мне плохо одному, я положительно несчастлив, и моя тоска больше, чем ты предполагаешь. Но что касается моих невольников, то меня заинтересовала одна вещь. Прощение, которое получили они, не только не испортило их, не только не ослабило дисциплину, но никогда страх не побуждал их к такой добросовестной службе, к какой побудила благодарность. Они не только служат, но, кажется, наперерыв друг перед другом стараются угадывать мои мысли, а я упоминаю об этом потому, что когда я, накануне своей разлуки с христианами, сказал Павлу, что мир распался бы от его учения, как бочка без обручей, он ответил мне: „Любовь — более крепкий обруч, чем страх“. Теперь я вижу, что к некоторым случаям это правило может быть применимо. Проверил я его и по отношению к клиентам. Они узнали о моем возвращении и сбежались приветствовать меня. Ты знаешь, я никогда не был скуп к ним, но еще мой отец по убеждению держал себя с ними свысока и меня приучил к тому же. А вот теперь, видя эти потертые плащи и изможденные лица, я снова почувствовал сожаление. Я приказал дать им есть и даже говорил с ними; назвал кое-кого по имени, других спросил об их женах и детях, и снова видел слезы на их глазах, снова мне показалось, что Лигия видит это, радуется и одобряет меня. Разум ли мой начинает мешаться, любовь ли спутала мои мысли, — не знаю; знаю только, что вечно чувствую, что она смотрит на меня издали, и боюсь сделать что-нибудь такое, что бы могло огорчить и обидеть ее. Да, Кай, переменили мою душу, и порою мне хорошо с этим, а порою я опять терзаюсь мыслью, что у меня отняли прежнее мужество, прежнюю энергию и что, может быть, я уже не способен не только для совета, суда, пиров, но даже и для войны. Несомненные чары! Я так сильно изменился, что скажу тебе еще и то, что приходило мне в голову во время моей болезни: если б Лигия была похожа на Нигидию, на Пощею, на Криспиниллу и тому подобных наших разводов, если б она была так же мерзка, так же немилосердна и так же легкодоступна, как они, я не любил бы ее так, как люблю теперь. Но если я люблю ее за то, что нас разделяет, ты догадаешься, какой хаос образуется в моей душе, в каком мраке я живу, как я не вижу перед собой верной дороги и как далеко не знаю, что мне начать делать. Если жизнь можно сравнить с источником, то в моем источнике вместо воды течет тревога. Я живу надеждой, что, может быть, увижу ее, и иногда мне кажется, что это должно наступить. Но будет ли это через год, или через два, я не знаю и не могу отгадать. Из Рима я не уеду. Я не мог бы вынести общества августиан, а притом единственным утешением в моей грусти и тревоге служит мысль, что я близок к Лигии, что от Главка или Павла Тарсянина иногда могу узнать о ней что-нибудь. Нет, я не оставляю Рима, хотя бы мне обещали управление Египтом! Знай также, что я приказал скульптору обтесать надгробный памятник для Гуло, которого я убил во гневе. Поздно пришло мне на ум, что, однако, он носил меня на руках и первый учил меня накладывать стрелу на лук. Не знаю, почему во мне теперь пробудилось воспоминание о нем, — воспоминание, похожее на сожаление и упрек. Если тебя удивит то, что я пишу, я отвечу тебе, что я сам удивляюсь не меньше, но пишу тебе истинную правду. Прощай».



ГЛАВА VII

На это письмо Виниций уже не получил ответа, — Петроний, очевидно, рассчитывал, что цезарь каждый день может объявить о своем намерении возвратиться в Рим. Действительно, весть об этом разошлась в городе и возбудила великую радость в сердцах толпы, жаждавшей игр и раздачи хлеба и масла, которые в огромном количестве были нагромождены в Остии. Гелий, отпущенник Нерона, наконец объявил в сенате об его возвращении, но Нерон вместе со своим двором сел на суда у Мизенского мыса и ехал домой не торопясь, высаживаясь в прибрежных городах для отдыха или для появления в театрах. В Минтурнах, где он снова пел публично, он провел несколько дней и даже раздумывал, не возвратиться ли в Неаполь и не дожидаться ли там весны. А весна в том городе была ранняя и теплая. Все это время Виниций жил одиноко в своем доме, с мыслью о Лигии и о всех тех новых вещах, которые занимали его душу и вносили в нее чуждые до сих пор понятия и чувства. От времени до времени он виделся только с Главком, каждое посещение которого наполняло его внутреннею радостью, потому что с ним он мог говорить о Лигии. Правда, Главк не знал, где она нашла убежище, но уверял Виниция, что старшины окружили ее заботливым попечением. Однажды, тронутый грустью Виниция, он сказал ему, что апостол Петр выговаривал Криспу за то, что он упрекал Лигию за ее земную любовь.

Молодой патриций, услышав это, побледнел от волнения. И ему казалось не раз, что Лигия равнодушно смотрит на него, но столько раз он впадал в сомнение, а теперь впервые услышал подтверждение своей заветной мечты из чужих уст, да еще, кроме того, от христианина. В первую минуту он хотел бежать благодарить Петра, но, узнав, что его нет в городе, заклинал Главка проводить его к нему и обещал за это щедро одарить бедных общины. Ему казалось, что если Лигия любит его, то тем самым все препятствия устранены, потому что он был готов в каждую минуту преклониться перед Христом. Но Главк, хотя и настойчиво уговаривал его принять крещение, не смел ручаться, отыщет ли он благодаря этому Лигию, и говорил, что крещения нужно желать ради самого крещения и любви ко Христу, а не для других целей. «Нужно иметь и душу христианскую», — сказал он, и Виниций, хотя его возмущало всякое препятствие, начинал уже понимать, что Главк, как христианин, говорит то, что должен говорить. Сам он не сознавал ясно, что одну из коренных перемен в его натуре составляло то, что раньше он мерил людей и вещи только своим эгоизмом, а теперь понемногу приучался к мысли, что другие глаза могут смотреть иначе, другое сердце иначе чувствовать и что справедливость не всегда значит то же, что личная выгода.

Кроме того, ему часто хотелось видеть Павла Тарсянина, слова которого возбуждали в нем любопытство и тревогу. Он обдумывал доказательства, которыми станет опровергать его учение, противился ему в душе и все-таки хотел его видеть и слышать. Но Павел уехал в Арицию, а так как и посещения Главка становились все более редкими, то Виниция окружило полное одиночество. Тогда он снова начал обегать переулки, прилегающие к Субурре, и узкие улицы Затибурской части города в надежде, что хоть издали увидит Лигию; но когда и эта надежда обманула его, в сердце его начали накапливаться скука и нетерпение. Наконец пришло время, когда прежняя натура еще раз отозвалась в нем с такою силой, с какою волна в минуту прилива возвращается к берегу, от которого она отступила. Ему показалось, что он был глупцом, что без надобности загромождал себе голову вещами, которые довели его до уныния, и что он должен брать от жизни то, что она дает. Он решил забыть о Лигии, по крайней мере искать наслаждения и утех помимо нее. Чувствуя, однако, что этот порыв последний, он бросился в вихрь жизни со всею свойственною ему слепою энергией и горячностью. Сама жизнь, казалось, поощряла его к тому. Замерший и опустелый за зиму город начинал оживать надеждой скорого приезда цезаря. Ему готовился торжественный прием. Притом приближалась весна, — снег на вершинах Альбанских гор растаял под дыханием африканского ветра, лужайки в садах покрылись фиалками. Форум и Марсово поле зарослись народом, которого пригревало все более и более теплое солнце. На *Via Appia*¹, служившей обычным местом для загородных прогулок, появились богато украшенные колесницы. Предпринимались уже поездки в Альбанские горы. Молодые женщины под видом поклонения Юноне в Лавинии или Диане в Ариции бежали из домов, чтоб искать за городом впечатлений, общества и удовольствий. Здесь Виниций, среди великолепных колесниц, увидал карруку² Хризотеиды. Впереди бежали два молосса³, а колесницу окружала

¹ *Via Appia* — Аппиева дорога, дорога Аппия (*примеч. ред.*).

² *Carruca* — четырехколесный богатый экипаж.

³ *Molossus* — большая собака.

толпа молодежи и старых сенаторов, которых служба удерживала в городе. Хризотемида сама правила четырьмя корсиканскими куцыми лошадьми, раздавала вокруг улыбки и легкие удары бичом, но, заметив Виниция, удержала лошадей и забрала его в свою карруку, а потом на пир, который продолжался всю ночь. Виниций на этом пиру напился так, что не помнил, как его отвезли домой. Он помнил только одно, что когда Хризотемида спросила его о Лигии, он чем-то обидел ее и вылил ей на голову чашу фалернского вина. Даже и протрезвившись, он сердился на нее, но спустя день Хризотемида, — видимо, она забыла об оскорблении, — навестила его в его доме и снова повезла на Аппиеву дорогу, потом вернулась к Виницию ужинать и призналась, что не только Петроний, но и его лютнист давно ей надоели и что сердце ее свободно. В течение недели они показывались вместе, но связь не обещала быть прочною. Хотя после случая с фалернским вином имя Лигии никогда не упоминалось, Виниций не мог освободиться от мысли о ней. Он постоянно испытывал ощущение, как будто ее глаза смотрят на него, и ощущение это наполняло его тревогой. Он пожимал плечами, но не мог освободиться ни от мысли, что огорчает Лигию, ни от сожаления, которое порождалось от этой мысли. После первой сцены ревности, которую Хризотемида сделала по поводу купленных им двух сирийских девушек, он грубо прогнал ее. Правда, он не перестал купаться в наслаждениях и разврате, напротив, делал это как бы назло Лигии, но в конце заметил, что мысль о ней не оставляет его ни на минуту, что она — единственная причина его злых и добрых деяний и что, действительно, его ничто в свете не интересует, кроме нее. Тогда им овладело пресыщение и утомление. Наслаждение ему опротивело и оставило только упреки совести. Ему казалось, что он — нищий, и это последнее чувство наполняло его неизмеримым удивлением, — прежде он считал хорошим все, что было ему удобно. Наконец он утратил свободу, самоуверенность и впал в полное оцепенение, из которого его не могло пробудить даже известие о возвращении цезаря. Теперь его ничто не занимало, и даже к Петронию он не собрался до тех пор, пока тот не прислал за ним своих носилок.

Петроний встретил его радостно, но Виниций неохотно отвечал на вопросы, и лишь немного погодя подавляемые чувства и мысли вспыхнули и потекли из его уст обильным потоком слов. Он подробно рассказал историю поисков Лигии и своего пребывания среди христиан, все, что видел и слышал там, все, что проходило чрез его голову и сердце, и наконец начал жаловаться, что погрузился в хаос, утратил спокойствие, способность понимать вещи и судить о них. Ничто его не привлекает, все ему не по вкусу, он не знает, чего держаться и как поступать. Он готов поклоняться Христу и преследовать его; понимает возвышенность его учения и вместе с тем чувствует к нему непреодолимое отвращение. Он понимает, что если б даже и обладал Лигией, то не мог бы обладать ею вполне, потому что должен был делиться ею со Христом. Наконец, живет он так, как будто бы и не жил, — без надежды, без завтрашнего дня, без веры в счастье; а кругом него — мрак, из которого он ощупью ищет выхода и не может найти его.

Петроний во время рассказа Виниция смотрел на его изменившееся лицо, на руки, которые он как-то странно протягивал вперед, как будто действительно ищет дороги в темноте, — смотрел и думал. Вдруг он встал, приблизился к Виницию и начал разбирать волосы над его ухом.

— Знаешь ли ты, — спросил он, — что у тебя несколько седых волос на виске?

— Может быть, — ответил Виниций, — я не удивлюсь, если вскоре они у меня совсем побелеют.

Наступило молчание. Петроний был человек умный и не раз думал о душе человека и о жизни, но вообще жизнь в том мире, в котором они оба жили, внутри могла быть счастливою или несчастною, но снаружи всегда бывала спокойною. Как удар грома или землетрясение могли разрушить храм, так несчастье могло разрушить жизнь, но жизнь сама по себе складывалась из прямых и гармоничных линий, свободных от всяких хитросплетений. А теперь в словах Виниция слышалось что-то совсем другое, и Петроний в первый раз остановился перед рядом духовных узлов, которых до сих пор никто не распутывал. Он был настолько умен, что чувствовал их значение, но при всей своей сообразительности ничего не мог ответить на заданные вопросы и только после долгого молчания сказал:

— Должно быть, это чары.

— И я так думал, — ответил Виниций, — мне самому казалось иногда, что нас обоих околдовали.

— А если бы ты отправился, например, к жрецам Сераписа? — сказал Петроний. — Несомненно, между ними, как и вообще между жрецами, много обманщиков, но есть и такие, которые постигли удивительные тайны.

Но говорил он это без веры и голосом нетвердым, потому что сам чувствовал, как этот совет, исходя из его уст, мог показаться бесплодным и даже смешным.

Виниций потер себе лоб рукой и заговорил:

— Чары!.. Я видел чародеев, которые употребляли для своей пользы подземные, неизведанные силы, видал и таких, которые направляли их на гибель своих врагов. Но ведь *те* живут в бедности, врагам прощают, проповедуют покорность, добродетель и милосердие, — что им могут принести чары и зачем они будут пользоваться ими?

Петрония начало сердить, что его ум ни на что не может найти ответа, но, не желая сознаться в этом, ответил, чтобы сказать хоть что-нибудь:

— Это новая секта...

Но вскоре он добавил:

— Клянусь божественною обительницей Пафосских лесов! ¹ Как все это портит жизнь! Ты удивляешься доброте и добродетели этих людей, а я говорю, что они — зло, потому что они враги жизни, — зло, как болезни и смерть. Довольно с нас их и так, и без христиан довольно! Сосчитай только: болезни, цезарь, Тигеллин, стихи цезаря, башмачники, которые управляют потомками квиритов, отпущенники, которые заседают в сенате, — клянусь Кастором, довольно этого! Это пагубная и отвратительная секта! Пробовал ты встряхнуться от своей грусти и хоть немного насладиться жизнью?

— Пробовал, — ответил Виниций.

Петроний рассмеялся.

— Ах, изменник! Благодаря невольникам вести быстро расходятся. Ты отнял у меня Хризотемиду!

Виниций поморщился и махнул рукой.

— Во всяком случае, благодарю тебя, — продолжал Петроний. — Я пошлю ей башмаки, вышитые жемчугом; на моем любовном языке это значит: «уйди».

¹ Венерой.

Я вдвойне обязан тебе благодарностью: во-первых за то, что ты не принял Эвнику, во-вторых за то, что ты освободил меня от Хризотемиды. Послушай меня: ты видишь перед собою человека, который утром вставал, купался, пировал, обладал Хризотемидой, писал сатиры, даже иногда и в прозу влетал стихи, но который скучал, как цезарь, и часто не умел отогнать от себя угрюмых мыслей. А ты знаешь, отчего это было? А оттого, что я искал вдали то, что было близко... Красивая женщина всегда стоит столько золота, сколько весит, но женщине, которая при этом любит, просто нет цены. Этого не купить за все сокровища Верреса¹. Теперь я говорю себе вот что: наполни жизнь счастьем, как кубок самым лучшим вином, какое только породила земля, и пей, пока не омертвеет твоя рука и не побледнеют твои уста. Что будет дальше, об этом я не забочусь. Вот моя новейшая философия.

— Ты всегда придерживался ее. Ничего нового в ней нет.

— В ней есть содержание, которого прежде не доставало.

Он позвал Эвнику, и она вошла, одетая в белую одежду, золотоволосая, уже не прежняя невольница, а словно богиня любви и счастья.

Петроний раскрыл объятия и сказал:

— Пойди!

Она подбежала к нему, села к нему на колени, обхватила руками его шею, а голову склонила на грудь. Виниций видел, как мало-помалу ее щеки начали покрываться отблеском пурпура, как глаза постепенно затуманивались. Вместе с Петронием она составляла чудную группу любви и счастья. Петроний потянулся рукой к плоской вазе, стоящей рядом на столе, захватил полную горсть фиалок и начал осыпать ими голову, плечи и стóлу Эвники, потом спустил тунику с ее плеч и сказал:

— Счастливы тот, кто нашел любовь, замкнутую в такой форме... Иногда мне кажется, что мы — два бога... Посмотри сам: мог ли Пракситель, Мирон, Скопас или Лизий² создать более чудные линии?... На Паросе или на Пентеликоне³ существует ли подобный мрамор, — теплый, розовый и любящий? Есть люди, которые целуют края ваз, но я предпочитаю искать наслаждение там, где можно найти его безошибочнее.

Он начал касаться губами ее плеч и шеи. Эвника вздрогнула, глаза ее то открывались, то смыкались с выражением неимоверного счастья. Петроний, наконец, поднял свою изящную голову и, обратившись к Виницию, сказал:

— А теперь подумай, что такое в сравнении с этим твои угрюмые христиане, и если ты не понимаешь разницы, то иди к ним... Но это зрелище излечит тебя.

Ноздри Виниция раздулись и выдохали запах фиалок, который наполнял всю комнату. Он побледнел при мысли, что если бы так же мог прижаться губами к плечам Лигии, то это было бы какое-то святотатственное наслаждение, такое великое, что потом хоть весь мир погибни. Но, привыкши быстро познавать то, что с ним творится, он заметил, что и в эту минуту он думает о Лигии и только о ней.

А Петроний сказал:

— Эвника, божественная, прикажи приготовить нам венки на голову и завтрак.

¹ *Гай Лициний Веррес* — римский политический деятель, приобретший нечестным путем огромное состояние (*примеч. ред.*).

² См. комментарий на с. 506 (*примеч. ред.*).

³ *Парос* и *Пентеликон* — остров в южной части Эгейского моря и гора в Греции, где располагались древние мраморные каменоломни (*примеч. ред.*).



— Счастлив тот, кто нашел любовь, замкнутую в такой форме...

Потом, когда она ушла, он обратился к Виницию:

— Я хотел ее освободить, а она знаешь что сказала мне? «Я предпочитаю быть твоею невольницей, чем женою цезаря». И она не хотела согласиться. Тогда я освободил ее без ее ведома. Претор для меня сделал так, что не требовал ее присутствия. Но она не знает об этом, точно так же, как не знает, что этот дом и все мои драгоценности за исключением гемм будут принадлежать ей после моей смерти.

Он встал, прошелся по комнате и продолжал:

— Любовь одних изменяет больше, других меньше, — изменила и меня. Когда-то я любил вербену, но так как Эвника предпочитает фиалки, то и я полюбил их больше всего, и с тех пор, как наступила весна, мы дышим только фиалками.

Он остановился возле Виниция и спросил:

— А ты? Все еще держишься нарда?

— Оставь меня! — отвечал молодой человек.

— Я хотел, чтобы ты присмотрелся к Эвнике, и говорю тебе о ней потому, что, может быть, и ты ищешь вдали то, что близко. Может быть, и для тебя где-нибудь в твоих невольничьих кубикалах бьется простое и верное сердце. Приложи такой бальзам к твоим ранам. Ты говоришь, что Лигия любит тебя? Может быть! Но что это за любовь, которая отрекается от самой себя? Не значит ли это, что есть что-то сильнее ее любви? Нет, дорогой, Лигия — это не Эвника.

На это Виниций ответил:

— Все это одна только мука. Я видел, как ты целовал плечо Эвники, и подумал, что если бы Лигия так же открыла мне свою шею, то потом хотя бы земля разверзлась под нами! Но при одной мысли об этом меня охватила какая-то робость, как будто я покусился на весталку или собирался осквернить божество. Лигия — это не Эвника, только эту разницу я понимаю не так, как ты. Любовь изменила только твое обоняние, и ты теперь фиалки предпочитаешь вербене, а у меня она изменила душу и, несмотря на свою скорбь и страсти, я предпочитаю, чтобы Лигия была такая, какая она есть, чем сделалась бы похожею на других.

Петроний пожал плечами.

— В таком случае, тебе никто не оказывает несправедливости. Но я не понимаю этого.

Виниций горячо ответил:

— Да, да!.. Мы уже не можем понять друг друга!

Наступила минута молчания, потом Петроний сказал:

— Да поглотит Гадес твоих христиан! Они наполнили тебя тревогой и лишили твою жизнь смысла. Да поглотит их Гадес! Ты думаешь, что это учение благотельно, и ошибаешься: благотельно то, что людям дает счастье, то есть красоту, любовь и силу, а они все это называют тщетою. Ты ошибаешься, думая, что они справедливы, потому что если за зло мы будем платить добром, то чем же мы заплатим за добро? Притом, если и за то и за другое расплата одинакова, то зачем же людям быть добрыми?

— Нет, плата не одинакова, но, по их учению, она воздается в будущей жизни, а жизнь эта вечная.

— В это я не вдаюсь, — это мы можем увидеть когда-нибудь, если можно что-нибудь видеть... без глаз. А пока они просто какие-то калеки. Урс задушил Кротона потому, что у него стальные мускулы, но христиане — ничтожество, а будущее не может принадлежать ничтожеству.

— Для них жизнь начинается вместе со смертью.

— Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал, что день начинается с ночи. Ты можешь похитить Лигию?

— Нет, я не могу платить ей злом за добро, и поклялся, что не сделаю этого.

— Может быть, ты хочешь принять учение Христа?

— Хочу, но моя натура не выносит его.

— А ты сумеешь позабыть о Лигии?

— Нет.

— Тогда отправляйся путешествовать.

Невольники доложили, что завтрак готов, но Петронию показалось, что он набрел на добрую мысль, и поэтому он продолжал по дороге в триклиний:

— Ты порядочно ездил по свету, но только как солдат, который спешит на место назначения и не останавливается на дороге. Собирайся с нами в Ахайю. Цезарь до сих пор не оставил мысли о путешествии. Он будет везде останавливаться по дороге, петь, собирать венки, грабить храмы и наконец возвратится в Италию, как триумфатор. Это будет что-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августяне, августянки, тысячи цитр, — клянусь Кастором! — это стоит посмотреть, потому что мир до сих пор не видал ничего подобного!

Он возлег на ложе у стола возле Эвники, а когда невольник возлагал ему на голову венок из анемонов, Петроний продолжал:

— Что ты видел на службе у Корбулона? Ничего! Осмотрел ли ты как следует греческие храмы, — так, как я, который два года переходил из рук одного проводника в руки другого? Был ли ты на Родосе и видел ли место, где стоял колосс? Видел ли ты в Паннонии, в Фокиде, глину, из которой Прометей лепил людей, или в Спарте яйца, которые снесла Леда, или в Афинах знаменитый сарматский панцирь, сделанный из конских копыт, или на Эвбее корабль Агамемнона, или чашу, формой для которой служила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волосы Изиды, которые она вырвала из своей головы с горя по Озирису? Слышал ли ты стон Мемнона? ¹ Свет широк, и не все кончается в Затибрской части Рима. Я буду сопровождать цезаря, а потом, когда он будет возвращаться домой, я оставляю его и поеду на Кипр, потому что вот эта моя золотоволосая богиня желает, чтобы мы в Пафосе принесли Киприде в жертву голубей, а нужно тебе сказать, что все делается по ее желанию.

— Я — твоя невольница, — сказала Эвника.

Он склонил свою увенчанную голову к ней на грудь и сказал с улыбкой:

— Тогда я — невольник невольницы. Божественная, я чту тебя от головы до ног!

Потом он обратился к Виницию:

— Поедем с нами на Кипр, но помни, однако, что перед этим тебе нужно будет видаться с цезарем. Нехорошо, что ты до сих пор не был у него. Тигеллин готов обратиться это тебе во вред. Правда, он не питает к тебе личной ненависти, но и не может любить тебя, хотя бы потому, что ты мой племянник... Скажем, что ты был болен. Мы должны подумать, что ты должен ответить цезарю, если он спросит тебя о Лигии. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была, куда не надоела тебе. Он поймет

¹ Одна из двух статуй Мемнона раскололась при землетрясении, и с тех пор при перепадах температуры издавала музыкальные звуки (*примеч. ред.*).

это. Также скажи ему, что болезнь удержала тебя дома, что твою горячку поддерживало огорчение, что ты не мог быть в Неаполе и слышать его пения, а помогла выздороветь надежда, что ты услышишь его. Пересолить не опасайся. Тигеллин обещает, что придумает для цезаря что-то не только необыкновенное, но и грубое... Я, однако, боюсь, чтоб он не подкопался под меня... Боюсь и теперешнего твоего настроения.

— А знаешь ли, — сказал Виниций, — что существуют люди, которые не боятся цезаря и живут так спокойно, как будто его нет на свете?

— Знаю, на кого ты намекаешь: это — христиане.

— Да. Они одни... А что такое наша жизнь, как не непрерывный страх?

— Оставь меня со своими христианами! Они не боятся цезаря потому, что он, может быть, не слыхал о них, ничего не знает, и занимают они его столько же, сколько увядшие листья. Но я тебе говорю, что они — калеки. Ты сам чувствуешь это, и если твоя натура противится их учению, то только потому, что ты сам чувствуешь их ничтожество. Ты — человек из другой глины, а поэтому оставь и себя, и меня в покое. Мы сумеем жить и умереть, а сумеют ли они, это неизвестно.

Слова эти поразили Виниция и, возвратившись домой, он начал думать, что, может быть, эта доброта и милосердие христиан, действительно, доказывает убожество

их душ. Ему казалось, что люди твердые и мужественные не умели бы так прощать. Может быть, это и служило поводом к отвращению, которое его римская душа питала к этому учению. «Мы сумеем жить и умереть», — говорил Петроний. А они? Они умеют только прощать, но не понимают ни истинной любви, ни истинной ненависти.





ГЛАВА VIII

Цезарь, возвратившись в Рим, был зол на то, что возвратился, и через несколько дней уже снова возгорелся желанием уехать в Ахайю. Он даже издал эдикт, в котором объявлял, что отсутствие его не продлится долго и что течение дел ничем не будет нарушено. Потом в сопровождении августиан, среди которых находился и Виниций, он направился в Капитолий, чтобы принести богам благодарственную жертву за благополучное путешествие. Но на другой день, когда он по очереди навестил храм Весты, произошел случай, который изменил все предположения цезаря. Нерон не верил в богов, но боялся их; в особенности таинственная Веста внушала ему такой страх, что при виде божества и святого огня он почувствовал, что волосы от ужаса встают дыбом на его голове, зубы судорожно сжимаются, дрожь пробегает по всем его членам, и цезарь опустился на руки Виниция, который случайно находился позади него. Нерона тотчас же вывели из храма и перенесли на Палатин. Он скоро пришел в себя, но тем не менее не вставал с постели весь день. К великому удивлению присутствующих, он объявил, что свое намерение уехать в Ахайю он откладывает на будущее время, потому что божество таинственным образом предостерегло его от поспешности. Спустя час в Риме уже всенародно объявляли, что цезарь, видя опечаленные лица жителей и руководимый любовью к ним, как отец к детям, остается, чтобы делить их судьбу и радости. Народ, обрадованный решением императора и вместе с тем уверенный, что игрища и раздача хлеба осуществляются, собрался толпою перед палатинскими воротами, оглашая воздух криками в честь божественного цезаря, а тот прервал игру в кости, которую забавлялся с августианами, и сказал:

— Да. Нужно отложить. Египет и владычество над Востоком в силу пророчества не минуют меня, — значит, и Ахайя может подождать. Я прикажу прорыть канал через Коринфский перешеек, а в Египте воздвигну такие памятники, в сравнении с которыми пирамиды покажутся детскими игрушками. Я прикажу соорудить сфинкса в семь раз больше того, который возле Мемфиса смотрит в пустыню, и прикажу этому сфинксу придать мое лицо. Позднейшие века будут говорить только об этом памятнике и обо мне.

— Ты уже соорудил себе памятник своими стихами не в семь раз, но в трижды семь раз выше пирамиды Хеопса, — сказал Петроний.

— А пением? — спросил Нерон.

— Увы, если бы можно было поставить тебе такую же статую, как статуя Мемнона, которая отзывалась бы твоим голосом при восходе солнца! Моря, прилегающие к Египту, во веки веков кишели бы кораблями, на которых толпы с трех стран света прислушивались бы к твоему пению.

— Увы, кто сумеет сделать это? — сказал Нерон.

— Но ты можешь повелеть иссечь себя из базальта в виде управляющего квадригой.

— Правда! Я сделаю это!

— Ты сделаешь подарок человечеству.

— В Египте же я вступаю в брак с Луною, — она вдовствует, — и буду настоящим богом.

— Нам дашь в жены звезды, и мы составим новое созвездие, которое будет именоваться созвездием Нерона. А Вителлия обвенчай с Нилом, чтоб они расплодили гиппопотамов. Тигеллину подари пустыню, тогда он будет царем шакалов.

— А мне что ты предназначаешь? — спросил Ватиний.

— Да благословит тебя Апис! ¹ Ты устроил нам такие великолепные игрища в Беневенте, что я не могу желать тебе другого. Сшей сапоги сфинксу, — у него лапы костенеют во время ночной росы, — а потом ты будешь шить обувь для колоссов, составляющих аллею перед храмами. Там всякий найдет соответствующее занятие. Домиций Афер², например, будет хранителем казны, как человек, прославившийся своею честностью. Цезарь, я люблю, когда ты мечтаешь о Египте, и меня огорчает только то, что ты отсрочил свой отъезд.

Нерон сказал на это:

— Ваши смертные глаза ничего не видали, потому что божество делается невидимым для того, для кого захочет. Знайте, что когда я был в храме Весты, она сама предстала передо мной и сказала мне на ухо: «Отложи свой отъезд!» Сделалось это так неожиданно, что я испугался, хотя за такое очевидное покровительство богов я должен быть благодарен им.

— Все были поражены, — сказал Тигеллин, — а весталка Рубрия лишилась чувств.

— Рубрия! — воскликнул Нерон, — какая у нее белоснежная шея!

— Но и она краснеет при твоём виде, божественный цезарь.

¹ Апис — египетский бог плодородия (*примеч. ред.*).

² Автором допущена здесь, кажется, некоторая ошибка. Нам известен только один Домиций Афер, но его уже не было в живых в то время, к которому приурочен рассказ: он умер еще в 59 году.

— Да, это заметил и я. Странно... Весталка! Во всякой весталке что-то божественное, а Рубрия так прекрасна!

Он задумался на минуту, потом спросил:

— Скажите мне, почему люди боятся Весты больше, чем других богов? Что в этом кроется? Меня самого охватил страх, хотя я — верховный жрец. Я помню только, что упал навзничь и, наверное, грянулся бы оземь, если б меня кто-то не поддержал. Кто поддержал меня?

— Я, — ответил Виниций.

— Ах, ты, «суровый Арес»? Отчего ты не был в Беневенте? Мне говорили, что ты болен, и действительно, лицо твое изменилось. Да!.. я слышал, что Кротон хотел убить тебя. Правда это?

— Правда, — он сломал мне руку, но я отбился.

— Сломанною рукой?

— Мне помог один варвар. Он сильнее Кротона.

Нерон с удивлением посмотрел на него.

— Сильнее Кротона? Ты шутишь, что ли? Кротон был сильнее всех людей, а теперь первый силач — Сифакс из Эфиопии.

— Цезарь, я говорю тебе то, что видел своими глазами.

— Где же эта жемчужина? Не сделался ли он царем Неморенским?

— Не знаю, цезарь. Я потерял его из виду.

— Ты даже не знаешь, из какого он народа?

— У меня была сломана рука, и я не мог его ни о чем расспрашивать.

— Разыщи мне его.

На это Тигеллин сказал:

— Я займусь этим.

А Нерон говорил дальше Виницию:

— Благодарю за то, что ты поддержал меня. При падении я мог бы разбить голову. Когда-то ты был хорошим собеседником, но после войны и службы под начальством Корбулона как-то одичал, и я редко вижу тебя.

Потом, помолчав с минуту, он прибавил:

— А как поживает та девушка... с узкими бедрами... которая нравилась тебе и которую я для тебя отнял у Авла?

Виниций смешался, но Петроний в ту же минуту пришел ему на помощь.

— Господин, я готов биться об заклад, что он позабыл ее. Видишь его смущение? Спроси его, сколько у него было женщин с того времени, и я не ручаюсь, сумеет ли он ответить на это. Виниции — хорошие солдаты, но еще лучшие петухи. Им нужна целая стая. Накажи его за это, господин, и не приглашай его на пир, который Тигеллин собирается устроить в твою честь на пруду Агриппы¹.

— Нет, я не сделаю этого. Я верю Тигеллину, что там в стаях недостатка не будет.

— Может ли быть недостаток в Харитах там, где будет сам Амур? — сказал Тигеллин.

Нерон ответил:

— Скука томит меня! По воле богини я остался в Риме, но не могу выносить его. Я уеду в Антий. Я задыхаюсь в этих узких улицах, среди этих разваливающихся

¹ Пруд в знаменитых садах, устроенных М. Випсанием Агриппой, зятем императора Августа.

домов, среди этих отвратительных переулков. Зловоние доходит даже сюда, в мой дом и в мои сады. Ах, если б землетрясение разрушило Рим, если б какой-нибудь разгневанный бог сравнял его с землею! Я показал бы вам, как следует строить город, который считается главою мира и моею столицей.

— Цезарь, — сказал Тигеллин, — ты говоришь: «Если б какой-нибудь разгневанный бог разрушил город», — это так?

— Так! Ну, что же?

— А разве ты не бог?

Нерон махнул рукой и сказал:

— Посмотрим, что ты сделаешь нам на прудах Агриппы. Потом я поеду в Антий. Вы все чересчур малы и не понимаете, что мне нужны великие вещи.

Он закрыл глаза в знак того, что нуждается в отдыхе. Августиниане начали расходиться. Петроний вышел с Виницием и сказал ему:

— Итак, ты приглашен на пир. Меднобородый отказался от путешествия, но зато будет безумствовать больше, чем когда-нибудь, и хозяйничать в городе, как в своем доме. Старайся и ты в безумствах найти забаву и забвение. Проклятие! Мы покорили весь мир и имеем право веселиться. Ты, Марк, красивый мальчик, и этому я отчасти приписываю слабость, какую питаю к тебе. Клянусь Дианой Эфесской! Если б ты мог видеть свои сросшиеся брови и свое лицо, в котором видна старая кровь квиристов... Другие приближенные Нерона в твоем присутствии кажутся отпущенниками. Да! Если бы не это дикое учение, Лигия теперь была бы в твоём доме. Попробуй доказывать мне еще, что это не враги жизни и людей. Они обошлись с тобой хорошо, и ты можешь быть им признателен, но на твоём месте я возненавидел бы это учение и искал бы наслаждения там, где можно найти его. Ты красивый мальчик, повторяю тебе, а Рим кишит разводками.

— Меня удивляет только одно, — сказал Виниций, — неужели все это не мучит тебя?

— Кто тебе сказал это? Меня это мучит давно, но я старше тебя. Кроме того, у меня есть вкусы, которых у тебя нет. Я люблю книги, которых ты не любишь, люблю поэзию, которая наводит на тебя скуку, люблю вазы, геммы и множество вещей, на которые ты не смотришь, у меня боли в пояснице, которых ты не испытываешь, наконец, я нашел Эвнику, а ты не нашел ничего подобного. Мне хорошо дома, среди произведений искусства, а из тебя я никогда не сделаю эстетика. Я знаю, что в жизни уже не найду ничего больше того, что нашел, а ты ничего не знаешь, вечно надеешься и ищешь чего-то. Если бы к тебе пришла смерть, ты, при всей своей храбрости и огорчении, умер бы с удивлением, что пора уже покидать мир, а я принял бы ее как необходимость, зная по опыту, что во всем мире нет плодов, которых я не отведал. Я не спешу, но не буду и медлить и постараюсь только о том, чтобы мне было весело до конца. На свете веселы только скептики. Стойки, по моему мнению, глупцы, но стоицизм, по крайней мере, закаляет человека, а твои христиане вносят в мир тоску, а тоска в жизни то же самое, что дождь в природе. Знаешь ли ты, что я узнал? На пиру Тигеллина, на берегу пруда Агриппы, устроены лупанарии, а в них будут собраны женщины из первых домов Рима. Не найдется ли хоть одна настолько красивая, чтоб могла утешить тебя? Будут и девушки, которые в первый раз выступают в свет... как нимфы. Такова наша Римская империя. Тепло уже, южный ветер согреет воду и не повредит обнаженным телам. А ты, Нарцисс, знай, что не отыщется ни одна, которая сумела бы противиться тебе, — ни одна, хотя бы то была весталка!

Виниций ударил себя рукой по голове, как человек, вечно занятый одною мыслью.

— Нужно счастье, чтоб я попал на такую.

— А кто это сделал, как не христиане? Но люди, избравшие себе символом крест, не могут быть иными. Слушай меня: Греция была прекрасна и породила мудрость мира, мы породили силу, а что, как ты думаешь, может породить это учение? Если ты знаешь, то объясни мне, а то, — клянусь Поллуксом! — я не могу догадаться.

Виниций пожал плечами.

— Может показаться, что ты боишься, как бы я не сделался христианином.

— Я боюсь, чтоб ты не испортил себе жизни. Если ты не сумеешь быть Грецией, будь Римом: владей и пользуйся! Наши безумства потому имеют некоторый смысл, что в них заключается эта мысль. Меднобородого я презираю потому, что он шут-грек. Если б он считал себя римлянином, я сказал бы ему, что он прав, позволяя себе безумствовать. Обещай мне, что если теперь, возвратившись домой, ты застанешь какого-нибудь христианина, то покажешь ему язык. Если это будет Главк, то это даже не удивит его. До свидания на пруду Агриппы!





ГЛАВА IX

Преторианцы окружали леса, растущие по берегам пруда Агриппы, чтобы чересчур большая толпа зрителей не мешала цезарю и его гостям. Говорили, что все, что только отличалось в Риме богатством, умом или красотой, предстанет на этом пиру, равного которому не было в истории города. Тигеллин хотел вознаградить цезаря за отложенную поездку в Ахайю, а вместе с тем перецеголять всех, кто когда-либо принимал Нерона, и доказать ему, что никто не сумеет так угостить его. Еще во время своего пребывания в Неаполе, а потом в Беневенте он делал приготовления и отдавал приказания, чтоб из отдаленнейших концов мира присылали в Рим зверей, птиц, редких рыб и растения, — все, не исключая сосудов и тканей, которые должны были украшать пиршество. Доходы с целых провинций шли на удовлетворение безумных замыслов, но на это всевластному фавориту не нужно было оглядываться. Влияние его возрастало с каждым днем. Может быть, для Нерона Тигеллин еще не сделался самым приятным человеком, но становился все более необходимым. Петроний бесконечно превышал его лоском, умом, остроумием, своими речами лучше мог развлекать цезаря, но, на свое несчастье, превышал в этом и самого цезаря, вследствие чего

возбуждал его зависть. Кроме того, он не умел быть во всем его послушным оружием, и цезарь боялся его мнения, когда дело касалось вопросов вкуса, а с Тигеллином никогда не чувствовал себя связанным. Самый титул Петрония, «*arbiter elegantiarum*», уязвлял самолюбие Нерона, ибо кто же, если не он сам, должен был носить такой титул? У Тигеллина же было настолько ума, что он сознавал свои недостатки, и, видя, что не может соперничать ни с Петронием, ни с Луканом, которые выделялись благодаря своему происхождению, таланту или учености, решил превзойти их податливостью своих услуг, а прежде всего такую роскошью, чтоб и воображение Нерона было поражено ею.

Пир должен был происходить на гигантском плоту, сколоченном из золоченых бревен. Закраины плота были украшены великолепными раковинами, играющими всеми цветами радуги и выловленными из Красного моря и Индейского океана. Борты были прикрыты группами пальм, лотосов и цветущих роз, посреди которых таились фонтаны, бьющие благоуханиями, статуи богов и золотые или серебряные клетки с разноцветными птицами. Посередине возвышался огромный намет или, вернее, для того, чтобы не закрывать вида, только верх намета из сирийского пурпура, покоящийся на серебряных столбах, а под ним, словно солнце, сверкали столы, обремененные александрийским стеклом, хрусталем и бесценными сосудами, награбленными в Италии, Греции и Малой Азии. Плот, благодаря нагроможденным на нем растениям, казался цветущим островом и соединен был шнурами из золота и пурпура с лодками, имеющими форму рыб, лебедей, чаек и фламинго, а в лодках, у разноцветных весел, сидели нагие гребцы, — женщины и мужчины, — удивительной красоты, с волосами, завитыми на восточный манер или заключенными в золотые сетки. Когда Нерон с Поппеей и августианами причалил к парому и воссел под пурпуровым наметом, лодки двинулись, весла ударили по воде, золотые шнуры напряглись, и плот вместе с гостями начал двигаться и описывать круги по пруду. Плот окружали лодки и меньшие плоты, наполненные цитристками и арфистками, розовые тела которых на лазурном фоне неба и воды, залитые отблесками от золотых инструментов, казалось, впитывали в себя эту лазурь и эти отблески, меняли свою окраску и цвели, как цветы.

Из прибрежных лесов, из фантастических построек, нарочно сооруженных и скрытых между деревьями, также доносились звуки музыки и пения. Весь лес загремел, и эхо далеко разносило отголосок рогов и труб. Сам цезарь, — он сидел между Поппеей и Пифагором, — удивлялся, а в особенности, когда между лодками появились молодые невольницы, одетые сиренами и покрытые зеленою сеткой, напоминающей чешую, не щадил похвал Тигеллину. По привычке он посматривал на Петрония, желая узнать мнение «арбитра», но Петроний казался ко всему равнодушным, и только после прямого вопроса ответил:

— Я думаю, господин, что десять тысяч обнаженных женщин производят меньшее впечатление, чем одна.

Однако цезарю понравился этот «плавучий пир», — это было что-то новое. Наконец, за обедом подавали такие изысканные блюда, что даже и воображение Апиция было бы поражено ими, вина такого качества, что Отон, который предлагал своим гостям до восьмидесяти сортов, от стыда скрылся бы под водой, если бы видел эту роскошь. За стол, кроме женщин, возлегли только одни августиане, и все меркли перед красотой Виниция. Когда-то его фигура и лицо чересчур изобличали воина,





Плот, благодаря нагроможденным на нем растениям, казался цветущим островом и соединен был шнурами из золота и пурпура с лодками, имеющими форму рыб, лебедей, чаек и фламинго...

теперь душевная тревога и перенесенная им болезнь так обострили его черты, как будто бы по ним прошла опытная рука художника-скульптора. Кожа его утратила прежнюю смуглость, но сохранила золотистый отблеск нумидийского мрамора, глаза стали большими и грустными. Только торс его остался таким же могучим, как бы созданным для панциря, но над этим торсом легионера возвышалась голова греческого бога или, по крайней мере, родовитого патриция, изящная и великолепная в одно и то же время. Петроний говорил, что ни одна из августианок не сумеет и не захочет противиться ему, и говорил как человек опытный. На Виниция теперь смотрели все, не исключая Поппеи и весталки Рубрии, которую цезарь изъявил желание видеть на пиру.

Вина, замороженные в горных снегах, вскоре разогрели сердца и головы пирующих. Из прибрежных зарослей появились новые лодки в форме стрекоз и куколок. Лазурное зеркало пруда казалось усеянным лепестками цветов или пестрыми бабочками. Над водой порхали там и здесь привязанные на серебряных и голубых нитях или шнурках голуби и другие птицы из Индии и Африки. Солнце обежало уже большую часть неба, но день, хотя пир происходил в начале мая, был теплый и даже жаркий. Пруд колыхался от удара весел, которые погружались в воду под такт музыки, но в воздухе не было ни малейшего движения, и леса стояли неподвижно, как будто заслушались и загляделись в то, что происходило на воде. Плот все кружился по воде и увлекал за собою все более и более хмелевших и шумящих людей. Пир еще не дошел до половины, когда порядок, в котором гости возлегли за стол, совершенно нарушился. Пример подал сам цезарь, когда приказал Виницию занять свое место и начал что-то нашептывать на ухо Рубрии. Виниций очутился возле Поппеи, которая через минуту протянула ему руку и просила застегнуть расстегнувшийся браслет. Когда Виниций слегка дрожащими руками начал застегивать, Поппея бросила на него из-за своих длинных ресниц стыдливый взор и тряхнула своею золотистою головою, как бы не соглашаясь с чем-то. Тем временем огромный красный диск солнца медленно закатывался за верхушки деревьев; гости были по большей части совершенно пьяны. Теперь плот подвигался вдоль берегов, где среди деревьев и кустов виднелись группы людей, одетых фавнами или сатирами, играющих на флейтах, дудках и бубнах, и группы девушек, представляющих нимф, дриад и гамадriad. Наконец спустился мрак, и с главного плота послышались пьяные возгласы в честь луны, и в ту же минуту лес загорелся тысячею огней. Из лупанариев, стоящих по берегам, полились струи света, на террасах показались новые группы, также обнаженные, — то были жены и дочери знатнейших римских домов. Голосом и разнuzданными движениями они начали подзывать к себе гостей. Наконец плот пристал к берегу, цезарь и августиане устремились в лес, рассыпались по лупанариям, по палаткам, скрывавшимся в чаще, по гротам, искусственно устроенным среди источников и фонтанов. Безумие охватило всех, никто не знал, куда девался цезарь, кто сенатор, кто воин, кто танцовщик или музыкант. Сатиры и фавны с криком начали гоняться за нимфами; лампы гасли под ударами тирсов. Некоторые части леса охватила темнота. Повсюду слышались то крик, то смех, то шепот, то тяжелое дыхание человеческой груди. Рим действительно до сих пор не видал ничего подобного.

Виниций не был пьян, как на том пиру, в палатах цезаря, где была Лигия, но и его ослепил и упоил вид всего, что происходило вокруг. Наконец, и им овладела жажда наслаждения. Войдя в лес, он вместе с другими бежал и высматривал, какая из дриад

покажется ему более привлекательной. Каждую минуту мимо него пробегали все новые и новые стада, преследуемые фавнами, сатирами, сенаторами, воинами и звуками музыки. Наконец он увидал толпу женщин, предводительствуемых одною одетою Дианой, подскочил к ним, желая ближе разглядеть богиню, и вдруг сердце застыло в его груди. Ему показалось, что в богине с полумесяцем на голове он узнает Лигию.

Они окружили его бешеным хороводом, а через минуту, видимо желая склонить его к преследованию, рассыпались, как стадо серн. Но Виниций остался на месте, с бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием. Хотя он увидал, что Диана была не Лигия и вблизи даже не походила на нее, чересчур сильное волнение истощило его силы. Вдруг его охватила тоска по Лигии, тоска такая невероятная, какой он никогда в жизни не испытывал, и любовь к ней новою, громадною волной залила его сердце. Никогда она не казалась более дорогой, чистой, более любимой, как в этом лесу безумия и дикого распутства. За минуту до того он сам хотел пить из этого кубка и принять участие во всеобщей разнузданности и бесстыдстве, а теперь он проникся отвращением. Он сознавал, что чувство омерзения душит его, что его груди недостает воздуха, а глазам — звезда, не заслоненных ветвями этого странного леса, и решил бежать. Но едва он двинулся, как перед ним предстала какая-то фигура, с головой, окутанной покрывалом, и, положив руки на его плечи, прошептала, обливая горячим дыханием его лицо:

— Я люблю тебя!.. Иди!.. Нас никто не увидит!.. Спеш!

Виниций точно очнулся от сна и спросил:

— Кто ты?

Она прижалась к нему грудью и продолжала настаивать:

— Спеш! Смотри, как здесь пусто! Я люблю тебя! Иди!

— Кто ты? — говорил Виниций.

— Отгадай.

Она сквозь покрывало прижалась губами к его губам, притягивая к себе его голову, но наконец у нее не хватило дыхания, и она отстранила от него свое лицо.

— Ночь любви... ночь забвения! — говорила она, задыхаясь. — Сегодня можно!.. Я твоя!

Виниция этот поцелуй обжег и наполнил новым отвращением. Душа его и сердце были где-то далеко, и во всем мире для него не существовало никого, кроме Лигии.

И, отстраняя рукою закутанную фигуру, он сказал:

— Кто бы ты ни была, я люблю другую и не хочу тебя.

Она приблизила к нему голову:

— Приподними покрывало.

В эту минуту листья ближайших миртов зашелестели, — закутанная фигура исчезла, как ночное видение, только издали донесся ее смех, какой-то странный и зловещий.

Перед Виницием стоял Петроний.

— Я видел и слышал, — сказал он.

Виниций ответил:

— Пойдем отсюда!

И они пошли, миновали горящие огнем лупанарии, лес, цепь конных преторианцев и наконец нашли свои носилки.

— Я сяду с тобой, — сказал Петроний.

Они сели вместе, но всю дорогу молчали. И только в атрии дома Виниция Петроний сказал:

— Ты знаешь, кто это?

— Рубрия? — спросил Виниций и содрогнулся при одной мысли, что Рубрия была весталка.

— Нет.

— Так кто же?

Петроний понизил голос:

— Огонь Весты оскверняет, — Рубрия была с цезарем. С тобою же говорила...

И он закончил еще ниже:

— *Diva augusta*¹.

Наступила минута молчания.

— Цезарь, — сказал Петроний, — не умел при ней скрыть своей страсти к Рубрии, — может быть, она хотела отомстить ему, а я помешал вам потому, что если б ты, узнав августу, отверг бы ее, то погиб бы наверное. И ты бы погиб, и Лигия, а может быть, и я.

Виниций вспыхнул.

— Довольно мне Рима, цезаря, пиров, августы, Тигеллина и всех вас! Я задыхаюсь! Я не могу так жить, не могу! Ты понимаешь меня?

— Ты теряешь голову, рассудок, чувство меры!.. Виниций!

— Я люблю ее одну на всем свете!

— Так что же?

— То, что я не хочу другой любви, не хочу вашей жизни, ваших пиров, вашего бесстыдства и ваших преступлений!

— Что с тобою делается? Христианин ты, что ли?

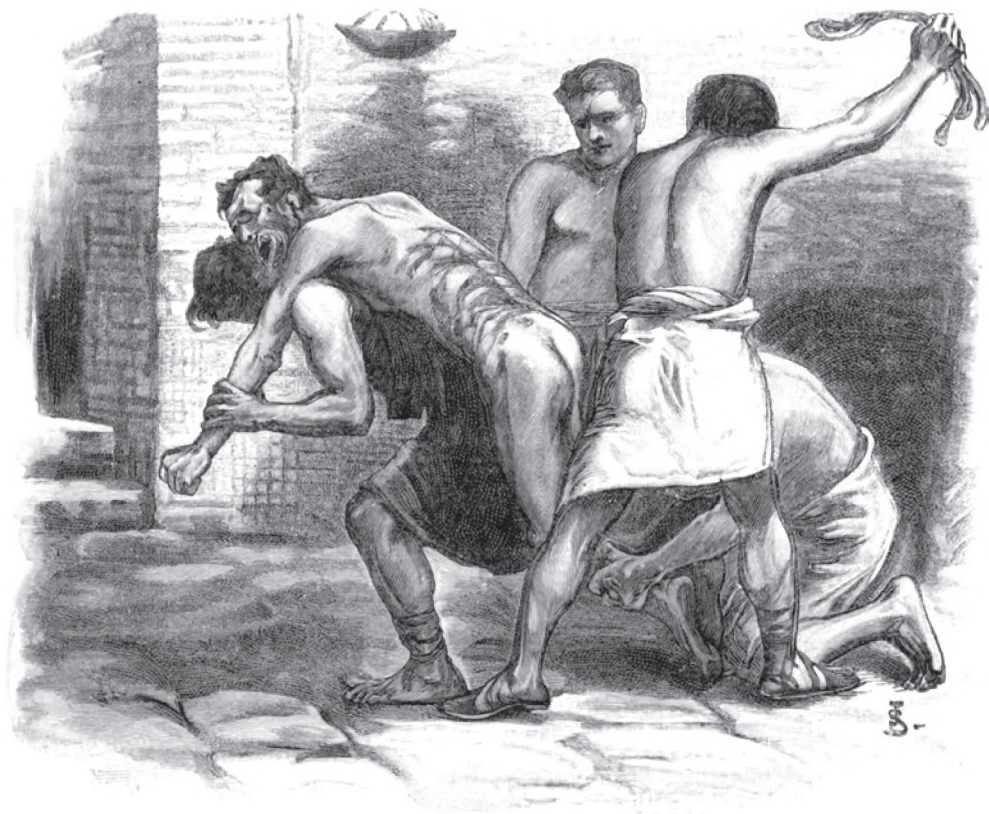
Молодой человек обхватил руками голову и начал повторять как бы в отчаянии:

— Нет еще, нет еще!

¹ Божественная августа, то есть Поппея.



— Ночь любви... ночь забвения! — говорила она,
задыхаясь. — Сегодня можно!.. Я твоя!



ГЛАВА X

Петроний пошел домой, пожимая плечами и очень недовольный. Теперь и он заметил, что они с Виницием перестали понимать друг друга и что души их совершенно разлучились. Когда-то Петроний имел огромное влияние на молодого воина, служил для него образцом, и нескольких его иронических слов было вполне достаточно, чтоб удержать Виниция или подвинуть его к чему-нибудь. Теперь от этого не осталось ничего, и Петроний даже не прибегал к прежним приемам, чувствуя, что его остроумие и ирония соскользнут без всякого следа с новой брони, какую облекли душу Виниция любовь и столкновение с непонятым христианским миром. Опытный скептик понимал, что потерял ключ к этой душе. Это было и неприятно ему, и внушало опасение, которое еще более усиливали события этой ночи. «Если со стороны августы это не мимолетная прихоть, а более сильная страсть, — думал Петроний, — то будет одно из двух: или Виниций не устоит и может погибнуть от всякой случайности, или, — чего от него теперь ожидать возможно, — устоит, и в таком случае погибнет неминуемо, а с ним, может быть, и я, хотя бы потому, что я его родственник, и потому, что августва, разгневавшись на весь род, обратит всю силу своего влияния на сторону Тигеллина»... И так, и иначе было плохо. Петроний был человеком отважным и смерти не боялся, но, не рассчитывая от нее получить ничего, не хотел призывать ее.

После долгого размышления он решил наконец, что самое лучшее и самое безопасное — это отправить Виниция путешествовать. Ах, если бы вдобавок он мог дать ему Лигию, то с радостью сделал бы это! Но Петроний надеялся, что ему и так не особенно трудно будет уговорить Виниция. Он распустил бы на Палатине слух об его болезни и отстранил бы опасность как от него, так и от себя. Августе, в конце концов, не было известно, узнал ли ее Виниций; она могла предполагать, что нет, и в таком случае ее самолюбие до сих пор не потерпело особого ущерба. Но в будущем могло случиться другое, и это нужно предупредить. Петроний прежде всего хотел выиграть время, — он понимал, что как только цезарь двинется в Ахайю, Тигеллин, который ничего не понимал в области искусства, отойдет на второй план и утратит свое значение. В Греции Петроний был уверен в своей победе над всеми противниками.

А пока он решил наблюдать за Виницием и склонять его к путешествию. Несколькими днями он думал даже о том, что если он испросит у цезаря эдикт об изгнании христиан из Рима, то Лигия покинет его вместе со своими единоверцами, а вместе с ними уедет и Виниций. Тогда его не нужно было бы и уговаривать. Само по себе дело было возможное. Не так еще давно, когда евреи начали волноваться и проявлять свою ненависть к христианам, цезарь Клавдий, не умея отличать одних от других, изгнал евреев. Почему бы Нерону теперь не изгнать христиан? В Риме стало бы просторнее. Петроний после «плавучего пира» каждый день видел Нерона на Палатине и в других домах. Подсунуть ему подобную мысль было легко, потому что цезарь никогда не сопротивлялся внушениям, могущим принести кому-нибудь вред. После зрелого размышления Петроний составил весь план действия. Он устроит у себя пир и на нем склонит цезаря подписать эдикт. У него даже была небезосновательная надежда, что ему будет поручено и исполнение этого эдикта. Тогда он выслаал бы Лигию со всеми почестями, надлежащими избраннице Виниция, например, в Байи, пусть бы они там любили и играли в христианство сколько им угодно.

Виниция он навещал часто, во-первых потому, что, при всем своем римском эгоизме не мог освободиться от привязанности к нему, а во-вторых, чтоб убедить его отправиться путешествовать. Виниций притворялся больным и не показывался на Палатине, где каждый день одни планы сменялись другими. Однажды Петроний услышал от самого цезаря, что он собирается в Антий, и на другой день отправился известить об этом Виниция.

Тот показал ему список приглашенных в Антий, который утром принес ему отпущенник цезаря.

— Здесь значится и мое имя, и твое, — сказал он. — Когда ты возвратишься домой, то найдешь такой же список у себя.

— Если бы меня не было в числе приглашенных, то это значило бы, что мне нужно умереть, но я не рассчитываю, чтоб это случилось перед поездкой в Ахайю, — ответил Петроний. — Там я буду необходим Нерону.

Потом, пересмотрев список, он прибавил:

— Едва мы возвратились в Рим, как нужно снова покидать его и тащиться в Антий. Но что делать? Это не только приглашение, — это вместе с тем приказ.

— А если бы кто не послушал его?

— Тогда получил бы приглашение другого рода — отправиться в более длинное путешествие, в такое, из какого не возвращаются. Какая досада, что ты не послушал моего совета и не выехал отсюда, пока было время! Теперь ты должен ехать в Антий.

— Теперь я должен ехать в Антий... Обрати внимание, в какое время мы живем и какие мы подлые рабы!

— А ты только теперь заметил это?

— Нет. Но, видишь ли, ты доказывал мне, что христианское учение — враг жизни, потому что оно налагает на нее узы. А могут ли быть более тяжелые узы, чем те, которые носим мы? Ты говоришь: Греция породила мудрость и красоту, а Рим силу. Где же наша сила?

— Призови к себе Хилона. Сегодня у меня нет ни малейшей охоты философствовать. Клянусь Геркулесом! не я создал это время и не я за него отвечаю. Поговорим об Антии. Знай, что нас ждет там большая опасность и что тебе, может быть, лучше было бы померяться силами с Урсом, который задавил Кротона, чем ехать в Антий, а все-таки ты не можешь не ехать.

Виниций небрежно махнул рукой и сказал:

— Опасность! Мы все блуждаем во мраке смерти, и каждую минуту чья-нибудь голова погружается в этот мрак.

— Должен ли я перечислять тебе всех, у кого была хоть капля ума и кто благодаря этому, несмотря на времена Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, дожил до восьмидесяти и девяноста лет? Пускай примером тебе послужит хотя бы только Домиций Афер. Он спокойно состарился, хотя всю жизнь был негодяем и разбойником.

— Может быть, поэтому! может быть, только поэтому! — ответил Виниций.

Он посмотрел список и добавил:

— Тигеллин, Ватиний, Секст Африкан, Аквиллий Регул, Суилий Нерулин¹, Эприй Марцелл и так далее. Что за сброд оборванцев и негодяев!.. И подумаешь, что это управляет миром!.. Не лучше ли им было бы возить какого-нибудь египетского или сирийского бога по городам, брэнчать в сисстры и зарабатывать хлеб колдовством или прыжками?..

— Или показывать ученых обезьян, собак, умеющих считать, осла, играющего на флейте, — сказал Петроний, — все это правда, но поговорим о более важном. Сосредоточь свое внимание и слушай меня. Я сказал на Палатине, что ты болен и не можешь выходить из дома, а теперь твое имя, однако, находится в списке. Это доказывает, что кто-то не поверил моим рассказам и постарался нарочно пригласить тебя. Нерону интереса в этом не было; для него ты солдат, с которым, самое большее, можно говорить только о ристаниях в цирке и который не имеет ни малейшего понятия о поэзии и музыке. О внесении твоего имени в список озаботилась разве Поппея, а это значит, что ее влечение к тебе не было скоропреходящею прихотью и что она желает овладеть тобою.

— Храбрая августа!

— Действительно храбрая, потому что это может окончательно слубить ее. Да внушит ей Венера как можно скорее какую-нибудь другую любовь, но пока она жаждет тебя, ты должен соблюдать величайшую осторожность. Меднобородому она начинает надоедать, — он теперь предпочитает Рубрию или Пифагора, но ради своего самолюбия он жестоко отомстил бы вам.

¹ Возможно, здесь допущена неточность: не Суилий Нерулин, а Публий Суилий Руф, сводный брат Корбулона (*примеч. ред.*).

— В лесу я не знал, что она разговаривает со мною, но ты подслушивал и знаешь, что я сказал ей, что люблю другую и не хочу никого другого.

— А я заклинаю тебя всеми подземными богами, не теряй остатков разума, которые еще оставили тебе христиане. Как можно колебаться, когда предстоит выбор между правдоподобною и вероятною гибелью? Не говорил ли я тебе, что если б ты уязвил самолюбие августы, то для тебя не было бы спасения? Клянусь Гадесом! если жизнь опротивела тебе, то лучше сейчас же открой себе жилы или бросься на меч, потому что если ты оскорбишь Поппею, то тебя может постигнуть смерть менее легкая. Когда-то с тобою было приятно говорить... В чем, собственно, все дело? Убудет тебя, что ли? Помешает это тебе любить твою Лигию? Помни притом, что Поппея видела ее на Палатине и что ей нетрудно будет догадаться, ради кого ты отринул столь высокое благоволение. А тогда она добудет ее хоть из-под земли. Ты погубишь не только себя, но и Лигию, — понимаешь?

Виниций слушал так, как будто думал о чем-нибудь другом, и наконец сказал:

— Я должен видеть ее.

— Кого? Лигию?

— Лигию.

— Ты знаешь, где живет она?

— Нет.

— Так, значит, опять станешь искать ее по старым кладбищам?

— Не знаю, но я должен видеть ее.

— Хорошо. Хотя она христианка, но, может быть, окажется рассудительнее тебя, а это непременно окажется, если она не желает твоей гибели.

Виниций пожал плечами.

— Она вырвала меня из рук Урса.

— В таком случае спеши, потому что меднобородый не будет медлить с отъездом. Смертные приговоры можно подписывать и в Антии.

Но Виниций не слушал. Его занимала только одна мысль — видеться с Лигией, и он начал думать, как бы это сделать.

Тут явилось одно обстоятельство, которое могло отстранить все затруднения. На следующий день к Виницию совершенно неожиданно пришел Хилон. Пришел он тощий и оборванный, со следами голода на лице, в отрепанных лохмотьях, но прислуга молодого патриция, которая когда-то получила приказание впускать его во всякое время дня и ночи, не смела удерживать его, так что грек прямо вошел в атрий, стал перед Виницием и сказал:

— Да дадут тебе боги бессмертие и да поделятся с тобою властью над миром.

В первую минуту Виницию хотелось приказать вышвырнуть его за дверь, но ему пришло в голову, что грек, может быть, знает что-нибудь о Лигии, и любопытство превозмогло отвращение.

— Это ты? — спросил он. — Что с тобою?

— Плохо, сын Юпитера, — ответил Хилон. — Истинная добродетель — это товар, которого теперь никто не спрашивает, и истинный мудрец должен довольствоваться тем, что через четыре дня в пятый купит у мясника баранью голову и сгрызет ее у себя на чердаке, запивая собственными слезами. Ах, господин! Все, что ты мне дал, я истратил на покупку книг у Атракта, а потом меня обокрали, ограбили. Невольница, которая должна была записывать мое учение, убежала и забрала остатки того,

чем меня одарило твое великодушие. Став нищим, я подумал: к кому же мне направиться, как не к тебе, Серапис, которого я люблю, боготворю, для которого я неоднократно жертвовал своею жизнью?

— Зачем же ты пришел и что ты принес?

— За помощь, Ваал, а принес тебе свою нищету, свои слезы, свою любовь и, наконец, известия, которые я собрал из любви к тебе. Помнишь, господин, я говорил тебе когда-то, что уступил невольнице божественного Петрония одну нитку из пояса Венеры Пафосской?.. Я узнавал, помогло ли ей это, и ты, сын солнца, знаешь, конечно, что такое теперь Эвника в доме Петрония. У меня есть еще одна такая нитка. Я сберег ее для тебя.

Он остановился, заметив, что брови Виниция начинают грозно нахмуриваться, и, желая предупредить вспышку, поспешно сказал:

— Я знаю, где живет божественная Лигия, и укажу тебе, господин, дом и переулок...

Виниций подавил волнение, которое объяло его при этом известии, и сказал:

— Где она?

— У Линна, старшего христианского жреца. Она живет там вместе с Урсом, а тот по-прежнему ходит к мельнику, которого зовут так же, как твоего диспенсатора¹, Демасом... Да, Демас!.. Урс работает по ночам, и, окружив дом ночью, ты не найдешь его там... Линн старик, а в доме, кроме него, две еще более старые женщины.

— Откуда ты знаешь все это?

— Помнишь, господин, что христиане держали меня в своих руках и пощадили? Правда, Главк ошибается, считая меня причиной своего несчастья, но бедняк верил в это, верит до сих пор и, однако, пощадил меня! Так не удивляйся же, господин, что сердце мое преисполнилось благодарностью. Я — человек лучшего, старого времени. Поэтому я думал: должен ли я забыть своих друзей и благодетелей? Не было ли бы с моей стороны бесчувственностью не спросить о них, не разузнать, что с ними делается, каким здоровьем они пользуются и где обитают? Клянусь Пессинунтскою² Кибелой! не способен я к этому. Сначала меня удерживало опасение, чтобы христиане не истолковали моих намерений в дурную сторону, но любовь, которую я питаю к ним, оказалась сильнее опасения, а в особенности мне придала смелости та легкость, с которою они прощают все обиды. Но прежде всего я думал о тебе, господин. Последнее наше предприятие окончилось поражением, а разве ты, сын Фортуны, можешь примириться с этою мыслью? Вот я и подготовил тебе победу. Дом стоит особняком. Ты можешь окружить его невольниками так, что и мышь не проскользнет. О, господин! от тебя зависит, чтобы сегодня же ночью эта царевна очутилась в твоём доме. Но если это совершится, вспомни, что помог тебе бедный и голодный сын моего отца.

У Виниция кровь прихлынула к голове. Искушение еще раз потрясло все его существо. Да, да! То был способ, и на этот раз верный способ. Когда он будет иметь Лигию у себя, кто отнимет ее у него? Раз Лигия будет его любовницей, что ей придется делать, как не остаться навсегда в том же положении? И пусть пропадут все учения! Что для него будут значить тогда христиане, вместе со своим милосердием и своим угрюмым учением? Разве ему не пора начать жить, как живут все? Что потом

¹ *Dispensator* — управитель дома, ведший счет доходов и расходов господина.

² *Пессинунт* — город в Галатии (в Малой Азии), славившийся как центр культа богини Кибелы.

сделает Лигия, как она примирит свою судьбу с учением, которому она следует, — опять-таки дело второстепенное. Вообще, все это не имеет никакого значения. Прежде всего, она будет принадлежать ему, и не дальше, как сегодня. Кроме того, еще вопрос, устоит ли она со своим учением при столкновении с этим новым для нее миром, с роскошью и восторгом, которым должна поддаться. А это может случиться сегодня же. Достаточно задержать Хилона и в сумерки отдать надлежащее распоряжение. А потом — радость без конца! «Чем была моя жизнь? — думал Виниций. — Страданием, неудовлетворенною жадой и задаванием себе вечных вопросов без ответа». А таким образом все будет разрешено и окончено. Правда, он вспомнил, что поклялся, что не поднимет на нее руку, но чем клялся он? Не богами, в которых он уже не верил, не Христом, в которого еще не верит. Наконец, если Лигия будет считать себя обиженной, он женится на ней и таким образом удовлетворит ее. Да, он должен сделать это, потому что обязан ей своею жизнью. Тут ему припомнился день, когда он вместе с Кротонем вторгнулся в жилище Лигии, вспомнил поднятый над ним кулак Урса и все, что произошло потом. Он увидал, как она, склонившись, стояла над его ложем, одетая в платье невольницы, прелестная, как божество. Глаза его невольно обратились на ларарий¹ и на крестик, который она, уходя, оставила ему. Неужели за все это он ответит ей новым покушением? Неужели, как невольницу, он будет тащить ее за волосы в кубикул? И как же он сумеет сделать это, если не только жаждет обладать ею, но и любить ее, и любить за то, собственно, что она такова, какова есть? И вдруг он почувствовал, что недостаточно держать ее в своем доме в качестве невольницы, недостаточно силою заключить в свои объятия, — его любовь хочет чего-то другого, то есть ее согласия, ее любви и ее души. Да будет благословенна эта кровля, если она войдет под нее добровольно, да будет благословенна эта минута, этот день, да будет благословенна жизнь. Тогда счастье их будет широко, как неизмеримое море, светло, как солнце. Но похитить ее насильно — это значит убить это счастье, а вместе с тем уничтожить и осквернить то, что составляет величайшее и единственное сокровище жизни.

Виниция охватило негодование при одной мысли об этом. Он посмотрел на Хилона и почувствовал непреодолимое отвращение и желание растоптать своего бывшего помощника так, как растаптывают червяка или ядовитую змею. Через минуту он уже знал, что ему делать, но, не соблюдая меры ни в чем и следуя требованию своей неумолимой римской натуры, он обратился к Хилону и сказал:

— Я не сделаю того, что ты мне советуешь, но чтобы ты не ушел от меня без награды, какую ты заслуживаешь, я прикажу дать тебе триста розог в моем домашнем эргастуле.

Хилон побледнел. Красивое лицо Виниция приняло выражение такой холодной жестокости, что он ни на одну минуту не мог обольщать себя надеждой, что обещанная награда может быть только жестокою шуткой.

Он опустился на колени, скорчился и начал стонать прерывающимся голосом:

— Как, царь персидский? За что?.. Пирамида благоволения, колосс милосердия! За что?.. Я — старик, голодный, нищий... Я служил тебе... Так-то ты воздаешь за заслуги?

¹ *Lararium* — божница, помещение, в котором стояли изображения ларов, богов-покровителей дома.

— Как ты христианам, — ответил Виниций.

И он позвал своего диспенсатора.

Хилон подполз к его ногам, конвульсивно обнял его колени и взывал с лицом, покрытым смертельной бледностью:

— Господин, господин!.. Я — старик! Пятьдесят, но триста... Пятидесяти довольно!.. Сто, не триста!.. Будь милосерд!

Виниций оттолкнул его ногою и отдал распоряжение. Во мгновение ока вслед за диспенсатором вбежали двое сильных квадов¹, схватили Хилона за остатки волос, окутали его голову его же лохмотьями и повлекли в эргастул.

— Во имя Христа!.. — закричал грек в дверях коридора.

Виниций остался один. Отданное им распоряжение возбудило и оживило его. Теперь он старался собрать свои рассеянные мысли и привести их в порядок. Он чувствовал великое успокоение, и сознание победы, которую он одержал над собою, наполнило его бодростью. Ему казалось, что он сделал какой-то великий шаг навстречу Лигии и что его ждет какая-то великая награда. В первую минуту ему даже не приходило в голову, как он был несправедлив по отношению к Хилону, приказав наказать его за то, за что награждал прежде. Душа его еще до сих пор была настолько римскою, что не могла понять чужой скорби и обременять свое внимание каким-то ничтожным греком. Если б он даже и подумал об этом, то решил бы, что поступил справедливо, когда приказал наказать негодяя. Но он думал о Лигии и говорил ей: «Я не заплачу тебе злом за добро, а если ты когда-нибудь узнаешь, как я поступил с тем, кто подбивал меня поднять на тебя руку, то ты будешь мне благодарна». Но здесь он остановился в нерешимости, — одобрила ли бы Лигия его поступок с Хилоном? Ведь учение, которое исповедует она, повелевает прощать, ведь христиане простили этому негодяю, хотя имели более сильные поводы отомстить ему. И только теперь в его душе отозвался крик: «Во имя Христа!». Он вспомнил, что подобным возгласом Хилон выкупил себя из рук лигийца, и решил сократить его наказание.

Он собирался было призвать диспенсатора, когда тот сам пришел к нему и сказал:

— Господин, старик в обмороке, а может быть и умер. Должен я его сечь дальше?

— Приведи его в чувство, и потом пусть он придет сюда.

Диспенсатор скрылся за занавеской, но привести в чувство Хилона было нелегко. Виниций ждал долго и начал уже терять терпение, когда невольники привели грека и по мановению руки господина тотчас же удалились.

Хилон был бледен, как полотно, с его ног на мозаику атрия сплывали струйки крови. Но он был в полном сознании и, упав на колени, произнес, протягивая вперед руки:

— Благодарю тебя, господин! Ты милосерден и велик!

— Собака, — сказал Виниций, — знай, что я простил тебя ради того Христа, которому и сам обязан жизнью.

— Господин, я буду служить ему и тебе.

— Молчи и слушай. Встань! Ты пойдешь за мной и покажешь мне дом, в котором живет Лигия.

Хилон приподнялся, но едва только стал на ноги, как побледнел еще больше и проговорил прерывающимся голосом:

¹ *Quadi* — одно германское племя, жившее в части теперешней Богемии и Моравии. Здесь разумеются рабы Виниция из этого племени.

— Господин, ведь я действительно голоден... Господин, я пойду, пойду, но теперь у меня нет сил... Прикажи мне дать хоть остатки из миски твоей собаки, и я пойду!..

Виниций приказал накормить его и дать ему плащ и золотую монету. Но Хилон, ослабленный голодом и побоями, не мог идти даже и после пищи, хотя волосы его поднимались дыбом при мысли, как бы Виниций не принял его слабости за притворство и не приказал бы истязать снова.

— Разве только вино согреет меня, — повторял он, щелкая зубами, — тогда я мог бы идти сейчас хоть в Великую Грецию.

Но мало-помалу силы возвращались к нему, и он вышел вместе с Виницием. Дорога была длинная, — Линн, как большая часть христиан, жил за Тибром, недалеко от дома Мириам. Наконец Хилон показал Виницию отдельный маленький домик, обнесенный стеною, сплошь покрытую плющом, и сказал:

— Вот здесь, господин.

— Хорошо, — сказал Виниций, — теперь иди прочь, но сначала выслушай, что я скажу тебе: забудь, что ты служил мне; забудь, где живет Мириам, Петр и Главк; забудь также об этом доме и обо всех христианах. Каждый месяц ты будешь приходить ко мне в дом, где мой отпущенник Демас будет выплачивать тебе по две золотых монеты. Но если ты и дальше будешь шпионить за христианами, то я прикажу тебя засечь розгами или отдам в руки городского префекта.

Хилон поклонился и сказал:

— Забуду.

Но когда Виниций исчез за углом переулка, грек протянул руки и, грозя кулаками, крикнул:

— Клянусь Атой¹ и Фурией, не забуду!

Ему опять сделалось дурно.



¹ *Ate* — богиня, мстившая, подобно Фуриям, за злые дела.



ГЛАВА XI

Виниций направился прямо в дом, где жила Мириам. У ворот он встретил Назария, который смутился при его виде, но Виниций ласково поздоровался с ним и приказал проводить себя до жилища его матери.

В домике Виниций, кроме Мириам, застал Петра, Главка, Криспа и даже Павла Тарсянина, который только что возвратился из Фрегелл¹. При виде молодого трибуна на лицах всех присутствующих выразилось изумление, а он сказал:

— Приветствую вас во имя Христа, которого вы почитаете.

— Да будет имя его благословенно во веки веков.

— Я видел вашу добродетель, убедился в вашей доброте и прихожу к вам, как друг.

— И мы приветствуем тебя, как друга, — ответил Петр. — Садись, господин, и раздели с нами трапезу, как гость наш.

¹ *Fregellae* — город в средней Италии, теперь *Ceprano*.

— Я сяду и разделю с вами трапезу, только сначала выслушайте меня, ты, Петр, и ты, Павел, дабы вы узнали искренность мою. Я знаю, где живет Лигия, я пришел прямо сюда от дома Линна. Я имею право на Лигию, и право это дано мне цезарем; в городе в моих домах почти пятьсот невольников, я мог бы окружить убежище Лигии и взять ее, но, однако, не сделал этого и не сделаю.

— За то благословение Господа будет над тобою, и сердце твое очистится, — сказал Петр.

— Благодарю тебя, но послушайте меня еще: я не сделал этого, хотя живу в муке и тоске. Раньше, — прежде, чем я пожил с вами, — я непременно взял бы ее и задержал бы насильно, но ваша добродетель и ваше учение, — хотя я не признаю его, — изменили что-то и в моей душе, так что я даже и не отваживаюсь на насилие. Я сам не знаю, почему это так случилось, но это верно. И вот я прихожу к вам, ибо вы заменяете Лигии отца и мать, и говорю вам: отдайте ее мне в жены, а я клянусь вам, что не только не воспрещу ей поклоняться Христу, но и сам начну изучать его учение.

Он говорил, высоко подняв голову, решительным голосом, но был взволнован, и ноги его дрожали под полосатым плащом, а когда после его слов наступило молчание, он продолжал, как будто желая предупредить неблагоприятный ответ:

— Я знаю, что препятствий много, но люблю ее, как зеницу ока, и хотя я еще не христианин, но вместе с тем меня нельзя назвать ни вашим врагом, ни врагом Христа. Я хочу поступать с вами правдиво, чтоб вы могли верить мне. Теперь дело идет о моей жизни, но я говорю вам правду. Другой, может быть, сказал бы вам: окрестите меня, — а я говорю: просветите меня! Я верю, что Христос воскрес, потому что так говорят люди, живущие правдой, те, которые видели его после смерти. Я верю, потому что сам видел, что ваше учение множит добродетель, справедливость и милосердие, а не преступления, какие вам приписывают. Я мало знаком с учением вашим, — кое-что узнал от вас, от Лигии, кое-что увидал из ваших поступков, а все-таки повторяю вам, и во мне что-то уже изменилось благодаря этому. Прежде я в железной руке держал своих слуг, а теперь не могу. Я не знал сожаления, теперь знаю. Я любил наслаждения, а теперь бежал с пруда Агриппы, я не мог дышать от отвращения. Прежде я верил в насилие, теперь отрекся от него. Знайте, что я сам не узнаю себя, но мне опротивели пиры, опротивело вино, пение, цитры и венки, опротивел двор цезаря, и нагие тела, и все преступления. А когда я думаю, что Лигия — словно горный снег, то тем более я люблю ее, и когда мне приходит в голову, что такую она стала благодаря вашему учению, то люблю его и хочу его. Но так как я не понимаю его, так как не знаю, сумею ли ужиться с ним, снесет ли его моя натура, то и живу в неизвестности и муке, как будто бы жил в темнице.

Брови его сошлись болезненной складкой, на щеках выступил румянец, но он продолжал говорить поспешнее, с возрастающим волнением:

— Знайте же! Я страдаю от любви и от мрака. Мне говорили, что при вашем учении не может существовать ни жизнь, ни человеческая радость, ни счастье, ни закон, ни порядок, ни власть, ни римское могущество. Правда ли это? Мне говорили, что вы люди безумные, — скажите, что вы приносите в мир? Разве любить — грех? Разве ощущать радость — грех? Желать счастья — грех? Разве вы — враги жизни? Нужно ли христианину быть нищим? Должен ли я отказаться от Лигии? Какова же ваша правда? Ваши дела и слова — словно источник прозрачный, но каково дно этого источника? Вы видите, я искренен. Рассейте же окружающий меня мрак.

Мне говорили еще и вот что: Греция породила мудрость и красоту, Рим — силу, а что приносят они? Так вот, скажите же, что вы приносите в мир? Если за вашими дверями свет, то откройте мне эти двери.

— Мы приносим любовь, — сказал Петр.

А Павел Тарсянин добавил:

— Если б ты говорил языками людскими и ангельскими, а любви не имел бы, то ты был бы как медь звенящая.

Но сердце старого апостола тронула эта страдающая душа, которая, как птица, заключенная в клетку, рвалась к солнцу и простору, и, протянув Веницию руки, он сказал:

— Кто стучится, тому будет отворено. Благодать Господня над тобою, и я благословляю тебя, твою душу и твою любовь во имя Избавителя мира.

Вениций, который и так говорил с горячностью, услышав эти слова, подбежал к Петру, и тут произошло что-то необычайное. Потомок квиристов, который еще так недавно не считал чужеземца человеком, схватил руку старого галилеянина и с признательностью прижал ее к губам.

Петр был обрадован. Он понял, что посев опять упал на добрую почву и что его рыбацья сеть захватила еще одну душу.

Присутствующие были не меньше обрадованы этим явным знаком почтения к апостолу Божию, и в один голос воскликнули:

— Слава в вышних Богу.

Вениций встал с прояснившимся лицом и заговорил:

— Я вижу, что мое счастье — это жить с вами, потому что чувствую себя счастливым и думаю, что вы также убедите меня и в других вещах. Но я вам скажу еще, что это произойдет не в Риме, — цезарь едет в Антий, и я также должен ехать, потому что получил приказание. Вы знаете, что не послушаться — это значит обречь себя на смерть. Но если я заслужил ваше благоволение, поезжайте со мной и учите меня вашей правде. В толпе вы будете в большей безопасности, чем я сам, будете иметь возможность проповедовать вашу правду при дворе цезаря. Говорят, что Актея христианка, да и среди преторианцев много христиан, — я сам видел, как солдаты преклоняли перед тобою колени, Петр, у Номентанских ворот. В Антии у меня есть вилла, где мы будем собираться, чтобы под боком Нерона слушать ваши проповеди. Главк говорил мне, что вы для одной души готовы идти на край света. Сделайте для меня то, что делали для тех, для которых пришли из Иудеи, — сделайте, и не покидайте души моей!

Христиане начали советовать, с радостью сознавая победу своего учения и последствия, которые могут произойти от обращения в христианство августианина и потомка одного из старейших римских родов. Они действительно готовы были идти на край света для спасения одной души, и со смерти Учителя ничего другого не делали, — значит, об отрицательном ответе не могло быть и речи. Но Петр в это время был пастырем всего стада, и выехать из Рима не мог, зато Павел Тарсянин, который недавно был в Ариции и во Фрегеллах и собирался в долгое путешествие на Восток, чтобы навестить тамошние церкви и оживить их новым дуновением усердия, согласился сопровождать молодого патриция в Антий. Там ему легко было найти судно, идущее на греческие моря.

Вениций опечалился, что Петр, которому он был столько обязан, не будет сопровождать его, но все-таки высказал свою благодарность, а потом обратился к старому апостолу с последнею просьбой.

— Зная жилище Лигии, — сказал он, — я мог бы пойти к ней и спросить, как это следует, хочет ли она выйти за меня, если моя душа сделается христианскою душой, но я предпочитаю просить тебя, апостол: позволь мне видеть ее или сам проводи меня к ней. Я не знаю, как долго мне придется прожить в Антии, — помните, что возле цезаря никто не уверен в своем завтрашнем дне. Мне и Петроний говорил, что я не буду там в безопасности. Дайте мне увидеть Лигию, дайте моему зрению насытиться ею, дайте мне расспросить ее, забыла ли она мое зло и захочет ли она разделить со мною мое добро.

Апостол Петр добродушно улыбнулся и сказал:

— Кто бы справедливо мог лишить радости тебя, мой сын?

Виниций снова припал к его рукам, потому что не мог сдержать переполненного сердца. Апостол взял его за голову и сказал:

— Но цезаря ты не бойся, ибо я говорю тебе, что ни один волос не спадет с твоей головы.

Потом он послал к Лигии Мириам с приказом не говорить ей, кто находится у них, чтоб и девушке доставить большую радость. Прошло немного времени, и среди миртов садика показалась Мириам, ведущая за руку Лигию.



Виниций хотел было бежать к ним навстречу, но при виде любимого существа почувствовал, как силы покидают его, и он остался на месте, с бьющимся сердцем, без дыхания, во сто раз более взволнованный, чем тогда, когда в первый раз услышал свист парфянской стрелы, пролетевшей мимо его головы.

Лигия вбежала в комнату, не ожидая ничего, и при виде Виниция также остановилась, как вкопанная. Лицо ее вспыхнуло и побледнело в одно и то же время. Удивленными и испуганными глазами она окинула взором всех присутствующих.

Но ее окружали добрые, расположенные лица, а апостол Петр приблизился к ней и сказал:

— Лигия, ты все еще любишь его?

Наступила минута молчания. Губы Лигии задрожали, как у ребенка, который собирается плакать и который, чувствуя себя виноватым, видит, что ему приходится признаться в своей вине.

— Отвечай, — сказал апостол.

Тогда с покорностью и страхом в голосе она прошептала, склоняясь к коленям Петра:

— Да.

Виниций также опустился на колени рядом с нею. Петр возложил им руки на головы и произнес:

— Любите друг друга во Господе и во славу его, ибо нет греха в любви вашей.



ГЛАВА XII

Ходя по саду, Виниций в коротких, вырванных из глубины сердца словах рассказывал Лигии то, в чем за минуту перед тем признался апостолам. Он говорил о тревоге своей души, о том, какие перемены произошли в нем, и, наконец, о той неизмеримой тоске, которая омрачила его жизнь с того времени, как Лигия покинула жилище Мириам. Он признался, что хотел забыть о ней, но не мог. Ему припомнился крестик, связанный из веток самшита, который она оставила ему, который он поместил в своем ларарии и невольно чтит, как что-то божественное. Он тосковал все больше и больше, потому что его любовь была сильнее его и уже в доме Авла всецело охватила его душу. Другим нити жизни прядут Парки, а нити его жизни пряли любовь, тоска и грусть. Поступки его были дурны, но исходили они из любви. Он любил ее и в доме Авла, и на Палатине, и в Остриане, когда видел, как она слушает слова Петра, и когда с Кротоном шел похищать ее, и когда она сидела возле его ложа, и когда она покинула его. И вот пришел Хилон, который открыл ее убежище, и советовал похитить ее, но он счел лучшим наказать Хилона и пойти к апостолам добиваться истины и ее. Да будет благословенна та минута, когда эта мысль пришла ему в голову, потому что теперь он возле нее, а она не будет бежать от него, как в последний раз бежала из жилища Мириам.

- Ведь правда?
- Я не от тебя бежала, — сказала Лигия.
- Для чего же ты сделала это?

Она подняла на него свои глаза цвета ириса, склонила свое смущенное лицо и сказала:

- Ты знаешь.

Виниций на минуту умолк от избытка счастья, а потом снова заговорил, как мало-помалу открывались его глаза, как она отличается от всех римлянок, и если похожа на кого-нибудь, то разве только на Помпонию. Собственно, он не мог точно высказаться, потому что сам не отдавал себе отчета в том, что чувствовал. В ее лице на свет появляется какая-то совсем особая красота, которой до сих пор не было, — это не только статуя, но и душа. Взамен этого он сказал ей слово, которое наполнило ее радостью, что он полюбил ее за то, что она бежала от него, и что она будет святыней у его очага.

Он схватил ее руки и не мог говорить больше, только с восторгом смотрел на нее, как на отысканное счастье жизни, и повторял ее имя, как будто хотел удостовериться, что он нашел ее и теперь стоит возле нее:

- О, Лигия! О, Лигия!

Наконец он стал расспрашивать, что творилось в ее душе, и она призналась ему, что полюбила его еще в доме Авла, и если бы он отправил ее туда из Палатина, она сообщила бы Авлу о своей любви и постаралась бы смягчить его гнев на Виниция.

— Клянусь тебе, — сказал Виниций, — мне даже и в голову не приходило отнимать тебя у Авла. Петроний со временем скажет тебе, что даже и тогда я говорил ему, что люблю тебя и хочу жениться на тебе. Я сказал ему: пусть она умастит волчьим жиром мои двери, пусть воссядет у моего очага. Но он осмеял меня и внушил цезарю мысль, что я желаю взять тебя, как заложницу, и чтоб он отдал тебя мне. Сколько раз в минуты моего горя я проклинал его, но, может быть, так желала счастливая судьба, потому что иначе я не узнал бы христиан и не нашел бы тебя.

- Верь мне, Марк, — ответила Лигия, — что Христос умышленно ведет нас к себе. Виниций удивился и поднял голову.

— Правда, — сказал он, — все складывалось так странно, что, отыскивая тебя, я познакомился с христианами. В Остриане я с удивлением слушал апостола, потому что таких речей не слышал никогда. Ты тогда за меня молилась?

- Да, — ответила Лигия.

Они прошли мимо беседки, покрытой плющом, и приблизились к тому месту, где Урс, задавив Кротона, бросился на Виниция.

- Здесь, — сказал молодой человек, — если б не ты, то я бы погиб.

- Не вспоминай, — ответила Лигия, — и не ставь это в вину Урсу.

— Могу ли я мстить ему за то, что он защищал тебя? Если б он был невольником, то я сейчас же дал бы ему свободу.

- Если б он был невольником, то Авла давно бы отпустил его.

— Помнишь, как я хотел тебя возвратить Авлу? Но ты отвечала, что цезарь мог бы узнать об этом и отомстить Авлу. Послушай, теперь ты можешь видеть его сколько угодно.

- Почему, Марк?

— Я говорю «теперь» и думаю, что ты будешь безопасно видеть их, когда станешь моею. Да! Если бы цезарь, узнав об этом, спросил, что я сделал с заложницей,



И они снова умолкли, потому что любовь сдавливала дыхание в их груди. Лигия стояла, прислонившись спиной к китарису, с опущенными глазами и волнующеюся грудью, Виниций менялся в лице, то краснел, то бледнел.

которую он мне доверил, я скажу ему: я женился на ней, и к Авлу она ходит с моего разрешения. Долго в Антии он не проживет, потому что ему хочется ехать в Ахайю, а если б и долго прожил, мне нет надобности видеться с ним каждый день. Когда Павел Тарсянин научит меня вашей Правде, я тотчас же приму крещение, возвращусь сюда и приобрету дружбу Авла; кстати, они на днях возвращаются в город. Преград уже никаких не будет, тогда я возьму тебя и посажу у своего очага. О, *carissima! Carissima!*

Он протянул руки, как бы призывая небо в свидетели, а Лигия, подняв на него свои светлые глаза, сказала:

— И тогда я скажу: где ты, Кай, там и я, Кая¹.

— Нет, Лигия! — воскликнул Виниций, — клянусь тебе, что никогда никакая женщина не пользовалась таким уважением в доме мужа, каким будешь пользоваться ты.

Они шли молча, не в состоянии объять своего счастья, подобные двум богам и настолько прекрасные, как будто весна породила их вместе с цветами. Наконец они остановились под кипарисом, растущим у входа в домик. Лигия прижалась к груди Виниция, тот снова стал просить дрожащим голосом:

— Прикажи Урсу пойти в дом Авла, забрать твои вещи и детские игрушки и перенести ко мне.

Лигия покраснела, как роза или как утренняя заря, и отвечала:

— Обычай приказывает делать не так.

— Я знаю. Обыкновенно, вещи приносит пронуба² вслед за новобрачной, но ты сделай это для меня. Я возьму их с собою в Антий, и они будут мне напоминать тебя.

Тут он сложил руки и начал повторять, как ребенок, просящий что-нибудь:

— Помпония возвратится на днях, сделай для меня это, *diva*, сделай, дорогая!

— Пусть Помпония сделает, как хочет, — ответила Лигия и еще сильнее покраснела при упоминании о пронубе.

И они снова умолкли, потому что любовь сдавливала дыхание в их груди. Лигия стояла, прислонившись спиной к кипарису, с опущенными глазами и волнуящуюся грудью, Виниций менялся в лице, то краснел, то бледнел. В полудневной тиши они слышали, как бьются их сердца, и в их упоении этот кипарис, миртовые кусты и плющ, обвивающий беседку, обращались в какой-то заколдованный сад любви.

В дверях появилась Мириам и позвала их завтракать. Виниций и Лигия сели с апостолами, а те с радостью смотрели на них, как на молодое поколение, которое после их смерти должно было сохранять и сеять дальше зерно нового учения. Петр преломлял и благословлял хлеб; на всех лицах виднелось спокойствие, и какое-то неизреченное счастье, казалось, наполняло всю эту комнату.

— Посмотри, — сказал, наконец, Павел, обращаясь к Виницию, — похожи мы на врагов жизни и радости?

И Виниций ответил:

— Теперь я знаю, потому что никогда не был так счастлив, как с вами.

¹ *Ubi tu Gaius ibi ego Gaia* — священная формула, которую произносила невеста, вступая в дом жениха; смысл ее был уже неясен самим древним.

² *Pronuba* — одна из замужних родственниц невесты, исполнявшая некоторые обряды при совершении брака.



ГЛАВА XIII

В тот же день вечером Виниций, проходя чрез Форум и направляясь домой, заметил на углу *Vicus Tuscus*¹ золоченые носилки Петрония, которые несли восемь рослых британцев, и, задержав их движением руки, приблизился к занавескам.

— Да будет приятен твой сон! — сказал он и засмеялся при виде спящего Петрония.

— Ах, это ты! — сказал Петроний, просыпаясь. — Да, я задремал, потому что ночь провел на Палатине. Теперь я отправился купить себе что-нибудь читать в Антии. Что нового?

— Ходишь по книжным лавкам? — спросил Виниций.

— Да. Я не хочу производить беспорядка в своей библиотеке и потому на дорогу делаю отдельные запасы. Кажется, вышли новые сочинения Музония и Сенеки. Я ищу также Персия² и одно издание эклог Виргилия, которого у меня нет. Ох, как я утомлен, у меня болят руки от развертывания свитков!... Когда попадешь в книжную лавку, всегда любопытно посмотреть и то, и это. Был я у Авирона, у Атракта на Аргелите³, а перед этим еще у Созиев на *Vicus Sandalarius*⁴. Клянусь Кастором, как мне хочется спать!

¹ Тускуланская улица (*примеч. ред.*).

² *A. Persius Flaccus* — римский поэт, живший в 34–62 гг. по Р. Х. Он писал сатиры, дошедшие до нашего времени.

³ Автор, по-видимому, разумет книгопродавец (хотя таких имен в римской литературе нет).

⁴ Сандальная улица (*примеч. ред.*).

— Ты был на Палатине, и я спрашиваю у тебя, что слышно нового? Или знаешь что? Отошли носилки с книгами домой и пойдем со мною. Поговорим об Антии и еще кое о чем.

— Хорошо, — ответил Петроний, выходя из носилок. — По крайней мере, ты должен знать, что послезавтра мы отправляемся в Антий.

— Откуда я могу знать это?

— В каком мире ты живешь? Так я первый сообщаю тебе эту новость? Да. Будь готов послезавтра утром. Горох, настоящий оливковым маслом, не помог, платок на толстой шее не помог, и меднобородый охрип. При таких условиях об отсрочке и думать нечего. Он проклинает Рим и его воздух на чем свет стоит, рад бы сравнять его с землею или уничтожить огнем и как можно скорее хочет ехать на море. Говорит, что запахи, которые ветер доносит из узких улиц, вгонят его в гроб. Сегодня во всех храмах делались жертвоприношения, чтобы к нему возвратился голос, и горе Риму, а в особенности сенату, если он не скоро возвратится!

— Тогда незачем было бы ехать в Антий.

— Но разве наш божественный цезарь обладает только одним этим талантом? — смеясь, ответил Петроний. — Он выступил бы на олимпийских играх, как поэт со своим пожаром Трои, как возница, как музыкант, как атлет... да что, даже как танцовщик, и, во всяком случае, получил бы все венки, назначенные для победителей. Ты знаешь, почему эта обезьяна охрипла? Вчера ему хотелось сравниться с нашим Парисом, и он танцевал нам приключение Леды¹, причем вспотел и простудился. Весь был мокрый и скользкий, как угорь, только что вынутый из воды. Он сменял одну маску другою, кружился, как веретено, махал руками, как пьяный матрос, даже отвращение брало смотреть на это толстое брюхо и эти тонкие ноги. Парис учил его две недели, но вообрази ты себе Агенобарба Ледою или богом-лебедем. Вот так лебедь! Нечего сказать! Но он хочет публично выступить с этою пантомимой сначала в Антии, а потом в Риме.

— Уже и тем были недовольны, что он пел публично, но подумать, что римский цезарь выступит, как мим, нет, этого даже и Рим не снесет!

— Дорогой мой! Рим все снесет, а сенат объявит благодарность «отцу отечества». Через минуту он прибавил:

— А толпа еще будет гордиться тем, что цезарь — ее шут.

— Скажи сам, можно ли сделаться более подлым?

Петроний пожал плечами.

— Ты живешь себе дома, в своих думах то о Лигии, то о христианах, и не знаешь, что случилось два дня тому назад. Нерон публично праздновал свадьбу с Пифагором². Он являлся в качестве невесты. Казалось бы, что мера безумия уже исчерпана? Но что ж ты скажешь? Пришли приглашенные фламины и торжественно благословили брак. Я был при этом. И я, — много я могу снести, — все-таки, признаюсь, подумал, что боги, если они есть, должны были дать какое-нибудь знамение... Но цезарь не верит в богов, и он прав.

— Он в одном лице и верховный жрец, и бог, и атеист, — сказал Виниций.

¹ *Парис* — знаменитый мимический актер того времени; «танцевал приключение Леды» — значит изображал мимикой мифологический рассказ о том, как Юпитер, влюбленный в Леду, явился к ней в виде лебедя.

² Об этом рассказывает Тацит в своей «Летописи», кн. 15, гл. 37.

Петроний рассмеялся.

— Правда! Мне это не приходило в голову, но это такое соединение, какого до сих пор не видал мир.

Потом он прибавил:

— Нужно прибавить еще, что этот верховный жрец, который не верит в богов, и этот бог, который издевается над ними, боится их, как атеист.

— Доказательством этому служит то, что произошло в храме Весты.

— Однако, каков мир!

— Каков мир, таков цезарь. Но это долго не продлится.

Они дошли до дома. Виниций весело приказал давать ужинать, потом обратился к Петронии и сказал:

— Нет, дорогой мой, мир должен возродиться.

— Мы его не переделаем, — ответил Петроний, — хотя бы потому, что в царствование Нерона человек как бабочка: живет по милости солнца, а при первом дуновении холодного ветра гибнет... хотя бы и не желал этого. Клянусь сыном Майи!¹ я не раз задавал себе вопрос, каким образом хотя бы тот же Люций Сатурнин мог дожить до девяноста трех лет, пережить Тиберия, Калигулу, Клавдия?.. Но довольно об этом. Ты позволишь мне послать твои носилки за Эвникой? Спать мне больше не хочется, и я желал бы веселиться. Прикажи, чтоб к ужину пришел цитрист, а потом мы поговорим об Антии. Об этом нужно подумать, в особенности тебе.

Виниций распорядился послать за Эвникой, но заявил, что об Антии и не думает ломать себе голову. Пускай ее ломают те, которые не умеют жить иначе, как только в лучах милости цезаря. Мир не кончается на Палатине, в особенности для тех, у кого есть что-то другое в душе и сердце.

Говорил он это так небрежно, с таким оживлением и так весело, что все это поразило Петронию, и, посмотрев на Виниция с минуту, он спросил:

— Что с тобою? Ты сегодня таков, каким был тогда, когда носил еще золотую булду на шее².

— Я счастлив, — ответил Виниций. — Я нарочно пригласил тебя, чтоб сказать это.

— Да что же случилось с тобою?

— Случилось то, чего бы я не уступил за всю Римскую империю.

Он сел, уперся локтями в поручни кресла, опустил голову на руки и заговорил с улыбающимся лицом и сияющим взором:

— Помнишь, как мы вместе были у Авла Плавтия и как ты в первый раз видел ту божественную девушку, которую сам назвал утреннею зарей и весной? Помнишь ты ту Психею, ту несравненную, ту прекраснейшую из женщин и ваших богинь?

Петроний смотрел на Виниция с таким удивлением, как будто бы хотел удостовериться, в порядке ли его голова.

— На каком языке ты говоришь! — сказал он, наконец. — Разумеется, я помню Лигию.

А Виниций сказал:

— Мы обручились с нею.

— Что?..

¹ Сын Майи — Меркурий.

² Т. е. когда ты был ребенком.

Виниций вскочил с кресла и крикнул диспенсатору:

— Пусть невольники соберутся сюда все до одного! Скорее!

— Ты обручился с нею? — повторил Петроний.

Но прежде, чем он успел опомниться от изумления, огромный атрий дома Виниция наполнился народом. Задыхаясь, бежали старики, мужчины в цвете лет, женщины, мальчики и девочки. С каждой минутой в атрии становилось все теснее; в коридорах, «*fauces*»¹, слышались разговоры на всех языках. Наконец все невольники толпою расстановились вдоль стен и между колонн. Виниций подошел к импавлювию, обратился к отпущеннику Демасу и сказал:

— Кто прослужил в моем доме двадцать лет, тот завтра пусть явится к претору, где и получит свободу, остальным — по три золотых монеты и удвоенная порция пищи в течение недели. В загородные эргастулы послать приказ, чтобы людей освободить от наказания, снять оковы с их ног и кормить как следует. Знайте, что для меня настал счастливый день, и я хочу, чтобы в моем доме была радость.

С минуту невольники стояли в молчании, как будто не доверяя своим ушам, потом все руки поднялись вверх, и из уст всех послышался крик:

— А-а! Господин! А-а-а!..

Виниций отпустил их знаком руки, и хотя невольники испытывали желание благодарить его и пасть к его ногам, но ушли поспешно, разнося счастье от подвалов до чердаков.

— Завтра, — сказал Виниций, — я прикажу им собраться в сад и чертить на песке знаки, какие они захотят. Того, кто начертит рыбу, освободит Лигия.

Петроний, который никогда не удивлялся ничему долго, уже остыл и спросил:

— Рыбу? Ага! Я помню, что говорил Хилон: это эмблема христианства.

Потом он протянул руку по направлению к Виницию и сказал:

— Счастье всегда там, где человек видит его. Пускай Флора² долго сыплет цветы под ваши ноги. Я желаю тебе всего, чего ты сам себе желаешь.

— Благодарю. Я думал, что ты будешь отсоветовать мне, а это было бы потерянное время.

— Я? Отговаривать? Ничуть. Напротив, я говорю тебе, что ты хорошо делаешь.

— Ах, изменник! — весело ответил Виниций, — разве ты забыл, что говорил мне, когда мы выходили из дома Грецины?

Петроний хладнокровно ответил:

— Нет, но я изменил мнение.

Через минуту он прибавил:

— Милый мой, в Риме все изменяется. Мужья меняют жен, жены меняют мужей, почему же бы и мне не изменить своего мнения? Немногого не хватало, и Нерон женился бы на Актее, которую нарочно для него произвели из царского рода. И что ж? У него была бы хорошая жена, а у нас хорошая августа. Клянусь Протеем³ и его морскими глубинами! я всегда буду изменять мнение, если сочту это справедливым или удобным для себя. Что касается Лигии, то ее царское происхождение

¹ *Fauces* — узкий ход, соединявший два главных отделения римского дома — атрий и перистиль.

² *Флора* — богиня цветов и весны.

³ *Протей* — морское божество, имевшее способность переменять свой вид.

вероятнее, чем пергамские предки Актеи¹. Но в Антии ты берегись Поппеи, — она мстительна.

— И не подумаю. В Антии волос не спадет с моей головы.

— Если ты думаешь, что еще раз удивишь меня, то ошибаешься; но откуда у тебя такая уверенность?

— Мне сказал это апостол Петр.

— А! Это тебе сказал апостол Петр? Против этого нет никаких аргументов; но позволь, однако, мне принять некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы апостол Петр не оказался ложным пророком, потому что, если б апостол Петр случайно ошибся, то мог бы утратить твое доверие, которое, наверное, и впредь понадобится апостолу Петру.

— Делай, что хочешь, но я ему верю. И если ты думаешь, что, презрительно и каждую минуту повторяя его имя, ты уронишь его в моих глазах, то ты ошибаешься.

— Еще один вопрос: ты сделался христианином?

— До сих пор нет, но Павел Тарсянин едет со мною, чтобы объяснять мне учение Христа, а потом я приму крещение. Ты говорил мне, что они враги жизни и радости, — это неправда.

— Тем лучше для тебя и для Лигии, — ответил Петроний.

Он пожал плечами и сказал как бы про себя:

— Удивительно, как эти люди умеют привлекать единомышленников и как распространяется эта секта!

Виниций ответил с такою горячностью, как будто бы был уже крещеным:

— Да. Тысячи и десятки тысяч живут в Риме, в городах Италии, в Греции и в Азии. Христиане есть и в легионах, и среди преторианцев, даже в самом дворце цезаря. Учение это признают невольники и граждане, бедные и богатые, плебс и патриции. Знаешь ли ты, что Корнелии христиане, что Помпония Грецина христианка, что, кажется, и Октавия была христианкой? Да, учение это охватывает мир, и только одно оно может возродить его. Не пожимай плечами, — кто знает, через месяц или через год ты сам не присоединишься ли к нему?

— Я? — переспросил Петроний. — Нет, клянусь сыном Леты², я не присоединюсь к нему, хотя бы в нем крылась правда и мудрость как человеческая, так и божеская... Это требовало бы усилия, а я не люблю утруждать себя... Это требовало бы отречения, а я не люблю отказываться от чего бы то ни было в жизни. С твоею натурой, похожею на огонь и кипяток, могло случиться что-нибудь подобное, но я? — у меня мои геммы, мои камеи, мои вазы и моя Эвника. В Олимп я не верю, но устраиваю его на земле и буду процветать, пока меня не пронзят стрелы божественного Стрельца³ или пока цезарь не прикажет мне вскрыть жилы. Я уж чересчур люблю благоухание фиалок и удобный триклиний. Я даже люблю наших богов... как риторические фигуры, и Ахайю, в которую собираюсь с нашим тучным, тонконогим, несравненным, божественным цезарем... Геркулесом, Нероном!..

¹ Чтобы возвысить Актею, которая была прежде рабыней, Нерон стал возводить ее род к пергамскому царю Агталу.

² *Loto* или *Latona*—богиня, бывшая раньше Геры женою Зевса, от которого она родила Аполлона и Артемиду.

³ Т. е. Аполлона, который (по Гомеру) пускает стрелы из серебряного лука и поражает ими смертных.

Петроний развеселился при одном предположении, что мог бы принять учение галилейских рыбаков, и вполголоса начал напевать:

— «Зеленью миртов я обовью свой светлый меч по примеру Гармония и Аристогитона»¹, — но тотчас же остановился, когда номенклатор объявил о прибытии Эвники.

Сейчас же подали и ужин, во время которого после нескольких песен, пропетых цитристом, Виниций рассказал Петронию о посещении Хилона и о том, как это посещение дало ему мысль отправиться прямо к апостолам, а что самая эта мысль пришла ему в голову в то время, когда наказывали Хилона. Петроний, — им снова овладела дремота, — провел рукою по лбу и сказал:

— Мысль была хороша, если привела к хорошему последствию. Но что касается Хилона, то я приказал бы дать ему пять золотых монет, а если бы велел бить его, то лучше забил бы до смерти. Кто знает, со временем не будут ли ему кланяться сенаторы, как кланяются ныне нашему герою драгвы — Ватинию? Доброй ночи.

Он снял венок и вместе с Эвникой вышел из дома, а Виниций отправился в библиотеку и написал Лигии такое письмо:

«Божественная, я хочу, чтобы, когда ты откроешь свои прелестные глаза, письмо это сказало бы тебе: добрый день! Поэтому я пишу сегодня, хотя завтра увижу тебя. Послезавтра цезарь выезжает в Антий, и я, увы, должен сопровождать его. Я уже сказал тебе, что не послушаться — это значило бы рисковать жизнью, а теперь у меня нет храбрости умирать. Но если ты не хочешь этого, черкни мне одно слово, а там уж Петроний пусть думает, как отвратить от меня опасность. Сегодня, в радостный день, я роздал награду всем невольникам, а тех, которые прослужили в моем доме двадцать лет, завтра поведу к претору, чтоб освободить их. Ты, дорогая, должна одобрить меня за это: это согласуется с тем кротким учением, которое ты исповедуешь, и сделал это я для тебя. Завтра я скажу им, что свободою они обязаны тебе, чтоб они были признательны тебе и славили бы твое имя. Зато я отдаю себя в неволю счастью и тебе и желал бы никогда не видеть освобождения. Да будет проклят Антий и путешествие Агенобарба! Трижды, четырежды я счастлив, что не так умен, как Петроний, а то, может быть, и я должен был бы ехать в Ахайю. А теперь минуту прощанья усладит мне воспоминание о тебе. Как только я буду иметь возможность вырваться, я сяду на коня и поскачу в Рим, чтобы насытить свои глаза твоим образом, уши — твоим милым голосом. Когда мне самому будет нельзя, я пошлю невольника с письмом к тебе. Приветствую тебя, божественная, и обнимаю твои ноги. Не гневайся, что я называю тебя божественною. Если ты запретишь, я послушаюсь, но теперь пока еще не могу. Приветствую тебя из будущего твоего дома, приветствую всюю душой».

¹ Начало греческой застольной песни.

[См. также комментарий на с. 512 (*примеч. ред.*).]



ГЛАВА XIV

В Риме всем было известно, что цезарь по дороге намеревается посетить Остию, или, вернее, самое величайшее в мире судно, которое только что доставило хлеб из Александрии, а затем по береговой дороге (*Via Littoralis*) направится в Антий. Распоряжения были отданы уже несколько дней тому назад, и поэтому с утра у *Porta Ostiensis*¹ собралась толпа, состоящая из городской черни и всех народов света, чтобы насытить глаза зрелищем цезарской процессии, на которую римский плебс никогда не мог достаточно насмотреться. До Антия дорога не была ни далека, ни трудна; в самом городе, состоящем из великолепных дворцов и вилл, можно было найти все, чего требовало не только удобство, но даже и тогдашняя изысканная роскошь. Несмотря на то, цезарь имел обыкновение забирать с собою в дорогу все предметы, которые ему нравились, начиная от музыкальных инструментов и домашних вещей и кончая статуями и мозаиками, которые укладывали тогда, когда он хотел остановиться в дороге на самое короткое время, для отдыха или для обеда. Поэтому при каждой поездке его

¹ *Porta Ostiensis* — Остийские ворота, ныне ворота Сан-Паоло в Риме (*примеч. ред.*).

сопровождали целые полчища слуг, не считая преторианских полков и августиан, из которых каждый вел за собою целую свиту невольников.

В этот день ранним утром кампанийские пастухи, с козлиными шкурами на ногах и с лицами, обожженными солнцем, прогнали в городские ворота пятьсот ослиц, чтобы Поппея на другой день по прибытии в Антий могла взять свою обычную ванну из ослиного молока. Толпа с довольством и смехом смотрела, как среди клубов пыли колыхались длинные уши животных, и с радостью прислушивалась к свисту бичей и диким крикам пастухов. После прохода ослиц на дорогу хлынули толпы невольников, старательно очистили ее и начали усыпать цветами и хвоей пиний. Толпа с некоторым чувством гордости повторяла, что вся дорога вплоть до Антия должна быть так усеяна цветами, которые были собраны из окрестных садов, а также и куплены за дорогую цену у торговков возле *Porta Mugionis*¹. По мере того как протекали утренние часы, теснота увеличивалась с каждой минутой. Иные привели с собой всю семью, а чтобы время не казалось им чересчур долгим, раскладывали запасы живности на камнях, предназначенных для нового храма Цереры, и ели *prandium* под открытым небом. Кое-где образовались кучки, где первенствующее значение играли люди бывалые. По поводу отъезда цезаря велись беседы об его прошлых путешествиях вообще, причем матросы и отставные солдаты рассказывали чудеса о странах, о которых они слышали во время своих скитаний, но которых еще не попирала римская нога. Горожане, которые в жизни никогда не бывали дальше дороги Аппия, с удивлением слушали о чудесах Индии и Аравии, об архипелагах, окружающих Британию, где на одном островке Бриарей² связал спящего Сатурна и где обитали духи, о гиперборейских странах, о свисте и реве, которые издавали волны океана, когда заходящее солнце погружалось в его глубинах. Среди толпы подобные рассказы находили доверие, — им верили даже такие люди, как Плиний и Тацит. Говорилось также о том, что корабль, который цезарь должен был осматривать, везет двухлетный запас пшеницы, не считая четырехсот путешественников, такого же числа экипажа и множества диких зверей, которые должны быть употреблены в дело во время летних игрищ. Толпу объединила приверженность к цезарю, который не только кормил, но и забавлял ее. Нерону готовился восторженный прием.

Тем временем показался отряд нумидийских всадников, входивших в состав преторианских войск. На нумидийцах была желтая одежда, красные пояса, а большие серьги бросали золотистый отблеск на их черные лица. Острия их бамбуковых копий словно огоньки светились на солнце. Толпа теснилась, чтобы поближе видеть все, но тут подоспели отряды пеших преторианцев, установились по обеим сторонам ворот и прекратили доступ к дороге. Прежде всего показались колесницы, везущие палатки, пурпурные, красные, фиолетовые и из белого, как снег, бисса, затканного золотыми нитками, восточные ковры и кипарисные столы, и куски мозаики, и кухонную посуду, и клетки с птицами Востока, Юга и Запада, и амфоры с вином, и корзины с плодами. Предметы, которые не хотели подвергать риску при перевозке, несли пешие невольники. Прошли целые сотни людей с утварью и статуэтками из коринфской меди;

¹ *Porta Mugionis* — Мутионские ворота в Риме, близ которых находились загоны для содержания скота (*примеч. ред.*).

² *Бриарей* — один из «Сторуких», сын Урана (Неба) и Геи (Земли), гигант, имевший 50 голов и 100 рук. Упоминаемое здесь сказание находится у Плутарха («*De defect*», огас. 18).

этрусские, греческие вазы, сосуды золотые, серебряные или из александрийского стекла следовали особо. Их разделяли небольшие отряды пеших и конных преторианцев, а над каждой кучкой невольников наблюдали надсмотрщики, вооруженные бичами с кусочками свинца и железа на конце. Шествие, состоящее из людей, со вниманием и сосредоточенностью несущих различные предметы, казалось какою-то торжественною религиозною процессией, и сходство это стало еще бóльшим, когда появились музыкальные инструменты цезаря и его двора. Были видны арфы, лютни греческие, еврейские и египетские, лиры, форминги¹, цитры, дудки и цимбалы. Смотря на это море инструментов, сверкающих на солнечных лучах золотом, бронзою, драгоценными камнями и перламутром, можно было бы подумать, что это Аполлон или Вакх собрались путешествовать по свету. Потом появились великолепные карруки с акробатами, танцовщиками и танцовщицами, живописно сгруппированными и держащими в руках тирсы. За ними следовали невольники, предназначенные не для услуг, а для утех, — мальчики и девочки из Греции и Малой Азии, длинноволосые или с кудрявыми волосами, собранными в золотую сетку, с лицами чудными, но сплошь покрытыми толстым слоем косметики из опасения, чтоб их нежную кожу не опалил жгучий ветер Кампани.

Потом появился преторианский отряд гигантов-сикамбров², бородатых, со светлыми рыжими волосами и голубыми глазами. Знаменосцы, так называемые имагинарии, несли перед ними римские орлы³, таблицы с различными надписями, статуэтки римских и греческих богов, а также бюсты цезаря. Из-под шкур и панцирей, покрывающих их, виднелись сильные, загорелые руки, словно военные машины, которые только одни способны владеть тем тяжелым оружием, которое носило это войско. Земля, казалось, тряслась под их ровным тяжелым шагом, а они, уверенные в своей силе, которую при случае могли употребить против самого цезаря, презрительно глядели на уличную чернь и, вероятно, забыли, что сами в лохмотьях пришли в этот город. Но то была незначительная горсть, — главные преторианские силы остались в казармах, чтобы наблюдать над городом и держать его в строгости. Вслед за сикамбрами шли упряжные тигры и львы Нерона, чтобы запрячь их в колесницу, если цезарю придет охота подражать Дионису. Зверей вели индусы и арабы на стальных цепочках, впрочем, так обвитых цветами, что издали они казались цветочными гирляндами. Звери, прирученные опытными бестиариями, смотрели на толпу своими зелеными, как будто сонными глазами, а по временам поднимали свои огромные головы, с хрюпением втягивали в себя испарения человеческих тел и облизывали пасть своим шероховатым языком. Потом тянулись колесницы и носилки цезаря, бóльшие и меньшие, золотые или пурпурные, выложенные слоновою костью и жемчугом, или играющие огнями драгоценных камней, а за ними — отряд преторианцев с римским вооружением, составленный только из одних италийских солдат-охотников⁴,

¹ См. комментарий на с. 304 (*примеч. ред.*).

² *Sygambri* — германское племя, жившее недалеко от Рейна.

³ Имеются в виду *аквилы* — знаки легионов в древнеримской армии в виде орла, изготовленные из серебра или золота и размещенные на шесте (*примеч. ред.*).

⁴ Жители Италии еще Августом были освобождены от военной службы, вследствие чего так называемая *cohors Italica* [италийская когорта], обыкновенно стоявшая в Азии, составлялась из охотников. Точно так же в преторианской страже, насколько она слагалась не из чужеземцев, служили охотники.

толпы нарядной прислуги и, наконец, ехал сам цезарь, приближение которого возвещалось отдаленным криком народа.

В толпе находился и апостол Петр, который хотел хоть раз в жизни увидеть цезаря. Его сопровождала Лигия, закутанная густым покрывалом, и Урс, сила которого лучше всего могла охранить девушку среди беспорядочной и распущенной толпы. Лигиец поднял один из камней, назначенных для постройки храма, и принес его к апостолу, чтоб ему было лучше видно. Сначала толпа роптала, когда Урс расталкивал ее, как корабль разрезает воду, но когда он поднял камень, который и четверым силачам не удалось бы сдвинуть с места, ропот сменился одобрением, и вокруг раздались крики: «*Масте!*»¹. В это время появился цезарь. Он находился на колеснице, которую везли шесть белых идумейских² жеребцов, подкованных золотыми подковами. Колесница имела форму палатки с приподнятыми полами, чтобы народ свободно мог видеть цезаря. В колеснице свободно могло поместиться несколько человек, но Нерон, желая, чтобы все внимание исключительно сосредоточивалось на нем, ехал по городу один, и только у его ног находились двое карликов. Одет он был в белую туннику и в аметистовую тогу; на голове его красовался лавровый венок. Со времени своей поездки в Неаполь он сильно потолстел. Лицо его налилось, под нижнюю челюстью свешивался подбородок, благодаря чему его губы, — они и так приходились близко к носу, — теперь казались вырезанными как раз под ноздрями. Его толстую шею,



¹ *Масте* выражает одобрение, вроде «браво».

² *Идумея* — область на юге Палестины (примеч. ред.).

как всегда, охранял шелковый платок, и он поминутно поправлял его белой и толстою рукой, на суставах покрытою рыжим волосом, похожим на кровавые пятна, и который он не позволял эпиляторам¹ выщипывать, потому что ему кто-то сказал, что это производит дрожь в пальцах и мешает играть на кифаре. Бездонное тщеславие, как всегда, рисовалось на его лице в соединении с утомлением и скукой. Вообще-то было лицо и страшное, и вместе с тем шутовское. Он поворачивал голову то в ту, то в другую сторону, прищуривал глаза и внимательно прислушивался, как его приветствуют. А его встречала буря рукоплесканий и крики: «Да здравствует божественный цезарь, император! да здравствует победитель! да здравствует несравненный! сын Аполлона, Аполлон!». Прислушиваясь к этим словам, Нерон улыбался, но по временам лицо его затуманивалось, — римская толпа была насмешлива и, рассчитывая на свою численность, позволяла себе злобные шутки даже над теми великими триумфаторами, которых она действительно любила и уважала. Ведь всем было известно, что когда-то при въезде Юлия Цезаря в Рим раздавались крики: «Граждане, спрячьте жен: съед лысый развратник!» Но ужасающее самолюбие Нерона не выносило ни малейших укоризн, ни острот, а теперь, среди хвалебных криков, в толпе слышались возгласы: «Меднобородый!... Меднобородый! Куда везешь свою огненную бороду? Разве боишься, как бы от нее Рим не сгорел?». Те, которые кричали так, и не сознавали, что их шутка скрывает в себе ужасное пророчество. Впрочем, цезаря не особенно сердили подобные крики, тем более что бороды он давно не носил, — он давно уже поднес ее в золотом ящичке Юпитеру Капитолийскому. Но иные, скрытые за кучами камней и за стенами храма, кричали: «*Matricida! Nero! Orestes! Alcmaeon!*»², «Где Октавия?»³, «Возврати назад пурпур!»⁴. А навстречу едущей за ним Поппее неслись крики: «*Flava coma!*»⁵ — так называли публичных женщин. Музыкальное ухо Нерона схватывало и такие слова, и тогда он подносил к глазу свой полированный изумруд, как будто желая узнать и сохранить в своей памяти тех, кто кричал так. И в эту-то минуту его взгляд остановился на стоящем на камне апостоле. Одно мгновение эти люди смотрели друг на друга, и никому ни из этой блиставшей свиты, ни из неисчислимой толпы не пришло в голову, что теперь смотрят друг на друга два властелина земли, из которых один вскоре пройдет, как кровавый сон, а другой — старец, облеченный в бедную лацерну, — завладеет всем этим городом и миром. Цезарь проехал, а за ним восемь африканцев пронесли великолепные носилки, в которых сидела ненавидимая народом Поппее. Одета так же, как и Нерон, в тунику аметистового цвета, с толстым слоем мази на лице, неподвижная, задумчивая и равнодушная, она казалась каким-то божеством — и прекрасным, и злым в одно и то же время. За нею тянулась масса прислужников, мужчин и женщин, и цепь колесниц с ее принадлежностями.

¹ Такого слова в латинском языке не существует. Автор, очевидно, понимает здесь людей, занимавшихся выщипыванием волос, что выражается по-латыни глаголом *depilare*.

² *Matricida* — матеревубийца. *Orestes* (сын Агамемнона и Клитемнестры) и *Alcmaeon* (сын Амфиарая и Эрифилы) — мифические лица, убившие своих матерей. Нерон назван этими именами потому, что и он велел убить свою мать Агриппину.

³ *Октавия* — супруга Нерона, очень любимая народом; Нерон ее казнил в 62 году, чтобы жениться на Поппее.

⁴ По указу Нерона, облачаться в пурпурный цвет в Древнем Риме мог только император, ношение пурпурных одеяний кем-либо иным рассматривалось как мятеж (*примеч. ред.*).

⁵ «Белокурые волосы».

Солнце уже далеко заходило за полдень, когда началось шествие августиан, — свиты блестящей, сверкающей, меняющей свою окраску и бесконечной. Ленивый Петроний, сочувственно приветствуемый толпой, приказал нести себя в носилках вместе со своею невольницей, похожею на богиню. Тигеллин ехал в карруке, запряженной маленькими лошадаками, украшенными белыми и пурпурными перьями. Все видели, как он привставал и вытягивал шею, высматривая, скоро ли цезарь знаком пригласит его в свою колесницу. Толпа приветствовала рукоплесканиями Лициниана Пизона¹, смехом Вителлия, свистом Ватиния. Лициний и Леканий, консулы, были встречены равнодушно, но Туллий Сенецион, которого любили неизвестно за что, также как и Вестин, удостоились сочувственного приема. Свита была неисчислима. Казалось, все, что в Риме было богатого, блестящего и выдающегося, переселяется в Антий. Нерон никогда не путешествовал иначе, как в сопровождении тысячи колесниц, а число его спутников превышало число солдат в легионе². Указывали на Домиция Афра и дряхлого Люция Сатурнина, на Веспасиана, который еще не отправился в свою иудейскую экспедицию, откуда он должен был возвратиться для того, чтобы получить императорскую корону, и на его сыновей, и на молодого Нерву, и на Лукана, и на Анния Галла, и на Квинтиана, и на множество женщин, известных своим богатством, красотой, роскошью и развратом. Глаза толпы переходили со знакомых лиц на упряжь, колесницы, коней, странные одежды невольников, состоящих из всех народов мира. В этом потоке роскоши и величия неизвестно было, на что и смотреть: не только глаза, но даже и мысли ослепляла этот блеск золота и пурпура, эта игра драгоценных камней, это сверкание перламутра и слоновой кости. Казалось, что даже солнечный свет растопляется в этом наводнении. И хотя среди толпы не было недостатка в голодных бедняках, зрелище это не только воспламеняло их страсть и завистью, но вместе с тем наполняло радостью и гордостью, давая им понятие о той крепости и мощи Рима, перед которыми весь мир преклонял колени. Да и действительно, во всем мире не было никого, кто бы осмелился подумать, что эта сила не переживет все народы и что на земле что-нибудь может противиться ей.

Виниций ехал в конце процессии. При виде апостола и Лигии, которых он не ожидал встретить, молодой патриций выскочил из колесницы и с сияющим лицом заговорил торопливым голосом, как человек, который не может тратить много времени:

— Ты пришла? Не знаю, как мне благодарить небо, о Лигия! Бог не мог послать мне лучшего предзнаменования. Прощаясь, я приветствую тебя еще раз, но прощайся ненадолго. По дороге я расставаю парфянских коней и каждый свободный день буду проводить возле тебя, пока не выхлопочу себе права возвратиться. Будь здорова!

— Будь здоров, Марк, — ответила Лигия и потом прибавила потише: — Да руководит тобою Христос и да откроет он твою душу для слов Павла.

Виниций обрадовался, что она скорее хочет видеть его христианином, и ответил:

— *Ocelle mi!* да будет так, как ты говоришь. Павел пожелал ехать с моими людьми, но он со мною и будет моим учителем и товарищем... Приподними покрывало, радость моя, дай мне еще раз увидеть тебя на дороге. Зачем ты так закрылась?

¹ См. комментарий на с. 468 (*примеч. ред.*).

² При цезарях в легионе числилось почти 12 000 человек.

[Комментатор преувеличивает; более точная цифра — 6000 человек (*примеч. ред.*).]



И в эту-то минуту его взгляд остановился на стоящем на камне апостоле. Одно мгновение эти люди смотрели друг на друга, и никому ни из этой блиставшей свиты, ни из неисчислимой толпы не пришло в голову, что теперь смотрят друг на друга два властелина земли, из которых один вскоре пройдет, как кровавый сон, а другой — старец, облеченный в бедную лацнеру, — завладеет всем этим городом и миром.

Лигия подняла покрывало, показала ему свое ясное лицо и чудные смеющиеся глаза и спросила:

— Это нехорошо?

В улылке ее было немного ребяческого задора, но Виниций, с восторгом глядя на нее, ответил:

— Нехорошо для моих глаз. Пусть бы они до смерти смотрели на одну тебя.

Затем он обратился к Урсу:

— Урс, оберегай ее, как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя домина¹.

Он схватил ее руку и прижал к своим губам, к великому изумлению толпы, которая не могла понять такого проявления почтения со стороны блестящего августианина к девушке, одетой в простую, чуть не невольничью одежду.

— Будь здорова!

Виниций быстро удалился, потому что вся процессия цезаря значительно подвинулась вперед. Апостол Петр осенил молодого патриция незаметным крестным знаменем, а добрый Урс начал расхваливать его, довольный тем, что Лигия жадно слушает его слова и с признательностью смотрит на него.

Шествие удалялось и окутывалось клубами золотой пыли, но Петр и Лигия долго смотрели ему вслед, пока к ним не подошел Демас, тот самый мельник, у которого по ночам работал Урс.

Демас поцеловал руку апостола и начал просить его к себе подкрепить силы. Его дом недалеко от Эмпория, а они должны быть голодны и утомлены, так как им пришлось провести у городских ворот большую часть дня.

Апостол Петр согласился и, отдохнув в доме Демаса, только вечером возвращался в Затибрскую часть города. Для того, чтобы попасть на мост Эмилия, нужно было идти по *Clivus Publicus*², проложенному по середине Авентинского холма, между храмами Дианы и Меркурия. Петр с высоты смотрел на дома, окружающие его, и тонущие в отдалении другие здания и, погруженный в молчание, размышлял о громаде и власти этого города, куда он пришел проповедовать слово Божие. До сих пор он видел римское владычество и римские легионы в разных странах, по которым путешествовал, но то были как бы отдельные частицы той силы, олицетворение которой он в первый раз увидал в лице цезаря. Этот город, неизмеримый, хищный и жадный и вместе с тем разнузданный, сгнивший до мозга костей и вместе с тем непоколебимый в своей нечеловеческой силе, этот цезарь, братоубийца, матереубийца и женоубийца, за которым тянулась свита кровавых видений не меньше его теперешней свиты, этот развратник и шут и вместе с тем повелитель тридцати легионов, а благодаря им и властелин всего мира; эти придворные, покрытые золотом и пурпуром, неуверенные в завтрашнем дне и вместе с тем более могущественные, чем иные цари, — все это, взятое вместе, казалось ему каким-то адским царством зла и несправедливости. И удивился он простым своим сердцем, как можно давать такую непонятную силу сатане, как можно отдавать ему землю, чтоб он месил ее, переворачивал, топтал, выжимал слезы и кровь, свирепствовал, как вихрь, ревел, как буря, жег, как огонь. От этих мыслей встревожилось апостольское сердце, и Петр в глубине души

¹ *Domina* — госпожа.

² *Clivus Publicus* — Публичный склон (*примеч. ред.*).

сказал Учителю: «Господи, что я сделаю в городе, куда ты послал меня? Ему принадлежат моря и суши, его и зверь земной, и тварь водная, его и другие царства и тридцать легионов, кои охраняют их, а я, Господи, рыбак с озера! Что я сделаю и как превозмогу его злобу?»

Он поднял свою седую дрожащую голову к небу, молясь и взывая из глубины души к своему великому Учителю, полный горя и тревоги.

Голос Лигии прервал его молитву:

— Весь город точно объят огнем...

Действительно, закат солнца в этот день был необыкновенный. Огромный сверкающий диск уже до половины закатился за Яникульский холм, а весь небесный свод окрасился красным цветом. Петр стоял на таком месте, с которого его взгляд мог охватывать большое пространство. Немного направо виднелись стены *Circus Maximus*, над ним дворцы Палатина, а прямо за *Forum Boarium* и *Velabrum*¹ вершина Капитолия с храмом Юпитера. Все стены, колонны и кровли храмов были словно погружены в этот золотой и пурпуровый блеск. Видневшиеся издалека части реки текли точно кровью, и по мере того как солнце все более заходило за холм, блеск все более становился багровым, все более похожим на зарево пожара, усиливался, расширялся и наконец охватил все семь холмов и, казалось, струился с них на всю окрестность.

— Весь город точно объят огнем, — повторила Лигия.

А Петр приставил руку к глазам и сказал:

— Гнев Господень над этим городом.



¹ *Велабр* — болотистая местность между Палатином и Тибром, где, согласно легенде, были найдены основатели Рима Ромул и Рем (*примеч. ред.*).



ГЛАВА XV

Виниций Лигии:

«Невольник Флегон, с которым я посылаю тебе это письмо, — христианин, и, значит, будет одним из тех, который получит свободу из твоих рук, дорогая моя. Это старый слуга нашего дома, я могу довериться ему без опасения, чтоб мое письмо попало в чьи-нибудь другие руки. Я пишу из Лаврента¹, где мы задержались благодаря жарам². Когда-то эта великолепная вилла принадлежала Отону, потом он подарил ее Поппее, а та, хотя и развелась с мужем, сочла за лучшее удержать прекрасный подарок... Когда я подумаю о женщинах, которые теперь окружают меня, и о тебе, то мне кажется, что из камней Девкалиона³ образовались разные, совершенно несходные друг с другом сорта людей, и ты принадлежишь к тем, которые образовались из кристалла. Я удивляюсь тебе и люблю тебя всею душой, так что хотел бы говорить с тобою только о тебе, а должен принуждать себя писать о путешествии, о том, что делается со мной, и придворных новостях. Итак, цезарь — гость Поппеи, которая втихомолку приготовила ему великолепный прием. Августиян она пригласила к себе

¹ *Лаврент* — древний город Лация, к юго-востоку от Остии (*примеч. ред.*).

² Т. е. благодаря *жаре*; множественное число этого слова допустимо, но на практике неупотребимо (*примеч. ред.*).

³ По греческому мифу, после потопа, погубившего всех людей, Девкалион и его жена Пирра стали бросать через себя камни, из которых произошло новое поколение людей.

немного, но я и Петроний получили приглашение. После прандия мы в золоченых лодках катались по морю, а оно было так тихо, как будто спало, и так лазурно, как твои очи, божественная! Мы гребли сами, — августе, вероятно, было лестно, что ее везут консулярные мужи или их сыновья. Цезарь в пурпурной тоге, стоя у руля, пел в честь моря гимн, который сочинил прошедшею ночью и к которому подобрал музыку вместе с Диодором. На других лодках нам вторили индейские невольники, — они умеют играть на морских раковинах, — а около нас подпрыгивали дельфины, как будто бы действительно вызванные музыкой из глубины Амфитриты. А я... знаешь ли ты, что я делаю? Я думал о тебе и тосковал о тебе, и хотел бы взять это море, этот ясный день и эту музыку и отдать тебе все. Хочешь ли ты, августа моя, чтоб мы поселились у морского берега, вдали от Рима? У меня в Сицилии есть поместье, где миндальные леса весною цветут розовым цветом и так близко спускаются к морю, что концы их ветвей чуть не касаются воды. Там я буду любить тебя и исповедовать учение, с которым меня познакомит Павел, — я уже знаю, что оно не противится любви и счастью. Хочешь ты?.. Но прежде чем я услышу ответ из твоих уст, я продолжаю рассказывать о том, что случилось на лодке. Когда берег остался уже за нами, мы увидели вдали перед собою парус и заспорили, обыкновенная ли это рыбацья ладья или большой корабль из Остии. Я различил его первый, а августа сказала тогда, что, очевидно, ничто не может скрыться от моих глаз, и вдруг, опустив покрывало, спросила, узнал ли бы я ее в таком виде? Петроний тотчас же ответил, что за тучей даже и солнца видеть невозможно, но она, смеясь, продолжала, что такой пронизательный взгляд может быть ослеплен только разве любовью, и, перечисляя имена разных августянок, начала расспрашивать и делать догадки, в кого я влюблен. Я отвечал спокойно, но она в конце назвала и твое имя. Говоря о тебе, она снова открыла лицо и начала смотреть на меня злыми и вместе с тем пытливыми глазами. Я чувствую необыкновенную признательность к Петронию, — он в эту минуту накренил лодку, и всеобщее внимание отвратилось от меня, а то если б я услышал о тебе какое-нибудь недоброе или оскорбительное слово, то не сумел бы скрыть гнева и должен был бы бороться с желанием разбить веслом голову этой развращенной и злой женщине... Ты помнишь, что накануне отъезда я рассказывал тебе в доме Линна о своем приключении на пруду Агриппы? Петроний боится за меня и еще сегодня заклинал меня, чтоб я не раздражал самолюбия августа. Но Петроний уже не понимает меня и не знает, что без тебя нет для меня ни наслаждения, ни красоты, ни любви, и что к Поппее я чувствую только отвращение и презрение. Ты изменила мою душу, и так сильно, что я уже не мог бы возвратиться к прежней жизни. Но не опасайся, чтобы меня здесь могло встретить какое-нибудь зло. Поппея не любит меня, потому что она не способна любить никого, а ее прихоти происходят только от гнева на цезаря, который хотя еще находится под ее влиянием и даже, может быть, любит ее, но уже не щадит ее и не скрывает перед ней своего бесстыдства и своих пороков. Наконец, я тебе скажу и другую вещь, которая должна успокоить тебя: перед моим выездом Петр сказал мне, чтоб я не боялся цезаря, ибо ни один волос не упадет с моей головы, — и я верю ему. Какой-то голос говорит в моей душе, что каждое его слово должно осуществиться, а так как он благословил нашу любовь, то ни цезарь, ни все силы Гадеса, ни даже само предопределение не могут отнять у меня тебя, о Лигия! Когда я думаю об этом, то я счастлив, как будто бы я — небо, которое одно счастливо и спокойно. Но тебя, христианку, может быть, оскорбляет то, что я говорю о небе и предопределении?

В таком случае, прости меня, потому что я грешу без намерения. Крещение еще не омыло меня, и сердце мое — пустая чаша, которую Павел Тарсянин должен наполнить вашим сладким учением, тем более сладким для меня, что это — твое учение. Ты, божественная, сочти мне в заслугу хоть то, что из этой чаши я вылил жидкость, которая наполняла ее до сих пор, и протягиваю ее, как человек, томимый жаждой и стоящий у чистого источника. В Антии я днем и ночью буду слушать Павла, который среди моих людей в первый же день нашего путешествия нашел такое влияние, что его постоянно окружает толпа и видит в нем не только тавматурга¹, но чуть ли не сверхъестественное существо. Вчера я видел радость на его лице, а когда спросил, что он делает, он ответил мне: „Сею“. Петроний знает, что он находится с моими людьми, и хочет видаться с ним, точно так же как и Сенека, который наслышался о нем от Галла. Но, Лигия, звезды уже бледнеют, а утренний люцифер² разгорается все ярче. Скоро заря зарумянит море, вокруг все спит, только я думаю о тебе и люблю тебя. Привет тебе вместе с утреннею зарей, *sponsa mea!*»³



¹ *Thaumaturgos* — греческое слово «чудотворец».

² *Lucifer* — буквально «приносящий свет»; так называется утренняя звезда, т. е. планета Венера.

³ «Моя невеста».



ГЛАВА XVI

Виниций Лигии:

«Была ли ты когда-нибудь, дорогая, с Авлом в Антии? Если нет, то я буду счастлив, когда со временем покажу его тебе. От самого Лаврента вдоль побережья одна за другою тянутся виллы, а сам Антий — это бесконечный ряд дворцов и портиков, колонны которых отражаются в воде. И у меня здесь есть пристанище, у самого моря, с оливковым и кипарисным лесом за виллой, и когда я подумаю, что со временем это жилище станет твоим, мрамор кажется мне более белым, сады более тенистыми, море более лазурным. О, Лигия, как хорошо жить и любить! Мой старик управляющий, Меникл, посадил на лугах под миртами целые группы ирисов, и при виде их мне пришел на память дом Авла, ваш имплювий и ваш сад, где я сидел возле тебя. И тебе эти ирисы будут напоминать родной дом, поэтому я уверен, что ты полюбишь Антий и эту виллу. Тотчас же по прибытии мы долго разговаривали с Павлом. Говорили

мы о тебе, потом он начал поучать меня, я заслушался и скажу тебе только одно, что если б я даже умел писать так, как Петроний, то не мог бы выразить всего, что в это время прошло чрез мою мысль и душу. Я не ожидал, чтобы на свете могло быть такое счастье, красота и покой, о каких люди до сих пор не знают. Но все это я приберегаю до разговора с тобой, когда я в первую свободную минуту приеду в Рим. Скажи мне, как земля может в одно время выносить таких людей, как апостол Петр, как Павел Тарсянин и цезарь? Я спрашиваю потому, что вечер после поучения Павла провел у Нерона, и знаешь ли, что я слышал там? Прежде всего, цезарь читал свою поэму о разрушении Трои и начал горевать, что никогда не видал горящего города. Он завидовал Приаму и называл его счастливым человеком потому только, что он мог зреть пожар и погибель родного города. На это Тигеллин сказал: „Скажи слово, божественный, я возьму факел, и прежде чем протечет ночь, ты увидишь горящий Антий“. Но цезарь назвал его глупцом. „Куда же, — спросил он, — я буду приезжать дышать морским воздухом и охранять голос, которым одарили меня боги и о котором, как говорят, я должен заботиться для блага людей? Разве не Рим мешает мне, разве не зловонные испарения Субурры и Эсквилина заставляют меня хрипеть, разве горящий Рим не представлял бы во сто раз более величественное и трагическое зрелище, чем Антий?“ Тут все начали говорить, какую неслыханною трагедией была бы картина города, подчинившего себе весь мир и обратившегося в кучу сора и пепла. Цезарь объявил, что тогда его поэма превзошла бы песни Гомера, а потом начал говорить, как построил бы вновь город и как будущие века должны были бы удивляться его делу, перед которым померкли бы все другие человеческие дела. Тогда пьяные гости начали кричать: „Сделай это! сделай!“ — а он сказал: „Для этого нужно иметь более верных и более преданных людей“. Признаюсь, я сначала встревожился, потому что в Риме живешь ты, *carissima*. Теперь я сам смеюсь над своими опасениями и думаю, что цезарь и августиане, хотя они и безумные люди, не отважатся на такое безумие, а все-таки человеку свойственно тревожиться за любимое существо, и я предпочитал бы, чтоб дом Линна стоял не в узком переулке и находился бы не в той части города, которая населена иноплемennым народом, на который в данном случае обратят меньшее внимание. Я считаю, что самые палатинские дворцы недостойны были бы быть твоим жилищем, но я хотел бы, чтоб ты не испытывала недостатка от отсутствия тех удобств, к которым ты привыкала с детства. Переселись в дом Авла, Лигия. Я много думал об этом. Если б цезарь был в Риме, весть о твоём возвращении могла бы через невольников действительно дойти до Палатина, обратить на тебя внимание и подвергнуть преследованию за то, что ты осмелилась поступить вопреки воле цезаря. Но он долго пробудет здесь, в Антии, а когда возвратится, тогда и невольники перестанут говорить о тебе. Линн и Урс могут жить с тобою. Наконец, я живу надеждой, что прежде чем Палатин увидит цезаря, ты, моя божественная, будешь жить в собственном доме на Каринах. Да будут благословенны день, час и минута, когда ты переступишь мой порог, и если Христос, познавать которого я учусь, сделает это, то да будет благословенно и его имя. Я буду служить ему и отдам за него свою жизнь. Не так я сказал: служить ему будем мы оба, до тех пор, пока хватит пряжи нашей жизни¹. Люблю тебя и приветствую всюю душой».

¹ Имеется в виду миф, по которому Парки (богини судьбы) прядут нить жизни каждого человека; когда они ее перерезают, человек умирает.



ГЛАВА XVII

Урс черпал воду из цистерны и, вытягивая на веревке двойные амфоры, вполголоса напевал странную лигийскую песню, а вместе с тем радостными глазами смотрел на Виниция и Лигию, которые среди кипарисов сада Линна белелись, как две статуи. Ни малейшее дуновение ветра не волновало их одежды. В саду царил золотисто-фиолетовый сумрак, а они среди вечерней тишины разговаривали, держа друг друга за руки.

— Марк, ты не можешь полатиться за то, что оставил Антий без позволения цезаря? — спрашивала Лигия.

— Нет, дорогая моя, — отвечал Виниций. — Цезарь объявил, что запретя с Терпном на два дня и будет составлять новые песни. Он часто так делает, и тогда ни о чем другом не знает и не помнит. Наконец, что мне цезарь, если я возле тебя и смотрю на тебя? Я очень уж стосковался, а в последние ночи меня даже покинул сон. Иногда уснешь от утомления и тотчас же просыпаешься с чувством, что над тобою висит опасность, а то приснится, что у меня свели подставных лошадей, которые должны были перенести меня из Антия в Рим и на которых я проехал это расстояние так скоро, как никогда не удастся даже гонцу цезаря. Дальше я не мог бы вытерпеть без тебя. Уж очень я люблю тебя, дорогая моя!

— Я знала, что ты приедешь. Урс два раза по моей просьбе бегал на Карины и спрашивал о тебе в твоём доме. Линн смеялся надо мной, и Урс также.

Действительно, было видно, что она ждала его, потому что вместо обычной темной одежды надела мягкую белую стóлу, из красивых складок которой ее обнаженные руки и голова выставлялись как расцветшие подснежники из снега. Несколько красных анемонов украшали ее волосы.

Виниций прижал губы к ее руке. Они сели на каменную скамью посреди дикого винограда и молча смотрели на зарю, последние отблески которой отражались в их глазах. Обаяние тихого вечера мало-помалу овладевало ими.

— Как тут тихо и как хорошо! — сказал Виниций, понижая голос. — Наступает удивительно погожая ночь. Я так счастлив, как не был никогда в жизни. Скажи мне, Лигия, что это такое? Я никогда не предполагал, чтобы любовь могла быть такова. Я думал, что это только огонь в крови и страсть, и только теперь вижу, что можно любить каждую каплей крови и каждым дыханием, а вместе с тем чувствовать спокойствие, такое сладкое и неизмеримое, как будто бы твою душу уже убаюкали Сон и Смерть. Для меня это что-то новое. Только теперь я понимаю, что может быть счастье, о котором люди не знали до сих пор. Только теперь я понимаю, почему и ты, и Помпония Грецина такие ясные... Да!.. Это дает Христос!..

Она опустила свою прелестную головку на его плечо и сказала:

— Мой Марк, дорогой...

Дальше говорить она не могла. Радость, признательность, сознание, что теперь ей можно любить, отняли у нее голос, зато наполнили глаза слезами волнения. Виниций, обняв рукою ее гибкий стан, прижал ее к себе и сказал:

— Лигия! да будет благословенна минута, когда я впервые услышал его имя!

А она тихо ответила:

— Я люблю тебя, Марк.

На кипарисах погасли последние фиолетовые отблески, на небе показался серп луны и осеребрил сад.

Через минуту Виниций начал говорить:

— Я знаю... Едва я вошел сюда, едва поцеловал твою руку, как я прочел в твоих глазах вопрос, понял ли я божественное учение, которое ты признаешь, и окрестили ли меня? Нет, я еще не окрещен, а знаешь ли ты, цветок, отчего? Павел сказал мне: «Я убедил тебя, что Бог пришел в мир и дал себя распять для его спасения, но в источнике благодати да омоет тебя Петр, который впервые простер над тобою руку и первый благословил тебя». И я также хотел, чтоб ты, дорогая, смотрела на мое крещение и чтобы моею матерью была Помпония. Поэтому я остался не крещеным, хотя верю в Избавителя и его учение. Павел убедил меня, обратил, да и могло ли быть иначе?

Как же бы я не поверил, что Христос пришел в мир, коль скоро так говорит Петр, который был его учеником, и Павел, которому он явился? Как же бы я не поверил, что он был Богом, коль скоро он воскрес? Ведь его видели и в городе, и близ озера, и на горе, и видели люди, уста которых не знали лжи. Я верил в это уже с того времени, как слышал Петра в Остриане, потому что тогда еще сказал себе: скорее всякий другой человек мог бы солгать, чем тот, который говорит: «Я видел». Но учения вашего я боялся. Мне казалось, что оно отнимает тебя у меня. Я думал, что в нем нет ни мудрости, ни красоты, ни счастья; но теперь, когда я понял его, что б я был за человек, если б не хотел, чтобы на свете царствовала правда, а не ложь, любовь, а не ненависть, добро, а не преступление, верность, а не измена, милосердие, а не месть? Нашелся ли бы такой, который не желал и не хотел бы этого? А ведь это проповедует ваше учение. Другие учения также хотят справедливости, но только одно ваше делает человеческое сердце справедливым. И кроме того, оно делает его чистым, как твое сердце и сердце Помпонию, и делает его верным, как твое сердце и сердце Помпонию. Я был бы слепцом, если бы не видал этого. А если при этом Христос Бог обещал вечную жизнь и такое неизреченное счастье, какое может дать только всемогущество Божие, то может ли человек желать большего? Если б я спросил Сенеку, по каким соображениям он предписывает добродетель, коль скоро порок приносит более счастья, он, конечно, ничего не мог бы ответить мне рассудительного. Но я теперь знаю, почему должен быть добродетельным. Потому именно, что добро и любовь проистекают от Христа, и потому, что когда смерть сомкнет мне вежды, я мог бы вновь найти жизнь, найти счастье, найти самого себя и тебя, дорогая... Как же мне не любить и не принять учения, которое в одно и то же время говорит правду и попирает смерть? Кто бы не предпочел добро злу? Я думал, что это учение противится счастью, а Павел убедил меня, что оно не только ничего не отнимает, но преумножает. Все это едва умещается в моей голове, но я чувствую, что это правда, ибо никогда не был так счастлив и не мог бы быть, хоть и похитил бы тебя силою и держал бы в своем доме. Ты только что сказала мне: «Я люблю тебя», а этих слов я не вырвал бы у тебя при помощи всей силы Рима. О, Лигия! Разум говорит мне, что это учение — лучшее и божественное, сердце чувствует это, а кто устоит против этих двух сил?

Лигия слушала Виниция, устремив на него свои голубые глаза, при свете месяца похожие на какие-то мистические цветы и так же увлажненные, как цветы.

— Да, Марк! Правда! — сказала она, сильнее прижимаясь головой к его плечу.

В эту минуту они чувствовали себя необыкновенно счастливыми; они понимали, что кроме любви их соединяет еще какая-то другая сила, сладкая и вместе с тем непреодолимая, вследствие которой сама любовь становится чем-то неразрушимым, не подчиняющимся изменению, разочарованию, измене и даже смерти. Сердца их были полны уверенностью, что что бы с ними ни случилось, они не перестанут любить и принадлежать друг другу. Виниций при этом чувствовал, что эта любовь не только чистая и глубокая, но и совсем новая любовь, которую мир до сих пор не знал и не мог дать. Она слагалась в его сердце из всего: и из Лигии, и из учения Христа, и из лунного света, тихо спящего на кипарисах, и из погожей ночи, — вся вселенная казалась ему переполненной этою любовью.

И он заговорил голосом тихим и дрожащим:

— Ты будешь душою моей души и будешь самым дорогим существом для меня. Вместе будут биться наши сердца, одинакова будет молитва и одинакова благодарность

Христу. О, дорогая! Вместе жить, вместе почитать кроткого Бога и знать, что когда придет смерть, очи наши как будто после сладкого сна откроются вновь на новый, лучезарный блеск, — чего можно пожелать лучшего? И я удивляюсь только тому, как раньше не понимал этого. И знаешь ли, что мне кажется теперь? Ведь против этого учения не устоит никто. Через двести или триста лет его примет весь мир, люди забудут об Юпитере и не будет других богов, кроме Христа, и других храмов, кроме христианских. Кто бы не хотел собственного счастья! Ах да, я слышал беседу Павла с Петронием, и знаешь ли, что Петроний сказал в конце? Он сказал: «Это не для меня», но больше ничего ответить не сумел.

— Повтори мне слова Павла, — сказала Лигия.

— Это было у меня, вечером. Петроний начал небрежно говорить и шутить, как это он делает всегда, а Павел тогда сказал ему: «Как ты, мудрый Петроний, можешь противоречить тому, что Христос существовал и воскрес, когда тебя в то время не было на свете, а Петр и Иоанн видели его, и я видел по дороге в Дамаск? Поэтому пусть твоя мудрость докажет, что мы — лжецы, а уж потом восстанет против наших свидетельств». Петроний отвечал, что он не думает отрицать этого, он знает, что совершается много непонятных вещей, которые тем не менее подтверждаются людьми, достойными доверия. Но, говорил он, открытие какого-нибудь чужеземного Бога — дело одно, а принятие его учения — другое. «Я не хочу, — сказал он, — знать ни о чем, что могло бы испортить мою жизнь и уничтожить ее красоту. Дело не в том, истинны ли наши боги, — они прекрасны, нам при них весело и мы можем жить без забот». Тогда Павел ответил так: «Ты отвергаешь учение любви, справедливости и милосердия из опасения пред заботами жизни, но подумай, Петроний, действительно ли ваша жизнь свободна от забот? И ты, господин, и все богатейшие и могущественные мужи не знаете, засыпая вечером, не разбудит ли вас смертный приговор. Но скажи: если б цезарь исповедовал учение, которое предписывает любовь и справедливость, неужели бы твое счастье не было более прочно? Ты опасешься за твою радость, но тогда жизнь не была ли бы более веселою? А что касается услады жизни и искусства, то если вы настроили столько великолепных храмов и статуй в честь божеств злых, мстительных, развратных и изменчивых, то чего бы вы не сделали в честь единого Бога любви и правды? Ты хвалишь свою судьбу потому, что могуществен и живешь в роскоши, но ты мог бы быть бедным и покинутым, хотя и приходишь из знаменитого рода, а тогда тебе воистину было бы лучше на свете, если бы люди признавали Христа. В вашем городе даже богатые родители, чтоб не утрудить себя воспитанием детей, часто выбрасывают их из дома. Такие дети называются алюмнами, и ты, господин, мог бы быть алюмном. Но если бы твои родители жили согласно нашему учению, с тобою не могло бы этого приключиться. Если бы, достигнув зрелых лет, ты женился на любимой женщине, то желал бы, чтоб она осталась тебе верна до смерти. А посмотри, что делается у вас: сколько срама, сколько позора, сколько пренебрежения к супружеской верности! Вы и сами удивляетесь, когда встретитесь с женщиной, которую вы называете *univira*. Но я говорю тебе, что те, которые будут носить Христа в своем сердце, не нарушат верности к мужу, равно как и мужья-христиане останутся верны женам. Но вы не уверены ни в ваших владыках, ни в ваших отцах, ни в женах, ни в детях, ни в слугах. Перед вами дрожит весь мир, а вы дрожите перед своими невольниками, ибо вы знаете, что в каждый час они могут объявить страшную войну вашему гнету, да и объявляли не раз.



— Ты будешь душою моей души и будешь самым дорогим существом для меня.

Ты богат, но не знаешь, не прикажут ли тебе завтра расстаться с твоим богатством; ты молод, но, может быть, тебе завтра нужно будет умереть. Ты любишь, но тебя подстерегает измена; тебе нравятся твои виллы и статуи, но завтра ты можешь быть изгнан на Пандатарю; у тебя тысячи слуг, но завтра эти слуги могут выпустить из тебя кровь. А если это так, то как же вы можете быть спокойны, счастливы и жить в радости? А я провозглашаю любовь, провозглашаю учение, которое владыкам повелевает любить подданных, господам любить невольников, невольникам служить из любви, провозглашаю справедливость и милосердие, а в конце обещаю счастье, как море, неизмеримое. Как же ты, Петроний, можешь говорить, что это учение портит жизнь, если оно исправляет ее и если ты сам был бы во сто раз более счастливым и самоуверенным, если б оно охватило весь мир, как охватило его ваше римское владычество?». Так говорил Павел, а тогда Петроний сказал: «Это не для меня», — и, притворившись, что ему хочется спать, ушел, но, уходя, прибавил: «Я предпочитаю свою Эвнику твоему учению, иудей, но не хотел бы состязаться с тобою публично». Но я прислушивался к его словам всею душой, а когда он говорил о наших женщинах, я всем сердцем восхвалял учение, из которого возродилась ты, как весною вырастают лилии. И думал я тогда: вот Пoppея, которая бросила двух мужей для Нерона, вот Каальвия Криспинилла, вот Нигидия, и почти все, которых я знаю, кроме одной Помпонию, торговали своею верностью и обязанностями. Только одна моя Лигия не уйдет от меня, не изменит, не угасит домашнего очага, хотя бы мне изменило и обмануло меня все, на что я возлагала свою надежду. И я говорил тебе из глубины души: чем я отблагодарю тебя, как не любовью и почетом? Чувствовала ли ты, что там, в Антии, я беседовал с тобою, говорил постоянно, непрерывно, как будто ты была возле меня? Я во сто раз больше люблю тебя за то, что ты убежала от меня из дворца цезаря. И я не хочу его. Не хочу я его роскоши и музыки, — я хочу только одну тебя. Скажи слово, и мы покинем Рим, чтобы поселиться где-нибудь далеко.

Лигия, не поднимая головы с его плеча, задумчиво подняла глаза на осеребренные верхушки кипарисов и ответила:

— Хорошо, Марк. Ты писал мне о Сицилии. Там и Ава поселится с женою под старость.

Виниций с радостью перебил:

— Да, дорогая моя! Наши земли находятся недалеко друг от друга. Это чудный берег, где климат еще мягче, а ночи еще лучше, чем в Риме, светлые и благоуханные... Там жизнь и счастье, — это почти одно и то же.

И он начал мечтать о будущем.

— Там можно забыть о всех заботах. Мы будем ходить в оливковых лесах и отдыхать в их тени. О, Лигия, какая это жизнь — чувствовать себя умиротворенным, любить, вместе смотреть на небо, вместе на море, вместе поклоняться кроткому Богу, и все это в спокойствии!

Они смолкли, заглядывая в будущее. Виниций все крепче прижимал к себе Лигию рукою, на которой при блеске месяца отсвечивал воинский перстень. В квартале, населенном бедными рабочими, все спало, ни один звук не нарушал тишины.

— Ты позволишь мне видеть Помпонию? — спросила Лигия.

— Да, дорогая. Мы будем приглашать их к себе или сами станем ездить к ним. Хочешь, мы возьмем с собою Петра апостола? Он угнетен жизнью и трудом. Павел

также будет навещать нас, обратит в христианство Авла Плавтия, и, как солдаты образуют колонии в отдаленных странах, так и мы образуем христианскую колонию.

Лигия взяла руку Виниция и хотела прижать ее к своим губам, но он заговорил шепотом, как будто боялся спугнуть свое счастье:

— Нет, Лигия, нет! Это я люблю и поклоняюсь тебе. Дай мне свою руку.

— Я люблю тебя.

Он прильнул губами к ее белым, как цвет жасмина, рукам. В воздухе не было ни малейшего ветерка, и кипарисы стояли так же неподвижно, как будто и они затаили дыхание в груди...

Вдруг тишину неожиданно прервало какое-то рычание, точно выходящее из-под земли. По телу Лигии пробежала дрожь, а Виниций встал с места и сказал:

— Это львы рычат в вивариях¹.

Они оба начали прислушиваться. Одному взрыву ответил другой, третий, десятый, — со всех сторон, изо всех концов города. В Риме иногда бывало по несколько тысяч львов, заключенных при разных аренах, и ночью, подойдя к решетке и упершись в нее своєю косматою головой, они изливали свою тоску по воле и пустыне. Они и теперь затосковали и, подавая голос один другому, огласили весь город рычанием. В нем крылось что-то неожиданное и печальное, и Лигия, чувствуя, как ее ясные и спокойные мечты о будущем рассеиваются от этого рычания, прислушивалась к ним с сердцем, сжавшимся от какой-то странной тревоги и грусти.

Но Виниций обнял ее и сказал:

— Не бойся, дорогая. Игрища будут скоро: все виварии переполнены.

И они вошли в домик Линна, сопровождаемые все более усиливающимся львиным ревом.



¹ *Vivarium* — место, где содержались животные.



ГЛАВА XVIII

А тем временем Петроний в Антии чуть не каждый день одерживал все новые победы над августианами, перебивавшими у него благоволение цезаря. Влияние Тигеллина совершенно померкло. В Риме, где нужно было устранять людей, которые представлялись опасными, грабить их имущество, устраивать политические дела, давать зрелища, поражающие роскошью и дурным вкусом, а в особенности удовлетворять уродливые вожделения цезаря, Тигеллин, человек ловкий и готовый на все, оказывался необходимым, но в Антии, среди дворцов, отражающихся в лазури моря, цезарь жил жизнью грека. С утра до вечера читали стихи, рассуждали об их структуре и изяществе, восхищались удачными оборотами, занимались музыкой, театром, — одним словом, тем, что изобрел и чем украсил жизнь греческий гений. При таких условиях Петроний, несравненно более образованный, чем Тигеллин и другие августиане, остроумный, красноречивый, богатый тонкими понятиями и вкусом, конечно, должен был получить перевес. Цезарь искал его общества, интересовался его мнением, требовал его совета, когда сам сочинял что-нибудь, и оказывал ему расположение больше, чем когда-либо. Придворным казалось, что влияние Петрония одерживает окончательную победу, что дружба между ним и цезарем окончательно окрепла и продлится многие годы. Даже те, которые раньше высказывали нерасположение к изящному эпикурейцу, начали ухаживать за ним и добиваться его благоволения. Многие даже совершенно искренно радовались, что в силу вошел человек, который хорошо знал, что и о ком нужно как думать, со скептической улыбкой относился к раболепству вчерашних врагов, но, по лени ли или по врожденной деликатности, не был мстительным и влиянием своим не пользовался для того, чтоб губить

кого-нибудь или приносить кому-нибудь вред. Бывали минуты, когда он мог погубить даже Тигеллина, но Петроний предпочитал насмехаться над ним и выставлять на вид недостатки его образования и пошлость. Сенат в Риме отдохнул, когда в течение полутора месяцев не было подписано ни одного смертного приговора. И в Антии, и в Риме рассказывали истинные чудеса об изысканности, до какой дошел разврат цезаря и его фаворитов, но всякий предпочитал жить под властью цезаря развращенного, чем озверевшего под влиянием Тигеллина. Сам Тигеллин терял голову и колебался, не признать ли себя побежденным, потому что цезарь многократно заявлял, что в Риме и при его дворе только две души, способные понять друг друга, только два истинных грека — он и Петроний.

Удивительная тактичность Петрония приводила всех к убеждению, что его влияние переживет все остальные. Считалось совершенно невозможным, чтобы цезарь мог обойтись без него. С кем же ему разговаривать о поэзии, музыке, ристалищах, в чьи глаза он будет смотреть для того, чтоб удостовериться, что его произведение действительно изящно? А Петроний со свойственной ему небрежностью, казалось, не придавал никакого значения своему положению. Как и прежде, он был небрежен, ленив, остроумен и скептичен. Часто он производил впечатление человека, который издевается над людьми, над самим собой, над цезарем и над всем миром. Иногда он осмеливался в глаза осуждать цезаря, и когда другие думали, что он заходит чересчур далеко или прямо готовит себе гибель, Петроний своему осуждению вдруг придавал такую окраску, что все убеждались, что нет положения, из которого он не вышел бы с триумфом. Однажды, через неделю после возвращения Виниция из Рима, цезарь в небольшом обществе читал отрывок из своей «Троики»¹, а когда кончил и когда смолкли восторженные рукоплескания, вопросительно посмотрел на Петрония, тот сказал:

— Плохие стихи, их нужно бросить в огонь.

У всех сердце перестало биться от страха, — Нерон с детских лет не слышал такого приговора, — и только лицо Тигеллина засветилось радостью. Зато Виниций побледнел; он думал, что Петроний, который не напивался никогда, на этот раз окончательно напился.

А Нерон начал допрашивать медовым голосом, в котором, однако, звучало глубоко уязвленное самолюбие:

— Что дурного находишь ты в них?

Петроний напал на него:

— Не верь им, — сказал он, указывая рукою на окружающих, — они ничего не понимают. Ты спрашиваешь, что дурного в твоих стихах? Если хочешь правды, то я скажу тебе: стихи хороши для Вергилия, хороши для Овидия, даже хороши для Гомера, но не для тебя. Такие тебе нельзя писать. Пожар, который ты описываешь, недостаточно горит, твой огонь недостаточно жжет. Не слушай лести Лукана. В нем за такие же стихи я признал бы гений, но не в тебе. А знаешь почему? Ты больше их. Кому боги дали столько, сколько тебе, с того можно больше требовать. Но ты ленишься. Ты предпочитаешь спать после прандия, чем заниматься работой. Ты можешь создать произведение, о котором до сих пор не слышал мир, и поэтому я в глаза говорю тебе: напиши лучшие стихи.

¹ «Troica» — описание Троянской войны.

Он говорил небрежно, как будто полушутя, полусердясь, а глаза цезаря затуманились от наслаждения, и он сказал:

— Боги дали мне немного таланта, но, кроме того, дали еще большее — друга, истинного ценителя, который умеет говорить правду в глаза.

И он протянул свою толстую, покрытую рыжими волосами, руку к золотому канделябру, похищенному из Дельф, чтобы сжечь стихи, но Петроний выхватил папирус, прежде чем пламя коснулось его.

— Нет, нет! — сказал он, — даже и такие плохие стихи принадлежат человечеству. Оставь ему их.

— В таком случае, позволь мне прислать их тебе в ящичке, сделанном по моему плану, — сказал Нерон и обнял Петрония.

Через минуту он добавил:

— Да. Ты прав. Мой пожар Трои недостаточно светит, мой огонь недостаточно жжет. Но я думал, что если сравнюсь с Гомером, то этого будет достаточно. Некоторая робость и строгая оценка самого себя всегда мешали мне. А ты открыл мне глаза. Но знаешь ли ты, почему ты сказал правду? Потому что, когда скульптор захочет изваять изображение бога, то он должен искать себе образца, а у меня его нет. Я никогда не видал горящего города, а потому в моем описании недостает правды.

— А я тебе скажу, что нужно быть великим артистом, чтобы понимать это.

Нерон задумался, но потом спросил:

— Ответь мне, Петроний, на один вопрос: ты жалеешь, что Троя сгорела?

— Жалею ли я?.. Клянусь хромым супругом Венеры¹, нимало! И я скажу тебе, почему. Троя не сгорела бы, если бы Прометей не одарил людей огнем и если бы греки не объявили Приаму войны, а если бы не было огня, то Эсхил не написал бы своего «Прометей», точно так же, как без войны Гомер не написал бы «Илиады». А я предпочитаю, чтобы существовали «Прометей» и «Илиада», чем если бы сохранился городишко, по всей вероятности, дрянной и грязный, в котором теперь по самой большей мере сидел бы какой-нибудь ничтожный прокуратор² и изнывал в распрях с местным ареопагом³.

— Вот что называется говорить умно! — ответил цезарь. — Для поэзии и искусства можно и должно жертвовать всем. Счастливы ахейцы, которые послужили Гомеру темой для «Илиады», счастлив и Приам, который видел гибель своего отечества. А я!.. Я не видал горящего города.

Наступило молчание, которое прервал Тигеллин.

— Я уже говорил тебе, цезарь, — сказал он, — прикажи, и я сожгу Антий. Или знаешь что? Если тебе жаль этих вил и дворцов, я прикажу сжечь корабли из Остии или построю на Альбанском склоне деревянный город, в который ты сам бросишь пламя. Хочешь ты?

Нерон бросил на него взгляд, полный презрения.

— Мне смотреть, как горят деревянные сараи? Твой ум совершенно бесплоден, Тигеллин. И при этом я вижу, что ты не особенно ценишь мой талант и мои «Троики», если думаешь, что какая-нибудь жертва была бы чересчур велика для них.

¹ *Хромой супруг Венеры* — Гефест (Вулкан), бог огня.

² *Прокуратор* — управитель; здесь: должностное лицо, управляющее провинцией (*примеч. ред.*).

³ *Ареопаг* — здесь: городской совет, собрание старейшин (*примеч. ред.*).

Тигеллин смешался, а Нерон, как бы желая придать разговору другое направление, добавил:

— Идет лето... О, какое зловоние теперь должно быть в Риме!.. Но, однако, на летние игрища нам нужно будет возвращаться туда.

Тогда Тигеллин сказал:

— Цезарь, когда ты отпустишь августиан, дозвожь мне на минуту остаться с тобой.

Час спустя Виниций, возвращаясь из виллы цезаря, говорил Петронию:

— Была минута, когда я испугался. Я думал, что ты пьян и сгубил себя окончательно. Помни, что ты играешь со смертью.

— Это моя арена, — небрежно сказал Петроний, — меня забавляет сознание, что на ней я — могучий гладиатор. А посмотри, чем все окончилось. Мое влияние возросло еще больше. Он пришлет мне свои стихи в ящике, который (хочешь биться об заклад?) будет баснословно богат и баснословно безвкусен. Я прикажу своему врачу хранить в нем слабительные средства. Сделал я это еще и для того, чтобы Тигеллин, видя, что такие вещи удаются, захотел бы следовать моему примеру... я воображаю себе, что будет, если он щегольнет острою. То же самое, как если бы пиренейский медведь вздумал ходить по натянутой веревке. Я буду смеяться, как Демокрит¹. Если б я хотел, то мог бы, пожалуй, погубить Тигеллина и занять его место префекта преторианцев. Но мне лень. Ради скуки я предпочитаю такую жизнь, какую веду, и даже стихи цезаря.

— Но что за ловкость, которая даже и порицание может обратить в похвалу! А стихи эти действительно так плохи? Я в этом ничего не понимаю.

— Не хуже других. У Лукана в одном пальце больше таланта, но и в меднобородом что-то есть. Прежде всего, его необыкновенное пристрастие к поэзии и музыке. Через два дня мы должны быть у него, чтобы выслушать его музыку к гимну в честь Афродиты, — он окончит его сегодня или завтра. Общество будет небольшое, — только я, ты, Туллий Сенецион и молодой Нерва. А что касается его стихов... я говорил тебе когда-то, что они служат мне после пира тем же, чем Вителлию служит перо фламинго — это неправда!.. Иногда они бывают красноречивы. Слова Гекубы² трогательны... Она жалуется на родовые муки, и Нерон нашел удачные выражения, может быть, потому, что в муках рождает каждый стих... По временам мне жаль его. Клянусь Поллуксом, какая это странная смесь! У Калигулы был изъян в уме, но и он не был таким диковинным.

— Кто предвидит, до чего может дойти безумие Агенобарба? — спросил Виниций.

— Решительно никто. Могут случиться такие вещи, что при воспоминании о них у людей через целые сотни лет будут вставать волосы дыбом. Но это-то, собственно, и интересно, это-то и занимательно, хотя и теперь я скучаю, как Юпитер Аммонский в пустыне, но все-таки думаю, что при другом цезаре скучал бы во сто раз больше. Твой иудей, Павел, красноречив, — я не отнимаю у него этого, — и если подобные люди станут проповедовать христианское учение, наши боги должны опасаться не на шутку,

¹ *Демокрит* — греческий философ V века до Р. Х., которого предание представляет постоянно смеявшимся.

² *Гекуба* — в греческой мифологии жена троянского царя Приама, после падения Трои увезенная греками в рабство и испытывавшая великие несчастья (*примеч. ред.*).

как бы не отправиться на чердак. Правда, что если бы цезарь был христианином, то мы все чувствовали бы себя в большей безопасности, но твой пророк из Тарса, применяя ко мне свои доказательства, не сообразил, видишь ли ты, что для меня неуверенность составляет прелесть жизни. Кто не играет в кости, тот не проигрывает состояния, но, однако, люди играют в кости. В этом какое-то блаженство и какое-то забвение. Я знал сыновей всадников и сенаторов, которые добровольно делались гладиаторами. Ты говоришь, что я играю с жизнью, — правда, но я делаю так потому, что это меня занимает, а ваши христианские добродетели наскучили бы мне, как рассуждения Сенеки, в один день. Поэтому красноречие Павла не послужило ни к чему. Он должен понимать, что такие люди, как я, не примут его учения никогда. Ты — дело другое! С твоими наклонностями ты мог бы чуждаться имени христианина, как заразы, или сделаться христианином. Я признаю его резонность и — зеваю при этом. Мы безумствуем, стремимся к пропасти, из будущего идет к нам что-то неизвестное, что-то подламывается под нами, что-то умирает около нас, — согласен! Умереть-то мы сумеем, но пока нам не хочется обременять жизни и служить смерти, прежде чем она не завладеет нами. Жизнь существует сама для себя, а не для смерти.

— А мне жаль тебя, Петроний.

— Не жалея меня больше, чем я жалею самого себя. Прежде мы жили в ладу; прежде, когда ты сражался в Армении, то тосковал по Риму.

— И теперь я тоскую по Риму.

— Да, потому что полюбил христианскую весталку, которая сидит в Затибрской части города. Но я не удивляюсь этому и не осуждаю тебя. Я удивляюсь тому, что хотя, по твоим словам, ваше учение — это море счастья, хотя твоя любовь скоро будет увенчана, — грусть не сходит с твоего лица. Помпония Грецина вечно грустна, ты, с того времени как сделался христианином, тоже перестал улыбаться. Не внушай же мне, что это веселое учение! Из Рима ты возвратился еще более грустным. Если вы все так любите по-христиански, то, клянусь светлыми кудрями Вакха, я не пойду по вашим следам.

— Это совсем другое, — ответил Виниций. — Я клянусь тебе не кудрями Вакха, а душой моего отца, что прежде никогда я не мог себе представить такого счастья, каким дышу теперь. Но я жестоко томлюсь и, что странно, когда я далеко от Лигии, мне все кажется, что над ней висит какая-то опасность. Какая — я не знаю, и не знаю, откуда она может прийти, но предчувствую ее так, как предчувствуется гроза.

— Через два дня я берусь выхлопотать для тебя отпуск из Антия на какое угодно время. Поппея также стала спокойнее и, насколько я знаю, с ее стороны ничего не угрожает ни тебе, ни Лигии.

— Еще сегодня она спрашивала у меня, что я делал в Риме, хотя мой отъезд был тайный.

— Может быть, она приказала следить за тобой. Впрочем, теперь и она должна считаться со мною.

Виниций остановился и сказал:

— Павел говорил, что Бог иногда предостерегает, но в предчувствия верить не велит; я борюсь против этого и не могу пересилить себя. Я тебе скажу, что случилось, чтоб облегчить сердце. Мы сидели с Лигией в такую же погожую ночь, как теперь, и строили планы нашей будущей жизни. Не сумею тебе сказать, как мы были счастливы и спокойны. И вдруг начали рычать львы. В Риме это вещь обыкновенная,

но, однако, с этой минуты я не вижу спокойствия. Мне кажется, что в этом рычании была какая-то угроза, точно предвестие чего-то злого... Ты знаешь, что тревога нелегко овладевает мною, но тогда случилось что-то такое, что эта тревога затмила своим мраком всю эту ночь. Случилось это так странно и неожиданно, что и теперь в моих ушах слышатся эти голоса, а в сердце — неутраченное беспокойство, как будто Лигия нуждается в моей помощи против чего-то страшного... хотя бы против тех же самых львов. И я мучаюсь. Придумай какой-нибудь повод для моего отъезда, иначе я уеду без разрешения. Не могу я сидеть здесь, повторяю тебе, не могу!

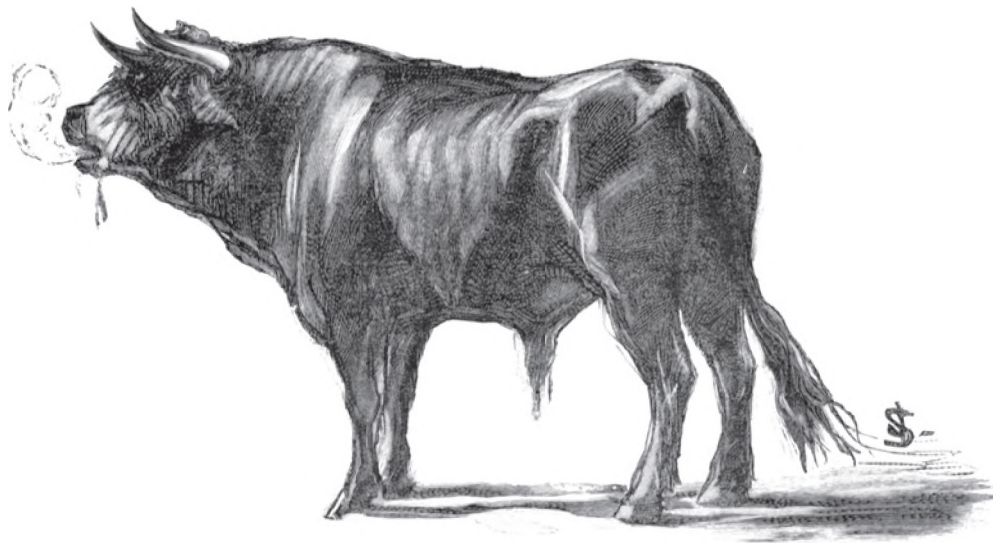
Петроний рассмеялся.

— До того еще не дошло, чтобы сыновей консулярных мужей или их жен отдавали на растерзание львам. Вас может встретить какая-нибудь другая смерть, только не такая. Впрочем, кто знает, львы ли то были, — германские туры рычат не хуже их. Что касается меня, то я смеюсь над судьбой и над предчувствиями. Вчера ночь была темная, и я видел, что звезды сыпались, как дождь. Многим делается не по себе при таком зрелище, а я подумал: если между этими звездами есть и моя, то, по крайней мере, мне не будет недостатка в обществе!

Он замолчал на минуту, подумал и сказал:

— Наконец, если ваш Христос воскрес, то он может и вас охранить от смерти.

— Может, — ответил Виниций, смотря на небо, усеянное звездами.





ГЛАВА XIX

Нерон играл и пел гимн в честь «владычицы Кипра», — он сам составил стихи и музыку. В этот день он был в голосе и чувствовал, что музыка его действительно увлекает слушателей, а сознание это придало особую силу звукам, которые он извлекал из себя, и так всколебало его душу, что он казался вдохновленным. В конце он сам побледнел от неподдельного волнения. В первый раз в жизни он не хотел слушать похвал присутствующих. С минуту присидел он с поникшею головою, с руками, опущенными на цитру, потом вдруг встал и сказал:

— Я утомлен, мне нужен воздух. Пока настройте цитры.

Он повязал горло шелковым платком.

— Вы пойдете со мной, — обратился он к Петронию и Виницию, которые сидели в углу залы. — Виниций, подай мне руку, у меня не хватает сил, а Петроний будет говорить мне о музыке.

Они вышли на дворцовую террасу, выложенную алебастром и посыпанную шафраном.

— Здесь дышится свободнее, — сказал Нерон. — Душа моя взволнована и грустна, хотя по сегодняшнему опыту я вижу, что могу выступить публично и что это будет такой триумф, какой не выпадал на долю ни одного римлянина.

— Ты можешь выступить здесь, в Риме, и в Ахайе. Я удивляюсь тебе всем сердцем и умом, божественный! — ответил Петроний.

— Я знаю. Ты чересчур ленив, чтобы принуждать себя хвалить кого-нибудь против воли. И ты искренен, как Туллий Сенецион, но понимаешь больше его. Скажи мне, что ты думаешь о музыке?

— Когда я слушаю поэзию, когда смотрю на колесницу, которою ты управляешь в цирке, на прекрасную статую, прекрасный храм или картину, то охватываю взглядом то, что вижу в целости, и в моем восторге заключается все, что эти вещи могут дать. Но когда я слушаю музыку, в особенности твою, передо мной открываются новые красоты и восторги. Я бегу за ними, хватаю их, но прежде чем восприму их в себя, они наплывают опять, новые и новые, как морские волны, которые идут из бесконечности. И вот я говорю тебе, что музыка — это море. Мы стоим на одном берегу и видим даль, но другого берега нам рассмотреть невозможно.

— Ах, какой ты глубокий знаток! — сказал Нерон.

Несколько минут они прохаживались молча, только шафран тихо шелестел под их ногами.

— Ты высказал мою мысль, — наконец сказал Нерон, — и поэтому я повторю, что во всем Риме только ты один умешь понимать меня. Да. То же самое и я думаю о музыке. Когда я играю и пою, я вижу такие вещи, о которых я не знал раньше, существуют ли они в моем государстве или где-нибудь на свете. Я цезарь, весь мир принадлежит мне, я могу сделать все. А, однако, музыка открывает мне новые царства, новые горы и моря и новые наслаждения, которых я не испытывал до сих пор. Я не умею ни назвать их, ни понять умом, — я только чувствую их. Я чувствую богов, вижу Олимп. Какой-то неземной ветер веет на меня, сквозь туман я различаю какие-то громады, необъятные и вместе с тем ясные, как восход солнца... Весь Сферос¹ сверкает вокруг меня, и я скажу тебе... (здесь голос Нерона задрожал неподдельным изумлением), что я, цезарь и бог, в эту минуту чувствую себя малым, как пылинка. Поверишь ты этому?

— Да. Только великие артисты чувствуют себя малыми перед лицом искусства.

— Сегодня — ночь искренности, и потому я открываю перед тобою душу, как перед другом, и скажу тебе еще больше... Ты думаешь, что я слеп или лишен разума? Ты думаешь, я не знаю, что в Риме на домовых стенах пишут оскорбительные для меня надписи, называют меня матереубийцей и женоубийцей... что меня считают чудовищем и злодеем потому, что Тигеллин вытребовал у меня несколько смертных приговоров для моих врагов? Да, дорогой мой, меня считают чудовищем, и я знаю это...

¹ О Сферосе см. примечание к 1-й главе 1-й части [с. 70]. Здесь «сферос» то же, что «мир».

О жестокости моей говорили столько, что я иногда сам задаю себе вопрос, действительно ли я жесток?... Но они не понимают того, что дела человека иногда могут быть жестоки, а сам человек может быть не жестоким. Ах, никто не поверит, даже, может быть, и ты, дорогой мой, не поверишь, что по временам, когда музыка взволновывает мою душу, я чувствую себя добрым, как ребенок в колыбели! Клянусь тебе звездами, которые горят над нами, что я говорю истинную правду: люди не знают, сколько доброты живет в этом сердце и какие сокровища я сам нахожу в нем, когда музыка откроет дверь, ведущую к ним.

Петроний, который не имел ни малейшего сомнения, что Нерон в эту минуту говорит искренно и что музыка действительно освобождает наружу благородные способности его души, заваленные горами эгоизма, разврата и преступлений, сказал:

— Тебя нужно знать так близко, как знаю я. Рим никогда не мог оценить тебя.

Цезарь сильнее оперся на плечо Виниция, как будто сгибался под бременем несправедливости, и ответил:

— Тигеллин говорил мне, в сенате шепчут, что Диодор и Терпн лучше меня играют на цитре. Мне хотят отказать даже и в этом! Но ты, который всегда говоришь правду, скажи мне откровенно: действительно ли они играют лучше меня, или так же, как я?

— Ничуть. Твой удар мягче, и вместе с тем у тебя больше силы. В тебе виден артист, в них — искусные ремесленники. Положительно, когда услышишь их музыку, тогда только и поймешь, каков ты.

— Если так, то пусть они останутся живы. Они никогда не догадаются, какую услугу ты оказал им в эту минуту. Наконец, если б я осудил их, то должен был бы взять других на их место.

— А люди вдобавок говорили бы, что ты из самолюбия губишь музыку в государстве. Никогда не убивай искусства для искусства, божественный.

— Как ты отличаешься от Тигеллина! — ответил Нерон. — Но, видишь ли, собственно говоря, я во всем артист, и так как музыка открывает передо мною пространства, о существовании которых я не догадывался, страны, которыми я не владею, наслаждение и счастье, каких я не испытывал, то я и не могу жить обыкновенною жизнью. Музыка говорит мне, что сверхъестественное существует, и вот я ищу его со всею силой могущества, которое боги отдали в мои руки. Иногда мне кажется, что для того, чтобы достигнуть до этих олимпийских миров, нужно сделать что-нибудь такое, чего до сих пор ни один человек не делал, нужно превзойти человеческий уровень в добре или в зле. Я знаю, люди обвиняют меня в том, что я безумствую. Но я не безумствую, я только ищу, а если и безумствую, то со скуки и от злости, что не могу найти. Я ищу, — понимаешь меня? — и потому хочу быть больше чем человек, ибо только таким способом могу быть великим артистом.

Он понизил голос так, чтобы Виниций не мог его слышать, и, приложив губы к ушам Петрония, шепнул:

— Знаешь ли, что поэтому, собственно, я осудил на смерть мать и жену? У врат незнаемого мира я хотел принести величайшую жертву, какую только может принести человек. Я думал, потом что-нибудь совершится, разверзнутся какие-нибудь двери, за которыми я увижу что-нибудь неизвестное. Пусть бы это удивляло или устрашало человеческое понимание, только было бы необычайно и велико... Но этой жертвы было

недостаточно. Чтоб отворить олимпийские двери, очевидно, требуется бóльшая жертва, и пусть будет так, как хочет судьба.

— Что ты намерен делать?

— Увидишь, увидишь раньше, чем ты думаешь. А теперь знай, что живут два Нерона: один такой, каким его знают люди, другой — артист, которого знаешь один ты и который, если убивает, как смерть, или безумствует, как Вакх, то только потому, что его давит плоскость и ничтожество обычной жизни, и который хотел бы искоренить их, хотя бы пришлось прибегнуть к огню или железу... О, как пошла будет этот мир, когда меня не станет!.. Никто еще не постигает, даже ты, дорогой мой, какой я артист. Но поэтому-то я и страдаю, и искренно говорю тебе, что по временам душа моя бывает так же грустна, как те кипарисы, что чернеются перед нами. Тяжело человеку одновременно влачить бремя величайшего могущества и величайшего таланта.

— Цезарь, я сочувствую тебе всею душой, а со мною земля и море, не считая Виниция, который боготворит тебя в душе.

— Он всегда был приятен мне, — сказал Нерон, — хотя служит Марсу, а не музам.

— Он прежде всего служит Афродите, — ответил Петроний.

И он решил сразу устроить дело племянника, а вместе с тем устранить все опасности, которые могли угрожать ему.

— Он влюблен, как Трои в Крессиду¹. Позволь ему, господин, ехать в Рим, иначе он весь иссохнет. Знаешь ли ты, что лигийская заложница, которую ты подарил ему, отыскалась, и Виниций, выезжая в Антий, оставил ее под покровительством некого Линна? Я не говорил тебе об этом, пока ты слагал свой гимн, — потому что эта вещь важнее всего. Виниций хотел, чтоб она сделалась его любовницей, но когда она оказалась такой же целомудренной, как Лукреция, влюбился в ее добродетель и хочет жениться на ней. Она царская дочь и не умалит его достоинства, но он истинный солдат: вздыхает, сохнет, стонет, но ждет разрешения своего императора.

— Император не выбирает жен солдатам. На что ему мое разрешение?

— Господин, я говорил, что он боготворит тебя.

— Тем более он может быть уверен в разрешении. Красивая девушка, но узка в бедрах. Августа Поппея жаловалась мне, что она околдовала нашу дочь в Палатинских садах.

— Но я сказал Тигеллину, что божества не подчиняются злым влияниям. Помнишь, божественный, как он смешался и как ты сам крикнул: «*Habet!*»

— Помню.

И Нерон обратился к Виницию:

— Ты любишь ее так, как говорит Петроний?

— Я люблю ее, господин! — ответил Виниций.

— Тогда я повелеваю тебе завтра же ехать в Рим, жениться на ней и не показывать ко мне на глаза без венчального кольца.

— Благодарю тебя, господин, всем сердцем и душою.

— О, как приятно делать людей счастливыми! — сказал цезарь. — Хотелось бы мне всю жизнь ничего другого не делать.

¹ *Троил* — сын Приама. О любви его к Крессиде у древних нет никакого известия, и даже женщина с этим именем у них не упоминается. Сведение это взято автором из Шекспира.

— Окажи нам еще одну милость, божественный, — сказал Петроний, — и объяви свою волю в присутствии августы. Виниций никогда не осмелился бы жениться на существе, к которому августа питает нерасположение, но ты, господин, одним словом рассеешь это, когда скажешь, что ты сам повелел так.

— Хорошо, — сказал цезарь. — Тебе и Виницию я не мог бы ни в чем отказать.

Он повернул к вилле, а патриции пошли за ним, исполненные радости от одержанной победы. Виниций должен был воздерживаться, чтоб не броситься на шею Петронию, — теперь ему казалось, что все опасности и преграды устранены.

В атрии виллы молодой Нерва и Туллий Сенецион занимали августу разговором, а Терпи и Диодор настраивали цитры. Нерон, войдя, сел на кресло, выложенное черепахой, шепнул что-то стоящему рядом мальчику-греку и остался в ожидании.

Мальчик ушел и скоро вернулся с толстым ящичком. Нерон открыл его, выбрал ожерелье из крупных опалов и сказал:

— Вот камни, достойные сегодняшнего вечера.

— В них играет зарница, — сказала Попшея, убежденная, что ожерелье предназначается ей.

Цезарь то поднимал, то опускал ожерелье, наконец сказал:

— Виниций, это ожерелье ты подаришь от меня молодой лигийской царевне, на которой я повелеваю тебе жениться.

Взгляд Поппеи, полный гнева и недоумения, начал переходить с цезаря на Виниция, наконец остановился на Петронии, но тот, небрежно перегнувшись через поручень кресла, водил рукою по грифу арфы, как будто хотел получше запомнить его форму.

Виниций выразил свою признательность за подарок, приблизился к Петронию и сказал:

— Чем я могу отблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня сегодня?

— Принеси Эвтерпе¹ пару лебедей, хвали песни цезаря и смейся над предчувствиями, — ответил Петроний. — Надеюсь, что львиное рычание отныне не будет прерывать ни твоего сна, ни сна твоей лигийской лилии?

— Нет, — сказал Виниций, — теперь я совершенно спокоен.

— Да будет Фортуна благосклонна к вам. Но теперь будь внимателен, — цезарь снова берет формингу². Задержи дыхание, слушай и роняй слезы.

Действительно, цезарь взял формингу в руки и поднял глаза кверху. Говор в зале утих, и люди сидели неподвижно, как окаменелые. Только Терпи и Диодор, которые должны были аккомпанировать цезарю, посматривали то на его губы, то друг на друга в ожидании первых звуков песни.

Вдруг в сенях поднялся шум и крик. Через минуту из-за занавеси показался отпущенник императора Фаон, а вслед за ним консул Леканий.

Нерон нахмурил брови.

— Прости, божественный император, — задыхающимся голосом сказал Фаон, — в Риме пожар! Большая часть города в огне!..

При этой вести все вскочили с места. Нерон положил формингу и сказал:

— Боги!.. Я увижу горящий город и окончу «Троику»!

¹ *Эвтерпа* — муза пения.

² *Phorminx* — струнный музыкальный инструмент греческого происхождения.

Потом он обратился к консулу:

— Если я выеду сейчас, то успею увидеть пожар?

— Господин! — ответил бледный, как полотно, консул, — над городом одно море огня; дым душит жителей, и люди лишаются чувств или теряют разум и бросаются в огонь. Рим гибнет, господин!

Наступила тишина, которую прервал крик Виниция:

— *Vae misero mibi!*..

И молодой человек, сбросив тогу, в одной тунике выбежал из дворца.

А Нерон воздел руки к небу и воскликнул:

— Горе тебе, священный град Приама!..





ГЛАВА XX

Виниций едва успел приказать нескольким невольникам следовать за собою, вскочил на коня и среди глубокой ночи помчался по пустым улицам Антия по направлению к Лавренту. Под влиянием страшной вести он впал в безумие и по временам не отдавал себе отчета, что с ним творится. Он испытывал только одно чувство, что на том же самом коне, за его плечами, сидит горе, кричит ему в уши: «Рим горит!» — бьет хлыстом его самого и его коня и гонит их в этот огонь. В одной белой тунике, преклонивши свою открытую голову к конской голове, он мчался наугад, не смотря вперед и не обращая внимания на преграды, о которые мог бы разбиться. Среди тишины, среди ночи, спокойной и звездной, всадник и конь, залитые лучами месяца, производили впечатление каких-то сонных видений. Идумейский жеребец, прижав уши и вытянув шею, летел как стрела, минуя неподвижные кипарисы и прячущиеся за ними белые виллы. Топот копыт о каменные плиты пробуждал собак,

которые провожали лаем странное явление, а потом, встревоженные его неожиданностью, начинали выть, поднимая голову к небу. Лошади невольников Виниция были гораздо хуже, и вскоре остались позади. Виниций как буря промчался через спящий Лаврент и повернул к Ардее¹, в которой, так же как в Ариции, в Бовиллах и Устрине², держал подставных лошадей, чтоб иметь возможность как можно скорее проехать пространство, отделяющее его от Рима. Помня об этом, он напрягал все силы своего коня. За Ардеей ему показалось, что небо на северо-восточной стороне горизонта покрывается розовым отблеском. То могла быть и заря, — час был поздний, а день в июле начинается рано. Но Виниций не мог удержать крика отчаяния и бешенства, — ему показалось, что это зарево пожара. Припомнились ему слова Лекания: «Весь город — одно море огня», и с минуту он чувствовал, что ему грозит окончательное помешательство, потому что совершенно потерял надежду не только спасти Лигию, но даже достичь Рима, прежде чем весь город не обратится в одну кучу пепла. Мысли его стали быстрее хода коня и летели вперед, как стая черных птиц, — отчаянные и уродливые. Правда, он не знал, какая часть города начала гореть, но предполагал, что Затибрский квартал, тесный, скученный, с его складами дерева, лавками и деревянными сараями, в которых продавали невольников, первый может сделаться жертвою пламени. В Риме пожары случались довольно часто, и точно так же часто дело доходило до грабежей и насилий, в особенности в кварталах, населенных людьми бедными и наполовину варварскими. Что же могло происходить в Затибрской части города, в этом гнезде гольтбы, собравшейся со всех сторон света? В голове Виниция промелькнул образ Урса с его нечеловеческою силой, но что мог бы сделать не только человек, но даже титан против разрушающей силы огня? Опасение возмущения невольников также было угрозой, которая уже издавна душила Рим. Говорили, что сотни тысяч рабов мечтают о временах Спартака³ и ждут только удобной минуты, чтобы взяться за оружие против притеснителей и города. Минута подошла. Быть может, что там, в городе, наряду с пожаром кипит резня и война. Может быть, преторианцы бросились в город и режут жителей по приказанию цезаря. И вдруг от ужаса волосы встали дыбом на голове Виниция. Он припомнил все разговоры о пожаре городов, — разговоры, которые с таким удивительным упорством велись при дворе цезаря, припомнил его жалобы, что он должен описывать горящий город, тогда как не видал настоящего пожара, его презрительный ответ Тигеллину, который брался поджечь Антий или нарочно выстроенный деревянный город, наконец, его жалобы на Рим и зловонные закоулки Субурры. Да, это цезарь приказал поджечь город. Он один мог отважиться на это, так же, как один Тигеллин мог взяться за исполнение подобного приказа. А если Рим горит по приказанию цезаря, то кто может ручаться, что и население не будет вырезано также по его приказанию? Чудовище было способно и на такое деяние. Итак, пожар, возмущение невольников и резня! Какой страшный хаос, какое владычество разрушительных стихий, и среди всего этого Лигия! Стоны Виниция примешались к стонам и храпению коня, который напрягал остатки сил на дороге, все время идущей в гору вплоть до Ариции. Кто вырвет ее из горящего города, кто может спасти ее? Виниций совсем лег на лошадь, впился пальцами в волосы

¹ Ардея — прибрежный город у югу от Рима (*примеч. ред.*).

² Бовиллы и Устрин — города на Аппиевой дороге неподалеку от Рима (*примеч. ред.*).

³ Спартак — гладиатор, поднявший в 73 году до Р. Х. восстание рабов.

и от боли готов был кусать конскую шею. В это время какой-то всадник, мчавшийся как вихрь, но только с противоположной стороны, проезжая мимо Виниция, крикнул: «Рим гибнет!» — и поскакал дальше. До слуха Виниция долетело еще только одно слово: «Боги!» — остальное заглушил топот копыт. Это слово отрезвило его. Боги!..

Виниций поднял голову и, простирая руки к небу, усеянному звездами, начал молиться. «Не вас призываю я, которых храмы горят теперь, а тебя!.. Ты сам страдал... Ты один милосерд, ты один понимаешь человеческое горе! Ты пришел в мир, чтобы научить людей состраданию, окажи же его теперь. Если ты таков, как говорят Петр и Павел, то спаси Лигию. Возьми ее на руки и вынеси из пламени. Ты можешь сделать это. Отдай ее мне, а я отдам тебе свою кровь. А если ты не захочешь сделать этого для меня, то сделай для нее. Она любит тебя и верит в тебя. Ты обещаешь после смерти жизнь и счастье, но посмертное счастье не минует, а Лигия еще не хочет умирать. Дай ей жить. Возьми ее на руки и вынеси из Рима. Ты можешь сделать это, а если бы не хотел...»

Он остановился. Дальнейшая молитва могла обратиться в угрозу, а Виниций боялся обидеть Божество в ту минуту, когда больше всего нуждался в его милости и сострадании. Он испугался при одной мысли об этом и, чтобы не допустить в голову ни малейшей тени угрозы, снова начал погонять коня, тем более что белые стены Ариции, которая лежала на половине пути, уже показались при свете луны. Вот и храм Меркурия, в роще около города. Вероятно, и здесь знали о несчастье, потому что около храма было необычное движение. Виниций, проезжая, видел на ступенях и между колоннами толпы людей, которые стремились найти охрану под покровительством бога. Дорога уже не была так пуста, как за Ардеєю. Правда, народ стекался в рощу по боковым тропинкам, но и на главной дороге стояли кучки, которые поспешно расступались перед скачущим всадником. Из города доходил говор многих голосов. Виниций ворвался в него, опрокинул и помял несколько человек. Вокруг него раздавались крики: «Рим горит! город объят огнем! Боги, спасите Рим!»

Конь споткнулся, но, остановленный железной рукой, осел на задние ноги перед постоянным двором, в котором Виниций держал другую подставную лошадь. Невольники, как бы ожидая прибытия господина, стояли перед дверью и бросились вперегонки, чтобы привести новую лошадь, а Виниций, увидев отряд из десяти конных преторианцев, которые, очевидно, ехали в Антий, подскочил к ним и начал спрашивать:

— Какая часть города горит?

— Кто ты? — спросил начальник отряда.

— Виниций, военный трибун и августианин. Отвечай, если тебе дорога твоя голова!

— Господин, пожар вспыхнул в лавках близ Большого цирка. Когда нас выслали, середина города была в огне.

— А Затибские кварталы?

— До сих пор огонь еще не дошел туда, но с неудержимой силой охватывает все новые части. Люди гибнут от жара и дыма, никакое спасение невозможно.

В эту минуту Виницию подали свежего коня. Молодой трибун вскочил на него и поскакал дальше.

Теперь он ехал к Альбану, минуя Альбалонгу¹ и ее великолепное озеро. Дорога от Ариции шла в гору, которая совершенно закрывала горизонт и лежащий по другую сторону Альбан. Виниций, однако, знал, что, поднявшись наверх, он увидит не только Бовиллы и Устрин, в котором его ожидали новые лошади, но и Рим, — за Альбаном по обеим сторонам дороги Аппия тянулась ровная, низменная Кампания, по которой к городу бежали только аркады² водопроводов, и ничто другое не заслоняло вида.

«Сверху я увижу огонь», — повторял себе Виниций, и снова начинал погонять коня.

Но прежде чем он достиг вершины горы, дыхание жгучего ветра обожгло его лицо и запах дыма ударил ему в нос. В это время и верхушка горы начала золотиться.

«Зарево!» — подумал Виниций.

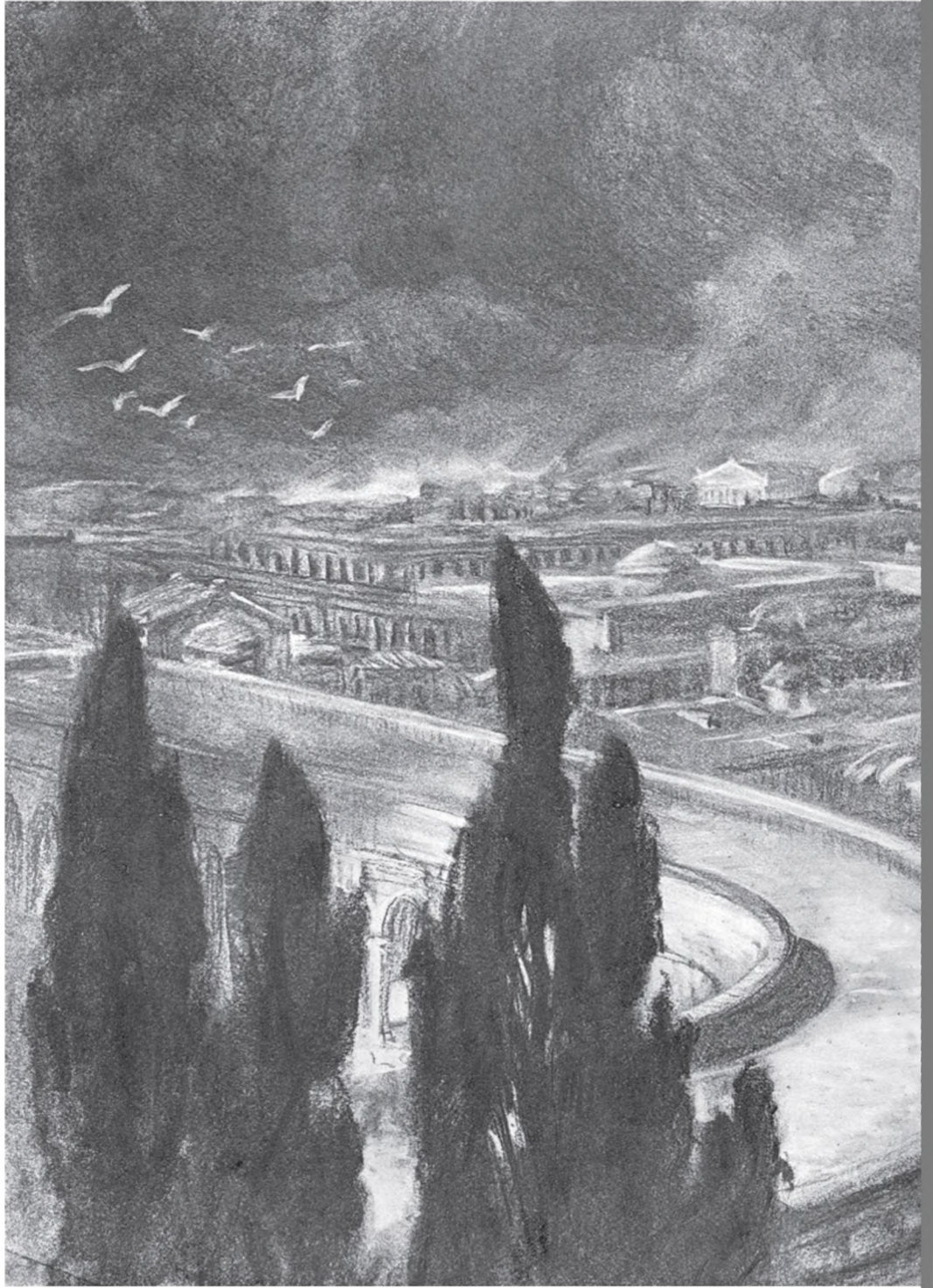
Ночь бледнела уже давно, на всех ближайших пригорках играли такие же золотые и розовые отблески, которые могли одинаково происходить и от пожара, и от зари. Наконец Виниций добрался до возвышенности, и страшный вид поразил его глаза.

Вся равнина была покрыта дымом, образующим одну гигантскую, низко лежащую тучу, в которой исчезали города, акведуки, виллы, деревья, а в конце этой серой огромной площади горел седмиколенный город.



¹ *Альба-Донга* — древний латинский город к юго-востоку от Рима (*примеч. ред.*).

² *Аркада* — ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или на прямоугольные или квадратные столбы (*примеч. ред.*).





Панорама горящего Рима

Но пожар не имел формы огненного столба, как это бывает, когда горит сколько-нибудь большое строение. Скорее, это была длинная лента, напоминающая предрассветную зарю.

Над этою лентой клубился густой вал дыма, местами совершенно черный, местами отливающий розовым и кровавым цветом, вздутый, густой и клубящийся, как змея, которая то сжимается, то вытягивается. Этот чудовищный вал по временам так закрывал огненную ленту, что она становилась узкою, как тесемка, но по временам и она озаряла его снизу, обращая его нижние слои в огненные волны. И все это тянулось с конца до конца горизонта, охватывая его так, как иногда охватывает линия леса. Сабинских гор совсем не было видно.

Виницию при первом взгляде показалось, что горит не только город, но и весь мир, и что никакое живое существо не может спастись от этого океана огня и дыма.

Со стороны пожара дул все более сильный ветер и доносил запах гари и туман, который начал окутывать даже дальнейшие предметы. Наступил день, и солнце осветило горы, окружающие Альбанское озеро, но светло-золотые лучи утра, просвечивая сквозь туман, казались какими-то красноватыми и болезненными. Виниций, спускаясь к Альбану, въезжал в область дыма все более густую и менее проницаемую. Сам городок был так же совершенно окутан дымом. Встревоженные жители выбежали на улицу. Страшно было подумать, что делается в Риме, когда и здесь было трудно дышать.

Отчаяние снова овладело Виницием, и ужас вновь начал поднимать дыбом волосы на его голове. Он пробовал успокоить себя, насколько мог. «Невозможно, — думал он, — чтобы весь город начал гореть сразу. Ветер дует с севера и относит дым только в эту сторону. На другой стороне его нет. Затибрская часть, отделенная рекой, может быть, совсем уцелела, и, во всяком случае, Урсу и Лигии будет достаточно пробраться чрез Яникульские ворота, чтоб избежать опасности. Невозможно и то, чтобы погибло все население и чтобы город, который владеет миром, был бы стерт вместе со своими жителями с лица земли. Даже в осажденных городах, когда огонь и резня угрожают в одинаковой степени, некоторое количество людей всегда остается в живых, почему же Лигии непременно нужно погибнуть? Ведь охраняет же ее Бог, который сам победил смерть?». И он снова начал молиться и, по своему обыкновению, приносил Христу обеты и обещался принести многие жертвы. Проехав Альбан, все население которого сидело на крышах и деревьях для того, чтобы смотреть на Рим, он немного успокоился и стал рассудительнее смотреть на вещи. Ведь Лигию охраняют не только Урс и Линн, но и апостол Петр. Виниций вспомнил об апостоле, и новая надежда вступила в его сердце. Петр всегда представлялся ему существом непонятным, чуть ли не сверхъестественным. С той минуты, когда он услышал Петра в первый раз в Остриане, у него осталось странное впечатление (он об этом писал Лигии из Антия), что всякое слово этого старца — правда или должно сделаться правдою. Более близкое знакомство, которое он свел с апостолом во время болезни, еще более усилило это впечатление, которое потом перешло в непоколебимую веру.

Итак, коль скоро Петр благословил его любовью и обещал ему Лигию, то Лигия не могла погибнуть в пламени. Город может сгореть, но ни одна искра не падет на ее одежду. Под влиянием бессонной ночи, бешеной скачки и волнения Виниций чувствовал, как им овладевает странная экзальтация, при которой ему кажется все возможным: Петр осенит огонь крестным знаменем, разделит его одним словом, и они

пройдут невредимо посреди огненной аллеи. Кроме того, Петр знал будущее, а в таком случае как бы ему не предостеречь и не вывести из города христиан, а в том числе и Лигию, которую он любил, как родную дочь?

И все бóльшая надежда начала вступать в сердце Виниция. Он подумал, что если они бегут, то он может найти их в Бовиллах или встретить по дороге. Может быть, вот еще минута, и дорогое лицо покажется из-за дыма, что все гуще и гуще начинает расстилаться над Кампанией.

Виницию это показалось тем более правдоподобным, что по дороге ему попадалось все больше людей, которые, оставив город, ехали в Альбанские горы, чтобы, спасаясь от огня, выбраться наконец и из области дыма. Не доезжая до Устрина, он должен был замедлить ход коня, потому что вся дорога была загромождена. Рядом с пешими, несущими на плечах свои пожитки, виднелись нагруженные лошади, мулы, телеги, наконец, и носилки с более зажиточными гражданами. Устрин был так набит спасающимися из Рима, что через толпу трудно было протискаться. Рынок, пространство под колоннами храмов, улицы, — все было полно народа. Кое-где уже начали разбивать палатки, под которыми искали пристанища целые семейства. Другие расположились под открытым небом, крича, призывая богов или проклиная судьбу.

Среди всеобщего ужаса трудно было расспросить о чем-нибудь. Люди, к которым обращался Виниций, или совсем не отвечали ему, или, поднимая на него глаза, полуобезумевшие от страха, говорили, что город погибает, а вместе с ним и весь мир. Со стороны Рима каждую минуту наплывали новые толпы мужчин, женщин и детей, которые еще более усиливали всеобщее замешательство. Одни отчаянно кричали, потеряв своих близких, другие дрались за места. Кучки полудиких пастухов из Кампании тоже появились в городе в надежде на добычу среди всеобщей суматохи. Там и здесь шайки невольников разных национальностей и гладиаторов начали грабить дома и виллы и драться с солдатами, которые выступили на защиту жителей. Возле постоялого двора Виниций увидал сенатора Юния, окруженного батавскими¹ невольниками, обратился к нему, и тот первый сообщил ему сведения о пожаре. Пожар действительно начался у Большого цирка, в том месте, где он прилегает к Палатину и холму Целия², но с непонятною быстротой распространился так, что охватил всю середину города. Со времен Бренна³ город еще не переживал такого страшного несчастья. «Цирк сгорел весь, также как и окружающие его лавки и дома, — говорил Юний, — Авентин и Целий в огне. Огонь окружил Палатин и перешел на Карины».

На Каринах у сенатора была великолепная инсула, полная произведений искусства, которое он страстно любил. Старик зачерпнул горсть пыли, посыпал ею голову и отчаянно застонал.

Виниций схватил его за плечи.

— И мой дом на Каринах, — сказал он, — но когда все гибнет, то пусть и он погибает.

Он вспоминал, что Лигия могла последовать его совету и переселиться в дом Авла, и спросил:

— А *Vicus Patricius*?

¹ *Батавия* — страна батавов, позже — латинское название Нидерландов (*примеч. ред.*).

² См. комментарий на с. 329 (*примеч. ред.*).

³ *Брени* — предводитель галлов, взявший Рим в 390 году до Р. Х.

— Горит! — ответил Юний.

— А Затибрская часть?

Юний с изумлением посмотрел на него.

— Что там Затибрская часть! — ответил он и сжал ладонями свои наболевшие виски.

— Мне Затибрская часть нужна больше, чем весь Рим! — порывисто крикнул Виниций.

— Туда ты проберешься разве только через *Via Portuensis*¹, потому что у Авентина тебя задушит жар. Затибрская часть? Не знаю. Огонь не должен был бы дойти туда, но не дошел ли уже теперь, — одним богам известно.

Юний с минуту колебался, потом понизил голос и сказал:

— Я знаю, ты не изменишь мне, и поэтому я скажу тебе, что это не обыкновенный пожар. Цирк не позволили спасти. Я сам слышал. Когда окружающие его дома начали гореть, тысячи голосов кричали: «Смерть спасающим!» Какие-то люди бегают по городу и бросают в дома горящие факелы. С другой стороны, народ волнуется и кричит, что город горит по чьему-то приказанию. Больше я ничего не скажу. Горе городу, горе всем нам и мне! Что там творится, того язык человеческий не выразит. Люди гибнут в огне или убивают друг друга в свалке. Конец Риму!

И он начал повторять: «Горе! горе городу и нам!» — но Виниций вскочил уже на коня и двинулся вперед по дороге Аппия. Но ехать вперед было трудно: навстречу ему текла из города река людей и колесниц. Рим теперь лежал перед Виницием как на ладони, весь объятый чудовищным пожаром. От моря огня струился страшный жар, и голоса людей не могли заглушить свиста и шипения пламени.

¹ *Via Portuensis* — Портовая дорога (примеч. ред.).



ГЛАВА XXI

По мере того как Виниций приближался к городским стенам, оказывалось, что легче было доехать до Рима, чем пробраться в его середину. По дороге Аппия нельзя было ехать, — столько было на ней народа. Дома, поля, кладбища, сады и храмы, лежащие по обеим ее сторонам, обратились в лагери. В храме Марса, находящемся у самых *Porta Appia*¹, народ выбил двери, чтобы найти пристанище на ночь.

¹ *Porta Appia* — ворота Аппия (*примеч. ред.*).

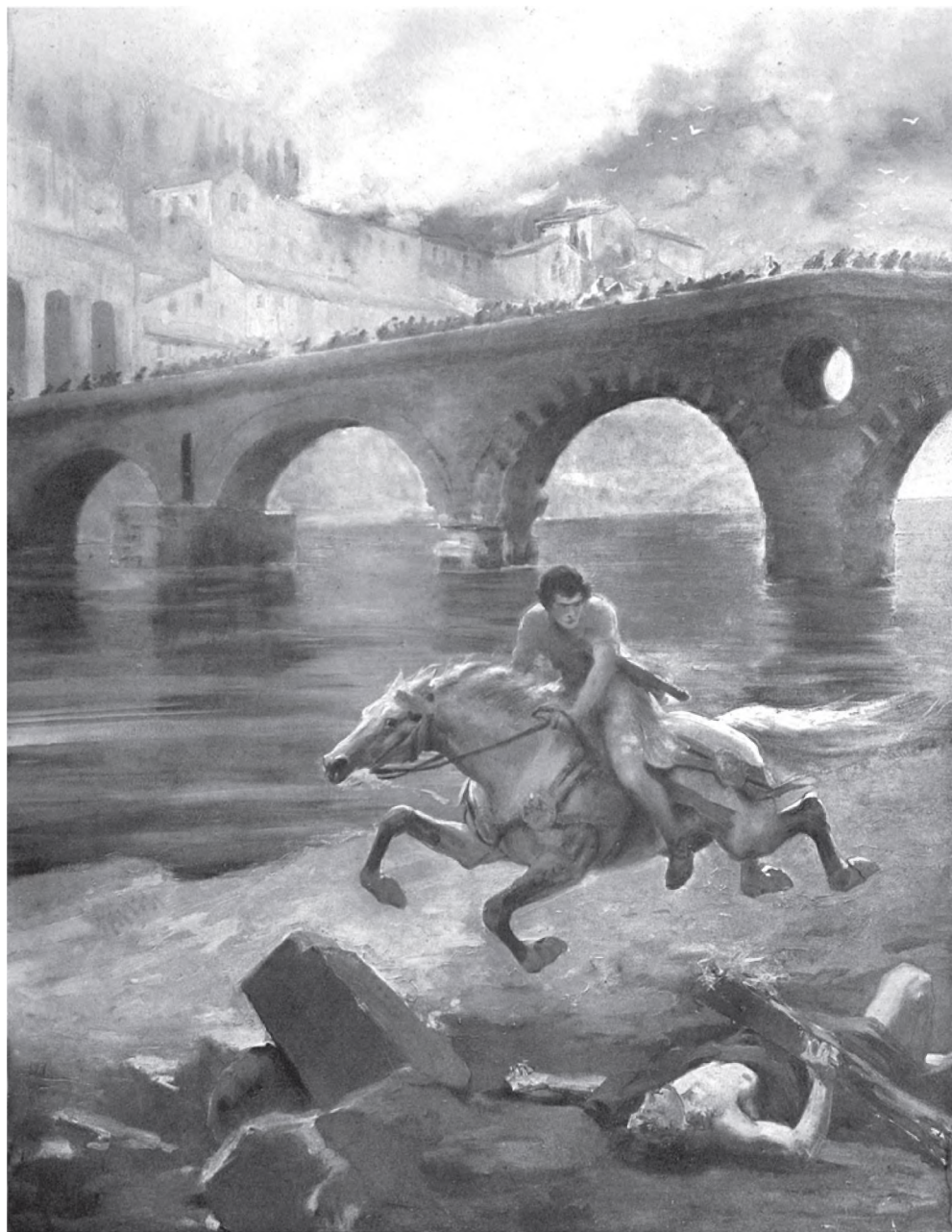
На кладбищах захватывали большие мавзолеи и вели за них борьбу, которая доходила до кровопролития. Устрин со своим беспорядком лишь в самой слабой степени предсказывал то, что делается под стенами самого города. Исчезло всякое уважение к праву, к сану, к родственной связи, к различию положения, невольники били палками граждан, гладиаторы, упившиеся вином, награбленным в Эмпории, соединившись в большие шайки, с дикими криками бегали по придорожным полянам, расталкивали, мяли и грабили народ. Множество варваров, выставленных на продажу в городе, бежало из своих деревянных сараев. Пожар и гибель города являлись для них вместе с тем концом неволи и минутой отмщения, и когда оседлое население, которое теряло свое последнее достояние, с отчаянием простирало руки к богам, варвары с радостным воем расталкивали народ, срывали с его плеч одежду и похищали более молодых женщин. К ним присоединились невольники, давно уже служащие в Риме, бедняки, на теле у которых не было ничего, кроме шерстяной опояски вокруг бедер, страшные фигуры из глухих закоулков, которые днем не показывались на улицах и о существовании которых в Риме трудно было догадаться. Эти сборища, состоящие из азиатцев¹, африканцев, греков, фракийцев, германцев и британцев, болтающие на всех языках, дикие и разнузданные, доходили до безумия, думая, что подошла минута, когда они могут вознаградить себя за долгие годы страдания и нужды. Среди этой расколыхавшейся толпы, в блеске дня и пожара мелькали шлемы преторианцев, под защитой которых прятались более мирные граждане и которые в иных местах должны были сами делать нападение на озверевший сброд. Виниций видел на своем веку осажденные города, но никогда его глаза не смотрели на зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешивались бы вместе в такой неизмеримый хаос. А над этою волнующеюся, обезумевшею толпой гудел пожар, и величайший в мире город горел на своих холмах, охватывая смятенный народ своим огненным дыханием и окутывая его клубами дыма, сквозь которые не видно было лазури неба. Молодой трибун с величайшим усилием, каждую минуту рискуя жизнью, наконец добрался до ворот Аппия, но увидал, что через квартал *Porta Capena* пройти в город ему помешает не только толпа, но и страшный жар, от которого даже за воротами дрожал весь воздух. Мост при *Porta Trigenia*², против храма *Bonae Deae*³, еще не существовал, и для того, чтобы перебраться через Тибр, нужно было дойти до *Pons Sublicius*⁴, а путь пролегал мимо Авентина, то есть через квартал, залитый сплошным морем пламени. Это было решительно невозможно. Виниций понял, что должен возвратиться назад, свернуть с дороги Аппия, переехать реку ниже города и пройти на *Via Portuensis*, которая вела прямо в Затибрскую часть. Но и это было нелегко, — на дороге Аппия суতোлка еще более усилилась. Приходилось очищать себе дорогу чуть ли не мечом, а оружия у Виниция не было, — он выехал из Антия так, как его застала весть о пожаре. Но при источнике Меркурия он увидал знакомого центуриона преторианцев, который во главе нескольких десятков людей охранял доступ в пределы святилища, и приказал ему ехать за собой. Тот узнал трибуна и августианина и не посмел противиться его приказанию.

¹ *Азиатцы* — азиаты (устар.) (примеч. ред.).

² *Porta Trigenia* — Тригеминские ворота (примеч. ред.).

³ Храм Доброй богини (примеч. ред.).

⁴ Свайный мост.



Молодой трибун с величайшим усилием, каждую минуту рискуя жизнью, наконец добрался до ворот Аппия...

Виниций сам взялся управлять отрядом и, забыв на это время учение Павла о любви к ближнему, давил толпу с поспешностью, гибельной для тех, кто не успел в это время посторониться. Его преследовали проклятия и град камней, но он не обращал на это внимания, — ему нужно было как можно скорее выбраться на свободное место. Но подвигаться вперед можно было только с величайшим усилием. Люди, которые уже расположились на стоянку, не хотели уступать солдатам дороги и вслух проклинали цезаря и преторианцев. В иных местах толпа принимала грозное обличье. До слуха Виниция доходили голоса, обвиняющие Нерона в поджоге города. Совершенно открыто грозили смертью и ему, и Поппее. Крики: «*sannio*», «*histrion*»¹, «матереубийца» раздавались со всех сторон. Одни предлагали тащить его в Тибр, другие кричали, что Рим достаточно выказал терпения. Было видно, что эти угрозы легко могут перейти в открытый бунт, который может вспыхнуть каждую минуту, если найдется предводитель. Пока бешенство и отчаяние толпы обращалось против преторианцев, которые не могли выбраться из тесноты еще и потому, что дорогу им преграждали кучи вещей, наскоро спасенных из пожара: сундуки и ящики с живностью, посуда, детские колыбели, кровати, колесницы и носилки. Там и здесь дело доходило до столкновения, но преторианцы быстро расправлялись с безоружной толпой. Виниций с трудом пересек дороги Латинскую, Нумицийскую, Ардейскую, Лувинийскую, Остийскую, минуя виллы, сады, кладбища и храмы, и наконец добрался до селения, называемого *Vicus Alexandri*², за которым и переправился через Тибр. Здесь было свободнее, воздух не так был насыщен дымом. От бегущих, — недостатка в них и здесь не было, — он убедился, что только немногие переулки Затибрской части объята пожаром, но, конечно, ничто не устоит пред силой огня, тем более что появились люди, которые поджигают умышленно, не дозволяют отстаивать загоревшиеся дома и объявляют, что они делают это по чьему-то приказанию. У молодого трибуна теперь не было уже ни малейшего сомнения, что цезарь действительно приказал поджечь Рим, и месть, о которой взывала толпа, показалась ему резонной и справедливой. Что большее мог бы сделать Митридат³ или кто-нибудь из самых яростных врагов Рима? Чаша переполнилась, безумие стало чересчур чудовищным, а при нем человеческая жизнь — совершенно невозможной. И Виниций верил, что минута Нерона пробита, что развалины, в которые обращается город, должны раздавить чудовищного шута со всеми его преступлениями. Если бы нашелся муж достаточно смелый, чтобы стать во главе пришедшего в отчаяние народа, то это могло бы случиться в течение нескольких часов. Смелые и мстительные мысли начали зарождаться в голове Виниция. А если б это сделал он? Род Винициев, который до последних времен насчитывал целые ряды консулов, был известен во всем Риме. Толпе нужно было какое-нибудь имя. Однажды, по поводу обречения на смерть четырехсот невольников Педания Секунда, дело чуть не дошло до бунта и междоусобной войны, — так что же бы сделалось теперь, пред лицом страшного несчастья, превышающего все, что видел Рим за последние восемь веков? Кто призовет к оружию квиритов, — думал Виниций, — тот низвергнет Нерона и сам облачится в пурпур.

¹ Шут, актер.

² Точнее, до селения, расположенного вдоль Александрийской улицы (*примеч. ред.*).

³ *Митридат VI Евпатор* — царь Понта, трижды воевавший с Римской республикой (*примеч. ред.*).

Почему бы ему не сделать этого? Он был более крепок, храбр и молод, чем другие августиане... Правда, в распоряжении Нерона было тридцать легионов, стоящих на границах государства, но разве и эти легионы и их предводители не возмутятся при вести о сожжении Рима и его храмов? А в таком случае он, Виниций, мог бы сделаться императором. Ведь среди августиан шептали, что какой-то предсказатель предвещал пурпур Отону? Чем же он хуже Отона? Может быть, и Христос помог бы ему своим божественным всемогуществом, может быть, это его внушение? «О, если б это было так!» — взывал в душе Виниций. Тогда он отомстил бы Нерону за опасность, которой подвергалась Лигия, и за свои тревоги, водворил бы справедливость и правду, распространил бы учение Христа от Евфрата до туманных берегов Британии, а вместе с тем облек бы пурпуром Лигию и сделал бы ее владычицей всей земли.

Но эти мысли, промелькнувшие в его голове, как снопы искр от горящего дома, и угасли, как искры. Прежде всего нужно было спасти Лигию. Беда теперь стояла прямо перед Виницием, и страх снова охватил его, а при виде моря огня и дыма, при вероятности столкнуться со страшною действительностью вера в то, что апостол Петр спасет Лигию, совсем замерла в его груди. Отчаяние опять объяло его и, выбравшись на *Via Portuensis*, ведущую прямо в Затибрскую часть Рима, он впал в какое-то бесчувствие и опомнился лишь у ворот, когда ему повторили то, что он уже раньше слышал от бегущих, — что большая часть Затибрских кварталов не была еще объята пожаром, хотя в некоторых местах огонь уже перекинуло через реку. Но и Затибрская часть была вся окутана дымом и наполнена народом, через который пробраться было нелегко, — у кого было больше времени, тот старался взять с собою более вещей. Самая главная дорога, Портовая, в некоторых местах была совершенно завалена ими, а около Навмахии Августа¹ возвышались целые груды всякой рухляди. Более тесные переулки, в которых дым скапливался гуще, были совершенно непроходимы. Жители бежали из них тысячами, и Виниций по дороге видел ужасающие картины. Не раз, два течения, направляющиеся с противоположных сторон, столкнувшись в узком проходе, напирала друг на друга и вступали в смертельную борьбу. Люди дрались и топтали друг друга. Семьи рассыпались в разные стороны, матери отчаянно призывали детей. У Виниция волосы встали дыбом при одной мысли о том, что должно происходить в местах, более близких к огню. Среди крика и шума трудно было расспрашивать о чем-нибудь. По временам из-за реки наплывали волны дыма, такие черные и тяжелые, что они катились по самой земле, окутывая дома, людей и все предметы так, как их окутывает ночь. Но ветер, поднятый пожаром, развеивал их, и тогда Виниций мог подвигаться дальше, к переулку, в котором находился дом Линна. Духота июльского дня, увеличенная жаром, бьющим от горящих частей города, сделалась невыносимою. Дым ел глаза, груди не хватало воздуха. Даже и те жители, которые надеялись, что огонь не перейдет через реку и остались в своих домах, начали покидать их, и давка увеличивалась с каждою минутой. Преторианцы, сопровождавшие Виниция, остались позади. Кто-то ранил молотом его коня, и тот начал мотать окровавленную головой, становиться на дыбы и совершенно отказывался слушаться всадника. Народ узнал его по богатой тунике августианина, и тотчас вокруг раздались крики: «Смерть Нерону и его поджигателям!» Наступила минута грозной опасности, — сотни рук уже простерлись к Виницию, но испуганный конь

¹ *Навахия Августа* — искусственное озеро за Тибром (примеч. ред.).

рванулся, вынес его из толпы, а тут подоспела новая волна черного дыма и окутала мраком всю улицу. Виниций увидал, что верхом ему не проехать, соскочил наземь и побежал пешком, проскальзывая около стен или выжидая минуты, чтобы встречающая толпа миновала его. В глубине души он говорил себе, что это тщетные усилия. Лигии могло уже не быть в городе, она могла спастись бегством, да и вообще легче отыскать иголку на берегу моря, чем кого-нибудь в этой сумятице и хаосе. Но Виниций хотел хоть ценою жизни добраться до дома Линна. По временам он останавливался и протираал глаза. Оторвав кусок туники, он закрыл им нос и рот и бежал дальше. По мере того, как он приближался к реке, духота страшно увеличивалась. Виниций, зная, что пожар начался у Большого цирка, сначала думал, что жаром веет от его развалин, от *Forum Boarium* и *Velabrum*, — они стоят недалеко и также должны быть охвачены пламенем, но кто-то, — последний, кого Виниций встретил, старик на костылях, — крикнул ему: «Не приближайся к мосту Цестия, весь остров в огне!» Действительно, дальше нельзя было заблуждаться. На завороте к *Vicus Judaeorum*¹, на которой стоял дом Линна, молодой трибун увидал, как пламя пробивается сквозь тучу дыма; горел не только остров, но и вся Затибрская часть, по крайней мере, другой конец переулка, в котором жила Лигия.

Виниций вспомнил, что дом Линна окружен садом, за которым со стороны Тибра находилось небольшое незастроенное поле. Эта мысль оживила его надежды. Огонь мог остановиться, дойдя до пустого места. И трибун бежал дальше, хотя каждое дуновение ветра доносило до него не только дым, но и тысячи искр, от которых мог начаться пожар в другом конце переулка и отрезать ему выход.

Наконец, сквозь мглистую занавесь он увидал кипарисы сада Линна. Дома, стоящие за незастроенным полем, уже горели, как костры, но небольшая инсула Линна оставалась неприкосновенной. Виниций с признательностью посмотрел на небо и прибавил шагу, хотя самый воздух жег, как огонь. Дверь была притворена, но Виниций толкнул ее и очутился в саду.

Здесь не было ни души, весь дом казался совершенно пустым.

«Может быть, они впали в бесчувствие от дыма и жара», — подумал Виниций и начал кричать:

— Лигия! Лигия!

Ему отвечало молчание. В тишине был слышен только треск далекого огня.

— Лигия!

В это время до его ушей долетел тот грозный голос, который один раз он уже слышал в этом садике. Вероятно, на соседнем островке загорелся виварий, стоящий недалеко от храма Эскулапа. В этом виварии заключены были разные звери, в том числе и львы, и они-то и начали рычать от страха. У Виниция пробежала дрожь от головы до ног. Вот уже в другой раз, когда все его существо сосредоточивалось на мысли о Лигии, раздавались эти странные голоса, как предвестие несчастья, как странное предсказание зловещего будущего.

Но то было короткое, минутное впечатление, потому что грохот, еще более страшный, чем рычание зверей, — шум пожара, — повелевал Виницию думать о другом. Правда, Лигия не отвечала на зов, но, может быть, она здесь, лежит в обмороке или задохлась от дыма. Виниций вбежал в дом. В маленьком атрии было пусто

¹ *Vicus Judaeorum* — Иудейская улица (примеч. ред.).



Наступила минута грозной опасности, — сотни рук уже простерлись к Виницию, но испуганный конь рванулся, вынес его из толпы, а тут подоспела новая волна черного дыма и окутала мраком всю улицу.

и темно от дыма. Но, ощупывая руками двери, ведущие в кубикuly, Виниций заметил мигающий огонек светильника и, приблизившись к нему, увидел ларарий, в котором вместо лара стоял крест. Под ним-то и теплилась лампада. В голове молодого новообращенного с быстротой молнии промелькнула мысль, что крест посылает ему огонек, при помощи которого он может отыскать Лигию. Он схватил лампаду и начал осматривать первый кубикул.

Здесь не было никого, но Виниций был уверен, что попал на кубикул Лигии, потому что на гвоздях, вбитых в стену, висела ее одежда, а на ложе лежало *capitium*, — узкая одежда, которую женщины носили прямо на теле. Виниций схватил его, прижал к губам, перекинул через плечо и пустился на дальнейшие розыски. Дом был маленький, и молодой патриций вскоре осмотрел не только все комнаты, но и погреба, но нигде не нашел ничего. Было совершенно ясно, что Лигия, Линн и Урс вместе с другими жителями квартала должны были искать спасения в бегстве,

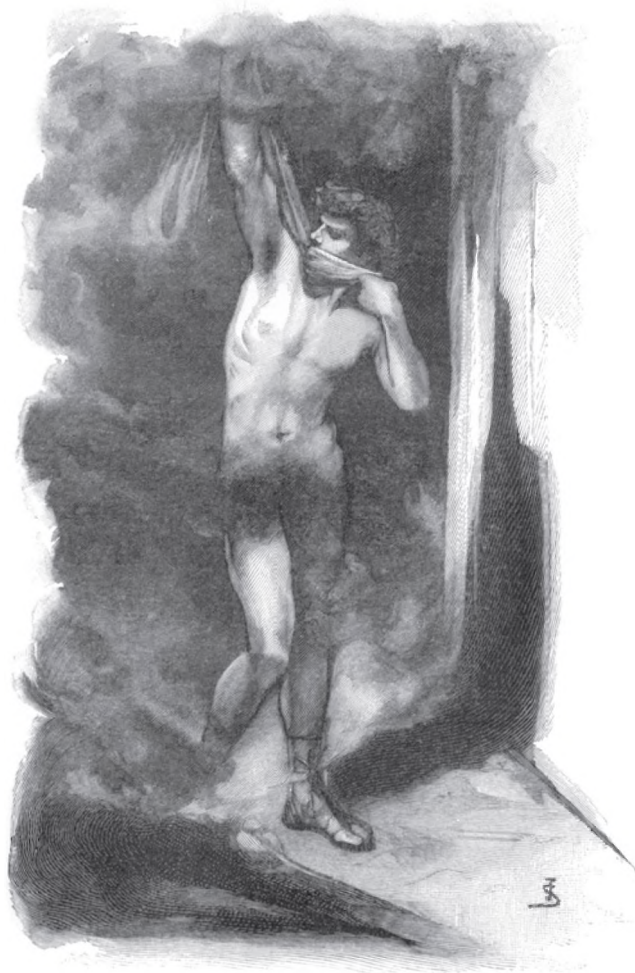
«Их нужно искать в толпе, за городскими воротами», — подумал Виниций. Его не очень удивляло, что он не нашел их на *Via Portuensis*, — они могли выйти с противоположной стороны, от Ватиканского холма. Во всяком случае, они спаслись, по крайней мере, от огня. Правда, Виниций знал, с какою страшною опасностью было соединено бегство, но мысль о нечеловеческой силе Урса вселяла в него надежду. — «Теперь мне нужно бежать отсюда и через сады Домиция дойти до садов Агриппы. Там я и найду их. Дыма там немного, ветер дует с Сабинских гор».

Подошло время, когда он должен был думать о собственном спасении, потому что огненная волна подплывала все ближе, и клубы дыма наполнили почти весь переулочек. Лампада погасла от сквозного ветра. Виниций, очутившись на улице, теперь во всю мочь бежал к *Via Portuensis*, в ту самую сторону, откуда пришел, а пожар, казалось, преследовал его своим огненным дыханием, то окружая его новыми тучами дыма, то обсыпая искрами, которые падали ему на волосы, на шею и на одежду. Туника его начала тлеть в нескольких местах, но он не обращал на это внимания и бежал дальше, опасаясь, что дым может задушить его. Действительно, во рту он чувствовал вкус гари, горло и грудь его горели, как в огне. Кровь ударяла ему в голову так, что по временам он видел все предметы окрашенными в красный цвет, даже и дым казался ему красным. Тогда он говорил себе: «Лучше мне упасть на землю и умереть»... Бежать ему становилось труднее с каждой минутой. Голова, шея и плечи его обливались потом, и этот пот обжигал его, как кипяток. Если б не имя Лигии, которое он повторял про себя, если б не ее *capitium*, которым он закрывал рот, то он упал бы. Прошло несколько минут, и он не мог уже узнавать улицы, по которой бежал. Сознание мало-помалу покидало его, он помнил только, что должен бежать, потому что в открытом поле его ожидает Лигия, которую ему обещал апостол Петр. И вдруг им овладела какая-то странная, наполовину горячая, подобная предсмертному видению уверенность, что он должен увидеть Лигию, жениться на ней и потом сейчас же умереть.

Теперь он бежал, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону. А в это время произошла какая-то перемена в огне, охватывающем гигантский город. Все, что до сих пор еще только тлело, вспыхнуло одним морем пламени, хотя ветер перестал разносить дым, а тот, который скопился в тесных переулках, развеял бешеный порыв раскаленного воздуха. Этот порыв гнал теперь миллионы искр, так что Виниций бежал как бы среди огненной тучи. Зато он лучше мог видеть впереди, и почти в ту минуту,

когда готов был упасть, увидел перед собою конец переулка. Это снова придало ему силы. Обойдя угол, он очутился на улице, которая вела к *Via Portuensis* и к Кодетанскому полю. Искры перестали преследовать его. Он сообразил, что если сможет добежать до *Via Portuensis*, то останется жив, хотя бы ему пришлось даже лишиться чувств.

В конце улицы он снова увидел что-то вроде тучи, которая заслоняла выход. «Если это дым, — подумал он, — то я уже не перейду сквозь него». Он бежал, напрягая остатки сил. По дороге он сбросил тунику, как рубашку Несса¹, — она загорелась от сыпавшихся на нее искр, — и оставался обнаженным, только *capitium* Лигии закрывала его голову и рот. Подойдя ближе, он увидал, что то, что он считал дымом, было пылью, из которой доносились человеческие голоса.



¹ *Несс* — согласно мифологии, кентавр, убитый Гераклом. Рубашка, пропитанная кровью Несса, в конечном итоге погубила Геракла (*примеч. ред.*).

«Толпа грабит дом», — подумал он, но все-таки бежал по направлению к этим голосам. Все-таки там были люди, которые могли оказать ему помощь. В этой надежде еще по дороге он во всю свою мочь начал кричать. Но то было последнее усилие. В глазах Виниция все предметы окрасились еще в более кровавый цвет, дыхание его захватило, силы покинули его, и он упал.

Его все-таки услышали, вернее, заметили, и двое людей бросились к нему на помощь с сосудами, полными воды. Виниций, — он был не в обмороке, а упал только от изнурения, — схватил обеими руками сосуд и выпил его до половины.

— Благодарю, — сказал он, вставая на ноги, — дальше я пойду один.

Другой человек облил ему голову водой и вместе со своим товарищем не только поставил Виниция на ноги, но подняв с земли и понес к кучке людей, которые окружили его и тщательно осмотрели, не получил ли он какой-нибудь раны. Заботливость эта удивила Виниция.

— Кто вы такие? — спросил он.

— Мы разрушали дома, чтобы пожар не мог дойти до Портовой дороги, — ответил один.

— Вы пришли мне на помощь, когда я уже упал. Благодарю вас.

— Нам нельзя отказывать в помощи, — послышалось несколько голосов.

Тогда Виниций, который с самого утра видел только озверевшую толпу на разбое и грабеже, внимательнее присмотрелся к окружающим его лицам и проговорил:

— Да вознаградит вас... Христос.

— Слава имени его! — ответил целый хор голосов.

— А Линн?.. — спросил Виниций.

Дальше спрашивать он не мог и даже не слышал ответа, — волнения и изнурение довели его до потери сознания. Очнулся он лишь на Кодетанском поле, в саду, окруженный мужчинами и женщинами, и первые слова, какие он мог проговорить, были:

— Где Линн?

С минуту никакого ответа не было, потом какой-то знакомый Виницию голос вдруг проговорил:

— За Номентанскими воротами; вышел в Остриан... два дня тому назад... Мир тебе, царь персидский!

Виниций поднялся и сел; он неожиданно увидал над собою Хилона.

А грек продолжал:

— Твой дом, господин, наверное, сгорел, потому что Карины в огне, но ты всегда будешь богат, как Мидас. О, какое несчастье! Христиане, сыны Сераписа, давно предсказывали, что огонь пожрет этот город... А Линн вместе с дочерью Юпитера в Остриане... О, какое несчастье снизошло на этот город!

Виницию снова сделалось дурно.

— Ты видел их? — спросил он.

— Видел, господин!.. Благодарение Христу и всем богам, что я доброю вестью мог отплатить тебе за твои благодеяния. Но я тебе, Озирис, и еще отплачу, — клянусь тебе горящим Римом.

На землю спускалась ночь, но в саду было светло, как днем, потому что пожар еще усиливался. Казалось, горят уже не отдельные части, а весь город, во всю свою длину и ширину. Покуда хватал глаз, небо было багровое, и начиналась красная ночь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ





ГЛАВА I

Зарево залило небо так широко, что пределов его не мог уловить взгляд человека. Из-за гор показалась огромная, полная луна и, сразу приняв цвет раскаленной меди, казалось, с удивлением смотрела на гибель всемогущего города. В багровых безднах неба светились также багровые звезды, и в противоположность обыкновенным ночам теперь на земле было светлее, чем на небе. Рим, словно огромный костер,

освещал всю Кампанию. При кровавом отблеске пожара были видны отдаленные холмы, города, виллы, храмы, памятники и акведуки, бегущие к городу от всех отдаленных гор, а на акведуках — целые рои людей, которые или скрылись там ради безопасности, или смотрели на пожар.

А тем временем грозная стихия охватывала все новые части города. Невозможно было сомневаться, что чьи-то злодейские руки поджигают город, потому что огонь то и дело вспыхивал в местах, отдаленных от главного очага. С холмов, на которых был выстроен Рим, пламя наподобие морских волн сплывало в долины, густо усеянные пяти- и шестиэтажными домами, переполненными сараями, лавками, деревянными передвижными амфитеатрами, устроенными для различных зрелищ, складами дерева, масла, хлеба, орехов, шишек пинии, — их зернами питался убогий люд, — и одежды, которую по временам цезарь раздавал голытьбе, гнездящейся в тесных закоулках. Там пожар, находя избыток горючих материалов, сменялся рядом взрывов и с неслышанною быстротой охватывал целые улицы. Люди, разместившиеся за городом или стоящие на водопроводах, по цвету пламени отгадывали, что горит. Бешеный порыв ветра по временам выносил из огненной бездны тысячи и миллионы горящих миндальных и ореховых скорлуп, которые вдруг взлетали вверх, как неисчислимые стаи сверкающих мотыльков, и с треском лопались в воздухе или, гонимые ветром, падали на новые кварталы, на водопроводы и на поля, окружающие город. Всякая мысль о спасении казалась безумною, а замешательство возрастало все сильнее, тем более что с одной стороны городское население бежало за городские стены, а с другой — пожар привлекал из окрестностей массу народа, как обитателей маленьких городков, так и хлебопашцев и полудиких пастухов Кампании, которым улыбалась надежда на грабеж.

Крик: «Рим горит!» — не сходил с уст толпы, а в то время гибель города представлялась равносильной концу его владычества и уничтожению всех узлов, которые до сих пор связывали народ в одно целое. А так как толпа, по большей части состоящая из невольников и чужестранцев, ни во что не ставила владычество Рима и знала, что переворот только мог освободить ее от уз, то обличье ее начинало принимать грозный вид. Сотни тысяч невольников, забывая, что Рим, кроме храмов и стен, обладает еще несколькими десятками легионов, казалось, ждали только вождя и сигнала. Начали вспоминать имя Спартака, но Спартака не было, зато граждане начали соединяться вместе и вооружаться, кто чем мог. Начали ходить самые неправдоподобные слухи и вести. Одни утверждали, что Вулкан по повелению Зевса уничтожает город огнем, являющимся из недр земных, другие говорили, что это месть Весты за весталку Рубрию¹. Люди, проникнутые таким убеждением, не хотели спасать ничего, осаждали храмы и просили богов о милосердии. Но чаще всего повторяли, что это цезарь приказал поджечь Рим для того, чтоб освободиться от зловония, доносящегося из Субурры, и чтобы соорудить новый город под названием Неронии. При этой мысли всеми овладевало бешенство, и если бы, как думал Виниций, нашелся предводитель, который хотел бы воспользоваться этим взрывом негодования, минута Нерона пробила бы несколькими годами раньше.

¹ Светоний в биографии Нерона говорит о ней (гл. 28): «*Nero Vestali virgini Rubriae vim intulit*».

[«Нерон изнасиловал даже весталку Рубрию» (примеч. ред.).]

Говорили, что цезарь сошел с ума, что он приказал преторианцам и гладиаторам ударить на народ и устроить всеобщую резню. Иные клялись богами, что звери из всех вивариев выпущены по приказанию меднобородого. Кто-то видел на улицах львов с пылающими гривами, взбесившихся слонов и туров, которые подминали под себя людей целыми десятками. В этом была даже частица правды, — в нескольких местах слоны при виде приближающегося пожара разнесли виварии, выбрались на свободу и в диком смятении мчались в сторону, противоположную огню, как буря, уничтожая все по своему пути. Общественное мнение насчитывало десятками тысяч людей, погибших в огне. И действительно, народа погибло много. Были такие, что, потеряв достояние или дорогое существо, в отчаянии сами бросались в огонь. Других задушил дым. В середине города, между Капитолием, с одной стороны, Квириналом, Виминалом и Эсквилином — с другой, а также между Палатином и Целием¹, где улицы были теснее застроены, пожар сразу начинался во многих местах, так что целые сотни народа, устремясь в одну сторону, неожиданно наталкивались на огненную стену и гибли страшною смертью посреди огненного потопа.

В страхе, замешательстве и безумии никто не знал, куда бежать. Улицы были усеяны домашним скарбом, а в иных местах и совершенно завалены. Те, которые нашли убежище на рынках и площадях, там, где впоследствии возник амфитеатр Флавия², возле храма Земли, возле портика Ливии, и выше — около храмов Юноны и Ливии, а также между *Clivus Virbius* и старыми Эсквилинскими воротами, были окружены морем огня и погибли от жара. В местах, куда пламя не дошло, впоследствии находили сотни обугленных тел, хотя несчастные вырывали каменные плиты и для защиты от жара до половины зарывались в землю. Почти ни одна из семей, живущих среди города, не осталась в целости, поэтому у всех ворот и на всех дорогах слышался отчаянный вой женщин, выкликающих дорогие имена погибших в огне или раздавленных толпой.

И вот, когда одни вымаливали у богов милосердия, другие посылали тем же самым богам страшные проклятия. Видели дряхлых стариков, которые, обратившись в сторону храма Юпитера Избавителя, протягивали руки и кричали: «Если ты избавитель, то избавь свой алтарь и город!». Негодование главным образом обращалось против старых римских богов, которые, по понятиям народа, должны были более тщательно, чем другие божества, оберегать город. Они оказались бессильными, и их оскорбляли. Зато когда на *Via Asinaria*³ показалась процессия египетских жрецов, сопровождающих статую Изиды, которую спасли из храма, находящегося недалеко от *Porta Caelimontana*⁴, толпа бросилась к этой процессии, впряглась в колесницу и потащила ее к воротам Аппия. Там народ подхватил статую и поместил ее в храм Марса, причем избил его жрецов, которые осмелились оказывать сопротивление. В других местах призывали Сераписа, Ваала или Иегову, почитатели которого выползли из переулков Субурры и Затибрских кварталов и оглашали визгом и криком поля, привлекающие к городским стенам. В криках их, однако, слышались и тоны торжества,

¹ *Капитолий, Квиринал, Виминал, Эсквилин, Палатин* (центральный), *Целий*, а также *Авентин* — семь главных холмов Рима (*примеч. ред.*).

² *Амфитеатр Флавия* — более известен под названием Колизей (*примеч. ред.*).

³ *Via Asinaria* — Ослиная дорога (*примеч. ред.*).

⁴ *Porta Caelimontana* — Целимонтанские ворота (*примеч. ред.*).

и поэтому, когда одни из горожан присоединялись к хору и прославляли «Владыку мира», другие, возмущаясь этим радостным криком, пытались силой заставить их замолкнуть. Кое-где старцы, мужчины в силе лет, женщины и дети пели песни, странные и торжественные, содержание которых понять никто не мог, но в которых поминутно повторялись слова: «Се грядет судия в день гнева и казни». Так подвижная и вечно бодрствующая толпа народа наподобие взволнованного моря окружала горящий город.

Но не помогало ничто, — ни отчаяние, ни богохульства, ни гимны. Гибель казалась неизбежной, окончательной и неумолимой, как Предопределение. Возле амфитеатра Помпея загорелись склады конопли и веревок, — они во множестве требовались для цирков, арен и всевозможных машин, потребных для игрищ. Вместе с тем загорелись соседние сараи со смолой, которою пропитывались веревки. В течение нескольких часов часть города, за которой лежало Марсово поле, светилась таким ярко-желтым пламенем, что полуобезумевшим от страха жителям казалось, что во всеобщей гибели изменился порядок дня и ночи и что они видят сияние солнца. Но потом сплошной кровавый блеск взял верх над всеми другими оттенками. Из моря огня к раскаленному небу били гигантские фонтаны и столбы пламени, развертываясь вверху огненными кистями, а ветер подхватывал их, обращал в золотистые, искристые нити и нес над Кампанией к Альбанским горам. Ночь становилась все яснее; даже воздух казался пропитан не только солнцем, но и пламенем. Несчастный город обратился в ад. Пожар охватывал все большие пространства, брал штурмом холмы, разливался по равнинам, затоплял долины, свирепствовал, гремел...



Несчастный город обратился в ад. Пожар охватывал все большие пространства, брал штурмом холмы, разливался по равнинам, затоплял долины, свирепствовал, гремел...



ГЛАВА II

Ткач Макрин, в дом которого принесли Виниция, обмыл его, снабдил одеждой и накормил. Молодой трибун совсем пришел в себя и заявил, что в эту же ночь начнет разыскивать Линна. Макрин, — он был христианином, — подтвердил слова Хилона, что Линн вместе со старшим пресвитером Климентом отправился в Остриан, где Петр должен был крестить множество новообращенных. Было известно, что два дня тому назад присмотр за своим домом он поручил некоему Гаю. Виницию это могло служить доказательством, что ни Лигия, ни Урс не остались дома, и что они также должны были отправиться в Остриан.

Мысль эта принесла ему значительное облегчение. Линн — человек старей, ему трудно каждый день ходить из-за Тибра до Остриана и возвращаться оттуда домой. Весьма понятно, что на несколько дней он переселился за городскую стену к какому-нибудь своему единоверцу, а вместе с ним и Лигия, и Урс. Таким образом они избежали пожара, который не перевалил на противоположный склон Эсквилина. Виниций во всем этом видел веление Христа, чувствовал над собой его покровительство и с сердцем, более чем когда-либо переполненным любовью, поклялся в душе всею своею жизнью заплатить за все очевидные знамения его милосердия.

Тем более он торопился в Остриан. Он отыщет Лигию, отыщет Линна и Петра и увезет их куда-нибудь далеко, в одно из своих поместий, хотя бы даже в Сицилию. Рим горит, и через несколько дней от него останется куча развалин, —

зачем ему оставаться здесь, среди общего несчастья и разъяренного народа? Там их окружают полчища дисциплинированных невольников, окружит тишина деревни, и они, благословенные Петром, будут жить под крылом Христа. О, если б только отыскать их!

А это было нелегко. Виниций помнил, с каким трудом он пробрался с *Via Appia* в Затибрские кварталы и как должен был колесить, чтобы дойти до Портовой дороги, и решил теперь обойти город с противоположной стороны. По Триумфальной дороге, подвигаясь вдоль реки, можно было дойти до моста Эмилия, а оттуда, минуя Пинций¹, вдоль Марсова поля, мимо садов Помпея, Лукулла и Саллюстия выйти на *Via Nomentana*. То была кратчайшая дорога, но и Макрин, и Хилон не советовали пускаться по ней. Правда, огонь не охватил этой части города, но все рынки и улицы могли быть совершенно запружены людьми и их вещами. Хилон советовал направиться через *Ager Vaticanus*² до *Porta Flaminia*³, там перейти реку и следовать дальше вдоль наружной стороны стен к *Porta Salaria*⁴. Виниций после минутного колебания принял этот совет.

Макрин должен был оставаться на страже дома, но тем не менее нашел время раздобыть двух мулов, которые могли пригодиться для дальнейшего путешествия Лигии. Он хотел даже прибавить невольника, но Виниций отказался. Он думал, что, как и в предшествующий раз, первый встречный отряд преторианцев, который попадет к нему на дороге, предоставит себя в его распоряжение.

Спустя немного времени он вместе с Хилоном пустился через *Pagus Janiculensis*⁵ к Триумфальной дороге. И здесь на открытых местах были разбиты лагеря, но Виниций пробрался через них с меньшим трудом, потому что большая часть жителей бежала к морю по Портовой дороге. За Септиманскими воротами дорога пролегла между рекой и великолепными садами Домиции, могучие кипарисы которых светились от блеска пожара, как от вечерней зари. Дорога становилась все больше свободной, и только от времени до времени Виницию приходилось бороться с толпою крестьян, стекающихся в город. Виниций, насколько мог, погонял мула, а Хилон следовал за ним и все время вел беседу сам с собою:

— Вот теперь пожар остался за нами и теперь жжет нам плечи. Никогда еще на этой дороге не было так светло ночью. О, Зевс! если ты не сошлешь ливня на этот пожар, то, значит, не любишь Рима. Человеческая сила не загасит этого огня. И это тот город, которому служила Греция и весь мир! А теперь всякий грек может жарить бобы на его пепле. Кто бы мог подумать?.. И не будет уже ни Рима, ни римских владык... А кто захочет ходить по пожарищу, когда он остынет, и свистать, тот будет свистать безнаказанно. О, боги! свистать над всемогущим городом! Кто бы из греков, даже из варваров, мог подумать это?.. А свистать можно потому, что гряда пепла, — останется ли она после привала пастухов, или после сгоревшего города — не что иное, как гряда пепла, которую раньше или позже развеет ветер.

¹ *Пинций* — «холм садов» на северной окраине Рима, где располагались знаменитые сады Лукулла (*примеч. ред.*).

² *Ager Vaticanus* — Ватиканское поле (*примеч. ред.*).

³ *Porta Flaminia* — Фламиниевые ворота (*примеч. ред.*).

⁴ *Porta Salaria* — Соляные ворота (*примеч. ред.*).

⁵ *Pagus Janiculensis* — Яникульский паг (район, участок — мельчайшая административно-территориальная единица в Древнем Риме) (*примеч. ред.*).

От времени до времени он обертывался в сторону пожара и смотрел на море огня со злобным и вместе с тем радостным лицом, потом продолжал:

— Гибнет! гибнет!.. и не будет его уже больше на свете! Куда теперь мир будет посылать свой хлеб, свое масло и свои деньги? Кто будет выжимать из него золото и слезы? Мрамор не горит, но рассыпается в огне. Капитолий обратится в развалины, и Палатин обратится в развалины. О, Зевс! Рим был аки пастырь, а другие народы аки овцы. Когда пастырь был голоден, он резал одну из овец, мясо съедал, а тебе, отец богов, жертвовал шкуру. Кто, о Тучегонитель, будет теперь резать овец и в чьи руки ты отдашь пастырский бич? О, Зевс, Рим горит так хорошо, как будто ты сам зажег его своим перуном!

— Спеш! — торопил Виниций, — что ты там делаешь?

— Плакаваю Рим, господин, — ответил Хилон. — Такой юпитеровский город!..

И они молча поехали вперед, прислушиваясь к свисту огня и шуму птичьих крыльев. Голуби, которые во множестве водились на виллах и в городках Кампании, и всякие полевые птицы, очевидно, принимали пламя пожара за солнечный свет и летели на огонь.

Виниций первый прервал молчание.

— Где ты был, когда вспыхнул пожар?

— Я шел к моему другу Эврицию, господин, — он держит лавку у Большого цирка, — и размышляя над учением Христа, когда начали кричать: «Пожар!». Люди скопились возле цирка отчасти для того, чтобы спастись, отчасти из любопытства, но когда огонь охватил весь цирк и, кроме того, начал показываться в других местах, нужно было думать о собственном спасении.

— Ты видел людей, которые бросают факелы в дома?

— Чего я не видал, внук Энея! Я видел, как люди прочищают себе во тьме до рогу мечами, видел битвы и растоптанные на мостовой внутренности человеческие. Ах, господин, если б ты смотрел на это, то подумал бы, что это варвары взяли город и начинают резню! Люди вокруг меня кричали, что подошел конец света. Одни совсем потеряли голову и, пренебрегая бегством, бессознательно ждали, пока их охватит пламя. Другие впали в безумие, третьи выли от отчаяния, но я видел и таких, которые выли от радости, ибо, о господин, много есть на свете злых людей, которые не умеют ценить благодеяний вашего мягкого правления и тех справедливых законов, в силу которых вы отбираете у всех то, что у них есть, и присваиваете себе. Люди не умеют примириться с волею богов!

Виниций чересчур был занят своими мыслями, чтобы заметить иронию, звучащую в словах Хилона. Дрожь ужаса охватывала его при одном предположении, что Лигия могла очутиться среди этого замешательства, на этих страшных улицах, где под ногами валялись человеческие внутренности. И хотя молодой трибун уже десять раз допрашивал Хилона о том, что тот видел, трибун теперь снова обратился к нему:

— Ты собственными глазами видел их в Остриане?

— Видел, сын Венеры, видел девушку, доброго лигийца, святого Линна и апостола Петра.

— Перед пожаром?

— Перед пожаром, Митра¹.

¹ *Mithras* — персидский бог.

В душе Виниция возродилось сомнение, не лжет ли Хилон, и, задержав мула, он грозно посмотрел на старого грека и спросил:

— Что ты там делал?

Хилон смешался. Правда, ему, как и большинству, казалось, что вместе с гибелью Рима приходит и конец римскому владычеству, но на этот раз он с Виницием был наедине и вспомнил, что патриций под страшною угрозой запретил ему подсматривать за христианами, в особенности за Линном и Лигией.

— Господин, — сказал он, — отчего ты не веришь, что я люблю их? Да, я был в Остриане, потому что я полухристианин. Пиррон научил меня ценить добродетель дороже философии, и я все больше и больше лну к людям добродетельным. При том, о господин, я беден, и когда ты, Юпитер, был в Антии, я часто умирал с голоду над своими книгами и часто сидел у стены Остриана, потому что христиане, хотя они и сами бедны, раздают милостыню больше, чем все римляне, взятые вместе.

Виницию этот повод показался достаточно убедительным, и он спросил менее грозно:

— Ты не знаешь, где на это время поселился Линн?

— Один раз ты жестоко покарал меня за любопытство, — ответил грек.

Виниций замолчал и поехал вперед.

— Господин, — через минуту сказал грек, — если бы не я, ты не нашел бы девушку, но если мы найдем ее и теперь, ты не забудешь о бедном мудреце?

— Ты получишь дом с виноградником под Америолой¹, — ответил Виниций.

— Благодарю тебя, Геркулес! С виноградником?.. Благодарю тебя! Конечно, с виноградником!

Теперь они проезжали мимо Ватиканского холма, который был озарен заревом пожара, но за Навмахией свернули вправо, чтобы, перерезав Ватиканское поле, приблизиться к реке, пересечь ее и добраться до *Porta Flaminia*. Вдруг Хилон задержал мула и сказал:

— Господин, мне в голову пришла хорошая мысль.

— Говори, — ответил Виниций.

— Между Яникульским и Ватиканским холмами, за садами Агриппы, находятся подземелья, из которых брали камень и песок для постройки цирка Нерона. Послушай меня, господин! В последнее время евреи, — ты знаешь, как их много за Тибром, — начали свирепо преследовать христиан. Помнишь, еще во время божественного Клавдия там были такие беспорядки, что цезарь принужден был изгнать их из Рима. Теперь, когда они возвратились и когда благодаря покровительству Августы чувствуют себя в безопасности, они еще свирепее притесняют христиан. Я это знаю, я видел это! Еще никакого эдикта против христиан не издано, а евреи обвиняют их перед префектом города, что они убивают детей, поклоняются ослу и проповедуют учение, не одобренное сенатом, а сами бьют их и так ожесточенно нападают на их молитвенные дома, что христиане должны скрываться от них.

— Что ты хочешь сказать этим? — спросил Виниций.

— А то, господин, что синагоги открыто существуют за Тибром, а христиане, желая избежать преследования, должны молиться втихомолку и собираются в заброшенных сараях за городом или в аренах. Те, которые живут за Тибром, избрали

¹ *Америола* — древний город к северо-востоку от Рима (*примеч. ред.*).

себе те аренарии, которые образовались благодаря постройке цирка и разных домов вдоль Тибра. Теперь, когда город погибает, почитатели Христа, несомненно, молятся там. Мы их найдем во множестве в подземельях, поэтому я и советую тебе, господин, зайти туда по дороге.

— Ведь ты же говорил, что Линн отправился в Остриан! — нетерпеливо крикнул Виниций.

— А ты мне обещал дом с виноградником под Америолой, — ответил Хилон, — и я хочу искать девушку повсюду, где надеюсь найти ее. Как начался пожар, они могли возвратиться в Затибрские кварталы. Они могли обойти город так, как мы обходим его в настоящую минуту. У Линна есть дом, может быть, ему хотелось быть поближе к дому, чтоб видеть, не охватил ли пожар и этой части. Если они возвратились, то, господин, клянусь тебе Персефой, что мы найдем их на молитве в подземелье, а в самом неблагоприятном случае получим о них какие-нибудь сведения.

— Ты прав, веди меня, — сказал трибун.

Хилон, не раздумывая, свернул налево, к холму. На минуту бок этого холма закрыл от них горящий город так, что хотя ближайшия возвышенности были освещены, Виниций и его спутник оставались в тени. Миновав цирк, они свернули влево и въехали в ущелье, в котором все было темно, но и в этом мраке Виниций увидал сотни мигающих фонарей.

— Вот они! — сказал Хилон. — Сегодня их будет больше, чем когда-либо, потому что молитвенные дома сгорели или полны дыму, как вся Затибрская часть.

— Да, я слышу пение, — ответил Виниций.

Действительно, из зияющего отверстия в горе доходили звуки человеческих голосов, а фонари пропадали в нем один за другим. Из боковых ущелий появлялись все новые и новые фигуры, так что вскоре Виниций и Хилон очутились среди целой толпы людей.

Хилон слез с мула, подозвал движением руки подростка, который проходил мимо, и сказал ему:

— Я служитель Христа и епископ. Подержи наших мулов и получишь за это мое благословение и отпущение грехов.

И, не ожидая ответа, он всунул ему в руку поводья, а сам с Виницием присоединился к толпе.

Они вошли в подземелье и при слабом свете фонарей подвигались вдоль темного коридора, пока не достигли обширной пещеры, из которой, видимо, недавно выби- рали камень, потому что все стены ее были выложены свежими обломками.

В пещере было виднее, чем в коридоре, — в ней, кроме лампад и фонарей, горели факелы. При блеске их Виниций увидал целую толпу коленапреклоненных людей с руками, воздетыми к небу. Ни Лигии, ни апостола Петра, ни Линна он не мог найти нигде, зато его окружали лица торжественные и взволнованные. На иных ясно рисовались ожидание, тревога, надежда. Огонь отражался в белках глаз молящихся, пот струями катился по их бледному, как мел, лбу; одни пели гимны, другие лихорадочно повторяли имя Иисуса, третьи били себя в грудь. Было видно, что они с минуты на минуту ожидают чего-то необычайного.

Вдруг пение смолкло, и над собравшимися, в нише, образовавшейся после вынута- того огромного камня, показался известный Виницию Крисп, с лицом полубессозна- тельным, бледным, фанатическим и суровым. Все обратились к нему как бы в ожидании

слов подкрепления и надежды, а он, осенив крестным знаменем собравшихся, заговорил поспешным голосом, почти приближающимся к крику:

— Кайтесь в грехах ваших, ибо минута приблизилась. Се на город преступления и разврата, на новый Вавилон Господь низослал губительный огонь. Пробил час суда, гнева и горя. Господь предвещал свое пришествие, и вскоре вы узрите его. Но днесь он не придет уже, аки агнец, проливающий кровь за грехи ваши, а как грозный судия, который по справедливости своей ввергает в бездну грешных и неверных. Горе миру и горе грешным, ибо уже не будет для них милосердия! Я вижу тебя, Христос! Звезды дождем падают на землю, солнце затмевается, открываются недра земли и мертвые восстают, а ты грядешь среди звуков трубных и полчищ ангелов, среди громов и молний! Я вижу и слышу тебя, о Христос!

Он смолк и, подняв голову вверх, казалось, всматривался во что-то далекое и страшное. В это время в подземелье раздался глухой грохот, — раз, два, десять раз. То целая линия домов с треском начинала разваливаться. Но большинство христиан этот шум приняло за видимый знак, что страшная минута настает, потому что вера во второе пришествие Христа и так была распространена между ними, а теперь ее еще более укрепил пожар города. И тревога охватила всех собравшихся. Многие голоса начали повторять: «День суда!.. Приближается!» Одни закрывали руками лицо в убеждении, что вот-вот земля дрогнет в своих основах и из ее недр выйдут адские чудовища, чтобы броситься на грешных, другие взывали: «Христос, сжался! Искупитель, будь милосерд!..» Те громко исповедовали свои грехи, эти заключали друг друга в объятия, чтобы в страшную минуту возле их сердца билось близкое сердце.

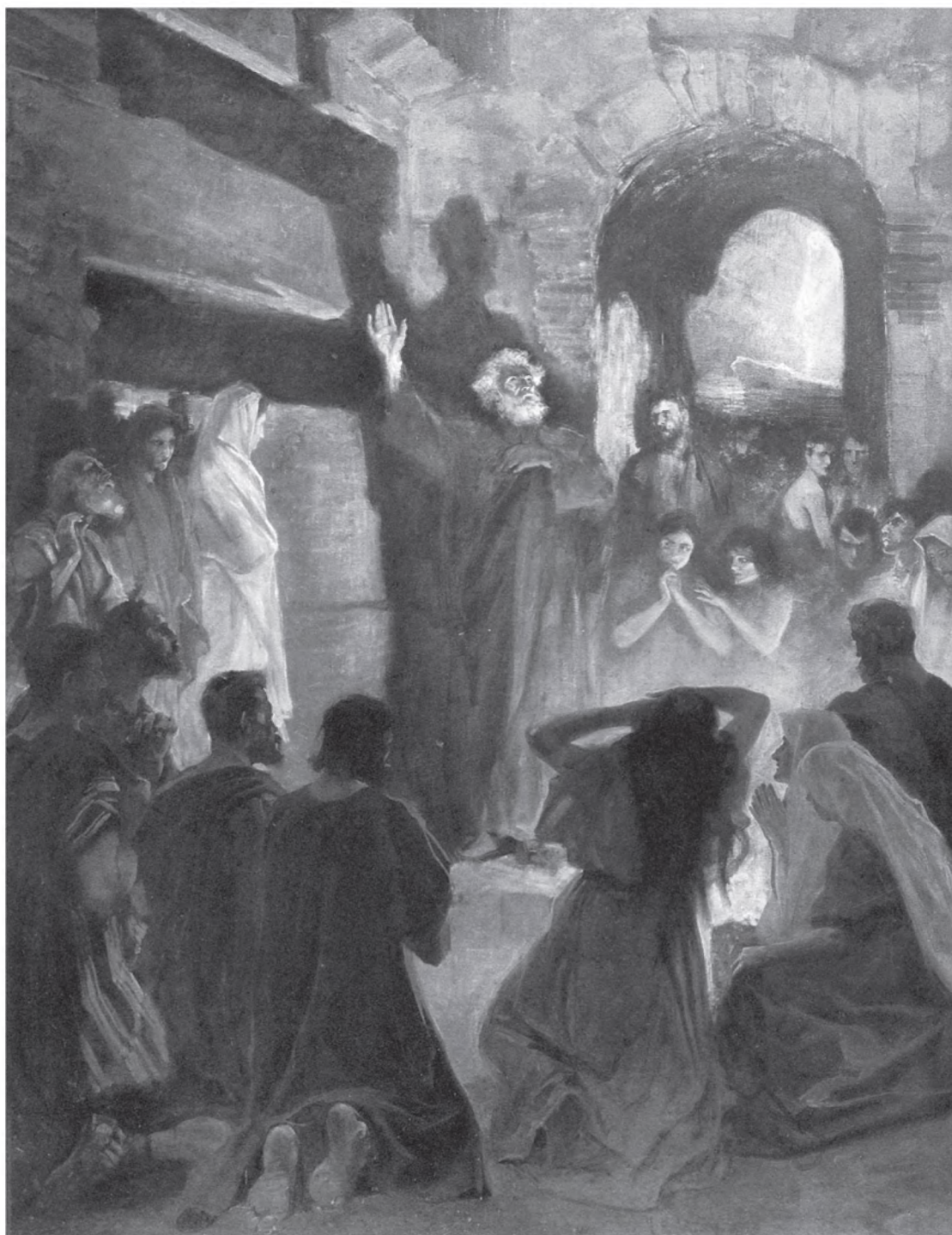
Но были и такие, лица которых, — точно они уже были взяты на небо, — озаренные неземною улыбкой, не выказывали никакой тревоги. Кое-где слышались истерические крики, — то люди в религиозном экстазе начали произносить непонятные слова на непонятных языках. Кто-то из темного угла пещеры воскликнул: «Проснись, спящий!» — но надо всем царил крик Криспа: «Бдите, бдите!»

По временам все стихало, как будто все, задерживая дыхание в груди, ожидали того, что должно свершиться. Тогда слышен был отдаленный грохот разваливающихся домов, а потом снова раздавались стоны, молитвы и возгласы: «Искупитель, будь милосерд!». По временам Крисп снова начинал кричать: «Отрекитесь от земных сокровищ, ибо скоро не станет земли под вашими ногами! Отрекитесь от земной любви, ибо Господь обречет на гибель тех, кто любил жен и детей более его! Горе тому, кто полюбил творение больше Творца! Горе сильным! Горе чревоугодникам! Горе блудодеям! Горе мужу, жене и младенцу!».

Вдруг ужасающий треск потряс всю каменоломню. Все пали на землю, крестообразно простирая руки, чтобы этим знаком охранить себя от злых духов. Наступила тишина, в которой слышалось только ускоренное дыхание, полный ужаса шепот: «Иисус! Иисус! Иисус!» — и плач детей. И вдруг над распростертою на земле толпой раздался какой-то спокойный голос:

— Мир с вами!

То был голос апостола Петра, который только что вошел в пещеру. При звуке его слов страх исчез в одно мгновение, как исчезает страх стада при появлении пастуха. Люди поднялись с земли, те, которые были поближе к апостолу, начали прижиматься к его коленям, как будто искали прибежища под его крыльями, а он распростер над ними руки и заговорил:





— Мир с вами!

То был голос апостола Петра, который только что вошел в пещеру.

— Отчего вы тревожитесь в сердцах ваших? Кто может отгадать, что может встретить его, прежде чем наступит страшная минута? Господь покарал огнем Вавилон, но над вами, которых омыло крещение и грехи которых искупила кровь Агнца, почует его милосердие, и вы умрете с его именем на устах. Мир с вами!

После грозных и немилосердных речей Криспа слова Петра как бальзам упали на сердца присутствующих. Вместо боязни Бога душою овладевала любовь к Богу. Христос являлся таким, каким все любили его по рассказам апостольским, не безжалостным судьей, а кротким и долготерпеливым Агнцем, милосердие которого во сто раз превышало людскую злобу. Все молящиеся почувствовали облегчение, и надежда вместе с признательностью к апостолу наполнила все сердца. С разных сторон слышались голоса: «Мы овцы твои, паси нас, не оставляя нас в день гнева!» Люди падали к его коленям. Виниций также приблизился к апостолу, схватил край его плаща и, наклонив голову, сказал:

— Господин, спаси меня! Я искал ее в дыме пожара и в толпе и нигде не мог найти, но я верю, что ты можешь возвратить ее мне.

Петр положил ему руку на голову.

— Верь, — сказал, — и иди за мной.





ГЛАВА III

А город все горел. Большой цирк обратился в развалины; в кварталах, которые начали гореть первыми, обрушивались целые переулки и улицы. После падения каждого дома столбы пламени на минуту, казалось, достигали до самого неба. Ветер изменился и теперь с невероятной силой дул со стороны моря, нанося на Целий, на Эсквилин и на Виминал волны огня, головней и угольев. Наконец власти подумали и о спасении города. По приказанию Тигеллина, который третьего дня примчался из Антия, начали разрушать дома на Эсквилине, чтоб огонь, дойдя до пустого места, угас сам собою. Но то было слабое средство, предпринятое только для отставивания остатков города, потому что о спасении того, что горело, нечего было и думать. Кроме того, нужно было принять меры и против дальнейших несчастий. Вместе с Римом погибали и неизмеримые богатства, погибало все имущество его обитателей, так что около городских стен теперь кочевали сотни тысяч совершенно разоренных нищих.

Уже на другой день голод начал давать себя знать толпе, потому что неизмеримые запасы живности, нагроможденные в городе, горели вместе с ним, а во всеобщей сумятице и бездействии власти никто не подумал о доставке новых. Только по прибытии Тигеллина были посланы в Остию соответственные распоряжения, а тем временем народ начал принимать все более грозный вид.

Дом возле *Aqua Appia*¹, в котором временно поселился Тигеллин, окружали сотни женщин и кричали с утра до поздней ночи: «Хлеба и пристанища!» Тицетно преторианцы, вызванные из большого лагеря, находящегося между *Via Salaria* и *Nomentana*, пытались восстановить какой-нибудь порядок. И там, и здесь им оказывали вооруженное сопротивление, а то безоружная толпа, указывая на горящий город, кричала: «Убивайте нас при свете этого огня!» Народ проклинал цезаря, августяна, преторианских солдат, и возбуждение росло с каждой минутой, так что Тигеллин ночью, смотря на тысячи костров, разложенных вокруг города, говорил себе, что это — костры неприятельского лагеря. По его распоряжению, кроме муки, привезли как можно более печеного хлеба, который взяли не только из Остии, но из всех окрестных городов и деревень, и когда первые транспорты пришли ночью из Эмпория, народ напал на них и уничтожил во мгновение ока, причем образовался еще больший беспорядок. При свете зарева люди дрались за каждый печеный хлебец и сотнями втаптывали их в землю. Мука из разорванных мешков точно снегом покрывала все пространство от хлебных амбаров до арки Друза и Германика, и волнение продолжалось до тех пор, пока солдаты не окружили все строения и не начали оттеснять толпу силой.

Никогда со времени нашествия галлов под начальством Бренна Рим не видал такой беды. Граждане с отчаянием сравнивали оба эти пожара. Но тогда, по крайней мере, сохранился хоть Капитолий, а теперь и он был окружен страшным огненным венцом. Правда, мрамор не горел, но ночью, когда ветер на время раздвигал пламя, было видно, как ряды колонн Юпитера раскалились и светятся розовым цветом, как горящие уголья. Наконец, во время нашествия Бренна Рим обладал населением дисциплинированным, сплоченным, привязанным к городу и его алтарям, а теперь вдоль стен горящего города кочевала разноязычная толпа, по большей части состоящая из невольников и отпущенников, буйная, беспорядочная, готовая под натиском нужды обратиться против власти и города.

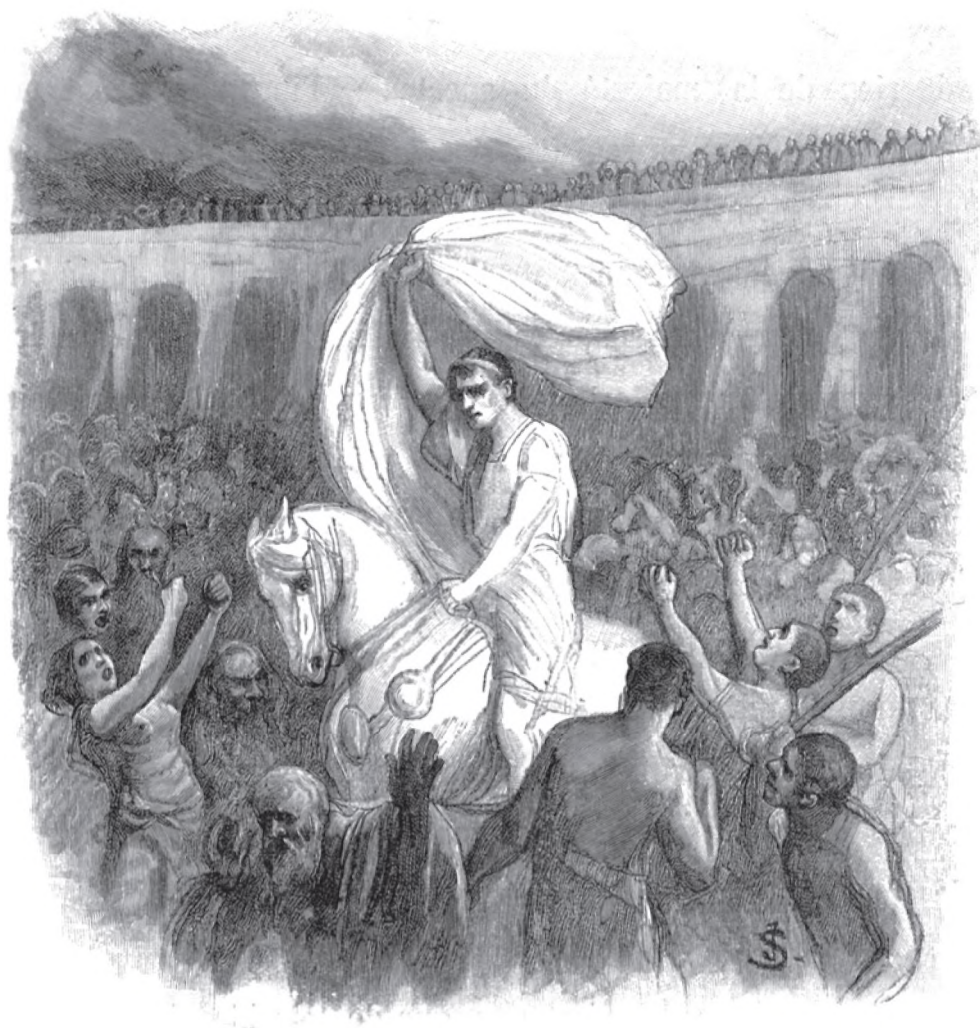
Но самый размер пожара, наполняющий сердца ужасом, до некоторой степени обезоруживал толпу. Вслед за огнем могли прийти голод и болезни, потому что, к довершению несчастья, наступили страшные июльские жары. Воздухом, раскаленным от огня и солнца, невозможно было дышать. Ночь не только не приносила облегчения, но становилась настоящим адом. Днем открывался поразительный и зловещий вид. Посреди — гигантский город, обратившийся в ревуший вулкан; вокруг, вплоть до Альбанских гор — один неизмеримый лагерь, состоящий из палаток, шалашей, телег, тачек, носилок, лавок, очагов, окутанный дымом и пылью, освещенный ржавыми лучами солнца, полный говора, крика, угроз, ненависти и страха, — ужасающая свалка мужчин, женщин и детей. Среди квиритов — греки, кудластые, светлоглазые люди Севера, африканцы и азиаты, среди граждан — невольники, отпущенники, гладиаторы, купцы, ремесленники, крестьяне и солдаты, — море людей, омывающее огненный остров.

Это море волновали разные вести, как ветер вздымает настоящие волны. Вести были благоприятные и неблагоприятные. Говорили о неизмеримых запасах хлеба и одежды, которые должны были прийти из Эмпория и которые будут раздаваться даром; говорили, что по приказанию цезаря провинции в Азии и в Африке будут

¹ *Aqua Appia* — акведук Аппия, древнейший римский водопровод (примеч. ред.).

ограблены, а все сокровища, добытые таким образом, распределятся между жителями Рима так, чтобы каждый мог выстроить себе дом. Но вместе с тем пускались вслух и такие новости, что вода в водопроводах отравлена, что Нерон хочет уничтожить город и стереть с лица земли его жителей всех до одного, чтобы переселиться в Грецию или в Египет и оттуда царствовать над всем миром. Каждая весть распространялась с быстротой молнии и каждая находила веру среди толпы, возбуждая негодование, гнев, надежду, страх или бешенство. Какая-то горячка охватила всех. Уверенность христиан, что мир скоро должен погибнуть от огня, распространялась и среди язычников с каждым днем все шире и шире. Народ впадал в оцепенение или в бешенство. В облаках, освещенных заревом, видели богов, вззирающих на гибель земли, и к ним протягивались сотни рук с мольбой или с проклятием.

Тем временем солдаты при помощи нескольких граждан разрушали дома на Эсквилине, на Целии, а также в Затибрской части, благодаря чему она уцелела в значительной степени. Но в самом городе горели баснословные сокровища, собранные целым рядом побед, чудные произведения искусства, великолепные храмы и неоценимые памятники римского прошлого и римской славы. Было видно, что от всего города останется только несколько удаленных от центра кварталов и что сотни тысяч людей остаются без пристанища. Ходил также слух, что солдаты разрушают дома не для того, чтоб удержать огонь, а для того, чтоб от города не уцелело ни одного здания. Тигеллин слал в Антий гонца за гонцом, умоляя цезаря приехать и своим присутствием успокоить пришедший в отчаяние народ. Нерон двинулся только тогда, когда пламя охватило *Domus transitoria*, и спешил, чтобы не упустить минуты, когда пожар усилится до величайшей степени.



ГЛАВА IV

Тем временем огонь дошел до *Via Nomentana*, а от нее, с переменной ветра, перешел к *Via Lata*¹, окружил Капитолий, разлился по *Forum Boarium* и, пожирая все, что пощадил при первом натиске, снова приблизился к Палатину. Тигеллин, собрав всех преторианцев, слал гонцов к приближающемуся цезарю с известием, что он ничего не упустит из великолепного зрелища, потому что пожар еще усилился. Но Нерон хотел прибыть ночью, чтобы получить более сильное впечатление от гибнущего города. С этою целью он остановился в окрестностях *Aqua Albana*², призвал к себе

¹ *Via Lata* — Широкая дорога (примеч. ред.).

² *Aqua Albana* — Альбанское озеро (примеч. ред.).

в палатку трагика Алитура для совещания, какую ему принять фигуру, какое выражение придать лицу, как смотреть и к каким движениям прибегать. Возник ожесточенный спор, поднять ли цезарю обе руки к голове при словах: «О, святой град, который казался мне более стойким, чем Ида¹», — или, держа в одной руке формингу, опустить ее вдоль тела и поднять кверху только другую. В настоящую минуту этот вопрос казался Нерону более важным, чем все другие. Пустившись в дорогу только в сумерки, он потребовал от Петрония совета, не включить ли ему в стих, посвященный проклятию, несколько великолепных богохульств, и что эти богохульства, если на них смотреть с точки зрения искусства, не должны ли сами собою вырваться из уст человека, теряющего отечество?

Около полуночи цезарь приблизился к стенам города вместе со своею неисчислимою свитой, состоящею из целых полчищ царедворцев, сенаторов, воинов, отпущенников, женщин и детей. Шестнадцать тысяч преторианцев, расставленных по дороге в боевом порядке, охраняли спокойствие и безопасность цезаря, вместе с тем удерживая на соответственном расстоянии взволнованный народ. Люди действительно кричали и свистали при виде шествия цезаря, но никто не осмелился напасть на него. В некоторых местах, между прочим, раздавались и рукоплескания, потому что чернь, не обладавшая ничем и ничего не потерявшая при пожаре, рассчитывала на щедрую раздачу хлеба, масла, одежды и денег. Наконец и крик, и свистки, и рукоплескания были заглушены звуками труб и рогов, на которых приказал играть Тигеллин. Нерон, миновав Остийские ворота, на минуту остановился и сказал: «Бездомный владыка бездомного города, где я преклоню на ночь свою несчастную голову?» — потом, перейдя *Clivus Delphini*², поднялся по нарочно приготовленной лестнице на водопровод Аппия, а за ним потянулись августиане и хор певцов с цитрами, лютнями и другими музыкальными инструментами.

Все затаили в груди дух, ожидая, не скажет ли цезарь каких-нибудь великих слов, которые ему нужно было бы придумать для собственной безопасности, но Нерон стоял торжественный, немой, в пурпурном плаще и венке из золотых лавровых листьев и всматривался в бушующее море пламени. Когда Терпн подал ему золотую кифару, он поднял голову к небу, залитому заревом, и как будто ожидал вдохновения.

Народ указывал на него руками, вдали шипели огненные змеи и пылали вековые святейшие памятники: храм Геркулеса, который воздвиг Эвандр³, храм Юпитера Охранителя (*Stator*) и храм Луны, построенный еще Сервием Туллием, и дом Нумы Помпилия, и храм Весты с пенатами римского народа. Среди огненных клубов по временам показывался Капитолий, а он, цезарь, стоял с кифарой в руке, с лицом трагического актера и с мыслью не о гибнущей отчизне, а о своей фигуре и патетических словах, какими он может выразить все размеры несчастья, возбудить наибольшее удивление и стяжать наиболее горячие рукоплескания.

Он ненавидел этот город, ненавидел его жителей, он любил только свои песни и стихи и теперь в сердце радовался, что наконец увидал трагедию подобную той,

¹ *Ida* — горный хребет на северо-западе Малой Азии близ Трои.

² *Clivus Delphini* — склон Дельфина, одна из небольших улиц древнего Рима (*примеч. ред.*).

³ *Evander* — мифическое лицо. По преданию, он за 60 лет до разрушения Трои вывел колонию из Паллантея (в Аркадии) в Лациум и на Палатинской горе, где впоследствии стоял Рим, основал город, названный им также *Pallanteum*.

которую он воспевал. Виршеплет чувствовал себя счастливым, декламатор — вдохновенным, искатель сильных ощущений упивался страшным зрелищем и с восторгом думал, что даже гибель Трои была ничто в сравнении с гибелью этого гигантского города. Чего он мог пожелать большего? Рим, всемогущий Рим горит, а он стоит на арке водопровода с золотой кифарой в руке, видимый всеми и возбуждающий всеобщее изумление, великолепный и поэтический. А где-то там, внизу, во мраке, ропщет и волнуется народ. Пусть ропщет. Века протекут, тысячи лет пройдут, а люди будут помнить и прославлять поэта, который в такую ночь воспевал падение и пожар Трои. Что в сравнении с ним Гомер, даже сам Аполлон со своею прославленною формингой?

Цезарь поднял руку, ударил по струнам и заговорил словами Приама:

— О, гнездо отцов моих! о, дорогая колыбель!

Голос его на открытом воздухе, при шуме пожара и отдаленном говоре многотысячной толпы, казался удивительно жалким, дрожащим и слабым, аккомпанемент звучал, как жужжание мухи, но сенаторы, сановники и августиане, стоящие на водопроводе, склонили голову и внимали в молчаливом восторге. Нерон пел долго и настаивался все более на печальный лад. Когда он остановился, чтобы перевести дух, хор певцов повторял последние его слова, а потом Нерон снова движением, заимствованным у Алитура, сбрасывал с плеча трагическую сирму¹, ударял по струнам и продолжал петь. Наконец он кончил сочиненную заранее песнь и начал импровизировать, ища живописных сравнений в зрелище, открывающемся перед ним. И лицо его начинало меняться. Его не тронула гибель родного города. Он упился и растрогался пафосом своих слов до такой степени, что глаза его наполнились слезами, наконец кифара с громом упала к его ногам, и цезарь, закутавшись в сирму, застыл в одном положении, как статуи Ниобидов, которые украшали двор Палатина.

После короткого молчания поднялась буря рукоплесканий, но толпа издали отвечала ей воем. Теперь среди народа никто уже не сомневался, что цезарь приказал поджечь город, чтоб устроить себе зрелище и петь песни при свете пожара. Нерон, услышав этот крик сотни тысяч голосов, обратился к августианам с грустной, полною покорности судьбе улыбкой человека, которому оказывают несправедливость, и сказал:

— Вот как квириты умеют ценить меня и поэзию!

— Негодяи! — ответил Ватиний, — прикажи, господин, ударить на них преторианцам.

Нерон обратился к Тигеллину:

— Можно рассчитывать на верность солдат?

— Да, божественный! — сказал префект.

Но Петроний пожал плечами.

— На их верность, а не на их численность, — сказал он. — Оставайся пока здесь, — здесь безопасней, — а этот народ нужно успокоить.

Того же мнения был и Сенека, и консул Лициний. Между тем возбуждение всюду все росло. Народ вооружался камнями, шестами от палаток, досками и разными кусками железа. Пред лицо цезаря предстали предводители нескольких когорт и заявили, что преторианцы под напором толпы с величайшим усилием удерживают строй и, не имея приказа ударить на людей, не знают, что им делать.

¹ *Syrma* — длинная, волочашая по земле одежда, которую носили преимущественно трагические актеры.

— Боги! — сказал Нерон, — что за ночь! С одной стороны пожар, с другой — взволнованное море народа.

И он начал подыскивать выражения, которые более пластично могли бы обрисовать опасность данной минуты, но, видя вокруг себя бледные лица и беспокойные взгляды, так же испугался.

— Дайте мне темный плащ с капюшоном! — крикнул он, — Разве действительно дело может дойти до битвы?

— Господин, — неверным голосом ответил Тигеллин, — я сделал все, что мог, но опасность предстоит грозная. Обратись с речью к народу, обещаю ему сделать что-нибудь.

— Чтобы цезарь говорил с толпой? Пусть это сделает кто-нибудь другой от моего имени. Кто возьмется за это?

— Я — спокойно ответил Петроний.

— Иди, друг! Ты самый верный в минуту нужды... Иди и не щади обещаний.

Петроний повернул к императорской свите свое лицо, на котором рисовались небрежность и насмешка.

— Сенаторы, находящиеся здесь, — сказал он, — и, кроме того, Пизон, Нерва и Сенецион пойдут со мною.

Он медленно сошел с водопровода; те, которых он перечислил, шли за ним не без колебания, но с надеждой, которую им внушало его спокойствие. Петроний, оставившись у подножия аркады, приказал подать себе своего белого коня и во главе сопровождающих его поехал сквозь ряды преторианцев к черной воюющей толпе, — безоружный, потому что в руках у него была лишь тоненькая палка из слоновой кости, на которую он обыкновенно опирался.

Миновав преторианцев, он направил коня на толпу.

Вокруг, при свете пожара, видны были только поднятые руки, вооруженные всяким оружием, горящие глаза и покрытые потом лица. Разъяренная волна окружила Петрония и его свиту, а дальше виднелось только море голов, — подвижное, кипящее, страшное.

Крики усилились еще больше и обратились в нечеловеческий рев; палки, вилы и даже мечи колебались над головой Петрония, хищные руки протягивались к поводьям его коня и к нему самому, но он углублялся все дальше, холодный, равнодушный, презрительный. От времени до времени он ударял по голове какого-нибудь чересчур назойливого человека, как будто прочищал себе дорогу в обыкновенной толпе, и эта уверенность, это спокойствие приводили в изумление разгоряченную толпу. Петрония, наконец, узнали, и из разных мест послышались возгласы:

— Петроний! *Arbiter elegantiarum!* Петроний!

— Петроний! — загремело со всех сторон.

И по мере того, как повторялось это имя, лица вокруг свиты Петрония становились менее грозными, крики менее бешеными, потому что изящный патриций, хотя никогда не заискивал перед народом, был его любимцем. Он считался человеком добрым и мягким, а популярность его в особенности возросла после дела Педания Секунда, когда Петроний ходатайствовал за смягчение сурового приговора, осуждавшего на смерть всех невольников префекта. В особенности толпы невольников полюбили его с тех пор тою неудержимой любовью, какую угнетенные и несчастные люди привыкли любить всех, кто оказывал им хоть каплю





*Цезарь поднял руку, ударил по струнам и заговорил словами Приама:
— О, гнездо отцов моих! о, дорогая колыбель!*

сочувствия. Кроме того, в настоящую минуту присоединилось и любопытство, что скажет посол цезаря, потому что никто не сомневался, что цезарь нарочно послал Петронию.

А тот снял с себя белую тогу, отороченную красною каймой, поднял ее кверху и начал махать над головой в знак того, что хочет говорить.

— Тише! тише! — раздавалось со всех сторон.

Немного погодя все утихло. Тогда Петроний выпрямился на коне и заговорил спокойным, ясным голосом:

— Граждане! Пусть те, которые услышат меня, повторят мои слова стоящим дальше, и пусть все держат себя, как люди, а не как звери на аренах.

— Слушаем, слушаем!

— Так вот и слушайте. Город будет отстроен вновь. Сады Лукулла, Мецената, Цезаря и Агриппины будут открыты для вас. С утра начнется раздача хлеба, вина и масла, так что каждый может набить себе живот по горло. Потом цезарь устроит вам игры, которых до сих пор мир не видал, а за играми вас ждут пиршества и подарки. Вы после пожара будете более богаты, чем до пожара.

Петронию отвечал ропот, который от середины расходился по сторонам так, как расходятся круги по воде, когда кто-нибудь бросит в нее камень, — стоящие ближе повторяли стоящим дальше то, что они слышали. Потом и там, и здесь раздались крики, гневные или поощрительные, и вскоре слились в одно общее:

— *Panem et circenses!*¹

Петроний закутался в тогу и оставался неподвижен, похожий на надгробный памятник. Крик усиливался, заглушал треск пожара, раздавался со всех сторон, доносился из самых отдаленных глубин толпы, но посол цезаря, очевидно, хотел сказать еще что-то, потому что оставался на месте.

Наконец он махнул рукой, чтоб восстановить молчание, и крикнул:

— Я обещаю вам «*panem et circenses*», а теперь закричите в честь цезаря, который вас кормит и одевает, а потом, милая гольтьба, расходись спать, — скоро уже рассветать начнет.

Он повернул коня и, слегка ударяя по голове и лицу тех, которые стояли у него на дороге, медленно поехал к рядам преторианцев.

Немного погодя он был уже у водопровода, а наверху застал чуть не смятение. Там не поняли крика «*panem et circenses*», — приписали это новому взрыву бешенства и не рассчитывали даже, чтоб Петроний мог спастись, и когда Нерон увидал его, то подбежал к лестнице и начал расспрашивать со взволнованным лицом:

— Ну, как? Что там? Возмущение?

Петроний набрал воздуха, вдруг глубоко вздохнул и ответил:

— Клянусь Поллуксом! Какая вонь от них! Пусть кто-нибудь даст мне эпилимму², иначе я упаду в обморок.

Потом он обратился к цезарю:

— Я обещал им хлеба, масла, игрища, обещал, что им откроют сады. Они снова боготворят тебя и запекшимися губами воздают тебе честь. Боги! какой запах от этого племса!

¹ «Хлеба и зрелищ в цирке!»

² *Epilimma* (вернее *epalimma*) — род очень дешевой мази.

— Преторианцы были готовы, — воскликнул Тигеллин, — и если б ты не успокоил народ, крикуны умолкли бы навеки. Жаль, цезарь, что ты не позволил мне употребить силу.

Петроний посмотрел на Тигеллина, пожал плечами и сказал:

— Время еще не утрачено. Ты можешь воспользоваться завтрашним днем.

— Нет, нет! — сказал цезарь. — Я прикажу им открыть сады и раздавать хлеб. Благодарю тебя, Петроний! Игрища я устрою, а ту песнь, которую вы слышали сегодня, я спою публично.

Он остыл немного, положил руку на плечо Петрония и после минутного молчания спросил:

— Скажи чистосердечно, каков я тебе казался во время пения?

— Ты был достоин этого зрелища, как и оно достойно тебя, — ответил Петроний.

Он снова обратился к пожару и сказал:

— Но полюбуемся еще и простимся со старым Римом.





ГЛАВА V

Слова апостола влили надежду в душу христиан. Хотя конец мира им всегда казался близким, но они начали думать, что Страшный суд наступит не сейчас и что они перед этим, может быть, увидят конец царствования Нерона, которое считали за владычество сатаны, увидят, как Бог покарает его злодеяния. Успокоенные христиане начали расходиться из подземелья по своим временным жилищам и даже возвращаться в Затибскую часть. Прошел слух, что огонь, подброшенный сразу в нескольких местах, с переменою ветра снова повернул к реке, пожрал, что было можно, и перестал распространяться.

Апостол в сопровождении Виниция и идущего за ними Хилона также оставил подземелье. Молодой трибун не смел прерывать его молитвы, шел молча и только умоляюще поглядывал на Петра. Но вокруг апостола теснились люди, — матери протягивали к нему своих детей, те целовали его руки и края его одежды, эти становились на колени и просили благословить их, — не было времени ни предложить вопрос, ни получить на него ответ. То же самое было и в ущелье, и лишь только на открытом месте, откуда был виден горящий город, апостол, троекратно перекрестив его, обратился к Виницию и сказал:

— Не тревожься. Хижина фоссора недалеко отсюда, а в ней ты найдешь Лигию с Линном и ее верным слугою. Христос, который предназначил ее тебе, сохранил ее.

Виниций пошатнулся и оперся рукою о скалу. Дорога из Антия, приключения у городских стен, поиски Лигии среди раскаленного дыма, бессонница и страшное беспокойство почти совсем исчерпали его силы, а остатки их погасли при известии, что дорогое существо близко и что он скоро увидит его. Виницием овладела такая слабость, что он опустился к ногам апостола, обнял его колени и так и остался, не имея возможности сказать что-нибудь.

Апостол, защищаясь от проявлений благодарности Виниция, сказал:

— Не мне, не мне, — Христу.

— Что за всеобъемлющее божество! — послышался сзади голос Хилона. — Но я не знаю, что делать с мулами, — они стоят недалеко.

— Встань и иди за мной, — и апостол Петр взял за руку молодого человека.

Виниций встал. При блеске зарева было видно, как слезы текли по его побледневшему от волнения лицу. Губы его шевелились, как будто он молился.

— Пойдем, — сказал он.

Но Хилон снова повторил:

— Господин, что мне делать с мулами? Они ждут нас. Может быть, достойный пророк предпочел бы ехать, чем идти.

Виниций сам не знал, что сказать, но, узнав от Петра, что хижина землекопа близко, ответил:

— Отведи мулов к Макрину.

— Прости, господин, что я напому тебе о доме в Америоле. При таком ужасном пожаре легко забыть о ничтожной вещи.

— Ты получишь его.

— О, внук Нумы Помпилия, ты всегда заслуживал доверия, но теперь, когда твое обещание слышал и великодушный апостол, я не напоминаю тебе даже и того, что ты обещал мне и виноградник. *Pax vobiscum*. Я найду тебя, господин. *Pax vobiscum*.

Виниций и апостол Петр ответили: «И тебе также», — и повернули направо, к холмам. По дороге Виниций сказал:

— Господин, омой меня водою крещения, чтоб я мог назваться истинным поклонником Христа, ибо я люблю его всеми силами своей души. Омой меня скорее, — я готов уже в сердце своем. И что ты мне повелишь, я все сделаю, только скажи мне, что делать.

— Люби людей, как братьев своих, — ответил апостол, — ибо ему ты можешь служить только любовью.

— Да! Я это уже понимаю и чувствую! Когда я был ребенком, то верил в римских богов, но не любил их, а Единого люблю так, что с радостью отдал бы за него жизнь.

Он посмотрел на небо и продолжал с восторгом:

— Ибо он един! Ибо он добр и милосерд! Пусть погибнет не только этот город, но и весь мир, — его одного я буду восхвалять, ему одному поклоняться!

— А он будет осенять тебя и твой дом, — прибавил апостол.

Они свернули в другое ущелье, на конце которого мерцал слабый огонек. Петр указал на него рукою и проговорил:

— Вот хижина землекопа, который дал нам убежище, когда мы возвращались с больным Линном из Остриана и не могли пробраться домой.

Они подошли ближе. Хижина представлялась скорее пещерою, высеченною в трещине горы. Дверь была закрыта, но через отверстие, которое заменяло окно, видно было небольшое пространство, освещенное огнем очага. Какая-то гигантская фигура поднялась при появлении Петра и Виниция и спросила:

— Кто вы?

— Слуги Христа, — ответил Петр. — Мир с тобою, Урс!

Урс наклонился к ногам апостола, затем, узнав Виниция, схватил его руки в свои лапы и поднес к губам.

— И ты, господин? — сказал он. — Да будет благословенно имя Агнца!.. Как обрадуется Каллина!

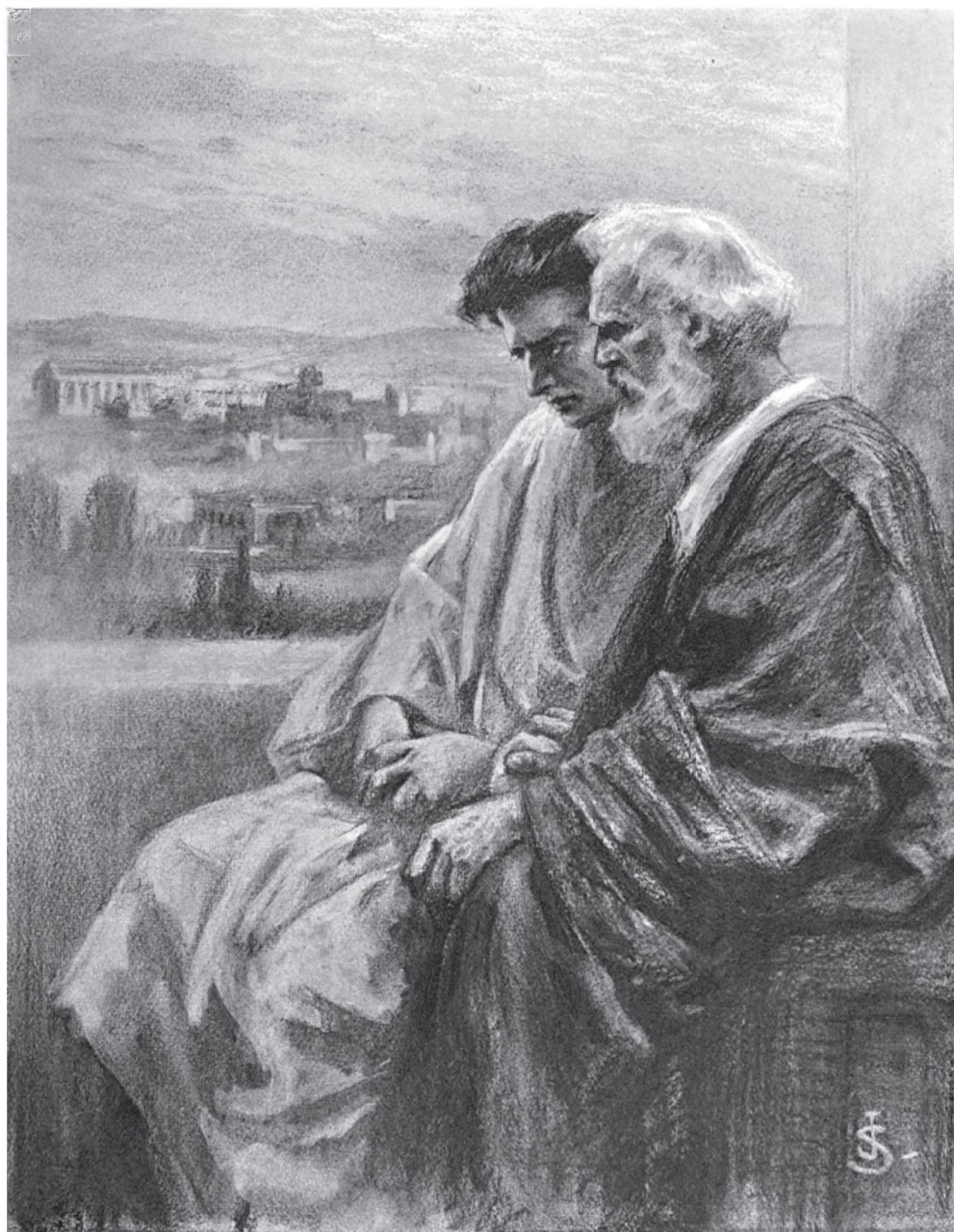
Он отворил дверь, и Виниций вошел. Большой Линн, с худым и желтым лицом, лежал на вязанке соломы. Возле него сидела Лигия и держала в руках пучок небольших рыбок, нанизанных на веревку и, очевидно, предназначавшихся к ужину.

Она снимала рыбу с веревки и, думая, что это вошел Урс, не поднимала глаз. Виниций приблизился к ней, назвал ее по имени и протянул к ней руки. Лигия быстро поднялась с места; молния изумления и радости промелькнула по ее лицу, и без слов, как ребенок, который после долгих дней тревоги и терзаний снова находит отца или мать, она бросилась в объятия Виниция. Он обнял ее и прижимал к своему сердцу с таким восторгом, как будто ее спасло чудо. Радости его не было границ, также как его любви и счастью.

Потом он стал рассказывать, как он искал из Антия, как искал ее у городских стен и среди клубов дыма, сколько настрадался, сколько тревоги испытал, прежде чем апостол указал ему ее убежище.

— Но теперь, — говорил он, — когда я нашел тебя, я не оставляю тебя здесь среди огня и буйной толпы. Люди режут друг друга, невольники волнуются и всех грабят, — один Бог знает, какие еще беды могут свалиться на Рим. Но я спасу тебя и всех вас. О, дорогая моя!.. Хотите ехать со мной в Антий? Там мы сядем на корабль и поплывем в Сицилию. Мои земли — ваши земли, мой дом — ваш дом. Слушай меня! В Сицилии мы разыщем Авла, я возвращу тебя Помпонии и потом возьму тебя из ее рук. Ведь ты, о *carissima*, не боишься меня больше? Крещение еще не омыло меня, но спроси Петра, не говорил ли я ему час тому назад, когда мы шли к тебе, что я хочу быть законным поклонником Христа, спроси, не умолял ли я его окрестить меня хотя бы в этой хижине фоссора? Поверь мне, и вы все поверьте мне.

Лигия с прояснившимся лицом слушала Виниция. Все они, сначала по случаю преследования со стороны евреев, а теперь по случаю пожара и вызванного им волнения действительно жили в тревоге и неуверенности. Удаление в спокойную Сицилию положило бы конец всем беспокойствам и вместе с тем открыло бы новую эпоху счастья в их жизни. Притом, если бы Виниций хотел взять только одну Лигию,



*— Люби людей, как братьев своих, — ответил апостол, —
ибо ему ты можешь служить только любовью.*

христиане, конечно, устояли бы против искушения, пожалели бы покинуть апостола Петра и Линна, но ведь Виниций говорил им: «Поедем со мной! Мои земли — ваши земли, мой дом — ваш дом».

И, наклонившись к руке молодого трибуна, чтобы поцеловать ее в знак покорности, она сказала:

— Где ты, Кай, там и я, Кая.

И, смущенная тем, что она произнесла слова, которые по римскому обычаю проносились только при брачном обряде, Лигия покраснела и стояла, освещенная огнем очага, с опущенною головой, не уверенная, как будут приняты ее слова.

Но в глазах Виниция виднелось только безграничное поклонение. Потом он обратился к Петру и заговорил снова:

— Рим горит по повелению цезаря. Еще в Антии он высказывал сожаление, что никогда не видал большого пожара. Но если он решился на такое злодейство, подумайте, что может быть дальше? Кто знает, не стянет ли он свои войска и не прикажет ли им перебить всех жителей Рима? Кто знает, какие последуют проскрипции, кто знает, после пожара не вспыхнет ли междоусобная война со всеми ее ужасами, резней и голодом? Скройтесь же, и скроем Лигию. Там вы в спокойствии переждете бурю, а когда она пройдет, опять возвратитесь сеять свое семя.

Извне, со стороны *Ager Vaticanus*, как бы в подтверждение опасений Виниция послышались какие-то отдаленные крики, полные бешенства и ужаса. В эту минуту явился землекоп, владелец хижины, и, поспешно замкнув двери, крикнул:

— Люди убивают друг друга возле цирка Нерона! Невольники и гладиаторы напали на граждан!

— Слышите? — спросил Виниций.

— Мера переполняется, — сказал апостол, — и казнь будет, как море необозримое.

Потом он обратился к Виницию и, указывая на Лигию, добавил:

— Возьми ту, которую Бог предназначил тебе, и охраняй ее. Больной Линн и Урс пусть отправятся с вами.

Но Виниций, который полюбил апостола всею силой своей неукротимой души, воскликнул:

— Клянусь тебе, учитель, что ты останешься здесь на гибель!

— Да благословит тебя Бог за твои намерения, — ответил апостол, — но разве ты не слышал, что Христос трижды повторил мне над озером: «Паси овцы моя!»

Виниций умолк.

— И если ты, которому никто не доверял попечения надо мной, говоришь, что не оставишь меня здесь на гибель, то как же ты хочешь, чтоб я бежал от моего стада в день казни? Когда была буря на озере и когда мы тревожились в сердцах наших, он не оставил нас, — как же мне, слуге, не следовать примеру Господа моего?

Тогда Линн приподнял свое похуевшее лицо и спросил:

— А как же я, наместник Господа, не последую твоему примеру?

Виниций провел рукой по голове, как бы борясь с собой или своими мыслями, потом сказал голосом, в котором звучала энергия римского солдата:

— Слушайте меня, Петр, Линн и ты, Лигия! Я говорил, что подсказывал мне мой человеческий разум, но у вас разум другой, он не о собственной безопасности думает, а о повелениях Избавителя. Да! Я этого не понял и ошибся, потому что с моих глаз



— Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь!

еще не снята повязка, и прежний человек отзывается во мне. Но я люблю Христа и хочу быть его слугою, и хотя здесь дело идет о чем-то большем, чем моя собственная голова, я падаю к вашим ногам и клянусь, что и я выполню заповедь любви и не покину своих братьев в минуту беды.

Он стал на колени, и вдруг им овладело вдохновение, его руки и глаза поднялись кверху, и он начал звать:

— Неужели я постиг тебя, Христос? Неужели я достоин тебя?

Руки его дрожали, на глаза набежали слезы. Апостол Петр взял глиняную амфору с водой, приблизился к Веницию и торжественно сказал:

— Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь!

Тогда религиозный восторг охватил всех присутствующих. Им показалось, что комната наполняется каким-то неземным светом, что они слышат какую-то неземную музыку, что свод пещеры разверзается над их головами и с неба на них слетают сонмы ангелов, а там, наверху, крест и изъязвленные гвоздями благословляющие руки.

А извне все доносились крики борющихся людей и треск пламени.



ГЛАВА VI

Римляне расположились в великолепных садах цезаря, когда-то принадлежавших Домиции и Агриппине, на Марсовом поле, в садах Помпея, Саллюстия и Мецената. Занято было все, — портики, здания, предназначенные для игры в мяч, роскошные летние дома и зверинцы. Павлины, фламинго, лебеди и страусы, африканские газели и антилопы, олени и серны, составлявшие украшения садов, были зарезаны и съедены. Жизненные припасы прибывали из Остии в таком изобилии, что по баркам и разнообразным судам можно было как по мосту переходить с одного берега Тибра на другой. Хлеб продавался по баснословно низкой цене трех сестерций, а неимущим его давали и совсем задаром. Явились неизмеримые запасы вина, оливок и каштанов, с гор пригоняли каждый день все новые и новые стада волов и овец. Бедняки, до пожара прятавшиеся по переулкам Субурры и в обыкновенное время умиравшие от голода, теперь жили лучше, чем прежде. Опасение голода было устранено совершенно, но прекратить разбои, грабежи и насилия оказывалось гораздо более трудным. Кочевая жизнь обеспечивала безнаказанность вора и грабителям, тем более что они объявляли себя почитателями цезаря и не жалели для него рукоплесканий, где бы он ни появлялся. Когда все правительственные учреждения в силу самих обстоятельств закрылись, а вооруженной силы, которая могла бы прекратить беспорядок, оказывалось недостаточно, в городе, населенном подонками всего мира, творились вещи, положительно превосходящие человеческое воображение. Каждую ночь происходили побоища, похищения женщин и детей. У *Porta Mugionis*, где была стоянка стад, пригоняемых из Кампании, дело доходило до настоящих сражений, в которых погибали сотни людей. Каждое утро берега Тибра были усыпаны утопленниками; их никто не погребал, тела быстро разлагались и наполняли воздух смрадом. Начались болезни; более трусливые люди ожидали появления какой-нибудь заразы.

А город все еще горел. Только на шестой день пожар, дойдя до Эсквилина, на котором нарочно разрушили огромное количество домов, начал слабеть. Но груды горящего угля светились еще так ярко, что народ не хотел верить близкому концу несчастья. И действительно, на седьмую ночь пожар вспыхнул с новой силой в доме Тигеллина, но ненадолго, по отсутствию пищи. Только и там, и сям обваливались обгорелые дома, посылая к небу столбы пламени и искр. Но мало-помалу пожарище начало сереть сверху, небо после захода солнца перестало гореть кровавым заревом, и только во время ночи на огромной черной пустыне кое-где показывались синеватые огоньки, вырывающиеся из куч угля.

Из четырнадцати частей Рима остались только четыре, включая в это число и Затибрскую, — остальные пожрало пламя. Когда наконец груды угля покрылись пеплом, то от Тибра до Эсквилина тянулось огромное серое, унылое, мертвое пространство, на котором торчали ряды труб наподобие надгробных колонн. Между этими колоннами днем сновали люди, разыскивавшие драгоценные вещи или кости дорогих существ, а ночью выли собаки.

Вся щедрость и помощь, какую цезарь оказал народу, не могла удержать злословия и волнения. Удовлетворена была только толпа воров и бездомных скитальцев, которые вволю могли есть, пить и грабить. Но те, кто потерял дорогих людей и свое достояние, не дали себя подкупить ни открытием садов, ни раздачей хлеба, ни обещанием игр и подарков. Несчастье было чересчур велико и чересчур необычайно. У кого еще тлела искра любви к городу-отечеству, тот приходил в отчаяние при вести, что старое имя «*Roma*» должно исчезнуть с лица земли и что цезарь имеет намерение из пепла восстановить новый город и дать ему имя Нерополь. Волна неудовольствия вздувалась и росла с каждым днем, и, несмотря на лесть августиан, несмотря на ложь Тигеллина, Нерон, более чуткий, чем все предшествующие цезари, к расположению толпы, с тревогой думал, что в глухой борьбе на жизнь и смерть, какую он вел с патрициями и сенатом, у него может оказаться недостаток в поддержке. Сами августиане были не менее встревожены, — каждое утро могло принести им гибель. Тигеллин думал о том, не призвать ли ему несколько легионов из Малой Азии; Вагиний, который смеялся даже тогда, когда его били по щекам, утратил хорошее расположение духа; Вителлий потерял аппетит.

Другие совещались между собою, как бы отвлечь несчастье; ни для кого не было тайной, что если бы какой-нибудь взрыв смял цезаря, то, за исключением, может быть, Петрония, ни один августианин не ушел бы живым. Именно их влиянию и приписывали безумия Нерона, их наушничеству — все совершенные им преступления. Народ ненавидел августиан чуть ли не больше, чем самого цезаря.

Начали думать, как бы сложить с себя ответственность за пожар города. Но для того, чтобы сделать это, нужно было очистить от подозрений цезаря, иначе никто бы не поверил, что они не были виновниками преступления. Тигеллин с этой целью советовался с Домицием Афром и даже с Сенекою, хотя и ненавидел его. Поппея также понимала, что гибель Нерона — смертный приговор для нее, и прислушивалась ко мнению приближенных к ней лиц и еврейских священников, — повсюду ходил слух, что она уже несколько лет поклоняется Егове. Нерон придумывал свои средства, иногда страшные, иногда шутовские, и попеременно то впадал в страх, то забавлялся как ребенок, но по большей части жаловался на всех.

Однажды в доме Тигеллина, уцелевшем от пожара, шло долгое и бесплодное совещание. Петроний высказал мнение, чтобы, не обращая внимания на все неприятности, ехать в Грецию, а потом в Египет и Малую Азию. Путешествие давно было решено, зачем же откладывать, когда в Риме скучно и небезопасно?

Цезарь с восторгом принял этот совет, но Сенека подумал немного и сказал:

— Поехать легко, но возвратиться будет трудно.

— Клянусь Гераклом! — ответил Петроний, — возвратиться можно во главе азиатских легионов.

— Я так и сделаю! — воскликнул Нерон.

Но Тигеллин начал противиться. Сам он придумать ничего не мог; приди ему в голову подобная мысль, он непременно огласил бы ее, как спасительное средство, но теперь ему нужно было, чтобы Петроний во второй раз не оказался единственным человеком, который в тяжелую минуту может спасти всех и всё.

— Слушай меня, божественный! — сказал он, — этот совет гибелен. Прежде, чем ты доедешь до Остии, начнется междоусобная война и, — кто знает? — из живущих потомков божественного Августа не объявит ли себя кто-нибудь цезарем, а что делаем мы, если легионы перейдут на его сторону?

— Постараемся, чтоб не оставалось потомков Августа, — сказал Нерон. — Их уже немного, освободиться от них легко.

— Сделать это можно, но разве только в этом дело? Мои люди не дальше как вчера слышали в толпе, что цезарем должен быть такой муж, как Траезя¹.

Нерон закусил губы, потом поднял кверху глаза и сказал:

— Ненасытные и неблагодарные. Муки у них достаточно, углей, на которых они могут печь лепешки, тоже, — чего им нужно больше?

На это Тигеллин сказал:

— Мести.

Наступило молчание. Вдруг цезарь встал, воздел руки к небу и начал декламировать:

Сердца жаждут мести, а месть жаждет жертвы.

Он забыл обо всем и воскликнул с прояснившимся лицом:

— Дайте мне дощечки и стиль, я запишу этот стих. Лукан никогда не сочинял ничего подобного. Замечаете вы, что этот стих в одно мгновение пришел мне в голову?

— О, несравненный! — отозвалось несколько голосов.

Нерон записал стих и сказал:

— Да, месть жаждет жертвы!

И он окинул взглядом всех окружающих его.

— А если б пустить слух, что Ватиний приказал поджечь город и пожертвовать им народному гневу?

— Божественный! Да кто я такой? — воскликнул Ватиний.

— Правда! Нужно кого-нибудь побольше тебя... Вителлия?

Вителлий побледнел, но тем не менее начал смеяться.

— Мой жир, — сказал он, — скорее мог бы возобновить пожар.

¹ *Paetus Thrasea* — один из благороднейших римлян императорского периода; он был человек старого римского духа, бывший в оппозиции с Нероном, за это он был приговорен к смерти и должен был открыть себе жилы.

В голове Нерона было совсем другое, он искал жертвы, которая действительно могла бы насытить гнев народа, и нашел ее.

— Тигеллин, — сказал он через минуту, — это ты поджег Рим!

Присутствующие вздрогнули. Они поняли, что теперь цезарь перестал шутить и подошла минута, чреватая событиями.

Лицо Тигеллина судорожно сжалось, как у собаки, когда она собирается кусать.

— Я поджег Рим по твоему приказанию, — сказал он.

И они начали смотреть друг на друга, как два демона.

Наступила такая тишина, что было слышно, как мухи пролетают по атрию.

— Тигеллин, — отозвался Нерон, — ты любишь меня?

— Ты знаешь это, господин.

— Пожертвуй собою для меня!

— Божественный цезарь, — ответил Тигеллин, — зачем ты предлагаешь мне сладкий напиток, который я не смею поднести к своим устам? Народ ропщет и волнуется, — ты хочешь, чтоб и преторианцы начали волноваться?

У всех присутствующих сердце сжалось тревогой. Тигеллин был префектом преторианцев, и слова его прямо дышали угрозой. Сам Нерон понял это, и лицо его побледнело.

В это время вошел Эпафродит, отпущенник цезаря, и объявил, что божественная августа хочет видеть Тигеллина, что к ней пришли люди, которых префект должен выслушать.

Тигеллин поклонился цезарю и вышел со спокойным и презрительным лицом. Когда его хотели ударить, он показал, что такое он, и, зная трусость Нерона, был уверен, что владыка мира никогда не отважится поднять против него руку.

Нерон сидел молча, но видя, что августиане ожидают от него какого-нибудь слова, наконец сказал:

— Я отогрел змею на своей груди.

Петроний пожал плечами, как будто хотел сказать, что у такой змеи не трудно оторвать голову.

— Что ты скажешь? Говори, дай совет! — крикнул Нерон, он заметил его движение, — я доверяю одному тебе, потому что ты умнее всех их и любишь меня.

У Петрония уже было на языке: «Назначь меня префектом преторианцев, я выдам народу Тигеллина и в один день успокою город». Но природная лень взяла верх над этим. Быть префектом преторианцев — это значит носить на своих плечах особу цезаря и тысячи общественных дел. Да и зачем ему эти хлопоты? Не лучше ли читать стихи в своей роскошной библиотеке, лелеять на своей груди Эвнику, перебирать пальцами ее золотистые волосы и наклонять свои губы к ее коралловым устам? И он сказал:

— Я советую ехать в Ахайю.

— Ах, — ответил Нерон, — я ожидал от тебя большего. Сенат меня ненавидит. Кто мне поручится, что когда я выеду, не поднимут ли знамя бунта против меня и не провозгласят ли цезарем кого-нибудь другого? Народ прежде был верен мне, но теперь пойдет за ним. Клянусь Гадесом, если б у этого сената и этого народа была одна голова...

— Божественный, позволь сказать тебе, что, желая сохранить Рим, нужно сохранить хоть сколько-нибудь римлян, — с улыбкой сказал Петроний.

Нерон начал жаловаться:

— Какое мне дело до Рима и до римлян! Меня слушали бы и в Ахайе. А здесь меня окружает только измена. Все покидают меня, и вы готовы изменить мне! Я знаю это, знаю... Вы и не подумаете, что скажут о вас грядущие поколения, когда вы покинете такого артиста, как я.

Он ударил себя по лбу и воскликнул:

— Да... Среди этих забот и я забыл, кто я! — и с совершенно сияющим лицом обратился к Петронию:

— Петроний, — сказал он, — народ ропщет, но если б я взял кифару и вышел с нею на Марсово поле, если б пропел ту песнь, которую пел вам во время пожара, ты думаешь, я не взволновал бы их этим пением, как некогда Орфей волновал диких зверей?

На это Туллий Сенецион, которому давно хотелось вернуться к своим невольницам, сказал:

— Несомненно, цезарь, если б только тебе позволили начать.

— Едем в Элладу! — с неудовольствием сказал Нерон.

Но в эту минуту вошла Поппея, а за ней Тигеллин. Глаза всех присутствующих обратились на него: никогда ни один триумфатор не въезжал в Капитолий с такой гордостью, с какою он предстал перед цезарем.

Заговорил он медленно и раздельно, голосом, в котором как будто слышался лязг железа:

— Выслушай меня, цезарь, ибо я могу сказать тебе: я нашел! Народу нужна месть и жертва, но не одна, а сотни и тысячи. Господин, разве ты не слышал никогда, кто был Христос, тот, кого распял Понтийский Пилат? Ты знаешь, что такое христиане? Не говорил я тебе об их преступлениях и бесчинных обрядах, об их предсказаниях, что огонь положит конец миру? Народ ненавидит и подозревает их. Никто не видал их в храмах, ибо наших богов они считают злыми духами, их нет и на Стадии¹, потому что они пренебрегают ристалищами. Никогда ладони ни одного христианина не почтили тебя рукоплесканием. Никогда ни один из них не признал тебя богом. Они враги рода человеческого, враги Рима и твои враги. Народ ропщет на тебя, но не ты, цезарь, повелел мне поджечь Рим, и не я сжег его. Народ требует мести, пусть он получит удовлетворение. Народ жаждет крови и игрищ, — пусть получит это. Народ подозревает тебя, пусть его подозрения обратятся в другую сторону.

Сначала Нерон слушал с недоумением, но по мере слов Тигеллина его актерское лицо начало изменяться и поочередно принимать выражение то гнева, то горя, то сочувствия или негодования. Вдруг он встал, сбросил с себя тогу, воздел обе руки кверху и с минуту оставался в молчании.

Потом он заговорил голосом трагика:

— Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персефона и вы все, бессмертные боги! Отчего вы не пришли нам на помощь? Чем несчастный город провинился перед злодеями, которые так бесчеловечно сожгли его?

— Они враги человеческого рода и твои враги, — сказала Поппея.

Другие начали поддерживать ее:

— Окажи справедливость. Покарай поджигателей! Сами боги хотят мести.

¹ *Stadium* — место, где состязались в беге.

Нерон сел, опустил голову на грудь и снова замолк, как будто злодейство, о котором услышал он, оглушило его, но через минуту махнул рукой и сказал:

— Какие кары и какие муки достойны такого преступления?.. Но боги вдохновят меня, и при помощи сил Тартара¹ я предоставляю моему бедному народу такое зрелище, что он целые века будет вспоминать меня с благодарностью.

Чело Петрония затуманилось. Он подумал об опасности, какой могут подвергнуться Лигия и Виниций, и все те люди, учение которых он отвергал, но в невинности которых был вполне уверен. Точно так же ему пришло в голову, что начнется одна из тех кровавых оргий, каких не выносили глаза эстетика. Но прежде всего он сказал себе: «Я должен спасти Виниция: он с ума сойдет, если та девушка погибнет», — и это соображение превозмогло все остальные, хотя Петроний хорошо понимал, что начинает такую опасную игру, в которую еще не играл никогда.

Тем не менее заговорил он свободно и небрежно, как говорил всегда, когда критиковал или осмеивал недостаточно эстетический замысел цезаря и августиан.

— Так вы нашли жертву? Хорошо! Можете послать ее на арену или облечь в скорбную тунику². И это также хорошо. Но послушайте меня: у вас власть, у вас преторианцы, у вас сила, — будьте же искренни по крайней мере тогда, когда вас никто не слышит. Обманывайте народ, но не самих себя. Отдайте народу христиан, приговорите их к каким угодно мучениям, но имейте отвагу сказать себе, что не они сожгли Рим!.. Вы называете меня *arbiter elegantiarum*, и я говорю вам, что не выношу пошлых комедий. Ах, как все это напоминает мне балаганы около *Porta Asinaria*³, где актеры для утех пригородной сволочи ломают роли богов и царей, и после представления запивают лук кислым вином или получают в награду побои. Будьте на самом деле богами и царями, потому что, говорю я вам, вы можете себе позволить это. Что касается тебя, цезарь, — ты грозил нам судом грядущих веков, — но вспомни, что они изрекут свое суждение и о тебе. Клянись божественною Клио!⁴ Нерон, владыка мира, Нерон-бог сжег Рим потому, что был всесилен на земле, как Зевс на Олимпе; Нерон-поэт так любил поэзию, что пожертвовал ей отчиною! С начала света никто не сделал ничего подобного, не осмелился ни на что подобное. Заклинаю тебя именем девяти Либетрид⁵, — не отрекайся от такой славы, потому что песни о тебе будут греметь до скончания веков. Чем будет в сравнении с тобой Приам, Агамемнон, Ахилл, чем будут сами боги? Мало того, что сжечь Рим дело хорошее, — это дело великое и необычайное! И кроме того я говорю, что народ не поднимет на тебя руку. Имей отвагу: остерегайся поступков, недостойных тебя, ибо тебе грозит только то, что потомки могут сказать: «Нерон сжег Рим, но, как малодушный цезарь и малодушный поэт, из трусости отрекся от великого дела и свалил вину на невинных!»

Слова Петрония обыкновенно производили сильное впечатление на Нерона, но на этот раз сам Петроний не ошибался, что прибегает к последнему средству, которое при счастье, пожалуй, может спасти христиан, но еще легче может погубить его самого.

¹ *Tartar* — в древнегреческой мифологии, глубочайшая бездна, находящаяся под подземным царством Аида (*примеч. ред.*).

² Т. е. тунику, пропитанную горячим составом, которую надевали на приговоренных к сожжению (*примеч. ред.*).

³ *Porta Asinaria* — Ослиные ворота (*примеч. ред.*).

⁴ *Clio* — одна из муз.

⁵ *Libethrides* — музы.

Но он не колебался, — дело вместе с тем шло и о Виниции, которого он любил, и о риске, которым он тешился. «Кости брошены¹, — подумал он, — увидим, насколько в этой обезьяне страх за свою шкуру перевесит любовь к славе».

И в глубине души он не сомневался, что перевесит страх.

После его слов наступило молчание. Пoppея и все присутствующие внимательно смотрели в глаза Нерона, а тот начал поднимать губы кверху, приближая их к самым ноздрям, как делал, когда не знал, на что решиться; наконец смущение и неудовольствие выразились на его лице.

— Господин, — воскликнул Тигеллин, когда увидал все это, — дозвожь мне удалиться. Твою особу обрекают на гибель, притом тебя называют малодушным цезарем, малодушным поэтом, поджигателем и комедиантом, — а мои уши не могут выносить таких слов.

«Проиграл», — подумал Петроний, но, обратившись к Тигеллину, смерил его взглядом, полным презрения большого патриция и изящного человека к мелкому негодяю, и сказал:

— Тигеллин, это я тебя назвал комедиантом, да ты даже и теперь комедиант.

— Не потому ли, что я не хочу слушать твоих оскорблений?

— Потому, что ты выказываешь безграничную любовь к цезарю, а минуту тому назад угрожал ему преторианцами. Это поняли все мы, да и цезарь также.

Тигеллин, который не рассчитывал, чтоб Петроний осмелится бросить на стол подобные кости, побледнел, потерялся и онемел. Но это была последняя победа Петрония над его соперником, потому что вслед за тем Пoppея сказала:

— Господин, как ты можешь позволять, чтоб даже такая мысль могла зародиться в чьей-нибудь голове, а тем более чтоб кто-нибудь осмелился громко высказать ее в твоём присутствии?

— Покарай дерзновенного! — крикнул Вителлий.

Нерон снова поднял губы и, обратив на Петрония свои стеклянные близорукие глаза, сказал:

— Так-то ты платишь за мою приязнь?

— Если я ошибаюсь, докажи мне это, — ответил Петроний, — но знай, я говорю то, что повелевает мне любовь к тебе.

— Покарай дерзновенного! — повторил Вителлий.

— Покарай! — подхватило несколько голосов.

В атрии поднялся шум и движение: все старались подалеже отойти от Петрония. Отодвинулся от него даже Туллий Сенецион, его постоянный товарищ при дворе, и молодой Нерва, который до сих пор был очень дружен с ним. Через минуту Петроний остался на левой стороне атрия и с улыбкой на устах, оправляя рукою складки тоги, ждал, что скажет или что предпримет цезарь.

А цезарь сказал:

— Вы хотите, чтоб я покарал его, но это мой товарищ и друг, и хотя он уязвил меня в сердце, пусть будет ему известно, что это сердце может только... прощать друзьям.

«Я проиграл и погиб», — подумал Петроний.

Цезарь встал, — совет был окончен.

¹ Разумеются кости, употреблявшиеся для игры. «*Jacta alea est*» («кость брошена», т. е. сделан ею ход), сказал Цезарь при переходе через Рубикон.



ГЛАВА VII

Петроний отправился домой, а Нерон и Тигеллин перешли в атрий Поппеи, где их ждали люди, с которыми префект раньше вел беседу.

Там было два «равви» из-за Тибра, одетых в длинные торжественные одежды, с митрами на головах, молодой писец, их помощник и Хилон. При виде цезаря священники побледнели от волнения и, подняв руки до уровня плеч, склонили головы.

— Привет тебе, монарх монархов и царь царей, — сказал старший, — привет тебе, цезарь, владыка земли, покровитель избранного народа, лев среди людей, царство которого точно свет солнечный, точно кедр ливанский, точно бальзам иерихонский...

— Вы не почитаете меня богом? — спросил цезарь.

Священники побледнели еще сильнее; старший снова заговорил:

— Господин, слова твои сладки, как плод виноградной лозы, как созревшая фи́га, ибо Егова наполнил добротой твое сердце. Предшественник твоего отца, цезарь Кай, был жесток, но и его наши послы не называли богом, предпочитая самую смерть нарушению требований писания.

— И Калигула приказал их отдать львам?

— Нет, господин, цезарь Кай испугался гнева Егovy.

Священники подняли головы, потому что имя могущего Егovy придало им отваги. Надеясь на его силу, они смелее смотрели в глаза Нерона.

— Вы обвиняете христиан в том, что они сожгли Рим? — допрашивал цезарь.



— Вы обвиняете христиан в том, что они сожгли Рим? —
допрашивал цезарь.

— Мы, господин, обвиняем их только в том, что они — враги Писания, враги рода человеческого и твои враги, и что издавна они угрожали огнем Риму и миру. Остальное расскажет тебе человек, уста которого не оскверняются ложью, потому что в жилах его матери текла кровь избранного народа.

Нерон обратился к Хилону:

— Кто ты таков?

— Твой почитатель, Озирис, и, кроме того, убогий стоик.

— Я ненавижу стоиков, — сказал Нерон, — ненавижу Тразею, ненавижу Музония и Корнута. Мне противна их речь, их отвращение к искусству, их добровольная нужда и неряшество.

— Господин, у твоего учителя, Сенеки, тысяча столов из цитрового дерева¹. Пожелай только, и у меня их будет вдвое больше. Я стоик по необходимости. Укрась, о лучезарный, мой стоицизм венком из роз, поставь передо мною сосуд с вином, и я буду петь песни Анакреона так, что оглушу всех эпикурейцев.

Нерону понравился эпитет «лучезарный». Он улыбнулся и сказал:

— Ты нравишься мне.

— Этот человек стоит столько золота, сколько весит сам, — воскликнул Тигеллин.

Хилон ответил:

— Наполни, господин, мою чашку весов твоею щедростью, иначе ветер унесет всю мою награду.

— Точно, — вставил цезарь, — он не перетянул бы Вителлия.

— Увы, сребролукий, мое остроумие не из свинца.

— Я вижу, что твое учение не запрещает именовать меня богом.

— О, бессмертный! мое учение заключается в тебе; христиане грешили против этого учения, поэтому я и возненавидел их.

— Что ты знаешь о христианах?

— Позволишь ли ты мне плакать, божественный?

— Нет, — сказал Нерон, — это будет скучно.

— Ты трижды прав, ибо очи, которые зрели тебя, раз и навсегда должны отказать от слез. Господин, защити меня от моих врагов.

— Говори о христианах, — сказала Пoppея с оттенком нетерпения.

— Я начну, если повелишь, Изида, — ответил Хилон. — С молодости я посвятил себя философии и искал правды. Я искал ее и у древних божественных мудрецов, и в Академии, и в Афинах, и в александрийском Серапее². Услыхав о христианах, я думал, что это какая-нибудь новая школа, в которой я могу найти несколько зерен правды, и познакомился с ними... на мое горе! Первым христианином, с которым меня свела злая судьба, был некто Главк, врач из Неаполя. От него-то я со временем узнал, что они воздают честь некоему Хрестосу, который обещал им искоренить всех людей, разрушить все города на земле и оставить только их одних, если они помогут ему истребить всех сынов Девкалиона. Поэтому, о господин, они ненавидят людей,

¹ *Mensā citrea*. Под *citrus* римляне разумели одно хвойное дерево (*Thuia articulata*), из которого в конце республики и в императорскую эпоху делали столы, ценившиеся так высоко, что иногда один такой стол стоил дороже целого поместья.

² *Serapeum* — храм Сераписа.

поэтому отравляют фонтаны, поэтому на своих сборищах мечут проклятия на Рим и на все храмы, где возносится хвала нашим богам. Хрестос был распят, но обещал им, что когда Рим будет уничтожен огнем, он во второй раз придет в мир и отдаст им владычество над землей...

— Теперь народ поймет, почему Рим сгорел, — перебил Тигеллин.

— Он много уже понимает, господин — ответил Хилон, — потому что я уже хожу по садам, по Марсову полю и поучаю. Но если вы хотите выслушать меня до конца, то поймете, какие соображения заставляют меня опасаться мести. Врач Главк сначала не открывал мне, что их учение внушает ненависть к людям. Наоборот, он говорил мне, что Хрестос — доброе божество, что основание его учения — любовь. Мое мягкое сердце не могло устоять против такой истины, я полюбил Главка и поверил ему. Я делился с ним каждым куском хлеба, каждым грошом, и знаешь ли ты, господин, как он отплатил мне? По пути из Неаполя в Рим он ранил меня ножом, мою жену, мою юную прекрасную Беренику он продал торговцу невольниками. Если б Софокл знал мою историю... впрочем, что я говорю! меня слушает кто-то больший, чем Софокл.

— Несчастный человек! — сказала Поппея.

— Госпожа, тот не несчастен, кто увидел лик Афродиты, а я вижу ее в эту минуту. Но тогда я искал утешения в философии. Придя в Рим, я пытался проникнуть к христианским старейшинам, чтобы найти расправу на Главка. Я думал, что они принудят его отдать мне жену... Я познакомился с их первосвященником, потом с другим, Павлом, — он был заключен здесь в темнице, потом его освободили, — познакомился с сыном Заведеевым, с Линном, Клитом и многими другими. Я знаю, где они жили до пожара, знаю, где они сходятся, я могу показать одно подземелье в Ватиканском холме и одно кладбище за Номентанскими воротами, где они совершают свои гнусные обряды. Я видел там апостола Петра, видел Главка, как он убивал детей, чтоб апостолу было чем окроплять головы окружающих его, видел Лигию, воспитанницу Помпонии Грецины, которая хвалилась, что, не будучи в состоянии принести крови младенца, она приносит сюда известие о смерти младенца, ибо она околдовала юную августу, твою дочь, о Озирис, и твою, о Изиде!

— Слышишь, цезарь? — сказала Поппея.

— Может ли это быть? — воскликнул Нерон.

— Я мог простить собственные обиды, — продолжал Хилон, — но когда услышал о ваших, то мне хотелось ударить ножом преступницу. Увы! мне помешал благородный Виниций, который любит ее.

— Виниций? да ведь она убежала от него?

— Она убежала, но он искал ее, потому что не мог жить без нее. За нищенское вознаграждение я помогал ему искать ее и указал дом, в котором она жила среди христиан в Затибрской части города. Мы отправились туда вместе, а вместе с нами твой атлет Кротон, которого благородный Виниций нанял ради безопасности. Но Урс, невольник Лигии, задушил Кротона. Это человек страшной силы... о, господин, он свернет быку голову так же легко, как кто-нибудь сорвал бы маковую головку. Авл и Помпония любили его за это.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул Нерон, — смертный, который мог удушить Кротона, заслуживает, чтоб ему поставили статую на Форуме. Но ты лжешь или выдумываешь, старик, — Кротона убил ножом Виниций.

— Вот так люди обманывают богов... о, господин, я сам слышал, как ребра Кротона хрустели под руками Урса, который потом свалил и Виниция. Он и убил бы его, если б не Лигия. Виниций потом долго хворал, но христиане ухаживали за ним в надежде, что ради любви он и сам сделается христианином. Так и случилось.

— Виниций?

— Да.

— А может быть, и Петроний? — жадно спросил Тигеллин.

Хилон начал ежиться, потирать руки, потом сказал:

— Удивляюсь твоей проницательности, господин! О!.. может быть! очень может быть.

— Теперь я понимаю, почему он так защищал христиан.

Нерон расхохотался.

— Петроний — христианин!.. Петроний — враг жизни и наслаждения! Не будьте глухими и не желайте, чтоб я верил этому, потому что я готов ни во что не верить.

— Но благородный Виниций сделался христианином, господин. Клянусь блеском, который струится от тебя, что я говорю правду, и ничто не внушает мне такое отвращение, как ложь. Помпония христианка, маленький Авл христианин, и Лигия, и Виниций. Я верно служил ему, он же, в награду мне, по требованию врача Главка, приказал бичевать меня, больного и голодного старика. И я поклялся Гадесом, что я припомню ему это. О, господин, отомсти им мою обиду, а я выдам вам апостола Петра и Линна, и Клита, и Главка, и Криспа, — самых старших, и Лигию, и Урса... укажу вам сотни, тысячи христиан, укажу их молитвенные дома, кладбища, — все ваши темницы не вместят их!.. Без меня вы не сумели бы их найти. Доселе в моих скорбях я искал утешения только в философии, пусть теперь я найду его в милостях, которые прольются на меня... я стар, я сладостей жизни не изведаль... хоть теперь отдохнуть.

— Ты хочешь быть стойком перед полной миской, — сказал Нерон.

— Кто оказывает тебе услугу, у того миска всегда полная.

— Ты не ошибаешься, философ.

Но Поппея не теряла из мысли своих врагов. Увлечлась она Виницием мимоходом, под влиянием ревности, гнева и оскорбленного самолюбия, но тем не менее холодность молодого патриция жестоко уязвила ее и наполнила ее сердце обидой. Уж одно то, что он осмелился предпочесть ей другую, казалось ей преступлением, вызывающим об отпущении. Что касается Лигии, то она ненавидела ее с первой минуты, когда ее встревожила красота этой северной лилии. Петроний, который говорил о чересчур узких бедрах девушки, мог внушить что угодно цезарю, но не августу. Опытная Поппея с первого взгляда поняла, что во всем Риме только одна Лигия не только может соперничать с нею, но и победить ее. И с этой минуты она поклялась погубить ее.

— Господин, — сказала она, — отомсти за нашего ребенка.

— Спешите, — крикнул Хилон, — спешите, иначе Виниций скроет ее. Я укажу дом, куда они снова вернулись после пожара.

— Я дам тебе десять человек, — иди сейчас же! — сказал Тигеллин.

— Господин, ты не видал Кротона в руках Урса. Если ты мне дашь пятьдесят человек, я только издали покажу дом. Но если вы не заключите в темницу и Виниция, то я погиб.

Тигеллин посмотрел на Нерона.

— Не лучше ли, божественный, сразу справиться с дядей и с племянником?

Нерон подумал с минуту и ответил:

— Нет, не сейчас!.. Народ не поверит, если ему станут говорить, что Петроний, Виниций или Помпония Грецина подожгли Рим. У них были красивые дома. Теперь нужны другие жертвы, а на тех черед придет.

— Так дай мне, господин, солдат, чтоб они охраняли меня, — сказал Хилон.

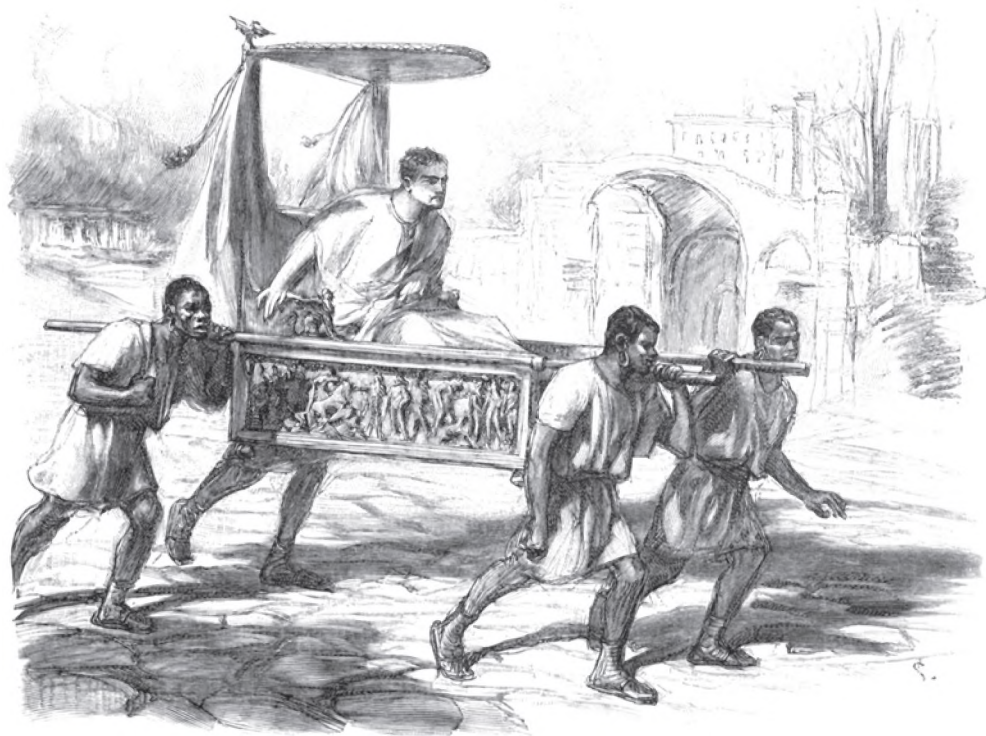
— Об этом озаботится Тигеллин.

— Ты пока переселишься ко мне, — сказал префект.

Лицо Хилона озарилось радостью.

— Я выдам всех, только спешите, спешите! — кричал он хриплым голосом.





ГЛАВА VIII

Петроний, выйдя от цезаря, приказал нести себя на Карины. Его дом, с трех сторон огражденный садами, а спереди примыкающий к площади, каким-то чудом уцелел от пожара.

По этому поводу другие августиане, которые потеряли свои дома и богатые произведения искусства, называли Петрония счастливецом. Впрочем, о нем давно говорили, что он — первенец Фортуны, а так как цезарь оказывал ему все большее и большее расположение, это мнение казалось вероятным.

Но теперь первенец Фортуны мог разве размышлять о непостоянстве своей матери или о ее сходстве с Кроносом, пожирающим своих детей.

— Если б мой дом сторел, — говорил он самому себе, — а вместе с ним мои геммы, мои этрусские вазы, александрийское стекло и коринфская медь, то, может быть, Нерон и забыл бы свою обиду. Клянусь Поллуksom! Подумать, что от меня зависело в настоящую минуту быть префектом преторианцев!.. Я объявил бы Тигеллина поджигателем, — он и есть поджигатель, — нарядил бы его в скорбную тунику, выдал бы народу, спас бы христиан и отстроил бы Рим. Кто знает, не стало ли бы лучше порядочным людям. Я должен был бы сделать это, хотя бы по отношению к Виницию. Если бы дело чересчур тяготило меня, я уступил бы ему должность префекта, и Нерон не пытался бы даже сопротивляться. Пускай потом Виниций окрестил бы всех преторианцев, даже самого цезаря, — чем бы мне это помешало!.. Нерон благочестивый, Нерон добродетельный и милосердный... какое занятное было бы зрелище!

И его беззаботность была настолько велика, что он даже улыбнулся. Но через минуту его мысль обратилась в другую сторону. Ему показалось, что он в Антии, и что Павел Тарсянин говорит ему:

«Вы называете нас врагами жизни, но ответь мне, Петроний: если б цезарь был христианином и действовал бы по нашему учению, не была бы ваша жизнь более верною и безопасною?»

И, припомнив эти слова, Петроний продолжал разговаривать с собою:

— Клянусь Кастором! сколько ни убьют христиан, столько же Павел найдет новых; если мир не может стоять на подлости, то Павел прав... Впрочем, кто знает, может быть, мир и может стоять на подлости, коль скоро стоит. Я сам, который учился немало, еще не научился быть достаточно большим подлецом, и поэтому мне придется открыть жилы. Но ведь дело и должно было так окончиться, а если и не так, то как-нибудь иначе. Жаль мне Эвнику и мою мурринскую вазу, но Эвника свободна, а ваза пойдет со мной. Агенобарб не получит ее ни в каком случае... Также жалко мне Виниция. Наконец, хотя мне теперь было менее скучно, чем раньше, — я готов. На свете есть прекрасные вещи, но люди по большей части так гадки, что жизни не стоит жалеть. Кто умел жить, тот должен уметь умирать. Хотя я принадлежу к августианам, я был человеком более свободным, чем они там допускают.

И Петроний пожал плечами.

— Они там, может быть, думают, что в настоящую минуту мои колена дрожат и страх поднимает волосы на моей голове, а я возвращусь домой, возьму ванну из фиалковой воды, потом моя златовласая сама умастит меня, и после обеда мы прикажем Антемию петь гимн, который он сложил в честь Аполлона. Когда-то я сам сказал: о смерти не стоит думать, потому что она сама думает о нас без нашей помощи. Но была бы поистине удивительная вещь, если б существовали Елисейские поля, а на полях этих — тени. Эвника когда-нибудь пришла бы ко мне, и мы блуждали бы вместе по лугам, поросшим асфоделом. Я нашел бы лучшее общество, чем здесь... Что за шуты! Что за подлый сброд без вкуса и без лоска! Десяток *arbitri elegantiarum* не обратил бы этих Трималхионов в порядочных людей. Клянусь Персефоной, довольно мне их!

И он с удивлением заметил, что что-то уже разъединило его с этими людьми. Он был хорошо знаком с ними и знал раньше, что думать о них, но теперь они показались ему как будто более отдаленными и заслуживающими большого презрения. Действительно, довольно ему было их!

Петроний начал думать о своем положении. Благодаря своей проницательности он понимал, что гибель не грозит ему немедленно. Нерон пока воспользовался подходящею минутой, чтобы высказать несколько красивых, возвышенных слов о дружбе и прощении и до некоторой степени связал себя ими. Теперь он будет искать предлога, а прежде чем найдет его, может пройти немало времени. Прежде всего он устроит итрища с христианами, — говорил себе Петроний, — и только потом подумает обо мне, а если так, то не стоит ни заниматься этим, ни изменять порядка жизни. Большая опасность грозит Виницию.

И с этой минуты он стал думать о Виниции и о том, как спасти его.

Четверо рослых вифинцев быстро мчали носилки мимо развалин и обгорелых печных труб, которыми была усеяна дорога, но Петроний приказал им бежать бегом, чтобы поскорей очутиться дома. Инсула Виниция сгорела, он жил у Петрония и, по счастью, оказался дома.

— Ты видел сегодня Лигию? — спросил Петроний на пороге.

— Я только что возвратился от нее.

— Слушай же, что я скажу тебе, и не трать времени на расспросы. Сегодня у цезаря решено свалить на христиан вину в поджоге Рима. Им грозят преследования и муки. Бери Лигию и беги тотчас же, хотя бы за Альпы или в Африку. И спеши, потому что от Палатина до Сербской части ближе, чем отсюда.

Виниций настолько был солдатом, чтобы не тратить времени на излишние вопросы. Он слушал с нахмуренными бровями, с лицом сосредоточенным и грозным, но без страха. Очевидно, первым чувством, которое пробуждалось в его натуре при виде опасности, было желание борьбы и обороны.

— Иду, — сказал он.

— Еще слово. Возьми капсу¹ с золотом, возьми оружие и горсть твоих христиан. В случае необходимости отбей Лигию.

Виниций был уже за дверями атрия.

— Пришли мне известие, — крикнул ему вдогонку Петроний.

Оставшись один, он начал ходить вдоль колонн, украшающих атрий, и думать о том, что может произойти. Он знал, что Лигия и Линн после пожара возвратились в свой дом, который, как и большая часть домов Затибрской части, уцелел от пожара. Это было неблагоприятное обстоятельство, — иначе их трудно было бы найти среди толпы. Однако Петроний рассчитывал, что на Палатине никто не знает, где они живут и, значит, Виниций во всяком случае предупредит преторианцев. А может быть, Тигеллин одним ударом захочет захватить возможно большее количество христиан и должен будет растянуть свои силы на весь Рим, то есть разбить преторианцев на мелкие отряды. «Если они пришлют за Лигией не больше, как десять человек, — думал он, — то один этот лигийский гигант всем им поломаст кости, — а там и Виниций подоспеет с помощью». И Петроний пришел в лучшее расположение духа. Правда, оказать вооруженное сопротивление преторианцам — почти то же самое, что начать войну с цезарем. Петроний знал также, что если Виниций укроется от мести Нерона, то эта месть может обрушиться на него, но мало заботился об этом. Наоборот, мысль о том, как бы разрушить планы Нерона и Тигеллина, развеселила его. Он решил не жалеть на это ни денег, ни людей, а так как Павел Тарсянин еще в Антии обратил в христианство большое число его невольников, то Петроний мог быть уверен, что в деле защиты христианки он может рассчитывать на их готовность и самопожертвование.

Пришла Эвника и помешала ему думать дальше. При виде ее его неприятности и заботы исчезли без следа. Петроний забыл о цезаре, о немилости, в которую он попал, об оподлевших августианах, о преследовании, грозящем христианам, о Виниции и Лигии, и смотрел только на Эвнику глазами эстетика, очарованного чудными формами, и любовника, на которого от этих форм веет любовью. Эвника, одетая в прозрачную фиолетовую одежду, называемую *coa vestis*², сквозь которую просвечивало ее розовое тело, действительно была прекрасна, как божество. Чувствуя, что ей

¹ *Capsa* — деревянный ящик цилиндрической формы.

² *Coa vestis* — «Косская одежда», т. е. с острова Коса. Так называлась очень легкая, тонкая, прозрачная одежда (нечто вроде тюля), сквозь которую видно было тело. Носили ее по большей части куртизанки.

удивляются, любят ее всею душою, и вечно жаждущая ласки Петрония, Эвника раскраснелась, как будто была не его наложницей, а невинною девочкой.

— Что скажешь, Харита? ¹ — спросил Петроний и протянул ей руки.

Эвника, наклоняя к нему свою голову, ответила:

— Господин, пришел Антемий с певцами и спрашивает, хочешь ли ты его слушать сегодня?

— Пусть подождет. Он пропоет нам за обедом, а мы будем слушать гимн Аполлону. Клянусь рощами Пафоса! ² Когда я вижу тебя в этой *coa vestis*, мне все кажется, что это Афродита облеклась лазурью неба и стоит передо мною.

— О, господин! — сказала Эвника.

— Поди сюда, обними меня и подставь мне свои губы. Ты любишь меня?

— Больше я не любила бы и самого Зевса.

Она прижала свои губы к его губам, дрожа от счастья в его объятиях.

Минуту спустя Петроний спросил:

— А если б нам пришлось расстаться?

Эвника со страхом посмотрела на него.

— Как, господин?

— Не бойся!.. Видишь ли, кто знает, не нужно ли мне будет собираться в далекое путешествие.

— Возьми меня с собой.

Петроний вдруг переменил предмет разговора и спросил:

— Скажи мне, — есть ли у нас в саду, на лужайках, асфодели?

— Кипарисы и лужайки в саду пожелтели от пожара, с миртов опали листья, и весь сад кажется мертвым.

— Весь Рим кажется мертвым, а вскоре будет настоящим кладбищем. Знаешь ли ты, что выйдет эдикт против христиан и начнутся преследования, во время которых погибнут тысячи людей?

— За что их будут карать, господин? Они люди добрые и тихие.

— Именно за это.

— Тогда поедем на море. Твои божественные очи не любят смотреть на кровь.

— Хорошо, но мне сначала нужно выкупаться. Приходи в элеотесий умастить мне руки. Клянусь поясом Киприды! ты никогда еще не казалась мне такой прекрасною. Я прикажу тебе сделать ванну в виде раковины, а ты будешь в ней как драгоценная жемчужина. Приходи, золотоволосая.

Петроний ушел, а час спустя он и Эвника в венках из роз возлегли за стол, уставленный золотою посудой. Им услуживали мальчики, одетые амурами, а они пили вино из сосудов, обвитых плющом, и слушали гимн, который певцы пели под звуки арф. Какое дело Петронию, что вокруг его дома торчат обгорелые печные трубы, а порывы ветра разносят вокруг пепел сгоревшего Рима? Он и Эвника были счастливы и думали только о любви, которая их жизнь обращала в какой-то божественный сон.

Но прежде чем гимн окончился, в залу вошел невольник, заведующий атрием.

— Господин, — сказал он голосом, в котором слышалось беспокойство, — у дверей стоит центурион с отрядом преторианцев и по приказу цезаря хочет видеться с тобой.

¹ *Харита* — то же, что Грация.

² *Пафос* — город на острове Кипре, любимое местопребывание богини любви Афродиты.

Пение и звуки арф смолкли. Беспокойство сообщилось всем присутствующим, потому что цезарь в сношениях с друзьями обыкновенно не прибегал к помощи преторианцев, и появление их в то время не предвещало ничего доброго. Только один Петроний не выказал ни малейшего волнения и сказал, как говорит человек, которому надоели вечные приглашения:

— Могли бы дать мне спокойно пообедать.

Потом он обратился к заведующему атрием:

— Впусти.

Невольник исчез за занавесью; минуту спустя послышались тяжелые шаги, и в залу вошел знакомый Петронию сотник Апер, весь вооруженный, с железным шлемом на голове.

— Благородный господин, — сказал он, — письмо от цезаря.

Петроний лениво протянул свою белую руку, взял дощечки, пробежал и спокойно подал их Эвнике.

— Цезарь вечером будет читать новую песнь из «Троики» и приглашает меня прийти, — сказал он.

— Я получил приказ только отдать письмо, — отозвался сотник.

— Хорошо. Ответа не будет. Но, может быть, ты отдохнул бы у нас и выпил бы кратер вина?

— Благодарю тебя, благородный господин. Кратер вина я охотно выпью за твое здоровье, но отдохнуть не могу, — я на службе.

— Почему письмо приказали отдать тебе, вместо того чтоб послать его с невольником?

— Не знаю, господин. Может быть, потому, что меня послали в эту сторону по другому делу.

— Я знаю, — сказал Петроний, — это насчет христиан.

— Да, господин.

— Преследование давно началось?

— Некоторые отряды посланы за Тибр еще до полудня.

Сотник сплеснул из чаши несколько капель вина в честь Марса, выпил и сказал:

— Да пошлют тебе боги того, что ты пожелаешь.

— Возьми себе этот кратер, — сказал Петроний и дал знак Антемию оканчивать гимн Аполлону.

— Меднобородый начинает играть со мной и с Виницием, — сказал он самому себе, когда арфы зазвучали снова. — Я отгадываю его намерения. Он хотел меня напугать, когда посылал приглашение через сотника. Вечером будет расспрашивать, как я его принял. Нет, нет! Не особенно ты обрадуешься, злобная и жестокая кукла. Я знаю, что обиды ты не забудешь, знаю, что гибель не минует меня, но если ты думаешь, что я умоляюще буду смотреть тебе в глаза, что ты заметишь на моем лице страх и покорность, то ты ошибаешься.

— Господин, цезарь пишет «приходите, если желаете», — сказала Эвника, — ты пойдешь?

— Я в отличном расположении духа, могу даже слушать его песни, — ответил Петроний, — и пойду, тем более что Виниций не может идти.

И после обеда и обычной прогулки он отдал себя в руки невольниц, которые завили его волосы и сложили складки одежды, а час спустя, прекрасный, как божок,



— Благодарю тебя, благородный господин. Кратер вина я охотно
вытю за твое здоровье, но отдохнуть не могу, — я на службе.

приказал нести себя на Палатин. Час был поздний, вечер тихий, теплый, месяц светил так сильно, что лампадарии¹, идущие перед носилками, погасили факелы. По улицам и среди развалин сновали пьяные кучки людей с лавровыми и миртовыми ветками, которые были сорваны в цезарских садах. Обилие хлеба и надежда на большие игрища наполняли сердце народа радостью. В одних местах пели песни, прославляющие «божественную ночь» и любовь, в других танцевали при свете месяца; невольники несколько раз принуждены были кричать, чтоб очистили дорогу для «благородного Петрония», и тогда толпа раздвигалась, разражаясь криками в честь своего любимца.

А Петроний думал о Виниции и удивлялся, что от него нет никаких известий. Он был эпикурейцем и эгоистом, но, проводя время то с Павлом Тарсянином, то с Виницием и слушая их речи о христианах, немного изменился, хотя и сам не замечал этого. От них на него повеял какой-то ветер, который заронил в его сердце какие-то неведомые семена. Помимо его собственной особы, его начали занимать и другие люди. К Виницию он был всегда привязан, потому что в детстве сильно любил его мать, свою сестру, а теперь, приняв участие в его делах, смотрел на них с таким интересом, как будто на какую-нибудь трагедию.

Он не терял надежды, что Виниций явится раньше преторианцев и убежал с Лигией, или, в крайности, отбил ее, но желал бы быть уверенным, потому что предвидел, что ему придется отвечать на разные вопросы, к которым лучше подготовиться заранее.

У дома Тиберия он остановился, вышел из носилок и через минуту очутился в атриум, уже наполненном августианами. Вчерашние друзья Петрония, как будто бы удивленные, что он удостоился приглашения цезаря, еще сторонились от него, но он проходил мимо них прекрасный, свободный, небрежный и настолько уверенный в себе, как будто бы сам мог раздавать милости. Некоторые августиане начали тревожиться, не рано ли они начали выказывать ему свое пренебрежение.

Цезарь, однако, сделал вид, что не замечает Петрония и не ответил на его поклон, притворяясь, что занят каким-то разговором. Зато Тигеллин приблизился к нему и сказал:

— Добрый вечер, *arbiter elegantiarum*. Ты все еще утверждаешь, что Рим подождет не христиане?

Петроний пожал плечами, и, похлопывая его по спине, как отпущенника, ответил:

— Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что думать об этом.

— Я не смею равняться с твоею мудростью.

— До некоторой степени ты прав; в противном случае, если цезарь прочтет нам новую песню из «Троики», ты, вместо того чтоб кричать как павлин, должен был бы высказать какое-нибудь мнение, и не глупое, конечно.

Тигеллин закусил губы. Он не особенно был рад, что цезарь сегодня решил пропеть свою новую песню, потому что это открывало поле, на котором никто не мог соперничать с Петронием. И действительно, во время декламации Нерон невольно, по старой привычке, обращался в сторону Петрония, внимательно наблюдая, что он может вычитать на его лице. А Петроний слушал, то утвердительно кивая головой,

¹ *Lampadarius* — раб, несший светоч пред господином на улице.

то напрягая внимание, точно он хотел удостовериться, так ли он слышит. Он то хвалил стихи, то осуждал их, требовал поправок и большего изящества выражений. Сам Нерон чувствовал, что другие своими восторженными похвалами хотят лишь достигнуть личных целей, и только один Петроний интересуется поэзией для самой поэзии, один знаком с нею, и если что-нибудь похвалит, то можно быть уверенным, что стихи достойны похвалы. Мало-помалу он начал разговаривать с ним, спорить, а когда наконец Петроний усомнился в удачности одного выражения, цезарь сказал:

— Ты увидишь из последней песни, зачем я употребил это выражение.

«А! — подумал Петроний, — значит, мы дождемся последней песни».

Не один августианин сказал при этом самому себе:

«Горе мне! У Петрония будет время, он может вернуть расположение цезаря и низвергнуть даже Тигеллина».

И они снова начали подступать к нему. Но конец вечера был менее счастлив; когда Петроний начал прощаться, цезарь закрыл глаза и спросил со злобным и вместе с тем радостным лицом:

— А Виниций отчего не пришел?

Если б Петроний был уверен, что Виниций с Лигией уже за городскими воротами, то сказал бы: «Он женился с твоего разрешения и уехал», но, видя странную улыбку Нерона, ответил:

— Твое приглашение, божественный, не застало его дома.

— Скажи ему, что я буду рад видеть его, — добавил Нерон, — и еще скажи от меня, чтоб он не забывал игр, на которых выступят христиане.

Эти слова обеспокоили Петрония: ему показалось что они прямо относятся к Лигии. Он приказал нести себя как можно скорее, но это было нелегко. Перед домом Тиберия стояла густая и шумливая толпа, пьяная, как и раньше, но не поющая и танцующая, а взволнованная. Издали доносились какие-то крики, которых Петроний сразу не мог различить, но которые все усиливались, росли и наконец слились в один дикий вопль:

— Христиан на арену!

Блестящие носилки августиан подвигались среди воющей толпы. Из глубины сторевших улиц приливали все новые волны народа и, заслышав этот крик, начинали повторять его. От одного к другому переходила весть, что преследование христиан началось с полудня, что множество поджигателей уже схвачено, и вскоре по улицам, по переулкам, лежащим в развалинах, вокруг Палатина, по всем холмам и садам раздавался все более и более усиливающийся крик:

— Христиан на арену!

— Стадо! — с презрением повторял Петроний, — народ, достойный цезаря!

И ему пришло в голову, что государство, основанное на насилии, на жестокости, о котором даже варвары не имели никакого понятия, на преступлении и безумном разврате, не может уцелеть. Рим был властелином мира, но вместе с тем и болячкой мира. На его гниющую жизнь падала тень смерти. Об этом не раз говорилось даже среди августиан, но перед глазами Петрония так ясно ни разу не представала та правда, что увенчанная цветами колесница, на которой в образе триумфатора стоит Рим, — колесница, влекущая за собой стада целых народов, — стремится к пропасти. Жизнь мирового города показалась Петронию каким-то шутовским хороводом, оргией, которая, однако, должна была скоро окончиться.

Теперь он понимал, что только у одних христиан есть какие-то основы жизни. Но скоро от христиан не останется ни следа. А тогда что?

Шутовской хоровой пойдут дальше под предводительством Нерона, а когда Нерона не станет, найдется другой, такой же самый или еще хуже, потому что при таком народе и таких патрициях не было никакого повода рассчитывать, чтобы нашелся кто-нибудь лучший. Будет новая оргия, вдобавок еще более грязная и омерзительная.

А длиться вечно оргия не может, — после нее нужно спать, хотя бы в силу истощения.

Думая об этом, Петроний чувствовал, что и он ужасно измучен. Стоит ли жить, — да и жить-то в неизвестности, — для того только, чтобы смотреть на подобный порядок вещей? Гений смерти не менее прекрасен, чем гений сна, — и у него также крылья за плечами.

Носилки остановились у дверей дома, которые тотчас же отворил бдительный придверник.

— Благородный Виниций возвратился? — спросил у него Петроний.

— Недавно, господин, — ответил невольник.

«Значит, он не отбил Лигию», — подумал Петроний и, сбросив тогу, вбежал в атрий.

Виниций сидел, опустив голову чуть не до колен, но при звуке шагов поднял свое окаменевшее лицо, на котором только одни глаза светились лихорадочным светом.

— Ты пришел, когда уже было поздно? — спросил Петроний.

— Да. Ее взяли в тюрьму перед полуднем.

Наступила минута молчания.

— Ты видел ее?

— Да.

— Где она?

— В Мамертинской тюрьме.

Петроний вздрогнул и начал смотреть на Виниция пытливым взглядом.

— Нет! — сказал Виниций. — Ее не ввергли в Туллиан¹, ни даже в среднюю тюрьму. Я заплатил сторожу, чтоб он уступил Лигии свою комнату. Урс лег у порога и оберегает ее.

— Отчего Урс не защитил ее?

— За ней явились пятьдесят преторианцев. Наконец, Линн запретил ему сопротивляться.

— А сам Линн?

— Линн умирает. Поэтому его не взяли.

— Что ты думаешь делать?

— Спасти ее или умереть с нею вместе. И я верю во Христа.

Виниций говорил как будто бы спокойно, но в его голосе было что-то настолько раздирающее, что сердце Петрония дрогнуло от жалости.

— Я понимаю тебя, — сказал он, — но как ты хочешь спасти ее?

¹ Самая нижняя часть тюрьмы, лежащая совсем под землею, с одним отверстием в потолке. Там с голоду умер Югурта.

— Я подкупил сторожей, прежде всего для того, чтоб охранять ее от оскорблений, а во-вторых, чтоб они не мешали ей бежать.

— Когда это будет?

— Они сказали, что сейчас не могут выдать ее, потому что боятся ответственности. Когда тюрьмы наполнятся множеством народа и когда счет узникам будет потерян, тогда они отдадут ее мне. Но ведь это — крайность! Ты, ты спаси ее и меня! Ты друг цезаря. Он сам отдал ее мне. Иди к нему и спаси меня!

Вместо ответа Петроний приказал невольнику принести два темных плаща и два меча и обратился к Виницию:

— По дороге я расскажу тебе все. А теперь накинь плащ, возьми меч и пойдем в темницу. Дай стражам по тысяче, по две, по пяти сестерций, чтоб они сейчас же выпустили Лигию. Иначе будет поздно.

— Пойдем, — сказал Виниций.

И через минуту они оба очутились на улице.

— А теперь слушай меня, — сказал Петроний. — Я не хотел тратить времени. С сегодняшнего дня я в немилости. Моя собственная жизнь висит на волоске, и поэтому я ничего не могу сделать. Хуже! я уверен, что цезарь поступит вопреки моей просьбе. Если б не то, разве я посоветовал бы бежать с Лигией или отбивать ее? Ведь если б тебе удалось уйти, гнев цезаря обратился бы на меня. Но сегодня он скорее исполнил бы твою просьбу, чем мою. Не рассчитывай, однако, на это. Освободи ее из тюрьмы и беги. Тебе ничего больше не остается. Если б тебе не удалось, тогда прибегнем к другим средствам. Теперь же ты знай, что Лигию заключили в темницу не за одну только веру в Христа. Ее и тебя преследует гнев Пoppей. Помнишь, ты оскорбил августу тем, что отверг ее? Она знает, что ты отверг ее для Лигии, которую она возненавидела и так с первого взгляда. Она и раньше пыталась погубить ее и приписывала ее чарам смерть своего ребенка. Во всем, что случилось, видна рука Пoppей. Чем же иначе объяснить, что Лигия была схвачена прежде всех? Кто мог указать дом Линна? Я говорю тебе, что за ней следили давно. Я знаю, что раздираю твою душу и лишаю последней надежды, но я говорю это умышленно для того, что если ты не освободишь ее раньше, чем им придет в голову, что ты примешь свои меры, — то вы погибли оба.

— Да, понимаю! — глухо ответил Виниций.

По случаю поздней ночи улицы были пусты, но и тут беседу патрициев прервал пьяный гладиатор, который наткнулся на Петрония, схватил его за плечо рукой и, обливая его своим пьяным дыханием, забормотал охрипшим голосом:

— Христиан на арену!

— Мирмиллон¹, — спокойно сказал Петроний, — послушайся доброго совета, иди своею дорогой.

Пьяный гладиатор схватил его и другою рукой за плечо.

— Кричи вместе со мной, иначе я сломаю тебе шею: христиан на арену!

Для нервов Петрония этого крика уже было чересчур много. С минуты, как он вышел из Палатина, этот крик душил его, как кошмар, раздирал ему уши и теперь, когда он, кроме того, увидал еще над собою огромный кулак, мера его терпения переполнилась.

¹ *Mirmillo* — гладиатор особого рода.

— Друг мой, — сказал он, — от тебя несет вином, и ты мешаешь мне.

И с этими словами он всадил ему в грудь по самую рукоятку короткий меч, которым вооружился, выходя из дому, потом взял Виниция под руку и продолжал, как будто ничего не случилось:

— Цезарь сегодня сказал мне: «Скажи от меня Виницию, чтоб он был на игрищах, на которых выступают христиане». Понимаешь, что это значит? Они хотят устроить себе зрелище из твоего горя. Это дело, обдуманное заранее. Если ты не сможешь теперь же вырвать Лигию, то... я не знаю!.. Может быть, Актея вступится за тебя, — но поможет ли это?.. Твои сицилийские земли могли бы искусить Тигеллина... Попробуйся...

— Я отдам ему все, что у меня есть, — ответил Виниций.

С Карин до Форума было недалеко, и два патриция шли недолго. Ночь начинала бледнеть, и стены замка все более и более выделялись из мрака.

Вдруг, когда они уже повернули к Мамертинской темнице, Петроний остановился и сказал:

— Преторианцы!.. Поздно!

Действительно, темницу окружал двойной ряд солдат. Рассвет серебрил их шлемы и острия копий.

Лицо Виниция стало бледно, как мрамор.

— Пойдем, — сказал он.

Через минуту они остановились перед линией солдат. Петроний обладал изумительной памятью и знал не только начальников, но и чуть не всех солдат претории. Теперь он увидал начальника когорты и поманил его к себе.

— Что это, Нигр? — сказал он. — Вам приказано охранять темницы?

— Да, благородный Петроний... Префект опасается, как бы не пытались отбивать поджигателей силой.

— Вы получили приказ не впускать никого? — спросил Виниций.

— Нет, господин. Заключенных будут навещать их знакомые, и таким образом мы переловим многих христиан.

— Тогдапусти меня, — сказал Виниций.

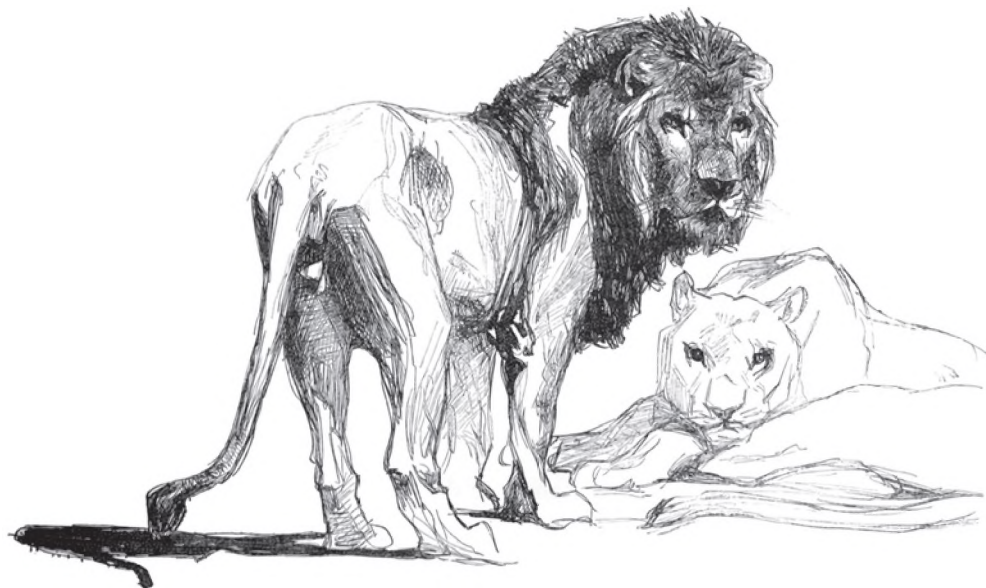
И, стиснув руку Петрония, он шепнул ему:

— Повидайся с Актеей, а я приду узнать, какой ответ она дала тебе.

— Приходи, — ответил Петроний.

В эту минуту под землей и за толстыми стенами раздалось пение. Песня, сначала глухая и подавленная, все росла и росла. Голоса мужчин, женщин и детей сливались в один согласный хор. В тихую предрассветную пору вся темница начала звучать, как арфа. Но то не были голоса горя или отчаяния, — нет, в них слышались радость и триумф.

Солдаты с удивлением посматривали друг на друга. На небе появились первые золотые и розовые отблески зари.



ГЛАВА IX

Крики «Христиан на арену!» раздавались во всех частях города. В первое время не только никто не сомневался, что они были истинными виновниками общего несчастья, но никто и не хотел сомневаться, потому что казнь христиан должна была быть великолепной забавой для народа. Но наряду с этим распространилось предположение, что несчастье не приняло бы таких ужасающих размеров, если б не гнев богов, поэтому во всех храмах были предписаны *piacula*, то есть очистительные жертвы. Справившись с Сивиллиными книгами¹, сенат устроил торжества и публичные моления Вулкану, Церере и Прозерпине. Матроны приносили жертвы Юноне; целая процессия знатных женщин отправилась к берегу моря, чтобы зачерпнуть воды и окропить ею статую богини. Замужние женщины готовили пир богам *Lectisternia*² и ночные бдения. Весь Рим очищался от грехов, приносил жертвы и умолял бессмертных. А в это время среди развалин пролагали новые широкие улицы и закладывали уже фундаменты великолепных домов, дворцов и храмов. Однако прежде всего с неслыханною поспешностью было приступлено к постройке огромных деревянных амфитеатров, в которых должны были умереть христиане. Тотчас же после совета в доме Тиберия проконсулам были разосланы приказы доставить диких зверей.

¹ *Libri Sibyllini*. — Римский царь Тарквиний, по преданию, купил у одной старухи книги, содержащие в себе предсказания вещей Сивиллы. В 84 году до Р. X. они сгорели, но были восстановлены на основании сохранявшихся изречений ее. С этими книгами справлялись в случае каких-нибудь событий, грозивших бедою римскому государству, и находили в них средства для умоливания богов и предотвращения угрожающего несчастья.

² *Lectisternium* — праздник с жертвоприношением богам, во время которого изображения богов клали на особое ложе (*lectus*), и перед ними на столе ставили пищу.

Тигеллин опустошил виварии всех италийских городов, не исключая самых незначительных. В Африке по его совету были устроены огромные облавы, в которых должно было принимать участие все народонаселение. Слонов и тигров привозили из Азии, крокодилов и гиппопотамов с Нила, львов с Атласа¹, волков и медведей из Пиренейских гор, свирепых псов из Гибернии, буйволов и громадных туров из Германии. По числу заключенных в темницы игрища своими размерами должны были превзойти все, что Рим видел до сих пор. Цезарь желал потопить воспоминание о пожаре в крови и упоить ею Рим, и никогда разлив этой крови не обещал быть таким великолепным.

Разлакомленный народ помогал вигилам и преторианцам в преследовании христиан. Это не представлялось очень трудным, — христиане, приютившись вместе с язычниками в садах, громко исповедовали свою веру. Когда их захватывали, они становились на колени, пели гимны и позволяли брать себя без сопротивления. Но терпеливость еще более усиливала гнев народа, который не понимал ее источника и считал ее упорством и закоренелостью в преступности. Преследователями овладело безумие. Случалось, что чернь вырывала христиан из рук преторианцев и разрывала их в куски, женщин за волосы тащили в темницу, детям разбивали голову о камни. Тысячи людей днем и ночью с воем бегали по улицам. Возле темниц, вокруг бочек с вином, при свете костров устраивались вакхические пиршества и танцы. Темницы были наполнены, но чернь и преторианцы каждый день приводили новые жертвы. Всякое милосердие угасло. Казалось, люди разучились говорить и в диком безумии запомнили только один крик: «Христиан на арену!» Наступили необычайно знойные дни, а ночи были так душны, как никогда: самый воздух как будто был пропитан безрассудством, кровью, преступлениями.

А этой переполненной мере насилия соответствовала также переполненная мера жажды мученичества. Поклонники Христа шли добровольно на смерть, или даже искали ее, пока их не остановили суровые приказания старшин. По их совету собрания начали уже происходить за городом, в подземельях по дороге Аппия и в пригородных виноградниках, принадлежащих патрициям-христианам, из числа которых пока еще никто не был захвачен. На Палатине отлично знали, что к последователям Христа принадлежат и Флавий, и Домитилла, и Помпония Грецина, и Корнелий Пуденс, и Виниций. Сам цезарь боялся, что чернь не поддастся наущению, что такие люди могли поджечь Рим, а так как дело прежде всего шло о мнении народа, то расправу с патрициями отложили на будущее время. Говорили, что патрициев спасло влияние Актеи, но предположение это было неверно. Петроний после разлуки с Виницием отправился к Актее просить ее вступить за Лигию, но Актея ответила только слезами; она жила в горе и забвении, терпимая постольку, поскольку она пряталась от Пoppей и от цезаря.

Однако она навестила Лигию в темнице, принесла ей платье и пищу и тем более обеспечила ее от оскорблений, впрочем, и без того подкупленных тюремных стражей.

Но Петроний все-таки не мог забыть, что если б не он и не его советы похитить Лигию из дома Авла, то теперь она не находилась бы в темнице. Кроме того, ему хотелось выиграть игру с Тигеллином, и он не щадил ни времени, ни искусства. В течение нескольких дней он виделся с Сенекой, с Домицием Афром, с Криспинилой,

¹ *Атласские горы* — горный хребет на северо-западе Африки (*примеч. ред.*).

при помощи которой хотел воздействовать на Поппею, с Терпном, с Диодором, с прекрасным Пифагором, наконец, с Алитуром и Парисом, которым цезарь обыкновенно не отказывал ни в чем. При помощи Хризотемиды, которая теперь была любовницей Ватиния, Петроний старался заручиться даже и его помощью и рассыпал повсюду обещания и деньги.

Но все эти усилия остались без действия. Сенека, не уверенный в завтрашнем дне, начал доказывать Петронию, что христиане, если они и не поджигали Рим, должны погибнуть ради его пользы, — то есть доказывать справедливость будущей резни государственными соображениями. Ватиний донес цезарю, что его хотят подкупить; только один Алитур, — сначала он враждебно относился к христианам, но теперь жалел их, — осмелился напомнить цезарю о заключенной девушке и заступиться за нее, но не получил ничего, кроме ответа:

— Неужели ты думаешь, что у меня душа меньше, чем у Брута, который для пользы Рима не пощадил собственных сыновей?

Когда Алитур передал слова цезаря, Петроний сказал:

— Если он уже сравнил себя с Брутом, то Лигии нет спасения.

Жаль было ему Виниция; он боялся, как бы молодой патриций не посягнул на свою жизнь. «Теперь, — говорил себе Петроний, — его поддерживают хлопоты о ее спасении, она сама и его терзания, но когда все обманет и последняя искра надежды угаснет, — клянусь Кастором! — он не переживет ее и пронзит себя мечом». Петроний понимал, что можно кончить так, но не понимал, что можно так любить и так страдать.

Со своей стороны и Виниций делал все, что мог внушить ему его ум, чтобы спасти Лигию. Он навещал августиан, и он, когда-то такой гордый, теперь вымаливал их помощи. Он обещал Тигеллину свои сицилийские земли, и все, что он захочет, но Тигеллин, опасаясь гнева августы, отвечал отказом. Пойти к самому цезарю, обнять его колена и умолять... и это не приведет ни к чему. Виниций хотел прибегнуть и к этому, но Петроний, услышав о его намерении, спросил:

— А если он откажет тебе, если ответит шуткой или непристойною угрозой, что сделаешь ты тогда?

Лицо Виниция искажилось от боли и бешенства.

— Да, — сказал Петроний, — я не советую тебе. Ты отрежешь себе все дороги.

Но Виниций сдержался и, проводя рукой по лбу, покрытому холодным потом, сказал:

— Нет, нет! Я христианин!..

— Ты забудешь об этом, как забыл минуту тому назад. Ты имеешь право погубить себя, но не ее. Вспомни, что испытала перед смертью дочь Сеяна¹.

Он не был совершенно искренним, его больше занимал Виниций, чем Лигия, но он знал, что ему ничем так не удержать племянника от рискованного шага, как представить ему, что он может нанести непоправимый вред Лигии.

Наконец, он был прав, на Палатине ожидали прихода молодого трибуна, и все необходимые меры предосторожности были уже приняты.

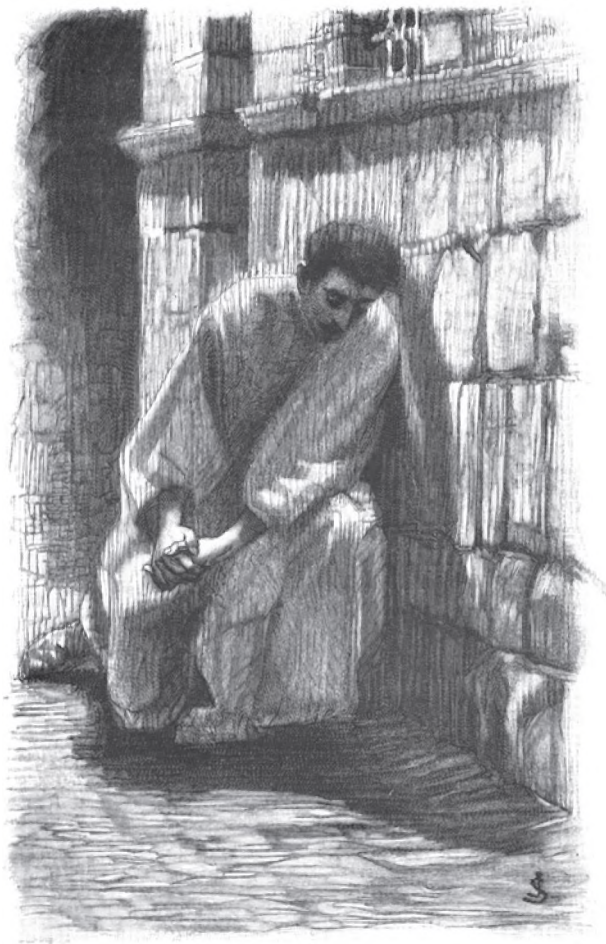
¹ *L. Aelius Seianus* — друг императора Тиберия, впоследствии казненный им. О его дочери, которая была удушена рукой палача, Тацит сообщает («Летопись», кн. 5, гл. 9), что она прежде этого была обесчещена [см. текст на с. 54 (*примеч. ред.*)].

Но мучения Виниция перешли все, что могут вынести человеческие силы. С минуты, когда Лигия была заключена в темницу, с тех пор, как ее осенил свет будущего мученичества, Виниций не только полюбил ее во сто раз больше, но чуть не начал воздавать ей в душе божеские почести, как неземному существу. А теперь при мысли, что это существо, — и любимое, и вместе с тем святое, — он должен потерять, что кроме смерти ее могут ожидать муки страшнее самой смерти, он чувствовал, как кровь застывала в его жилах, как душа его обращалась в один стон, как мешались его мысли. По временам ему казалось, что в его черепе огонь, который сожжет его или разорвет на части. Он перестал понимать, что делается вокруг него, перестал понимать, почему Христос, милосердный Бог, не приходит на помощь своему последователю, почему почерневшие стены Палатина не провалятся сквозь землю, а вместе с ними Нерон, августиане, когорты преторианцев и весь этот город преступления. Он думал, что не может и не должно быть иначе и что все, на что смотрят его глаза, от чего ломается душа и рвется сердце, — все это сон. Но звериное рычание говорило ему, что это действительность, стук топоров, под которыми вырастали арены, говорил ему, что это действительность, а все это кроме того подтверждал вой черни и переполненные темницы. Тогда в нем содрогалась вера в Христа, а это было новою мукой, может быть, еще более страшной.

А тем временем Петроний говорил ему:

— Вспомни, что испытала перед смертью дочь Сеяна.





ГЛАВА X

Все обмануло. Виниций унился до такой степени, что искал поддержки у отпущенников и невольниц цезаря и Поппеи, оплачивал их лживые обещания, привлекал их на свою сторону богатыми подарками. Он отыскал первого мужа императрицы, Руфия Криспина, и выхлопотал от него письмо, подарил виллу в Антии сыну Поппеи от первого брака, но тем только разгневал цезаря, который ненавидел своего пасынка. Он послал с нарочным гонцом письма ко второму мужу Поппеи, к Отону, в Испанию, обещал ему все свое достояние и самого себя и только тут заметил,

что он только игралою людей, и если бы притворился, что заключение Лигии мало его интересует, то скорее освободил бы ее.

То же самое заметил и Петроний. А время шло день за днем. Амфитеатры были окончены. Раздавались даже тессеры, т. е. билеты для входа на *ludus matutinus*¹. Но на этот раз утреннее игрище по случаю неслыханного числа жертв должно было растянуться на целые дни, недели и месяцы. Не знали даже, куда и девать христиан, тюрьмы были битком набиты, и в них свирепствовала горячка. *Puticuli*², т. е. общие ямы, в которых держали невольников, тоже начали переполняться. Являлось опасение, как бы болезни не распространились по всему городу, и поэтому решено было спешить.

Все эти вести доходили до ушей Виниция и гасили в нем последние лучи надежды. Пока было время, он мог заблуждаться, что может еще сделать что-нибудь, но теперь и времени оставалось мало. Зрелища скоро должны были начаться, Лигия каждый день могла очутиться в *cuniculum*³ цирка, а оттуда выход был один — на арену. Виниций, не зная, куда ее забросит судьба и жестокость насилия, начал обходить все цирки, подкупать стражей и бестиариев, предъявляя к ним требования, которых они не могли выполнить. Иногда он замечал, что старается лишь о том, как бы сделать ее смерть менее страшною, и вот в это-то время чувствовал, что в его черепе вместо мозга раскаленные уголья.

Он не думал пережить ее и решил погибнуть с нею вместе, но в то же время понимал, что горе может иссушить в нем последнюю каплю жизни прежде, чем подойдет страшная минута. Его друзья, и Петроний в том числе, также думали, что в любой день перед ним может открыться царство теней. Лицо Виниция почернело и начало походить на те восковые маски, которые хранились в ларариях. В его чертах застыло недоумение, как будто он не понимал, что случилось и что может случиться. Когда кто-нибудь разговаривал с ним, он бессознательным движением поднимал руки к голове и, стискивая ладонями виски, смотрел на говорящего испуганным и пытливым взглядом. Ночи он вместе с Урсом проводил у дверей темницы Лигии, а если она приказывала ему уйти и отдохнуть, он возвращался к Петронию и до утра бродил по атрию. Невольники часто видели, как он стоит на коленях, с руками, воздетыми вверх, или лежит, припав лицом к земле. Он молился Христу, — это была его последняя надежда. Все обмануло! Лигию могло спасти только чудо, и Виниций бился челом о каменные плиты и вымаливал чудо.

Но у него оставалось еще настолько сознания, что он понимал, что молитва Петра значит больше, чем его молитва. Петр обещал ему Лигию, Петр крестил его, Петр сам творил чудеса, — пусть и теперь он окажет ему помощь и спасет его.

И вот однажды ночью Виниций пошел разыскивать его. Христиане, — теперь осталось их уже немного, — скрывались друг от друга еще с большею тщательностью, чтобы кто-нибудь из них, более слабый духом, не изменил им невольно или умышленно. Виниций, среди всеобщего замешательства и разгрома всецело занятый тем, как бы вырвать Лигию из темницы, потерял апостола из вида так, что со времени своего крещения виделся с ним только один раз, да и то еще до начала гонения.

¹ *Ludus matutinus* — утреннее представление.

² См. комментарий на с. 426 (*примеч. ред.*).

³ *Cuniculum* (или *cuniculus*) — подземный ход.

Но, отправившись к тому землекопу, в хижине которого он был окрещен, молодой трибун узнал, что за *Porta Salaria*, в винограднике Корнелия Нуденса сегодня состоится собрание христиан. Землекоп брался провести Виниция на это собрание и уверял, что они встретят на нем и Петра.

Лишь только спустился мрак, они вышли из дома, миновали городские ворота и, подвигаясь вдоль заросших оврагов, достигли до виноградника, затерявшегося в глухой и пустынной местности. Собрание происходило в сарае, в котором обыкновенно давили виноград. Уже на пороге Виниций услышал молитвенный шепот, а войдя, увидал при неясном свете фонарей несколько десятков людей, стоящих на коленях и погруженных в молитву. Читалось что-то вроде ектении, а хор мужских и женских голосов поминутно повторял: «Христос, помилуй!». Во всех голосах дрожала глубокая, раздирающая печаль и горе.

Петр был здесь. Он стоял на коленях впереди всех, перед деревянным крестом, прибитым к стене сарая, и молился. Виниций издали различил его белые волосы и поднятые к небу руки. Первою мыслью молодого патриция было протискаться сквозь толпу, броситься к ногам апостола и крикнуть: «Спаси!» — но торжественность ли этой молитвы или его слабость заставила его колена подогнуться, и он у самого входа начал повторять со стоном, сжимая руки: «Христос, помилуй!». Если б он был в полном сознании, то понял бы, что не в его только молитве слышится стон, не он только один принес сюда свою скорбь, свое горе и свою тревогу. В этом сборище не было ни одной человеческой души, которая не утратила бы какое-нибудь дорогое существо, и когда самые деятельные и отважные приверженцы нового учения были уже заключены в темницу, когда каждую минуту распространялись все новые слухи о позоре и муках, каким подвергались заключенные, когда размеры несчастья превзошли все предположения, когда христиан осталась только одна горсть, — среди них не было ни одного сердца, которое не поколебалось бы в своей вере и не вопрошало бы с сомнением: где Христос? Почему он позволяет, чтобы зло было сильнее Бога? Но теперь они еще с отчаянием молили его о милосердии, ибо в каждом сердце еще тлелась искра, что он придет, сотрет зло, низвергнет в пропасть Нерона и будет властвовать над миром... Христиане еще всматривались в него, еще слушали его, еще с трепетом молились ему. Виницием, по мере того как он повторял: «Христос, помилуй!» — также начал овладевать восторг, который он испытал когда-то в хижине фоссора. Они призывают его из глубины горя, из бездны, его призывает Петр, — какая-нибудь минута, небо разверзнется, земля содрогнется, и он снизойдет, в блеске несказанном, со звездами у ног своих, милосердый, но и грозный, он, который вознесет своих верных и повелит бездне пожрать их гонителей.

Виниций закрыл лицо руками и припал к земле. И вдруг его окружила тишина, как будто боязнь сковала всякое слово в устах молящихся. Ему казалось, что должно что-то произойти, что наступила минута чуда. Он был уверен, что когда поднимет голову и откроет глаза, то увидит свет, от которого слепнут очи смертных и услышит голос, от которого содрогаются человеческие сердца.

Но тишина все продолжалась, и только рыдания женщин нарушали ее.

Виниций поднялся и изумленными глазами огляделся вокруг.

В сарае вместо неземного блеска слабо мигали огни фонарей, да лучи месяца, врывавшиеся сквозь отверстие в крыше, наполняли его серебристым светом. Люди, стоявшие на коленях около Виниция, молча смотрели на крест глазами, полными слез,

кое-где слышались рыдания, а извне долетал осторожный свист стоящих на страже. В это время Петр обратился к толпе и сказал:

— Дети, вознесите сердца к Избавителю нашему и принесите ему в жертву свои слезы.

И он смолк.

Вдруг среди присутствующих послышался женский голос, полный скорбной жалобы и безграничной боли.

— Я вдова, у меня был сын, кормил меня, — возврати его мне, господин!

Опять наступила минута тишины. Петр стоял перед коленопреклоненною толпой, старый, изнуренный, и в эту минуту казался олицетворением слабости и бессилия.

В это время послышалась другая жалоба:

— Палачи обесчестили мою дочь, — и Христос допустил это!

Потом третья:

— Я осталась одна с детьми, а когда меня схватят, кто даст им воды и хлеба?

— Линна сначала было оставили, а потом снова подвергли мукам, господин!

— Когда мы вернемся домой, нас всех схватят преторианцы. Мы не знаем, куда скрыться нам!

— Горе нам! Кто прикроет нас?

И так в тишине ночной одна жалоба следовала за другою. Старый рыбак смежил очи, и его белая голова тряслась над этим морем человеческого горя и тревоги. Опять воцарилось молчание, только стража потихоньку посвистывала за сараем.

Виниций вскочил, чтобы пробраться к апостолу и потребовать от него помощи, и вдруг точно увидал перед собою пропасть, и ноги его онемели. Что будет, если апостол признает свое бессилие, если подтвердит, что римский цезарь могущественнее Иисуса Назаряя? От ужаса волосы дыбом поднялись на его голове; он почувствовал, что в эту пропасть рухнет не только остаток его надежды, но и он сам, и его Лигия, и его любовь к Христу, и его вера, и все, чем он жил; останется только смерть и ночь — безбрежная, как море.

Петр заговорил голосом таким тихим, что его едва можно было слышать:

— Дети мои! На Голгофе я видел, как Христа пригвождали ко кресту. Я слышал удары молота, видел, как воздвигли крест кверху, дабы все смотрели на смерть Сына Человеческого.

...И я видел, как ему прободали бок и как он умер. И тогда, возвращаясь от креста, я взывал в горести, как вы взываете ныне: «Горе, горе! Господи! Ты Бог, — почему же ты позволил смерти прикоснуться к себе, зачем уязвил сердца тех, кто верил, что придет царствие твое?..»

... А он, Господь наш и Бог наш, — на третий день воскрес и был среди нас до тех пор, пока в великом сиянии не вступил в царствие свое.

Мы же, познавши нашу малую веру, укрепились в сердцах и отныне сеем семя его.

Он обратился в сторону, откуда послышалась первая жалоба, и заговорил уже более сильным голосом:

— На что вы жалуетесь?.. Бог сам отдал себя на муку и смерть, а вы хотите, чтоб он защитил вас от нее? Маловерные! Неужели вы не поняли его учения, неужели он обещал вам одну земную жизнь? Он приходит к вам и говорит вам: «Следуйте пути моему»; он возносит вас до себя, а вы цепляетесь за землю руками и взываете: «Господи, спаси!» — Я — песчинка перед Богом, но перед вами апостол Божий и наместник, говорю вам во имя Христа: не смерть перед вами, а жизнь, не муки, а неизреченное блаженство, не слезы и стоны, а ликование, не неволя, а царствование! Я, апостол Божий, говорю тебе, вдова: сын твой не умрет, но возродится во славе на вечную жизнь, — и ты соединишься с ним! Тебе, отец, у которого палачи осквернили невинную дочь, я обещаю, что ты найдешь ее белее лилии Гоброна¹. Вам, матери, которых оторвут от сирот, вам, печалующиеся, вам, которые будете смотреть на смерть дорогих вам, удрученные, несчастные, встревоженные, и вам, кому нужно будет умереть, я во имя Христа говорю, что вы пробудитесь, как от сна, на счастливое бодрствование, как после ночи в минуту рассвета. Во имя Христа да ниспадет пелена с ваших глаз и да разгорятся сердца ваши!

Он поднял руку, а христиане почувствовали, как новая кровь вливается в их жилы, как дрожь пробегает по их телу, — перед ними стоял уже не согбенный и удрученный старец, а гигант, который воздвигал их души из праха и тревоги.

— Аминь! — воскликнуло несколько голосов.

Глаза апостола светились все большим блеском, — от него веяло силою, веяло величием, веяло святостью. Головы молящихся склонились перед ним, а он, лишь только все смолкло, продолжал:

— Сейте в горе, дабы пожинали в радости. Почему вы боитесь мощи зла? Над землею, над Римом, над городскими стенами — Господь, который обитает в вас. Камни увлажятся от слез, песок пропитается кровью, пропасти наполнятся вашими телами, и я говорю вам: вы победители! Господь идет разрушить этот город злодеяния, угнетения и гордыни, а вы — воинство его! И если он сам кровью и муками искупил грехи мира, то как же вы не хотите своею мукою и кровью искупить это гнездо нечестия!.. Вот что он возвещает вам моими устами!

Он поднял руки, устремив кверху глаза. У христиан сердца почти перестали биться, они почувствовали, что апостол видит что-то, чего не могут видеть их смертные очи.

Лицо Петра изменилось и просветлело. Он все смотрел в небо, как будто онемел от восторга, но через минуту его голос послышался вновь:

— Ты здесь, Господь, — и укажешь мне пути свои... Христос, как... не в Иерусалиме, но в этом граде сатаны ты хочешь поставить свой престол? Здесь, из этих слез и из этой крови, ты хочешь соорудить свою церковь? Здесь, где ныне владеет Нерон, должно стать вечное Царствие твое? О, Господь, Господь! И ты повелишь этим людям, исполненным тревоги, дабы из своих костей они сложили основание Сиону мира, а духу моему повелеваешь взять власть над ними?.. И ты изливаешь источник крепости на слабых, дабы они были сильны, и ты приказываешь мне пасти овец твоих до конца веков... О, будь благословен! Ты, который повелеваешь нам побеждать... Осанна! Осанна!..

¹ Возможно, имеется в виду *Хеврон* — один из древнейших городов мира, расположенный в исторической области Иудея (*примеч. ред.*).

Те, кто были тревожны, встали, в тех, которые усомнились, влились струи веры. В одном месте раздалось: «Осанна!» — в другом — «*Pro Christo!*»¹, потом все стихло. Ясные зарницы освещали внутренность сарая и лица, побледневшие от волнения.

Петр, погруженный в видение, еще долго молился, наконец очнулся, обратился к толпе свое вдохновенное, светлое лицо и сказал:

— Как Господь победил в вас сомнение, так и вы идите побеждать во имя его!

И хотя он уже знал, что они победят, хотя знал, что вырастет из их слез и крови, но голос его задрожал, когда он начал осенять их крестом.

— А теперь я благословляю вас, дети мои, на муку, на смерть, на вечность!

Христиане окружили его с криком: «Мы готовы, но ты, святой, скройся, ибо ты наместник Христов!» Они хватались за его одежды, а он возлагал руки на их головы и осенял каждого крестным знаменем, как отец крестит детей, которых посылает в далекий путь.

Народ начал выходить из сарая: всякий спешил домой, а оттуда в темницу и на арену. Мысли христиан уже отрешились от земли, души направили свой полет к вечности; все они шли, точно объятые сном или восторгом, — носители живущей в них силы, которая должна была противостоять силе и свирепости «зверя».

Апостола взял Нерей, слуга Пуденса, и узкою тропинкой, скрытою в винограднике, повел к своему дому. Но за ними шел Виниций, и когда они дошли до хижинки Нерея, молодой трибун вдруг бросился к ногам апостола.

Петр узнал его и спросил:

— Чего ты хочешь, сын мой?

Виниций после того, что слышал в сарае, не смел уже ни о чем просить, только обнял обеими руками ноги апостола, с рыданием прижался к ним лбом и молча вымаливал у него милости.

Петр сказал:

— Знаю. Взяли девушку, которую любишь. Молись за нее.

— Господин! — простонал Виниций, еще крепче обнимая ноги апостола. — Господин! я ничтожный червь, но ты знал Христа, — ты моли его, ты предстательствуй за нее.

Он дрожал от боли и бился лбом о землю. Он знал силу апостола, знал, что один он может возвратить ему Лигию.

Петр тронулся его горем. Он вспомнил, что когда-то и Лигия, разгромленная словами Криспа, так же лежала у его ног, вымаливая снисхождения. Он вспомнил, что тогда поднял Лигию, утешил ее, и теперь поднял Виниция.

— Милый сын, — сказал он, — я буду молиться за нее, но помни, что я говорил тем, маловерным, что сам Бог прошел через крестную муку, и помни также, что после этой жизни начинается новая, вечная...

— Я знаю!.. Я слышал! — ответил Виниций, вбирая воздух побледневшими губами, — но видишь, господин... я не могу! Если нужно крови, моли Христа, чтоб он взял мою... Я воин. Пусть он удвоит, пусть утроит муки, предназначенные ей, — я выдержу! Но пусть он спасет ее! Ведь это еще ребенок, господин, а он могущественнее цезаря, — я верю, могущественнее!.. Ты сам любил ее. Ты благословил нас!.. Ведь это еще ребенок невинный...

¹ За Христа.

Он снова опустился наземь, склонил лицо к коленам Петра и начал повторять:
— Ты знал Христа, господин! Ты знал! Он услышит тебя! Моли за нее!

Петр сомкнул глаза и горячо молился.

На небе опять начали вспыхивать зарницы. Виниций при их блеске всматривался в уста апостола, ожидая приговора, — жизнь или смерть. В тишине было слышно, как перепела перекликались в винограднике, да глухо стучали валяльные мельницы у *Via Salaria*.

— Виниций, — наконец спросил апостол, — веришь ли ты?

— Господин, разве иначе я пришел бы сюда?

— Тогда верь до конца, ибо вера двигает горами. И хотя бы ты видел эту девушку под мечом палача или в пасти льва, — верь, что Христос еще может спасти ее. Верь и молись ему, а я буду молиться вместе с тобой.

Он поднял лицо к небу и громко заговорил:

— Милосердый Христос, воззри на это скорбное сердце и утешь его! Христос милосердый, ты молил Отца отнять от твоих уст горькую чашу, отними ее от уст раба твоего! Аминь!

Виниций протянул руки к звездам и простонал:

— О, Христос! Я твой! Возьми меня за нее!

На западе небо начинало светлеть.



ГЛАВА XI

Виниций, оставив апостола, шел по дороге к темнице с сердцем, возрожденным надеждой. Где-то в глубине его души еще кричали отчаяние и ужас, но он подавлял в себе эти голоса. Ему казалось неправдоподобным, чтобы предстательство наместника Божия и сила его молитвы остались бесследными. Он боялся отринуть надежду, боялся не верить. «Я буду верить в милосердие его, — говорил он себе, — хотя бы увидел Лигию в пасти льва». И при этой мысли, хотя душа его содрогалась и холодный пот проступал на его висках, он верил. Теперь каждое биение его сердца было молитвой. Он начинал понимать, как это вера двигает горами, потому что почувствовал в себе какую-то странную силу, которую не ощущал до сих пор. Ему казалось, что с этой силой он может сделать то, чего вчера еще не мог бы сделать. Когда отчаяние стоном еще отзывалось в его душе, он вспоминал эту ночь и это святое старое лицо, с молитвой обращенное к небу. «Нет! Христос не откажет первому ученику своему, пастырю своих овец! Христос не откажет ему, а я не усомнюсь!» И Виниций бежал к темнице, как глашатай доброй вести.

Но тут его встретила неожиданность.

Преторианская стража, сменяющаяся у Мамертинской темницы, знала уже Виниция и обыкновенно не делала ему никаких затруднений, но на этот раз цепь солдат не расступилась. К Виницию подошел сотник и сказал:

— Прости, благородный трибун, но сегодня мы получили приказ не пропускать никого.

— Приказ? — проговорил Виниций и побледнел.

Солдат с сочувствием посмотрел на него и ответил:

— Да, господин. Приказ цезаря. В темнице много больных, может быть, опасаются, как бы приходящие не разнесли заразу по всему городу.

— Но ты говоришь, что приказ дан только на сегодняшний день?

— В полдень сменяют стражу.

Виниций замолчал и обнажил голову. Ему показалось, что его *pileolus*¹ сделан из свинца.

В это время солдат приблизился к нему и сказал тихим голосом:

— Успокойся, господин. Стража и Урс наблюдают за ней.

Он наклонился и во мгновение ока начертил на каменной плите своим длинным галльским мечом фигуру рыбы.

Виниций пытливо посмотрел на него.

— И ты преторианец?

— До тех пор, пока я не буду там, — сказал солдат и указал на темницу.

— И я поклоняюсь Христу!

— Да будет благословенно имя его! Я знаю это, господин. Я не могу впустить тебя в темницу, но если ты напишешь письмо, я отдам его стражам.

— Благодарю тебя, брат!..

Он пожал руку солдата и ушел. *Pileolus* перестал свинцом давить его голову. Солнце поднялось из-за стен темницы, а вместе с его блеском в сердце Виниция начала вступать новая надежда. Этот солдат-христианин являлся для него как бы новым свидетельством могущества Христа. Он остановился и, глядя на розовые облака, нависшие над Капитолием и храмом Юпитера-Статора, сказал:

— Господь, сегодня я не видал ее, но верю в твое милосердие.

Дома его ждал Петроний, который, по обычаю «обращая ночь в день», недавно только возвратился. Тем не менее он уже взял ванну и умастился перед сном.

— А у меня есть новости для тебя, — сказал он. — Сегодня я был у Туллия Сенциона, и цезарь был у него. Не знаю, почему августу пришлось в голову привести с собой маленького Руфия... Может быть, для того, чтобы своею красотой он смягчил цезаря. К несчастью, ребенок заснул во время чтения. Агенобарб увидал это, бросил в него кубком и тяжело ранил. Поппея лишилась чувств. Все слышали, как цезарь сказал: «Надоед мне этот ублюдок!». А это, ты знаешь, то же самое, что смертный приговор.

— Над августой тяготее кара Божия, — ответил Виниций, — но к чему ты говоришь это?

— Я говорю к тому, что тебя и Лигию преследовал гнев Поппеи, а теперь она, занятая своим горем, может забыть свою месть и легче поддастся убеждению. Я увижу ее сегодня вечером и буду говорить с ней.

¹ *Pileolus* — войлочная шапочка (в роде ермолки), покрывавшая только макушку, так что волосы спереди и сзади оставались свободными.

— Благодарю тебя. Ты сообщаешь мне добрую новость.

— А ты возьми ванну и отдохни. Губы твои посинели, ты обратился в какую-то тень.

Но Виниций спросил:

— Тебе не говорили, когда назначен первый *ludus matutinus*?

— Через десять дней. Но сначала очистят другие темницы. Чем больше нам останется времени, тем лучше. Не все еще потеряно.

Петроний говорил то, во что сам уже не верил. Он отлично знал, что если цезарь, на просьбу Алитура нашел великолепно звучащий ответ, в котором сравнивал себя с Брутом, то для Лигии уже нет спасения. Из сострадания к Виницию он скрыл то, что слышал у Сенециона, что цезарь и Тигеллин решили выбрать для себя и своих друзей самых красивых девушек-христианок и обесчестить их перед муками, а остальные должны быть предоставлены преторианцам и бестиариям в самый день игрищ.

Зная, что Виниций ни в каком случае не захочет пережить Лигию, Петроний нарочно подкреплял в его сердце надежду, во-первых из сочувствия к нему, а во-вторых... для него, как для эстетика, было важно, чтобы Виниций умер прекрасным, а не таким, как теперь, с лицом, почерневшим от скорби и бессонных ночей.

— Сегодня я скажу августу приблизительно следующее: спаси Лигию для Виниция, а я спасу для тебя Руфия. И я действительно думал об этом. С Агенбарбом одно слово, сказанное в соответственную минуту, может или спасти, или погубить кого-нибудь. Во всяком случае, мы выиграем время.

— Благодарю тебя, — повторил Виниций.

— Ты лучше отблагодаришь меня, если позавтракаешь и заснешь. Клянусь Афиной! Одиссей в самые трудные минуты жизни думал о сне и о пище. Ты целую ночь провел в темнице?

— Нет, — ответил Виниций. — Я пошел было туда, но оказалось, что издан приказ, чтобы туда никого не допускали. Узнай, прошу тебя, приказ этот отдан на один ли сегодняшний день или до самых игрищ.

— Я узнаю сегодня ночью и завтра утром скажу тебе, надолго ли и почему был отдан такой приказ. А пока, хотя бы Гелиос с горя спустился в киммерийские края¹, — я иду спать, а ты последуй моему примеру.

Они расстались, но Виниций отправился в библиотеку и стал писать письмо к Лигии.

Письмо это он отнес сам и вручил христианину-сотнику, который тотчас же отправился с ним в темницу. Через минуту он возвратился с приветом от Лигии и обещанием сегодня же доставить ее письмо.

Виниций не хотел возвращаться домой, сел на камень и решил дожидаться письма Лигии. Солнце высоко взошло уже на небо. По *Clivus Argentarius*² на Форум, как и прежде, плыли толпы народа. Перекупщики расхваливали свои товары, знахари предлагали проходящим свои услуги, граждане медленными шагами направлялись к Рострам, чтобы слушать случайных ораторов или обмениваться друг с другом свежими новостями. По мере того как жара становилась все сильнее, толпа праздного

¹ *Киммерийцы* — у Гомера народ, живущий на крайнем Западе, находящийся постоянно во мраке, так как туда Гелиос (солнце) никогда не проникает.

² *Clivus Argentarius* — Серебряный склон (*примеч. ред.*).

народа пряталась под портики храмов, откуда ежеминутно с шумом вылетали стаи голубей, сверкая своими белыми крыльями в солнечном свете и лазури.

Виниций был страшно утомлен и под говор толпы сомкнул глаза. Монотонные возгласы уличных мальчишек, играющих в мору, и мерные шаги солдат убаюкивали его ко сну. Он еще поднял голову, посмотрел на тюрьму, потом склонился к краю каменной глыбы, как ребенок, который успокаивается после долгого плача, и уснул. И вдруг его охватили видения. Ему представилось, что он несет Лигию через незнакомый ему виноградник, а перед ним идет Помпония Грецина со светильником в руках и светит. Какой-то голос, напоминающий голос Петрония, кричит издалека: «Возвратись!» — но он не обращает на это внимание и идет дальше за Помпонией, пока не доходит до хижины, на пороге которой стоит апостол Петр. Тогда Виниций показывает ему Лигию и говорит: «Господин, мы несем ее с арены, но не можем разбудить, пробуди ее ты». Но Петр отвечает: «Христос сам придет пробудить ее».

Потом образы начали мешаться. Виниций видит, как Нерон и Поппее держат на руках маленького Руфия, видит и Петрония, обмывающего его окровавленный лоб, и Тигеллина, посыпающего пеплом столы, уставленные дорогими яствами, и Вителлия, пожирающего эти яства, и множество других августиан, присутствующих на пире. Он сам возлежит рядом с Лигией, но между столами ходят львы, и с их желтых бород стекает кровь. Лигия просит, чтоб он вывел ее отсюда, но Виницием овладевает такая слабость, что он не может даже пошевелинуться. Затем видения его стали еще беспорядочней, и наконец все потонуло в совершенном мраке.

Из глубокого сна его пробудил только солнечный жар и крики, которые раздавались возле того места, где он сидел. Виниций протер глаза: улица была полна людей, но два скорохода, одетых в желтые туники, длинными тростниковыми палками раздвигали толпу, крича и очищая место для великолепных носилок, которые несли четверо сильных египетских невольников.

В носилках сидел человек в белой одежде. Лицо его можно было рассмотреть с трудом, потому что он весь углубился в чтение какого-то папируса.

— Место для благородного августианина! — кричали скороходы.

Но улица была так запружена, что носилки на время должны были остановиться. Тогда августианин нетерпеливо опустил свой папирус, выставил свою голову и крикнул:

— Разогнать этих негодяев! Скорей!

Вдруг, заметив Виниция, он быстро откинулся назад и закрыл лицо папирусом.

Виниций провел рукой по лицу. Ему казалось, что он все еще спит.

В носилках сидел Хилон.

Тем временем скороходы очистили дорогу, и египтяне могли двинуться, как вдруг молодой трибун, который в одну минуту понял многое, непонятное для него до сих пор, приблизился к носилкам.

— Привет тебе, Хилон! — сказал он.

— Молодой человек, — с достоинством и гордостью ответил грек, усиливаясь придать своему лицу выражение спокойствия, которого не было в его душе, — здравствуй, но не задерживай меня, потому что я спешу к своему другу, благородному Тигеллину.

Виниций, схватившись за край носилок, наклонился к Хилону и проговорил тихим голосом:

— Ты предал Лигию?

— Колосс Мемнона! — испуганно крикнул грек.

Но в глазах Виниция не было угрозы, и страх старого грека быстро прошел. Он вспомнил, что находится под покровительством Тигеллина и самого цезаря, сил, перед которыми дрожит все, что его окружают рослые невольники, а Виниций стоит перед ним безоружный, с похуевшим лицом и станом, сторбленным от горя.

При этой мысли смелость снова вернулась к нему. Он устремил на Виниция свои глаза, окаймленные красными веками, и также тихо ответил:

— А ты, когда я умирал с голоду, приказал меня бичевать.

На минуту они умолкли оба, потом послышался глухой голос Виниция:

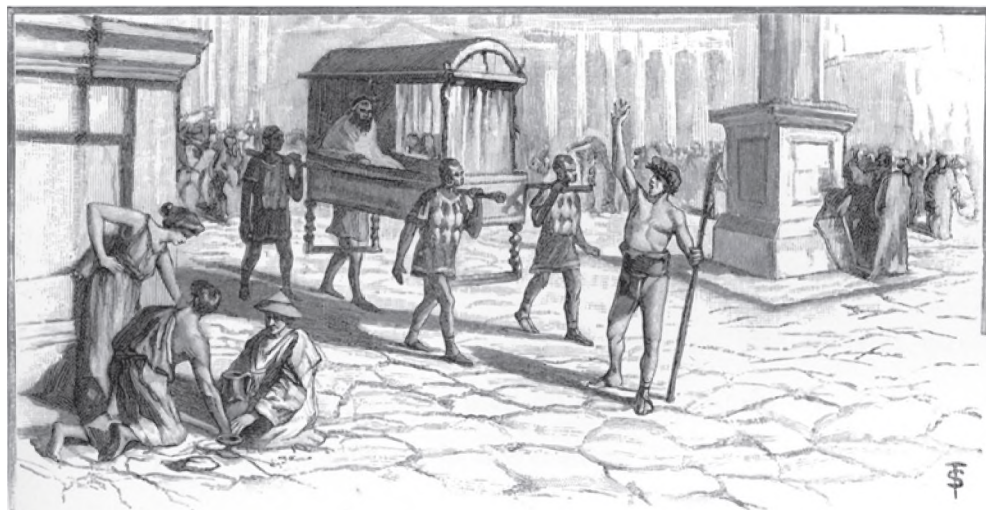
— Я несправедливо поступил с тобою, Хилон!

Тогда грек поднял голову, щелкнул пальцами, что в Риме обыкновенно служило выражением презрения, и сказал так громко, чтоб все могли слышать:

— Любезный, если у тебя есть просьба ко мне, то приходи в мой дом на Эсквилине пораньше утром, когда я принимаю своих гостей и клиентов.

Он махнул рукою, египтяне подняли носилки, а невольники в желтой тунике начали кричать, размахивая тростниками:

— Место для носилок благородного Хилона Хилонида! Место, место!





ГЛАВА XII

Лигия в длинном поспешном письме навсегда прощалась с Виницием. Ей было известно, что в темницу уже никому нельзя приходить и что она увидит Виниция только с арены. И вот она просила его, чтоб он узнал, когда наступит ее очередь, и пришел бы на игрища, потому что она хочет еще раз видеть его при жизни. В ее письме не было ни тени боязни. Лигия писала, что и она стремится к арене, на которой найдет освобождение. Ожидая приезда Помпонии и Авла, она умоляла, чтобы пришли и они. В каждом ее слове был виден восторг и то отрешение от жизни, в котором жили все заключенные в темнице, и вместе с тем непреоборимая вера, что вечная жизнь должна начаться только за гробом. «Теперь ли Христос освободит

меня, — писала она, — или после смерти, он устами апостола соединил нас, и я — твоя». Она умоляла, чтоб он не жалел ее и не позволял горю овладеть собою. Для нее смерть не была прекращением брачного союза. С упованием ребенка она уверяла Виниция, что тотчас же после мучения на арене она скажет Христу, что в Риме остался ее избранник Марк, который тоскует по ней всем сердцем. Она думала, что Христос, может быть, дозволит ее душе на минуту возвратиться к нему и сказать, что она жива, что мучения забыла, что она счастлива. Все ее письмо дышало счастьем и полной надеждой. В нем заключалась только одна просьба, связанная с делами земными, — чтоб Виниций взял из сполария¹ ее тело и похоронил, как свою жену, в гробнице, где и сам рассчитывал опочить со временем.

Виниций читал это письмо с разрывающеюся душою, но вместе с тем ему казалось невероятным, чтобы Лигия могла погибнуть под зубами диких зверей и чтобы Христос не смиловался над нею. Возвратившись домой, он ответил, что каждый день станет приходить к стенам Туллиана и ждать, пока Христос не сокрушит эти стены и не отдаст ее ему. Он приказывал ей верить, что Христос может даже освободить ее из цирка, что великий апостол молит его о том и что минута освобождения близка. Новобращенный центурион должен отнести это письмо завтра.

Но когда на следующий день Виниций пришел к темнице, сотник первый приблизился к нему и сказал:

— Господин, послушай меня. Христос, которого ты познал, оказал тебе свою милость. Сегодняшнею ночью пришли отпущенники цезаря и префекта, чтобы вынуть христианских дев для поношения. Они спрашивали и о твоей избраннице, но Господь низосаал на нее горячку. От нее умирают узники в Туллиане, и отпущенники оставили Лигию. Уже вчера вечером она была без памяти, и да будет благословенно имя Избавителя, потому что болезнь, которая избавила ее от позора, может избавить ее и от смерти.

Виниций оперся рукою на нараменик² солдата. Солдат продолжал:

— Благодарение милосердию Господа. Линна схватили и подвергли мукам, но видя, что он умирает, отпустили его. Может быть, и ее отдадут теперь, а Христос возвратит ей здоровье.

Молодой трибун еще с минуту оставался с поникшей головой, потом поднял ее и тихо сказал:

— Да, сотник, Христос, который избавил ее от позора, избавит ее и от смерти.

Он до вечера просидел у стен темницы, потом возвратился домой и приказал слугам перенести Линна в одну из своих подгородных вилл.

Но Петроний узнал обо всем и решил действовать дальше. Он еще раньше был у августы, а теперь отправился к ней в другой раз. Застал он ее у ложа маленького Руфия. Ребенок с разбитой головой бредил в горячке, мать защищала его с отчаянием и страхом в сердце. Если она и спасет его, то, может быть, только для того, чтоб он вскоре погиб другою, более страшною смертью.

Занятая исключительно своим горем, она не хотела даже слышать о Виниции и Лигии, но Петроний еще более напугал ее. «Ты оскорбила пока еще неизвестное

¹ *Spoliarium* — место, куда стаскивали убитых на арене гладиаторов и где с них снимали одежду и оружие.

² *Нараменик* — наплечник (примеч. ред.).

божество, — сказал он. — Ты, кажется, чтишь еврейского Егову, но христиане утверждают, что Христос — его Сын. Подумай, не преследует ли тебя гнев Отца. Кто знает, то, что случилось с тобою, не их ли месть, а жизнь Руфия не зависит ли от того, как ты поступишь?»

— Что же мне делать? — с испугом спросила Поппея.

— Испроси прощение у разгневанного божества.

— Как?

— Лигия больна. Повлияй на цезаря или Тигеллина, чтоб ее отдали Виницию.

А она с отчаянием спросила:

— Ты думаешь, что я могу сделать это?

— Ты можешь сделать большее. Если Лигия выздоровеет, то она должна идти на смерть. Ступай в храм Весты и потребуй, чтобы *virgo magna*¹ случайно оказалась возле Туллиана, когда узников будут вести на казнь, и прикажи ей освободить эту девушку. Великая весталка не откажет тебе в этом.

— А если Лигия умрет от горячки?

— Христиане говорят, что Христос мстителен, но справедлив; может быть, ты смягчишь его одним своим добрым намерением.

— Пусть он покажет мне знамение, что исцелит Руфия.

Петроний пожал плечами.

— Божественная, я прихожу сюда не как посол, я только говорю тебе: будь в мире со всеми божествами, римскими и иноземными.

— Я пойду, — надломленным голосом сказала Поппея.

Петроний глубоко вздохнул.

«Наконец-то удалось что-нибудь!» — подумал он.

Теперь он рассказал все это Виницию и прибавил:

— Проси своего Бога, чтоб Лигия не умерла от горячки; если она не умрет, то великая весталка прикажет освободить ее. Сама августа будет просить ее об этом.

Виниций посмотрел на него глазами, которые тоже светились горячным блеском, и ответил:

— Ее освободит Христос.

Поппея, которая для спасения Руфия готова была сжигать гекатомбы всем богам мира, в тот же вечер отправилась на Форум к весталкам, поручив надзор за больным ребенком верной невольнице, Сильвии, которая и ее вынянчила.

Но на Палатине приговор ребенку был уже отдан, и лишь только носилки императрицы скрылись за Большими воротами, в комнату, где лежал маленький Руфий, вошли два отпущенника цезаря. Один бросился на Сильвию и заткнул ей рот, другой схватил медную статую Сфинкса и одним ударом оглушил ее. Потом отпущенники приблизились к Руфию. Томимый горячкой мальчик, не отдавая себе отчета, что делается вокруг него, улыбулся пришедшим и щурил свои прелестные глаза, как будто старался разглядеть их. Но они сняли с няньки пояс, так называемый *cingulum*²,

¹ Разумеется старшая из весталок, жрица богини Весты (но она называлась, впрочем, *Virgo Vestalis Maxima*). Весталки пользовались таким почетом, что если они случайно встречались с преступником, которого вели для наказания, то последний освобождался.

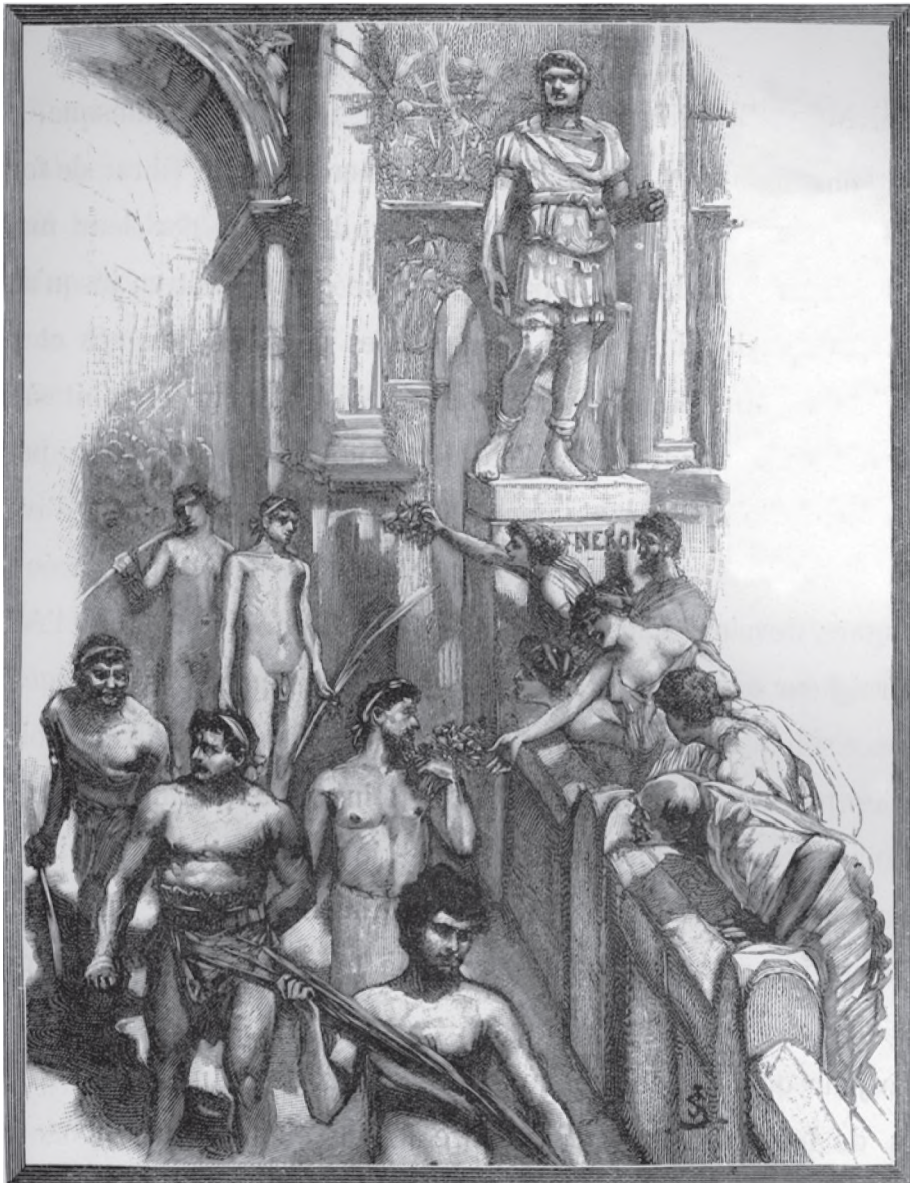
² *Цингулум* — вообще-то деталь литургического облачения римского-католического клирика, но здесь — просто пояс (*примеч. ред.*).

захлестнули вокруг шеи Руфия и начали душить его. Ребенок позвал мать и умер. Отпущенники завернули его в одеяло, сели на заранее приготовленных лошадях и помчались в Остию, где бросили труп в море.

Поплея не застала Великой Девственницы, — та вместе с другими весталками была у Ватиния, и скоро вернулась на Палатин. Увидав пустую постель и застывшее тело Сильвии, она лишилась чувств, а когда ее привели в себя, начала кричать, и ее дикий крик раздавался всю ночь и весь следующий день.

Но на третий день цезарь повелел ей предстать на пир, и она, одевшись в аметистовую тунику, пришла и сидела с каменным лицом, златовласая, молчаливая, чудная и зловещая, как ангел смерти.





ГЛАВА XIII

Прежде чем Флавиусы воздвигли Колизей, амфитеатры в Риме преимущественно строились из дерева, — они все и сгорели во время пожара. Нерон для обещанных им игрищ приказал построить несколько новых амфитеатров, в том числе один — гигантских размеров. Для постройки его тотчас после конца пожара начали по морю и по Тибру свозить огромные деревья из лесов Атласа. Так как игрища великолепием

и числом жертв должны были превзойти все предыдущие, то явилась надобность в более обширном помещении для людей и для зверей. Тысячи плотников день и ночь строили и украшали новые здания. В народе шли толки о каких-то необыкновенных колоннах, украшенных бронзой, янтарем, слоновою костью и черепахой. Каналы, текущие вдоль сидений и наполненные ледяною водою с гор, должны были поддерживать прохладу даже во время самого сильного зноя. Огромный пурпурный *velarium*¹ прекращал доступ солнечных лучей. В проходах были кадилъницы для сжигания арабских курений, вверху — снаряды, при помощи которых можно было окроплять зрителей шафранною водою и вербеной. Знаменитые архитекторы Север и Целер напрягли все свои знания, чтобы создать амфитеатр небывалый и вместе с тем могущий вместить такое число зрителей, какое не вмещал еще ни один амфитеатр.

И вот в тот день, когда должен был начаться *ludus matutinus*, толпы черни с расвета ожидали открытия ворот и с наслаждением прислушивались к рычанию львов, хриплым голосам пантер и вою собак. Зверей не кормили вот уже два дня, но этого мало: мимо них проносили окровавленные куски мяса, чтобы тем более возбудить их бешенство и голод. От времени до времени разражалась такая буря диких голосов, что люди, стоящие возле цирка, не могли разговаривать, а более впечатлительные бледнели от страха. С восходом солнца из цирка слышались песни громкие, но спокойные, и толпа прислушивалась к ним с изумлением. «Христиане, христиане!» Действительно, христиан во множестве пригнали ночью в амфитеатр, и не из одной только темницы, как предполагалось раньше, но изо всех понемногу. Римляне знали, что зрелища продлятся целые недели и месяцы, но спорили друг с другом о том, справятся ли в один день с христианами, предназначенными для этого дня. Голоса мужчин, женщин и детей, поющих утреннюю молитву, были так многочисленны, что знатоки утверждали, что если будут на арену посылать сразу по сто, по двести человек, звери утомятся, насытятся и не успеют разорвать всех до вечера. Другие утверждали, что большое число жертв, выступающих на арену, развлекает внимание и не позволяет любоваться зрелищем как следует. По мере того как приближалось время открытия вомиториев, — коридоров, ведущих внутрь здания, — толпа оживилась, повеселела и заговорила о тысяче вещей, касающихся зрелища. Начали образовываться партии: одни утверждали, что людей лучше всего разрывают львы, другие стояли за тигров. Здесь и там стали биться об заклад. А были и такие, что рассуждали только о гладиаторах, которые должны были выступить раньше христиан, и мнения опять делились — то за самнитов, то за галлов, то за мирмиллонов, то за фракийцев, то за ретиариев². Еще ранним утром отряды гладиаторов под предводительством их учителей-ланистов начали стекаться в амфитеатр. Не желая себя утомлять раньше времени, они шли без оружия, иногда совершенно нагие, иногда с зелеными ветвями в руках или украшенные цветами, молодые, прекрасные, полные жизни. Их тело, натертое маслом, мускулистое, как бы изваянное из мрамора, приводило в восторг народ, поклоняющийся красоте форм. Многие были известны толпе. То и дело раздавались

¹ Так как места для зрителей в римском театре и амфитеатре были под открытым небом, то для защиты зрителей от дождя и солнца над местами натягивали большие пологи или занавеси — *velarium*.

² Разного рода гладиаторы, отличавшиеся между собою вооружением и способами сражения. Так, *retiarii* не имели ни шлемов, ни другого оборонительного оружия, а вместо наступательного оружия — сеть, которую они накидывали на противника, легкий трезубец и малый меч.

крики: «Здравствуй, Фурний! Здравствуй, Леон! Здравствуй, Максим! Здравствуй, Диомед!». Молодые девушки обращали к ним глаза, полные любви, а гладиаторы высматривали тех, что покрасивее, и посылали им поцелуй или обращались с шутивными словами: «Обойми, прежде чем смерть обнимет меня!» — как будто у них не было никакой заботы. И они исчезали за воротами, из которых немногим было суждено выйти живыми. Но новые отряды привлекали в свою сторону внимание толпы. За гладиаторами шли мастигофоры, то есть люди, вооруженные плетью, на обязанности которых лежало бичевать борющихся и приводить их в большую ярость. Затем мулы тащили по направлению к споларию целые ряды телег с деревянными гробами. При виде их народ радовался, и по числу их заключал о размерах зрелища. Потом следовали люди, которые должны были добывать раненых, наряженные или Хароном, или Меркурием, охранители порядка в цирке, невольники, на долю которых выпала обязанность разносить яства и напитки зрителям, наконец, преторианцы, которых всякий цезарь постоянно держал под рукою в амфитеатре.

Наконец воитории были открыты, и толпа хлынула внутрь цирка. Собранных было такое множество, что они текли и текли в течение нескольких часов; нужно было удивляться, что амфитеатр в состоянии поглотить такое число людей. Рычание зверей, почуявших испарения человеческих тел, еще более усилилось. Занимая места, толпа шумела, как волна во время бури.

Наконец прибыл префект города, окруженный вигилами, а вслед за ним непрерывную цепью потянулись носилки сенаторов, консулов, преторов, эдилов¹, правительственных и дворцовых чиновников, патрициев и изящных женщин. Одни носилки сопровождали ликторы с пучками розог в руках, другие были окружены толпою невольников. Под солнечными лучами сверкала позолота носилок, белые и цветные платья, серьги, драгоценные камни и сталь топоров. Из цирка доносились крики, которыми народ приветствовал особенно сильных царедворцев. Преторианцы все еще прибывали маленькими отрядами.

Жрецы из различных храмов явились несколько позднее, а за ними принесли великую деву Весты, которой предшествовали ликторы. Для начала зрелища недоставало только цезаря, который, не желая томить народ долгим ожиданием и рассчитывая привлечь его к себе своею поспешностью, прибыл тотчас же, вместе с августою и августианами.

Петроний явился с другими августианами, в одних носилках с Виницием. Он знал, что Лигия больна и лежит в беспамятстве; но так как в последние дни доступ в темницы был строжайшим образом запрещен, прежние стражи заменены новыми, которые не смели разговаривать с теми, кто приходил справляться о заключенных, то не был уверен, нет ли Лигии в числе жертв, предназначенных для первого дня зрелищ. Львам на растерзание могли прислать и больного человека. Но так как жертвы должны быть защиты в звериные шкуры, а на арену их будут выгонять целыми толпами, то из зрителей никто не мог удостовериться, находится ли в числе этих жертв тот, кто их интересует. Стражи и вся прислуга амфитеатра были подкуплены, с bestiариями состоялось соглашение, что они скроют Лигию в каком-нибудь темном уголке амфитеатра, а ночью выдадут ее в руки слуги Виниция, который тотчас же увезет ее в Альбанские горы. Петроний, посвященный во все тайны Виниция, советовал ему

¹ Эдил — помощник трибуна (примеч. ред.).

отправиться в амфитеатр, а во время шума и толкотни спуститься вниз к заключенным и, во избежание могущих быть ошибок, указать стражам Лигию.

Стражи впустили Виниция в маленькую дверь, в которую входили и сами. Один из них, по имени Сир, тотчас же повел молодого трибуна к христианам.

— Я не знаю, господин, найдешь ли ты, что ищешь, — сказал он по дороге. — Мы допытывались о девице Лигии, но нам никто не отвечал, может быть, потому, что нам не верят.

— А христиан много здесь? — спросил Виниций.

— Многие, господин, должны будут остаться до завтра.

— Есть больные в числе их?

— Таких, какие не могли бы стоять на ногах, нет.

Сир отворил двери, и они очутились как бы в огромном зале, низком и темном; свет проникал сюда только сквозь решетчатое отверстие, выходящее на арену. Сначала Виниций ничего не мог видеть, он слышал только шум голосов и крики людей, доходящие из амфитеатра, но по мере того как его глаза привыкали к мраку, он начал различать целые толпы странных существ, похожих на волков и медведей. То были христиане, зашитые в звериные шкуры. И там и здесь по длинным волосам, спускающимся по шкуре, можно было отгадать, что это женщина. Матери, похожие на волчиц, держали на руках таких же косматых детей. Но из-под шкур виднелись ясные лица и глаза, блестящие во мраке радостью и энтузиазмом. Было ясно, что большею частью этих людей овладела одна мысль, исключительная и неземная, которая еще при жизни сделала их нечувствительными ко всему, что делалось вокруг них и что могло их встретить. Виниций спрашивал их о Лигии, но одни смотрели на него глазами человека, только что очнувшегося от сна, и ничего не отвечали, другие улыбались ему и прикалаивали палец к губам или указывали на железную решетку, сквозь которую вливались яркие снопы лучей. Только дети плакали, уstraшенные рычаньем зверей, воем собак и звериным обличем матерей. Виниций, идя рядом с Сиром, заглядывал во все лица, искал, расспрашивал, иногда наткнулся на тела упавших в обморок от тесноты, духоты и жары, и протискивался дальше, в темную глубь залы, которая казалась такою же огромной, как сам амфитеатр.

Но вдруг он остановился. Его поразила какой-то знакомый голос. Прислушавшись с минуту, он протолкался сквозь толпу и стал ближе к тому месту, откуда раздавался голос. Луч света падал на лицо говорившего, и Виниций узнал исхудалое и неумолимое лицо Криспа, обрамленное волчьей шкурой.

— Оплакивайте грехи ваши, — говорил Крисп, — ибо минута скоро наступит. Но кто думает, что одною смертью искупит свои прегрешения, тот совершает новый грех и будет ввергнут в огонь вечный. Каждым грехом, который вы совершали при жизни, вы возобновляли муки Христа, как же вы отваживаетесь мнить, чтобы будущая ваша жизнь могла искупить прошлую? Ныне одинаковою смертью умрут праведные и грешные, но Господь различит своих избранных. Горе вам, — лвы растерзают ваши тела, но не разорвут ни ваших прегрешений, ни ваших счетов с Богом. Господь был столь милосерд, что дозволил пригвоздить себя ко кресту за вас, но отныне будет только судиею, который ни одного греха не оставит без наказания. Вы, которые мнили, что мучениями изгладите ваши вины, грешите против справедливости Божией и тем суровее будете осуждены. Кончилось милосердие, наступил час гнева Божия. Через минуту вы предстанете пред Страшным судом, пред которым



— *Оплакивайте грехи ваши, — говорил Криси, —
ибо минута скоро наступит.*

и добродетельный едва-едва устоит. Сокрушайтесь о грехах ваших, ибо врата ада разверсты, и горе вам, мужи и жены, горе, отцы и дети!

Крисп протянул костлявые руки и потрясал ими над склоненными головами христиан, неустрашимый, но и неумолимый даже перед лицом смерти, на которую вскоре должны были идти все осужденные. Послышались голоса: «Будем сокрушаться о грехах наших!» — потом наступило молчание, только дети продолжали плакать. У Виниция кровь застыла в жилах. Он, который всю надежду возложил на милость Христа, теперь услышал, что наступил день гнева и что милосердия не вымолить даже смертью на арене. Правда, в голове его промелькнула ясная и быстрая, как молния, мысль, что апостол Петр иначе бы говорил с идущими на смерть, но тем не менее грозные, полные фанатизма слова Криспа и эта темная зала с решетками, за которыми находилась арена мучения, и близость этой арены, и обилие жертв — все это наполнило его душу страхом и трепетом. Все это, взятое вместе, показалось ему страшным, во сто раз более ужасным, чем самые кровавые битвы, в которых он принимал участие. Жара начала душить его, на лбу проступили капли холодного пота. Его охватило опасение, как бы и он не упал в обморок, но едва он только вспомнил, что решетка сейчас может открыться, как начал громко звать Лигию и Урса в надежде, что если не они, то отзовется кто-нибудь знающий их.

И действительно, в ту же минуту какой-то человек, наряженный медведем, дернул Виниция за ногу и сказал:

— Господин, они остались в темнице. Меня взяли последнего, и я видел, как она больная лежит на ложе.

— Кто ты?

— Землекоп. В моей хижине апостол крестил тебя. Три дня тому назад меня схватили, а сегодня я уже умру.

Виниций вздохнул свободнее. Входя сюда, он хотел найти Лигию, а теперь готов был благодарить Христа, что ее здесь нет, и видеть в этом знак его милосердия. Землекоп еще раз дернул его за тогу и сказал:

— Господин, помнишь, я провожал тебя в сарай, где поучал апостол?

— Помню, — ответил Виниций.

— Я его видел позже, за день до того, как меня схватили. Он благословил меня и сказал, что придет в амфитеатр перекрестить умирающих. Я хотел бы смотреть на него в минуту смерти и видеть крестное знамение, — тогда мне легче было бы умирать. Господин, если ты знаешь, где он, то скажи мне.

Виниций понизил голос и ответил:

— Он среди людей Петрония, одет в невольничью одежду. Я не знаю, где он выбрал место, но когда возвращусь в цирк, то увижу. Смотри на меня, когда выйдешь на арену: я встану и повернусь лицом в их сторону, — тогда и ты найдешь их.

— Благодарю тебя, господин. Мир с тобою.

— Да будет Избавитель милосерд к тебе.

— Аминь.

Виниций вышел из куникула¹ и направился в амфитеатр, где у него было место рядом с Петронием среди других августиан.

— Здесь она? — спросил его Петроний.

¹ Куникул — помещение под ареной (примеч. ред.).

— Нет. Осталась в темнице.

— Слушай, что мне еще пришло в голову, но когда будешь слушать, то смотри... ну, на Нигидию, например, сделай вид, что мы разговариваем об ее прическе... Тигелин и Хилон смотрят на нас в это время... Итак, слушай: пускай Лигию ночью положат в гроб и вынесут, как мертвую, об остальном ты сам озаботишься.

— Да, — ответил Виниций.

В это время Туллий Сенецион наклонился к ним и спросил:

— Не знаете, дадут христианам оружие или нет?

— Не знаем, — ответил Петроний.

— Я предпочитал бы, чтоб им дали, — сказал Туллий, — иначе арена скоро делается похожей на лавку мясника.. Но что за великолепный амфитеатр!

Действительно, зрелище было великолепное. Нижние скамьи, занятые мужами в тогах, белели как снег. В раззолоченном *podium*¹ сидел цезарь в бриллиантовом ожерелье, с золотым венцом на голове, рядом с ним — прекрасная и угрюмая августа, а по сторонам их весталки, высшие сановники, сенаторы в плащах, обшитых пурпуром, воины в блестящих латах, — словом, все, что в Риме было сильно, блестяще и богато. Дальнейшие ряды были заняты воинами, а выше чернело море человеческих голов, над которым от столба до столба свешивались гирлянды, сплетенные из роз, лилий, плюща и виноградных листьев.

Народ разговаривал громко, распевал песни, иногда раздражался хохотом при каком-нибудь остроумном слове, которое переходило из ряда в ряд, и нетерпеливо стучал ногами, чтоб ускорить начало зрелища.

Наконец топот дошел до крайности. Тогда городской префект, который еще раньше с блестящею свитой объехал арену, дал знак платком, и весь амфитеатр потрясся от дружного крика.

Обыкновенно зрелища открывались охотою на диких зверей, в которой показывали свое искусство северные и южные варвары, но на этот раз зверей и так было чересчур много, и поэтому дело началось с андабатов², то есть с людей, носящих шлемы без отверстий для глаз и поэтому рассыпающих свои удары наудачу. Несколько андабатов, выйдя на арену, начали размахивать мечами в воздухе, а мастигифоры при помощи длинных вил подвигали их друг к другу. Более избалованные зрители равнодушно, чуть не с презрением смотрели на это, но народ забавлялся неловкими движениями андабатов, а когда им приходилось сталкиваться спинами, раздражался громким хохотом и кричал: «Вправо!», «Влево!», «Прямо!». Несколько пар, однако, сцепились, и борьба начинала становиться кровавою. Разъяренные борцы бросали щиты, подавали друг другу левую руку, чтобы не разлучаться больше, и бились насмерть. Кто падал, поднимал палец вверх, вымаливая снисхождения, но при начале зрелища народ обыкновенно добивался смерти раненых, лица которых никто не мог различить под их шлемом. Число борющихся становилось все меньше и меньше, наконец, когда осталось только двое, их столкнули так, что они упали на песок

¹ Арену амфитеатра окружала довольно высокая, гладко отполированная каменная стена, для безопасности зрителей от нападений диких зверей, выпускаемых на арену. Эта стена служила основанием галереи — *podium*, — на которой находились места для императора, весталок, высших сановников и других почетных лиц.

² *Andabatae* — особый род гладиаторов.

и закололи друг друга. При криках народа «*Peractum est!*» слуги убрали трупы, мальчики заровняли кровавые следы на арене и посыпали ее листьями шафрана.

Теперь подошла очередь более важного состязания, возбуждающего любопытство не только толпы, но и людей с тонким вкусом. Обыкновенно при таких случаях молодые патриции бились об заклад на огромные суммы и часто проигрывались до нитки. Из рук в руки начали уже переходить дощечки, — на них начертывались имена гладиаторов, а также количество сестерций, которые какой-нибудь патриций ставил на своего избранника. *Spectati*, то есть борцы, которые уже выступали на арену и одерживали победы, находили больше сторонников, но между играющими были и такие, что ставили значительные суммы на новых, никому не известных гладиаторов, — если они победят, то держащий за них оставался в огромном выигрыше. Бились об заклад и сам цезарь, и жрецы, и весталки, и сенаторы, и воины, и народ. У кого не хватало денег, тот часто ставил свою собственную свободу. Толпа с биением сердца и тревогой ожидала появления борцов, иные громко обещали принести жертву богам, чтобы привлечь их благоволение на своего избранника.

Раздался оглушительный звук труб; в амфитеатре все смолкло. Тысячи глаз обратились на огромные засовы, к которым приблизился человек, одетый Хароном, и среди всеобщего молчания три раза стукнул в них молотом, как бы вызывая на смерть людей, находящихся за этими засовами. Обе половины ворот медленно отворились, показывая свою черную пасть, из которой на ярко освещенную арену начали появляться гладиаторы. Шли они отрядами по двадцати пяти человек, фракийцы, мirmиллоны, самниты, галлы, — все отдельно, все тяжело вооруженные. Наконец появились ретиарии, с сетью в одной руке, с трезубцем в другой. Послышались одиночные рукоплескания, которые вскоре слились в оглушительную бурю. Сверху донизу были видны разгоревшиеся лица и открытые уста, из которых вырывались крики. Гладиаторы обошли всю арену ровным и твердым шагом, сверкая оружием и богатыми латами, потом остановились у подия цезаря, гордые, спокойные, блестящие. Пронзительный голос рога укротил рукоплескания; тогда гладиаторы протянули кверху правую руку и, поднимая глаза к цезарю, закричали, или, вернее, запели протяжными голосами:

Ave, caesar imperator!
*Morituri te salutant!*¹

Потом они быстро разошлись и заняли свои места на арене.

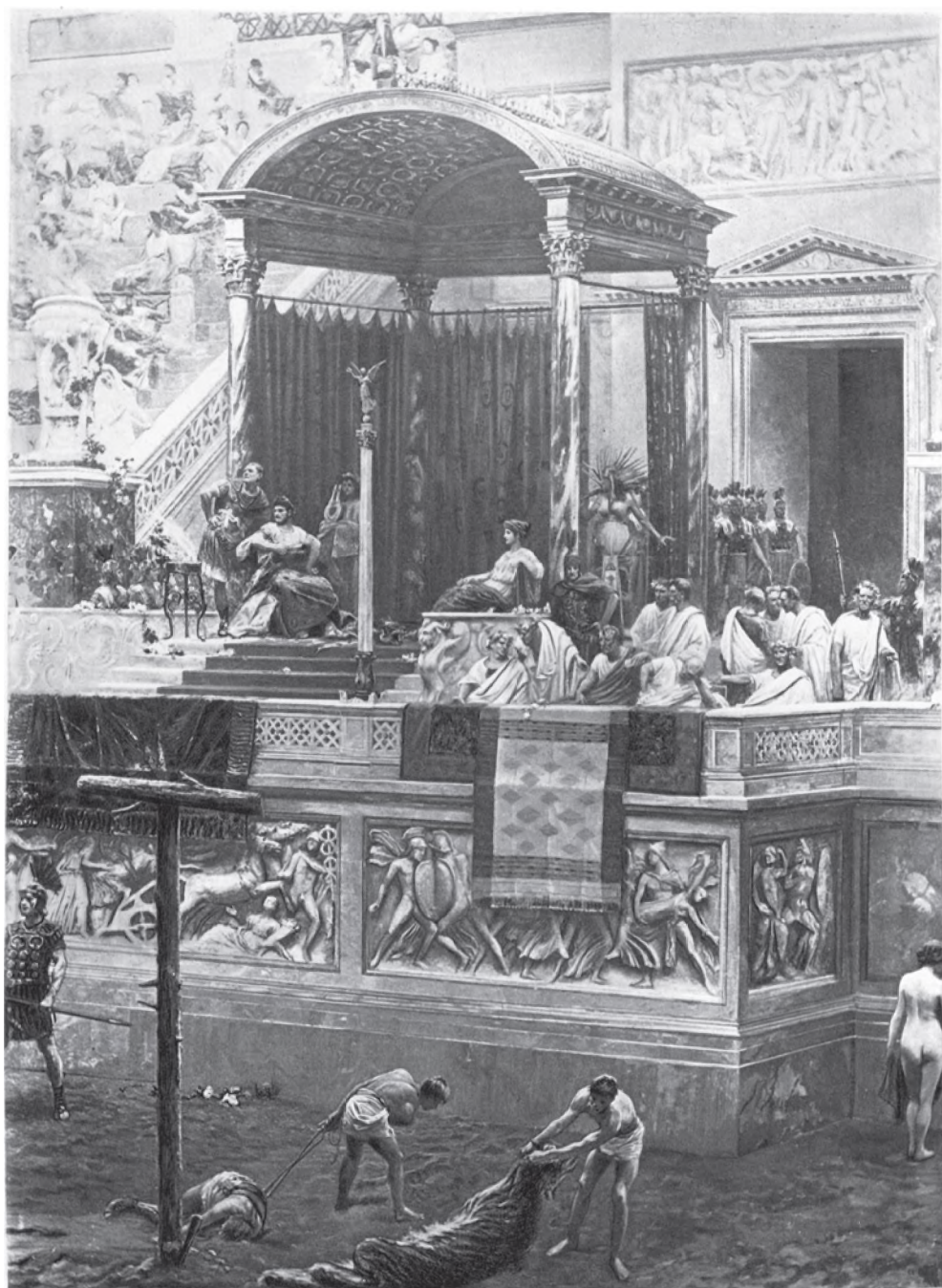
Они должны были нападать друг на друга целыми отрядами, но сначала знаменитым борцам был дозволен ряд отдельных состязаний, в которых лучше выказывалась их сила, ловкость и отвага. Из отряда галлов выделился гладиатор, знакомый любителям амфитеатра под именем Мясника (*Lanio*), победитель на многих игрищах. В большом шлеме и панцире, который заковывал спереди и сзади его могучий стан, он на фоне желтой арены казался каким-то огромным блестящим жуком. Не менее славный ретиарий, Календион, выступил против него.

Между зрителями пошли заклады.

— Пятьсот сестерций за галла!

— Пятьсот за Календиона!

¹ «Здравствуй, цезарь император! люди, готовые на смерть, тебя приветствуют!»



В раззолоченном родит сидел цезарь в бриллиантовом ожерелье, с золотым венцом на голове, рядом с ним — прекрасная и угрюмая августа, а по сторонам их весталки, высшие сановники, сенаторы в плащах, обшитых пурпуром, воины в блестящих латах, — словом, все, что в Риме было сильно, блестяще и богато.

— Клянусь Геркулесом! Тысячу!

— Две тысячи!

Тем временем галл, дойдя до середины арены, начал отступать назад с наставленным мечом и, наклоня голову, внимательно следил сквозь отверстия забрала за движениями противника, а ретиарий, легкий, с пластическими формами, совершенно голый, за исключением повязки вокруг бедер, быстро носился вокруг своего тяжелого врага, изящно махая сетью, и распевал обычную песню ретиариев:

*Non te peto, pisces peto,
Quid me fugis, Galle!*¹

Но галл не бежал; он остановился и начал незаметно поворачиваться на месте, чтобы всегда иметь врага перед собою. В его фигуре и уродливо большой голове теперь было что-то страшное. Зрители хорошо понимали, что эта тяжелая, закованная в медь масса готовится к неожиданному прыжку, который может положить конец борьбе. Тем временем ретиарий то подскакивал к нему, то отпрыгивал назад, так быстро размахивая своими тройными вилами, что человеческий взгляд с трудом мог следить за ними. Звук трезубца о щит раздавался не один раз, но галл не пошатнулся, — настолько велика была его сила. Казалось, все его внимание сосредоточивается не на трезубце, а на сети, которая постоянно кружилась над его головою, как злоеющая птица. Зрители, задерживая дух в груди, следили за мастерской игрой гладиаторов. Ланион, воспользовавшись удобною минутой, наконец ринулся на противника, но тот с одинаковою ловкостью проскользнул под его мечом и поднятою рукой, выпрямился и бросил сеть.

Галл, повернувшись на месте, отбросил сеть щитом, потом оба соперника разошлись в разные стороны. В амфитеатре загремели крики: «*Macte!*» — в нижних рядах составлялись новые заклады. Сам цезарь, который разговаривал с весталкой Рубрией и не обращал до сих пор особенного внимания на зрелище, теперь повернул голову к арене.

Гладиаторы снова начали бороться так ловко, с таким знанием дела, что по временам казалось, будто речь идет не о жизни и смерти, а только о том, как бы лучше выказать свое искусство. Ланион еще два раза увернулся от сети и снова начал пятиться к концу арены. Тогда зрители, держащие против него и не желающие дать ему перевести дух, начали кричать: «Нападай!». Галл послушался и напал. Плечо ретиария обогрилось кровью, сеть повисла в его руке. Ланион съезжился и прыгнул, намереваясь нанести последний удар. Но в эту минуту Календион, который нарочно притворился, что не может владеть сетью, перегнулся набок, избежал удара меча и, просунув трезубец между колен своего противника, повалил его наземь.

Ланион хотел встать, но его в мгновение ока опутали роковые шнуры, которые с каждым движением все сильнее и сильнее обвивались вокруг его рук и ног. А удары трезубца с неслыханною быстротой пригвождали его к земле. Он еще раз собрал все усилия, оперся на руки, напрягся, чтоб встать, — напрасно! Ланион поднял к голове безоружную руку и упал навзничь. Календион зубцами своих вил притиснул его шею к земле, оперся обеими руками на древко и повернулся в сторону ложи цезаря.

¹ «Я не тебя ловлю; я ловлю рыбу; что ты бежишь от меня, галл!»

Весь цирк затрясся от рукоплесканий и рева людских голосов. Для тех, кто держал за Календиона, он в настоящую минуту был больше цезаря, но поэтому они и пылали ненавистью против Ланиона, который ценою собственной крови должен был наполнить их кошельки. Желания народа раздвоились. Половина желала смерти Ланиона, другая требовала его помилования, но ретиарий смотрел только на ложу цезаря и весталок и ждал решения.

К несчастью, Нерон не любил Ланиона. На предыдущих игрищах он держал против него и проиграл большую сумму денег. Цезарь протянул руку из подия и обратил большой палец к земле.

Вестаалки тотчас же повторили этот знак. Тогда Календион стал коленом на грудь галла, вынул из-за пояса короткий нож и, отстранив панцирь от шеи противника, вонзил ему в горло по рукоять трехгранное острие.

— *Peractum est!* — раздались голоса в амфитеатре.

Ланион вздрогнул, как зарезанный бык, ноги его судорожно взрывали песок, потом он выпрямился и остался неподвижным.

Меркурию не нужно было прижигать его раскаленным железом и удостоверять, жив ли он еще. Галла вытащили вон. Появились другие пары, и только после них началось состязание целых отрядов. Народ принимал в нем участие душой, сердцем и глазами, выл, рычал, свистал, рукоплескал, смеялся, ободрял состязающихся, приходил в безумие. На арене два отряда гладиаторов бились с яростью диких зверей, — грудь ударялась о грудь, тела сплетались в смертельных объятиях, кости трещали, мечи пронзали груди, побелевшие губы обагрjali песок потоками крови. Несколькими новичками под конец овладела такая страшная тревога, что они вырвались из свалки и хотели бежать, но мастигифоры вновь загнали их в толпу палками со свинцовым набалдашником. На песке образовались большие темные пятна, обнаженные и одетые тела целыми кучами валялись там и здесь. Живые бились на трупах, спотыкались об оружие, о щиты, разбивали в кровь ноги о поломанное оружие и падали. Народ был вне себя от восторга, упивался смертью, дышал ею, наслаждался ее зрелищем и с восторгом вбирал в грудь ее испарения.

Побежденные полегли почти все, лишь несколько раненых пали на колена посередине арены и простирали к зрителям руки с мольбой о пощаде. Победителям роздали награды, венки, ветви оливы, — наступила минута отдыха, которая по повелению всемогущего цезаря обратилась в пир. В вазах задымилась благоухания; особые невольники окропляли народ шафранной и фиалковой водой. Повсюду разносили жареное мясо, пирожное, вино и плоды. Народ пожирал все это, разговаривал и поднимал возгласы в честь цезаря, чтобы склонить его этим к еще большей щедрости. И действительно, когда голод и жажда были утолены, сотни невольников внесли корзинки с подарками, а мальчики, одетые амурами, вынимали оттуда различные вещи и обеими руками бросали их зрителям. При раздаче лотерейных тессер среди скамей образовалась свалка; народ теснился, давил друг друга, перескакивал через скамьи. Кто получал счастливый билет, тот мог выиграть дом с садом, невольника, великолепную одежду или какого-нибудь редкостного дикого зверя, которого впоследствии мог продать в амфитеатр. Происходили такие сцены, что преторианцы часто принуждены были прибегать к силе.

Более богатые не принимали участия в драке за тессеры. Августяне в это время забавлялись Хилоном и подсмеивались над его напрасными усилиями смотреть

спокойно на бойню и потоки крови. Тщетно несчастный грек хмурил брови, закусывал губы и сжимал кулаки так, что его ногти впивались в ладони. Его греческая натура и его трусость не могли выносить таких зрелищ. Лицо его побледнело, лоб покрылся каплями пота, по телу пробегала невольная дрожь. После состязания он немного пришел в себя, но когда над ним начали подсмеиваться, рассердился и начал отчаянно отгрызаться.

— Ну, грек, видно, для тебя невыносим вид разорванной человеческой кожи! — говорил Ватиний и дергал его за бороду.

Хилон оскалил на него два своих последних желтых зуба и ответил:

— Мой отец не был башмачником, и я не умею чинить кожи.

— *Macte! habet!* — послышалось несколько голосов. Цезарь тоже рукоплескал и повторял: «*Macte!*» Наконец к греку подошел Петроний, дотронулся до его плеча своею резною тростью из слоновой кости и холодно сказал:

— Это хорошо, философ, но ты заблуждаешься только в одном: боги сотворили тебя мелким воришкой, а ты сделался демоном, и поэтому ты не выдержишь.

Старик посмотрел на Петрония своими красными глазами, но не нашел готового дерзкого ответа. На минуту он замолк, потом ответил с видимым усилием:

— Выдержу!..

Тем временем трубы дали знать, что перерыв окончен и зрелище возобновится. Народ начал расходиться из проходов, куда собрался, чтобы размять ноги и поболтать. Опять пошли обычные ссоры из-за мест, но шум мало-помалу утихал, и амфитеатр приходил в порядок. На арене появились прислужники и начали разбивать песок, кое-где слипшийся комками.

Приходила очередь христиан. Так как для народа предстоящее зрелище являлось новостью, никто не знал, как христиане будут держать себя, и их ждали с любопытством. Ожидалось что-то необычайное, — настроение толпы было сосредоточенное, но неприязненное к христианам. Как бы то ни было, люди, которые должны появиться сейчас, сожгли Рим и его собранные веками сокровища. Они питались кровью детей, отравляли источники, проклинали весь человеческий род и совершали самые омерзительные преступления. Пробужденной ненависти недостаточно было самых суровых кар, и если какое-нибудь опасение стесняло сердце народа, то только опасение, будут ли мучения равняться преступлениям осужденных.

Солнце поднялось высоко, и лучи его, проходя сквозь пурпуровый *velarium*, залили амфитеатр кровавым светом. Песок принял огненную окраску, и в этом освещении, и в лицах зрителей, и в огромной пустой арене, которая вскоре должна была сделаться свидетельницей человеческой муки и свирепости людей, было что-то страшное. Казалось, что в воздухе носятся страх и смерть. Толпа, обыкновенно веселая, под влиянием ненависти закаменела в молчании. Лица всех носили отпечаток ожесточения.

Префект дал знак. Появился тот самый старик, одетый Хароном, который призывал на смерть гладиаторов, медленными шагами прошел чрез всю арену и среди глухой тишины снова трижды стукнул молотом в двери.

По амфитеатру пронесся ропот:

— Христиане!.. христиане!..

Железные решетчатые двери скрипнули; из темной пасти подземелья послышались обычные крики мастифоров: «На песок!». Но арена в одну минуту

наполнилась какими-то сильванами¹, покрытыми звериными шкурами. Все бежали скоро, лихорадочно и, добрав до середины круга, падали на колена, один возле другого, с руками, поднятыми вверх. Зрители думали, что это — мольба о помиловании, и, взбешенные такую трусостью, начали стучать ногами, свистать, бросать пустыми сосудами из-под вина, обгрызенными костями и рычать: «Зверей, зверей!»... Но вдруг произошло что-то неожиданное. Из середины косматого сборища послышались поющие голоса; загремела песнь, которую в первый раз слышали в римском цирке:

*Christus regnat!..*²

Тогда римлян охватило изумление. Осужденные пели с глазами, поднятыми к веларию. Лица их были бледны, но вдохновенны. Амфитеатр понял, что эти люди просят не о снисхождении и, казалось, не видят ни цирка, ни народа, ни сената, ни цезаря. «*Christus regnat!*» — раздавалось все громче, а на скамьях, от низа до самого верха, не один человек задавал себе вопрос: что такое происходит и кто этот «*Christus*», который царствует на устах людей, долженствующих умереть так скоро? Но в это время открылась новая решетка, и на арену дикими прыжками, с лаем высыпала целая стая собак, светло-желтых огромных молоссов из Пелопоннеса, полосатых пиренейских псов и похожих на волков овчарок из Гибернии, со впалыми боками и налитыми кровью глазами. Вой и визг наполняли весь амфитеатр. Христиане, окончив свою песнь, неподвижно, точно окаменелые, оставались на коленах и только повторяли хором: «*Pro Christo, pro Christo!*». Собаки, почуяв людей под звериными шкурами и удивленные их неподвижностью, не смели сразу броситься на них. Одни карабкались на загородки лож, как будто хотели проникнуть к зрителям, другие с отчаянным лаем бегали кругом, как будто преследовали какого-то невидимого зверя. Зрители начинали негодовать. Загремели тысячи голосов; одни из зрителей подражали рычанию зверей, другие лаяли, как собаки. Весь амфитеатр дрожал от крика. Раздразненные собаки начали то подбираться к христианам, то отступать назад; наконец один из молоссов впился зубами в затылок стоящей впереди женщины и подмял ее под себя.

Тогда десятки собак, словно через робоину, бросились в толпу христиан. Зрители перестали рычать, чтобы с большим вниманием наблюдать за зрелищем. Среди воя еще слышались страдальческие голоса мужчин и женщин: «*Pro Christo, pro Christo!*». На арене образовались точно какие-то подвижные клубы из собачьих и человеческих тел. Теперь кровь лилась уже ручьями. Собаки вырывали друг у друга кровавые куски человеческого мяса. Запах крови и растерзанных внутренностей заглушил арабские благовония и наполнил весь цирк. В конце только кое-где виднелись коленопреклоненные фигуры, да и те исчезали под подвижными воющими клубами.

Виниций, который в ту минуту, когда христиане вбежали, поднялся, чтобы, согласно обещанию, данному фоссору, указать сторону, где сидит апостол Петр, теперь сидел с мертвым лицом и стеклянными глазами смотрел на ужасное зрелище. Сначала опасение, что фоссор мог ошибиться и что Лигия находится в числе жертв, совершенно ошеломило его, но когда он услышал голоса: «*Pro Christo!*» — когда видел

¹ *Сильван* — древнеримский бог лесов, дикой природы, хлебопашества и скотоводства (*примеч. ред.*).

² «Христос царствует».

муки стольких людей, которые, умирая, прославляли своего Бога и свою правду, им овладело другое чувство, удручающее его, как самая невыносимая боль, и вместе с тем непреодолимое: если Христос сам умер в мучениях, если теперь за него гибнут целые тысячи людей, когда проливается целое море крови, то больше или меньше одною каплей, — все равно, и что даже греховно просить о милосердии.

Эта мысль шла на него с арены, проникала в него вместе со стонами умирающих, с запахом их крови. Однако он молился и повторял запекшимися устами: «Христос, Христос! и твой апостол молится за нее!». Потом он потерял способность соображать, где он; ему только казалось, что кровь на арене все поднимается и поднимается и разольется из цирка по всему Риму. Наконец, он не слышал уже ничего, — ни вытья собак, ни шума людей, ни голосов августиан, которые вдруг закричали:

— Хилон в обмороке.

— Хилон в обмороке! — повторил Петроний и обратился в его сторону.

Греку действительно было дурно, и он сидел бледный, как полотно, с головою, закинутою назад, с широко раскрытым ртом.

В эту самую минуту на арену начали выгонять новые жертвы, так же зашитые в звериные кожи.

Они, так же как и их предшественники, становились на колена, но утомленные собаки не хотели терзать их. Несколько штук бросились на христиан, остальные улеглись на песке и, поднимая кверху свои окровавленные пасти, тяжело дышали и зевали.

Удовлетворенный, но не упившийся кровью и обезумевший народ кричал пронзительными голосами:

— Львов, львов! Выпустить львов!..

Львы приберегались к следующему дню, но амфитеатр навязывал свою волю всем, даже цезарю. Только один Калигула, дерзкий и изменчивый в своих прихотях, осмеливался противиться ему, даже иногда приказывал бить толпу палками, но и тот часто уступал. Нерон, которому рукоплескания были дороже всего на свете, не сопротивлялся толпе никогда, а тем более теперь, когда дело шло об умиротворении толпы и о христианах, на которых он желал свалить всю вину пожара.

Цезарь дал знак, чтоб открыли куникул, и народ тотчас же успокоился. Послышался скрип решеток, за которыми находились львы. Собаки при виде их сбились в одну кучу на противоположной стороне арены и завывали, а львы один за другим начали выходить наружу, — огромные, светло-желтые, с кудластыми головами. Сам цезарь обратил в их сторону свое скучающее лицо и, чтобы видеть их лучше, приложил к глазу изумруд. Августиане приветствовали львов рукоплесканиями; толпа считала их по пальцам, жадно наблюдая при этом, какое впечатление производят они на коленапреклоненных христиан, а те все повторяли непонятные для многих и раздражающие всех свои слова: «*Pro Christo, pro Christo!*..»

Но львы, хотя и были голодны, не спешили к своим жертвам. Красный свет арены пугал их, и они щурились глазами. Одни лениво потягивались, другие широко разевали свои огромные пасти и зевали, как будто желая показать зрителям свои страшные клыки. Но запах крови и растерзанных тел начал действовать и на них. Движения их стали беспокойными, ноздри хрипло втягивали воздух. Один вдруг припал к трупам женщины, оперся на него лапами и начал шероховатым языком слизывать запекшуюся кровь, другой приблизился к христианину, держащему на руках ребенка, зашитого в шкуру оленя.

Ребенок трясся от крика и плача, конвульсивно хватался за шею отца, а тот, желая продлить его жизнь хоть на минуту, усиливался оторвать его от себя и передать другому, стоящему дальше. Но движение и крик раздражили льва. Он издал короткое, отрывистое рычание, смял ребенка одним ударом лапы и, схватив в пасть череп отца, размозжил его в мгновение ока.

Видя это, все львы накинулись на христиан. Некоторые женщины не могли удерживать крика ужаса, но толпа заглушила его рукоплесканиями, которые, однако, тотчас же смолкли. На арене происходило что-то страшное: человеческие головы сразу исчезали в лвиной пасти, — видны были груди, рассеченные одним ударом клыка, видны были вырванные и еще трепещущие сердца, слышен был треск костей. Иные львы, схватив свою жертву за бок или за спину, бешеными скачками мчались с нею по арене, как бы отыскивая более уединенное место, другие в свалке становились на задние лапы, обхватывали друг друга передними и оглушали амфитеатр громовым рычанием. Зрители вставали с мест, спускались ниже, чтобы видеть лучше, и давили друг друга насмерть. Казалось, что приведенная в восторг толпа в конце сама кинется на арену и начнет вместе со львами раздирать христиан. Слышались уже почти нечеловеческие возгласы, рычание, скрежет зубов, вытье молоссов, и только изредка к этому примешивался стон.

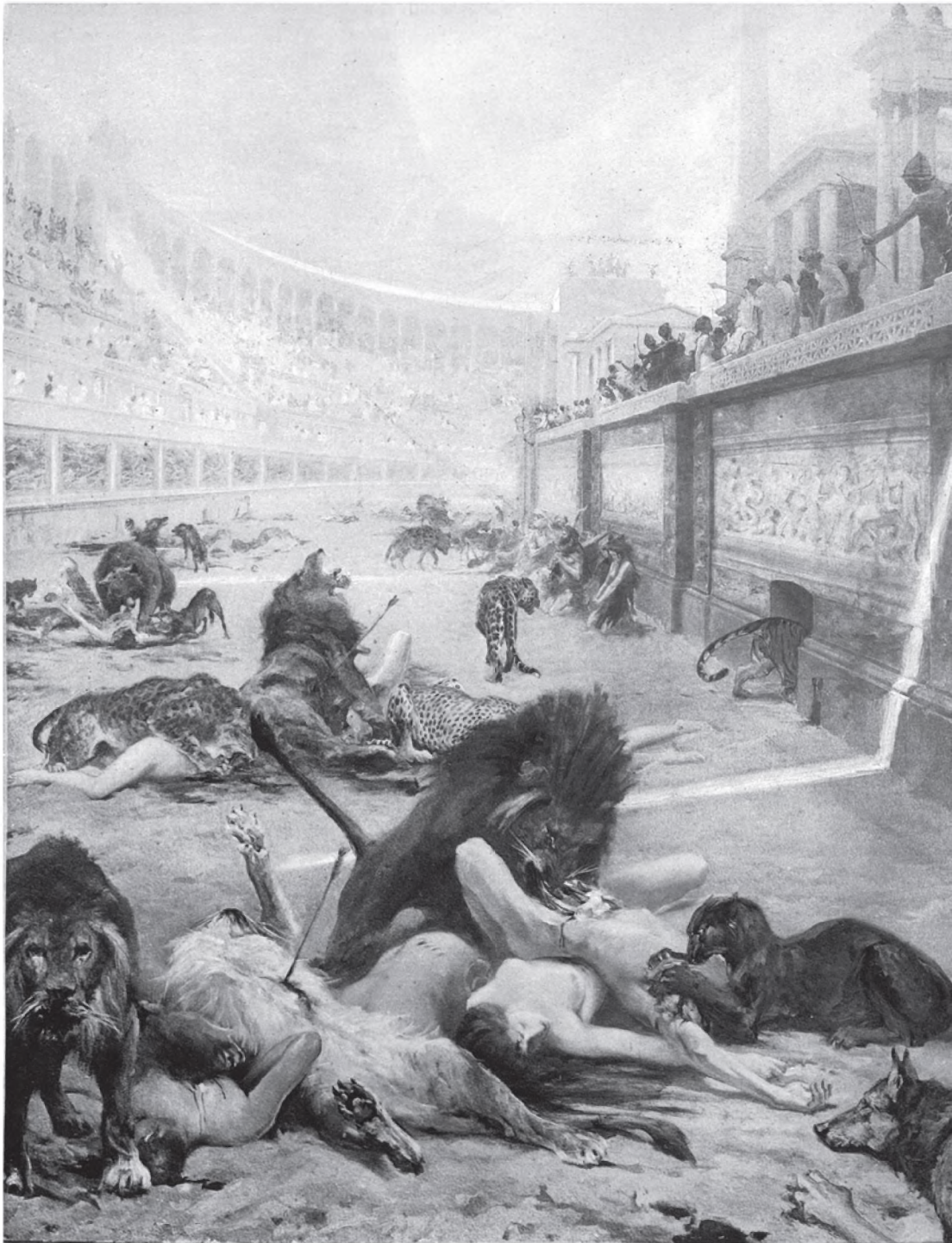
Цезарь, держа изумруд у глаза, теперь внимательнее смотрел на арену; лицо Петрония приняло оттенок отвращения и презрения. Хилона давно уже вынесли из цирка.

Из куникулов выгоняли все новые жертвы.

А с самого верхнего ряда на них смотрел апостол Петр. На него никто не обращал внимания: глаза всех зрителей были устремлены на арену. Апостол встал и, как некогда в винограднике Корнелия благословляя на смерть и на вечность тех, которые должны были попасть в руки преторианцев, так теперь осенял крестом погибающих под когтями зверей, — и их кровь, и их муку, и их тела, превратившиеся в бесформенные массы, и их души, улетающие с залитой кровью арены. Некоторые из христиан поднимали к нему свои глаза, и лица их прояснялись при виде знамения креста. А сердце апостола разрывалось, и он говорил: «О, Господь, да будет воля твоя, ибо для славы твоей, свидетельствуя правду твою, гибнут мои овцы. Ты повелел мне пасти их, и я возвращаю их тебе, а ты, Господь, сосчитай их, возьми их к себе, залечи их раны, утоли их страдания и воздай им счастье в большей мере, чем они вынесли мучений».

Он осенял крестом одного вслед за другим, толпу за толпою с такою великою любовью, как будто они были его детьми, которых он прямо передавал в руки Христа.

А в это время цезарь, — пришел ли он в неистовство, или ему хотелось, чтобы игрище превзошло все, что до сих пор видели в Риме, — шепнул несколько слов префекту города. Префект тотчас же оставил свое место в подии и пошел в куникулы. Даже толпа — и та удивилась, когда увидела, что решетки отворяются снова. Теперь на арену выпускали разных зверей: тигров с Евфрата, нумидийских пантер, медведей, волков, гиен и шакалов. Вся арена покрылась точно подвижною волною полосатых, желтых, темных и пятнистых шкур. Образовался хаос, в котором глаза уже ничего не могли различить: видно было только, как клубилась и разливалась эта волна. Зрелище потеряло подобие вероятности и сменилось какою-то оргией крови, каким-то страшным сном, каким-то чудовищным кошмаром помутившегося ума.





Зрелище потеряло подобие вероятности и сменилось какою-то оргией крови, каким-то страшным сном, каким-то чудовищным кошмаром помутившегося ума.

Всякая мера была превзойдена. К рычанию, вою и лаю примешивался истерический крик, — то был крик женщин, сидящих в амфитеатре, которые уже истощили все свои силы. Толпе становилось страшно, лица у всех как-то поблекли. Послышались голоса: «Довольно! довольно!».

Но зверей легче было выпустить из клеток, чем загнать обратно. Но цезарь знал, как очистить от них арену; это могло вместе с тем послужить и новой забавой для народа. Во всех промежутках между скамьями появились отряды черных нумидийцев, украшенных перьями. В ушах у них были висячие серьги, в руках — луки. Народ понял, что ему предстоит видеть, и приветствовал нумидийцев радостными криками, а они приблизились к барьеру и, наложив стрелы на тетиву луков, начали поражать зверей. Действительно, то было новое зрелище. Стройные, словно изваянные из черного мрамора тела отгибались назад, напрягая гибкие луки и посылая удар за ударом. Гул тетивы и свист стрел примешивался к вою зверей и удивленному крику зрителей. Волки, медведи, пантеры и люди, которые еще остались живы, падали вповалку один возле другого. Кое-где лев, почувствовав боль, внезапным движением поворачивал свою искаженную бешенством голову, чтобы схватить и изломать стрелу, вонзившуюся в его бок. Мелкое зверье тревожно металось по арене, билось головой о решетку, а стрелы все свистали и свистали, пока все, что было живо на арене, не легло в предсмертных судорогах.

Тогда на арену явились сотни цирковых прислужников, вооруженных заступами, лопатами, метлами, тачками, корзинами и мешками с песком. Арену мигом очистили от трупов, перекопали, сравняли и посыпали толстым слоем свежего песка. Затем прибежали амурь и разбросали повсюду лепестки роз, лилий и других цветов. Из курильниц вновь заструились ароматы, веларий исчез: солнце уже сильно спустилось к закату.

Зрители с удивлением поглядывали друг на друга и спрашивали, какое еще зрелище ожидает их сегодня?

А зрелище их ожидало такое, какого не ожидал никто. Цезарь, — он давно уже вышел из подия, — вдруг появился на усыпанной цветами арене, с пурпурным плащом на плечах и с золотым венком на голове. Двенадцать певцов с цитрами в руках следовали за ним. Он, держа серебряную кифару, торжественным шагом выступил на середину, несколько раз поклонился зрителям, поднял глаза к небу и несколько секунд простоял так, как будто ожидая вдохновения. Потом он ударил по струнам и запел:

О, лучезарный сын Леты, властелин Тенедоса, Киллы, Хризы! ¹ Как ты, оберегающий святой град Илиона, мог предать его во власть гневу ахейцев и стерпеть, чтоб святые алтари, вечно горящие во славу твою, могла обрызгать кровь троянцев?

К тебе, о сребролукий, простирали старцы свои дрожащие руки, к тебе возносился плач матерей, чтобы ты сжалился над их детьми. И камень тронулся бы от жалости, а ты, Сминтей², менее чем камень был чувствителен к человеческому горю!..

¹ *Тенедос*, *Килла*, *Хриза* — места почитания бога Аполлона, которому посвящен этот гимн. *Тенедос* — остров около Трояды, *Килла* и *Хриза* — города в Трояде.

² *Smintheus* — один из эпитетов Аполлона. Древние производили это слово от *sminthos* («мышь»), т. к. Аполлон считался истребителем мышей.

Песня переходила в жалобную, полную скорби, элегию. Немного погодя цезарь, и сам взволнованный, запел дальше:

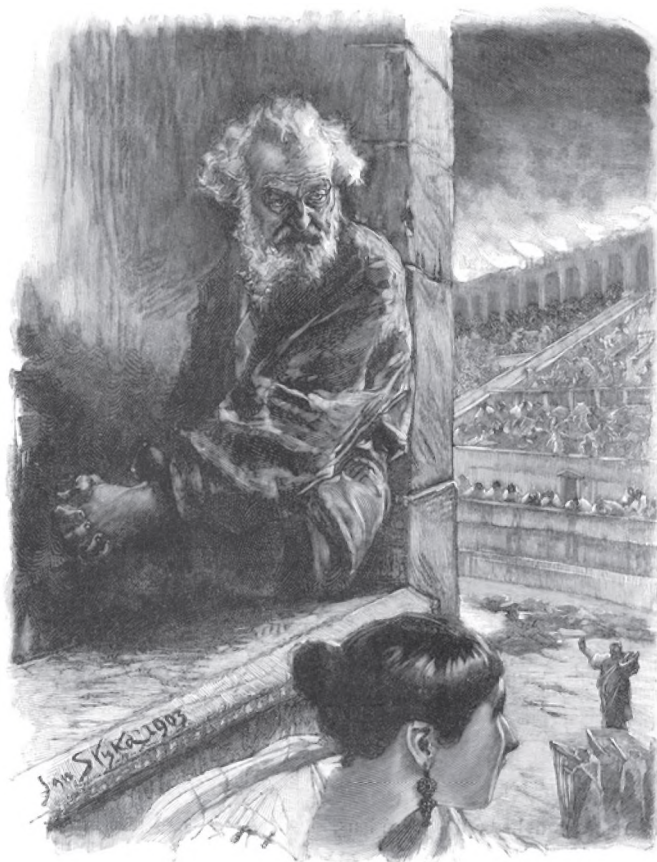
Ведь мог бы ты звуками божественной форминги заглушить сердечный вопль и крик, — а глаза еще до сих пор, как цветы росой, увлажняются слезами при унылом напеве той песни, которая воскрешает из праха и пепла день гибели Трои... Сминтей, где ты был тогда?

Тут голос цезаря дрогнул, и на глазах его появились слезы. Весталки плакали также. Народ слушал в молчании, пока не разразилась буря рукоплесканий.

Тем временем для свободного доступа воздуха открыли vomitorии, и тогда до амфитеатра долетел скрип телег, на которые сваливали кровавые останки христиан, — мужчин, женщин и детей, чтобы потом вывезти все это в страшные ямы, так называемые *puticuli*.

А Петр апостол обхватил обеими руками свою белую дрожащую голову и взывал в душе:

— Господь, Господь! Кому ты отдал власть над миром?.. И ты все-таки хочешь основать свой престол в этом городе?





ГЛАВА XIV

Солнце уже совсем склонилось к закату и, казалось, все растопилось к вечерней заре. Зрелище было окончено. Толпа начала покидать амфитеатр; только августиане ждали, пока не схлынет толпа народа. Оставив свои места, они все собрались у подия, в котором цезарь показался снова, чтоб насладиться похвалами. Хотя зрители не щадили для него рукоплесканий тотчас же после конца песни, — для Нерона этого было недостаточно: он ожидал энтузиазма, доведенного до безумия. Напрасно теперь в честь его гремели хвалебные гимны, напрасно весталки лобзали его

«божественные» руки, а Рубрия при этом наклонилась так, что ее рыжеватая голова прикоснулась к его груди, — цезарь был недоволен и не умел скрыть этого. Вдобавок его удивляло и вместе с тем беспокоило, что Петроний хранит молчание. Какое-нибудь одобрительное и вместе с тем меткое слово из его уст было бы для него в настоящую минуту великим утешением. Наконец он не вытерпел, поманил его рукою, а когда Петроний вошел в подий, цезарь проговорил:

— Скажи.

Петроний холодно ответил:

— Я молчу, потому что не могу найти слов. Ты превзошел самого себя.

— Так и мне казалось, но, однако, этот народ...

— Можешь ли ты требовать от черни, чтоб она понимала вкус в поэзии?

— Значит, и ты заметил, что меня отблагодарили не так, как бы я заслуживал?

— Ты выбрал дурную минуту.

— Почему?

— Потому что мозг, закопченный испарениями крови, не может слушать внимательно.

Нерон стиснул руки.

— Ах, эти христиане! Подожили Рим, а теперь вредят и мне. Какое еще наказание я придумаю для них?

Петроний заметил, что идет по опасной дороге и что слова его приведут к последствию, совсем противоположному тому, чего он хотел достигнуть, и, желая обратить внимание цезаря в другую сторону, наклонился к нему и шепнул:

— Песнь твоя — чудо, но я сделаю тебе только одно замечание: метрика четвертого стиха третьей строфы оставляет желать многого.

Нерон вспыхнул румянцем стыда, как будто его поймали на каком-нибудь бесчестном деле, с испугом осмотрелся вокруг и ответил так же тихо:

— Ты все заметишь!.. Знаю!.. Переделаю!.. Но другой никто не заметил, да? А ты, ради богов, не говори никому... если... тебе мила жизнь.

Петроний, нахмурив брови, ответил с оттенком скуки и неудовольствия:

— Божественный, ты можешь обречь меня на смерть, если я мешаю тебе, но смертью не пугай меня, — боги лучше знают, страшусь ли я ее.

И он прямо посмотрел в глаза цезаря.

— Не сердись, — через минуту ответил Нерон. — Ты знаешь, что я люблю тебя.

«Плохой признак!» — подумал Петроний.

— Я хотел сегодня пригласить вас к себе на ужин, — продолжал Нерон, — но предпочитаю запереться и отделять этот проклятый стих третьей строфы. Ошибку, кроме тебя, могли заметить Сенека да еще и Секунд Каринат, но я от них скоро отделаюсь.

Он тотчас же подозвал Сенеку и объявил ему, чтоб он вместе с Акратом и Секундом Каринатом ехал в Италию и во все провинции и собирал деньги — из городов, из деревень, из храмов — отовсюду, откуда их можно извлечь или выжать. Но Сенека понял, что его заставляют быть грабителем, святотатцем и разбойником, и ответил отказом:

— Господин, я должен ехать в деревню и там ждать смерти. Я стар и нервы мои больны.

Иберийские нервы Сенеки, более сильные, чем нервы Хилона, может быть, и не были больны, но вообще здоровье его было плохо. Он сильно похудел, и голова его в последнее время совершенно побелела.

Нерон посмотрел на него и подумал, что, может быть, и действительно недолго ждать его смерти, и ответил:

— Я не хочу подвергать тебя опасности дороги, если ты правда болен, но я люблю тебя, желаю иметь тебя вблизи от себя, и потому ты, вместо того чтоб ехать в деревню, замкнешься в своем доме и не будешь переступать через его порог.

Тут он рассмеялся и прибавил:

— Если я пошлю только Акрата и Карината, то это будет то же самое, что напустить волков на овец. Кого мне дать им в начальство?

— Назначь меня, господин, — сказал Домиций Афер.

— Нет! Я не хочу навлекать на Рим гнева Меркурия, — ты и его пристыдишь своими плутнями. Мне нужно какого-нибудь стойка, как Сенека или как мой новый друг — философ Хилон.

Он оглянулся вокруг и спросил:

— А что случилось с Хилоном?

Хилон пришел в себя на свежем воздухе, возвратился в амфитеатр, чтобы прослушать песнь цезаря, а теперь приблизился к нему и сказал:

— Я здесь, светлый плод солнца и луны. Я был болен, но твое пение исцелило меня.

— Я пошлю тебя в Ахайю, — сказал Нерон. — Ты должен знать до точности, что хранится там в каждом храме.

— Пошли, Зевс, а боги сложат тебе такую дань, какой не давали никому.

— Я и сделал бы так, но не хочу лишать тебя игрищ.

— Ваал! — произнес Хилон.

Августинане, довольные тем, что расположение духа цезаря исправилось, начали смеяться и кричать:

— Нет, господин, не лишай мужественного Хилона игрищ.

— Но избавь меня, господин, от зрелища этих крикливых capitoлийских гусенят, мозги которых, взятые вместе, не наполнят одной скорлупы желудка. Теперь я, первородный сын Аполлона, пишу в честь тебя гимн на греческом языке и поэтому хочу провести несколько дней в святыне муз, чтоб вымолить у них вдохновение.

— О, нет! — воскликнула Нерон. — Ты хочешь отделаться от будущих зрелищ. Ничего из этого не выйдет.

— Господин, клянусь тебе, что я пишу гимн.

— Тогда ты будешь писать его ночью. Моли Диану о вдохновении, — она все-таки сестра Аполлона.

Хилон, опустив голову, со злостью посматривал на окружающих, которые снова начали смеяться, а цезарь обратился к Сенециону и Суилию Нерулину и сказал:

— Представьте себе, что из христиан, предназначенных на нынешний день, мы и половину не сумели убрать.

Старик Аквиллий Регул, великий знаток того, что касается амфитеатра, с минуту помолчал и промолвил:

— Зрелища, в которых люди выступают *sine armis et sine arte*¹, тянутся почти столько же, а занимают меньше.

— Я прикажу давать им оружие, — ответил Нерон.

¹ «Без оружия и без искусства».

Суеверный Вестин вдруг очнулся от задумчивости и спросил таинственным голосом:

— Заметили вы, они видят что-то, когда умирают. Смотрят кверху и умирают как будто без страданий. Я уверен, что они видят что-то.

Он сам поднял глаза к просвету амфитеатра, на который ночь начала уже набрасывать свой затканый звездами веларий. Августiane ответили Вестину смехом и шутивными предположениями, что христиане действительно могут видеть в минуту смерти.

Цезарь дал знак невольникам, держащим факелы, и покинул цирк, а за ним потянулись сенаторы, сановники и августiane.

Ночь была ясная, теплая. Перед цирком еще теснилась толпа, ожидающая отъезда цезаря, но какая-то угрюмая и молчаливая. Кое-где слышались рукоплескания, но тотчас же смолкли. Из споллария скрипучие телеги все еще увозили окровавленные останки христиан.

Петроний и Виниций совершали свой путь в молчании. Только приближаясь к своему дому, Петроний спросил:

— Ты думал о том, что я сказал тебе?

— Да, — ответил Виниций.

— Поверишь ли ты, что теперь и для меня это дело первой важности. Я должен освободить ее вопреки цезарю и Тигеллину. Это — игра, в которую я хочу выиграть, хотя бы ценою собственной шкуры. Нынешний день еще более укрепил меня в моем намерении.

— Да заплатит тебе Христос!

— Увидишь.

Они остановились у двери дома Петрония и вышли из носилок. В это время к ним приблизилась какая-то темная фигура и спросила:

— Кто из вас благородный Виниций?

— Я, — ответил трибун, — что тебе нужно?

— Я — Назарий, сын Мириам. Я пришел из темницы и принес тебе весть о Лигии.

Виниций положил ему руку на плечо и при свете факелов заглянул ему в глаза, не смея вымолвить ни одного слова. Назарий понял вопрос, что замирал на устах Виниция, и ответил:

— Она жива до сих пор. Господин, меня прислал к тебе Урс сказать, что она в горячке молится и повторяет твоё имя.

Виниций сказал:

— Слава Христу. Он может и возвратить ее мне.

Потом он взял Назария и повел его в библиотеку, куда скоро пришел и Петроний, чтобы слышать их разговор.

— Болезнь спасла ее от позора, потому что палачи боятся болезни, — говорил мальчик. — Урс и врач Главк наблюдают за ней день и ночь.

— Страж остался тот же самый?

— Да, господин, и она лежит в его комнате. Узники, которые были в нижнем помещении, все умерли от горячки или задохлись от дурного воздуха.

— Кто ты таков? — спросил Петроний.

— Благородный Виниций знает меня. Я сын вдовы, у которой жила Лигия.

— И христианин?

Мальчик вопросительно посмотрел на Виниция, но, видя, что он молится, поднял голову и ответил:

— Да.

— Каким образом ты свободно можешь входить в тюрьму?

— Я нанялся выносить тела умерших, а сделал это нарочно, чтоб приходиться с помощью к моим братьям и доставлять им вести из города.

Петроний внимательней начал смотреть на красивое лицо мальчика, на его голубые глаза и густые черные волосы, а потом спросил:

— Из какой ты страны?

— Я галилеянин, господин.

— Ты хотел бы, чтоб Лигия была свободна?

Мальчик поднял глаза кверху:

— Да, хотя бы мне самому пришлось умереть после этого.

Тогда Виниций перестал молиться и сказал:

— Скажи стражам, чтоб они положили ее в гроб, как мертвую. Выбери помощников, которые вынесут ее вместе с тобою. Около Смердящих Ям¹ вы найдете носилки и людей, которым и отдадите гроб. Стражам обещай от моего имени, что я дам им столько золота, сколько каждый может унести в своем плаще.

Когда он говорил, лицо его утратило свойственное ему мертвенное выражение, — в нем проснулся солдат, которому надежда возвратила прежнюю энергию.

Назарий вспыхнул от радости и воскликнул:

— Да исцелит ее Христос, она будет свободна.

— Ты думаешь, что стража согласится? — спросил Петроний.

— Стража, господин? Если только будет знать, что их за это не постигнет наказание и мучение.

— Да! — сказал Виниций. — Стража раньше соглашалась даже на ее бегство, тем более позволит вынести как мертвую.

— Правда, есть человек, который прижигает тела раскаленным железом, чтоб узнать, мертвые ли они, — сказал Назарий. — Но он берет несколько сестерций за то, чтоб не прикасаться к лицам умерших. За один *aureus* он прикоснется к гробу, а не к телу.

— Скажи ему, что он получит целую капсу золота, — проговорил Петроний. — Но сумеешь ли ты подобрать верных помощников?

— Я сумею подобрать таких, которые за деньги продали бы своих жен и детей.

— Где ты найдешь их?

— В самой темнице или в городе. Стража, если ее подкупить, впустит кого угодно.

— В таком случае ты проведешь меня, как наемника, — сказал Виниций.

Петроний энергически воспротивился этому. Преторианцы могли бы узнать Виниция, как он ни переоденся, и тогда все могло бы пропасть. «Ни в темнице, ни возле Смердящих Ям! — повторял он. — Нужно чтобы все — и цезарь, и Тигеллин — были убеждены, что она умерла, иначе в ту же минуту пошлют за вами погоню. Подозрения могут утихнуть лишь в том случае, когда ее вывезут в Альбанские горы или в Сицилию, а мы останемся в Риме. Лишь только через неделю или через две ты захвораешь и призовешь врача цезаря, который прикажет тебе выехать в горы. Тогда вы соединитесь, а потом...»

¹ *Puticuli* — кладбище на Эсквилинском холме, где хоронили бедных и рабов.

Он задумался на минуту, махнул рукою и сказал:

— А потом, может быть, настанет мое время.

— Да смилуется над нею Христос, — сказал Виниций. — Ты говоришь о Сицилии, но Лигия больна и может умереть.

— Пока мы ее поместим ближе. Ее излечит свежий воздух, только бы вырвать ее из темницы. Нет ли у тебя в горах какого-нибудь клиента, которому ты мог бы довериться?

— Да, есть! — поспешно ответил Виниций, — Около Кориол¹ в горах живет один человек, который носил меня на руках, когда я был еще ребенком, и который до сих пор любит меня.

Петроний подал ему дощечки.

— Напиши, чтоб он приехал сюда завтра. Я тотчас же пошлю гонца.

Он позвал начальника атрия и дал ему надлежащий приказ. Несколько минут спустя конный невольник отправился в Кориолы.

— Хотел бы я, — сказал Виниций, — чтоб ее сопровождал Урс. Я был бы покоен.

— Господин, — сказал Назарий, — это человек невероятной силы, который выломает решетку и пойдет за Лигией. В том отделении, где они заключены, высоко над землею прорезано окно, которое снаружи никем не охраняется. Я принесу Урсу веревку, а остальное он сделает сам.

— Клянусь Геркулесом, — сказал Петроний, — пусть он выбирается, как ему будет угодно, но не вместе с ней и не через два-три дня после нее, потому что за ним будут следить и откроют убежище Лигии. Не делайте этого, если не хотите погубить себя и ее. Я запрещаю вам говорить ему о Кориолах, иначе не стану помогать вам.

Виниций согласился с ним. Назарий стал прощаться и обещал прийти завтра на рассвете.

Со стражей он надеялся столковаться еще в эту ночь, но перед тем хотел зайти к матери, которая все время беспокоилась о нем. Помощника он решил искать не в городе, а подкупить одного из тех, которые вместе с ним выносили трупы из темницы.

Но на пороге он остановился, отвел Виниция в сторону и сказал ему:

— Господин, я о нашем намерении не скажу никому, даже матери, но апостол Петр обещал зайти из амфитеатра, и ему я открою все.

— В этом доме ты можешь говорить громко, — ответил Виниций. — Петр апостол был в амфитеатре с людьми Петрония. Наконец я сам пойду с тобой.

Он приказал принести себе невольничий плащ и вышел вместе с Назарием.

Петроний глубоко вздохнул.

«Прежде я желал, — подумал он, — чтоб она умерла от горячки, потому что для Виниция это было бы менее страшно, но теперь я готов пожертвовать Эскулапу золотой треножник за ее выздоровление... А, Агенбарб! Ты хочешь устроить себе зрелище из горя любящего человека! Ты, августа, сначала завидовала красоте девушки, а теперь готова была бы пожрать ее живьем из-за того, что погиб твой Руфий... Ты, Тигеллин, хочешь погубить ее назло мне!.. Посмотрим. Я говорю вам, что глаза ваши не увидят ее на арене, — или она умрет своею смертью, или я вырву ее как добычу

¹ Вероятно, разумеется город *Corioli*, находившийся в Лациуме и принадлежавший племени вольсков; но он был взят и разрушен римлянами еще в 493 году до Р. Х.

из собачьей пасти... И так вырву, что вы не будете об этом знать, а потом, как ни посмотрю на вас, так буду думать: вот глупцы, которых одурачил Кай Петроний».

И, довольный собою, он перешел в триклиний, где вместе в Эвникой возлег за ужин. В это время лектор читал им идиллии Феокрита. Ветер нагнал тучи со стороны Соракта; на дворе разыгралась гроза и нарушила тишину ясной летней ночи. От времени до времени громовые удары эхом перекатывались от одного из семи холмов к другому, а Петроний и Эвника слушали поэта, который звучным дорическим наречием воспевал пастушескую любовь, и готовились предаться сладкому отдыху.

В это время возвратился Виниций. Петроний узнал об этом и вышел к нему.

— Ну, что? — спросил он. — Не придумали чего-нибудь нового? Назарий пошел в темницу?

— Да, — ответил молодой человек, расправляя мокрые волосы. — Назарий пошел уговариваться со стражею, а я видел Петра, — он приказал мне молиться и верить.

— Это хорошо. Если все пойдет удачно, ее можно будет вынести завтра ночью.

— Мой клиент со своими людьми должен быть на рассвете.

— Дорога не долгая. Теперь отдохни.

Но Виниций пал на колена в своем кубикле и начал молиться.

На рассвете из Кориол прибыл клиент Виниция, Нигер, и, согласно приказу, привел с собою мудов, носилки и четырех верных невольников-британцев, которых из предосторожности оставил на постоялом дворе в Субурре.

Виниций не спал всю ночь и вышел навстречу Нигеру. Тот взволновался при виде своего молодого господина и, целуя его руки, заговорил:

— Господин, ты болен или огорчения высосали из тебя кровь? Я едва мог узнать тебя с первого взгляда.

Виниций провел его во внутреннюю колоннаду, называемую ксист¹, и там посвятил его в свою тайну. Нигер слушал с сосредоточенным вниманием, и на его здоровом загорелом лице отразилось волнение, которое он даже не старался подавить.

— Так она христианка? — воскликнул он и пытливо посмотрел в лицо Виниция. Молодой трибун понял, что означает этот взгляд, и сказал:

— И я христианин.

На глазах Нигера навернулись слезы. Он с минуту молчал, потом поднял руки кверху и сказал:

— О, слава тебе, Христос, что ты снял пелену с самых дорогих мне очей.

Он обхватил руками голову Виниция, заплакал от счастья и начал целовать его в лоб. Минуту спустя пришел Петроний и привел с собой Назария.

— Добрые вести, — сказал он еще издали.

Действительно, вести были добрые. Врач Главк ручался за жизнь Лигии, хотя она была больна такою же горячкою, от которой в Туллиане и других темницах ежедневно умирали сотни людей. Что касается стражи и того человека, который прижигал мертвых железом, то с ними сговориться было легко. Будущий помощник Назария, Аттис, тоже изъявил свое согласие.

¹ Не можем сказать, какую внутреннюю колоннаду автор разумеет под словом «ксист». У греков действительно словом *xystus* или *xystum* называлась крытая колоннада в гимназии, предназначавшаяся для упражнения атлетов зимой; у римлян же так называлось место в саду под открытым небом (нечто вроде аллеи), обсаженное деревьями и цветами.

— В гробу мы сделаем отверстия, так, чтобы больная могла дышать, — сказал Назарий. — Вся опасность в том, чтоб она не застонала, когда мы будем проходить мимо преторианцев, но она очень слаба и с утра лежит с закрытыми глазами. Наконец, Главк даст ей усыпительное питье, — я принес ему из города разных лекарств. Крышка гроба не будет прибита. Вы легко поднимете ее и перенесете больную в носилки, а мы положим в гроб длинный мешок с песком, — нужно, чтоб он был у вас наготове.

Виниций слушал, бледный как полотно, но слушал с таким напряженным вниманием, что, казалось, заранее отгадывал, что скажет Назарий.

— А другие тела не будут выносить из темницы? — спросил Петроний.

— Нынешнюю ночь умерло около двадцати человек, а до вечера еще умрет несколько, — ответил мальчик, — мы должны будем идти со всею процессией, но станем нарочно медлить, чтоб остаться позади. На первом повороте мой товарищ нарочно захромает, и мы сильно отстанем. Вы ждите нас возле маленького храма Либитины. Если б Бог послал темную ночь!

— Бог пошлет! — сказал Нигер. — Вчера вечер был ясный, а потом нашла гроза. Сегодня небо опять ясное, но парить начало уже с утра. Теперь каждую ночь будут дожди и грозы.

— Вы пойдете без огней? — спросил Виниций.

— Факелы понесут только впереди. На всякий случай, вы будьте возле храма Либитины как только смеркнется, хотя обыкновенно мы выносим мертвых около полуночи.

Все замолчали, слышалось только учащенное дыхание Виниция. Петроний обратился к нему.

— Вчера я говорил, что нам обоим лучше было бы остаться дома, но теперь я вижу, что и сам не усую... Наконец, если б дело шло о бегстве, то нужно было бы соблюдать больше осторожности, но раз ее вынесут, как мертвую, то, кажется, подозрение не может зародиться ни в чьей голове.

— Да, да! — подтвердил Виниций, — я должен быть там. Я сам выну ее из гроба...

— А когда она будет в моем доме, я ручаюсь за нее, — сказал Нигер.

На этом разговор кончился. Нигер отправился на постоялый двор к своим людям. Назарий спрятал под тунику мешок с золотом и возвратился в темницу. Для Виниция начался день, полный беспокойства, тревоги и лихорадочного ожидания.

— Дело должно удался, потому что оно хорошо задумано, — говорил ему Петроний, — лучше невозможно было составить план. Ты должен притворяться убитым и ходить в темной тоге. Пусть тебя все видят... Обдуманно все так, что ошибки быть не может... А впрочем... Ты уверен в своем клиенте?

— Он христианин, — сказал Виниций.

Петроний с удивлением посмотрел на него, потом пожал плечами и заговорил как будто сам с собою:

— Клянусь Поллуксом! Как, однако, это распространяется!.. И в какой мощной руке оно держит человеческие души... Под такой грозой люди сразу отреклись бы от всех богов, — римских, греческих и египетских. Как это странно!.. Если б я верил, что на свете что-нибудь еще зависит от наших богов, то теперь обещал бы каждому по шести белых быков, а Юпитеру Капитолийскому — двенадцать. Но и ты не щади обещаний своему Христу...

— Я уже отдал ему свою душу, — ответил Виниций.

И они расстались. Петроний возвратился в кубикул, Виниций пошел издали посмотреть на темницу, а оттуда направился к скату Ватиканского холма, к хижине фоссора, где он был окрещен апостолом. Ему казалось, что в этой хижине Христос услышит его скорее и, войдя в хижину и припав к земле, он напряг все силы своей наиболее души в молитве о милосердии и погрузился в нее так, что забыл, где он и что с ним.

В полдень его пробудил звук труб, доходящий со стороны цирка Нерона. Виниций вышел из хижины и оглядывался кругом глазами человека, еще не успевшего стряхнуть с себя сонное опьянение. На улице царили жар и тишина, от времени до времени прерываемая только безумно громким стрекотанием кузнечиков. Воздух сделался душным; небо над городом было еще голубое, но в стороне Сабинских гор, у края горизонта, видимо собирались темные тучи. Виниций возвратился домой. В атрии его ожидал Петроний.

— Я был на Палатине, — сказал он, — нарочно показался туда и даже сел играть в кости. У Апиция вечером пир; я сказал, что мы придем, но только после полуночи, потому что перед этим я должен выспаться. Чем бы ни кончилось наше дело, хорошо, если б пошел и ты.

— От Нигера и от Назария не было никаких известий? — спросил Виниций.

— Нет. Мы увидим их только в полночь. Ты замечаешь, что собирается гроза?

— Да.

— Завтра в цирке будут любоваться распятыми христианами... Может быть, дождь помешает.

Он подошел к Виницию, притронулся к его плечу и сказал:

— Но ты не увидишь ее на кресте, — увидишь в Кориолах. Клянусь Кастором! Минуту, в которую мы освободим ее, я не отдал бы за все геммы в Риме. Вечер уж близок.

Вечер приближался, мрак начал спускаться на город раньше, чем обыкновенно, — настолько тучи окутали весь горизонт. С наступлением ночи пошел сильный дождь, который испарялся на камнях, раскаленных дневным жаром, и наполнял густым туманом улицы города.

— Поспешим, — сказал наконец Виниций. — Может быть, по милости дождя мертвых раньше начнут выносить из темницы.

— Да, пора! — сказал Петроний.

Надев галльские плащи с капюшонами, они через садовую калитку вышли на улицу. Петроний вооружился коротким римским кинжалом, который всегда брал с собою во время ночных походов.

Город был пуст. От времени до времени молнии раздирали тучи, освещая ярким блеском свежие стены только что построенных или строящихся домов и мокрые плиты, которыми были вымощены улицы. После долгого пути Виниций и Петроний увидели холм, на котором стоял храм Либитины, а у подножия холма группу из нескольких человек и мулов.

— Нигер! — тихо окликнул Виниций.

— Я здесь, господин! — послышался голос из-за мглистой занавеси.

— Все готово?

— Да, дорогой. Как только стемнело, мы были уже на месте. Но спрячься под стену, а то промокнешь насквозь. Что за гроза! Я думаю, будет град.

Опасения Нигера оправдались: вскоре начал сыпать град, сначала мелкий, потом все более крупный и частый. В воздухе тотчас же похолодело.

— Если нас кто-нибудь и увидит, то ни в чем не заподозрит, — шепнул Нигер, — мы покажемся людьми, которые хотят переждать грозу. Но я боюсь, как бы мертвых не оставили в темнице до завтра.

Град перестал идти, но дождь поливал все сильнее. По временам срывался ветер и приносил со стороны Смердящих Ям невыносимое зловоние разложившихся тел, которые закапывали неглубоко и небрежно.

Вдруг Нигер сказал:

— Я вижу сквозь дождь какие-то огоньки... один, два, три... Это факелы!

И он обратился к своим людям:

— Смотрите, чтоб мулы не фыркали.

— Идут! — сказал Петроний.

Огни становились все яснее. Через минуту можно было даже видеть, как колеблется от дуновения ветра пламя факелов.

Нигер перекрестился и начал молиться. Печальная процессия приблизилась и наконец, поравнявшись с храмом Либитины, остановилась. Петроний, Виниций и Нигер молча прижались к холму, не понимая, что это значит. Но носильщики остановились только для того, чтоб обвязать себе нос и губы и предохранить себя от удушливого смрада, который возле самых *puticuli* был совершенно невыносим, потом подняли гробы и пошли дальше.

Только один гроб остановился напротив храма.

Виниций подскочил к нему, а за ним Петроний, Нигер и два невольника-британца с носилками.

Но прежде чем они добежали, из мрака послышался полный боли голос Назария:

— Господин, ее вместе с Урсом перевели в Эсквилинскую темницу. Мы несем другое тело, а ее взяли раньше полуночи...

—

Петроний, возвратившись домой, был угрюм, как гроза, и не пытался даже утешать Виниция. Он понимал, что об освобождении Лигии из Эсквилинского подземелья нечего и мечтать. Он догадывался, что ее, вероятно, для того перевели из Туллиана, чтоб она не умерла от горячки и не избежала амфитеатра, но это и служило доказательством, что за нею наблюдают и стерегут ее бдительней, чем других. Петронию до глубины души было жаль и Лигию, и Виниция, но кроме того его волновала мысль, что в первый раз в жизни ему что-то не удалось и что в первый раз он остался побежденным в борьбе.

«Фортуна, кажется, покидает меня, — говорил он самому себе, — но боги ошибаются, если думают, что я примирюсь с такою жизнью, как, например...»

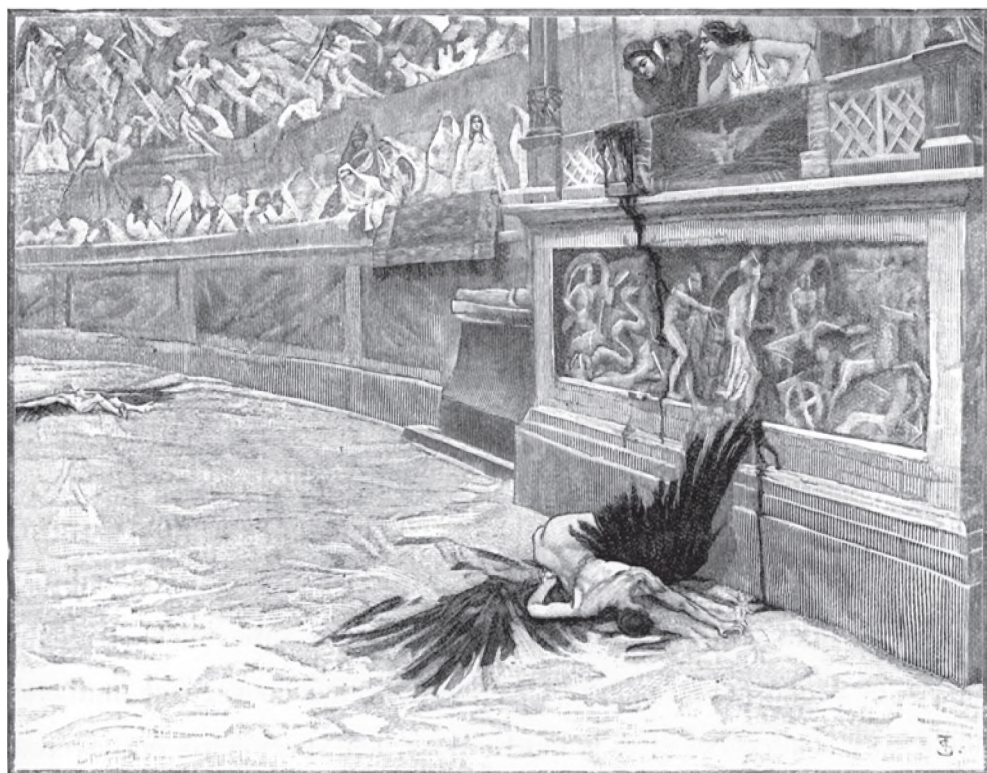
Он посмотрел на Виниция, который также глядел на него широко раскрытыми глазами.

— Что с тобою? У тебя горячка? — спросил Петроний.

А Виниций ответил каким-то странным, изломанным и медленным голосом, какой бывает у больного ребенка:

— Я верю, что он может вернуть ее мне.

Над городом стихали последние раскаты грозы.



ГЛАВА XV

Трехдневный дождь — явление редкое в Риме в летнюю пору, — град, падающий вопреки правилам, установленным природою, не только днем и вечером, но и ночью, — все это прервало течение зрелищ. Народ начинал тревожиться. Предсказывали неурожай винограда, а когда удар молнии расплавил на Капитолии бронзовую статую Цереры, в храме Юпитера Статора были назначены жертвоприношения. Жрецы Цереры распустили слух, что гнев богов обрушился на город за то, что христиан

чересчур долго терпели, и толпа настаивала, чтоб вновь приступили к зрелищам, не смотря на погоду. Радость охватила весь Рим, когда после трехдневной остановки *ludi*¹ начались снова.

А тем временем восстановилась и хорошая погода. Амфитеатр с рассвета начал наполняться народом, цезарь также прибыл рано, вместе с весталками и своим двором. Зрелище должно было начаться борьбой христиан между собой. Их нарочно нарядили гладиаторами и дали им всякое оружие, — наступательное и оборонительное, какое употреблялось борцами. Но толпу ждало разочарование. Христиане побросали наземь сети, вилы, копыя и мечи, начали обниматься и поощрять друг друга хранить мужество перед лицом мук и смерти. При виде этого зрители страшно обиделись и вознегодовали. Одни обвиняли христиан в трусости и малодушии, другие утверждали, что они нарочно не хотят биться из ненависти к римскому народу, для того чтоб лишить его радости, которую он всегда испытывает при виде мужества. Наконец по приказу цезаря выпустили настоящих гладиаторов, которые в одну минуту перебили коленопреклоненных безоружных христиан.

Трупы убрали, арену привели в порядок, и зрелище обратилось в ряд мифологических картин, сочиненных самим цезарем. Прежде всего толпа увидела Геркулеса, сгорающего на костре на горе Эте². Виниций вздрогнул при мысли, что для роли Геркулеса могут назначить Урса, но очередь верного слуги Лигии, вероятно, еще не наступила, потому что на костре сгорел какой-то другой христианин, совершенно не известный Виницию. Зато в следующей картине Хилон, которого цезарь не хотел уволить от зрелищ, увидел нечто знакомое. Представлялась смерть Дедала³ и Икара. В роли Дедала выступал Эвриций, тот самый старец, который когда-то объяснил Хилону значение знака рыбы, а в роли Икара его сын — Кварт. Их обоих при помощи особой машины подняли кверху и сбросили с огромной высоты на арену. Молодой Кварт упал так близко от цезарского подия, что обрызгал кровью не только наружные украшения, но и обитый пурпуром борт. Хилон не видал падения: он закрыл глаза и услышал только глухой стук, но когда увидел кровь возле себя, то чуть вторично не упал в обморок. Картины быстро сменялись одна другою. Мучения девушек, которых перед смертью опозоривали гладиаторы, наряженные зверями, приводили в восторг толпу. Затем предстали жрицы Кибелы и Цереры, Данаиды, Дирка и Пасифая⁴, — наконец, вывели совсем уже малолетних девочек, — им предстояла участь быть разорванными дикими лошадьми. Народ осыпал рукоплесканиями новые

¹ Зрелища (*примеч. ред.*).

² Эта — гора в Центральной Греции, с которой Геракл, согласно древнегреческой мифологии, был взят богами на Олимп (*примеч. ред.*).

³ Дедал, который, по сказаниям, сумел долететь из Крита в Сицилию, в римских амфитеатрах погибал точно так же, как и Икар.

⁴ Данаиды — дочери царя Даная, убившие своих мужей и за то осужденные в аду вечно лить воду в дырявую бочку. Дирка — жена фиванского царя Лика, который вступил с нею в брак, отвергнув свою первую жену Антиопу. Дирка, боясь, как бы он не примирился с Антиопой, выпросила у него позволение держать Антиопу в заключении. Но сыновья Антиопы убили Лика, а Дирку привязали к хвосту дикого быка, который долго таскал ее. Наконец боги жалелись над ней и превратили ее в источник, получивший ее имя. Пасифая — жена критского царя Миноса, мать чудовища Минотавра, известная своей безумной страстью к прекрасному быку.

измышления цезаря, а он, гордый и счастливый, ни на минуту не отнимал от своего глаза полированного изумруда, наблюдая, как железо раздирает белое тело, как судорожно содрогаются умирающие люди. Однако показывались картины, связанные и с историей римского народа. После девочек появился Муций Сцевола¹ с рукою, привязанною к железному треножнику, наполненному горящими угольями. Смерд паленого мяса наполнил весь амфитеатр, но мученик, как настоящий Сцевола, стоял, не проронив ни одного стона, с глазами, поднятыми кверху, и шептал молитвы почерневшими губами. Его добили и вытащили в сполиарий; наступил обычный полуденный перерыв. Цезарь вместе с весталками и августианами покинул амфитеатр и направился к нарочно разбитой громадной пурпуровой палатке, где для него и его гостей был готов роскошный *prandium*. Толпа последовала его примеру и живописными группами расположилась вокруг пурпурной палатки, чтобы дать отдых затекшим членам и воспользоваться щедрым угощением, которое по распоряжению цезаря всюду разносили придворные невольники. Только самые любопытные из зрителей сошли на арену и, дотрагиваясь пальцами до слипшегося от крови песка, тоном знатоков и любителей толковали о том, что было и что будет представлено. Но наконец ушли и они, чтобы не опоздать на праздник, — остались люди, которых удерживало не любопытство, а сочувствие к будущим жертвам.

Прислужники сравнивали арену и начали рыть в ней ямки одна возле другой, рядами, от одной стены амфитеатра до другой, так что последний ряд был в нескольких шагах от цезарского подия. Снаружи долетал говор, крик и рукоплескания, а внутри с лихорадочною поспешностью подготавливались какие-то новые муки. Вдруг кундуки открылись, и изо всех дверей показались полчища христиан, обнаженных, несущих кресты на плечах. Весь амфитеатр наполнился ими. Бежали и старцы, согбенные под тяжестью деревянных обрубков, и мужчины в цвете лет, и женщины с распущенными волосами, которыми они старались прикрыть свою наготу, подростки-мальчики и совсем маленькие дети. Кресты, а также и жервы по большей части были украшены цветами. Цирковая прислуга ударами палок принуждала несчастных устанавливать кресты в соответственные ямы и становиться рядом с ними. Таким образом должны были погибнуть те, которых в первый день игрищ не успели выгнать на растерзание диким животным. Черные невольники хватали христиан, клали на крест навзничь и прибавали их руки к поперечине, спеша, торопливо, чтобы народ, возвратившись в цирк, нашел бы уже все кресты на месте. Весь амфитеатр огласился стуком молотков. Этот стук эхом разошелся по всем рядам, донесся до площади, окружающей амфитеатр, и до палатки, в которой цезарь угощал своих друзей и весталок. В палатке пили вино, шутили над Хилоном, августиане шептали какие-то странные слова жрицам Весты, а на арене кипела работа, — гвозди все глубже вбивались в ноги и руки христиан, лопаты все больше засыпали ямы, в которые были вставлены кресты.

Между жертвами, очередь которых должна была скоро наступить, находился и Крисп. Львам не хватило времени растерзать его, и на его долю выпал крест, а он, всегда готовый к смерти, утешал себя мыслью, что час его пробил. Теперь он казался совсем другим, чем прежде. Его сухое тело было совершенно обнажено, только бедра

¹ *Гай Муций Сцевола* — легендарный римский герой, на допросе сам положивший свою правую руку на горящие угли жертвенника (*примеч. ред.*).

его окружала гирлянда из плюща, а на голове был венок из роз. Но в глазах его горела все та же непреоборимая энергия, из-под венка выглядывало все то же суровое и фанатическое лицо. И сердце его не изменилось: как прежде, в куникуле, так и теперь он громил своих собратий вместо того, чтоб утешать их.

— Благодарите Избавителя, — говорил Крисп, — что он позволяет вам умереть такою же смертью, какую умер он сам. Может быть, за это будет отпущена часть ваших грехов, но вы все-таки трепещите, ибо справедливость требует возмездия и не может быть одинаковой награды для злых и добрых.

Словам его вторил стук молотков, которыми прибивали к крестам руки и ноги жертв. На арене вырастало все больше и больше крестов, а Крисп, обращаясь к тем, кто еще не был пригвожден, продолжал:

— Я вижу разверстое небо, но вижу и разверстую бездну... Я сам не знаю, какой отчет дам Господу в моей жизни, хотя я верил в него и ненавидел зло, и не смерти я боюсь, а воскресения, не муки, а суда, ибо наступает день гнева...

В это время из ближайших рядов амфитеатра раздался какой-то голос, спокойный и торжественный:

— Не день гнева, а день милосердия, день избавления и счастья, — я говорю вам, что Христос успокоит вас, утешит и посадит одесную. Уповайте, — небо открыто перед вами.

При этих словах глаза всех людей обратились к амфитеатру; даже те, которые были пригвождены к крестам, подняли свои бледные измученные лица и начали смотреть в сторону говорящего.

Он приблизился к самой перегородке, отделяющей его от арены, и осенил христиан знамением креста.

Крисп протянул к нему руки, как будто хотел разгромить его, но увидел его лицо, и колени его согнулись, а губы прошептали:

— Апостол Павел!

К великому изумлению цирковых прислужников, все христиане, еще оставшиеся на свободе, также преклонили колена, а Павел Тарсянин обратился к Криспу и сказал:

— Крисп, не угрожай им, ибо еще сегодня они будут с тобой в раю. Ты думаешь, что они будут осуждены, — но кто же осудит их? Бог, который отдал за них своего Сына? Христос, который так же умер для их спасения, как они умирают ради его имени? И как может осудить тот, который любит? Кто будет жаловаться на судьбы Божии? Кто скажет про эту кровь: проклятая?..

— Господин, я ненавижу зло, — ответил старый священник.

— Христос заповедал больше любить людей, чем ненавидеть зло, ибо учение его любовь, а не ненависть.

— Я согрешил в минуту смерти, — ответил Крисп и начал бить себя в грудь.

В это время начальник амфитеатра приблизился к апостолу и спросил:

— Кто ты, что говоришь с осужденными?

— Римский гражданин, — спокойно ответил Павел и, обратившись к Криспу, добавил:

— Верь, что сей день — день милосердия, и почий в мире, слуга Божий.

В это время к Криспу подошли два негра, чтобы возложить его на крест, но он еще раз оглянулся вокруг и крикнул:

— Братья мои, молитесь за меня!

И лицо его утратило привычную суровость, окаменелые черты приняли выражение спокойствия и кротости. Он сам раскинул руки вдоль поперечин креста, чтоб облегчить труд негров и, смотря прямо в небо, начал горячо молиться. Казалось, он ничего не чувствует; когда гвозди углублялись в его руки, ни малейшей дрожи не пробежало по его телу, на лице не появилось ни малейшего выражения боли. Он молился, когда его прибывали к кресту, молился, когда его крест подняли, поставили в яму и начали утаптывать землю. И только когда толпа со смехом и криками начала наполнять амфитеатр, брови старца слегка нахмурились, словно он гневался на язычников, что они нарушают тишину и сладкое спокойствие его смерти.

Кресты все были подняты, — на арене словно вырос лес с людьми, пригвожденными к деревьям. На поперечины крестов и на головы мучеников падали лучи солнца, а на арене образовались густые тени, которые сплетались причудливой решеткой, сквозь которую проглядывал желтый песок. Для толпы вся прелесть этого зрелища состояла в наблюдении за медленной смертью. Никогда до сих пор еще не было такого количества крестов. Арена так была переполнена ими, что прислужники с трудом могли пробираться между ними. По краям висели преимущественно женщины, — Криспа, как вероучителя, водрузили почти против цезарского подия, на огромном кресте, обвитом у основания зеленью. Из жертв пока еще никто не умер, но распятые раньше впали в обморок. Никто не стонал и не просил помилования. Одни висели с головами, склонившимися на плечо или поникшими на грудь, как будто обьятые сном; другие смотрели на небо и тихо шевелили губами. В этом страшном лесу крестов, в этих распростертых телах, в этом молчании жертв было что-то страшное. Народ, который после обеда входил в цирк с веселыми криками, сытый и удовлетворенный, теперь умолк, не зная, на каком теле остановить взор и что думать. Нагота напряженных женских тел перестала возбуждать его страсти. Никто не бился об заклад, кто из распятых раньше умрет, а это бывало всегда, когда на арене появлялось меньшее число осужденных. Казалось, что цезарь также скучает, лицо у него было сонное, и он так лениво оправлял свое ожерелье.

В это время Крисп, глаза которого до сих пор были закрыты, как у умирающего, вдруг приподнял ресницы и начал смотреть на цезаря.

Лицо его снова приняло такое неумолимое выражение, взгляд загорелся таким огнем, что августиане начали перешептываться друг с другом, наконец и сам цезарь обратил на него внимание и приставил изумруд к своему глазу.

Наступила полнейшая тишина. Глаза всех зрителей были устремлены на Криспа, который пробовал пошевелить правой рукою, как будто хотел оторвать ее от дерева.

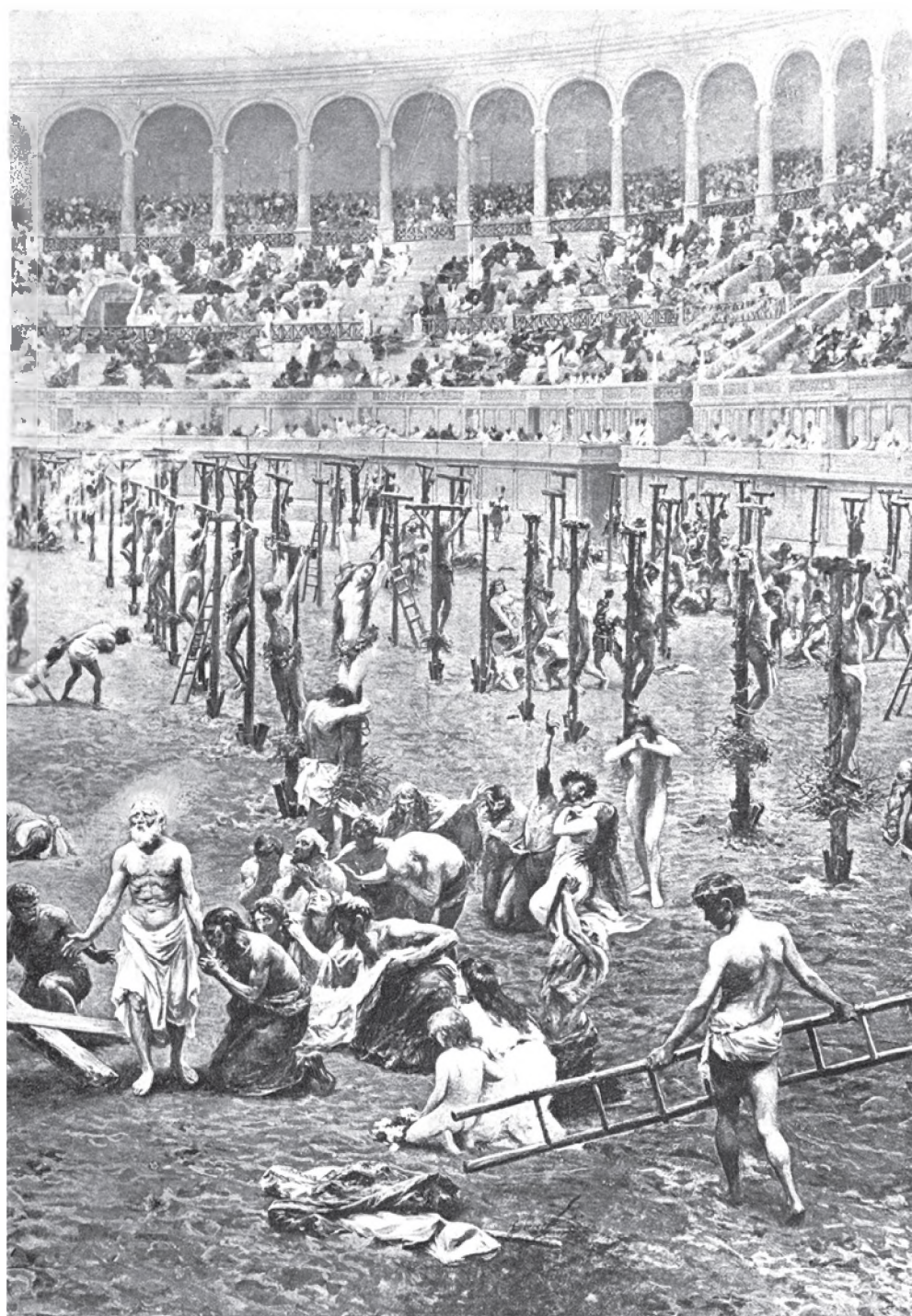
Спустя минуту грудь его напряглась, ребра выступили наружу, и он крикнул:

— Матереубийца, горе тебе!

Августиане, услышав смертельное оскорбление, брошенное владыке мира в присутствии многотысячной толпы, не смели дышать. Хилон совершенно замер. Цезарь вздрогнул и выпустил из рук изумруд.

Но и он также затаил дыхание. Голос Криспа все сильней и сильней разносился по всему амфитеатру:

— Горе тебе, убийца жены и брата, горе тебе, антихрист! Бездна разверзается под тобою, смерть протягивает тебе руки и гроб ожидает тебя. Горе тебе, живой труп, ибо ты умрешь в страхе и будешь осужден навеки!



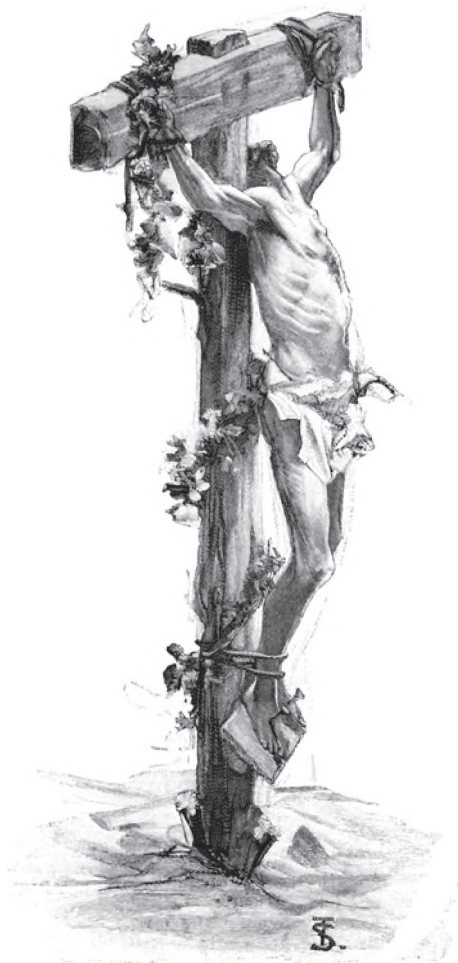
— Братья мои, молитесь за меня!

И, не имея возможности оторвать руки от поперечины креста, распростертый, страшный, еще при жизни похожий на скелет, неумолимый, как предопределение, Крисп потрясал белой бородою над подиумом Нерона, а от его движений на песок сыпались лепестки роз из венка, которым была украшена его голова.

— Горе тебе, убийца! Исчерпана твоя мера, и час твой приближается!

Он напрягся еще раз; казалось, что вот-вот он оторвет руку от креста и грозно прострет ее над цезарем; но вдруг его исхудалые руки вытянулись еще больше, тело осунулось книзу, голова упала на грудь, и Крисп умер.

Среди леса распятых те, что были слабее, тоже начали засыпать вечным сном.





ГЛАВА XVI

— Господин, — говорил Хилон, — теперь море, как масло, и волны точно за-
снули. Поедем в Ахайю. Там тебя ждет слава Аполлона, там тебя ждут венки, триум-
фы, там люди обоготворят тебя, а боги примут, как равного себе гостя, а здесь,
господин...

И он замолчал, его нижняя губа начала так сильно трястись, что его слова пере-
шли в непонятный шепот.

— Поедем после окончания игрищ, — ответил Нерон. — Я знаю, что уж и так
иные называют христиан *«innocia corpora»*¹. Если б я уехал, это начали бы повторять
все. Чего ты боишься, червивый гриб?

¹ «Невинные тела».

Цезарь пытливно посмотрел на Хилона, как будто ожидая от него каких-нибудь объяснений, — он только притворялся спокойным. На последнем представлении он сам испугался слов Криспа и, возвратившись домой, не мог заснуть, отчасти от бешенства и стыда, отчасти от страха. Суеверный Вестин, который молча слушал их беседу, осмотрелся кругом и сказал таинственным голосом:

— Господин, послушайся этого старца. В христианах есть что-то странное. Их божество посылает им легкую смерть, но оно может отомстить за них.

На это Нерон стремительно ответил:

— Не я устраивал игрища. Это Тигеллин.

— Да, это я! — ответил Тигеллин, который услышал ответ цезаря. — Это я, и я смеюсь над всеми христианскими богами. Господин, Вестин — это пузырь, надутый предрассудками, а доблестный грек готов умереть от страха при виде наседки, защищающей своих цыплят.

— Это хорошо, — сказал Нерон, — но с этого дня прикажи у христиан отрезать языки или затыкать чем-нибудь рот.

— Божественный, рот заткнет им огонь.

— Горе мне! — простонал Хилон.

Цезарь, ободренный дерзкой самоуверенностью Тигеллина, рассмеялся и сказал, показывая пальцем на старого грека:

— Смотрите, каков потомок Ахилла.

Действительно, Хилон казался страшным. Остатки его волос совершенно поседели, на лице застыло выражение какой-то безмерной тревоги и угнетения. По временам он казался одурманенным чем-то, часто не отвечал на вопрос или вспыхивал гневом и становился настолько дерзким, что августиане предпочитали не затрагивать его.

Такое настроение нашло на него и теперь.

— Делайте со мной, что хотите, а на игрища я больше не пойду! — отчаянно крикнул он и прищелкнул пальцами. Нерон с минуту посмотрел на него, обратился к Тигеллину и сказал:

— Ты озаботишься, чтобы в садах этот стоик был около меня. Я хочу видеть, какое впечатление произведут на него наши факелы.

Хилон испугался угрозы, которая слышалась в голосе цезаря.

— Господин, — сказал он, — я ничего не вижу ночью.

— Ночь будет ясна, как день, — сказал цезарь со страшной улыбкой и начал разговаривать с другими августианами о конных ристалищах, которые он намеревался устроить при конце празднеств.

К Хилону подошел Петроний, ударил его по плечу и сказал:

— Что, не говорил я тебе: не выдержишь?

Хилон ответил:

— Мне хочется напиться.

И он протянул дрожащую руку к кратеру с вином, но не мог донести его до губ. Вестин, видя это, взял сосуд, придвинул его ближе и с заинтересованным и испуганным лицом спросил:

— Тебя преследуют Фурии, да?

Старик с минуту смотрел на Вестина, как будто не понимая его вопроса, и только моргал глазами. Вестин повторил:

- Тебя преследуют Фурии?
- Нет, — ответил Хилон, — но передо мною расстилается ночь.
- Как ночь? Да сжалятся над тобою боги. Как ночь?
- Ночь ужасная, непроглядная, в которой что-то движется и идет ко мне навстречу. Но я не знаю, что это, и боюсь.
- Я всегда был уверен, что они колдуны. Снится тебе что-нибудь?
- Нет, потому что я не сплю. Я не думал, что их так покарают.
- А тебе жаль их?
- Для чего вы проливаете столько крови? Ты слышал, что тот старик говорил с креста? Горе нам!
- Слышал, — тихо отвечал Вестин. — Но ведь они поджигатели.
- Неправда!
- И враги человеческого рода.
- Неправда!
- Они отравляют воду.
- Неправда!
- Они убивают детей.
- Неправда!
- Как же это? — с удивлением спросил Вестин. — Ты же сам говорил это и предал их в руки Тигеллина.
- Вот ночь и окружила меня, и смерть идет ко мне. Иногда мне кажется, что я уже умер, и вы также.
- Нет! Умирают они, а мы живы. Но скажи мне, что они видят, когда умирают?
- Христа.
- Это их бог? А что, это могущественный бог?
- Но Хилон также ответил вопросом.
- Что это за факелы будут гореть в садах? Ты слышал, что говорил цезарь?
- Слышал и знаю. Они называются *sarmentitii* и *semaxii*¹. Их оденут в скорбные туники, пропитанные смолой, привяжут к столбам и подожгут. Только как бы их бог не наслал на город каких-нибудь новых несчастий. *Semaxii* — это страшная казнь.
- Я предпочитаю это, тут не будет крови, — ответил Хилон. — Прикажи невольнику приставить мне кратер к губам. Я хочу пить и проливаю вино, — рука моя дрожит от старости.
- Другие августиане в это время тоже разговаривали о христианах. Старик Домиций Афер издевался над ними.
- Их такое множество, — говорил он — что могла бы вспыхнуть междоусобная война. Помните, были опасения, не захотят ли они защищаться. А они умирают, как овцы.
- Пусть бы попробовали! — сказал Тигеллин.
- На это отозвался Петроний.
- Вы ошибаетесь. Они защищаются.

¹ *Sarmentitii* происходит от *sarmentum* («хворост»), *semaxii* — от *semis* («половина») и *axis* («ось»). Тертуллиан говорит, что христиан называли так потому, что «*ad stipitem dimidii axis revincti sarmentorum ambitu exurimur*» («привязанные к столбу, находящемуся на середине оси, мы сожигаемся, обложенные хворостом»).

— Каким образом?

— Терпением.

— Это новый способ.

— Несомненно. Но можете ли вы сказать, что они умирают, как обыкновенные преступники? Нет! Они умирают так, как будто преступниками были те, которые приговаривают их к смерти, то есть мы и весь римский народ.

— Что за вздор! — воскликнул Тигеллин.

— *Hic Abdera*¹, — ответил Петроний.

Но другие августиане, пораженные меткостью его замечания, с изумлением начали переглядываться друг с другом и повторять:

— Правда! В их смерти кроется что-то особенное.

— Я говорю вам, что они видят свое божество, — крикнул издали Вестин.

Несколько августиан обратились к Хилону:

— Эй, старик, ты хорошо их знаешь, скажи нам, что они видят?

Грек выплюнул вино на тунику и ответил:

— Воскресение!

И он затрясся так, что сидящие рядом с ним разразились громким хохотом.

¹ *Hic Abdera* — буквально: «здесь Абдера». Абдера — город во Фракии, жители которого, подобно нашим пошехонцам, считались очень глупыми. Таким образом, поговорка эта означает: «Вот дурак-то!»



ГЛАВА XVII

Виниций несколько ночей провел вне дома. Петронию приходило в голову, что он, может быть, составил какой-нибудь новый план и пытается освободить Лигию из Эсквилинской темницы, но не хотел расспрашивать ни о чем, чтобы не разрушить замыслов своего друга. Изящный скептик сделался до некоторой степени суеверным или, вернее, с того дня, когда ему не удалось вырвать Лигию из Мамертинского подземелья, перестал верить в свою звезду.

Наконец, он и теперь не верил в хороший исход попыток Виниция. Эсквилинская темница, наскоро устроенная из погребов зданий, разрушенных при пожаре, правда, не была так страшна, как старый Туллиан, но зато ее оберегали во сто раз больше. Петроний хорошо понимал, что Лигию перевели туда только для того, чтоб она не умерла и не избежала амфитеатра. Ему легко было догадаться, что поэтому-то ее и будут оберегать, как зеницу ока.

«Очевидно, — говорил он себе, — цезарь и Тигеллин предназначают ее для какого-нибудь особенно ужасного зрелища, и Виниций прежде сам погибнет, чем сумеет освободить ее».

Виниций и сам потерял надежду освободить Лигию. Теперь сделать это мог только Христос. Молодой трибун заботился лишь о том, чтобы видеться с нею в темнице.

С некоторого времени ему не давала покоя мысль: ведь проник же Назарий в Мамертинскую темницу как рабочий, который должен выносить трупы. И Виниций решил испробовать этот способ.

Подкупленный за огромную сумму надзиратель Смердящих Ям наконец принял его в число своих рабочих, которые каждую ночь должны были являться за трупами в темницы. Опасность, что Виниций будет узнан, представлялась ничтожной. От этой опасности его охраняли ночь, невольничья одежда и плохое освещение темницы. Наконец, кому бы могло прийти в голову, что патриций, внук и сын консула, мог бы очутиться среди работников могильщика, осужденных вдыхать испарения темницы и Смердящих Ям, и взялся бы за работу, к которой людей принуждало только рабство или крайняя нужда.

Когда подошел желанный вечер, Виниций с радостью перевязал свои бедра, обмотал голову тряпкой, напитанной терпентином¹, и с бьющимся сердцем отправился вместе с другими рабочими на Эсквилин.

Преторианская стража не ставила им никаких затруднений, все рабочие были снабжены соответственными тессерами, которые центурион осматривал при свете ламп. Через минуту большие железные двери отворились, и рабочие вошли.

Виниций увидал перед собою обширный сводчатый погреб, который соединялся с рядом таких же погребов. Слабые ночники освещали группы людей. Одни из них лежали около стен, погруженные в сон или, может быть, уже умершие, другие окружали большие сосуды с водой и жадно пили, как люди, томимые горячкой. Дети спали, прижавшись к своим матерям. Вокруг слышались то стоны и громкое ускоренное дыхание больных, то плач, то молитвенный шепот, то тихая песня, то проклятие тюремщикам. В подземелье царили теснота и трупный запах. В темных углах сновали темные фигуры, а ближе при слабых огоньках виднелись лица бледные, испуганные, истощенные голодом, с глазами, угасшими или светящимися лихорадочным блеском, с посиневшими губами, с потом, струящимся по лбу. В углах громко бредили больные, одни просили воды, другие — чтоб их вели на смерть. И все-таки эта темница была менее страшна, чем старый Туллиан. У Виниция подкосились ноги и захватило дыхание. Когда он подумал, что среди этого горя и ужаса находится Лигия, волосы дыбом стали на его голове, в груди замер крик отчаяния; амфитеатр, клыки диких зверей, кресты, — все это не могло сравниться с этим страшным подземельем, в котором умоляющие людские голоса изо всех углов повторяли:

— Ведите нас на смерть.

Виниций впился ногтями в ладонь, он чувствовал, что слабеет и что сознание покидает его. Все, что он пережил до тех пор, вся его любовь и горе сменились в нем одною жаждой смерти.

В это время рядом с ним раздался голос надзирателя Смердящих Ям:

— Сколько у вас сегодня трупов?

— Около дюжины, — ответил тюремщик, — но к утру будет больше, там у стены некоторые уже начинают хрипеть.

И он начал жаловаться на женщин, что они скрывают умерших детей, чтобы как можно дольше удержать их при себе и не отдавать в Смердящие Ямы. Трупы узнавать можно было только по запаху, отчего воздух, и так страшный, портился еще более. «Я предпочитал бы, — говорил тюремщик, — быть невольником в сельском эргастуле, чем стеречь этих гниющих при жизни собак». Надзиратель Ям утешал его и утверждал, что и его служба не легче. За это время к Виницию опять возвратилось

¹ *Терпентин* — смолистый сок, который добывают из хвойных деревьев (*примеч. ред.*).

сознание действительности, и он начал осматривать подземелье, а в это время его преследовала мысль, что он может и не увидеть Лигию. Погребов соединялись между собою наскоро прорытыми проходами, а рабочие могильщика входили только в те, из которых нужно было забирать тела умерших. Виниция охватил страх, что все его труды могут ни к чему не привести его.

К счастью, его патрон пришел к нему с помощью.

— Тела нужно выносить сейчас, трупы еще более распространяют заразу. Иначе вы умрете все, и вы, и узники.

— На все погребов нас всего только десять человек, — ответил тюремщик, — нужно же нам спать когда-нибудь.

— Тогда я оставляю четырех моих людей, которые ночью будут ходить по погребам.

— Трупы нужно подвергать осмотру, — вышло приказание, чтоб умершим перерезывать горло и уж потом отправлять в Ямы.

Надзиратель Ям назначил четырех людей, в том числе и Виниция, а с остальными отправился накладывать трупы на носилки.

Виниций вздохнул свободнее. Он был уверен, что теперь найдет Лигию.

Прежде всего он начал тщательно осматривать первое подземелье, заглянул во все темные углы, куда почти не доходил свет ночников, но Лигии нигде не мог найти. В другом и третьем погребов его поиски были так же тщетны.

Час был уже поздний, трупы уже все вынесли. Тюремщики, улегшись в коридорах, соединяющих погребов, заснули, дети, утомленные плачем, замолкли, в подземельях раздавалось только громкое дыхание больных, и лишь кое-где слышался шепот молитвы. Виниций вошел в четвертый погреб, значительно меньших размеров, поднял кверху ночник и начал осматриваться.

Он вздрогнул: ему показалось, что у решетки, вделанной в стену, он увидал огромную фигуру Урса.

И, задув ночник, он приблизился к решетке и спросил:

— Урс, это ты?

Гигант повернул к нему голову.

— Кто ты?

— Ты не узнаешь меня? — спросил молодой человек.

— Ты погасил ночник, как же я узнаю тебя?

В эту минуту Виниций увидал Лигию, которая лежала на плаще возле стены, и без слов опустился рядом с ней на колена. Урс узнал его и сказал:

— Слава Христу! Но не буди ее, господин.

Виниций сквозь слезы смотрел на Лигию. Несмотря на полумрак, он мог различить ее лицо, которое показалось ему бледным, как алебастр, и похудевшие руки. Его охватила любовь, похожая на нестерпимую боль, до глубины потрясающая душу и вместе с тем так полная жалости и обоготворения, что он упал лицом на землю и начал прижимать к губам край плаща, на котором покоилось самое дорогое для него существо.

Урс долго молча смотрел на него и наконец дернул его за тунику.

— Господин, — спросил он, — как ты пробрался сюда? Затем ли ты пришел, чтобы спасти ее?

Виниций поднялся и еще с минуту боролся с волнением.

— Укажи мне способ! — сказал он.

— Господин, я думал, что ты найдешь его. Мне только один приходил в голову.

Он обратил глаза к заделанному решеткой отверстию и потом, как бы оправдываясь перед собою, добавил:

— Да... Но там солдаты.

— Сотня преторианцев, — ответил Виниций.

— Не пройдешь!

— Нет!

Лигиец потер лоб рукою и во второй раз спросил:

— Как ты пробрался сюда?

— У меня тессера от надзирателя Смердящих Ям.

И Виниций вдруг оборвался, как будто в голове его мелькнула какая-то мысль.

— Клянусь муками Избавителя! — быстро заговорил он. — Я останусь здесь, а она пусть возьмет мою тессеру, накинёт плащ, окутает голову тряпкой и выйдет. В числе невольников могильщика много подростков, — преторианцы не узнают ее, а если она доберется до дома Петрония, то тот спасет ее.

Но лигиец поник головой на грудь и ответил:

— Она не согласилась бы на это, потому что любит тебя. К тому же она больна и сама не может подняться.

Через минуту он добавил:

— Господин, если ты и благородный Петроний не могли освободить ее из темницы, то кто может спасти ее?

— Один Христос!

Они оба умолкли. Лигиец в простоте своей думал: «Он мог бы спасти всех, но коль скоро не делает этого, то, видно, наступил час мук и смерти». И он примирился с этим, только ему до глубины души было жаль этого ребенка, который вырос на его руках и которого он любил больше своей жизни.

Виниций снова опустился на колена возле Лигии. Сквозь решетчатое отверстие в подземелье вкрадывались лучи луны и освещали его светлей, чем тот ночник, который еще горел над дверями.

В эту минуту Лигия открыла глаза и, опустив горячие руки на руку Виниция, сказала:

— Я вижу тебя и знала, что ты придешь.

Виниций прильнул к ее рукам и начал прижимать их ко лбу и к сердцу, потом немало приподнял Лигию и прислонил ее к своей груди.

— Я пришел, дорогая, — сказал он. — Христос да спасет и да охраняет тебя.

Дальше он не мог говорить, сердце его заныло от боли и любви, а свою боль он не хотел открывать перед Лигией.

— Я больна, Марк, — ответила Лигия, — и на арене ли, или здесь в темнице должна умереть... но я молилась, чтобы перед смертью могла увидеть тебя, — и ты пришел: Христос услышал меня.

Виниций не мог еще выговорить ни одного слова и только прижимал ее к груди, а она продолжала:

— Я видела тебя в окно из Туллиана и знала, что ты хотел прийти. А теперь Избавитель дал мне минуту сознания, чтобы мы могли проститься. Марк, я иду к нему, но люблю тебя и всегда буду любить.



Виницій слова опустився на колена возле Лиги.

Виниций пересилил себя, подавил свою боль и начал говорить голосом, которому старался придать спокойствие:

— Нет, дорогая. Ты не умрешь. Апостол приказал мне верить и обещал молиться за тебя, а он знал Христа; Христос любит его и ни в чем ему не откажет... Если б ты должна была умереть, Петр не повелел бы мне надеяться, а он сказал мне: «Надейся!». Нет, Лигия! Христос сжалится надо мной... Он не хочет твоей смерти, он не допустит ее... Клянусь тебе Избавителем, что Петр молится за тебя...

Наступила тишина. Единственный ночник, висевший над дверью, погас, но зато свет луны лился широким потоком сквозь решетчатое отверстие. Где-то в противоположном углу застонал ребенок, но тотчас же умолк. Извне доносились голоса преторианцев, которые после обычного обхода играли в *scripta duodecim*.

— О, Марк, — ответила Лигия, — сам Христос взывал к своему Отцу: «Да минет меня чаша сия», — но должен был испить чашу. Сам Христос умер на кресте, а теперь за него гибнут тысячи людей, — почему же он должен пощадить одну меня? Кто я такая, Марк? Я слышала, как Петр говорил, что и он умрет в мучениях, а что я в сравнении с ним? Когда к нам пришли преторианцы, я боялась смерти и муки, но теперь уже не боюсь. Посмотри, как страшна эта темница, — а я иду на небо. Подумай, что здесь цезарь, а там Избавитель, добрый и милостивый. И смерти там нет. Ты любишь меня, — подумай же, как я буду счастлива. О, Марк, дорогой, подумай, что ты сам придешь туда ко мне.

Она остановилась, чтоб перевести дыхание, потом поднесла к своим губам его руку.

— Марк...

— Что, дорогая?

— Не плачь обо мне и помни, что ты придешь ко мне туда. Я недолго жила, но Бог отдал мне твою душу. Вот я и хочу сказать Христу, что хотя я умерла, хотя ты смотрел на мою смерть, хотя я оставила тебя в скорби, но ты не роптал и всегда любил его. А ты будешь любить его и терпеливо перенесешь мою смерть?.. Ведь он соединит нас, а я люблю тебя и хочу быть с тобою вместе...

Тут дыхание снова изменило ей, и едва слышным голосом она закончила:

— Обещай мне, Марк!..

Виниций обнял ее дрожащими руками и ответил:

— Клянусь твоею святою головой! Обещаю!..

Лицо Лигии просветлело под грустным лучом луны. Еще раз она поднесла к губам его руку и шепнула:

— Я твоя жена!..



ГЛАВА XVIII

В течение трех дней, вернее, в течение трех ночей ничто не нарушало покоя Виниция и Лигии. Когда обычные занятия были окончены, когда мертвые были отделены от живых, тяжело больные от здоровых, когда утомленные тюремщики ложились спать в коридорах, Виниций приходил в подземелье Лигии и оставался там до тех пор, пока рассвет не начинал заглядывать сквозь решетчатое окно. Она склоняла голову к нему на грудь, и они тихо разговаривали о любви и о смерти. Оба они невольно, в мыслях и беседах, даже в желаниях и надеждах все больше отдалялись от жизни и теряли сознание о ней. Оба они были словно люди, которые отплыли на корабле от материка, потеряли из виду берег и мало-помалу погружаются в бесконечность. Оба они постепенно преобразовывались в каких-то грустных духов, любящих друг друга, любящих Христа и готовых улететь куда-то. Только по временам по его сердцу, словно вихрь, пролетало ощущение боли, или, как молния, сверкала надежда, порожденная любовью и верою в распятого Бога, — но с каждым днем и он все более и более отрывался от земли и отдавался смерти. Утром, когда он выходил из темницы, он смотрел на свет, на город, на знакомых, на жизнь, словно сквозь сон. Все казалось ему чуждым, отдаленным, ничтожным и скоропреходящим. Его перестала поражать даже свирепость мучений, которые он видел, — сквозь них можно пройти в забытие, с глазами, устремленными на что-то другое. А ему и Лигии начинало казаться, что их уже охватывает вечность. Они беседовали о любви, о том, как они будут любить

друг друга и жить вместе, но уже по ту сторону могилы, и если когда-нибудь их мысль обращалась к вещам земным, то только как мысль людей, которые готовятся в дальнюю дорогу и разговаривают о дорожных приготовлениях. Наконец, их окружала такая тишина, которая окружает две колонны, стоящие среди развалин и забвения. Им нужно было только то, чтобы Христос не разъединил их, а когда каждая минута все более и более утверждала в них эту уверенность, они возлюбили его как цепь, которая должна соединить их как бесконечное счастье и бесконечный покой. Еще на земле они чувствовали, как с них спадает прах земли. Их души стали чисты, как слеза. Под угрозой смерти, среди невзгод и страданий, в смрадной темнице им стало показываться небо, — Лигия брала его за руку, как будто она была уже спасенною и святою, и вела к вечному источнику счастья — к жизни.

Петроний приходил в недоумение, когда видел на лице Виниция все большее спокойствие и ясность, каких не замечал раньше. По временам в его голове возрождалось даже предположение, что Виниций нашел какое-нибудь средство спасти Лигию, ему было горько, что он не посвящает его в свою тайну.

Наконец он не мог выдержать и сказал Виницию:

— Теперь ты кажешься другим, — не скрывай от меня тайны, потому что я хочу и могу помочь тебе, — ты придумал что-нибудь?

— Придумал, — ответил Виниций, — но ты уже не можешь помочь мне. После ее смерти я объявляю, что я христианин, и пойду за нею.

— Значит, у тебя нет надежды?

— О, нет. Христос отдаст ее мне и не разлучит с нею никогда.

Петроний начал ходить по атрию с выражением разочарования и неудовольствия, потом сказал:

— Для этого не нужно вашего Христа; ту же самую услугу мог бы тебе оказать наш Танатос¹.

Виниций грустно улыбнулся и ответил:

— Нет, друг, но ты не хочешь это понять.

— Не хочу и не могу, — сказал Петроний. — Для разговоров теперь нет времени, — ты помнишь, что я говорил, когда нам не удалось вырвать ее из Туллиана? Я потерял всякую надежду, а ты сказал, когда мы пришли домой: «Я верю, что Христос может возвратить ее мне». Ну, пусть он и возвратит ее тебе. Когда я брошу драгоценную чашу в море, то ее не возвратит мне ни один из наших богов; но если и ваш не лучше, то я не знаю, за что его почитать больше, чем прежних.

— Он возвратит ее мне, — ответил Виниций.

Петроний пожал плечами.

— А ты знаешь, — спросил он, — что христиане завтра должны освещать сады цезаря?

— Завтра? — переспросил Виниций.

И пред лицом близкой страшной действительности его сердце содрогнулось от боли и ужаса. Он подумал, что, может быть, это последняя ночь, которую он может провести с Лигией, и, простившись с Петронием, поспешно отправился к надзирателю *puticuli* за своею тессерой.

Но там его ожидало разочарование; надзиратель не дал ему пропускного знака.

¹ *Thanatos* — бог смерти.

— Прости, господин, — сказал он. — Я сделал для тебя, что мог, но не хочу подвергать свою жизнь опасности. Сегодня ночью христиан поведут в сады цезаря. В темнице будет множество солдат и чиновников. Если б тебя узнали, то и я погиб бы, и мои дети.

Виниций понял, что все его просьбы напрасны. Ему блеснула надежда, что солдаты, которые видели его раньше, может быть, пропустят его и без знака, и с наступлением ночи, одевшись, как и прежде, в сермяжную тунику и обвязав тряпкой голову, он направился к дверям темницы.

Но в этот день пропускные знаки проверялись еще с большею придирчивостью, чем обыкновенно, — но этого мало: сотник Сцевин, человек строгий и всею душой преданный цезарю солдат, узнал Виниция.

Но, видимо, в его закованной в железо груди тлелась еще искра жалости к человеческому горю, и он, вместо того чтоб ударить копьём о щит в знак тревоги, отвел Виниция в сторону и сказал ему:

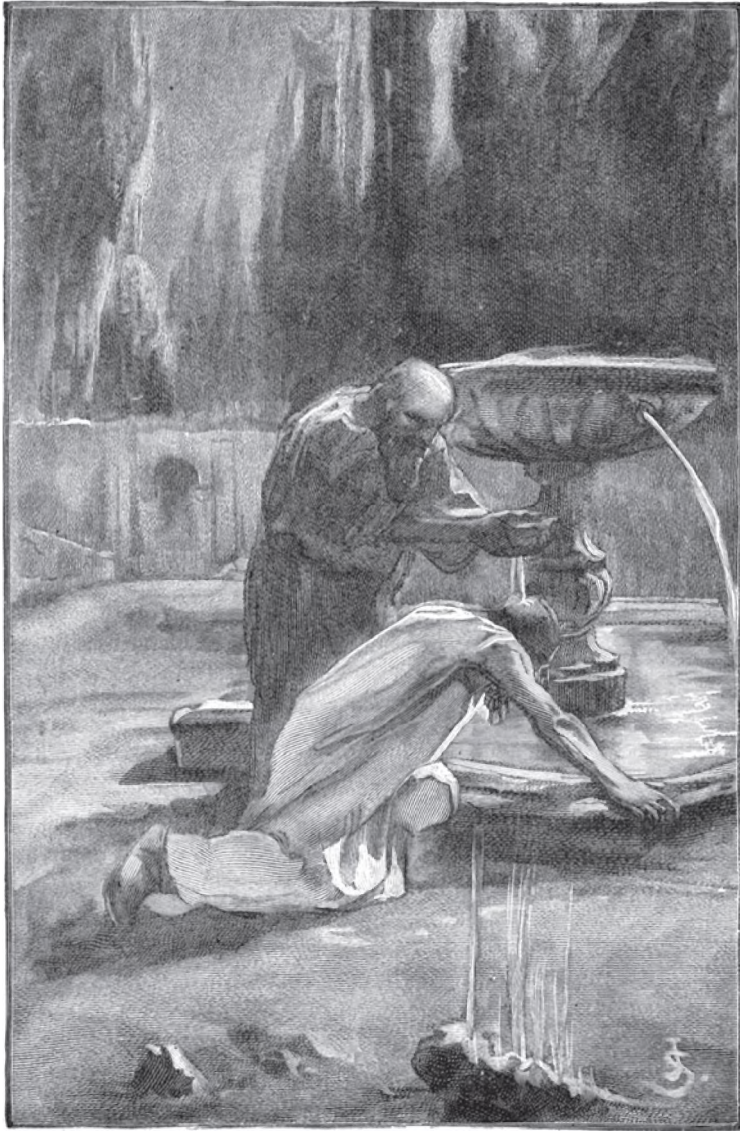
— Господин, возвращайся домой. Я узнал тебя, но буду молчать, — я не хочу губить тебя. Впустить тебя я не могу. Возвращайся домой, и да пошлют тебе боги успокоение.

— Впустить меня ты не можешь, — ответил Виниций, — но позволь мне остаться здесь и видеть тех, кого будут выводить.

— Мне не приказывали препятствовать этому, — сказал сотник.

Виниций стал у дверей и ждал, пока начнут выводить осужденных. Наконец, около полуночи двери темницы широко распахнули, и в них показались целые ряды узников, мужчин, женщин и детей, окруженных вооруженными отрядами преторианцев. Ночь была ясная, так что можно было различить не только фигуры, но даже и лица несчастных. Они шли парами, длинною печальною цепью, среди тишины, нарушаемой только лязгом оружия солдат. Христиан вывели столько, что казалось, все подвалы останутся пустыми.

В конце шествия Виниций ясно увидал врача Главка, но ни Лигии, ни Урса среди осужденных не было.



ГЛАВА XIX

Еще не смерклось, когда первые волны народа начали наполнять сады цезаря. Толпа в праздничных нарядах, украшенная венками, разохоченная, поющая, отчасти и пьяная, шла смотреть на новое великолепное зрелище. Крики «*Semaxii! Sarmetitii!*» раздавались на *Via Testa*¹, на мосту Эмилия, на Триумфальной дороге, вплоть до Ватиканского холма. И прежде в Риме сжигали людей на столбах,

¹ *Via Testa* — Крытая дорога (примеч. ред.).

но до сих пор народ не видал такого количества осужденных. Цезарь и Тигеллин, желая покончить с христианами и вместе с тем положить конец заразе, которая из темниц все более распространялась по городу, приказали очистить все подземелья, так что в них осталось несколько десятков людей, предназначенных для конца игрищ, и толпа, войдя в садовые ворота, онемела от изумления. Все аллеи, — главные, боковые, прорезывающие густую чащу, окружающие луга, пруды, сажалки¹ были наполнены осмоленными столбами, к которым привязывали христиан. С более высоких мест, где деревья не закрывали вида, открывались целые ряды столбов и тел, украшенных плющом, цветами и миртовыми листьями. Столбы эти тянулись вглубь по холмам и низинам так далеко, что когда ближайшие казались мачтами, дальнейшие представлялись разноцветными копьями, воткнутыми в землю. Количество осужденных превзошло даже ожидание самой толпы. Можно было подумать, что кто-то привязал к столбам целый народ для утехы Рима и цезаря. Кучки зрителей останавливались перед отдельными мачтами по мере того, как их интересовывали фигура, возраст или пол жертвы, осматривали их лица, венки, гирлянды плюща, потом шли дальше и дальше, обмениваясь недоумевающими вопросами: «Могло ли набраться такое количество виновных? Могли ли поджечь Рим дети, едва способные ходить без посторонней помощи?». И недоумение мало-помалу переходило в тревогу.

Тем временем спустился мрак, и на небе зажглись первые звезды. Возле каждого осужденного стоял невольник с горящим факелом в руках, а когда звук труб огласил все части садов, все невольники приложили факелы к основанию столбов.

Скрытая под цветами и политая смолой солома мгновенно занялась ясным огнем, который, усииваясь с каждой минутой, расплетал гирлянды плюща, взбирался кверху и охватывал ноги жертв. Толпа смолкла, но сады огласились громким стоном и болезненными криками. В числе христиан были и такие, которые, подняв голову к звездному небу, начали воспевать Христа. Толпа слушала, но самые твердые сердца вздрогнули от ужаса, когда с меньших мачт послышались раздражающие детские голоса: «Мама, мама!». Даже пьяные зрители вздрогнули при виде этих головок и невинных лиц, искаженных болью или задыхающихся в дыму, который начинал душировать их. А огонь все взбирался кверху и охватывал все новые гирлянды роз и плюща. Осветились аллеи главные и боковые, осветились группы деревьев и луга, и цветистые газоны, загорелась вода в сажалках и прудах, покраснели дрожащие листья на деревьях, — сделалось светло, как днем. Смерд горелого тела наполнил сады, но в ту же минуту невольники начали сыпать в кадьницы, стоящие между столбами, мирру и алоэ. В толпе там и здесь послышались крики, — неизвестно, сочувствия ли, или упоения и радости, — и усиливались с каждой минутой вместе с огнем, который охватывал столбы, взбирался к груди жертв, палящим дыханием скручивал волосы на их голове, набрасывал покрывало дыма на их почерневшие лица и стремился все выше и выше, как бы торжествуя победу и триумф той силы, которая повелела раздуть его.

При начале зрелищ среди народа показался цезарь на великолепной цирковой квадриге, одетый в наряд возницы и в цвета партии зеленых, к которой принадлежал он и его двор. За ним следовали другие колесницы с придворными в роскошных одеждах, сенаторами, жрецами и нагими вакханками с венками на головах и с сосудами вина в руках, по большей части пьяными и издающими дикие крики. Вокруг

¹ Сажалка — пруд для разведения рыбы (примеч. ред.).

них музыканты, наряженные фавнами и сатирами, играли на цитрах, формингах, пищалаках и рогах. На других колесницах ехали матроны и девушки, одинаково пьяные и наполовину обнаженные. Скороходы потрясали тирсами, украшенными лентами, били в бубны и рассыпали цветы. Вся блестящая процессия с криками «Эвоэ!» по двигалась по самой широкой аллее среди дыма и живых факелов. Цезарь с Тигеллином и Хилоном, страхом которого он искренно забавлялся, сам управлял лошадьми. Лошади шли медленным шагом, а цезарь смотрел на горящие тела и вместе с тем прислушивался к крику толпы. Стоя на высокой золотой квадриге, окруженной волною народа, которая склонялась к его стопам, при блеске огня, в золотом венке циркового победителя, он целою головою превышал своих придворных, толпу и казался гигантом. Его уродливые руки, держащие вожжи, казалось, благословляли народ, его лицо и полураскрытые глаза светились улыбкой, он сиял над людьми, как солнце, как божество, страшное, но великолепное и могучее. По временам он останавливался, чтобы внимательнее осмотреть какую-нибудь жертву, и ехал дальше, ведя за собою безумную расходившуюся свиту. Он то раскланивался с народом, то, перегнувшись назад, натягивал золотистые вожжи и разговаривал с Тигеллином. Наконец, достигнув большого фонтана, стоящего на перекрестке двух главных аллей, он вышел из квадриги и, сделав знак рукой своим спутникам, вмешался в толпу.

Его приветствовали криком и рукоплесканиями. Вакханки, нимфы, сенаторы, августиане, жрецы, фавны, сатиры и солдаты окружали его бешеным кругом, а он, с Тигеллином по одну сторону, с Хилоном по другую, обходил фонтан, возле которого горело несколько факелов, останавливаясь перед каждым, делая замечания относительно жертв или смеясь над старым греком, на лице которого рисовалось безбрежное отчаяние.

Наконец они остановились перед высокой мачтой, убранной миртом и обвитой повилкой. Красные языки огня доходили уже до колен жертвы, но лица ее не было видно: сырые ветви заслоняли его своим дымом. Через минуту легкое дыхание ночного ветра разогнало дым и открыло голову старца с седою, спадающею на грудь борою.

При виде его Хилон вдруг свернулся в клубок, как раненый гад, а из его уст вырвался крик, более похожий на карканье, чем на человеческий голос:

— Главк! Главк!

Действительно, с горящего столба на него смотрел врач Главк.

Он был еще жив. Его страдальческое лицо наклонилось вниз, как будто он в последний раз хотел посмотреть на своего палача, который изменил ему, лишил его жены и детей, наслал на него убийц, а когда все это было прощено во имя Христа, еще раз предал его в руки мучителей. Никогда человек так страшно не поступал с другим человеком. И вот теперь жертва горела на осмоленном столбе, а палач стоял у ее ног. Глаза Главка не отрывались от лица грека. По временам их заволакивал дым, но после каждого дуновения ветра Хилон видел вновь устремленный на него взор. Он встал и хотел бежать, но ноги его стали точно свинцовые, и какая-то невидимая рука с нечеловеческой силой удерживала его перед этим столбом. И Хилон окаменел. Он только чувствовал, что что-то в нем переполняется, что-то рвется, что довольно уже ему этих мучений и крови, что конец его жизни приходит и что все окружающее исчезает из его глаз, — и цезарь, и придворные, и толпа, что вокруг него расстилается какая-то бездонная, страшная и черная пустыня, а в ней виднеются только глаза мученика,

которые призывают его на суд. А Главк, все ниже наклоняя голову, не переставал смотреть на него. Присутствующие угадали, что между этими людьми что-то происходит, но смех застыл на их губах, потому что лицо Хилона было страшно, его исказила такая тревога и такая боль, как будто эти огненные языки жгли его собственное тело. Вдруг он зашатался и, протянув руки кверху, завopil страшным, раздирающим голосом:

— Главк, во имя Христа, прости!

Вокруг все смолкло, дрожь пробежала по телу царедворцев цезаря, и глаза всех невольно устремились кверху.

Голова мученика слегка шевельнулась, потом с вершины мачты послышался похожий на стон голос:

— Прощаю.

Хилон упал и, воя, как дикий зверь, набрал в обе руки земли и посыпал себе голову. В это время пламя вспыхнуло сильней, охватило грудь и лицо Главка, расплело миртовый венок на его голове. Весь столб загорелся ярким огнем.

Но Хилон поднялся через минуту с лицом до такой степени изменившимся, что августианам показалось, будто они видят другого человека. Глаза его горели непривычным блеском, морщинистый лоб светился вдохновением; немощный несколько минут тому назад, грек теперь казался каким-то жрецом, который под наитием божества хочет открыть никому не ведомую тайну.

— Что с ним, с ума он сошел? — раздавалось несколько голосов.

Хилон обратился к толпе, поднял правую руку, заговорил или, вернее, начал кричать так громко, что даже стоящие вдали могли расслышать его слова:

— Народ римский! Клянусь моею смертью, что в огне гибнут невинные, а поджигатель — вот он!

И он указал пальцем на Нерона.

Наступила минута молчания. Придворные оцепенели. Хилон все стоял с вытянутой дрожащей рукою и пальцем указывал на цезаря. И вдруг началось самое дикое замешательство. Народ, как волна, поднятая внезапно сорвавшимся вихрем, бросился к старику, чтоб поближе увидеть его. В разных местах послышались крики: «Держи!», «Горе нам!». Раздались свистки и восклицания: «Агенобарб, матереубийца, поджигатель!». Беспорядок увеличивался с каждой минутой. Вакханки неистово вопили и начали прятаться в колесницы. Вдруг несколько обгорелых столбов обрушились, рассыпая вокруг себя искры и увеличивая тревогу. Слепая сплоченная толпа народа подхватила Хилона и унесла его в глубину сада.

Столбы в других местах тоже начали перегорать и падать, наполняя аллею дымом и смрадом жженого тела. Огни погасли, в садах потемнело. Обеспокоенная, угрюмая и встревоженная толпа теснилась к выходу. Весть о случившемся переходила из уст в уста, изменялась и принимала большие размеры. Одни рассказывали, что цезарь упал в обморок, другие — что он сам признался, что приказал поджечь Рим, третьи — что он тяжело захворал, а были и такие, которые утверждали, что его мертвого увезли на колеснице. Там и здесь раздавались голоса, сочувственные христианам. «Не они сожгли Рим, за что же столько крови, мучений и несправедливостей? Разве боги не будут мстить за невинных, и какие *piacula*¹ могут умилостивить их? Слова «*innoxia corpora*» повторялись все чаще. Женщины громко жалели детей... сколько

¹ «Умилостивительные жертвы».

их погибло под когтями диких зверей, на крестах, сколько сторело на этих проклятых столбах! Наконец, сожаление сменилось проклятиями цезарю и Тигеллину. Но были и такие, которые вдруг останавливались и задавали себе или другим вопросы: «Что это за божество, которое дает своим поклонникам силу так твердо переносить мучения и встречать смерть?». И они в задумчивости возвращались домой.

А Хилон все еще блуждал по садам, не зная, куда ему идти. Теперь он снова почувствовал себя бессильным и немощным стариком. Он то натыкался на обгорелые тела, задевал за головни, которые сыпали вослед ему снопами искр, то садился и оглядывался вокруг бессознательными глазами. Сады почти совсем потемнели; между деревьями просвечивал только бледный месяц, освещая неверным светом аллеи, почерневшие столбы и бесформенные остатки жертв. Но старому греку показалось, что на месяце он видит теперь лицо Главка, глаза умершего мученика все еще неустанно смотрят на него, — и прятался от света. Наконец он вышел из тени и невольно, как будто увлекаемый какою-то неизвестной силой, направился к фонтану, туда, где Главк испустил свое последнее дыхание.

В это время какая-то рука прикоснулась к его плечу.

Старик обернулся, увидел перед собою незнакомую фигуру и испуганно вскрикнул:

— Кто там? Кто ты?

— Апостол, Павел Тарсянин.

— Я проклят!.. Чего ты хочешь?

А апостол ответил:

— Я хочу спасти тебя.

Хилон прислонился к дереву.

Ноги подгибались под ним, руки повисли вдоль тела.

— Для меня нет спасения! — глухо сказал он.

— Ты слышал, что Бог простил разбойника, раскаявшегося на кресте? — спросил Павел.

— А ты знаешь, что сделал я?

— Я видел сокрушение твое и слышал, как ты свидетельствовал правде.

— О, Господь!..

— И если слуга Христов простил тебя в минуту муки и смерти, как же Христос может не простить тебя?

Хилон, как безумный, обхватил руками голову.

— Прощение!.. для меня!.. прощение!

— Наш Бог — Бог милосердия, — ответил апостол.

— Для меня? — повторил Хилон.

И он застонал, как человек, у которого не хватило сил справиться со своими муками и скорбью.

Павел сказал:

— Обопрись на меня и пойдем.

И они пошли к скрепляющимся аллеям, руководствуясь плеском фонтана, который среди ночной тишины, казалось, плакал над телами мучеников.

— Наш Бог — Бог милосердия, — повторил апостол. — Если б ты стал у моря и бросал в него камни, неужели ты мог бы наполнить ими глубину морскую? А я говорю тебе, что милосердие Христово — аки море, и что грехи и преступления людей потонут в нем, как камень в бездне. И я говорю тебе, что милосердие его — аки небо,



— Главк, во имя Христа, прости!

которое покрывает горы, суши и моря, ибо оно распростерто надо всем и нет ему ни границы, ни конца. Ты страдал у столба Главка, и Христос видел твои страдания. Ты сказал, несмотря на то, что тебя может встретить завтра: «Вот кто поджигатель!» — и Христос запомнил твои слова. Твоя злость и ложь прошли, а в сердце твоём осталась только великая жалость... Иди за мною и слушай, что я скажу тебе. Я так же ненавижу его и преследовал его избранных. Я так же не верил в него и не хотел его, пока он не предстал передо мною и не позвал меня. И с того дня он — любовь моя. А теперь он посетил тебя угрызением, тревогой и скорбью, чтоб призвать тебя к себе. Ты ненавижу его, а он любил тебя, — ты предавал на казнь верующих в него, а он хочет простить и избавить тебя.

Грудь несчастного человека задрожала от неудержимого рыдания, от которого разрывалась его душа, а Павел все более и более овладевал им и вел, как солдат ведет пленника. Через минуту он снова начал говорить:

— Иди за мной, и я доведу тебя до него. За чем другим я пришел бы к тебе? Он повелевал собирать души людей во имя любви, и я исполняю его службу. Ты думаешь, что ты проклят, а я говорю тебе: уверуй в него, и тебя ждет избавление. Ты думаешь, что ты ненавистен ему, а я говорю, что он любит тебя. Посмотри на меня! Когда я не знал его, тогда у меня не было ничего, кроме злобы, которая обитала в моем сердце, а теперь его любовь заменяет мне отца и мать, богатство и царскую власть. В нем одном наше убежище, он один взвесит твою скорбь, воззрит на твою немощь, снимет с тебя тревогу и вознесет тебя до себя.

Он подвел его к фонтану, который серебрился издали при месячном свете. Вокруг было тихо и пусто, невольники убрали уже обгорелые столбы и тела мучеников.

Хилон со стоном опустился на колена и, закрыв лицо руками, оставался без движения. Павел поднял лицо к звездам и начал молиться.

— Господь! воззри на сего страдальца, на его скорбь, на слезы и мучения! Господь милосердный, который пролил свою кровь за наши грехи, — ради твоей муки, ради смерти и воскресения отпусти ему!

Он умолк, но еще долго смотрел на звезды и молился.

Вдруг из-под его ног послышался голос, похожий на стон:

— Христос!.. Христос!.. Отпусти мне!..

Тогда Павел приблизился к фонтану, захватил в руку воды и обратился к колено-преклоненному старику:

— Хилон! Крещу тебя: во имя Отца, и Сына, и Духа! Аминь!

Хилон поднял голову и остался без движения. Луна ярким светом освещала его побелевшие волосы и так же белое неподвижное, словно мертвое или иссеченное из камня, лицо. Минуты протекали за минутами; из огромных птичников, находящихся в садах Домиции, начинали доноситься голоса петухов, а Хилон все еще стоял на коленах, похожий на надгробный памятник.

Наконец он очнулся, встал и, обратившись к апостолу, спросил:

— Что я должен делать перед смертью, господин?

Павел, который весь углубился в созерцание того неизмеримого могущества, которому не могли сопротивляться даже такие души, как душа грека, также опомнился и ответил:

— Верь и дай свидетельство правде.

Они вышли вместе. У ворот сада апостол еще раз благословил старика, и они расстались, — этого требовал сам Хилон. Он предвидел, что после того, что произошло, цезарь и Тигеллин будут преследовать его.

Он не ошибался. Свой дом он нашел окруженным преторианцами, которые схватили его и под предводительством Сцевина повели на Палатин.

Цезарь ушел отдыхать, но Тигеллин бодрствовал и, увидав несчастного грека, обратился к нему свое спокойное, но злоеущее лицо.

— Ты совершил преступление, оскорбил величество, — сказал он, — и кара не минет тебя. Если завтра утром в амфитеатре ты заявишь, что был пьян и сошел с ума, что виновниками пожара были христиане, твое наказание ограничится палочными ударами и изгнанием.

— Не могу, господин! — тихо отвечал Хилон.

Тигеллин подошел к нему медленным шагом и голосом таким же тихим и страшным спросил:

— Как не можешь, греческая собака? Разве ты не был пьян и разве ты не знаешь, что тебя ожидает? Посмотри туда!

И он указал на угол атрия, в мрачной глубине которого около деревянной скамейки стояло четверо неподвижных фракийских невольников с веревками и щипцами в руках.

А Хилон ответил:

— Не могу, господин!

Тигелином начало овладевать бешенство, но он еще воздерживался.

— Ты видел, — спросил он, — как умирают христиане, и ты так же хочешь умереть?

Старик поднял кверху свое бледное лицо; с минуту его губы беззвучно двигались, потом он сказал:

— И я верю в Христа!

Тигеллин с удивлением посмотрел на него.

— Пес, да ты окончательно сошел с ума!

И вдруг бешенство, скопившееся в его груди, прорвалось наружу. Подскочив к Хилону, он схватил его обеими руками за бороду, повалил наземь и начал топтать, повторяя пенящимися устами:

— Ты откажешься от своих слов! Откажешься...

— Не могу, — отвечал Хилон.

— Тогда возьмите его!

Услышав это приказание, фракийцы схватили старика, привязали его к скамье и начали щипцами сжимать его исхудалые бедра, но Хилон в то время, когда его привязывали, с покорностью целовал их руки, а потом закрыл глаза. Казалось, он умер.

Однако он был жив, потому что, когда Тигеллин наклонился над ним и еще раз спросил: «Откажешься от своих слов?» — побелевшие губы Хилона слегка пошевелились, и из них вылетел едва слышный шепот:

— Не мо... гу!..

Тигеллин приказал прекратить мучения и принялся ходить по атрию, с лицом, искаженным гневом и вместе с тем смущенным. Наконец ему пришла новая мысль, потому что он обратился к фракийцам и сказал:

— Вырвать у него язык!



ГЛАВА XX

Драму «*Aureolus*»¹ обыкновенно давали в театрах или амфитеатрах, устроенных так, что они могли открываться и образовывать как бы две отдельные сцены.

Но после зрелища в садах цезаря старым способом пренебрегли, — все старания были направлены к тому, чтобы как можно большее число жителей могло смотреть на смерть прибитого к столбу невольника, которого, по смыслу драмы, раздирал медведь. В театре роль медведя играл зашитый в шкуру медведя человек, но на этот раз представление должно быть «настоящим». То было новое изобретение Тигеллина. Цезарь сначала заявил, что не придет, но по настоянию своего фаворита изменил свое решение. Тигеллин объяснил ему, что после того, что случилось, он обязан показаться народу, и вместе с тем поручился, что распятый невольник не оскорбит его так, как оскорбил Крисп.

Народ был уже пресыщен кровопролитием, — ему обещали новые лотерейные билеты и подарки, а вместе с тем и вечернее пиршество, так как представление должно было происходить ночью в ярко освещенном амфитеатре.

С наступлением сумерек амфитеатр был уже битком набит; августиане с Тигеллином во главе прибыли все не столько ради самого зрелища, сколько для того,

¹ «Золотой» (монета). [Пьеса Катюлла, тезки известного поэта (*примеч. ред.*).]

чтоб выразить свои верноподданнические чувства цезарю и поговорить о Хилоне, о котором говорил весь Рим.

Рассказывали, что цезарь, возвратившись из садов, впал в бешенство и не мог заснуть, что им овладел страх, что ему представлялись страшные видения, вследствие чего он собирался на другой же день выехать в Ахайю. Другие, однако, спорили против этого и утверждали, что теперь он будет еще более безжалостен к христианам. Не было недостатка и в трусах, которые предвидели, что обвинение, которое Хилон бросил в лицо цезаря перед толпой, будет иметь самое дурное последствие. Наконец, были и такие, что во имя человечества умоляли Тигеллина, чтоб он прекратил дальнейшие преследования.

— Посмотрите, куда вы идете, — говорил Барк Соран. — Вы хотели удовлетворить месть народа и внушить ему убеждение, что кара падает на виновных, а следствие вышло как раз противоположное.

— Правда! — прибавил Антистий Вер, — все теперь шепчут, что они невинны. Если это доказывает предусмотрительность, то Хилон был прав, когда говорил, что вашим мозгом не наполнишь скорлупы желудка.

Тигеллин обратился к ним и сказал:

— Люди шепчут также, что твоя дочь Сервилия, Барк Соран, и твоя жена, Антистий, скрыли своих невольников христиан от правосудия цезаря.

— Это неправда! — с испугом воскликнул Барк.

— Мою жену хотят погубить ваши разводки, которые завидуют ее добродетели, — с таким же беспокойством прибавил Антистий Вер.

Другие августиане разговаривали о Хилоне.

— Что с ним случилось? — спрашивал Эприй Марцелл, — он сам предавал их в руки Тигеллина, из нищего сделался богачом, мог бы спокойно дожить свой век, пользоваться чудесным погребом, после его смерти над ним воздвигли бы памятник, а оказалось, что нет! Сразу потерял все, — именно, должно быть, сошел с ума.

— Не с ума сошел, а сделался христианином, — сказал Тигеллин.

— Не может быть! — отозвался Вителлий.

— А я разве не говорил вам? — вставил Вестин. — Мучайте христиан, но, верьте мне, не вступайте в борьбу с их божеством. Тут шутить нельзя!.. Смотрите, что делается! Я не поджигал Рим, но если б цезарь дозволил, то я тотчас принес бы гекатомбу их божеству. И все должны сделать то же самое, потому что, повторяю, с ними шутить нельзя. Помните, я говорил вам это.

— А я говорил другое — сказал Петроний. — Тигеллин смеялся, когда я утверждал, что они защищаются, а теперь я скажу больше: они побеждают.

— Как? Каким образом? — спросили несколько голосов.

— Клянусь Поллуксом!.. Если такой человек, как Хилон, не сумел устоять против них, — то кто же устоит? Если вы думаете, что после каждого зрелища число христиан не увеличивается, то вам бы, с вашим знанием Рима, лучше было бы снизить до уровня медников или цирюльников, — тогда вы лучше будете знать, что думает народ и что делается в городе.

— Он говорит чистую правду, клянусь святым пеплумом Дианы! — крикнул Вестин.

Барк обратился к Петронию.

— К чему ты ведешь свою речь?

— Я кончу тем, с чего вы начали: довольно крови!

Разговор августиан прервало появление цезаря, который занял свое место рядом с Пифагором. Началось представление «Авреола», на которое, впрочем, не много обращали внимания, потому что все были заняты Хилоном. Народ, привыкший к мукам и крови, скучал, свистал, вслух бранил цезаря и его придворных и настаивал, чтоб поспешили со сценой с медведем. Если бы не надежда увидеть осужденного и получить подарки, то само зрелище не удержало бы зрителей.

Наконец подошла минута, ожидаемая с таким нетерпением. Цирковые прислужники принесли деревянный крест, низкий, для того, чтоб медведь, встав на задние лапы, мог добраться до груди мученика, а потом привели или, вернее, притащили Хилона, потому что он сам не мог идти со своими раздробленными костями. Его положили и прибили к кресту так быстро, что августиане даже не могли рассмотреть его, и только лишь тогда, когда крест утвердили в заранее приготовленную яму, — глаза всех присутствующих обратились к нему. Но не многие могли в этом нагом старике узнать прежнего Хилона. После перенесенных им мучений он ослабел так, что в лице его не осталось ни капли крови, и только на белой бороде виднелся кровавый след, который оставила кровь после того, как вырвали ему язык. Сквозь прозрачную кожу можно было рассмотреть кости. Он казался гораздо более старым, почти дряхлым. Но зато его глаза когда-то были вечно тревожные и полные злобы, а теперь его лицо было так кротко и ясно, как бывает у людей, спящих спокойным сном, или у мертвых. Кто знает, может быть, веру в него вселяла мысль о распятом разбойнике, которого простил Христос, а может быть он говорил в глубине души милосердному Богу: «Господь, я кусал, как ядовитый червь, но я всю жизнь был нищим, умирал от голода, люди топтали меня, били, издевались надо мною. Господь, я был беден и очень несчастлив, а теперь меня предали мукам и пригвоздили ко кресту, — Ты же, милосердый, не отвергнешь меня в минуту смерти». И спокойствие видимо осенило его сокрушенное сердце. В толпе никто не смеялся, — в распятом было что-то такое тихое, казался он таким старым, безоружным, слабым, своею покорностью так вызывал снисхождение, что всякий зритель невольно задавал себе вопрос: как можно мучить и пригвозждать к кресту людей, которые и так умирают? Толпа молчала. Среди августиан Вестин, наклоняясь направо и налево, шептал испуганным голосом: «Смотрите, как они умирают!». Другие ждали медведя и в глубине души желали, чтоб зрелище окончилось как можно скорей.

Наконец медведь ввалился на арену и, покачивая низко склоненною головой, из-под лба осматривался вокруг, как будто думал о чем-нибудь или искал чего-нибудь. Наконец он заметил крест, а на кресте какое-то тело, встал на задние лапы, потом снова опустился на передние, сел у креста и начал ворчать, как будто в его зверином сердце проснулась жалость к этому остатку человека.

Прислужники цирка криками поощряли медведя, но толпа молчала. Тем временем Хилон медленно поднял голову и обвел глазами зрителей. И вдруг лицо его озарилось улыбкой, лоб засиял, точно под лучом света, глаза устремились кверху, и две крупные слезы медленно потекли по его лицу.

И он умер.

И вдруг какой-то громкий мужской голос раздался из-под самого велария:

— Вечный покой мученикам!

В амфитеатре царило глухое молчание...



И вдруг лицо его озарилось улыбкой, лоб засиял, точно под лучом света, глаза устремились кверху, и две крупные слезы медленно потекли по его лицу.



ГЛАВА XXI

После зрелища в садах цезаря темницы значительно опустели. Правда, преторианцы еще хватили жертвы, подозреваемые в христианстве, но облавы доставляли все менее и менее добычи, — настолько разве, насколько это нужно было для последних зрелищ. Народ, пресыщенный кровью, выказывал все большую тревогу вследствие небывалого до сих пор поведения обвиненных. Опасения суеверного Вестина охватывали тысячи душ. В толпе распространялись все более и более странные речи о мстительности христианского божества. Тюремный тиф, который распространялся по городу, еще более увеличивал всеобщую боязнь. По улицам тянулись погребальные процессии, и народ перешептывался, что необходимы новые *piacula* для умилоствления неведомого бога. В храмах приносились жертвы Юпитеру и Либитине. Наконец, несмотря на все усилия Тигеллина и его защитников, повсюду все более распространялось мнение, что город был подожжен по приказанию цезаря, и христиане страдают невинно.

Поэтому-то именно Нерон и Тигеллин и не прекращали своих преследований. Для успокоения народа издавались новые распоряжения о раздаче хлеба, вина и масла;

были объявлены предписания, касающиеся постройки домов, необыкновенно снисходительные для владельцев. Сам цезарь посещал заседания сената и рассуждал вместе с «отцами» о нуждах народа и города, но зато ни одного луча милосердия не пало на осужденных. Владыке мира прежде всего нужно было вселить в народ убеждение, что такие неумолимые кары могут постигать только виновных. В сенате также не раздавалось ни одного голоса в пользу христиан. Никто не хотел навлекать на себя гнев цезаря; кроме того, люди, проникающие взором в глубину будущего, утверждали, что при существовании новой религии основания Римского государства не выдержат.

Из темниц выносили только умерших или умирающих людей и отдавали их родственникам, — римское право не наказывало мертвых. Виницию представляла некоторую отраду мысль, что если Лигия умрет, то он похоронит ее в своем родовом склепе и сам опочитет рядом с нею. У него уже не было никакой надежды спасти ее от смерти и он сам, наполовину оторванный от жизни, почти совсем погрузившийся во Христа, уже не думал ни о каком другом соединении, как только о вечном. Его вера стала совершенно непоколебимой; вечность казалась ему чем-то несравненно более действительным и правдивым, чем то переходное существование, каким он жил до сих пор. Сердце его было полно сосредоточенного восторга. Еще при жизни он преобразился в существо почти бестелесное, которое жаждало полного освобождения и для себя и для другой, любимой души. Он представлял себе, что они с Лигией тогда возьмут друг друга за руки и отойдут в небо, где Христос благословит их и дозволит им обитать в свете таком спокойном и ясном, каким бывает блеск зари. Виниций умолял Христа только избавить Лигию от мучений в цирке и дать ей спокойно заснуть в темнице. Он с полной уверенностью чувствовал, что и сам умрет вместе с нею. Он думал, что ввиду этого моря пролитой крови ему недозволительно даже надеяться, что одна Лигия может быть спасена. От Петра и Павла он слышал, что и они также должны умереть, как мученики. Вид Хилона на кресте убедил его, что смерть, даже мученическая, может быть сладкою, и он хотел, чтоб она пришла для него и для Лигии, как желанная замена злой, грустной и тяжелой доли лучшею.

По временам он даже предвкушал загробную жизнь. Та скорбь, которая носилась над их душами, мало-помалу утрачивала прежнюю томящую горечь и постепенно обращалась в спокойную покорность воле Божией. Прежде Виниций с трудом плыл против течения, боролся и мучился, теперь отдался волне, веря, что она несет его в вечное затишье. Он отгадывал, что и Лигия, так же как и он, готовится к смерти, что, несмотря на разделяющие их тюремные стены, они уже идут по одной дороге, и улыбался этой мысли, как счастью.

И действительно, они шли так согласно, как будто каждый день, и подолгу, обменивались мыслями. У Лигии также не было никаких желаний, никаких надежд, кроме надежды на загробную жизнь. Смерть представлялась ей не только как освобождение из страшных стен темницы, из рук цезаря и Тигеллина, не только как спасение, но и как день соединения с Виницием. В сравнении с этою непоколебимою уверенностью все другое теряло свой вес. После смерти для нее начиналось счастье даже и земное, и она ждала смерти, как невеста ждет брачной минуты.

Это гигантское течение веры, которое отрывало от жизни и уносило за гробовую грань первых последователей христианства, подхватило также и Урса. И он в глубине своего сердца так же долго не хотел примириться со смертью Лигии, но когда

сквозь стены темницы до него начали доходить слухи, что делается в амфитеатрах и садах, когда смерть представилась ему как общая, неизбежная доля всех христиан и вместе с тем как благо, превышающее все смертные понятия о счастье, — он не смел даже и молить Христа, чтоб он лишил этого счастья Лигию или отсрочил бы его на долгие лета. В его бесхитростной варварской душе складывалось представление, что дочери вождя лигийцев надлежит большее, и что она получит больше небесных радостей, чем целая толпа обыкновенных людей, как он, и что в вечной славе она воссядет ближе к Агнцу, чем другие. Правда, он слышал, что пред лицом Бога все равны, но в глубине его души все еще гнездились убеждения, что дочь вождя, да еще, кроме того, вождя всех лигийцев, — не первая встречная невольница. Кроме того, он надеялся, что Христос дозволил ему и впредь служить Лигии. По отношению к самому себе он питал одно скрытное желание — умереть так же, как Агнец, на кресте. Но это представлялось ему таким неизмеримым счастьем, что хотя в Риме на кресте распинали самых закоренелых преступников, — он почти не смел вымаливать себе такую смерть. Он думал, что, вероятно, ему суждено умереть под зубами диких зверей, — и это заставляло его тревожиться. Детство свое он провел в неизмеримых лесах, среди постоянных охот, в которых благодаря своей нечеловеческой силе прославился между лигийцами еще раньше, чем пришел в мужественный возраст. Охота была его любимым занятием и потом, в Риме, когда ему пришлось отказаться от нее, он ходил в виварии и амфитеатры, чтобы хоть издали посмотреть на знакомых и незнакомых ему зверей. Их вид будил в нем непреборимое желание вновь изведать свои силы, и теперь он опасался в глубине души, как бы, когда ему вновь придется встретиться с ними в амфитеатре, им не овладели мысли, недостойные христианина, который должен умирать благочестиво и терпеливо. Но он и в этом случае полагался на Христа, — его утешало что-то другое, более отрадное. Он слышал, что Агнец объявил войну адским силам и злым духам, к числу которых христианская вера присоединяла все языческие божества, и думал, что в этой войне он очень пригодится Агнцу и сумеет послужить ему лучше других, — он никак не мог примириться с тем, чтоб его душа не была сильнее души других мучеников. Наконец, он молился по целым дням, оказывал услуги узникам, помогал сторожам и утешал свою царевну, которая по временам горевала, что в течение своей короткой жизни не могла совершить стольких добрых дел, сколько совершила их знаменитая Тавифа¹, о которой ей в свое время рассказывал апостол Петр. Неимоверная сила гиганта была страшна даже и в темнице, для нее не было ни достаточно крепких уз, ни решеток, — но стражи в конце полюбили Урса за его кротость. Не раз, удивленные ясностью его духа, они спрашивали о ее причине, а лигиец с такою твердою уверенностью рассказывал им, какая жизнь ждет его после смерти, что его слушали с удивлением. Тюремщики в первый раз видели, что в подземелье, недоступное для лучей солнца, может проникнуть счастье. И когда Урс убеждал их уверовать в Агнца, не одному в голову приходило, что его служба — раба, а жизнь — жизнь горемыки, и не один задумывался над своею горькой участью, конец которой должна положить только одна смерть.

Да, смерть, но она внушала новый страх и не обещала после себя ничего, — а вот этот гигант и эта девушка, похожая на цветок, брошенный на гниющую солому, шли навстречу ей с радостью, как к вратам счастья.

¹ Христианка, о которой упоминается в «Деяниях апостолов», гл. 9, ст. 36 и 40.



ГЛАВА XXII

Однажды вечером Петрония навестил сенатор Сцевин и повел с ним долгий разговор о тяжких временах, в которые они живут, и о цезаре. Говорил он так откровенно, что Петроний, хотя и был дружен с ним, насторожился. Сцевин жаловался, что мир идет вкривь и вкось, безумствует, и что все, вместе взятое, должно кончиться каким-нибудь бедствием, еще более страшным, чем пожар Рима. Он говорил, что даже августиане — и те недовольны, что Фений Руф, второй префект преторианцев, с величайшим усилием сносит омерзительный гнет Тигеллина, что весь род Сенеки доведен до крайности отношениями цезаря как к своему старому учителю,

так и к Лукану. В конце он начал ссылаться на недовольствие народа и даже преторианцев, часть которых сумел привлечь к себе Фений Руф.

— Зачем ты говоришь это? — спросил Петроний.

— Из участия к цезарю, — отвечал Сцевин. — Мой дальний родственник служит в преторианцах и называется так же, как и я, Сцевин, и через него-то я знаю, что делается в войске... Неудовольствие растет и там... Видишь ли, Калигула был такой же бешеный, — и смотри, что с ним случилось! Нашелся Кассий Херея... То было страшное дело, и, конечно, среди нас нет никого, кто бы одобрил его, но, однако, Херея освободил мир от чудовища.

— Или, — ответил Петроний, — ты говоришь мне так: «Я не одобряю Херею, но это был прекрасный человек, и дай нам боги больше таких же».

Но Сцевин переменял разговор и начал ни с того ни с сего хвалить Пизона¹. Он прославлял его род, его привязанность к жене, наконец, ум, спокойствие и удивительную способность привязывать к себе людей.

— Цезарь бездетен, — сказал он, — и все в Пизоне видят его преемника. Несомненно, всякий помог бы ему получить власть. Его любит Фений Руф, род Аннеев всецело ему предан. Плавтий Латеран и Туллий Сенецион бросились бы за него в огонь. То же самое и Наталис, и Субрий Флавий, и Сульпиций Аспер, и Афраний Квинкциан, даже и Вестин.

— Этот последний немного принесет пользы Пизону, — сказал Петроний. — Вестин боится даже собственной тени.

— Вестин боится снов и духов, — ответил Сцевин, — но он человек почтенный, и его недаром хотят избрать консулом. А что в душе он противится преследованию христиан, то ты не должен ставить это ему в вину, так как и тебе необходимо, чтоб эти безумия прекратились.

— Не мне, а Виницию, — ответил Петроний. — Для Виниция я хотел бы спасти одну девушку, но не могу, потому что вышел из милости Агенбарба.

— Как так? Ты не замечаешь, что цезарь снова сближается с тобою и начинает разговаривать? И я тебе скажу, почему. Он снова собирается в Ахайю, где должен петь песни собственного сочинения. Он жаждет этой поездки и вместе с тем дрожит при мысли о саркастическом настроении греков. Вообрази себе, что его может встретить или величайший триумф, или величайшее падение. Ему нужен добрый совет, а он знает, что лучше, чем ты, ему никто не может дать указания. Вот объяснение, почему ты опять входишь в милость.

— Меня мог бы заменить Лукан.

— Меднобрадый ненавидит его и произнес ему в своей душе смертный приговор. Он ищет только предлога, он всегда только ищет предлога. Лукан понимает, что нужно спешить.

¹ Вероятно, разумеется *C. Calpurnius Piso*, человек знатного рода, славившийся в народе своей добротой. «Он занимался красноречием, — говорит о нем Тацит («Летопись», кн. 15, гл. 48), — для защиты сограждан, был щедр к друзьям и даже незнакомым, отличался кротостью в обхождении». Император Калигула отнял у него жену, но в скором времени и ее, и самого Пизона отправил в ссылку, но в различные места (в 37 году). При императоре Клавдии, около 42 года, он был возвращен в Рим. В 65 году (а может быть и раньше еще — в 62 году) был составлен заговор против Нерона, главою которого считался Пизон; заговор был обнаружен, и Пизон должен был умереть, открыв себе жилы на руках.

— Клянусь Кастором! — сказал Петроний. — Может быть. Но у меня есть еще один способ быстро возвратить утраченную милость цезаря.

— Какой?

— Повторить меднобрадому то, что ты сказал мне сейчас.

— Я ничего не говорил! — с беспокойством воскликнул Сцевин.

Петроний положил ему руку на плечо.

— Ты назвал цезаря безумцем, Пизона называл его преемником; ты сказал: «Лу- кан понимает, что нужно спешить». С чем это вы хотите спешить, *carissime*?

Сцевин побледнел и с минуту смотрел прямо в глаза Петронию.

— Ты не повторишь!

— Клянусь Кипридой! Как ты хорошо знаешь меня. Нет, я не повторю. Я ничего не слышал, но также и ничего не хочу слышать... Понимаешь? Жизнь чересчур коротка, чтобы стоило заботиться о чем-нибудь. Я прошу тебя только, чтоб ты сегодня же навестил Тигеллина и разговаривал с ним так же долго, как и со мною... о чем угодно.

— Зачем?

— Затем, что если Тигеллин когда-нибудь скажет мне: «Сцевин был у тебя», то я мог бы ему ответить: «В этот самый день он был также и у тебя».

Сцевин при этих словах сломал свою трость из слоновой кости и сказал:

— Да падет злое наваждение на эту трость. Сегодня я буду у Тигеллина, а потом на пиру у Нервы. Ведь и ты будешь? Во всяком случае до свидания, через день, в амфитеатре, где выступают последние христиане... До свидания!

— До свидания! — повторил Петроний, оставшись один. — Значит, времени терять нельзя. Я действительно нужен Агенобарбу в Ахайи, — значит, он должен считаться со мною.

И он решил испытать последнее средство.

Действительно, на пиру у Нервы цезарь сам потребовал, чтобы Петроний возлежал против него. Ему хотелось говорить об Ахайи и о городах, в которых он мог выступить публично с большею вероятностью успеха. Больше всего его интересовали афиняне, которых он боялся. Остальные августиане слушали этот разговор со вниманием, чтобы, воспользовавшись обрывками речей Петрония, потом выдавать их за свои собственные.

— Мне кажется, что до сих пор я не жил, — сказал Нерон, — и рожусь только в Греции.

— Ты родишься для новой славы и бессмертия, — ответил Петроний.

— Надеюсь, что будет так, и что Аполлон не окажется завистливым. Если я возвращусь с триумфом, то обещаю ему такую гекатомбу, какой не видал до сих пор ни один бог.

Сцевин начал цитировать стихи Горация:

*Sic te diva potens Cypri,
sic fratres Helenae, lucida sidera,
ventorumque regat pater...¹*

¹ «Пусть богиня — владычица Кипра (Венера), пусть братья Елены, светлые звезды (Кастор и Поллукс), и властитель ветров (Эол) направляют путь твой, корабль!»

— Корабль стоит уже в Неаполе, — сказал цезарь. — Я хотел бы выехать хоть завтра.

Петроний привстал и, смотря Нерону прямо в глаза, сказал:

— Позволь мне, божественный, прежде устроить свадебный пир, на который я попрошу тебя раньше всех.

— Свадебный пир? какой? — спросил Нерон.

— Виниция с дочерью лигийского царя, а твою заложницей. Правда, теперь она в темнице, но, во-первых, как заложница, она не может подвергаться заключению, и во-вторых, ты сам дозволил Виницию жениться на ней, а твои решения, как решения Зевса, непреложны. Поэтому ты прикажешь выпустить ее из темницы, а я отдам ее жениху.

Хладнокровие и уверенность, с которой говорил Петроний, смутили Нерона, который всегда сбивался с толку, коль скоро кто-нибудь говорил с ним таким образом.

— Я знаю, — сказал он и опустил глаза. — Я думал о ней и о том гиганте, который задушил Кротона.

— В таком случае оба они спасены, — спокойно добавил Петроний.

Но Тигеллин пришел на помощь своему господину:

— Она в темнице по повелению цезаря, а ты, Петроний, сам же говорил, что решения его непреложны.

Все присутствующие, знавшие историю Виниция и Лигии, отлично видели, о чем идет дело, и все умолкли в ожидании, чем кончится разговор.

— Она в темнице по твоей ошибке, по твоему незнанию права народов, вопреки воле цезаря, — с ударением сказал Петроний. — Ты, Тигеллин, наивный человек, но ведь и ты не будешь утверждать, что она подожгла Рим, потому что если б ты даже и утверждал это, то цезарь не поверит тебе.

Но Нерон уже пришел в себя и начал щурить свои близорукие глаза с выражением неописанной злобности.

— Петроний прав, — сказал он через минуту.

Тигеллин с удивлением посмотрел на него.

— Петроний прав, — повторил Нерон, — завтра пред ней откроются двери темницы, а о свадебном пире мы поговорим послезавтра в амфитеатре.

«Опять проиграл», — подумал Петроний.

И, возвратившись домой, он был так уверен, что Лигии пришел конец, что на следующий день послал в амфитеатр своего отпущенника условиться с надзирателем сполиария. Он хотел выкупить тело Лигии и отдать его Виницию.



ГЛАВА XXIII

Во времена Нерона вошли в обычай вечерние представления в цирке или в амфитеатрах, — прежде их давали редко, в исключительных случаях. Августяне любили это: после таких представлений наступали пиры и попойки, продолжавшиеся до утра. Хотя народ был уже пресыщен кровью, но когда разошлась весть, что конец игрищ приближается и что на последнем зрелище умрут последние христиане, в амфитеатр стеклись неисчислимые толпы. Августяне явились все до одного; они догадывались, что то будет не обычное представление, и что цезарь хочет устроить трагедию из горя Виниция. Тигеллин хранил в тайне, какой род муки был избран для невесты молодого трибуна, но это только разжигало всеобщее любопытство.

Те, которые видели когда-то Лигию в доме Плавтия, теперь рассказывали чудеса о ее красоте. Других прежде всего занимал вопрос, действительно ли они увидят ее сегодня на арене, — ответ, который цезарь дал Петронию у Нервы, можно было толковать двояким образом. Допускали, что Нерон отдаст или, может быть, уже отдал девушку Виницию; вспоминали, что она была заложница, которой дозволялось поклоняться кому она хочет и которую право народов не дозволяло карать.

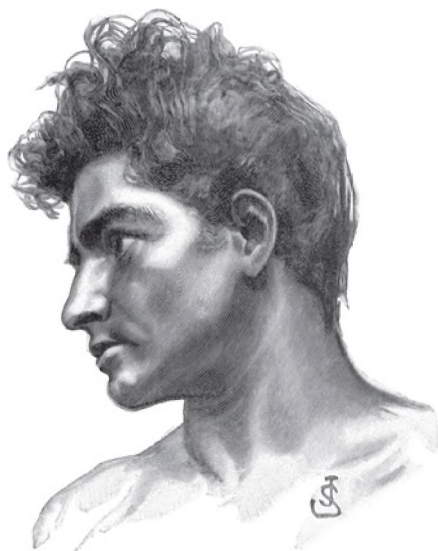
Неуверенность, ожидание и любопытство овладели всеми зрителями. Цезарь прибыл раньше, чем обыкновенно. По амфитеатру прошел шепот, что, должно быть, произойдет что-то необычайное, ибо Нерона, кроме Тигеллина и Вагиния, сопровождал Кассий, центурион гигантского роста и непомерной силы, которого цезарь брал с собой только тогда, когда нуждался в защитнике, например, во время своих ночных походов. Заметили, что и в самом амфитеатре приняты некоторые меры предосторожности. Преторианская стража была увеличена, командовал ею не центурион, а трибун Субрий Флавн, до сих пор известный своею слепотою привязанностью к Нерону. Все поняли, что цезарь на всякий случай хочет обезопасить себя от взрыва отчаяния Виниция, и любопытство возросло еще более.

Глаза всех присутствующих с напряженным вниманием обращались на место, на котором сидел несчастный жених. Виниций, бледный, с каплями холодного пота на лбу, был так же неуверен, как и другие зрители, и встревожен до глубины души. Петроний, не зная хорошенько, что наступит, не сказал ему ничего и, возвратившись от Нервы, только спросил у него, готов ли он на все и будет ли на зрелище. Виниций на оба вопроса ответил утвердительно, но по коже его пробежали мурашки, — он догадался, что Петроний спрашивает не без причины. Он сам с некоторого времени жил как бы полужизнью, сам погрузился в смерть настолько, что примирялся со смертью Лигии: она сулила им обоим освобождение и соединение, но теперь понял, что думать задолго о последней минуте как о переходе к спокойному сну — одно, а идти смотреть на мучение существа, более дорогого, чем вся жизнь — другое. Все раньше пережитые им скорби вновь отозвались в нем. Подавленное отчаяние вновь громко заговорило в его душе, и его охватило прежнее желание спасти Лигию какую бы то ни было ценой. Утром он хотел проникнуть в куникулы, убедиться, там ли Лигия, но преторианская стража охраняла все входы и выходы, а распоряжения, выданные ей, были так суровы, что солдаты, даже знакомые Виницию, не позволили подкупить себя ни мольбами, ни золотом. Виницию казалось, что ожидание убьет его раньше, чем он увидит зрелище. Где-то на дне его сердца еще робко трепетала надежда, что Лигии, может быть, нет в амфитеатре, и все его опасения напрасны. По временам он цеплялся за эту надежду изо всех сил. Он говорил себе, что Христос мог позволить взять ее в темницу, но не допустит, чтоб ее замучили в цирке. Прежде он подчинился во всем его воле, но теперь, когда, оттолкнутый от дверей куникулов, вновь возвратился на свое место и по любопытным взглядам, устремленным на него, понял, что возможны даже самые страшные предположения, то начал молить Христа о помощи со страстностью, почти переходящею в угрозу. «Ты можешь! — повторял он, конвульсивно сжимая руки. — Ты можешь!» Перед этим он не думал, чтоб эта минута, когда его опасения обратятся в действительность, была так страшна. Теперь, не отдавая себе отчета в том, что происходит в нем, он все-таки сознавал, что если он увидит мучения Лигии, то его любовь обратится в ненависть, а его вера — в отчаяние. Сознание это пугало его, он боялся оскорбить Христа, которого умолял

смиловититься и совершить чудо. Он уже не просил его сохранить жизнь Лигии, он хотел только, чтоб она умерла раньше, чем ее выведут на арену, и из бездонной пропасти скорби повторял: «Не откажи мне хоть в этом, и я возлюблю тебя еще больше, чем любил до сих пор». В конце его мысли разлетелись во все стороны, как волны, гонимые ветром. В нем пробуждалась жажда мести и крови, им овладевало безумное желание броситься на Нерона и задушить его на виду у всех зрителей, и вместе с тем, он чувствовал, что это желание опять-таки оскорбляет Христа и нарушает его повеления. По временам в его голове мелькала молния надежды, что все, перед чем содрогалась его душа, может еще отвлечь всемогущая и милосердная длань, но эти проблески гасли тотчас же под наплывом неизмеримо горькой мысли, что тот, который одним словом мог бы разрушить этот цирк и спасти Лигию, кинул ее, хотя она верила в него и возлюбила его всеми силами своего чистого сердца. И Виниций воображал, как она лежит там, в темном куникуле, слабая, безоружная, покинутая, отданная на милость и немилость озверелой стражи, может быть, отживающая свои последние минуты, а он должен сидеть бездейственно в этом страшном амфитеатре, не зная, какие муки придуманы для нее и что ему придется увидеть через минуту. Наконец, как человек, который, падая в пропасть, хватается за все, что растет на ее краю, так и он обеими руками ухватился за мысль, что только одна вера может спасти ее. Оставался только один этот способ. Ведь говорил же Петр, что верой можно землю сдвинуть с ее основания.

И Виниций сосредоточился в себя, подавил свои сомнения, все свое существо замкнул в одном слове — вере, и ждал чуда.

Но как лопаются чересчур туго натянутая струна, так и его сломило душевное напряжение. Лицо его покрылось мертвенною бледностью, тело начинало холодеть. Тогда он подумал, что молитвы его услышаны, что он умирает. Ему казалось, что Лигия также, должно быть, умерла и что Христос берет их обоих к себе. Арена, белые тоги неисчислимых зрителей, свет тысячи ламп и факелов — все это сразу исчезло из его глаз.



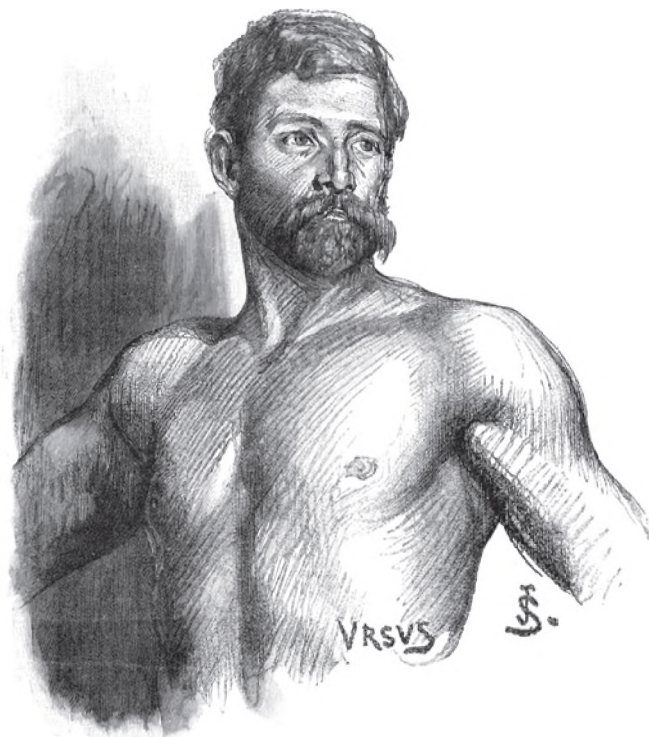
— Ты болен, — сказал ему Петроний, — прикажи отнести себя домой.

И, не обращая внимания на то, что скажет цезарь, он встал, чтобы поддержать Виниция и выйти с ним вместе. Сердце его было переполнено жалостью; кроме того, его невероятно злило то, что цезарь все время смотрел сквозь свой изумруд на Виниция, с удовольствием наблюдая за его скорбью, может быть, для того, чтобы потом описать ее в поэтических строфах и снискать рукоплескания слушателей.

Виниций отрицательно покачал головой. Он мог умереть в этом амфитеатре, но не мог выйти из него. Наконец, представление должно было сейчас начаться.

И действительно, почти в эту же минуту префект города взмахнул красным платком. Ворота, находящиеся против цезарского подия, со скрипом растворились, и из их черной пасти на ярко освещенную арену вышел Урс.

Гигант моргал глазами, ослепленный светом арены, потом дошел до ее середины, как будто рассматривая, с чем ему придется встретиться. Всем августианам и большей части зрителей было известно, что это тот самый человек, который задушил Кротона, и при виде его по всем скамьям пробежал шепот. В Риме не было недостатка в гладиаторах, удивляющих своим ростом и размерами, но подобного еще не видели очи квиритов. Кассий, стоявший за цезарем в подии, казался в сравнении с лигийцем невысоким человеком. Сенаторы, весталки, цезарь, августиане и народ с восторгом знатоков и любителей смотрели на его могучие, похожие на обрубки дерева, ноги, на грудь, напоминающую два соединенных щита, на геркулесовские руки. Шум возростал с каждой минутой. Для толпы не могло существовать большего



наслаждения, как видеть эти мускулы в действии, в напряжении и в борьбе. Мало-помалу шепот переходил в крики и торопливые расспросы, где живет племя, порождающее подобных великанов, а Урс стоял посреди амфитеатра, нагой, более похожий на каменного колосса, чем на человека, с сосредоточенным и вместе с тем печальным лицом и, видя пустую арену, с удивлением посматривал своими голубыми глазами то на цезаря, то на зрителей, то на решетки куникулов, откуда ожидал появления палачей.

В минуту, когда он выходил на арену, его бесхитростное сердце забилося последней надеждой, что, может быть, его ожидает крест, но когда он не увидел ни креста, ни свежевыкопанной ямы, то подумал, что недостоин этой милости и что ему придется умереть иначе, под клыками зверей. Он был безоружен и решил погибнуть, как подобает поклоннику Агница, спокойно и терпеливо. Он хотел еще раз помолиться Избавителю и, став на колена посреди арены, сложил руки и поднял глаза к звездам, льющим свой свет через верхнюю продушину цирка.

Поза эта не понравилась толпе. Довольно уже они видели христиан, умирающих как овцы. Все поняли, что если гигант не захочет сопротивляться, то зрелище сойдет ни на что. Кое-где послышались свистки, но вскоре и они стихли: никто не знал, что ждет гиганта, и захочет ли он бороться, когда встретится с глазу на глаз со смертью.

Ждать долго не пришлось. Вдруг раздался пронзительный звук медных труб, решетка одного куникула распахнулась, и на арену, сопровождаемый криками bestiариев, выскочил ужасающий германский тур с обнаженным женским телом, привязанным к его голове.

— Лигия, Лигия! — крикнул Виниций.

Он ухватился за виски, перегнулся, как человек, почувствовавший в своем теле острие копья, и хриплым, нечеловеческим голосом начал повторять:

— Я верю, верю! Христос, покажи чудо!

Он даже не почувствовал, что в эту минуту Петроний окутал его голову тогой. Ему казалось, что это смерть или горе заслоняют его глаза. Его охватило чувство какой-то странной пустоты. В голове его не осталось ни одной мысли, и только губы бессознательно повторяли:

— Я верю, верю, верю!

Амфитеатр умолк. Августяне как один человек поднялись с мест, потому что на арене происходило что-то необыкновенное. Покорный и готовый к смерти лигиец, увидав свою царевну на рогах дикого зверя, вскочил, как будто до него дотронулись раскаленным железом, и, сторбив спину, побежал наперерез разъяренному животному.

Из груди зрителей вырвался отрывистый крик изумления, за которым опять наступила глухая тишина. Лигиец в мгновение ока нагнал скачущего быка и схватил его за рога.

— Смотри! — крикнул Петроний и сорвал тогу с головы Виниция.

Виниций встал, закинул назад свое бледное, как полотно, лицо и устремил на арену свои стеклянные, бессознательные глаза.

Все зрители затаили дыхание. В амфитеатре было слышно, как пролетит муха. Люди не хотели верить собственным глазам. Еще с начала Рима не было ничего подобного.

Лигиец держал дикое животное за рога. Его ноги выше щиколотки ушли в песок, спина выгнулась, как туго натянутый лук, голова ушла в плечи, мускулы выступили так, что кожа чуть не лопалась под их напором, но он все-таки осадил быка на месте. И человек и животное оставались в такой неподвижности, что зрителям казалось, что они видят подвиг Геркулеса или Тезея или группу, изваянную из камня. Но в этом видимом покое было видно страшное напряжение двух борющихся сил. Тур так же, как и человек, ушел ногами в песок, а его темное косматое тело скорчилось так, что он походил на огромный шар. Кто первый обессилеет, кто первый падет, — вот вопрос, который занимал в эту минуту зрителей более, чем их собственная судьба, чем Рим и его владычество над миром. Для них теперь лигиец был полубогом, достойным статуи и поклонений. Сам цезарь также встал со своего места. Они с Тигеллином, услышав о силе этого человека, нарочно устроили такое зрелище и, смеясь, говорили друг другу: «Пусть победитель Кротона одолеет тура, которого мы выберем», а теперь с удивлением смотрели на то, что было перед ними, как будто не доверяя действительности. В амфитеатре были такие, что, подняв руки, так и застыли в таком положении, у других на лбу выступили капли пота, как будто они сами боролись с животным. В цирке был слышен только треск огня в светильниках да шелест угольков, падающих с факелов. Голоса зрителей замерли в их устах, зато сердца бились так сильно, как будто хотели выскочить из груди. Всем казалось, что эта борьба длится целые века.

В это время с арены послышался рев, похожий на стон, из груди зрителей тоже вырвался крик, и вновь воцарилась тишина. Зрителям показалось, что они видят сон: страшная голова быка начала повертываться в железных руках варвара.

Лицо лигийца, шея и руки покраснели, как пурпур, спина сгорбилась еще сильнее. Видно было, что он собирает остатки своих нечеловеческих сил, но что его хватит ненадолго.

Все более и более глухой, хриплый и болезненный рев тура смешивался со свистящим дыханием груди гиганта. Голова зверя повертывалась все больше, из пасти высовывался длинный язык, покрытый пеной.

Еще минута, и до ушей зрителей, сидящих ближе, долетел треск сломанных костей, и зверь повалился наземь со сломанной шеей.

В ту же минуту гигант сорвал веревки с его рогов, схватил на руки девушку и вздохнул полной грудью.

Лицо его было бледно, волосы слиплись от пота, плечи и руки казались облитыми водою. С минуту он простоял бессознательно, но потом поднял глаза и обвел ими зрителей.

А амфитеатр весь обезумел.

Стены здания дрогнули от крика десятков тысяч голосов. С начала зрелищ еще не было видно такого энтузиазма. Сидящие на верхних скамьях покинули свои места и начали спускаться вниз, чтоб ближе видеть силача. Отовсюду послышались просьбы о помиловании, страстные, упорные, которые вскоре слились в общий хор. Этот гигант теперь стал дорог народу, поклоняющемуся физической силе, первым лицом в Риме.

Урс понял, что народ добивается, чтоб ему оставили жизнь и даровали свободу, но, видимо, этого было ему мало. С минуту он оглядывался вокруг, потом приблизился к цезарскому подиуму и, простирая к нему тело девушки, поднял глаза с выражением мольбы, как будто хотел сказать:

«Над ней смилуйтесь, ее пощадите, для нее я сделал это!»

Зрители хорошо поняли, чего он просил. При виде лишенной чувств девушки, которая в сравнении с громадным корпусом лигийца казалась малым ребенком, волнение охватило толпу, всадников и сенаторов. Ее крохотная фигурка, белая, точно высеченная из алебастра, ее обморок, ужасная опасность, от которой ее избавил гигант, наконец, ее красота — взволновали все сердца. Иные думали, что это отец вымалывает пощады для своего ребенка. И жалость вспыхнула вдруг, как пламя. Довольно крови, довольно смерти, довольно мук... Голоса, в которых слышались слезы, начали просить пощады для обоих.

Тем временем Урс шел по окружности арены и, слегка покачивая тело девушки, движениями и глазами умолял оставить ей жизнь. Виниций вскочил с места, перепрыгнул через загородку, отделяющую первые места от арены, подбежал к Лигии и набросил свою тогу на ее обнаженное тело.

Затем он разорвал на груди тунику, открыл рубцы, оставшиеся от ран, полученных им в армянской войне, и протянул руки к народу.

Тогда возбуждение зрителей перешло всякую меру. Толпа начала стучать ногами и выть. Голоса, вызывающие о пощаде, становились грозными. Народ не только восхищался атлетом, но становился на защиту девушки, воина и их любви. Тысячи зрителей обратились к цезарю с гневно сверкающими глазами и сжатыми кулаками. Нерон все-таки медлил и колебался. Правда, к Виницию он не питал ненависти, смерти Лигии не желал, но предпочел бы видеть тело девушки, распоротое рогами быка или растерзанное клыками зверей. Его жестокость, развращенное воображение и развращенные страсти находили какое-то наслаждение в подобных зрелищах. А вот теперь народ хочет лишиться его этого наслаждения. При этой мысли на его оживленном лице показалось выражение гнева. Самолюбие не позволяло ему подчиняться воле толпы, но вместе с тем по своей врожденной трусости он не смел противиться ей.

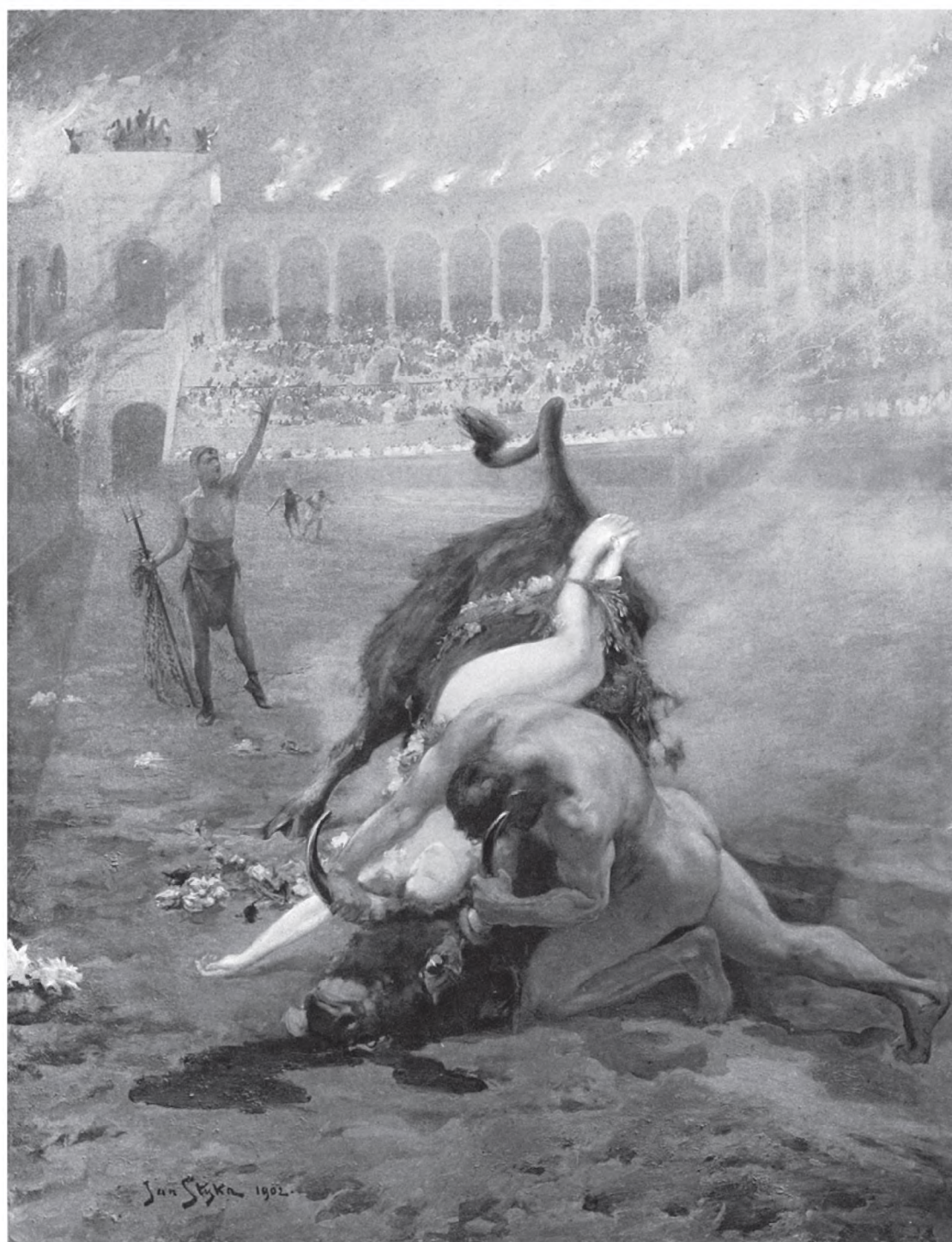
И Нерон начал смотреть, не заметит ли он, по крайней мере, августиан с пальцами, опущенными вниз в знак смертного приговора. Но Петроний высоко держал поднятую руку и притом чуть не вызывающе смотрел ему в лицо. Суверенный, но склонный к возбуждению Вестин, который боялся духов, но не боялся людей, тоже давал знак пощады. То же самое делал сенатор Сцевин, то же самое Нерва, то же самое Туллий Сенецион, то же самое старый знаменитый полководец Осторий Скапула и Антистий, и Пизон, и Вет, и Криспин, и Минуций Терм, и Понций Телезин, и уважаемый всем народом Тразея. Увидев это, цезарь отнял от глаза изумруд с выражением презрения и обиды. Тогда Тигеллин, которому во что бы то ни стало хотелось сделать назло Петронию, наклонился и сказал:

— Не уступай, божественный, — за нас преторианцы.

Тогда Нерон обернулся в ту сторону, где команду над преторианцами держал суровый и до сих пор преданный ему всею душой Субрий Флав, и увидел что-то необыкновенное. По грозному лицу старого трибуна струились слезы, а рука его была поднята вверх в знак пощады.

Толпою начало овладевать бешенство. От топота ног поднялась пыль и заслонила весь амфитеатр. Среди криков слышались возгласы: «Агенобарб! Матереубийца! Поджигатель!».

Нерон испугался. Народ всегда был полновластным в цирке. Предшествующие цезари, в особенности Калигула, позволяли себе иногда делать вопреки его воле,





Еще минута, и до ушей зрителей, сидящих ближе, долетел треск сломанных костей, и зверь повалился наземь со сломанною шеей.

что, впрочем, всегда вызывало беспорядки, доходившие даже до кровопролития. Но Нерон был в особом положении. Прежде всего, как комедианту и певцу, ему нужно было расположение народа; во-вторых, он хотел иметь его на своей стороне против сенаторов и патрициев; в третьих, после пожара Рима ему было необходимо во что бы то ни стало привлечь к себе сердца римлян и обратить их гнев на христиан. Он понял, что противиться дальше просто-напросто опасно. Волнение, начавшееся в цирке, могло охватить весь город и повести за собой непредвиденные последствия.

Цезарь еще раз посмотрел на Субрия Флава, на центуриона Сцевина, родственника сенатора, на солдат и, видя повсюду нахмуренные брови, взволнованные лица и обращенные на него глаза, дал знак пощады.

Гром рукоплесканий раздался сверху донизу. Народ уже был уверен, что осужденные останутся живы: с этой минуты они находились под его покровительством, — и даже сам цезарь не осмелился бы дальше преследовать их своею местью.



ГЛАВА XXIV

Четверо вифинцев осторожно несли Лигию в дом Петрония, а Виниций и Урс шли рядом, торопясь как можно скорее отдать ее в руки греческого врача. Они шли молча, — после событий сегодняшнего дня слово не шло с их языка. Виниций до сих пор, казалось, еще не пришел в сознание. Он повторял себе, что Лигия спасена, что ей уже не угрожает ни темница, ни смерть в цирке, что невзгоды их покончились раз навсегда и что он возьмет ее к себе в дом, чтобы не разлучаться навеки. И ему казалось, что это не действительность, а начало какой-то другой жизни. От времени до времени он наклонялся к открытым носилкам, чтобы посмотреть на дорогое лицо, которое при свете месяца казалось спящим, и повторял про себя: «Это она! Христос спас ее!». Он вспоминал также, что в сполларий, куда они с Урсом отнесли Лигию, явился какой-то незнакомый ему врач и уверил его, что девушка жива и будет жить. При мысли об этом радость так заливала его грудь, что по временам он ослабевал и опирался на руку Урса, не имея сил идти без посторонней помощи. Урс же смотрел на небо, усеянное звездами, и молился. Они шли торопливо по улицам, застроенным новыми белыми домами, которые ярко сверкали при лунном освещении. Город был

пуст, только кое-где кучки людей, увенчанных плющом, пели и танцевали под звуки флейты, пользуясь чудною ночью и праздничною порой, которая длилась с начала игрищ. Только уже приближаясь к дому, Урс перестал молиться и заговорил тихо, как будто боялся разбудить Лигию:

— Господин, это Избавитель спас ее от смерти. Когда я увидал ее на рогах тура, то услышал в своей душе голос: «Защищай ее!» — и то, несомненно, был голос Агнца. Темница истощила мои силы, но он снова возвратил их мне на эту минуту. Он смягчил этот суровый народ так, что он вступился за нее. Да будет его воля.

Виниций ответил:

— И да будет прославлено имя его!..

Больше он ничего не мог сказать, потому что вдруг почувствовал, что рыдание готово разорвать его грудь. Ему страстно захотелось пасть на землю и благодарить Избавителя за чудо и милосердие.

Тем временем они дошли до дома; слуги, извещенные нарочно посланным невольником, высыпали им навстречу. Павел Тарсянин еще в Антии обратил в христианство большую часть этих людей. Невзгоды Виниция им были хорошо известны, тем больше была их радость при виде жертв, вырванных из рук Нерона. Эта радость еще увеличилась, когда врач Теока, осмотрев Лигию, сообщил, что она не испытала ни малейшего поругания и по прошествии слабости, оставшейся после горячки, выздоровеет.

Сознание возвратилось к Лигии в ту же ночь. Очнувшись в великолепном кубике, освещенном коринфскими светильниками, среди аромата вербены и нарда, она не понимала, где она и что с ней делается. Последнее, что она помнила, — это минуту, когда ее привязывали к рогам быка, скованного цепями, а теперь при виде лица Виниция, освещенного мягким светом светильников, думала, что они оба уже не на земле. Мысли еще путались в ее ослабевшей голове; ей казалось естественным, что они остановились где-то по дороге к небу благодаря ее мученичеству и слабости. Не ощущая никакой боли, она улыбнулась Виницию и хотела его спросить, где они, но из уст ее вылетел только слабый шепот. Виниций лишь с трудом мог уловить свое имя.

Он стал на колена у ее ложа, слегка положил ей руку на лоб и сказал:

— Христос спас тебя и возвратил мне!

Губы Лигии опять пошевельнулись, но через минуту глаза ее закрылись, и она заснула глубоким сном, которого так ожидал врач Теока и после которого, по его словам, должно было начаться выздоровление.

Виниций так и остался на коленах и погрузился в молитву. Душа его расплылась в такой бесконечной любви, что он совершенно забылся. Теока несколько раз входил в кубик, несколько раз из-за занавески показывалась золотистая голова Эвники, наконец, прирученные журавли своим криком заявили, что день начинается, а Виниций все еще мысленно обнимал стопы Христа, не видя и не слыша, что делается вокруг него.



ГЛАВА XXV

После освобождения Лигии, не желая раздражать цезаря, Петроний отправился вместе с ним и другими августианами на Палатин. Он жаждал услышать, о чем будут говорить там, а в особенности убедиться, не придумает ли Тигеллин чего-нибудь нового для гибели девушки. Правда, и она, и Урс поступали как бы под покровительство народа и без возбуждения беспорядков теперь никто не мог поднять на них руку, но Петроний знал, какую ненавистью пылает к нему всемогущий префект претория и допускал, что он, не имея возможности действовать прямо, будет стараться каким-нибудь косвенным путем отомстить его племяннику.

Нерон был зол и раздражен, — представление кончилось совсем не так, как он желал. На Петрония сначала он даже не хотел смотреть, но тот, не теряя хладнокровия, приблизился к нему с непринужденностью *arbitri elegantiarum* и сказал:

— Знаешь, божественный, что мне пришло в голову? Напиши песнь о девушке, которую приказ владыки мира освобождает от рогов дикого тура и отдает возлюбленному. Сердца у греков мягкие, и я уверен, что их эта песнь очарует.

Нерону, несмотря на все раздражение, эта мысль прилась по вкусу, — и прилась по двум соображениям: во-первых, как тема для песни; во-вторых, как возможность прославить в ней самого себя. Он с минуту посмотрел на Петрония, потом сказал:

— Да, ты, может быть, прав. Но приличествует ли мне воспевать свое великодушие?

— Тебе нет надобности называть себя по имени. В Риме всякий и так догадается, о чем идет дело, а из Рима вести расходятся по всему свету.

— И ты уверен, что это понравится в Ахайи?

— Клянусь Поллуксом! — воскликнул Петроний.

И он ушел довольный. Он теперь был уверен, что Нерон, вся жизнь которого была занята приспособлением действительности к поэтическим вымыслам, не захочет сам испортить темы, и таким образом свяжет Тигеллину руки. Это, однако, не изменило его намерения удалить Виниция из Рима, как только здоровье Лигии сколько-нибудь поправится. И вот, увидав его на следующий день, Петроний сказал:

— Увези Лигию в Сицилию. Дело сложилось так, что со стороны цезаря вам ничего не грозит, но Тигеллин готов прибегнуть даже к яду, если не из ненависти к вам, то ко мне.

Виниций улыбнулся и ответил:

— Она была на рогах дикого тура, а Христос все-таки спас ее.

— Почти его за это гекатомбой, — с оттенком раздражения сказал Петроний, — но не заставляй его спасать Лигию во второй раз... Ты помнишь, как Эол принял Одиссея, когда он второй раз явился просить о благоприятном направлении ветра? Божества не любят повторений.

— Когда он возвратит ей здоровье, я отвезу ее к Помпонии Грецине, — сказал Виниций.

— И это тем более будет хорошо, что Помпония больна. Мне говорил об этом родственник Авла, Антистий. А здесь пока будут происходить такие вещи, что о вас забудут, а в настоящие времена самые счастливые те, о которых забыли. Да будет Фортуна вашим солнцем зимой и вашею тенью летом!

Он оставил Виниция одного с его счастьем, а сам пошел расспрашивать Теокла о здоровье Лигии.

Ей уже не грозило никакой опасности. В подземелье, при слабости, оставшейся после горячки, ее непременно добила бы неудобства и испорченный воздух, но теперь ее окружали самые заботливые попечения и роскошь. По распоряжению Теокла через два дня ее начали выносить в сад, прилегающий к вилле, и оставлять там на долгие часы. Виниций украшал ее носилки анемонами, а в особенности ирисами, чтоб они напоминали ей атрий дома Авла. Не раз, укрывшись под тень разросшихся деревьев, они разговаривали о прошлых горестях и прошлых тревогах. Лигия объясняла, что Христос нарочно провел его чрез муку, чтоб изменить его душу и возвысить до себя. Виниций чувствовал, что это правда, и что в нем не осталось ничего от прежнего патриция, который не признавал никакого другого закона, кроме своих страстей. Но в этих рассуждениях не было ничего горького. Им обоим казалось, что целые года пронесли над их головами и что страшное прошлое лежит уже далеко за ними. И ими овладевал покой, какого они еще не знали до сих пор. Какая-то новая жизнь, несказанно благостная, шла к ним навстречу и заключала в себя. В Риме цезарь мог безумствовать и наполнять тревогою весь мир, — они, чувствующие над собою во сто раз более могущественное покровительство, уже не боялись ни злобы цезаря, ни его безумств, как будто он перестал быть господином их жизни или смерти. Раз при заходе солнца они услышали рычание львов и других диких зверей, доносящееся к ним из отдаленного вивария. Когда-то эти голоса охватывали Виниция тревогой, как злое предзнаменование, а теперь они с Лигией только обменялись улыбкой.

Лигия была еще слаба, но могла ходить одна и часто засыпала в тишине сада, а Виниций всматривался в ее лицо и невольно думал, что это уже не та Лигия, которую он встретил у Авла. Действительно, темница и болезнь унесли часть ее красоты. Когда он видел ее в доме Авла, и позже, когда пришел похищать ее из дома Мириам, она была прекрасна, как статуя и вместе с тем как цветок, а теперь лицо ее стало чуть не прозрачным, губы побледнели, и даже глаза казались не такими голубыми, как прежде. Золотоволосая Эвника, которая приносила ей цветы и покрывала ее ноги драгоценными тканями, в сравнении с ней казалась кипрским божеством. Эстетик Петроний напрасно усиливался отыскать в ней прежнее обаяние и, пожимая плечами, думал про себя, что эта тень из Елисейских полей не стоила стольких усилий, столько горя и мучений, которые чуть не высосали всю жизнь из Виниция. Но Виниций, который любил ее душу, еще больше привязывался к ней и, когда оберегал ее сон, думал, что оберегает весь мир.





ГЛАВА XXVI

Весть о чудесном спасении Лигии быстро разнеслась среди остатков христиан, которые уцелели от погрома. Они начали сходиться, чтобы посмотреть на ту, на которую явно излилась милость Христа. Прежде всех пришел Назарий с Мириам, у которых до сих пор скрывался апостол Петр. Все, вместе с Виницием и Лигией и христианскими невольниками, сосредоточенно слушали рассказ Урса о голосе, который отозвался в его душе и повелел ему вступить в борьбу с диким животным, все уходили ободренные, с надеждой, что Христос не допустит уничтожить всех своих поклонников,

прежде чем не сойдет сам в час Страшного суда. И надежда эта поддерживала сердца христиан, потому что преследования не прекращались до сих пор. Кого голос народа признавал христианином, того городские вигилы тотчас же хватали и уводили в темницу. Правда, жертв было меньше, потому что большинство было уже схвачено и замучено, остальные же ушли из Рима, чтобы переждать грозу в отдаленных провинциях, или скрывались более тщательно, не осмеливаясь собираться на общую молитву иначе как в аренах, лежащих за пределами города. Но и за теми все-таки следили, и, хотя игрища были окончены, христиан сохраняли на будущее время или судили скорым судом. Хотя римский народ и не верил, что христиане подожгли город, их объявили врагами человечества и государства, и эдикт, направленный против них, существовал во всей своей силе.

Апостол Петр долго не смел показаться в дом Петрония, но однажды вечером Назарий объявил о его прибытии. Лигия, которая уже ходила одна, и Виниций выбежали встретить его и припали к его ногам, а он приветствовал их с большим волнением, — немного уже осталось овец из того стада, пасти которое поручил ему Христос и участь которого оплакивало его великое сердце. Когда Виниций сказал ему: «Господин! Это ради твоей молитвы Избавитель возвратил ее мне!» — он ответил: «Он возвратил ее по вере твоей и для того, чтоб не замолкли все уста, прославляющие его имя». Он, видимо, теперь думал о тысячах своих детей, растерзанных дикими зверями, о крестах, какими наполнены были арены, об огненных столбах в садах Зверя, потому что проговорил свои слова с великою скорбью. Виниций и Лигия заметили, что его волосы совсем поседел, стан сгорбился, а лицо носило такой отпечаток страдания, как будто он сам перешел через все муки, от которых погибли жертвы бешенства и безумия Нерона. Они оба уже понимали, что если Христос отдал себя на мучения и смерть, то никто не может уклониться от них, хотя сердце их разрывалось при виде апостола, угнетенного бременем лет, трудов и горя.

И Виниций, который уже собирался отвезти Лигию в Неаполь, где они должны встретить Помпонию и отправиться в Сицилию, начал умолять апостола оставить Рим вместе с ними.

Но апостол положил руку на его голову и ответил:

— Я давно уже слышу в душе слова Господа, который сказал мне у Тивериадского озера: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». — Истинно, что мне нужно идти за стадом моим.

Видя, что они не понимают его слов, он добавил:

— Труд мой подходит к концу, но отраду и отдых я найду лишь в доме Господа.

Потом он обратился к ним:

— Памятуйте меня, ибо я возлюбил вас, как отец любит детей своих, а что будете делать в жизни, делайте это во славу Господа.

Он простер над ними свои старые, дрожащие руки и благословил их. Виниций и Лигия прижались к нему. Они чувствовали, что это, может быть, последнее благословение, которое они получают от него.

Но им суждено было видеться еще раз. Несколько дней спустя Петроний принес грозные вести из Палатина. Открылось, что один из отпущенников цезаря был христианин, и у него нашли письма апостола Петра, Павла Тарсянина, Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании Петра в Риме Тигеллину было известно еще раньше,

но он предполагал, что апостол погиб вместе с тысячами других христиан. Теперь оказалось, что два столпа новой веры до сих пор живы и находятся в столице. Решено было найти их и схватить во что бы то ни стало, — рассчитывали, что лишь только с их смертью корни ненавистной секты будут вырваны. Петроний слышал от Виниция, что сам цезарь издал приказание, чтобы в течение трех дней Петр и Павел были взяты и заключены в Мамертинскую темницу, и что несколько отрядов преторианцев высланы для обыска всех домов Затибрской части.

Виниций, узнав об этом, решил идти предостеречь апостола. Вечером он с Урсом надели галльские плащи, закрыли лица и пошли к Мириам, дом которой находился в самом конце Затибрской части, у подножия Яникульского холма. По дороге они видели, как солдаты, руководимые какими-то людьми, оцепляли дома. Квартал был взбудоражен, местами собирались кучки любопытных. Там и здесь центурионы выпытывали схваченных, расспрашивая их о Симоне Петре и Павле Тарсянине.

Урс и Виниций, опередив солдат, благополучно дошли до дома Мириам и застали Петра, окруженного кучкою верных. Тимофей, помощник Павла Тарсянина, и Линн также находились возле апостола.

При вести о близкой опасности Назарий провел всех тайным ходом к садовой калитке, а потом к заброшенным каменоломням, которые находились в нескольких шагах от Яникульских ворот. Урс должен был нести Линна, кости которого еще не срослись после вынесенных им мучений. Войдя в подземелье, христиане почувствовали себя в безопасности и при свете ночника начали тихо совещаться, как спасти дорогу для них жизнь апостола.

— Господин, — сказал ему Виниций, — завтра на рассвете пусть Назарий проводит тебя из города к Альбанским горам. Там мы найдем тебя и возьмем в Антий, где ждет корабль, который перевезет нас в Неаполь и в Сицилию. Счастлив будет день и час, когда ты вступишь в мой дом и благословишь мой очаг.

Другие с радостью слушали его и уговаривали апостола.

— Скройся, не уберечься тебе в Риме. Сохрани живую правду, дабы она не погибла вместе с нами и тобой. Услышь нас, которые умоляют тебя, как отца.

Апостол отвечал:

— Дети мои, кто знает, когда Господь назначит час моей смерти?

Но он не говорил, что не покинет Рим, и сам колебался, что ему делать, — с некоторого времени в его душу прокралась неуверенность и даже тревога. Но стадо его было рассеяно, дело разрушено, церковь, которая перед пожаром города возросла, как роскошное дерево, стерта в прах могуществом Зверя. Не осталось ничего, кроме слез, ничего, кроме воспоминаний муки и смерти. Посев дал обильный урожай, но сатана втоптал его в землю. Сонмы ангелов не пришли на помощь гибнущим, и вот теперь Нерон распростер во славу свою длань над миром, страшный, более могущественный, чем когда-либо, господин всех морей и всех материков. Не раз уже рыбарь Божий в одиночестве простирает свои руки к небу и спрашивал: «Господь! что мне делать? Как мне устоять? Как я, бессильный старец, могу бороться с тою необъятною силой зла, которому ты дозволил властвовать и побеждать?».

И он, взывая из глубины горя, повторял в душе: «Нет уже тех овец, которых ты повелел мне пасти, — запустение в твоём граде, — что ты повелишь мне теперь? Остаться ли мне здесь, или вывести остатки стада, дабы мы где-нибудь за морями, скрытно от всех, славили имя твое?».



И он колебался. Он верил, что живая правда не сгинет и перевесит зло, но по временам думал, что для этой правды еще не пришло время, а придет оно тогда, когда Господь снизойдет на землю в день судный, во славе и силе, во сто раз большей, чем сила Нерона.

Часто ему казалось, что если он оставит Рим, то верные пойдут за ним, а он уведет их туда, в тенистые сады Галилеи, к тихой глади Тивериадского озера, к пастухам, спокойным, как овцы, которых они сами пасут на лугах, поросших тимьяном и нардом. И все большая и большая жажда тишины и отдыха, все большая тоска по озеру и Галилее овладевала сердцем рыбака, слезы все чаще набежали на глаза старца.

Но когда на минуту он останавливался на этом выборе, его охватывал внезапный страх и тревога. Как же ему оставить этот город, в почву которого проникло столько мученической крови, где столько умирающих уст давали свидетельство правды? Может ли он уклониться от этого? И что он ответит Господу, когда он услышит слова: «Они умерли за веру свою, а ты бежал?»

Дни и ночи его проходили в тоске и огорчении. Те, которых растерзали львы, после минутных мучений почил в Господе, а он не мог спать и чувствовал муку большую, чем та, которую палачи изобретали для своих жертв. Рассвет часто озарял крыши домов, когда Петр еще взывал из глубины своего взволнованного сердца:

— Господи, не ты ли повелел мне прийти сюда и в этом гнезде Зверя основать престол твой?

Тридцать четыре года со смерти Господа своего он не видал покоя. С посохом в руке он обходил мир и проповедовал «благую весть». Его силы истощались

в путешествиях и трудах, наконец в этом городе, в этой столице мира он утвердил дело Божие, но огненное дыхание злобы испепелило его, и Петр видел, что борьбу нужно вести сначала. И какую борьбу! С одной стороны цезарь, сенат, народ, легионы, железным обручем охватывающие весь мир, неисчислимые города, неисчислимые земли, — могущество, которого не видело человеческое око, — с другой стороны — он, настолько согбенный летами и работой, что его дрожащие руки едва могли влачить дорожный посох.

И по временам он говорил себе, что не ему меряться с римским цезарем, и что это может совершить только сам Христос.

Все эти мысли теперь мелькали в его озабоченной голове, когда он выслушивал просьбу последней горсти своих верных, а те, окружая его все тесней, повторяли умоляющими голосами:

— Скройся, учитель, и нас выведи из-под власти Зверя.

Наконец и Линн преклонил перед ним свою измученную голову.

— Господин! — заговорил он, — Избавитель повелел тебе пасти овец своих, но их уже нет здесь или завтра не будет, — иди туда, где ты можешь найти их. Слово Божие живет еще и в Иерусалиме, и в Антиохии, и в Эфесе, и в других городах. Что ты совершишь, если останешься в Риме? Если ты падешь, то умножишь только торжество Зверя. Иоанну Господь не назначил предела жизни, Павел — римский гражданин, и без суда его покарать не могут, но если на тебя обрушится адская злоба, те, у которых уже и так ослабело сердце, будут спрашивать: кто сильнее Нерона? Ты — камень, на котором создана церковь Божия. Дай нам умереть, но не дозвошь антихристу одолеть наместника Божия и не возвращайся до тех пор, пока Господь не сокрушит пролившего невинную кровь.

— Воззри на слезы наши! — повторили присутствующие.

Слезы текли и по лицу Петра. Он встал, простер руки над коленопреклоненными христианами и проговорил:

— Да будет благословенно имя Господа и да совершится воля его.



ГЛАВА XXVII

На рассвете следующего дня две темные фигуры подвигались по дороге Аппия к развалинам Кампании.

То были Назарий и апостол Петр, который покидал Рим и своих обреченных на мучения единоверцев.

На востоке небо уже принимало слабый зеленоватый оттенок, который мало-помалу обрамлялся внизу шафранною полоской. Деревья с серебряными листьями, белый мрамор вилл и арки водопроводов, бегущие по равнине к городу, выделялись

из темноты. Зеленая окраска неба становилась все ярче и пропитывалась золотом. Восток также начал алеть и осветил Альбанские горы, которые показались во всей своей красоте, точно сплетенные из одних лучей света.

Рассвет отражался в каплях росы, что дрожали на листьях деревьев. Туман редел, открывая все более широкий вид на равнину, на усеивающие ее дома, на кладбища, маленькие городки и группы деревьев, между которыми белели колонны храмов.

Дорога была пуста. Поселяне, которые привозили овощи в город, видимо, еще не успели приготовить свои тележки. Деревянные сандалии путников гулко стучали по каменным плитам, которыми была выложена дорога вплоть до самых гор.

Солнце вышло из-за цепи гор, и вместе с тем странное зрелище поразило апостола. Ему показалось, что золотистый диск, вместо того чтоб подниматься выше, опустился с гор и движется по дороге.

Тогда Петр остановился и сказал:

— Ты видишь свет, который приближается к нам?

— Я не вижу ничего, — ответил Назарий.

Петр защитил глаза рукою и сказал через минуту:

— Кто-то идет к нам в блеске солнца.

Однако до ушей его не долетал ни малейший звук шагов. Вокруг все было совершенно тихо. Назарий видел только, как вдали дрожат деревья, как будто их кто-нибудь колеблет, а свет все шире разливается по долине.

И он с удивлением посмотрел на апостола.

— Учитель! что с тобою? — испуганно воскликнул он.

Посох Петра выпал из его рук на дорогу, глаза неподвижно смотрели вперед, губы раскрылись, на лице рисовались изумление, радость, восторг.

Вдруг он упал на колена, с простертыми руками, а из его уст вырвался крик:

— Христос! Христос!..

И он припал к земле, как будто целовал чьи-то стопы.

Долго длилось молчание, потом в тишине послышались прерываемые рыданиями слова старца:

— *Quo vadis, Domine?*¹

И до ушей его дошел грустный и кроткий голос, который говорил:

— Если ты оставил мой народ, то я иду в Рим, чтоб паки меня распяли.

Апостол лежал на земле без движения и слова. Назарию казалось, что он умер или лишился чувств, но Петр наконец встал, дрожащими руками поднял свой посох и, ничего не говоря, повернул к семи холмам города. Мальчик, видя это, повторил, как эхо:

— *Quo vadis, Domine?*

— В Рим, — тихо ответил апостол.

И он возвратился.

Павел, Иоанн, Линн и все верные встретили его с удивлением и тревогой тем большей, что на рассвете, тотчас же после его ухода, преторианцы окружили жилище Мириам и искали апостола. Но на все вопросы Петр отвечал с радостью и спокойствием:

— Я видел Господа!

¹ «Камо грядеши, Господи?»



— *Quo vadis, Domine?*

И в этот же вечер он отправился в Остриан, чтобы поучать и крестить тех, которые хотели омыться в воде жизни.

С тех пор он приходил туда каждый день, а за ним стекалась все более и более многочисленная толпа. Казалось, из каждой слезы мучеников рождаются новые последователи учения Христа, каждый стон на арене отражается эхом в тысяче сердец.

Цезарь плавал в крови, Рим и весь языческий мир неистовствовали, но те, которые достаточно насмотрелись на кровь и безумие, те, которых топтали, те, чья жизнь была сплошной цепью горя и угнетения, все униженные, все скорбные, все несчастные приходили слушать странный рассказ о Боге, который из любви к людям, чтоб искупить их вины, отдал себя на пропятие.

И, находя Бога, которого могли любить, они находили то, чего не мог дать тогдашний мир, — счастье, проистекающее из любви.

И Петр понял, что ни цезарь, ни все его легионы не осияют живой правды, что ее не зальют ни слезы, ни кровь и что только теперь начинается ее торжество. Он понял, почему Господь возвратил его с дороги: город преступлений, гордости, разврата и беспримерного могущества начинал быть его городом, двойною столицей, которая должна управлять всем миром, как телами, так и душами.



ГЛАВА XXVIII

Наконец подошло время для обоих апостолов, но, как бы перед концом, божьему рыбаю было суждено уловить две души даже в темнице: солдаты Процесс и Мартиниан, которые стерегли его в Мамертинской темнице, приняли крещение. Потом наступило время мучения. Нерона тогда не было в Риме, приговор изрекли Гелий и Паликтет, два отпущенника, которым он поручил во время своего отсутствия править Римом. Престарелого апостола прежде всего подвергли установленному законом бичеванию, а на следующий день вывели за городские стены, к Ватиканскому холму, где он должен был подвергнуться предназначенной ему крестной казни. Солдаты дивились толпе, которая собралась возле темницы, потому что в их понятии смерть простого человека, вдобавок еще чужеземца, не должна была возбуждать такого любопытства. Они не понимали, что толпа слагалась не из любопытных, а из христиан, жаждущих сопровождать на место казни великого апостола. Наконец, после полудня открылись ворота, и Петр появился, окруженный отрядом преторианцев.

Солнце уже склонялось к Остии, день стоял тихий и погожий. Во внимание к дряхлым летам Петра его не принудили нести крест, — предполагалось, что едва ли он осилит это, — а также не ущемили его шею между зубьями вил, чтобы не затруднять его шествия. Петр шел свободно, и верные хорошо могли видеть его. В ту минуту, когда среди стальных шлемов солдат показалась его белая голова, в толпе послышалось было рыдание, но тотчас же смолкло, потому что лицо его было так ясно и светилось такою радостью, что все поняли, что то не жертва идет на казнь, но победитель свершает свое триумфальное шествие.

Так оно и было на самом деле. Рыбак, всегда такой покорный и согбенный, теперь шел, выпрямив стан, превышая своим ростом солдат. Никогда еще в его фигуре не видали столько величия. Могло показаться, что это шествует монарх, окруженный народом и воинством. Со всех сторон послышались голоса: «То Петр отходит к Богу». Все как будто забыли, что его ждут мучения и смерть, все шли в торжественном сосредоточии, но спокойно, сознавая, что со времени смерти на Голгофе до сих пор не произошло ничего столь великого, и что если та смерть искупила весь мир, то эта искупает Рим.

По дороге встречные приходили в изумление при виде старца, а христиане до трагивались до них и говорили: «Смотрите, как умирает праведник, который знал Христа и проповедовал любовь на земле». Язычники задумывались и уходили, думая: «Воистину, этот не мог быть неправым!».

Городской шум и крики смолкали. Процессия подвигалась мимо вновь построенных домов, мимо белых колонн храмов, над которыми простиралось небо, глубокое, умиротворенное, лазурное. Шла она в тишине, разве только от времени стукнет чье-нибудь оружие или послышится шепот молитвы. Петр прислушивался к нему, и лицо его разгоралось все большею радостью, потому что его взор едва мог охватить эти тысячи его единоверцев. Он чувствовал, что завершил свое дело, знал, что правда, которую проповедовал всю свою жизнь, зальет все, как волна, и ничто уже не в состоянии задержать ее разлив. И он поднимал глаза свои кверху и говорил: «Господь, ты повелел мне покорить город, который владычествует над миром, и я покорил его. Ты повелел мне основать в нем твой престол, и я основал его. Теперь этот город — твой, и я иду к тебе, ибо я утомился чрезмерно». Проходя мимо храмов, он говорил им: «Вы будете Христовыми храмами». Смотри на толпу людей, снующую перед его глазами, он говорил им: «Дети ваши будут слугами Христа», — и шел в сознании своей победы, в сознании своей заслуги, в сознании своей мощи, умиротворенный, великий. Солдаты повели его через Триумфальный мост, как бы невольно признавая его триумф, и шли дальше, по направлению к Навмахии и цирку. Верные из-за Тибра присоединились к шествию, — составила такая толпа народу, что центурион, предводительствующий преторианцами, догадавшись, что сопровождает какого-то великого жреца, встревожился при виде малого числа своих солдат. Но из толпы не слышалось ни одного крика негодования или бешенства. Лица христиан были проникнуты величием минуты, торжественны и вместе с тем преисполнены ожидания, — некоторые христиане, вспоминая, что при смерти Христа земля разверзалась от ужаса, а мертвые выходили из гробов, думали, что и теперь будут какие-нибудь видимые знаки, после которых память о смерти апостола не изгладится вовек. Иные даже говорили себе: «Может быть, Господь изберет час смерти Петра для того, чтобы снизойти с неба и судить мир», — и взывали к милосердию Избавителя.

Но вокруг все было спокойно. Горы, казалось, точно греются и нежатся на солнце. Шествие наконец остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись рыть яму, — те, которые несли крест, молот и гвозди, сложили все это наземь, толпа же, такая же тихая и сосредоточенная, опустилась на колена. Апостол, с головою, озаренной золотым блеском солнца, в последний раз повернулся к городу. Вдали, внизу, струился сверкающий Тибр; на противоположном берегу — Марсово поле, мавзолей Августа, ниже — огромные термы, которые Нерон начал только что строить, еще ниже — театр Помпея, а за ним постройка Септима Юлия¹, множество портиков, храмов, колонн, кровель и, наконец, там, вдали, холмы, облепленные домами, — гигантский людской муравейник, границы которого исчезали в голубой мгле, гнездо преступлений, но вместе с тем и силы, безумия и гармонии, которое стало главою мира, его угнетением, но вместе с тем и его законом, — всемогущее, непобедимое, вечное.

Петр, окруженный солдатами, смотрел на город так, как владыка и царь смотрит на свое наследие. И он говорил ему: «Ты искуплен, и ты мой». И никто, не только среди солдат, роющих ему яму, но и среди христиан не сумел отгадать, что среди них действительно стоит истинный владыка этого течения, что не станет цезарей, протекут волны варваров, минуют века, а этот старец будет беспрерывно царствовать здесь.

Солнце все больше склонялось к Остии огромным красным шаром. Вся западная часть неба загорелась ярким пламенем. Солдаты приблизились к Петру, чтобы обнажить его.

Но он вдруг выпрямился и высоко воздел правую руку. Палачи остановились, как будто испуганные, верные затаили дыхание в груди, думая, что Петр хочет сказать что-то. Наступила ничем не нарушимая тишина.

А Петр, стоя на возвышенности, сделал крестное знамение, давая благословение в минуту смерти.

— *Urbi et orbi!*²

В тот же самый чудный вечер другой отряд солдат вел Павла по Остийской дороге к местности, называемой *Aquae Salviae*³. И за ним также следовала толпа верных, которых он обратил в христианство. Павел узнавал близких знакомых, останавливался и разговаривал с ними, — стража почтительно обходилась с ним, как с римским гражданином. За Тригеминскими воротами он встретил Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина, и, видя слезы на ее молодом лице, сказал ей: «Плавтилла, дочь вечного избавления, отыди с миром. Дай мне только свое покрывало, которым завяжут мне глаза, когда я буду отходить к Господу». И, взяв покрывало, он пошел вперед с таким радостным лицом, с каким вдоволь натрудившийся рабочий возвращается домой. У него, как и у Петра, мысли были спокойны и ясны, точно это вечернее небо. Глаза его задумчиво смотрели на равнину, которая расстилалась перед ним, и на Альбанские горы, залитые солнечным блеском. Он вспомнил о своих путешествиях, о трудах и работе, о борьбе, из которой выходил победителем, о церквах, которые основал по всем землям и за всеми морями, — и думал, что по справедливости

¹ *Септима Юлия* — общественное здание на северном склоне Капитолия, предназначенное для проведения выборов (*примеч. ред.*).

² «Городу и миру».

³ *Aquae Salviae* — Сальвийские Воды, источник Сальвия (*примеч. ред.*).

заслуживает отдыха. И он также совершил свое дело. Он чувствовал, что его посева уже не развеет ветер злобы. Из мира он удалялся с уверенностью, что в борьбе, которую его правда объявила миру, она победит, и неизмеримое спокойствие спускалось в его душу.

Путь до места казни был длинен, вечер начинал уже спускаться. Горы приняли пурпурный оттенок, а подножия их погружались в тень. Стада возвращались домой. Кое-где шли кучки невольников с рабочими орудиями за плечами. У домов, на дороге, играли дети, с любопытством оглядываясь на проходящий мимо них отряд солдат. В этот вечер, в этом прозрачном золотистом воздухе царили не только покой и умиротворение, но и какая-то гармония, которая от земли, казалось, возносится к небу. Павел слышал ее, и сердце его переполнялось радостью при мысли, что к этой гармонии мира присоединится еще один звук, которого не было до сих пор и без которого земля была бы «как медь звенящая и как кимвал бряцающий».

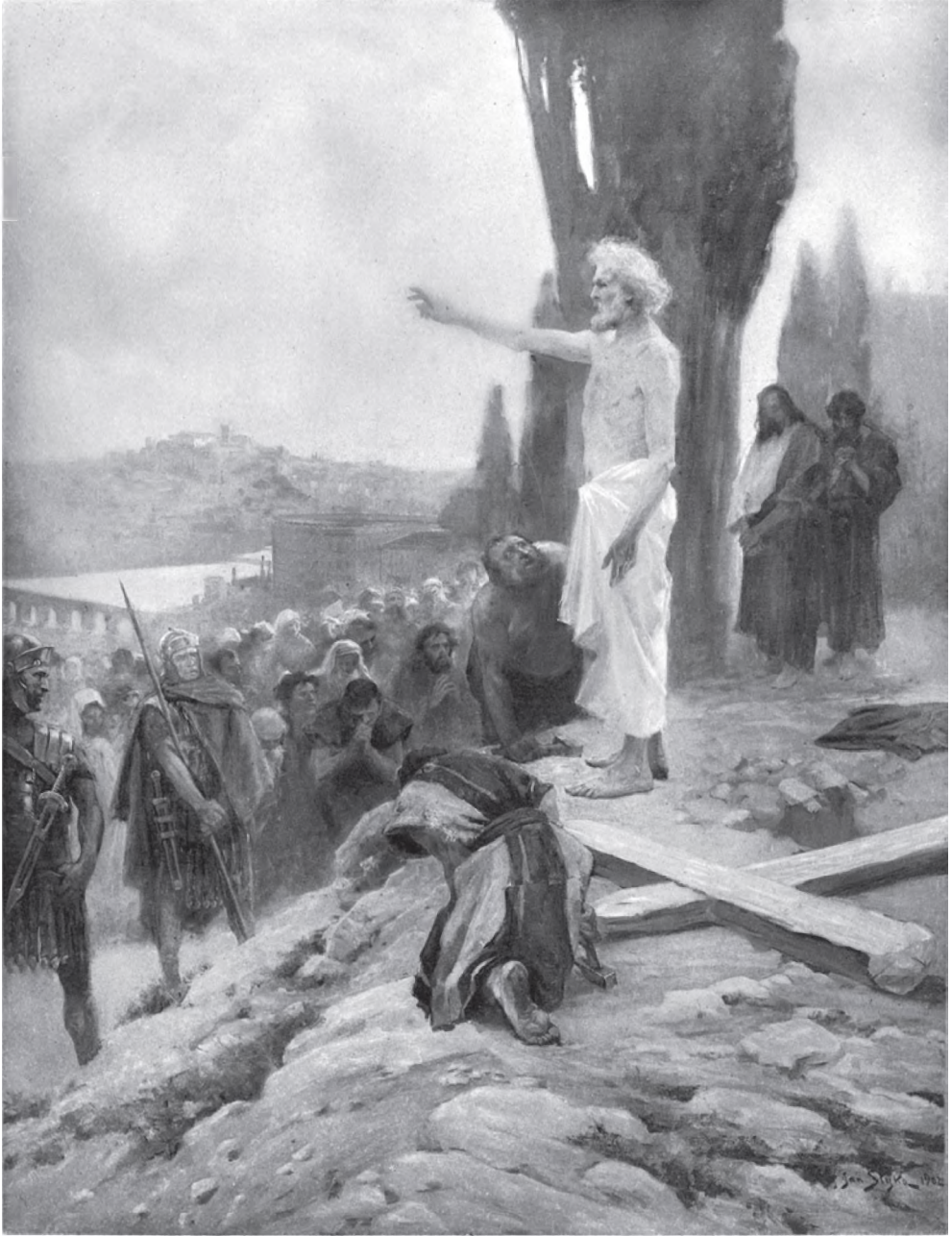
И он вспоминал, как он учил людей любви, как говорил им, что хотя бы они роздали имущество нищим, хотя бы познали все языки, все тайны и все науки, — они будут ничто без любви, ласкающей, долготерпеливой, которая не причиняет зла, не жаждет поклонения, верит всему, на все надеется, все переносит.

И вот вся его жизнь ушла на проповедь такой правды. А теперь он говорил себе: какая сила преодолеет ее и что ее победит? Как подавить ее может цезарь, хотя бы у него было вдвое больше легионов, вдвое больше городов и морей, земель и народов?

И он шел на место казни, как победитель.

Шествие оставило большую дорогу и повернуло на восток к Сальвийским Водам. У источника центурион остановил солдат. Минута наступила.

Но Павел, перекинув через плечо покрывало Плавтилы, еще раз возвел глаза, полные спокойствия, к горящему вечерним румянцем небу и молился. Да, минута наступила, но он видел перед собой широкую дорогу, усталую лучами зари и ведущую к небу, и в душе повторял те слова, которые написал перед этим в предчувствии окончания своей задачи и близкого конца: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды».



— *Urbi et orbi!*



ГЛАВА XXIX

А Рим безумствовал по-прежнему. Казалось, что город, который покори́л весь мир, наконец, при отсутствии предводителей, начинает разлагаться сам в себе. Лишь только миновал день смерти апостолов, обнаружился заговор Пизона, а затем пошла такая неумолимая косьба самых лучших голов Рима, что даже тем, которые считали Нерона божеством, он стал казаться божеством смерти. Траур спустился на город, страх поселился во всех домах и сердцах, но портики все еще увенчивались плющом и цветами, — горевать по умершим не дозволялось. Люди, просыпаясь поутру, задавали себе вопрос, чья очередь наступит сегодня? Свита призраков, тянущаяся за цезарем, увеличивалась с каждым днем.

Пизон заплатил жизнью за заговор, а за ним последовали Сенека и Лукан, Фений Руф и Плавтий Латеран, Флавий Сцевин и Афраний Квинкциан, и развратный товарищ безумий цезаря — Туллий Сенецион, и Прокул, и Арарик, и Тутурин, и Грат, и Силан, и Проксим, и Субрий Флав, когда-то всею душой преданный Нерону, и Сульниций Аспер. Одних губила собственная ничтожность, других — боязнь, третьих — богатство, четвертых — мужество. Цезарь, уstraшенный одним списком заговорщиков, окружил солдатами городские стены и держал Рим точно в осаде, посылая каждый день центурионов со смертными приговорами в подозреваемые дома. Приговоренные низко льстили в письмах, полных похвал, благодаря цезаря за приговор и завещая ему часть своего имущества, чтоб остальное оставить детям. В конце концов казалось, что Нерон умышленно переходит все границы, чтоб убедиться, до какой степени оподделали люди и долго ли они будут сносить его кровавое владычество. После заговорщиков умертвили их родных, друзей, даже простых знакомых. Обитатели великолепных домов, воздвигнутых после пожара, выходя на улицу, были уверены, что встретят не одну погребальную процессию. Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домиций погибли, обвиненные в недостатке любви к цезарю, Новий Приск — как друг Сенеки; Руфрия Криспина лишили воды и огня¹ потому, что когда-то он был мужем Поппеи. Великого Тразею сгубила его добродетель; многие заплатили жизнью за свое благородное происхождение, даже и Поппея пала жертвой минутной вспышки цезаря.

А сенат растаился перед страшным владыкой, воздвигал в честь его храмы, венчал его статуи и назначал ему жрецов, как божеству. Сенаторы со страхом в душе шли на Палатин, чтобы восхвалять пение Периодоника² и обезуметь вместе с ним среди оргии нагих тел, вина и цветов.

А тем временем внизу, на ниве, пропитанной кровью и слезами, взрастал тихо, но все более и более укрепляясь, посев Петра.



¹ Лишение воды и огня (*aquae et ignis interdictio*) состояло в запрещении известному лицу пользоваться этими предметами, необходимыми для жизни. Это наказание имело целью заставить осужденного удалиться добровольно в изгнание за пределы Римского государства, куда ему угодно. В императорскую эпоху это наказание почти вышло из употребления и было заменено другим — *deportatio*, т. е. ссылкой в место, назначенное императором. Так, и об упомянутом в тексте Руфрии Криспине в «Летописи» Тацита (кн. 15, гл. 71) сказано просто «*pellitur*» — «был изгнан».

² *Periodonices* назывался победитель на четырех больших общественных играх в Греции — олимпийских, цифийских, немейских и исемийских. Здесь этим именем назван Нерон.



ГЛАВА XXX

Виниций Петронию:

«И мы, *carissime*, знаем, что творится в Риме, а чего не знаем, то дополняют твои письма. Если бросишь камень в воду, волна расходится все дальше и дальше вокруг, вот такая-то волна безумия и злобы дошла из Палатина до нас. Цезарь приказал Каринату по дороге в Грецию захватить к нам, и он ограбил все наши города и храмы, чтобы пополнить пустую казну. Ценою пота и слез человеческих создается в Риме „*Domus aurea*“¹. Быть может, мир до сих пор не видал такого дела, зато не видал и таких несправедливостей. Впрочем, ты знаешь Карината. На него был похож Хилон, пока он смертью не искупил свою жизнь. Но до городов, лежащих возле моего поместья, люди Карината не добрались, может быть, потому, что в них нет храмов и сокровищ. Ты спрашиваешь, в безопасности ли находимся мы? Я скажу тебе только, что о нас забыли, — пусть это и послужит тебе ответом. В ту минуту из портика, под которым я пишу это письмо, я вижу наш спокойный залив, а на нем лодку и Урса,

¹ «*Domus aurea*» — «Золотой дом» Нерона, дворцово-парковый комплекс в Риме, частично сохранившийся и в наши дни (*примеч. ред.*).

который погружает сеть в светлую глубину моря. Моя жена прядет пурпуровую шерсть, а в садах под тенью миндальных деревьев поют наши невольники. О, какое спокойствие, *carissime*, и какое забвение прежних тревог и горестей! Но то не Парки, как ты пишешь, прядут сладкую нить нашей жизни, то нас благословил Христос, наш возлюбленный Бог и Избавитель. Не скажу, чтобы горе и слезы не были неведомы нам, — наша вера повелевает нам оплакивать чужое горе, но даже и в этих слезах кроется незнакомое вам утешение, что когда-нибудь, когда ударит час нашей смерти, мы найдем всех дорогих нам, которые погибли и которые должны погибнуть за божественное учение. Для нас Петр и Павел не умерли, но возродились во славе. Души наши видят их, и когда очи наши плачут, сердца радуются их радостью. Да, дорогой мой, мы счастливы счастьем, которое никто не может разрушить, ибо даже и смерть, которая для вас является концом всего, для нас будет только переходом еще к большому покою, к большей любви, к большей радости.

И так протекают здесь дни и месяцы, в ненарушимой ясности наших сердец. Слуги наши и невольники так же, как и мы, веруют во Христа, а так как он заповедал любовь, то мы любим друг друга. Когда солнце заходит или месяц уже отражается в воде, мы с Лигией разговариваем о прошедшем, которое теперь представляется нам каким-то сном, а когда я подумаю, что эта дорогая головка, которую я теперь покою на своей груди, была так близка от муки и гибели, то всю душу прославляю своего Господа, ибо он один мог вырвать ее с арены и возвратить мне навсегда... О, Петроний, ты ведь сам видел, какую твердость и утешение дает это учение в минуту несчастья, теперь присмотришься, какое счастье дает оно в обыкновенной жизни. Видишь ли, люди до сих пор не знали Бога, которого можно было бы любить, потому не любили и друг друга, — отсюда и проистекало их несчастье: как свет от солнца, так и счастье исходит от любви. Этой правде их не поучали ни законники, ни философы, не было ее ни в Греции, ни в Риме, а когда я говорю: ни в Риме, то значит, не было нигде на земле. Сухое и холодное учение стоиков, к которому льнут добродетельные люди, закаляет сердце, как меч, но скорее делает его равнодушным, чем лучшим. Но для чего я говорю это тебе, учившемуся больше меня и больше меня понимающему? Ведь ты знал также Павла Тарсянина и не раз вел с ним долгие беседы, значит, понимаешь лучше меня, — что перед лицом правды, которую он провозглашал, все учения ваших философов и риториков не что иное, как мыльный пузырь, пустой звук слова, не имеющего значения? Помнишь вопрос, который он задал тебе: „Если б цезарь был христианином, неужели вы не чувствовали бы себя в большей безопасности, более уверенными, избавленными от тревог?“ Но ты говорил мне, что наша правда враждебна жизни, а я теперь отвечаю тебе, что если б я с начала письма повторял только два слова: „Я счастлив!“ — то и тогда не сумел бы выразить всего моего счастья. Ты скажешь мне, что мое счастье — это Лигия. Да, дорогой! Потому что я люблю ее бессмертную душу и потому что мы оба любим друг друга во Христе, а в такой любви нет ни разлуки, ни измены, ни перемен, ни старости, ни смерти. Когда красота и молодость пройдут, когда тело наше одряхлеет и когда к нам приблизится смерть, любовь устоит, потому что душа останется жива. Прежде чем мои глаза открылись для света, я готов был поджечь для нее хотя бы собственный дом, а теперь я говорю тебе: не любил я ее тогда, потому что любить меня научил только Христос. В нем источник счастья и спокойствия. Не я говорю это, — а сама очевидность. Сравни ваши отравленные тревогой наслаждения, ваши упоения, ваши оргии, похожие на погребальные

торжества, с жизнью христиан, и ты найдешь готовый ответ. Но чтобы ты мог сравнить лучше, приезжай в наши пахнущие тимьяном горы, в наши тенистые оливковые леса. Здесь тебя ждет спокойствие, какого ты давно не испытывал, и искренно любящие сердца. Душа у тебя благородная и добрая, — ты должен быть счастлив. Твой тонкий ум сумеет распознать правду, а когда ты познаешь, то возлюбишь ее, ибо можно быть ее врагом, как цезарь и Тигеллин, но равнодушным к ней быть никто не сумеет. О, Петроний, мы с Лигией оба утешаем себя надеждой, что вскоре увидим тебя. Будь здоров и счастлив. Приезжай».

Петроний получил это письмо в Кумах, куда выехал с другими августианами, следующими за цезарем. Его многолетняя борьба с Тигеллином подходила к концу. Петроний уже знал, что должен пасть, и понимал причину. По мере того как цезарь с каждым днем спускался все ниже, до роли комедианта, шута и возницы, по мере того как он все больше погрязал в болезненном, омерзительном и вместе с тем грубом разврате, изящный *arbiter elegantiarum* становился для него только обузой. Даже когда Петроний молчал, Нерон в его молчании подмечал неодобрение, когда хвалил, видел насмешку. Блестящий патриций раздражал его самолюбие и возбуждал зависть. Его богатство и великолепное собрание произведений искусства стали предметом вожделений и владыки, и всемогущего министра. Петрония щадили до сих пор на случай отъезда в Ахайю, где его знакомство с греческою жизнью могло пригодиться; но Тигеллин мало-помалу начал внушать цезарю, что Каринат своим вкусом и знаниями превышает Петрония и сумеет лучше его устроить игрища в Ахайе и доставить цезарю большой триумф. С этой минуты Петроний погиб. Однако ему не смели послать приговора в Риме. И цезарь, и Тигеллин помнили, что этот на первый взгляд изнеженный эстетик, «обращающий ночь в день», занятый только наслаждениями, искусством и пирами, когда был проконсулом в Вифинии, а потом консулом в столице, проявлял удивительную деятельность и энергию. Его считали способным на все, а в Риме он пользовался не только любовью народа, но и преторианцев. Из доверенных цезаря никто не мог предвидеть, как он поступит в данном случае. Считалось очень ловким маневром выманить его из города и застигнуть только в провинции. Поэтому Петроний и получил приглашение вместе с другими преторианцами прибыть в Кумы и, хотя подозревал ловушку, выехал из Рима. Может быть, он не хотел выступать с открытым сопротивлением, а может быть, желал еще раз показать цезарю и августианам свое веселое, беззаботное лицо и одержать над Тигеллином последнюю, предсмертную победу.

Тем временем Тигеллин тотчас же обвинил его в дружбе с сенатором Сцевином, который был душою заговора Пизона. Людей Петрония, оставшихся в Риме, заключили в тюрьму, дом оцепили преторианскою стражею. Петроний узнал об этом, но не выказал ни беспокойства, ни неудовольствия и с улыбкой сказал августианам, которых принимал в Кумах в своей великолепной вилле:

— Агенобарб не любит прямых вопросов, и вы увидите, как он смутится, когда я спрошу у него, по его ли приказу арестовали мою фамилию в Риме.

Потом он объявил, что дает пир «перед долгим путешествием», и занимался приготовлениями к нему, когда получил письмо Виниция.

Петроний прочел письмо и задумался, но вскоре лицо его приняло обычное ясное выражение, и вечером в тот же день он написал следующий ответ:



Да, дорогой мой, мы счастливы счастьем, которое никто не может разрушить, ибо даже и смерть, которая для вас является концом всего, для нас будет только переходом еще к большему покою, к большей любви, к большей радости.

«Радуюсь вашему счастью и удивляюсь вашим сердцам, *carissime*, потому что не думал, чтобы двое влюбленных могли помнить о ком-нибудь третьем, далеком. А вы не только не забыли обо мне, но хотите соблазнить меня приехать в Сицилию, чтобы поделиться со мной вашим хлебом и вашим Христом, который, как ты пишешь, так щедро одаряет вас счастьем.

Если так, чтите его. Я думаю, дорогой мой, что Лигию до некоторой степени возвратил тебе Урс, а отчасти и римский народ, но если ты все приписываешь Христу, я не буду с тобою спорить. Да! Не жалеете ему жертв. Прометей также пожертвовал собою для людей, но — *eheu!* — Прометей, кажется, только выдумка поэтов, а люди достойные говорили мне, что видели Христа собственными глазами. Я вместе с вами думаю, что это самый лучший из богов.

Вопрос Павла Тарсянина я помню и соглашаюсь, что если б Агенобарб следовал учению Христа, то... у меня, может быть, нашлось бы время поехать к вам в Сицилию. Сидя у ручья, под сенью деревьев, мы вели бы беседы о всех богах и о всех правдах, как некогда греческие философы. Теперь я должен дать тебе короткий ответ.

Я хочу знать только двух философов: один называется Пиррон, другой — Анакреон¹. Остальное я могу дешево продать тебе вместе со всей школой наших и греческих стоиков. Правда, Виниций, живет где-то так высоко, что даже сами боги не могут ее видеть с вершин Олимпа. Тебе, *carissime*, кажется, что ваш Олимп еще выше, и, стоя на нем, ты кричишь мне: „Взойди и ты увидишь такие виды, каких не видал до сих пор“. Быть может. Но я тебе отвечаю: „Друг, у меня нет ног!“, и когда ты дочитаешь это письмо до конца, то признаешь меня правым.

Нет, счастливые супруги царицы-зари! Ваше учение не для меня. Должен ли я любить вифинцев, которые носят мои носилки, египтян, которые отаплавляют мои бани, любить Агенобарба и Тигеллина? Клянусь тебе белыми коленами Грации, если б я и хотел сделать это, то не сумею. В Риме, по крайней мере, сто тысяч человек с кривыми лопатками, или с толстыми коленами, или с высохшими лядвиями², или с круглыми глазами, или с уродливо-большими головами. И их прикажешь любить также? Откуда же я возьму эту любовь, как скоро не ощущаю ее в сердце? А если ваш бог хочет, чтоб я любил всех уродов, то почему при своем всемогуществе не дал он им, например, форм Ниобидов, которых ты видел на Палатине? Кто любит прекрасное, тот не может любить безобразное. Другое дело — не верить в наших богов, но любить их можно, как их любили Фидий, Пракситель и Скопас, Мирон и Лизий³.

Если б я и сам хотел идти туда, куда ты зовешь меня, то не могу; а так как я еще и не хочу, то, значит, вдвойне не могу. Ты, как Павел Тарсянин, веришь, что когда-нибудь по той стороне Стикса, в Елисейских полях, ты увидишь своего Христа. Хорошо! Пусть он сам скажет тебе тогда, принял ли бы он меня с моими геммами, с моей мурринской вазой, с изданиями Созиев и моей Златоволосой. При этой мысли мне хочется смеяться, потому что и Павел Тарсянин говорил мне, что для Христа нужно отречься от розовых венков, пиров и наслаждений. Правда, он обещал мне иное счастье,

¹ Пиррон — греческий философ, основатель школы скептиков. Анакреон — известный греческий поэт, воспевавший любовь и вино. Петроний, следовательно, хочет сказать, что он в религии скептик, а заботится только о наслаждениях жизни.

² Лядвия — верхняя часть ноги до колена; бедро (*примеч. ред.*).

³ Знаменитые ваятели.

но я ответил ему, что слишком стар для такого счастья, что мои глаза всегда будут наслаждаться розами, а благоухание фиалок всегда мне будет приятней, чем зловоние, исходящее от моего „ближнего“ из Субурры.

Вот соображения, по которым ваше счастье не для меня. Но кроме этого есть еще одно, которое я припрятал к концу: меня призывает Танатос. Для вас начинается заря жизни, а мое солнце уже зашло, и сумерки уже охватывают мою голову. Иными словами, я должен умереть, *carissime*.

Долго говорить об этом не стоит. Так должно было окончиться. Ты хорошо знаешь Агенобарба и легко поймешь, в чем дело. Тигеллин победил меня... впрочем, нет! Мои победы дошли до своего конца. Я жил, как хотел, и умру, как мне захочется.

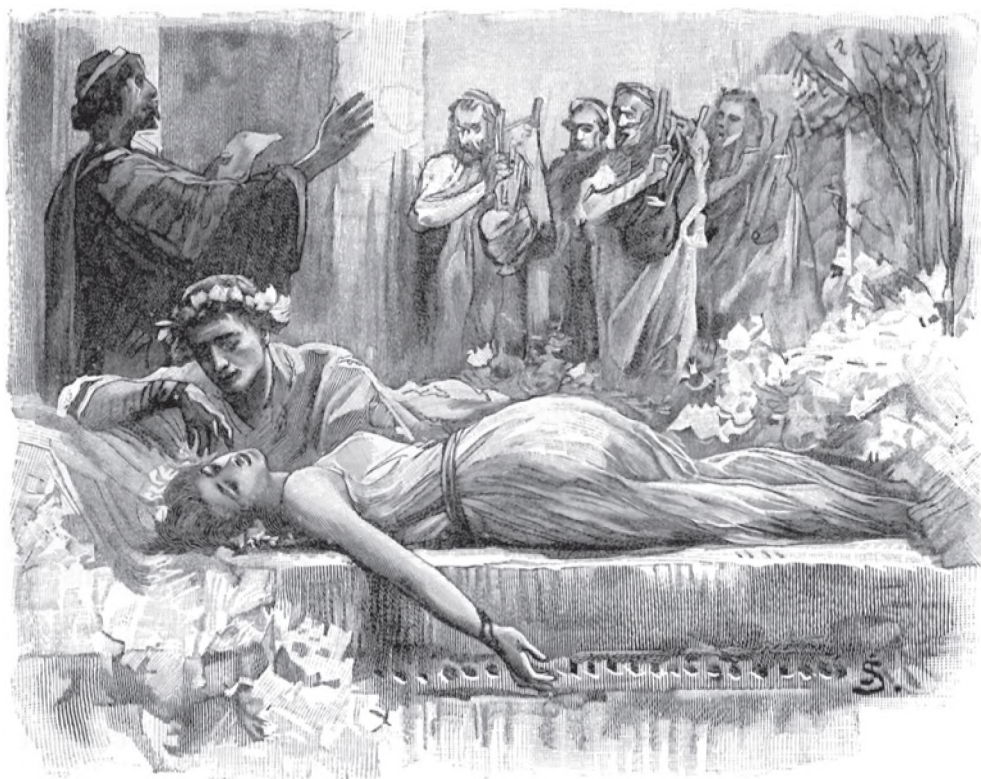
Не принимайте этого к сердцу. Никакой бог не обещал мне бессмертия, поэтому меня не встречает неожиданность. Притом, Виниций, ты ошибаешься, когда утверждаешь, что только ваш бог учит умирать спокойно. Нет. Наш мир и до вас знал, что когда последняя чаша выпита, время идти отдохнуть, — и я сумею сделать это спокойно. Платон говорит, что добродетель — музыка, а жизнь мудреца — гармония. Если это верно, то я умру, как жил, то есть добродетельно.

Я еще хотел бы проститься с твоею божественною подругою словами, которые когда-то сказал ей в доме Авла: „Много народов я видел, а с равной тебе не встречался“.

Итак, если душа что-то большее, чем думал Пиррон, то душа моя залетит к вам по дороге к границе Океана и сядет близ вашего дома в образе мотылька или, как веруют египтяне, — в виде ястреба.

Иначе я прибыть не могу.

А теперь да превратится для вас Сицилия в сады Гесперид, пусть полевые, лесные и водяные богини усыпают цветами ваш путь, а во всех акантах, в колоннах вашего дома гнездятся белые голуби».



ГЛАВА XXXI

Петроний не ошибался. Два дня спустя молодой Нерва, всегда расположенный и преданный ему, прислал в Кумы своего отпущенника с уведомлением обо всем, что происходило при дворе цезаря.

Гибель Петрония была уже решена. Завтра вечером намеревались послать к нему центуриона с приказанием, чтоб он остался в Кумах и ждал дальнейших распоряжений. Следующий посол, который будет выслан через несколько дней, должен будет принести ему смертный приговор.

Петроний с невозмутимым спокойствием выслушал отпущенника и потом сказал ему:

— Ты отнесешь своему господину одну из моих ваз, которую я вручу тебе перед твоим уходом. Скажи, что я благодарю его от всей души, потому что только теперь я могу предупредить грозящий мне приговор.

И он засмеялся, как человек, который попал на удачную мысль и заранее радуется ее выполнению.

В тот же самый вечер его невольники рассыпались повсюду приглашать всех живущих в Кумах августиан и августианок на пир в великолепную виллу *arbitri elegantiarum*.

Сам Петроний что-то писал в библиотеке, потом взял ванну, приказал одеть себя и, блестящий, похожий на бога, вошел в триклиний, чтобы окинуть глазом знатока все приготовления, а потом спустился в сад, где мальчики и молодые гречанки плели пиршественные венки из роз. На лице его не было ни следа заботы. Слуги узнали, что пир будет чем-то необычайным, только из того, что он приказал выдать необычайные награды тем, кем он был доволен, и лишь слегка наказать провинившихся. Кифаристам и певцам он также обещал щедрое вознаграждение, потом сел под буком, сквозь листья которого просвечивали солнечные лучи, и приказал позвать Эвнику.

Она пришла, вся в белом, с веткой мирта, вплетенною в волосы, прелестная, как Харита. Петроний посадил ее возле себя и, слегка прикоснувшись к ее щеке, смотрел на нее с такою любовью, с какою тонкий знаток смотрит на божественную статую, вышедшую из-под резца великого художника.

— Эвника, — сказал он ей, — ты знаешь, что я давно уже дал тебе отпускную?

Она подняла на него свои спокойные, голубые, как небо, глаза и отрицательно покачала головой.

— Я всегда твоя рабыня, — ответила она.

— Но ты, может быть, не знаешь того, — продолжал Петроний, — что эта вила и невольники, которые вон там вьют венки, и все, что принадлежит к ней, и поля, и стада, — отныне принадлежат тебе.

Эвника отодвинулась от него и голосом, в котором звучало внезапное беспокойство, спросила:

— Зачем ты говоришь мне это, господин?

Потом она опять приблизилась к нему и начала смотреть на него испуганными глазами. Лицо ее побледнело, как полотно, а Петроний улыбнулся и сказал только одно слово:

— Так!

Наступила минута молчания, только легкое дуновение ветра заставляло шелеститься листья бука.

Петроний действительно мог думать, что перед ним статуя, изваянная из белого мрамора.

— Эвника, — сказал он, — я хочу умереть спокойно.

Девушка посмотрела на него и с раздирающей улыбкой ответила:

— Я слушаю тебя, господин.

Гости, которые уже не раз бывали на пирах Петрония и знали, что в сравнении с ними даже пиры цезаря кажутся скучными и варварскими, начали стекаться толпами, хотя никому и в голову не приходило, чтоб то был последний симпосий¹. Правда, многие знали, что над изящным *arbiter* нависли тучи неудовольствия цезаря, но это случалось уже много раз, и Петроний всегда умел разогнать эту тучу каким-нибудь ловким поступком, одним смелым словом. Никто не предполагал, чтоб ему грозила серьезная опасность. Его веселое лицо и обычная небрежная улыбка еще больше убедили в этом мнении. Божественное лицо прелестной Эвники было совершенно спокойно, глаза горели таким огнем, который можно было бы принять за радость, — недавно он сказал ей, что желает умереть мирно, а для нее каждое его слово было законом.

¹ *Symposion* — пир.

В дверях мальчики, с волосами, прикрытыми золотыми сетками, возлагали на головы гостей венки и по обычаю предупреждали, чтоб они переступали порог правую ногой. В зале слышался легкий запах фиалок, огни горели в разноцветных александрийских сосудах. У каждого ложа стояло по маленькой греческой девочке, которые должны были умащать благовониями ноги гостей. У стен кифаристы и афинские певцы ожидали знака начальника хора.

Убранство стола сверкало роскошью, но роскошь эта не подавляла, — казалось, что все так и должно было быть. Веселье и свобода вместе с ароматом фиалок разносились по зале. Гости, входя сюда, чувствовали, что над ними не будет висеть ни стеснения, ни угрозы, как то бывало у цезаря, когда можно было заплатить жизнью за недостаточно возвышенные или недостаточно удачные похвалы его пению. При виде огней, сосудов, обвитых плющом, вин, замерзающих на своем снеговом ложе, и изысканных яств всем сделалось как-то необыкновенно весело. Разговор завязался сразу, так же, как сразу иногда зажужжат пчелы на покрытой цветами яблоне. Шумную беседу прерывали только то взрыв веселого смеха, то хор похвалы, то чересчур громкий поцелуй, запечатленный на белом плече.

Поднимая чашу, гости Петрония стряхивали несколько капель в честь бессмертных богов, чтобы призвать их благоволение на хозяина дома. Многие совсем не верили в богов, — но таков уже был обычай. Петроний возлежал рядом с Эвникой и разговаривал о римских новостях, о последних разводах, о любовных приключениях, о конских состязаниях, о Спикуле¹, который в последнее время прославился на арене, и о новейших книгах, которые появились у Атракта и Созиев. Так же стряхивая капли вина, он говорил, что делает это только в честь владычицы Кипра, которая древнее и больше всех богов, — единственное бессмертное, вечное, всемогущее существо.

Речь его напоминала луч солнца, который осветит то тот, то этот предмет, или на легкое дуновение летнего ветра, колеблющее цветы римского сада. Наконец он махнул рукою начальнику хора, и по его знаку тихо зазвучали кифары, которым вторили молодые голоса. Танцовщицы с острова Коса, соплеменницы Эвники, завели пляску, причем их розовое тело просвечивало сквозь прозрачную одежду, а в конце египетские колдуны начали предсказывать гостям будущее.

Когда все насытились этими удовольствиями, Петроний немного приподнялся со своего сирийского изголовья и небрежно сказал:

— Друзья, простите, что я на пиру обращаюсь к вам с просьбой: пусть каждый из вас примет от меня в дар ту чашу, из которой он сделал возлияние во славу богов и за мое благополучие.

Чаши Петрония сверкали золотом, драгоценными камнями и художественною работой, и хотя раздача подарков в Риме была вещь обыкновенною, — все присутствующие пришли в восторг. Одни начали благодарить и громко прославлять Петрония, другие говорили, что даже сам Юпитер не одарял богов на Олимпе такими дарами; были и такие, что стеснялись воспользоваться предложением Петрония, так как дело переходило обычные границы.

А Петроний поднял кверху мурринский сосуд, почти бесценный, сверкающий всеми цветами радуги, и сказал:

¹ *Spiculus* — гладиатор, любимец Нерона (Светоний, биография Нерона, гл. 30).

— А вот и та чаша, из которой я сделал возлияние в честь владычицы Кипра. Да не прикоснутся к ней отныне ничьи уста, и ничья рука не сделает из нее возлияния во славу другой богини.

Он бросил чашу на пол, посыпанный лиловыми лепестками шафрана, а когда она разбилась вдребезги, Петроний проговорил, как будто отвечая на устремленные на него взоры гостей:

— Друзья, вместо того, чтоб удивляться, веселитесь! Старость, бессилие — грустные товарищи последних лет жизни. Но я дам вам хороший пример и хороший совет: пожалуй, их можно ждать, но при виде их приближения лучше уйти самому, как ухожу и я.

— Что ты хочешь сделать? — посылались беспокойные голоса.

— Я хочу веселиться, пить вино, слушать музыку, смотреть на божественные формы, которые вы видите возле меня, а потом уснуть с венком на голове. Я уже простился с цезарем... Хотите послушать, что я написал ему на прощанье?

Он, сказав это, достал из-под пурпурового изголовья письмо и начал читать:

«О, цезарь, я знаю, что ты с нетерпением ожидаешь моего прибытия и что твое дружеское сердце днем и ночью тоскует по мне. Я знаю, что ты осыпал бы меня дарами, доверил бы мне префектуру претория, а Тигеллину повелел бы быть тем, для чего сотворили его боги, то есть надсмотрщиком над мулами в твоих имениях, которые ты унаследовал после отравления тобою Домиции¹. Но прости мне. Клянусь тебе Гадесом и тенями твоей матери, жены, брата и Сенеки, — прибыть к тебе я не могу. Дорогой мой, жизнь — это великая сокровищница, а я сумел выбрать из нее лучшие вещи. Кроме того, в жизни есть то, чего я больше уже не мог бы вынести. О, прошу тебя, не думай, что меня ужасает то, что ты убил мать, жену и брата, что ты сжег Рим и отправил в Эрб самых лучших людей своего государства. Нет, правнук Кроноса! Смерть — это удел человечества, а от тебя, кроме твоих подвигов, не на что было рассчитывать. Но еще целые годы терзать свои уши твоим пением, видеть твое домициевское брюхо на тонких ногах, в особенности когда оно трепещет в тирренском танце, слушать твою игру, твою декламацию и твои поэмы, — несчастный поэт из предместья, — вот что превысило мои силы и возбудило желание смерти. Рим затыкает уши, когда слушает тебя, мир издевается над тобою, а я больше не могу и не хочу краснеть за тебя. Милый мой, вой Цербера, хотя бы и похожий на твое пение, менее будет огорчать меня, потому что я никогда не был его другом и не несу обязанности стыдиться за его голос. Будь здоров, но не пой больше, убивай, но не пиши стихов, отравляй, но не танцуй, поджигай, но не играй на кифаре, — вот тебе последний дружеский совет от *arbiter elegantiarum*».

Гости Петрония испугались. Они знали, что если б Нерон утратил царство, то удар был бы менее тяжел, чем это письмо. Все поняли, что человек, написавший такое письмо, должен умереть, — да и вообще опасно слушать что-нибудь подобное.

Но Петроний засмеялся таким искренним и веселым смехом, как будто дело шло о самой невинной шутке, потом обвел глазами всех присутствующих и сказал:

— Веселитесь и отгоните свою тревогу. Никому нет надобности хвалиться, что он слышал это письмо, разве только я похвалюсь им перед Хароном во время переправы.

¹ *Domitia* — тетка Нерона, отравленная по его приказанию в 59 году.

Потом он подозвал врача и протянул ему руку. Опытный грек мгновенно перевязал ее золотой тесьмой и открыл жилы на сгибе. Кровь брызнула на изголовье и облила Эвнику, которая, поддерживая голову Петрония, склонилась над ним и сказала: — Господин, неужели ты думал, что я оставляю тебя? Если боги дали бы мне бессмертие, а цезарь — власть над миром, то и тогда я пошла бы за тобою.

Петроний улынулся, приподнялся немного, прикоснулся губами к ее губам и ответил:

— Иди за мной.

Эвника также протянула врачу свою правую руку, и через минуту ее кровь начала сливаться с кровью Петрония.

Но он дал знак начальнику хора, — снова послышались голоса и звуки кифар. Сначала спели «Гармония»¹, а потом раздалась песня Анакреона, в которой поэт жалуется, что однажды нашел у своих дверей иззябшего и плачущего сына Афродиты.

¹ *Гармодий* и *Аристокитон* — убийцы Гиппарха, сына Писистрата, тирана афинского. В честь их была сложена греками песня, которую любили петь на пирах. До нас дошло 4 четверостишия, в которых они прославляются. Эти четверостишия, по мнению некоторых, составляют одно целое стихотворение, — по мнению других, принадлежат к разным. Они переведены на русский язык в виде целого стихотворения Всеволодом Крестовским так:

Я под веткой мирты скрою,
Как Гармодий пред толпою,
Свой свободный меч —
Как в те дни, когда народу
Отдал он его свободу
И былую речь...

Но, поправ его невзгоды,
Ты не умер, муж свободы,
Покидая свет:
Ты предстал перед Зевесом,
Как с героем Ахиллесом
Старец Диомед.

Я под веткой мирты скрою
Острый меч, как пред толпою
Муж Аристокон.
Вспомним: в день Панафиней
Пал Гиппарх и все злодеи,
А воскрес закон!..

Вашей славе жить в потомках
И, гремя, блистать в обломках
Мировых руин:
Вы пронзили грудь тирану
И свободу влили в рану
Страждущих Афин!..

Он взял его к себе, обогрел, обсушил его крылышки, а он, неблагодарный, пронзил его сердце своею стрелой, и с тех пор покой покинул его¹.

Петроний и Эвника, прекрасные, как два божества, слушали, улыбались и бледнели. После окончания песни Петроний приказал вновь разносить вино, а своих соседей просил разговаривать о вещах пустых, но приятных, о чем обыкновенно говорится на пирах. Наконец он приказал греку на время завязать его жилы, — он говорил,

¹ Эта песня, вместе со многими другими, известными в науке под именем «*Anacreontea*» (т. е. «Стихотворения в духе Анакреона»), принадлежит не самому Анакреону, а какому-то позднему поэту. Вот эта песня в переводе Александра Николаевича Баженова:

Как-то раз в глухую полночь,
Как Медведица вращалась
В небе об руку с Воотом,
И все племя говорящих,
Утомясь в трудах, почило,
К моему Эрот жилищу
Подошел и стал стучаться.

«Кто, — спросил я, — в дверь стучится?
Для чего мой сон тревожишь?» —
«Отвори! — Эрот ответил. —
Я малютка; не пугайся!
Весь промок и заблудился
В темноте безлунной ночи».

Жалко стало, как услышал,
Поскорей зажег светильник,
Отпер двери и увидел
Пред собою я малютку
С луком, с крыльями, с кочаном.

К очагу его поставив,
Грел в руках ему я руки,
Выжимал ручьями воду
Из кудрей его прекрасных.
Как от холода согрелся,
«Стой, — сказал мне, — испытаем
Этот лук, а то, быть может,
Тетива поотсырела».

Натянул — и прямо в печень
Угодил стрелой, как жалом.
Сам меж тем, смеясь, запрыгал
И сказал: «Ну, поздравляю!
Лук мой вовсе не испорчен;
Ты же сердцем застрадаешь».

что его клонит ко сну и что он хочет сначала предаться Гипносу, прежде чем Танатос¹ усыпит его навеки.

И он уснул, а когда проснулся, голова Эвники, подобная белому цветку, лежала на его груди. Он привстал на минуту, чтоб еще раз посмотреть на нее, потом приказал вновь развязать свои жилы.

По его знаку певцы запели новую песню Анакреона, а кифары тихо вторили им, чтоб не заглушать слов. Петроний бледнел все больше, но когда смолкли последние звуки, еще раз обратился к пирующим и сказал:

— Друзья, признайте, что вместе с нами погибает...

Докончить он не мог; его рука последним движением обняла Эвнику, голова упала на изголовье. Петроний умер.

Но гости его, смотря на эти два тела, похожие на чудные статуи, хорошо понимали, что вместе с ними погибает то, что единственно осталось их миру, — то есть поэзия и красота.

¹ *Hypnos* — бог сна, *Thanatos* — бог смерти.



ЭПИЛОГ

Бунт галльских легионов под предводительством Виндекса¹ сначала не казался грозным. Цезарю шел всего только тридцать первый год, и никто не смел надеяться, чтоб мир скоро освободился от душившего его кошмара. Вспоминали, что среди легионов не один раз и раньше, при прежних царствованиях, бывали беспорядки, которые, однако, улаживались и не влекли за собою перемены главы государства. Так, например, при Тиберии Друз усмирил волнения в паннонских легионах. «Кто же, наконец, после Нерона может принять царствование, — говорили люди, — если все потомки божественного Августа погибли?». Другие, смотря на колоссальные статуи, изображающие цезаря в виде Геркулеса, невольно думали, что никакая сила не сломит такого могущества. Были и такие, которые после его отъезда в Ахайю тосковали по нем, потому что Гелий и Поликтет, которым цезарь поручил судьбы Рима и Италии, проливали еще больше крови, чем он.

Никто не был спокоен ни за свою жизнь, ни за имущество. Закон перестал быть защитой. Добродетель и человеческое достоинство угасти, родственные связи ослабели, а измельчавшие сердца не смели даже допустить призрака надежды. Из Греции доносилось эхо о неслыханных триумфах цезаря, о тысячах венков, которые он получил, о тысячах соперников, которых он победил. Весь мир казался сплошною оргией, кровавою и шутовскою. Укоренялось мнение, что пришел конец добродетели и серьезным вещам, что наступило время танцев, музыки, разврата, крови и что жизнь и впредь должна идти по такому направлению. Сам цезарь, которому бунт открывал дорогу к новым грабительствам, не особенно заботился о мятежных легионах и о Виндексе и даже часто высказывал свою радость по этому поводу. Из Ахайи он не хотел уезжать, и только лишь тогда, когда Гелий донес ему, что дальнейшая отсрочка может стоить ему государства, отплыл в Неаполь.

¹ *Гай Юлий Виндекс* — римский полководец, по происхождению галл (*примеч. ред.*).

В Неаполе он также пел и играл, пропуская мимо ушей вести о возрастающей опасности положения. Напрасно Тигеллин объяснял ему, что легионы, бунтовавшие прежде, не имели предводителей, а теперь во главе их стоит муж, происходящий из рода древних аквитанских царей, к тому же славный и опытный воин. Нерон отвечал ему: «Здесь меня слушают греки, только они одни умеют слушать, только они одни достойны моего пения». Он говорил, что первые его обязанности — это искусство и слава, но когда до него дошла весть, что Виндекс ославил его бездарным артистом, он сорвался с места и поехал в Рим. Раны, нанесенные ему Петронием и зажившие в Греции, снова раскрылись, и цезарь хотел искать у сената справедливости за столь неслыханную обиду.

На дороге, обратив внимание на группу, представляющую римского воина, попирающего воина-галла, Нерон счел это за доброе предсказание и с тех пор если вспоминал взбунтовавшиеся легионы и Виндекса, то только для того, чтобы насмеяться над ними. Его вступление в город затмило все, что было до сих пор. Он въехал на той самой колеснице, на которой въезжал когда-то Август во время своего триумфа. Для того, чтоб очистить проход процессии, сломали одну арку цирка. Сенат, всадники и неисчислимая толпа стеклись ему навстречу, стены дрожали от криков: «Приветствуем тебя, Аполлон, приветствуем тебя, Геркулес! Божественный, единственный, Пифийский, бессмертный!». За цезарем несли венки, списки городов, в которых он прославился, и написанные на таблицах имена артистов, которых он победил. Нерон был упоен и с волнением спрашивал у окружающих его августиан, — что такое триумф Юлия Цезаря в сравнении с его триумфом? Мысль, что кто-нибудь из смертных осмелится поднять руку на такого художника-полубога, никак не умещалась в его голове. Он действительно чувствовал себя олимпийцем и вследствие этого неуязвимым. Энтузиазм и безумие толпы еще более усиливали его собственное безумие. В день этого триумфа могло показаться, что не только цезарь и город, но и весь мир утратил здравый смысл.

Под цветами и кучами венков никто не мог рассмотреть пропасти. Однако, еще в ту же самую ночь колонны и стены храмов покрылись надписями, в которых наряду с перечислением преступлений цезаря выражались угрозы ему самому и насмешки над ним как над артистом. Из уст в уста передавались слова: «Он до тех пор пел, пока не пробудил петухов» (*gallos*)¹. В городе начали появляться тревожные вести, и достигали чудовищных размеров. Августианами овладевало беспокойство. Народ, не уверенный в том, что покажет будущее, не смел высказывать надежды, не смел мыслить и чувствовать.

А Нерон и дальше жил только театром и музыкой. Его занимали вновь изобретенные музыкальные инструменты, в особенности водяной орган, опыты с которым производились на Палатине. В своем ребяческом, неспособном ни к какому делу уме он представлял, что его широкие проекты представлений и зрелищ предотвратят грозящую опасность. Его приближенные, видя, что вместо забот о войске и каких-нибудь меропрятиях он хлопочет только о метких выражениях, более живописно передающих всеобщую тревогу, начинали терять голову. Другие, напротив, думали,

¹ Игра слов: *gallus* значит и «петух», и «галл». Таким образом, слова эти (у Светония: «*iam gallos eum cantando excitasse*») могут значить как «разбудил петухов», так и «заставила подняться галлов».

что он своими цитатами только маскирует свое состояние, тогда как в душе его царит беспокойство. Действительно, все поступки его стали какими-то горячечными. В течение дня тысячи намерений осеняли его голову. По временам он вскакивал, чтоб бежать навстречу опасности, приказывал укладывать на колесницы лиры и кифары, вооружать молодых невольниц в качестве амазонок и вместе с тем отправлять войско на Восток, а то опять думал, что не войной, а пением усмирят бунт галльских легионов. И душа его приходила в восторг от зрелища, которое должно было наступить после умиротворения солдат. Легионеры со слезами на глазах окружают его, он споет им эпиникий¹, и после того для него и для Рима начнется золотая эпоха. Иногда он требовал крови, иногда говорил, что ограничится управлением Египта, вспоминал гадалей, которые предсказывали ему царствовать в Иерусалиме, или растрогивался при мысли, что он как бродячий певец будет зарабатывать себе насущный хлеб, а города и страны почтут в его лице уж не цезаря, владыку мира, а певца, какого до сих пор еще не порождал свет.

И таким образом он метался из стороны в сторону, играл, пел, менял свои планы, обращал свою жизнь и жизнь всего мира в какой-то нелепый, фантастический и вместе с тем какой-то страшный сон, в шумное представление, состоящее из напыщенных выражений, плохих стихов, стонов, слез и крови, а тем временем туча на Западе росла и увеличивалась с каждым днем. Мера была превзойдена, — шутовская комедия видимо приближалась к концу.

Когда известия о Гальбе и присоединении Испании к бунту дошли до сведения Нерона, то он впал в бешенство, перебил все чаши, опрокинул пиршественный стол и отдал приказ, которого ни Гелий, ни Тигеллин не осмелились исполнить. Избить всех галлов, живущих в Риме, еще раз поджечь город, выпустить зверей из аренариев, а столицу перенести в Александрию, — все это казалось Нерону делом великим, изумительным и легким. Но дни его могущества уже миновали, и даже сообщники его прежних преступлений начали смотреть на него, как на безумца.

Смерть Виндекса и распри среди взбунтовавшихся легионов, казалось, снова склонили чашку весов в сторону Нерона. Уже были объявлены новые пиры, новые триумфы и новые приговоры, как однажды ночью из лагеря преторианцев на взмыленном коне прискакал гонец и объявил, что в самом городе солдаты подняли знамя бунта и провозгласили императором Гальбу.

В минуту прибытия гонца цезарь спал и, проснувшись, напрасно призывал стражу, обыкновенно стоящую у дверей его комнат. Во дворце было уже пусто, только невольники таскали из отдаленных уголков то, что не было утащено раньше. Но вид Нерона устрасил их, а он, одинокий, блуждал по дворцу, оглашая его криками тревоги и отчаяния.

Однако три отпущенника — Фаон, Спор и Эпафродит — пришли к нему на помощь. Они хотели, чтоб он бежал, уверяли, что времени тратить нельзя, но он еще не расставался со своими заблуждениями. А что если он, облеченный в траур, заговорит с сенатом? Разве сенат устоит против его слез и красноречия? Если он проявит всю силу ораторского искусства, пустит в ход все свои артистические способности, в силах ли кто-нибудь сопротивляться ему? Может быть, ему дадут хоть префектуру в Египте?

¹ *Epinicium* — победная песнь.

Отпущенники, привыкшие к раболепству, не смели явно не соглашаться, но только предупредили, что прежде чем он дойдет до Форума, народ разорвет его в клочки, и прибавили, что, если он сейчас же не сядет на коня, и они также оставят его.

Фаон предложил ему убежище в своей вилле, лежащей за Номентанскими воротами. Все сели на коней, покрыли головы плащами и помчались к окраине города. Ночь бледнела. На улицах царило движение, как это бывает при необычных обстоятельствах. Солдаты то поодиночке, то небольшими группами рассыпались по всему городу. Невдалеке от лагеря конь цезаря внезапно метнулся в сторону при виде трупа, лежащего поперек дороги. Плащ сдвинулся с головы всадника, и солдат, который в эту минуту проходил мимо него, узнал своего владыку, но, смущенный неожиданной встречей, невольно отдал ему воинскую честь. Проезжая мимо лагеря преторианцев, цезарь услышал громогласные крики в честь Гальбы и понял, что минута его смерти приближается. Им овладел страх и угрызения совести. Он говорил, что видит перед собою мрак в образе черной тучи, а из этой тучи на него смотрят лица, в которых он узнает мать, жену и брата. Зубы его стучали от ужаса, но его комедиантская душа все-таки находила какое-то обаяние в грозном величии этой минуты. Быть всемирным владыкой и утратить все — казалось ему верхом трагедии. И, верный себе, он в этой трагедии играл первую роль до конца. Его охватило непреодолимое желание изрекать цитаты, дабы присутствующие запомнили их и сохранили для потомства. Он то говорил, что хочет умереть, и призывал Спикула, который убивает людей лучше, чем все гладиаторы, то декламировал: «Мать и отец и супруга зовут меня к смерти». Тем не менее проблески надежды пробуждались в нем от времени до времени, — тщетные, ребяческие проблески. Он знал, что смерть идет, и вместе с тем не верил в нее.

Номентанские ворота были открыты. Всадники миновали Остриан, где поучал и крестил Петр, и на рассвете были уже на вилле Фаона.

Отпущенники уже не скрывали перед Нероном, что ему надо умереть. Он приказал рыть себе могилу и лег на землю, чтоб с него сняли точную мерку. Но когда землю начали рыть, им снова овладел страх. Его толстое лицо побледнело, а на лбу выступили капли пота. Он начал оттягивать время. Актерским, хотя и дрожащим голосом он заявил, что минута его еще не пришла, потом снова начал говорить цитатами. В конце концов он просил, чтоб его сожгли. «Какой артист погибает!» — говорил он с неподдельным изумлением.

Тем временем прибыл гонец Фаона и доложил, что сенат уже издал приговор и что *parricida*¹ должен быть казнен по древнему обычаю.

— Какой это обычай? — побледневшими устами спросил Нерон.

— Твою шею стиснут зубьями вила и замотают до смерти, а тело бросят в Тибр, — резко сказал Эпафродит.

Нерон распахнул плащ.

— Значит, пора, — сказал он и посмотрел на небо.

И еще раз он повторил:

— Какой артист погибает!

В эту минуту послышался конский топот. То центурион спешил за головой Агенобарба.

— Торопись! — крикнули отпущенники.

¹ Отцеубийца и вообще убийца родственников.



*Итак, прошел Нерон, как мнут вихрь, буря, пожар,
война или мор, — а базилика Петра до сих пор владычест-
вует с ватиканских холмов над городом и над миром.*

Нерон приставил нож к шее, но колот боязливою рукою, и было видно, что никогда он не осмелится глубже вонзить острие. Тогда Эпафродит неожиданно подтолкнул его руку, — нож вошел по рукоятку...

— Я приношу тебе жизнь! — сказал центурион.

— Поздно! — хриплым голосом сказал Нерон и добавил:

— Вот что значит верность!

Смерть уже начала овладевать им. Из его толстой шеи кровь черным потоком струилась на садовые цветы. Ноги судорожно вздрогнули, и он умер.

Верная Актея на следующий день облекла его в драгоценные ткани и сожгла на костре, пропитанном благоуханиями.

—

Итак, прошел Нерон, как минуют вихрь, буря, пожар, война или мор, — а базилика Петра до сих пор владевает с ватиканских холмов над городом и над миром.

А у прежних Капенских ворот до сих пор стоит маленькая часовня с полустертою надписью: «*Quo vadis, Domine?*»

КОНЕЦ



Генрик Сенкевич

Критико-биографический очерк

Последняя четверть знаменательного XIX века выдвинула целый ряд более или менее выдающихся писателей, но едва ли кто из них пользуется такой широкой, такой громадной популярностью, как польский романист Сенкевич. У автора романов «Без догмата» и «Камо грядеши?» («*Quo vadis*»), которые произвели настоящую сенсацию, и знаменитой трилогии, состоящей из исторических романов «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский», — миллионы читателей и пламенных поклонников и в Старом, и в Новом свете. Европейская критика в лице лучших, наиболее проницательных и тонко понимающих ее представителей, почти единогласно отвела польскому беллетристу самое почетное место среди корифеев современной изящной словесности и каждому новому произведению Сенкевича посвящает большие этюды, разъясняя значение его исторических, психологических и общественных романов, его оригинальное мирозерцание. На читателя каждое новое произведение автора «*Quo vadis*» производит глубокое, какое-то неотразимое, впечатление, в большинстве случаев несравненно более сильное, чем романы пресловутого французского вождя натуралистической школы — Золя, у которого при самом беспощадном реализме, каким проникнуты в общем и главные творения польского романиста, чувствуется отсутствие той удивительной ширины захвата, той ясности мирозерцания, как у Сенкевича, не говоря уже о художественной красоте и силе вдохновения. Романы Сенкевича, в особенности исторические, переведены почти на все европейские языки. Он соперничает с графом Львом Толстым, с которым у него много точек соприкосновения и есть одна главная общая черта, — это неустанное искание правды, ненасытная жажда истины. Сенкевич в поисках за ней уходит в глубь веков, от нас отдаленных, в царство седой старины, он делает попытки отыскать ее и в близкой ему современности. Душа этого страстного, сильного художника, обуреваемая самыми разнородными настроениями, разнообразнейшими чувствами, не ведает усталости в своих порывах, не в состоянии успокоиться, остановиться в этих трогательных исканиях истины, — настойчивых исканиях, полных невыразимой муки. Бесконечная сутолока, хаос жизни, туманность идеалов нашего времени, тайный смутный страх перед каким-то будущим переворотом, долженствующим поколебать поросшие мхом основы нынешней бесцветной жизни, неугасающая тревога, созданная современным вооруженным лагерем, готовым к бою, лагерем, за которым виден наводящий панику кровавый призрак, несмолкающий ропот тех, что ходят впотьмах, «без понятий о праве, о Боге», угасание веры в человеке наших дней, а наряду со всем этим возрождение новой, хотя и смутной веры в иные, лучшие идеалы с одной стороны и шатание мысли, довершаемое воплями Ницше — другой... Все это превосходно знакомо Сенкевичу, который и идет навстречу всем этим явлениям чрезвычайного события времени. С каким необычайным упорством, с какой живой любознательностью, присущей ему, как истому художнику, пытается Сенкевич, открывая

с каждым днем все новые и новые страницы необъятной книги жизни, проникнуть в суть смысла этих страниц, и, хотя скорбит сознанием своего человеческого бессилия, — все же не хочет остановиться перед стремлением уловить хоть малейший намек на разгадку тайны бытия, «на проклятые вопросы дать ответы нам прямые»:

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?
Иль она играет нами?..¹

Вот что занимало нашего неутомимого искателя истины во всю предшествовавшую деятельность его, занимает и теперь как самобытного мыслителя, как летописца наших дней, как внимательного психолога и вообще как беллетриста с лирико-эпическим талантом. Сенкевич прежде всего замечательный психолог, не уступающий Сенкевичу-художнику, который соперничает в совершенстве техники с Ги де Мопассаном. Еще первые произведения автора «*Quo vadis*», его «Эскизы углем», сразу показали, каким изящным пером он обладает, как дивно знает он народный быт, какой у него выразительный язык, сколько красок, какие счастливые художественные приемы, ярко и всецело отражающие в себе манеру старинных, заслуженных мастеров слова. Его известность выросла сравнительно скоро и достигла своей высшей точки тогда, когда появились его первые исторические романы и психологические и общественные произведения, повести и новеллы. Если в первых своих этюдах, мелких вещах, преимущественно бытового характера из народной жизни, или из жизни образованных классов, Сенкевич привлекает к себе читателя, как бесподобный наблюдатель нравов, правдивый, трезво смотрящий на окружающее писатель, прелестный, оригинальный, природный, истинный юморист, и особенно щеголяет излишеством письма, — то в последующих крупных шедеврах своих он является уже серьезным идейным писателем. Здесь он — мыслящий реалист, пламенный проповедник, мыслитель, поборник нравственности. Обнаруживая почти полную объективность, в этих произведениях он встает перед своими читателями во весь рост, во всеоружии богатых познаний, внимательного, всестороннего изучения разных исторических эпох, классических писателей, античных памятников. Все восхищались мастерски написанной им картиной одряхлевшего, доживавшего последние дни язычества и возникающего, полного величия, христианского мира в романе «*Quo vadis*», с не меньшим наслаждением любовались многочисленные почитатели Сенкевича и теми женскими образами, которые воспроизведены у него едва ли не во всех крупных произведениях, — прекрасными, изящными, дышащими силой. Они составляют особенность его таланта, его неотъемлемую прелесть. Чувство красоты ощущается у Сенкевича во всех его произведениях, крупных и мелких, и оттого-то при самом ярком реальном изображении серых будней, скорбной действительности, истинный художник, он никогда не проявляет грубости, свойственной, например, Золя или графу А. Н. Толстому в последний период его деятельности. В понимании истинного реализма, согласно с требованиями

¹ Г. Гейне, «Брось свои иносказанья» (перевод М. А. Михайлова) (примеч. ред.).

настоящего художественного творчества, Сенкевич стоит на высоте этих обоих корифеев современной литературы. И что еще дорого в Сенкевиче, — это его преклонение перед красотой в самом широком смысле, но и перед любовью, которой он, как чуткий художник, придает громадное значение в жизни всего мира. Его благоговейное отношение к этому чувству, как в зеркале, отражается во всех его произведениях.

<...>

От романов, посвященных Польше XVII века в разные моменты ее существования, высокоталантливый польский романист сделал чрезвычайно смелый шаг, — шаг даже рискованный, задавшись мыслью представить картину древнего Рима в царствование Нерона. От эпохи из истории отчизны он вдруг перешел к эпохе ему во многих отношениях чуждой, не имеющей ничего общего с первой, отдаленной от нас длинной вереницей седых веков. У Сенкевича невозможное стало возможным благодаря его громадному таланту, широкому полету фантазии и глубоким познаниям в области классической древности, а равно и всестороннему знакомству с искусством и археологией. К исполнению задачи своей романист приступил, с ног до головы вооруженный знаниями, поглотив множество источников, относящихся к данной эпохе, начиная от Тацита, Светония и кончая позднейшими христианскими историками, а также и крупнейшими исследователями нероновской эпохи, не выключая и научной книги немецкого историка Фридендера «Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов», которая послужила ему большим пособием. Когда появился роман «*Quo vadis*», европейская критика не могла не признать, что с такой крайне рискованной задачей мог справиться, одолеть все преграды и трудности лишь романист-виртуоз, подобный Сенкевичу, обладающий талантом всеобъемлющим, полным независимости и гибкости. В романе изображены события, относящиеся ко времени пожара Рима, случившегося около 64 года нашей эры, когда Нерон имел за собою, кроме прочих смертей, отравление брата Британика, убийство Агриппины, своей матери, умерщвление Бурра, воспитателя своего и начальника преторианцев, убийство Корнелия Суллы и Рубелия Плавта, изгнание Сенеки, другого своего воспитателя, убийство жены Октавии и бракосочетание с Поппеей Сабинной, когда он устранил большую часть своих свидетелей, или докучных, или опасных, от товарищей и соперников, и дал широкую свободу своему разнузданному темпераменту, низменным инстинктам и привычкам. Главные положения романа и сильнейшие по драматизму места его Сенкевич связал с пожаром Рима и казнями христиан, его сопровождавшими. Все предыдущие деяния Нерона и наклонности, в нем преобладающие, в полной мере готовят читателя к самому возмутительному и дикому факту царствования обезумевшего цезаря, и в длинной цепи его преступных деяний пожар «вечного города» является как одно из необходимых звеньев. Смело вводит нас художник-романист на сцену действия, где разыгрывается драма самых запутанных отношений в столице Римского государства в первый век христианства, и с неподражаемым талантом рисует картину двух исключających друг друга миров — языческого и христианского. Романист и в «*Quo vadis*» показывает себя таким полноправным хозяином, каким он был в романах, живописующих Польшу XVII века. Почти до мелочей верный историческим свидетельствам, он с художественной и жизненной правдой изображает и римскую толпу, грубую, легкомысленную, алчную до зрелищ и крайне разношерстную по своему составу,

и исторические личности: Петрония Арбитра, бывшего проконсула Вифании, и грека Хилона, представителей двух классов нероновской эпохи, знати и черни, — и главаря этой эпохи Нерона с его сложным характером, с его удивительной психологией, существенную черту которой романисту удалось, кажется, уловить до известной степени. Художественным вышел у него Петроний, но еще цельнее представлен тип Хилона, который художник-романист дает как один из множества примеров чудодейственной силы христианского учения. Этому учению в произведении Сенкевича отведена важная и первенствующая роль. Нерон, стоящий во главе язычества, у Сенкевича своими характерными чертами находится в теснейшей связи с тем портретом, который дает Тацит. Но, по справедливому замечанию г. Шепелевича¹, — Сенкевич «пользуется более сложными средствами, чем римский историк. Искусство, особенно пластическое, помогло Сенкевичу воссоздать образ Нерона ярче, чем у Тацита... Следуя всюду в характеристике Нерона его указаниям, Сенкевич имел полное право расширить рамки историка. Он не только изобразил Нерона, но и дал ключ к пониманию этой на первый взгляд загадочной натуры. Этот ключ — в исключительно артистической натуре тирана, в его не удовлетворяемых стремлениях к художественным эффектам». Характеристику Нерона Сенкевич отчасти влагает в уста самого цезаря. «Знай, что живут два Нерона, — говорит тиран Петронию, одному из приближенных своих, — один такой, каким его знают люди, другой — артист, которого знаешь один ты и который, если убивает, как смерть, или безумствует, как Вахх, то только потому, что его давит плоскость и ничтожество обычной жизни и который хотел бы искоренить их, хотя бы пришлось прибегнуть к огню или железу... О, как пошла будет этот мир, когда меня не станет! Никто еще не постигал, даже ты, дорогой мой, какой я артист. Но поэтому-то я и страдаю, и искренно говорю тебе, что по временам душа моя бывает так же грустна, как те кипарисы, что чернеют перед нами. Тяжело человеку одновременно влачить бремя величайшего могущества и величайшего таланта». У Сенкевича Нерон представлен не простым безумствующим тираном, но существом с сатанинским славолубием, с ненасытной страстью к величественному, последовательным в своем безумии, словом, это вполне целый тип, производящий сильное впечатление. Превосходно обрисованы у него и типы женщин, из которых многие играют довольно видную, а иногда и первенствующую роль в романе, и в особенности удачен вышел образ Поппеи Сабины младшей, любовницы, а затем и жены цезаря. Не менее типичными представлены у него Актея и идеальная Лигия; даже Гречина, остающаяся на втором плане грандиозной картины, воссозданной Сенкевичем, и намеченная несколькими штрихами, выходит у романиста жизненной; это истая римлянка, одаренная нравственной чистотой и характером, присущими женщине лучших времен римской республики. Вообще, Сенкевич изобразил женщин Рима правильнее, чем они изображены в римских источниках, которыми романист пользовался осторожно и со свойственной ему чуткостью. По мнению профессора Ф. Г. Мищенко², большого знатока античного мира, Сенкевич «не поддавался искушению сатириков и моралистов и взглянул на римскую женщину более спокойно и объективно. Он выдвинул на первый план знаменательный факт мировой истории,

¹ Лев Юлианович Шепелевич (1863–1909) — историк литературы (*примеч. ред.*).

² Федор Герасимович Мищенко (1848–1906) — историк античности, переводчик с классических языков (*примеч. ред.*).

деятельное участие римской женщины в христианском движении того времени и ее заслуги в пропаганде нового учения, которое часто требовало от новообращенных и тяжелых жертв, и необыкновенной стойкости; он с большим старанием и любовью выписывает в Лигии и Греции Помпонии черты высшей духовной красоты, перед которой преклоняется даже Петроний и смиряется страсть Виниция; он не глумится над тем, что девушка в доме Авла Плавция отвечает на любезное приветствие гостя греческой цитатой из „Одиссеи“, над чем непременно посмеялся бы Ювенал». Тот же критик находит, что в романе «*Quo vadis*» недостаточно анализированы мотивы и условия пережитого христианами бедствия, допущены некоторые анахронизмы и несколько умалено значение проповеднической деятельности апостола Павла по сравнению с первенствующим влиянием Петра. Как бы в связи с этим романом, упрочившим славу Сенкевича, находится замечательная новелла его «Пойдем за ним», в которой представлено языческое мирозерцание на рубеже христианского и, между прочим, чрезвычайно ярко и метко обрисован образ действий римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата, когда он дает согласие на казнь Богочеловека. Роман «*Quo vadis*» вызвал в европейской литературе целый ряд этюдов о нем, а в публике он произвел фурор, какой выпадает на долю лишь очень немногих произведений изящной литературы. В русской критике этому произведению была посвящена, между прочим, прекрасная лекция профессора Мищенко, читанная в 1897 году в Казани. Указав вскользь на некоторые недочеты романа, который он ставит высоко, Ф. Г. Мищенко говорит: «Но сумеем умерить наши требования к художнику; не забудем, что и в точной науке остается далеко не разрешенною задача, к которой он подходит с любовью в своих художественных произведениях; будем ему признательны за то, что силою дарования и изучения он верно воссоздал многие явления давно минувшей смутной эпохи и рельефными, часто увлекающими чертами нарисовал нам рядом с одичанием нравов возвышенные движения человеческой души, способные вдохнуть новую жизнь в общество, по-видимому, разложившееся бесповоротно. Роман прочитан, книга закрыта, — а читатель благодаря таланту и старанию романиста долго еще находится под обаянием истины, за которую ратовал дерзновенный Павел: „Несть эллин, ни иудей; несть раб, ни свобод; несть мужеский пол, ни женский: вси бо едино есть о Христе Иисусе“».

Генрих Сенкевич родился в 1846 году в местечке Воля-Окшейска, и высшее образование получил в Главной Варшавской школе, впоследствии переименованной в Варшавский университет. Ему было двадцать лет, когда он отправился путешествовать. Он проехал многие места Америки и дольше всего пробыл в Калифорнии. Из путешествия он вынес множество самых разнообразных впечатлений из жизни и природы Нового Света, и эти впечатления отразились очень ярко на многих его произведениях, не только мелких, но отчасти и на крупных, где в изображении картин природы он руководствовался довольно часто своими американскими воспоминаниями. Это бросается в глаза особенно в его романе «Огнем и мечом». Позднее Сенкевич предпринял поездку в Африку, которая дала ему прекрасный материал для целого ряда писем, появившихся в одном из польских изданий, писем, имеющих не только огромный научно-литературный интерес, но и художественное значение. Объехал он и почти всю Европу, всюду учась, знакомясь с памятниками искусств и древности, наблюдая и обогащаясь материалами, сослужившими ему потом такую большую службу. Едва ли не отовсюду он корреспондировал в разные польские газеты.

Еще во время путешествия по Америке посылал он в варшавские и заграничные польские издания очерки, рассказы, новеллы, в которых жизненная правда, юмористические блестящие и красочность обнаруживали настоящего художника. Поселившись в Варшаве, Сенкевич принимал деятельное участие в качестве соредатора в некоторых газетах, преимущественно политического характера, и был редактором газеты «Слово». С этого времени он начинает приобретать некоторую известность, которая стала расти с появлением его новелл, собранных в книге «Эскизы углем», вышедшей с именем Литвоса и сразу понравившейся польской публике. В этой книге Сенкевич уже обнаружил все особенности своего таланта, а также симпатии и антипатии и политические взгляды. Принадлежа к старой шляхетской партии — партии консервативной, — Сенкевич в некоторых произведениях, преимущественно относящихся к первому периоду его литературной карьеры, является также защитником и демократических начал, хотя довольно слабым, но, в общем, политика не составляет насущной потребности писателя. Он весь целиком уходит в художественные интересы. Популярность Сенкевича достигла высшей точки после появления романа его «Без догмата», за которым довольно скоро, одно за другим, следовали его произведения: «Меченосцы», упомянутая трилогия, романы и повести: «Та третья», «*Lux in tenebris lucet*»¹, «Ради насущного хлеба», «Ганна», «Семья Полонезских», «Татарский плен», «Через степи», «Американские рассказы» и другие. Из новелл его, в которых по технике он не уступает Ги де Мопассану, наиболее известны «Янко-музыкант», «За хлебом», «Морской сторож», «Бартек-победитель», «У источника», «Даром», «Из записок учителя» и другие. Свои литературные взгляды, в особенности на течения натурализма, Сенкевич, непримиримый враг его, высказал в интересных «Письмах о Золя». Путевые очерки его ценны не только как художественные произведения с безукоризненными описаниями природы, но и в отношении богатства этнографического материала. Проживая то в Польше русской², преимущественно в Варшаве, то в Австрии, главным образом в Кракове, Сенкевич принимал неоднократно участие в местных общественных делах. Так, например, он был в комитете по сооружению памятника Мицкевичу и проявил много энергии и ума в этом деле. Императорская академия наук избрала Сенкевича в свои члены-корреспонденты. Все сочинения его переведены на языки французский, немецкий, английский, итальянский, финский, шведский, норвежский, русский и другие. Произведениями его вдохновлялось и вдохновляется немало художников, и польских, и иностранных, и лучшие иллюстрации к отдельным романам его сделаны американскими и английскими живописцами. Многочисленные критические этюды о Сенкевиче рассматривают его как бытописателя, психолога и исторического романиста, но неподобный автор «Камо грядеши» — такая крупная литературная сила, что о нем можно написать, без опасения повторяться, не одну интересную книгу. Всеобъемлющий, умный, глубокомыслящий художник, Сенкевич представляет самый благодарный и до известной степени неисчерпаемый материал для критика.

П. В. Быков
1902

¹ «Свет во тьме светит» (лат.) (примеч. ред.).

² В 1815–1918 гг. Царство Польское входило в состав Российской империи (примеч. ред.).

СОДЕРЖАНИЕ

«КАМО ГРЯДЕШИ»

Часть первая	5
Часть вторая	181
Часть третья	325

ПОСЛЕСЛОВИЕ

П. В. Быков, «Генрик Сенкевич»	521
--------------------------------------	-----



Генрик Сенкевич
КАМО ГРЯДЕШИ

Компьютерная верстка,
обработка иллюстраций,
дополнительные комментарии
В. Шабловский

На основании п. 2,3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества

Сдано в печать 15.02.2021
Объем 16,5 печ. листов
Тираж 3100 экз.
Заказ № 0246/21

Бумага кремовая книжная дизайнерская
Stora Enso Lux Cream



ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.szko.pf

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А,
www.pareto-print.ru



В 1905 году польский писатель Генрик Сенкевич (1846–1916) за цикл своих романов получил Нобелевскую премию по литературе. Прекрасное знание истории и блестящий талант писателя позволили ему стать членом-корреспондентом и почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности. «Камо грядеши» — самый известный роман Сенкевича; картины жизни Рима середины I века н. э. и гонения на христиан того времени описаны в нем с удивительной достоверностью. Чтобы добиться такого эффекта, Сенкевич переработал мно-

жество античных документов.

Все языковые нюансы романа прекрасно переданы в переводе, который выполнил Вукол Михайлович Лавров (1852–1912). Он родился в купеческой семье и получил домашнее образование в Ельце. Польский язык и математику ему преподавал ссыльный студент Московского университета Болеслав Иванович Зеленский. После смерти отца Лавров посвятил свою жизнь литературно-издательской деятельности. Он побывал в Варшаве, где познакомился с Сенкевичем. После этой встречи Лавров всерьез увлекся переводами польской литературы. Его перевод «Камо грядеши» считается образцовым, впервые он был напечатан в начале XX века в нескольких выпусках журнала «Русская мысль».

Комментарии к тексту романа в данном издании написаны профессором Московского университета и членом-корреспондентом Академии наук Сергеем Ивановичем Соболевским (1864–1963). Он закончил Московский университет с золотой медалью и вскоре стал одним из ведущих специалистов в области античной истории и словесности. Соболевский заведовал античным отделом в Институте мировой литературы АН СССР и был профессором древних языков в московском Педагогическом институте. Он комментировал многие античные сочинения, в частности знаменитые «Записки о войне с галлами» Юлия Цезаря.

Издание украшают всемирно известные иллюстрации польского художника Яна Стыки (1858–1925). Он получил солидное образование в Венской академии изобразительных искусств и некоторое время после ее окончания стажировался в Италии, где знакомился с лучшими произведениями итальянских художников. Его увлекали библейские и античные сюжеты. Хорошо известны его масштабные полотна «Голгофа» и «Мучение христиан в цирке Нерона». Работа над иллюстрациями к роману Сенкевича оставила заметный след в жизни художника. На острове Капри, где он провел последние годы своей жизни, ему удалось создать музей с картинами и фотографиями своих иллюстраций к роману Сенкевича.

ISBN 978-5-9603-0609-6



9 785960 306096 >

